Конст. ФЕДИН

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

CE

СЕРИЯ «ПОДВИГ»



Конст. ФЕДИН

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1978

Р2
Ф32

Текст печатается по изданию: Конст. Федин. Собрание сочинений в 10-ти т. М., «Художественная литература», 1971.

Федин К. А.

Ф32 Необыкновенное лето. Роман. М., «Сов. Россия», 1978.

608 с.

Роман крупнейшего советского писателя Константина Александровича Федина (1892—1977) «Необыкновенное лето» впервые опубликован в 1947 году.

События в романе происходят летом 1919 года и посвящены проблемам, всегда волновавшим писателя: искусство и революция, гуманизм нового мира и поиски героями своего места в этом мире.

$Ф\frac{70302-146}{М-105(03)78}$ 91—78 Р2

Константин Александрович Федин

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

Редактор Н. И. Нетесина. Художник С. А. Данилов. Художественный редактор Е. Ф. Николаева. Технический редактор Т. С. Мариинна. Корректор З. И. Шехмейстер.

ИБ № 807

Подп. к печ. 13/XI-78 г. Формат бум. 60×84$^{1}/_{16}$. Физ. п. л. 38,0. Усл. п. л. 35,34. Уч.-изд. л. 37,54. Изд. инд. ЛХ-112. Тираж 50.000 экз. доп. Цена 2 р. 60 к. Бум. № 1 типогр. Заказ № 1461

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

1

Исторические события сопровождаются не только всеобщим возбуждением, подъемом или упадком человеческого духа, но непременно из ряда выходящими страданиями и лишениями, которых не может отвратить человек. Для того, кто сознает, что происходящие события составляют движение истории, или кто сам является одним из сознательных двигателей истории, страдания не перестают существовать, как не перестает ощущаться боль оттого, что известно, какой болезнью она порождена. Но такой человек переносит страдания не так, как тот, кто не задумывается об историчности событий, а знает только, что сегодня живется легче или тяжелее, лучше или хуже, чем жилось вчера или будет житься завтра. Для первого логика истории осмысливает страдания, второму они кажутся созданными единственно затем, чтобы страдать, как жизнь кажется данной лишь затем, чтобы жить.

Поручик царской армии Василий Данилович Дибич пробирался из немецкого плена на родину — в уездный волжский городок Хвалынск. Обмен пленными между Германией и Советской Россией начался давно, но Дибича долго не включали в обменную партию, хотя он этого настойчиво добивался. За повторный побег из лагеря он был посажен в старинную саксонскую крепость Кёнигштейн, превращенную в дисциплинарную тюрьму для рецидивистов-побежчиков из пленных союзных офицеров. Много лет назад в Кёнигштейне был заточен схваченный за руководство дрезденским восстанием 1849 года Михаил Бакунин. Пленные вспоминали имя Бакунина, когда в разговорах с французами заходила речь о непокорстве русского характера, и черпали в этом воспоминании новые силы для преодоления жестокостей режима, изощренно продуманных немцами. Только весной 1919 года Дибича назначили к отправке с эшелоном, но в это время он заболел дизентерией и пролежал в больнице целый месяц, едва не закончив счеты с жизнью. Его присоединили к партии больных, он проехал с нею в вагоне Красного Креста через Польшу, весь путь про-

лежав на подвесной койке, был пропущен через карантин в Барановичах и прибыл в Смоленск, все еще с трудом передвигая ноги. Его подержали неделю в госпитале и отпустили на все стороны.

Очутившись на станции посреди одержимой нетерпением, неистовой толпы, которая словно взялась вращать вокруг себя клади, поноски и пожитки, Дибич неожиданно улыбнулся. Он вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт здоровым двадцатитрехлетним прапорщиком, провожаемый университетскими товарищами, и они, обнимая и целуя его, твердили: «До скорой встречи — после победы!» И вот встреча наступила: он опять стоял на русском вокзале, отдаленно напоминавшем тот, с которого началась для него война. В измятой ночлегами, просаленной, потерявшей свой серебристо-сизый цвет офицерской шинели, без погон, с немецким зеленым, сморщенным от дождей рюкзаком за плечами, исхудалый, остроносый, с красными после незаживших ячменей глазами, он улыбался застенчиво и обиженно, видя себя в толпе никому не нужным, еле живым существом и — как он сказал себе в эту минуту — один на один с Россией.

Его толкнули в плечо острым ребром солдатского походного сундучка. Вместе с болью он почувствовал приторную слабость под ложечкой — постоянный и почти привычный, стонущий, как дернутая струна, наплыв голода, вызывавший дрожь в коленях,— и, отойдя к стенке, скинул рюкзак, достал кусок липкого черного хлеба, полученный в госпитале, отодрал горбушку и стал быстро-быстро жевать, широко раскрывая рот, чтобы отлепить хлеб от зубов.

С этого дня Дибич начал продвигаться с запада к центру России, на юго-восток, к тому клину чернозема, который он и раньше знал по своим студенческим поездкам в Москву. Продвижение шло крайне медленно, от одного узла к другому, в случайно подвернувшихся забитых народом вагонах-теплушках или на товарном порожняке. Поезда так же внезапно застревали на каком-нибудь разъезде и стояли ночами напролет, как неожиданно, без объяснимой причины, снимались с места и ползли, ползли полями и дубравами, пока машинист не объявлял, что сел пар и нужны дрова, и пассажиры, поругиваясь, не отправлялись в ближний лесок валить березы.

Сидя в раздвинутых дверях товарного вагона, свесив на волю тонкие в австрийских голубых обмотках ноги, Дибич глядел на землю, проплывавшую мимо него в ленивой смене распаханных полос, черных деревенек, крутых откосов железнодорожного полотна с телеграфными полинялыми столбушками

на подпорках и малиновками, заливавшимися в одиночку на обвислых проводах. Это была его двадцать восьмая весна, и она радовала его. Он умилялся до такой степени, что щекотало в горле, когда из-за косогора вдруг вытекала окаченная солнцем ядовито-зеленая лента уже высокой густой озими. Испивая взглядом сияние счастливой, новорожденной этой краски, Дибич простенько мурлыкал под нос какой-нибудь детский мотивчик, вроде «Летели две птички, обе невелички», и смотрел, смотрел, смотрел, не уставая. Леса и закустившиеся пни вырубок отсвечивали рябью маслянистых, едва пошедших в рост листочков. На выгонах — еще без единого цветка — стояли врассыпную, дергая опущенными к траве мордами, низенькие, непородистые, толстобрюхие крестьянские бурёнушки и пестравки, и мальчуганы в тятькиных долгополых шинелях, привезенных с фронта, заплетали кнуты, сидя на припеке и провожая поезд медленным поворотом голов в облезлых папахах. Изредка семенила по взмету, обок с прыгающей бороной, баба, потягивая длинную вожжу и взмахивая хворостинкой на коротконогую, словно падавшую наперед кобылу. Все это было домашне-близким, до мелочей памятным и в то же время удивляло, как что-то впервые открытое, невиданное и невероятное. Победнело, обветшало и будто уросло все вокруг, уменьшилось по сравнению с тем, что хранилось в воспоминании о довоенном прошлом, но все казалось больше прежнего родственным и остро задевало душу.

Только на станциях умиленность исчезала, уступая беспокойному непониманию той раздражающей перемены, которая пронизала людей, сделав их неузнаваемыми в таких знакомых обличьях. Повыскочив из вагонов, народ скучился вокруг крестьянок, выносивших к станциям немудреную снедь в обмен на еще менее мудреные богатства солдат и горожан — спички, соль, нечистые, погулявшие по карманам куски сахару, разорванные пачки махорки. Торг изумлял Дибича совершенно небывалыми отношениями стоимости и ценности, он еще мерил все на копейки мирного времени, и мозг его отказывался уразуметь ту легкость, с какой отдавали жареную курицу за горсть соли. Но бог с ней, с этой экономикой умалишенных!— страшна была не новизна полюбовного обмеривания и обсчитывания,— нет! Ужасно было слышать запахи рынка, видеть, как с хрустом вывертывается у курицы крыло и чьи-то зубы впиваются в белое мясо, и челюсти растирают его в жвачку, и выпяченный кадык ходит по горлу вверх и вниз, вверх и вниз!

Обгоняемый всеми, Дибич торопился к военному магазину, залепленному шевелящимся роем серых шинелей. Он силился

протискаться к маленькому оконцу, где гирьки звякали по медной чашке весов, он совал через головы свои документы, он кричал:

— Братцы, пропустите больного! Больного, братцы!

Его отжимали в сторону:

— Тут тоже не здоровые.

Но он тянулся к оконцу с упорством ожесточения, всовывал насильно бумаги человеку за весами, уговаривая с жаром:

— Третий день без пайка. Надо иметь сочувствие! Товарищи!

Несколько человек сразу нацеливались на его документы, с подозрением и неприязнью.

— Чего врешь? За вчерашний день хлеб получен?

Ему кидали бумаги назад, но он не сдавался, заставлял снова взять их, отстаивая свое право на кусок хлеба изнуренными, вытаращенными от натуги глазами, жадным, дергающимся лицом в темной бороде, отчаянно властным криком:

— Ты постой швырять документы, ты погляди! Я — пленный, из германского плена, читай!

На мгновение рядом с ним стихали. Опять испытующие взгляды проверяли его бумаги, потом он слышал язвительный голос:

— Поручик! Потерпишь, ваше благородие! Знаем мы вас, господа офицеры.

Его вновь затирали,— локти его были слишком немощны, чтобы подкрепить право силой.

Иногда в такую минуту Дибичу хотелось бросить свое странствие на полдороге, наняться где-нибудь в деревне батраком за квас и картошку, выждать лучших времен, а главное — набраться здоровья. Но нагнетенное в плену до нестерпимого жара и неугасавшее желание увидеть дом, мать и сестру влекло и влекло его вперед, и если бы ему пришлось ползти в свой далекий и милый Хвалынск на четвереньках, он, наверно, пополз бы.

Вечерами, задвинув от холода дверь вагона, пассажиры начинали разговоры, и только по говору Дибич угадывал в непроглядной темноте, кому принадлежат голоса. Постепенно из этих разговоров он узнавал новую географию страны, рассеченной на куски внезапно рождавшимися подвижными военными фронтами.

Еще в Кёнигштейн доходили слухи о двух Россиях, непримиримо враждовавших между собой, и слова — междоусобица, гражданская война — поражали пленных больше, чем поразило в семнадцатом году слово — революция. По дороге на роди-

ну Дибичу сделалось известно, что на юге все белые войска признали своим командующим генерала Деникина, что Сибирь находится под властью адмирала Колчака, провозгласившего себя верховным правителем России, и что эти огромные силы юга и востока, включающие в свой состав все казачество и почти все офицерство былой русской армии, намерены соединиться в районе Поволжья и сомкнуть кольцо вокруг Москвы, которая, защищая Советы, не переставала мобилизовать людей в Красную Армию. Дибич никогда не слышал прежде ни о Деникине, ни о Колчаке. Но он не слышал также до самой революции ни одного из тех имен, которые она начертала на красных знаменах. Он стеснялся своего незнания, молчал о нем, объясняя его своей неразвитостью и тем, что одичал в плену. Для него было новостью, что на западе и на севере России, так же как на юге и на востоке, шла тоже гражданская война, действовали тоже белые армии под командованием генералов, о которых он никогда не слышал, и что повсюду против этих белых армий дралась советская армия рабочих, матросов и бывших солдат. Он понял, почему пленные французы в Кёнигштейне нападали на русских, обвиняя их в неверности: союзники России давно перестали быть союзниками, и он узнал, что французы, англичане, японцы, американцы вмешались в дела России повсюду, где шла борьба,— на севере и юге, на западе и востоке. Он испытывал неловкость перед самим собою, что худо разбирается в событиях, но он видел, что многие, кого он слушал на вокзалах и в вагонах, не больше понимают в событиях, хотя были их свидетелями и даже принимали в них вольное или невольное участие, пока Дибич сидел в плену. Он чувствовал, что события потребуют от него, чтобы он принял чью-нибудь сторону в борьбе, но он был удивительно неготов к этому. Он только сознавал, что если скажет, что правы белые, то это будет означать, что правы французы, которые помогали белым, а этого он решительно не мог допустить, потому что тогда выходило бы, что правы французы, нападавшие на него в Кёнигштейне, а он возненавидел их за то, что они ненавистно говорили о России. Все остальное казалось Дибичу неразберихой. И, слушая разговоры в темноте закрытого наглухо товарного вагона, он думал, что обстоятельства привели его в туманный и бурный мир из совершенно другого мира, где все было гораздо яснее и проще. Раньше воевали все вместе против одного, для всех очевидного врага. Теперь воевали все порознь, брат шел на брата, и надо было разглядеть в одном брате врага, в другом — друга. Нет, ничего нельзя было взять в толк из этих небывалых клокочущих событий! С беспокой-

ным состоянием спутанных мыслей Дибич засыпал под холодный лязг и дрожание вагона.

Раз, проснувшись поутру и узнав, что поезд стоит на хорошо знакомой ему громадной узловой станции Ртищево, Дибич испытал до дурноты головокружительный приступ голода. Перед войной, проезжая эту станцию, он всегда заходил в вокзал, который славился буфетом. На длинных столах к приходу поездов расставлялись тарелки, наполненные горячим борщом, и пахучий парок язычками поднимался над ними. Здесь была школа официантов: маленькие татарчата из окрестных татарских деревень обучались на вокзале служить за столом, и все бывало особенно аппетитно, приманчиво и добротно. Едва услышав название станции, Дибич, как в свежепротертом зеркале, увидел перед собой далеко уходящий ряд тарелок с оранжевыми кругами борща, в желтых медалях расплавленного жира и с ленивыми витками пара. Перед каждой тарелкой румянились жареные пирожки. Белый ноздреватый хлеб, нарезанный ломтиками, выглядывал из-за цветочных горшков. Татарчата, с салфетками в руках, отодвигали коленками громоздкие стулья, приглашая гостей сесть. Народ возбужденно спешил к столу.

Голодная тоска охватила все тело Дибича. Он выглянул из вагона. Невдалеке виднелась толпа, обступившая торговок. Подавляя слабость, он выскочил на платформу и побежал к толкучке. Он принял решение, уже давно искушавшее его: обменять на продовольствие немецкий рюкзак. Сорвав его с плеч, он распихал по карманам и за пазуху содержимое — полотенце, фуфайку, бутылку с водой,— вытряхнул рюкзак, разгладил его ладонью и кинулся в ближнюю кучку людей.

Старуха татарка с бурым лицом и слезящимися, изъеденными трахомой глазами сидела на корточках перед кузовком, наполовину прикрытым мешковиной. Обжаренные куры и бадейка с кислым молоком торчали из другой половины кузова.

— Меняю сумку на пару кур,— воскликнул Дибич, подражая бойкости раздававшихся кругом выкриков.

Татарка утерла глаза уголком головного платка и продолжала молча сидеть.

— Ну, что же, хозяйка? Погляди какой товар,— проговорил неуверенно Дибич.

Старуха взяла рюкзак, повертела в морщинистых пальцах и отдала назад, не проронив ни звука.

— Да ты понимаешь по-русски-то?

— Зачем не понимаешь? Не наш сумка,— вдруг сказала татарка.

— Ну да, не наша — заграничная сумка, лучше нашей, видишь — на клеенчатой подкладке. Не промокнет. Получай за пару кур!

— Ремень рваный,— спокойно возразила старуха.

— Не рваный, а чуть надорван. Починишь.

Она опять дотронулась до рюкзака.

— Худой дырка,— сказала она, покачав головой.

— Зашьешь,— ответил Дибич и насильно сунул ей на колени рюкзак.

Она неторопливо вывернула его наизнанку, ощупала подкладку, рассмотрела углы и снова отдала назад.

— Давай цену, цену давай, цену!— вскрикнул Дибич, выворачивая сумку налицо.

— Возьми вот хороший молодка,— сказала татарка, вытянув за ногу молодую курицу.

— Да это цыпленок, а не молодка! Ишь скупердяга!

— Наш не скупой дядя, твой скупой дядя,— отозвалась она невозмутимо и положила молодку желтым, блестящим от жира боком поверх кур.

— Ну, ладно,— сказал нетерпеливо Дибич, складывая рюкзак и делая вид, что сейчас уйдет, в то же время не в силах двинуться и оторвать взгляд от курицы.— Давай твоего цыпленка и бадейку молока в придачу. По рукам.

— Зачем бадейка? Большой бадейка,— ответила татарка.— Пей одна кружка.

— Шайтан с тобой, наливай,— обессиленно выговорил Дибич и потянулся к курице.

— Зачем шайтан? Зачем шайтан?— неожиданно крикнула старуха.

Сердитым рывком она накрыла весь кузовок мешковиной и стала быстро вытирать глаза, бормоча под нос на своем непонятном языке.

— Ну, хорошо, хорошо, не шайтан,— почти испуганно сказал Дибич, сдерживая досаду и нетерпение, и приоткрыл кузовок.

Старуха недовольно взяла рюкзак, положила его себе под ноги и стала наливать из бадейки молока.

Дибич жадно смотрел, как тяжелые розоватые куски молока вперемешку с угольно-коричневыми пенками шлепались в кружку, и ему было жалко, что следившие за всем его торгом солдаты тоже смотрели в кружку. Он отвернулся немного и не проглотил, а словно перелил в себя холодные, скользкие куски.

С ощущением необыкновенно нежного вкуса, который на-

помнил детство, облизывая усы, вытирая проступивший на лбу легкий пот, он зашагал через площадь к станции. На ходу он вывернул куриную ножку совершенно тем жестом, какой не раз с завистью видел, и только было поднес ее ко рту, как услышал обрадованный, всполошенный крик:

— Ребята! Состав на Пензу подали, айдате!

Он сорвался и побежал вместе с другими куда-то в сторону, к дальним путям.

Пассажирские вагоны были пусты, скамейки недавно вытерты, поезд, видно, только что приготовили. С шумом и торжествующим грохотом вагоны начали живо заполняться.

Дибич облюбовал верхнее место, забрался на скамью, лег, подложив под локоть шинель, и принялся за еду. Он мог только мечтать о том, чтобы ехать в пассажирском вагоне, удобно вытянув ноги на полке, ехать прямо на Пензу и — значит — на Кузнецк и Сызрань, откуда будет уже рукой подать до дома. Он разрывал курицу на куски, обмакивал их в соль и разжевывал вместе с гибкими хрустящими косточками. Ему виделся большой белый пароход, шлепающий плицами по широкому зеркалу Волги. Зеленые берега ниточками тянулись или петлями извивались по сторонам парохода. Довольные пассажиры, примолкнув, любовались солнечным днем. Глубоко в корпусе судна равномерно дышала машина. Дибич обсасывал мосолки куриных ножек, зажмурившись, и ему чудилось, что уже появляется из-за далекого-далекого поворота весенний Хвалынск в цветущих холмах и горках, сияющий, тихий, счастливый.

Вдруг что-то задвигалось, зашумело кругом. Ругань, женский плач и вой поднялись во всем вагоне, и сквозь шум чей-то командующий и одновременно исступленный вопль прорвался к сознанию Дибича:

— Очистить вагон, говорят! Выходи все до одного!

Кондуктор, в сопутствии увальня охранника с красной перевязью на рукаве и винтовкой прикладом вверх, протискивался сквозь толчею скопившихся в проходе людей, злобно отвечая на крики:

— А черт вам сказал, что поезд на Пензу! Поезд особого назначения! Очистить, без разговоров!

Ругаясь, ворча и мешая друг другу, пассажиры начали вытаскивать свое добро из вагона.

Дибич бережно завернул остатки костей в полотенце, слез с полки, выпрыгнул на полотно и, следом за толпой, медленно пошел по песчаной тропке между путей к горбатому вокзалу.

2

С непрерывной цепочкой людей Дибич втиснулся через полуоткрытую дверь в зал и почувствовал, что его слегка качнуло. Весь пол был засеян человеческими телами, и от махорочного настоя все кругом казалось затянутым паутиной. У дальней стены серый от пыли гигантский буфет крепко спал, как отслужившее, никому не нужное животное. На скамье около него лежали и копошились дети.

Шагая через протянутые по полу ноги в сапогах и лаптях, через корзины и мешки, Дибич добрался до буфета и сел на корточки, прислонившись к торцу скамьи.

Прямо перед собой, у окна, он увидел семейство, настолько непохожее на окружающих людей, что он уже не мог оторвать от него взгляда.

Это были муж, жена, их мальчик лет семи, необыкновенной красоты, перенятой от матери, и седая женщина с мелкими завитушками на висках, смешно, устарело, но преважно одетая, нерусского типа,— вероятно, бонна. Она была самозабвенно поглощена своим делом, присматривая за мальчиком — как он пьет из эмалированной голубой кружечки и жует чем-то намазанные маленькие кусочки черного хлеба. Едва он проглатывал один кусочек, как она давала ему другой, и сейчас же заставляла прихлебнуть из кружечки, и стряхивала с его колен упавшую крошку, и поправляла в его руке кружечку, чтобы он ровнее держал.

Муж и жена были под стать друг другу, он — еще порядочно до сорока, она — совсем молодая, с лицом, от которого исходило лучение расцвета. Нельзя было бы сразу решить, насколько ее изящество было прирожденным, насколько вышколенным. Но в глаза бросалось прежде всего именно изящество, то есть милая простота, с какой она держалась в обстановке, явно и чересчур несовместной с ее манерами. Впрочем, в манерах этих все-таки заметно было кое-что деланное: она, например, оттопыривала мизинчик, держа грубую жестяную кружку, и вообще немного играла мягкими, как подушечки, кистями рук. Может быть, она нарочно преувеличивала изысканность своей жестикуляции, желая сказать, что не поступится ею ни при каких обстоятельствах, а может быть, хотела позабавить себя и мужа комизмом несовместимости этой обстановки с каким-либо изяществом.

Видно было, что оба они хотят шутливостью облегчить затруднительное положение — распивание невкусного кипятка из кружек, сидение на чемоданах среди огромной и как будто

неприязненной толпы. Они изредка посмеивались, передавая друг другу что-нибудь с чемодана, накрытого салфеточкой и заменявшего стол. Во взглядах, которые они останавливали на мальчике, сквозила, однако, растерянность и даже испуг. Но, несмотря на эту скрываемую растерянность, они все-таки производили впечатление людей, в глубине совершенно счастливых и красивых от своего счастья.

Дибич невольно начал прислушиваться к коротким словам, которыми семейство перебрасывалось, и постепенно, сквозь гул терпеливых людских голосов, разбирать, о чем говорится. Он давно не видал таких семей, счастливых и ладных, и ему было и странно, и грустно, и почему-то приятно, что такая семья тоже попала во всеобщий водоворот, привычный, но трудный даже для бывалого солдата.

— Ася,— вдруг довольно громко сказал муж,— тебе не кажется, что Ольге Адамовне лучше снять брошку?

— Брошку?— с изумлением и вспыхнувшим любопытством спросила жена, как человек, ожидающий, что сейчас последует что-то очень веселое.

— Брошку,— повторил он, строго помигав на бонну, которая тотчас испуганно потрогала под длинным своим подбородком дешевенькую мастиковую ромашку с божьей коровкой.

— Из-за вашей склонности к роскоши, Ольга Адамовна, нас еще примут за буржуев.

— Ну, Саша, разве так можно? С Ольгой Адамовной, чего доброго, родимчик случится!— с обаятельным сочувствием к старой даме улыбнулась жена, и улыбка ее выразила как раз обратное тому, что она сказала словами, то есть что это очень хорошо — посмеяться над Ольгой Адамовной.

— Я уверен, мы пропадем из-за Ольги Адамовны. У нее аристократический вид. Смотри, как она пренебрежительно глядит на солдат!

— Я абсолютно не гляжу на солдат, Александр Владимирович,— молниеносно покраснев, отозвалась Ольга Адамовна.— Я смотрю только на моего Алешу.

— Абсолютно!— усмехнулся Александр Владимирович.— Что это за слово? Абсолютно? Я такого слова не знаю. Абсолютно? Не слыхал. Абсолютное все отменено. Абсолютного не существует, мадам.

— Я прошу защитить меня, Анастасия Германовна,— сказала бонна тоненько.— Когда я волнуюсь, это отражается на моем Алеше.

— Но ведь, вы знаете, он шутит,— участливо ответила Анастасия Германовна.

— Ах, мадам, надо беречь нервы,— опять громко и со вздохом сказал Александр Владимирович,— мы можем оказаться в гораздо худшем положении. Не сердитесь.

Он отвернулся без всякого интереса и скучно повел глазами вокруг. Дибичу хорошо стало видно его лицо — крупное, с брезгливо подтянутой к носу верхней губой и сильно развитыми ноздрями. Он был гладко побрит, и это больше всего удивляло: когда и где успел он заняться своим лицом — в сутолоке, в грязи и неудобствах дороги?

Вдруг он приподнялся, нацеливаясь немного сощуренным взглядом куда-то к буфету. Потом встал и, несмотря на дородность, сделал несколько очень легких шагов, миновав Дибича так свободно, будто никакой тесноты не было в помине.

Начальник станции с нечесаной бородой, в порыжевшей фуражке брел вдоль буфета, сонно показывая вокзальному охраннику, как лучше разместить людей с их пожитками, чтобы были проходы. За ним тянулся хвост пассажиров, больше всего — солдат. Вертя в руках поношенные документы, они то угрожающе, то безнадежно выкрикивали: «Товарищ начальник! Товарищ начальник!» Он, видно, привык к этим зовам, как к паровозным гудкам, и не оборачивался.

Александр Владимирович остановился, загородив ему дорогу, и сказал любезно:

— Вы обещали устроить нас на Балашов.

— На Балашов поездов не будет,— ответил начальник, не задумываясь.

— Вы помните, я к вам обращался? Я — Пастухов.

— Помню,— проговорил начальник, безразлично разглядывая кожаные пуговицы на широком коротком пальто необыкновенного пассажира.— На Балашов идут только эшелоны.

— Может быть — с эшелоном?— полуспрашивая, почти предлагая, сказал Пастухов.

— С воинским эшелоном? Это — дело начальника эшелона. Я ничего не могу. Поезжайте на Саратов.

— Мне надо на Балашов, а вы предлагаете Саратов.

— Саратов или Пенза,— сказал начальник равнодушно и приподнял руку, чтобы показать, что хочет идти и просит посторониться.

— Из Пензы я приехал,— возразил Пастухов, не двигаясь с места,— зачем же мне возвращаться? Это странно и... несерьезно. Мне нужно в Балашов. У меня семья. Я сижу на вашем вокзале сутки... а у вас даже кипятка нет.

— Ничего не могу. Хотите Саратов?— повторил начальник

и, вскинув мертвые глаза на Пастухова, подвинулся, чтобы обойти его стороной.

Тогда скучившиеся солдаты, которые ревниво слушали разговор, начали опять выкрикивать, перебивая друг друга:

— Товарищ начальник! Товарищ начальник!..

Пастухов снова преградил ему путь и сказал упрямо, сдерживая раздражение:

— В конце концов отвечаете вы за свои слова или нет? Вы два раза обещали отправить меня с семьей на Балашов. Вы сами сказали.

— Ну и что же, что сказал? Путь заняли эшелоны, понимаете? Можете вы это понять?— оживая от усталого безразличия, воскликнул начальник.

У Пастухова дернулась щека.

— Потрудитесь не подымать тона,— сказал он тихо.

— Разрешите пройти,— громче выговорил начальник.

— Прошу вас не кричать,— сказал Пастухов, не уступая дороги.

— Никто не кричит. Разрешите пройти.

— Прошу вас дать мне возможность говорить с начальником эшелона.

— Это — ваше дело. Позвольте.

— Э, да кончай, ладно,— прозвенел неожиданно лихой голос.— Разбубнился! Подумаешь!

Молодой солдат в накинутой на плечи шинели и с объемистой сумой в руках надвинулся на Пастухова из толпы. В стальных, немного навыкате глазах его играло веселое и хитрое безумие. Он держал высоко крупную светловолосую голову, увенчанную сплюснутой в блин фуражкой, и белые, необычно для молодых лет мохнатые брови его ходили вверх и вниз торжествующе страшно.

Пастухов попробовал отстранить солдата, но он напирал, быстро перекатывая глаза с начальника на людей и назад, на Пастухова.

— Подумаешь! Я — Пастухов! Отыскался! Я тоже не веревками шит, не лычками перевязан! Я, может, Ипат Ипатьев, раненый воин. А терплю! Сказано дожидай — я дожидаю. А то, ишь ты: я — Пастухов, подай мне Балашов!

— Брось,— сказал солдат постарше, расплывчато, как будто лениво, но смышлено улыбаясь, и примирительно тронул молодого за локоть.

— Нет, не брось, погоди! У меня хоть и один зрачок, а я
 востро вижу, чего ему на Балашов захотелось! На юг, барин,

метишь податься? К белым генералам под крылышко? Я разби-ра-юсь!

— Я не барин, у вас нет оснований со мной так говорить,— произнес Пастухов увещательно, как старший.— А вопрос — куда мне ехать, я надеюсь решить без вашего участия.

— Ловкий,— еще более лихо и раздраженно вскрикнул солдат.— Теперь без нашего участия ничего не решается, если желаете знать.

Поднявшийся с пола Дибич был прижат людьми вплотную к спорщикам. Он видел, с каким самообладанием пытался Пастухов не потерять внешнего достоинства и как от этих усилий достоинство переходило в напыщенность и разжигало любопытство и подозрительность толпы. Все были замучены бесплодным ожиданием поездов, томились, изнемогали от скуки. Скандал обещал рассеять тоску. Охранник вяло помахивал винтовкой, чтобы дать выход начальнику станции. Вдруг сзади кто-то пробасил:

— Проверить его, что за человек он есть!

— Мы проверим!— воодушевился солдат.— Проверим, чего он задумал искать в Балашове!

— Что вы пристали?— сказал Дибич.— Человек едет с семьей, никому не мешает.

— А ты что? С ним заодно?

— Кто вам дал право говорить всем «ты»?— набавил голоса Дибич.

Солдат окатил его оценивающим взглядом, сказал полегче, но по-прежнему задорно:

— Из офицеров, что ли? Недотрога.

— Из офицеров или нет — вы не имеете права грубить.

— А какое твое право меня учить?

— Право мое — год фронта!— закричал Дибич на неожиданной и нестерпимой ноте.— Право мое — два побега из плена! Я свое право добыл в немецких лагерях! В немецкой крепости!

Воспаленные ячменями веки его потемнели до гранатовой красноты, он стал быстро и туго растирать руки, сжимая их поочередно в кулаки — то правую, то левую, как будто с нетерпением готовясь к рукопашной и удерживая себя из последней силы. Солдат тоже крикнул, вращая выкаченные безумные глаза:

— Ты что визжишь? Кто я тебе, что ты на меня визжишь?

— Брось, Ипатка, брось!— опять потянул его за рукав пожилой солдат.

— Нет, врешь!— расходился Ипат.— На-ка, держи!— Он ткнул ему в руки свою пузатую суму и тотчас схватил за локоть охранника:— Веди, товарищ, к начальнику, веди всех! Там разберутся.

— Проверь их обоих!— снова раздался бас.

Толпа уже гудела, перехватив и раздувая спор,— каждый сыпал в одну кучу всякого жита по лопате. Охранник отмахивался — ему хотелось, чтобы все разошлись по местам,— но солдат понукал его, и народ шумел.

Внезапно пронесся грудной женский голос:

— Саша, сейчас! Я с тобой! Не ходи один!

Анастасия Германовна расталкивала людей, пробираясь к Пастухову. Он разглядел ее через головы. Бледный, затвердевшими, точно на холоде, губами он бросил ей небрежно ласково:

— Ничего не случится. Глупости. Ступай к Алеше.

Он обернулся к охраннику:

— Идемте,— и пошел первым, так решительно, что народ расступился.

В пустой узенькой комнате, около застекленной двери, за которой виднелась платформа, сидел человек в штанах галифе и читал брошюрку. Он поглядел на вошедших, заложил страницу обгорелой спичкой, расставил ноги.

— Кто такие?— не спеша спросил он охранника.

— Шумят.

— Они вот, товарищ, желают на Балашов,— молодецки сказал Ипат, указывая отогнутым большим пальцем на Пастухова и затем поворачивая палец на Дибича,— а вот будто из германского плена берет их под защиту. Народ сомневается.

— Вы что же — народ?— спросил товарищ.

— Народ,— серьезно ответил солдат.— Прежде Томского полка, третьего батальона, двенадцатой роты ефрейтор Ипат Ипатьев. В Красной Армии добровольно. Был в боях. Отпущен по ранению.

— Куда ранен?

Ипат поднял взор на потолок, выпятив шарами голубоватые белки, и, так же как показывал на Пастухова, крючковатым большим пальцем ткнул себе в левый глаз:

— Осколочек угодил под самый под зрачок, отчего произошла потеря зрения на полный глаз. Вот это место, вроде крохотного опилочка.

— Ну, выйди, если понадобишься, позову,— сказал товарищ.

 Шагнув к столу с постеленной на нем общипанной по кра-

ям газетой в кляксах и писарских задумчивых росчерках, он вытянул из кармана галифе большой, как наволочка, атласный кисет, раскатал его, отщипнул кусочек газеты на столе и принялся медленно скручивать цигарку.

— Запалок нет?— спросил он охранника.

— Спалил все как есть.

Пастухов зажег спичку. В ее свете строго кольнул исподлобья пожелтевший взгляд товарища и потух вместе с огнем.

— Документы.

Пастухов достал бумажник. Дыша тягучим дымом на развернутую важную бумагу, товарищ внимательно читал. Народный комиссар по просвещению удостоверял, что известный писатель-драматург Пастухов отправляется с семьей на родину своей жены, в Балашовский уезд, и обращался ко всем учреждениям и местным властям с просьбой оказывать ему в пути всяческое содействие.

— Закурить не угостите?— попросил охранник.

— Что там у них вышло?— не отрываясь от чтения, проговорил товарищ и подвинул кисет.

— Требовают от начальника посадки. А сказано, посадки не будет.

Товарищ сложил бумагу, не торопясь глянул на Пастухова:

— Начальник станции не бог.

— А кто же бог?— чуть улыбнулся Пастухов.

— Бог нынче отмененный,— с удовольствием протянул охранник, подцепив добрую щепоть махорки.

— Вы зачем же хотите в Балашов?

— От голода. В Петербурге голод.

Минута прошла в молчании. Охранник долго прикуривал, высыпая на стол мелкую крошку огня из цигарки товарища, который думал, поглаживая себя за ухом. Пастухов и Дибич ждали покорно. Охранник, спрятанный клубами дыма, как станционное депо, сказал:

— Норовят к хлебу поближе. Задушат деревню. Едоки, едоки. Тот в шляпе, энтот под зонтиком, а пашет один мужик.

— Тоже — в Балашов?— спросил товарищ у Дибича.

— Я — в Хвалынск.

— Чего же вы вступились?

— Из сочувствия. Я скоро месяц из плена, а все не доберусь до дому. Не сладко греть своими боками полы на вокзалах.

Он подал документ, в штемпелях и закорючках. Товарищ повертел бумагу, изучая иероглифы, скучно вернул ее, оборотился к Пастухову:

— Так что же вы хотите?

— Отправьте меня, к чертовой бабушке, с эшелоном,— отчаянно махнул рукой Пастухов, чувствуя, что наступил момент требовать.— Я сам-третей с семьей. Да старуха, воспитательница сына. Пихните нас куда-нибудь в тамбур.

— Попробуем,— усмехнулся товарищ.

Он аккуратно спрятал кисет и брошюрку в бездонный карман галифе и качнул головой на дверь.

Пастухов вышел за ним на платформу.

Из степи сильно дуло, надо было держать шляпу. Нагнувшись, Пастухов шагал, отставая от бойко перебиравшего ногами товарища и глядя на его странные штаны, пузырившиеся от ветра. Видно, он был добрый малый, этот немногоречивый человек, раз его табачок запросто раскуривали подчиненные. Пастухов думал, что хорошо бы походя рассказать товарищу что-нибудь веселенькое,— нет ничего вернее смеха, когда надо расположить к себе начальство,— но удивительно притупились в дороге мысли, и было даже неловко, что читателю брошюрок, повстречавшему, наверно в кои-то веки, живого да еще петербургского литератора, так и не услышать от него ни одного занятного слова.

Далеко на запасном пути стоял поезд, вперемежку из товарных вагонов и платформ с пулеметами и обозом. Часовые подремывали на зарядных ящиках, дневальные выметали вагоны с конями, и жирно, свежо пахло навозом.

Сказав, чтобы Пастухов подождал, товарищ взобрался в закопченный вагон-микст.

Пастухов глядел в поле. Лежало оно без конца, без края, кое-где в зеленях, кое-где в черных взметах спокойных, ровных борозд, а больше — диким простором сонной степи, еще не очнувшейся после стужи. Ветер гнал с востока полынную горечь запревшего на солнце прошлогоднего былья да холодок сырых далеких оврагов. С бульканьем забирался в поднебесье и потом глухим камнем низвергал себя восхищенный жаворонок. Неподвижность покоилась в небе, неподвижность — на земле. Только черная погнившая скирда шевелилась, нет-нет посылая по ветру вырванный клок соломы.

Медленно со дна памяти всплыли стихи поэта, которого Пастухов считал последним русским гением девятнадцатого века, и со вздохом он выговорил вслух, упирая взор в еле видимый горизонт:

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!..

Он обернулся на голоса. В распахнутой двери товарного вагона пели красноармейцы. Одни стояли обнявшись, другие свесили босые ноги наружу и толкали ими в спину товарища, который, присев на шпалу, чистил песком котелок.

«Това-ри-щи его трудов»,— заводили низкие голоса и набирали силы, раскачивались, переливались со ступени на ступень, пока серебряный голосок не вспрыгивал выше их всех, на самую верхушку лесенки: «беспе-ечно спали близ дубравы!» И опять низкие начинали раскачиваться и забираться вверх, и опять переливчатое серебро запускалось на недосягаемую для них высоту: «беспе-ечно...» И вместе с этим пронзительным «е-е» босые ноги красноармейцев так дружно толкнули того, который присел на шпале, что он покатился с песчаного настила полотна, и котелок, звеня и обгоняя его, запрыгал под откос. И все захохотали, бросив петь, и вдруг лихо повыскакивали из вагона, веселые, молодые, в неподпоясанных, заходивших на ветру пузырями исподних рубахах.

«Бес-пе-ечно» — лилось в ушах Пастухова, и он поддакивал этому озорному, тонкому «е-е» и почему-то думал, что — да, вот именно — беспечно, беспечно, как песня жаворонка, и в этом, наверно, все дело. Внезапно и совершенно нелепо, как ему показалось, вспомнил он профессора Шляпкина, которого когда-то слушал в университете. Профессор был из крепостных, своим трудом добился прочного положения и даже скопил копеечку. Пустив корни, он поставил у себя на даче, в Финляндии, крошечный бюстик Александра II и укрепил под ним надпись: «Царю-освободителю — благодарный Шляпкин». Вот чем надо бы позабавить товарища — пришло на ум Пастухову, и он рассмеялся, и уже когда хохотал, все любуясь развеселыми солдатами, приметил коротенького круглого татарина, проходившего мимо, закутанного в стеганые толстые одежки, страшно похожего на профессора Шляпкина, и тотчас поправил себя, вспомнив, что надпись на бюстике была другой: «Царю-освободителю — от освобожденного». Но, все еще смеясь, решил, что «благодарный Шляпкин» — веселее.

В этот миг его окликнули. Из тамбура вагона-микст легонько кивал ярколицый, рыжеусый командир, без пояса, с маузером на узеньком ремне через плечо.

— Это вы везете семью в Балашов?

— Да. Я прошу погрузить нас с эшелоном. Будьте добры.

— Зачем же мне брать на совесть этакое дело? Там — война.

— Теперь везде война,— сказал Пастухов.

— Ну, какая тут война? Тут просто беспорядок,— снисхо-

дительно ответил командир.— Нет уж, извините. Как-нибудь без меня.

— Значит — нельзя?

— Нельзя.

— Тогда — до свиданья,— сказал Пастухов, по виду обиженно, однако со странным облегчением.

Почти весело он возвращался на вокзал. Нелепая фраза не выходила из головы: «благодарный Шляпкин...»

С лукавой улыбкой он остановился перед семьей. Все трое глядели на него тревожно и молча.

— Папа,— сказал мальчик, робко подвигаясь к нему,— тебя не застрелят?

Ольга Адамовна быстро уткнула лицо в ладони, и кудряшки ее затряслись.

— Зачем?— отозвался Александр Владимирович серьезно и немного растерянно.— Стреляют зайцев. Медведей. Куропаток стреляют.

— А на войне?

— Ну, то — на войне. Какая же здесь война? Здесь просто беспорядок...

Он взглянул на жену. Она сидела очень прямая и красивая от испуга. Глаза ее были мокры. Он опустился рядом, на чемодан, потеребил ее мягкие пальцы, сказал тихо:

— Мы, Ася, должны ехать в Саратов.

И поглядел вверх, за окно — тоскливое и пыльное.

3

Работа для Пастухова была вроде курения: все кругом делалось постылым, если он не мог пробыть наедине с бумагой часа три в день.

— Это все равно что вырвать у жницы серп во время жатвы,— сердито сказал он Асе, когда она, угадывая томленье мужа, положила ему на плечо руку.

Он пробовал пристроить на колени саквояж вверх дном и что-то чиркал карандашиком по листу бумаги. Но рядом бурные пассажиры, сгрудившись вокруг поставленного на попа сундучка, резались до пота в «очко». Они бормотали бессмыслицы, принимались браниться и ржали, как чудище ужасного сна Татьяны.

Ольга Адамовна затыкала Алешины уши, краснела и бледнела попеременно, с мольбой взирала на Александра Владимировича, но он только передергивал плечами:

— Привыкайте, мадам.

— О, я уже приспособилась! Но мой бедный мальчик!..

Вагон был набит народом, как жаровня — крошеной картошкой, приходилось сидеть там, куда воткнула толпа, и на каждой станции пассажиров все прибавлялось. Это были отпущенные на излечение красноармейцы, мужички ближних сел, беженцы с Украины, какие-то командированные москвичи, просто беглецы от городского голода и даже целая партия пленных австрийцев. В воздухе в три этажа торчали с полок разутые ноги, из-под скамеек высовывались головы храпевших вповалку людей. Все это прело, тушилось, как в духовке, отбивалось от мух, но люди не только не чувствовали какого-нибудь поругания над собою, а были убеждены, что едут от худшего к лучшему, как все путешественники по доброй воле, и живо шумели в разговорах.

В Аткарске Пастухову удалось выбраться на станцию за кипятком. На него поглядывали — как церемонно он нес в вытянутой руке медный, начищенный до розоватости кофейник, боясь ошпариться или облить светлый костюм. В очереди к кипятильнику он увидел Дибича и пригласил его — если охота — попить чайку.

Устроившись кое-как, они с благодарностью смотрели за нежными руками Анастасии Германовны: она раздавала чайной ложечкой мелко наколотый сахар, выкраивала перочинным ножом кусочки хлеба и все говорила молчаливой своей лучистой улыбкой, что как, в сущности, мило располагает такая вот поездка в вонючем вагоне, с мухами и картежниками, навстречу полной неизвестности, туда, куда вовсе не собираешься ехать, как это приятно, если, конечно, умеешь себя хорошо держать в обществе и вот так, как она, обаятельно оттопыривать мизинчик.

— Так вы, значит, хвалынский?— спросил Александр Владимирович.— Я ведь тоже хвалынский. Пастуховых — не слышали?.. Ну да, мой покойник родитель давно оттуда, а я последний раз был там юношей. В городе нас мало знали. У нас когда-то в уезде была усадьба. Нынче о таких вещах не говорят...

Он хитро прищурился на Дибича. Отвинчивая с фляги пробку, он вспомнил, как иногда в петербургском своем кабинете говаривал гостям, показывая на мебель карельской березы: «Это еще хвалынская, дедовская.. отец пустил поместье по ветру... только и осталось»... Сейчас весь дом, вместе с карельской березой, был брошен в Питере на произвол, и Пастухов сердился, что голова не упускала случая напомнить об этой

неприятности,— он по природе не любил неприятностей.

— Вот тут, в волшебной фляжке, содержится кровь ведьмы,— сказал он с загадочной строгостью в лице и плеснул немножко Дибичу в чай.— Я слил сюда все подонки, какие оставались в буфете,— коньяк, ром, водку и какую-то бабью наливку. Можете представить, когда я разболтал — пошла — пш-ш-ш!— пена. Проглотишь одну ложку — и в жилах просыпается черт.

Дибич глотнул чай, и прислушиваясь к действию напитка, недоуменно поднял брови: и правда, чудесное, давно не испытанное проказливое тепло разбежалось по всему телу. Пастухов с удовольствием засмеялся.

— Послушайте,— сказал он запросто, как старому знакомому,— чего вы только не перевидали, наверно, у немцев, а? Если не противно вспоминать, расскажите. Ну, хоть самое главное.

— Самое главное?— будто к себе обратился Дибич, задумываясь.— Не знаю, как я отвечу на это лет через десять. Если тогда будет интересовать такой вопрос и если протяну еще десять лет. Может, к тому времени немцы будут непорочными духами? Может, и во мне все выродится? А сейчас я помню только два чувства, с какими у них жил: я хочу есть, и я хочу бежать. Это и было самое главное.

— Тоска?— подсказал Пастухов.

— Да, конечно, тоска. Ну, не совсем — тоска. Разумеется само собой, тянуло к дому,— свою ведь землю по-настоящему поймешь на чужбине, это так. Но больше всего хотелось — доделать. До конца доделать.

— Что доделать?

— Войну доделать. Понимаете, так иной раз жутко становилось, что все — зря!

— Зря?

— Ну да, зря, попусту прошли через истребление. Это еще у меня с фронта. Люди столько перенесли,— я все видел, вот этими глазами.., окрошку, окрошку из людей! Иногда ведь не разберешь, бывало, где щепки, где кости солдатские, где грязь, где кровь,— всё вместе. Я долго верил, что доконаем. И страшно хотелось самому доконать, чтобы непременно своей рукой.

Дибич сжал маленький, костлявый кулачок и с отчаянной тоской постучал им об острую коленку. Он сидел низко на скатанной в комок шинели, и колени торчали вровень с грудью. Щетина вокруг его загоревшегося лица топорщилась, когда он начинал торопиться говорить.

— Я как попал к ним, так дал себе слово, что убегу. А тут еще голод. Из издевательства ведь голод, не по нужде. Если бы пленным давали хоть десятую долю того, что они вырабатывали. Ну, скажем, картошки. А то ведь одни бураки. И тут все то же, как на фронте,— истребление. Участок нам на кладбище отвели,— я сидел в Гросс-Пориче, небольшой лагеришко, тысячи на три,— так мы каждое утро волокли туда покойников. Одни животом мучились, не выносили бурака. Другие унижения не могли стерпеть, руки на себя накладывали. Почти всякую ночь — простите (взглянул он на Анастасию Германовну и сбавил голос) — в отхожем месте удавленников из поясков вынимали. Я тогда твердо думал, что все это мы немецким чертягам сквитаем. И утек. В первый раз — с прапорщиком одним.

— Поподробнее,— вставил Александр Владимирович, усаживаясь как можно удобнее.

— Дело простое. Русскому человеку плен — именно как поясок на шее. Французы, те — другие. У нас в офицерском бараке было половина на половину — французы и мы. Те как прибыли, так сейчас за устройство: крючочки деревянные прибивать для фуражек, распялочки делать для мундиров — прямо парижский салон. Барышни на стенках, песочек под ногами, посылочки от Красного Креста, купля-продажа. Смеются, поют что-нибудь католическое, по-латыни либо по-французски, веселое, как марш. И все что-нибудь пришивают, натирают, всегда руки в ходу. А русский сидит часами, глаза — в небо, на облачко какое-нибудь, а если запоет, то плакать хочется. Вдруг, правда, развеселится, пойдет в пляс, так что с чердака опилки сыпятся. А потом опять сядет, куда-то в одну точку уставится, да этак на неделю. Ну, вот и я смотрел, смотрел на небо и — прощай!.. Техника известная: надо ждать, когда в полях хлеба поднимутся и колос отцветет. Вызвался я работать: офицеры работали только по своей воле. Вместе с солдатами стал ходить в поле, окучивать бураки. Пригляделся. В конце нашего поля — лесок, небольшой, разрисованный, как все у немцев,— насквозь просвечивает. За ним узкоколейка и дальше — хлебное поле. Начал я нарочно отставать, будто не справляюсь, и вижу — один прапорщик, тоже из офицерского барака, все норовит замешкаться, отстать еще больше, чем я. Скоро мы с ним объяснились и, чтобы не мешать друг другу, решили пробовать счастья вместе. Первое время за нами очень чутко приглядывали, потом свыклись. Ландштурмист из конвоя все посмеивался — мол, крестьянская работа не для офицеров. Мы поддакивали — спины, мол, непривычные, не умеют

кланяться. Убежали мы за полчаса до ша́баша, к вечеру, перед самой поверкой. Расчет был такой, что надо не больше четверти часа, чтобы перебежать леском через узкоколейку и поглубже залечь в хлеб. А когда на поверке недосчитаются, конвоирам надо будет вести пленных в лагерь, и пока дойдут и нарядят погоню — стемнеет, и мы укроемся как следует, тут же, неподалеку, и заночуем. Обыкновенно стараются уйти сразу как можно дальше, а я убедил компаньона, что надо дольше лежать поблизости, потому что поиски ведут с каждым истекшим часом все дальше от места побега, и мы перехитрим — пойдем не впереди, а позади погони. Так все и вышло. Едва мы залегли в хлебе, как раздалась тревога: конвоиры выстрелили и забили в трещотки, вроде таких, как у нас по садам скворцов гоняют. Тут, к нашему счастью, проползал по узкоколейке товарный поезд и все звонил,— колокол у них паром работает, как заведет — конца нет. За этим звоном тревога была не очень заметна, сельчане в окрестности не обратили внимания. Ну, мы-то хорошо слышали, у нас больше всего уши работали. Ночь прошла тихо. Мы лежали в котловинке, посереди поля, и к рассвету набили полные карманы зерна — оно уже сильно налилось, и мы подкрепились. В хлебе мог остаться наш след, как мы ползли, но и тут нам повезло: с восходом подул ветерок, расправил примятый колос, и мы пролежали весь день, словно в тайнике. Жажда только мучила, воды мало захватили в бутылочке из-под одеколона — французы дали бутылочку. Ночью мы пошли и в первый переход перевалили горы на австрийской границе — мечтательные, знаете, места. К утру опять оказались в долинке, опять залегли в хлеб. Это уже в Чехии. Мы очень рассчитывали, что у чехов будет свободнее и что, может, население поддержит. Но показываться все боялись. Так и пошло: днем лежим в поле, ночью маршируем. Жилье обходим, как где огни, так — подальше в сторону. На пятые сутки мы ослабли: хлеба ни крошки, одно сырое зерно. Я еще ничего — тогда был крепкий, а прапорщик мой завел подговоры, что, мол, не лучше ли объявиться, все равно поймают, либо умрешь в поле. Лежит вечером, как камень,— не поднять. К утру разойдется, а потом свалится и спит. Ну вот. Ровно неделя исполнилась, как мы ушли, и вот лежим мы полднем в кустах. Рядом — выгон, стадо пасется. И забредает в кусты корова. Полнотелая такая, крупная, по белому рыжими разводами, и вымя — в ведро, из сосков молоко капает. Взглянул я ей в глаза — мол, не подведешь, кормилица? И она на меня так сердечно посмотрела, со слезой,— мол, пожалуйста, вполне сочувствую,— и просто так отвернулась к кусту и начала щи-

пать. Подполз я под нее, подставил рот под сосок и стал доить. Даже голова кругом пошла, точно пьяный сделался. Глотаю, облился весь, за ворот налилось, тепло так. Потом пальцы свело от усталости, а я все дою и дою. Пододвигается ко мне прапорщик, пусти, шепчет, дай мне! Я говорю — ложись с другого бока. Он заполз, лег, но моя голова ему мешает, и никак он не может приспособиться. Тогда я оторвался, уложил его и стал ему доить в рот, как в дойницу, сразу из двух сосков. Только слышу — шаги. Говорю,— кончай, полэем! И отползаю в чащу. А он снова берется неумелыми руками теребить вымя и ничего будто не слышит,— в кустах пошел треск, совсем близко. И вдруг смотрю — паренек-подросток, видно — пастух, шляпка на нем такая востренькая, раздвинул листву и замер — увидел под коровой человека. Не успел я подумать — что лучше?— заговорить с ним или таиться, ждать, как он себя поведет, а он — прыск назад и — бегом!.. На том наше путешествие и кончилось... Залегли мы в самую чащобу. Но слышим — вокруг голоса, и все ближе сходятся, с разных сторон. Подняли нас,— куда уйдешь? Я думаю — хорошо, что поймали чехи-крестьяне, хоть бить не будут. Стал с ними по-русски, они качают головами: так, мол, оно так, ну, а все-таки пожалуйте в холодную. Думал я, они для вида подержат нас, а потом дадут бежать дальше. Да только мы с толпой подходим к деревне, смотрим — на велосипеде полевой жандарм, австрияк. Ну, тут сразу разговор другой... Обидно, знаете, мне было, что взял нас австрияк. Я в шестнадцатом году, в наше наступление, этих тонконогих целыми бреднями в плен брал. Один мой батальон почти тысячу человек в Россию отправил. А тут... да что говорить!.. Вернули нас этапом в Гросс-Порич, заперли в штрафной барак, лишили меня оружия...

— Как — оружия?— перебил Пастухов.

Дибич остановился, подумал недолго, потом вытащил из нагрудного кармана красную ленточку. Пастухов взял ее, разглядел и передал жене:

— Ася, анненский темляк. На шашках носили, помнишь?

Анастасия Германовна благоговейно подержала темляк в своих мягких пальчиках и дала Алеше притронуться к ленточке.

— А еще бывает с белой кисточкой,— сказал Алеша.

— Кисточку я оторвал,— сказал Дибич.

— Вам не нравится?— спросил Алеша, и все улыбнулись.

— Вы были награждены?— спросил Пастухов.

— Да, незадолго до плена — клюквой,— у нас звали этот

темляк клюквой. Меня взяли в плен в бою за высоту. Немцы долго с нами возились, перебили мой батальон, я с остатками не сдавался, пока меня не ранило. Немцы оставили мне холодное оружие. Но в лагере комендант был трус, он отобрал у офицеров, которым сохранили оружие, шашки и оставил одни темляки. Это, сказал, вместо квитанций,— кончится война, получите шашки. Я перед побегом зашил темляк в рукав, кисточку пришлось оторвать, она толста. Зашил вот сюда,— вы знаете, как немцы делали с пленными?— вырезывали кусок рукава и на место выреза вшивали красную полосу. Этакую штуку не сорвешь. Я запрятал темляк в эту вшивку. Иголку мне дал француз. У французов все было, даже ножи имелись. А в русских руках и зубочистка страшна. Так вот, когда меня поймали, комендант мне заявил, что за побег меня лишают оружия, и велел темляк вернуть. Я сказал, что потерял. Меня три дня держали без воды. Все швы вспороли, а темляк — вот он,— проговорил Дибич ребячески гордо.

Пастухов удивленно и с любованьем захохотал.

— Русский человек, русский человек,— повторил он,— я понимаю, что в этих руках и зубочистка страшна. Вы хорошо сказали. И непременно — бежать. Бежать! Это — наше свойство. Бегут все: раскольники, невесты, каторжане, гимназисты, толстые. Вы не задумывались над этим? За праведной жизнью. За счастьем, за волей, за сказкой, за славой. Из городов — в леса, из лесов — в города. Странный народ,— заключил он, с любопытством озирая нагромождение тел в вагоне.

— И мы тоже бежим,— застенчиво улыбнулась Ася.

— Только — за чем?— вставил Пастухов.

— Как — за чем? За пошеном, за картохой, за свеколкой,— игриво и хозяйственно перечислила Ася, давая понять, что, не теряя своей воздушной улыбки, она, если хотите, умеет быть земной, как любая деревенская Феклуша.

— Ну и что же? Бежали еще раз? Не угомонились?— спросил Пастухов.

Лицо Дибича стало серым, как половик, испарина засветилась на круглом лбу, он тихонько покачал иссохший свой корпус, взглянул на хлеб.

— Что ж,— сказал он, сжимая зубы,— всего не расскажешь. Второй раз попытал счастья в одиночку. Все казалось, что если бы не компаньон, я бы ушел с первого раза. Но не повезло и на другое лето. Добрался я до Боденского озера. Далеко. Хотел в Швейцарию. Перехватили уже на лодке — поймали прожектором. И — в крепость...

Дибич оборвал себя, вытер лоб трясущейся рукой.

— Долго это протянется?— обвел он вагон помутневшим взглядом.

— Не знаю. Но похоже — не коротко.

— Вы можете объяснить, что это такое? Что происходит? Не названием каким объяснить — названий много,— а чтобы понять.

Пастухов прищурился за окно. Не пробегали, не проходили вешки и кустики, а вяло уползали назад, точно в раздумье — остаться им в поле или двинуться следом за окнами. Поезд трудно брал подъем, натягивая визгливые сцепы.

— Иногда мне кажется, я понимаю все,— проговорил не спеша Пастухов.— А иногда я не в состоянии разобраться даже в самой, казалось бы, очевидности. Может быть, только одно бесспорно: теперь уже весь народ,— а не одни раскольники, не одни толсты́е,— дыбом поднялся и бросился в свой побег. За праведной жизнью. За сказкой.

— За пшеном,— как будто поправила Ася и улыбнулась, но на этот раз — грустно.

— Продолжается русская история и, очень возможно...— начал опять Пастухов, и попридержал себя, и докончил значительно:— Не только русская история, а некая всеединая человеческая история.

— Печальная история,— снова грустно сказала Ася.

— Понять происходящее,— рассуждал Пастухов,— мне мешает особенность моего склада. Не то чтобы ум короток. А впечатлительность излишне велика. Это — трагедия. Трагедия художника. А я, должен вам сказать, художник. Чтобы быть художником, надо обладать острейшей впечатлительностью, иначе не увидишь мира. Но чем острее впечатлительность, тем больше страданий, потому что художник видит горе мира всего в каком-нибудь единичном явлении и не в силах отвратить от этого явления свой взор. Не вообще горе мира, как понятие,— вы понимаете меня?— а в живом человеке, который страдает. Ну, вот я вижу вас,— понимаете? Не вообще человека, а вас, вот в этом вашем побеге, о котором вы рассказали, вот в этой вашей гимнастерочке с нарукавной тряпкой пленного, в которую вы зашили темляк. И вы мне заслонили все, весь мир, то есть в данный момент,— понимаете?— в данный момент я ничего не вижу, кроме вас. Вы для меня — мир. И я не могу уже рассуждать понятиями, не могу говорить вообще, не могу ответить вам, что будет вообще. Пожалуй, только могу сказать — что будет с вами. Вам будет плохо, мне кажется — вам будет очень плохо.

Дибич немного отшатнулся, закрыл лицо, и было видно, как дрожала его рука, стукаясь локтем о колено.

— Ну, Саша! Что ты за ужасная пифия!— вспыхнула Ася.— Не верьте, пожалуйста, ему, я вас прошу. Он никогда не умел предсказывать...

Было похоже, что Дибич заплачет: он подергивался, почти содрогался, и все хотел отнять руку от лица, и все не мог. Наконец она у него будто отвалилась сама собой и повисла, вместе с другой, между колен. И, опять покрывшийся испариной и серый, он скороговоркой вытолкнул извиняющимся голосом:

— Еще кусочек хлебушка не дадите?.. Мне словно худо... после чаю...

Прошла секунда окаменения. Потом Пастухов схватил хлеб, откромсал, раскрошив, косой ломоть и протянул его, почти всунул в руки Дибичу.

— И непременно еще глотните этой ведьма́чки, нате, непременно!— засмущался и заторопился он, наливая из фляжки.

Ася смотрела в землю, кровь обдала ее щеки, и тонкие виски, и лоб, и она сделалась еще больше цветущей и прекрасной.

Дибич начал по-своему быстро-быстро жевать, и было в его алчности что-то животно-обнаженное, точно он вдруг встал, волосатый, передо всеми нагишом.

Ольга Адамовна, испугавшись, скорее загородила собой Алешу.

4

Повременив, пока рассосется толпа, Пастуховы перетаскали вещи на вокзальную площадь. Александр Владимирович скинул пальто, утерся, поглядел брезгливо на грязные ладони, захохотал какой-то своей мысли, поздравил жену:

— С приездом... черт побери! Вот я и на родине.

Виднелись кирпичные облезлые казармы, длинной прямой улицей, посереди дороги, люди гуськом тащили мешки, пулями вспархивали с мостовой бессмертные воробьи, вывески на заколоченных лавках все еще кичились мерклым золотцем — «чай, сахар, кофе». Поверх чемоданов и узлов, сваленных в кучу на булыжник, подбоченилась пестренькая корзиночка для рукоделия Ольги Адамовны, висела сетка с игрушками Алеши — заводной велосипед, четырехцветный мячик, самолет Фарман, книжка с картинками.

— Глупо,— сказал Пастухов.— Ухитрился растерять всех знакомых. За девять лет тут, наверное, не осталось ни одного.

— Саша, я говорю: ступай прямо к самому главному начальству, это всегда лучше,— с глубочайшей убежденностью и на очень тихой, вкрадчивой нотке посоветовала Ася.

— Оставь, пожалуйста. Нужны начальству мои чемоданы!

— Не чемоданы, а ты,— понимаешь?— ты! Скажи, кто ты, предъяви свой мандат и...

— Мандат? Что я — член Реввоенсовета? Продкомиссар? Уполномоченный Совнархоза?

Он фыркнул и повернулся к вокзальному подъезду. Совсем неподалеку он увидел сивобородого человека в сюртуке с глянцевыми рукавами, в выгоревшей шляпе, из-под которой свисали путаные прядки таких же, как борода, сивых волос. Несмотря на старообразность вида, это создание дышало странной живостью. Похожий на ученого или, может быть, губернского архивариуса,— Менделеев и канцелярист,— старик сочетал в чистом своем взоре робость и задор. Он рассматривал Алешу, как мальчишка, решивший свести знакомство и еще не уверенный — что из этого выйдет. Вдруг он петушком пододвинулся к Алеше и, вздернув брови, спросил:

— Куда же такое мы едем, а?

Ольга Адамовна тотчас взяла Алешу за ручку, притягивая к себе, но он нисколько не застеснялся и просто ответил:

— Мы уже приехали. Только папа еще решает, где мы будем жить.

— Вот именно,— буркнул Пастухов.

— Вы извините, что я заговорил с мальчиком,— сказал, покраснев, старик, бойко приподнял шляпу перед Анастасией Германовной и понизил голос, как подобает знающему толк в воспитании:— Такой на редкость красивый мальчик!

— Ну, что вы!— тоже краснея, возразила мать и, быстро глянув на Алешу, спрятала лицо рукой, чтобы он не видел ее удовольствия.

— Значит, ты хочешь быть саратовцем?— опять обратился к Алеше старик.

— Мы петербуржцы,— строго сказал Алеша.

Александр Владимирович усмехнулся:

— Некоторым образом, столичные беженцы. Бежим от самих себя. И тут совершенно чужие. Хоть я сам — здешний уроженец. Пастухов. Не слышали?

— Как? Вы? Ах, такого типа! Тот самый, да? Ага. Понимаю. Как же, как же!— спрашивал и тут же отвечал себе старик.— Теперь узнаю. Какой необыкновенный случай! Так, так. Очень

приятно. Разрешите: Дорогомилов, Арсений Романыч, таким образом — ваш земляк.

Он наскоро подал всем руку. Удивительно двоилась его манера: чем суетливее он говорил, тем больше смущался, до заикания, до бестолковости как будто, и в то же время делался все проще и радушнее.

— Я была права — слава всегда на что-нибудь пригодится,— сказала Ася с кислой насмешкой над своим простеньким словцом.

— Вы не посоветуете, где можно бы устроиться на первых порах?— спросил Пастухов.

— То есть — очень просто, на первых порах, например, у меня! — воскликнул Дорогомилов.— На моей квартире. Если, конечно, вам удобно. Я, знаете, неделю прихожу встречать с поездом старых, добрых знакомых, но их все нет! Телеграмма была еще две недели назад: выезжаем. Из Москвы. Подумайте! Так что у меня много свободного места, в моем казенном доме. Я одинокий.

— В каком смысле — в казенном? — поинтересовался Александр Владимирович.

— Ах, такого типа! — захохотал старик, громко прихлебывая воздух.— Не казенный дом, нет. У меня — казенная квартира, городская. В городском доме. Я был главным бухгалтером городской управы, тридцать пять лет, да, да, и так, знаете, остался в этой должности. Только теперь это — отдел коммунального хозяйства. Коммунхоз, знаете. Как же!

— А у меня будет своя комната? — спросил Алеша.

— У тебя будет вилла с фонтаном и собственный выезд,— сурово посмотрел отец.

— Нет, именно своя комната! — с самым серьезным участием наклонился старик к Алеше.— Папа с мамой расположатся в большой комнате, а в ней есть еще маленькая, выделенная из большой. И там будешь ты и вот...— Он сделал неуверенный поклон Ольге Адамовне,— если пожелаете, вы.

— Но вы говорите, это— коммунальная квартира? — спросила Ася не без боязни.

— Нисколько! Это — дом коммунальный, городской, а в квартире я как жил один, так и живу... пока, знаете, пока, без всякой перемены.

— Но мы же вас стесним! — растроганно и уже благодарно, с кристальной слезкой в глазу, проговорила Ася, чуть-чуть выпячивая губки.

— Что вы! Да у меня... Ну, поверьте, я буду только рад! У меня же еще две комнаты! У меня этаж, целый этаж! Это

мне город всегда давал квартиру... Я уже не помню сколько там лет!

— Фантастично! — сказал Пастухов.

— Судьба? — полуспросила и улыбнулась Ася.

Он кивнул ей, соглашаясь.

— Согласны? — упоенно оборачивался ко всем Дорогомилов и вдруг вздернул над головой шляпу счастливым жестом морехода, поймавшего в трубу долгожданную землю.

Алеша немедленно повторил этот жест, замахав летней белой своей фуражечкой, и крикнул:

— Мама согласна, согласна!

— Что ж ты орешь? — заметил совсем не сердито отец.

— Ну, теперь грузиться! Пойдем за тележкой,— сказал Дорогомилов и протянул руку Алеше.

Но Ольга Адамовна тотчас захохлилась, одергивая на себе изрядно пыльное сак-пальто из какого-то плюш-котика и выдвигаясь на передний план.

— Как можно, однако? Алеша с вами так мало знаком!

— Ах, мы познакомимся, познакомимся! Сейчас. Я сейчас.

Дорогомилов побежал к дальнему крылу вокзала, где еще пестрела разбиравшая пожитки толпа. Он вприпрыжку семенил ножками в круглых штанах, похожих на сосиски, под развевающимися долгими фалдами сюртука. Волосы его колосились из-под шляпы, одно плечо он выталкивал вперед, будто загребая воздух.

Алеша громко рассмеялся и начал подпрыгивать то на одной, то на другой ножке.

— Мама, он ведь нарочно такой, правда? Как все равно елочный.

— Он букинистический,— вразбивочку выговорил Пастухов, помигал с лукавинкой на Асю и внезапно тоже сорвался в смех: — Черт знает что такое! Ни на что не похоже!

— Поверь мне, Саша, поверь, я не ошибаюсь,— сказала Ася с проникновенным, залучившимся выражением лица,— это — праведник на нашем пути. Поверь.

Она как-то особенно придыхнула на слове — праведник.

— Или сумасшедший,— жестко сказал Пастухов.

Часа полтора спустя шествие подходило к дому Арсения Романовича. Он вел за руку Алешу, по пятам провожаемого взволнованной больше всех Ольгой Адамовной. По дороге, на паре двуколок, нанятые мужичонки катили поклажу. Сзади приглядывали за ними с тротуара Пастуховы.

Дом, в котором проживал Дорогомилов, стоял на одной из тихих улиц, примыкавших с Волги к городскому бульвару — Липкам. Это был двухэтажный особняк, когда-то розово покрашенный по штукатурке, а сейчас — бурый, в щербинах, живописных трещинах и с раскрошенным цоколем. Он легко запоминался по тамбуру парадного крыльца, выступавшему на тротуар. В узорчатых оконных и дверных переплетах тамбура еще переливались не добитые мальчишками разноцветные стеклышки. Другие архитектурные приметы здания были довольно обычны для вкуса, в каком любили строить в губернских городах, да и в уездах, лет сто — полтораста назад: верх в венецианских окнах, с овальными фрамугами, так же как и входная дверь тамбура; простенки от цоколя до карниза в пилястрах, очень плоских, приплюснутых, так что их можно было принять за намалеванные на штукатурке. Заборчик с воротами направо от дома и флигель — налево не отличались ничем от соседних, только старые желтые акации, уже раскрывая листочки, долговязо лезли хлыстами через забор.

Арсений Романович скрылся за калиткой во двор и через минуту, запыхавшийся, отворил тамбур. Начали поднимать наверх вещи. Алеша первый вбежал по певучей деревянной лестнице и очутился в коридоре перед окном. То, что он увидел, превзошло его ожидания. Арсений Романович не только не приврал, рассказывая всю дорогу с вокзала, какие чудеса откроются Алеше на новой квартире, но даже приблизительно не мог передать необычайность мира, вдруг брошенного прямо Алеше под ноги.

По склону вниз спускался большой сад. Одни деревья чуть-чуть распушились, на других еще только высыпали разбухшие почки и висячие бархатные червяки свекольного цвета. Но сад уже казался кудрявым. Пятнышки света будто паслись на узких тропинках, как желтые цыплята. Трава была разной — то маленькая-маленькая, прямая, точно пастриженная ножницами, то лопоухая, витая. Старая тачка с отломанным колесом валялась на боку. «Колесо-то мы починим!» — подумал Алеша и взглянул поверх сада.

Сначала он ясно различил белую церковь с колокольней и на ней — высокий тонкий шпиль. Потом, сразу за церковью и за шпилем, он увидел, что-то непонятное — живое от сияния, громадное, как много-много полей, уходивших во все стороны до самого неба. Потом он моментально понял, что это — не поля, а вода, и потом еще скорее, чем моментально, сообразил, что эта вода — Волга. Он вскрикнул:

— Волга! Мама, Волга!

Ему никто не отозвался — все были заняты таканием вещей, и его неожиданно взяло сомнение — не ошибся ли он? Волга должна была быть похожа на Неву, но только гораздо больше. А то, на что смотрел Алеша, нисколько не напоминало Неву. Не было нигде настоящего конца, а там, где, вероятно, начиналась земля, было все так же плоско и бесконечно, как на воде. Там был другой цвет, какой-то синевосерый, но цвет тоже живой, подвижной, как на воде. Там даже виднелись деревья и, может, отдельные домики, но они тоже словно росли из воды. И кроме того, Алеша сколько раз слышал, что на Волге много больших пароходов. А тут, как он ни искал глазами, везде была вода и вода, и ни одного парохода. Правда, совсем близко, над крышами домов, Алеша заметил две темных лодки, плывших друг другу навстречу. Но лодки могли плыть и не по Волге.

Алеша решил хорошенько проверить — могла ли все-таки это быть Волга, и даже обрадовался, что никто не слышал, как он крикнул — Волга! Как вдруг из-за церкви появился на воде небольшой уголок, и уголок этот стал вырастать, будто выдвигаться из церкви, как крышечка из пенала. Затем уголок превратился в квадратик, и на этом квадратике появился второй квадратик, и они оба продолжали выдвигаться из церкви, и нижний вез на себе верхний, и потом сразу на верхнем выехал третий, совсем так же, как второй на первом, и все они начали вытягиваться в полосы и вдруг ярко забелели на солнце, и Алеша отчетливо разглядел на каждой полосе маленькие окошечки, и окошечек стало выдвигаться из-за церкви все больше и больше, и Алеша понял, что это идет пароход. Да, это недалеко от берега шел пароход! Все больше, больше появлялось пароходных примет — лодка на верхней палубе, лоцманская будка, черная труба, еще лодка, и внизу, под колесом — взбитая яичными белками пена и веером сверкающие волны, и на палубе — опять лодка, и потом — верхняя полоса с окошками оборвалась, за ней оборвалась средняя, потом выползла корма, потом — наклонная мачта с подвешенной наискось лодкой, над ней — лисьим хвостом — флаг,— и вот весь огромный трехпалубный пароход, от носа до кормы, как на ладошке, поплыл перед поднявшимся на цыпочки и ухватившим оконную раму Алешей, и — словно для того, чтобы не оставалось никаких сомнений,— пароход этот гневно изверг из-за трубы клубчатую струю молочно-белого пара, и через секунду глухо толкнулся в окно стариковский рассерженный гудок.

— Пароход на Волге! — вне себя закричал Алеша.

— Ура! — крикнул в ответ Арсений Романович, уронив на последней ступени чемодан, и все, как по сговору, подошли к окну и остановились плечом к плечу, глядя на реку.

— Ах, господи боже мой,— пароход! —после минуты молчания вздохнул отец.— Может, Ася, хорошо, что мы попали в Саратов?

— Ну, конечно, Саша! — ответила мать со счастливым беззвучным смехом.

— Очень, очень хорошо! — подтвердил Арсений Романович и легонько толкнул Алешу в бок: — Правда, Алеша?

— А бывают пароходы еще больше этого? — спросил его Алеша.

— Нет, уж больше этого никогда не бывают! — решительно сказал Арсений Романович.

— Мы поедем на пароходе, папа?

— Гм... может быть, даже на гидроплане,— хмуро проговорил отец и отошел от окна.

Надо было устраиваться, и все опять засуетились. Дорогомилов объявил, что должен идти на службу, и просил Пастухова располагаться как угодно. Алеше он сказал, что в саду можно играть на траве, что в сарае есть верстак, что ходить разрешается по всем комнатам дома.

Квартира была странной — из тех, что возникали не по плану хозяина, а строились казной для неизвестных, именно казенных квартирантов, однако по старинке — толстостенная, с половицами, которых не прогнет и сытый конь, с порогами, которых не сотрут три поколения. Посереди передней комнаты, занятой нежданными гостями, покоилась преобъемистая русская печь,— видно, помещение предназначалось и под кухню, и под столовую, как часто бывало в старых семьях. От печи шли две переборки, и они образовывали маленькую комнату с лежанкой.

На лежанке сразу же и посидел, и полежал, и постоял во весь рост Алеша, измеряя руками, сколько не хватает до потолка, а потом, быстро расставив на ней прискучившие игрушки, улизнул в коридор, к окну. Выходить в сад без Ольги Адамовны ему запретили, и, посмотрев еще немного на Волгу, он начал обследовать квартиру.

В коридоре находилось только единственное окно, с этим самым видом на Волгу, а дальше, к концу, было совсем темно, и в темноте, по стенкам, чувствовалось много вещей и хлама. Привыкнув к сумраку и продвигаясь маленькими шажками вперед, Алеша встречал корзины друг на дружке,

разрозненную поленницу дров, шкаф с листом картона вместо оторванной дверной створки, железный рукомойник, большую клетку (наверно — для попугая), кресла и на них сложенную кровать, штабель книг, накрытый половиком, и над книгами — лампу, висящую бог знает на чем. Алеша тихонько трогал вещи, особенно клетку и рукомойник с носиком, который вертелся. Пальцы его сделались шелковистыми, он понюхал их, они пахли, как тротуар летом.

Он дошел почти до самого конца коридора и увидел две противоположных двери. Левая стояла приотворенной на узенькую, в нитку, щелочку, и там было солнце. Он заглянул туда. Это была комната с плитой. Окно выходило в тот же сад, только с другой стороны, под углом, и виден был соседний реденький сад, а церковь выспалась сбоку и была отсюда не такой, как из коридора.

На плите лежал спасательный круг, раскрашенный белым и красным, с оборванными петлями веревки по наружной стороне. Алеша приподнял круг, он оказался тяжелым: удивительно, как такой снаряд не только не тонул в воде, но даже мог удержать утопающего. «Бросай утопающему» — вспомнил Алеша надпись на спасательном круге в Петрограде, на мостике, около Летнего сада, где вдобавок висели и пробковые шары. Он стащил круг с плиты на пол и немножко прокатил его стоймя, как обруч. «Бросай утопающему!» — воскликнул он про себя и осмотрелся — куда бы можно было бросить круг.

За перильцами он увидел лестницу. Она вела во двор — деревянные сени внизу просвечивали полосочками, и выход из сеней был закрыт неплотно. Если бы утопающий обнаружился там, внизу, то круг надо было бы бросать по лестнице, а потом за ним пришлось бы спуститься и можно было бы немножечко выглянуть в сад. Алеша подкатил круг к лестнице и только было набрал полную грудь воздуха, чтобы скомандовать: «бросай...» — как из коридора влетела Ольга Адамовна и, затрясши своими кудерьками, туго зажмурила глаза: она не могла выдержать беспредельного ужаса картины. Потом она кинулась к Алеше, с гримасой страдания отставила круг, отряхнула Алешин пиджачок, отряхнула коленки, отряхнула ладошки и — поборов с помощью этих самоотрешенных действий свою немоту — потребовала ответить:

— Где была эта ненужная тебе вещь?

— Эта ненужная вещь была на плите,— сказал Алеша. Она, крякнув, втащила круг на плиту.

— Алеша, боже мой! Я не могу сейчас выйти с тобой гулять. Мы должны с мамой разобрать багаж. Дай же мне, мой мальчик, слово, что ты не сойдешь по этой лестнице ни на одну ступень! — произнесла Ольга Адамовна и посмотрела вверх, словно призывая наивысшего свидетеля.

— Я не сойду по этой лестнице ни на ступень,— повторил Алеша совсем так, как повторял на занятиях французским языком, и тоже поднял довольно хитрые глаза к потолку.

Когда Ольга Адамовна ушла, он минуту оглядывался с разочарованием: в комнате ничего, кроме спасательного круга не обнаружилось. Неизвестно почему здесь находилась плита. Может быть, это было нечто вроде летней кухни.

Он вспомнил о противоположной двери в коридоре и подошел к ней. Она была закрыта, но отворилась легко, едва он нажал. Здесь так же много обреталось вещей, как в коридоре, однако они были освещены двумя окнами, выходившими на улицу. Очевидно, тут жил Арсений Романович: застланная порванным одеялом кровать, письменный стол, похожий на прилавок слесаря и починщика керосинок, стопки, связки, штабеля и горы пожелтевших книг, плюшевое потертое кресло с одним подлокотником, этажерка с цветастой посудой и пробитыми весьма разнообразно стеклами — все говорило о жизни человека деятельных и даже бурных интересов.

Алеша всунул в притворенную дверь сначала нос, потом голову, потом плечо и одну ногу, потом не вошел, а вобрал себя в комнату всего целиком. Но он сделал только единственный шаг.

Внезапно стену пронзили крики двух ярых голосов. Что-то упало, покатилось, застукало, крики превратились в кряхтенье, рычанье, посыпались удары, стало ясно озлобленное бормотанье, приговариванье, и вдруг — грохоча — из распахнувшейся двери слева (которую Алеша не успел заметить) в комнату вывалились двое сцепившихся мальчишек. Алеша отшатнулся и этим испуганным движением наглухо захлопнул за собою дверь. Он был наедине с лихими драчунами. Они колошматили друг друга исступленно, ухватившись за растерзанную книгу и стараясь ткнуть ею в лицо, в то же время бутузя свободными руками бока, спины, головы, плечи — все, что подворачивалось под быстрые кулаки. Все больше вырывалось из книги растерзанных листов, летавших и садившихся вокруг, как голуби, все жестче, точно швейная машинка, барабанили кулаки, и Алеша не мог разобрать,

какому из мальчишек попадало больше, кто брал верх, кто сдавал. Ему показалось — страшные бойцы убьют друг друга насмерть. Они менялись местами, увертывались, пригибались до пола, подскакивали, и в мелькании, в трепете, в завихрениях рваной бумаги он лишь разглядел, что один мальчишка был рыжеватый, а другой беленький — такой же, как сам Алеша,— и что они были больше его. Ладони у Алеши похолодели и взмокли, он думал, что надо убежать, но не мог шевельнуться и не мог оторвать глаз от содрогавшего сердце жуткого и великолепного зрелища. Он ничего не понимал из оборванных, как клочья книги, лютых словечек, которые выжимали из себя кряхтя и захлебываясь, мальчишки, но, сдерживая свое боязливое дыханье, он тоже начинал незаметно покряхтывать и что-то лепетать.

— Съел? — улавливал Алеша сквозь шипенье, удары, треск, шум, стук и топот возни.— На еще, на!.. Слопал?.. Получай!.. Сам получай, сам, сам!.. На, на!.. На еще!.. Раз!.. раз... ать... ать!.. На!.. А!..

Наконец в руках мальчишек остался от книги пустой переплет. Рыжий вырвал его, отскочил, с размаха бросил им в лицо беленькому и крикнул:

— Вот твой Конан-Дойль! Жри!

Но беленький увернулся и опять беззаветно налетел на рыжего, приказывая:

— Я тебя!.. наконандойлю!

Они заработали в четыре руки поверх низко, по-телячьи опущенных голов, но ненадолго. Промахнувшись раза два, они отошли недалеко друг от друга, утерлись рукавами, всхлипывая и дыша со свистом, расnоясались, подтянули штаны, одернули рубашки, застегнули пояса, еще раз утерли красные поцарапанные лица, но уже не рукавами, а ладонями, и посмотрели — не осталось ли кровавых следов. Но лица пострадали гораздо меньше книги.

— Попало? — сказал рыжий.

— Тебе еще не так попадет, постой! — отозвался беленький.

Они помолчали, продолжая приводить себя в порядок и оглядывая поле брани. Беленький первый поднял с пола несколько листов и внимательно посмотрел на страницы.

— Вот тебе от Арсения Романыча теперь будет!

— Это тебе будет. Ты зачем рвал у меня книжку?

— А ты чего ее стащил с полки?

— А ты зачем ее запрятал? Сам соврал, что не нашел, а сам нарочно запрятал.

— Я ее нашел, я первый и должен был читать. Все равно потом бы дал тебе.

— А чего ты врал? Я по носу видел, что врешь, когда ты подлизывался к Арсению Романычу.

— Я не подлиза. Это ты подлиза.

— Да, как бы не так! Каким голоском засюсюкал: «Арсений Романыч, если мы найдем Конан-Дойля, можно нам взять?» А сам уж давно нашел и запрятал нарочно черте-куда, под географию!

— А тебе чего надо в географии! Полез!

— Чего надо! Я знал, куда запрячешь. У меня нос тонкий.

— Тонкий! Вот я тебе расквашу, он будет толстый.

— Расквась! — сказал рыжий и начал засучивать рукав. Но все обошлось. Постояв, он тоже поднял с пола листочек.

— Пашка, у тебя какая страница?— спросил беленький немного погодя.

— Семьдесят пятая. А у тебя?

— Одиннадцатая и потом дальше, до шестнадцатой.

— Давай разложим на постели, а потом как следует сложим.

— Мы ее склеим. Я у дедушки возьму клейкой бумаги, у него есть.

Присев на корточки, они стали ползать, вытаскивая листы из-под кровати, стола и кресла и передавая друг другу. После драки они стояли лицом к окнам, да были к тому же так поглощены своей ссорой, что ничего, кроме себя, не видали. Взявшись собирать книгу, они неминуемо должны были подползти к Алеше: некоторые листочки долетели до его ног. Он уже хотел помочь подбирать, потому что страх прошел и он очень был рад, что после такого отчаянного сражения не оказалось даже тяжело раненных. Но сначала надо было объявиться. Он решил покашлять. И как раз в этот момент рыжий распрямился, оглядывая комнату, и прямо уперся своим желтым бесстрашным взором в Алешу.

— Это что? — спросил он.— Ты чей? Витя, смотри!

Но беленький уже подходил и глядел на Алешу тоже необыкновенно бесстрашными и потому пугающими глазами.

— Наверно — которые приехали к Арсению Романычу из Петрограда,— сказал он.

— Ты из Петрограда? — спросил Пашка.

 — Да,— ответил Алеша и поперхнулся слюнкой.

— Чего особенного нашел в тебе Арсений Романыч! — удивился Пашка.

— Ты что же — все видел? — спросил Витя.

— Да. Извините,— сказал Алеша, поклонившись.

— Ничего. Мы не боимся,— сказал Пашка.— Как тебя зовут?

— Меня Алешей.

— Сколько тебе лет?

— Семь-восьмой,— выговорил Алеша в одно слово.

— Мы саратовские, вот я и Витька, а нам восемнадцать лет. А ты петроградский, а тебе всего семь.

— Да, какой хитрый! Так не считают — двоих вместе! — посмелел Алеша.

— Тебе не выгодно. Трусишь, что мы старше. Ну, выходи, козюлька, на одну левую руку! Хочешь? — вызывающе сказал Пашка.

— Нет, не хочу. Мне Ольга Адамовна запрещает драться,— упавшим голосом признался Алеша.

— Это кто?

— Моя бонна.

— Это что?

— Гувернантка,— разъяснил Витя.

— Ты больше слушайся своей губернаторши,— сказал Пашка.— Этак тебе всё запретят, если слушаться будешь.

— Ну, собирай листочки, Алеша,— приказал Витя.

Алеша мигом опустился на колени и с восторгом полного избавления от страха начал ползать. Он вскакивал, подняв два-три листочка, отдавал их мальчикам, опять становился на колени, опять вскакивал и так добрался до той комнаты, откуда выскочили драчуны. Тут он увидел высокие длинные полки с книгами, не в особенном порядке, но расставленные и не очень пыльные.

— Библиотека! — сказал он, присев на пятки.

— А ты знаешь? — спросил Пашка ревниво.

— У моего папы тоже библиотека.

— Такой, как у Арсения Романыча, нет ни у кого,— сказал Витя.

— Мы ее скоро городской сделаем, для всех мальчиков и девчонок,— сказал Пашка.

— Так тебе Арсений Романыч и даст! — возразил Витя.

— А мы, если захотим, отберем,— гордо объявил Пашка,— по новому закону,— что хотят, отбирают!

— Ну и дурак,— сказал Витя.

— Сам дурак. Хочешь только все для себя. Жила!

Они оба нахмурились, вкладывая листы в переплет книги. Через минуту все было собрано, и Пашка сказал Вите:

— Тебе дедушка велел домой идти.

— Да, домой. А сам велел на базаре краску продать.

— Какую?

— Для яиц. Либо продать, либо обменять на яйца.

Витя достал из кармана пакетики, и все трое мальчиков стали разглядывать нарисованных на пакетиках ярких зайцев, петухов и огромные, размером больше зайцев и петухов, алые, лазоревые, лиловые яйца.

— Больно надо теперь твою краску для яиц,— сказал пренебрежительно Пашка,— когда пасха-то прошла.

— Деревенские что хочешь возьмут,— ответил Витя.— Им все надо. Я раз вынес на базар резиночки для записных книжек. Знаешь? — кругленькие такие. Деревенские все до одной похватали.

— У тебя дома пасху справляли? — спросил Пашка.

— Ага. А у тебя?

— У нас мать при смерти. Спрашиваешь! — отвернулся Пашка.

Витя поднял к самому носу Алеши книгу, потряс ею внушительно, проговорил с угрозой:

— Об этом Арсению Романычу ни гугу! Смотри!

Алеша покачал головой и солидно заложил руки за спину.

Когда приятели двинулись к двери, она раскрылась. Ольга Адамовна — в своем необыкновенном сак-пальто и в шляпке-наколочке,— остановившись, приложила руку к сердцу. Длинный подбородок ее странно шевелился.

— Алеша, как мог ты сюда попасть... с этими мальчиками?! Вы кто такие, мальчики? Вы здесь живете?

— Мы ходим к Арсению Романычу,— сказал Витя, осматривая Ольгу Адамовну, как хозяин.

— Это твоя? — нелюдимо спросил Пашка у Алеши.

— Мы познакомились,— сказал Алеша, примирительно обращаясь к Ольге Адамовне.

— Надо было ждать, когда вас познакомят старшие,— заявила Ольга Адамовна.— Что с твоими коленками, Алеша! Идем, я почищу, умою тебя, и мы должны гулять. До свидания, мальчики.

Она взяла Алешу за ручку.

Пашка дернул им вослед головой и понимающе мигнул Вите:

— Айда на базар!

В коридоре Ольга Адамовна встретила Анастасию Герма-

новну, таинственно притронулась к ее локтю и прошептала:

— Сюда ходят такие плохие мальчики! Боже мой! Мы попали в плохой дом!

— Не пугайтесь, милая Ольга Адамовна,—легко дохнула на нее Анастасия Германовна.— Не плохой, а очень смешной дом! Ни одной целой вещи. Какие-то инвалиды. Дом смешных инвалидов!

Она мягко, на свой беззвучный лад, засмеялась и вдруг, в неожиданном порыве, больно прижала голову Алеши к себе под сердце.

5

Меркурий Авдеевич Мешков поднялся рано. Он никогда не был лежебокой, а последний год совсем потерял сон, начинал утро с зарей. Это был уединенный, словно монастырский час. Из смежной комнаты тихо слышалось дыхание дочери. Внук Виктор иногда стукал во сне то коленкой, то локтем об стену,— забияка, и сны-то у него петушиные! В отца, что ли,— Виктора Семеныча? Тот по сей день хорохорится. Уж, кажется, подрезали крылышки и хвост выщипали, от гнезда ни пушинки, ни прутика не оставили, надо бы стихнуть — так нет! Все чего-то прикидывает да сулит: «Погодите, папаша, погодите!» — «Чего годить, неугомона?— спрашивает Меркурий Авдеевич.— Полтора кромешных года годим, а только ближе к смерти. Вон моя Валерия-то Ивановна не дождалась, опочила».— «Все равно,— возражает Виктор Семенович,— возвышен ли ты, унижен ли — все равно с каждым днем ближе к смерти, это верно. Но это зависит от строгости матери-природы. От человека зависит другое. Настоящему человеку дан ум. Уму назначено создать устройство жизни».— «Вишь, как он ловко все устроил, твой ум-то!» — торжествует Меркурий Авдеевич. «Это не мой ум,— опять возражает Виктор Семенович,— это *ихний* ум. А у них ум простой. Они думают силой взять. Двадцатый же век такой, что без образованности сила ни к чему, разве во вред. Возьмите, папаша, меня. Ну, какой я им сотрудник? Смеху подобно! А они меня в исполком позвали. Почему? Потому что выше меня по образованности автомобилиста-механика нет во всем городе. Колесить на машине полный идиот может. Но содержать машину — попробуй без образования! Ломать — они без нас! А починять — они к нам! Образование их защемит, папаша, погодите!» — «Я для себя все решил,—

отвечает Меркурий Авдеевич,— годить нечего. Да и что ты заладил: папаша, папаша! Три года скоро, как я твоего сына ращу, и Лиза мне уже твое имя вспоминать запретила. Вот как у нас! А ты все — папаша!» — «Вы дед моему сыну, отец моей жене. Что же вы пренебрегаете? — упрямствует Виктор Семенович.— Все восстановится, и Лизу с сыном вернут мне по закону. Так что вы — и бывший мой папаша, и будущий. По гроб доски не отвертитесь!» — «Нет,— не соглашался Меркурий Авдеевич,— Лиза к тебе не вернется, напрасно себя утешаешь, это, брат, мираж-фиксаж. Лиза на вкус свободы отведала».— «Что ж свобода? — не смущался Виктор Семенович.— Пускай неволя, лишь бы хлеба вволю. А хлеб ко мне скорей придет, чем к Лизе. Свобода! Я бы тоже за свободой вприпрыжку побежал, да живот не пускает. Вот я и катаю на «бенце» богом данных властей».— «Богом данных! — укоряет Меркурий Авдеевич.— Бесстыдник!» — «А как же иначе, папаша? — удивляется Виктор Семенович.— У них стыда нет, а у меня должен быть? Этак я никогда с ними общего языка не найду!» — «Что же ты им бражку варить помогаешь?» — уже ярится Меркурий Авдеевич и вещим голосом, будто желая образумить заблудшего, повторяет не гаснущее в памяти пророчество Даниила: нечестивые будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют...

Внук Виктор опять стукнул в стенку, и Мешков подумал: нет, не в мать, не в мать! У Лизы душа — в незабвенную покойницу Валерию Ивановну: удивленная жизнью душа. Вот только упряма сделалась. Откуда бы? Не от меня же?..

Он считал, что свой грех упрямства давно в себе преодолел, особенно с того момента, когда положил уйти из мира, приняв все в мире, как показанное, как премудрость кары божией и сбывание пророчеств. Он решил, что покорствует происходящему по зову сердца своего. Но он хорошо видел, что не покорствовать нельзя: если не дашь — возьмут, если спрячешь — найдут, если не поклонишься — сшибут шапку, да заодно, может, и голову. А когда убедишь себя, что покорствуешь по воле своей и во имя душевного спасения, то и впрямь как будто смиришься и хоть часок — вот такой часок после зорьки — проведешь в преклоненном растворении чувства. Злые люди в это время уже не придут — светло, а добрым людям приходить рано.

Безропотно покачиваются на улице в палисаднике тонкие ветви ивы, вздохи ветра касаются их деликатно, листва серебристо-молочна, нежная, как свет опала. Дерево поса-

жено самим Меркурием Авдеевичем, поливал он его вместе с Валерией Ивановной и — гляди-ка! — вон как разрослось, и сколько, значит, ушло времени — не счесть и не понять! Да сказать правду — ушло все время, все время Меркурия Авдеевича, осталась одна оболочка. На что ни взглянешь — все напоминает Валерию Ивановну. Кажется, она занимала не великое место во многосуетном повседневье Мешкова, а умерла — словно взяла с собой все. Не умерла, нет. Меркурий Авдеевич называл ее смерть — успением, мирной кончиной, говорил, что душа ее отлетела, вознеслась вот с таким деликатным вздохом утреннего ветерка. Смертью своей она даже мужа не обеспокоила, а так же, как жила, никого не утруждая, так и отошла— уснула с вечера и не проснулась. Поутру Меркурий Авдеевич подошел к ее постели, нагнулся, да так и пал лицом на холодное и уже твердое лицо жены. Было это год назад, и с тех пор, проверяя в воспоминаниях прожитое с Валерией Ивановной, он не отыскивал — в чем бы повиниться перед нею за всю супружескую жизнь, кроме, пожалуй, самых последних месяцев. В эти последние месяцы существования Валерии Ивановны он угнетал ее своим сумасбродным, до навязчивости выросшим желанием упразднить в доме всякий след красоты, всякий уют, даже всякое удобство. Что это было! Вот висит на гвозде картинка. Меркурий Авдеевич косится, косится на нее, ходит, ходит из угла в угол, подпрыгивая по-своему на носочках, потом вдруг остановится, стащит со стены картинку, выставит ее из рамы и наколет на гвоздь как-нибудь покривее, да еще тыльной стороной наружу, а раму — пойдет на чердак закинет. «За что ты ее, сколько лет мы ею любовались, чем она провинилась?» — взмолится Валерия Ивановна. «Успокойся, мать,— ответит Меркурий Авдеевич,— нам с тобой хуже — им лучше!» — «Да ведь они же не видят!» — воскликнет она. «А вот придут — пускай увидят!» — скажет он. Либо отвинтит от кроватей никелированные шишечки и засунет их куда-нибудь в ящик с гвоздями. А то повернет буфет лицом к стене, так что к нему и подойти неладно, да еще прикажет, чтобы паутину не обтирали, а так бы и оставили — в пыли и в засохших мухах. И опять один ответ: *они* хотят безобразия — пускай любуются безобразием! Цветы он засушил, горшки из-под цветов выкинул, вместо скатерти велел накрывать стол клеенкой и все ждал, что кто-то непременно к нему явится и непременно изумится, как он худо живет, удостоверится, что у него в доме столь же мерзко, сколь мерзко должно быть у того, кто явится, и, значит,

как раз так, как требуется временем. Но к нему никто не являлся. Этой смутной манией он доводил Валерию Ивановну до горючих слез. Однако теперь, по здравом рассуждении, он все-таки склонялся к тому, что был прав и стало быть, неповинен перед памятью покойницы. Ибо только Валерия Ивановна скончалась, как к нему действительно явились осматривать дом, и двор, и флигели, и затем вскоре муниципализировали все владение, предоставив ему с Лизой и внуком две комнаты. Он жил теперь в бывшем своем доме на положении не квартиранта даже, а комнатного жильца, как жили вселенные в другие комнаты старик из цеховых да трое студентов-медиков. Он жил в чужом доме, в доме, который принадлежал *им*, и к *ним* он причислял и старика, и студентов, правда, тоже не владевших домом, но расположившихся не хуже иного владельца — легко. привольно, беззаботно. Посмотрела бы покойница Валерия Ивановна: прав был Меркурий Авдеевич или нет? Даже кровать, на которой она скончалась, нынче стала достоянием новоявленного хозяина,— на ней почивал жилец-старик. Добро хоть шишечки Меркурий Авдеевич вовремя отвинтил да выкинул! Не то цеховому жилось бы совсем по-вельможьи...

В утренний этот серебристо-опаловый час спал весь дом, весь бывший дом Мешкова — жиличка Лиза с жильцом-сыном, жилец-старик, жильцы-студенты. Бодрствовал один жилец Меркурий Авдеевич. И, перебрав в уме все совершившееся, призвав разум и сердце к смирению, Меркурий Авдеевич достал с этажерки книгу, тетрадку, присел к столу, обмакнул перо в пузырек, выговорил с неслышным воздыханием:

— Бодрствуйте, се гряду скоро!

Библиотека его разорилась: афонские душеспасительные книжечки, вплоть до затворника Феофана, он распродал и роздал, а возлюбленную драгоценность — жития святых, Четьи Минеи тож — преподнес недавнему своему знакомому викарному епископу, доживавшему дни в скиту за Монастырской слободкой. Но все-таки немногие книги он сохранил, рассовав их по углам, испачкав нарочно, измяв и оторвав обложки, дабы придать им вид крайней никчемности.

Книга, которую он сейчас усердно штудировал, была самому ему несколько странной, как бы соблазнительной, потому что принадлежала перу нерусского сочинителя, некоему совершенно неведомому и оттого загадочному отставному полковнику Ван-Бейнингену — то ли фламандцу, то ли голландцу по происхождению. Но, несмотря на чужеземность источника, он убеждал Меркурия Авдеевича не только тем,

что был дозволен цензурою еще в роковой девятьсот пятый год (понимала же цензура, что делала), но и неоспоримым родством с тем духом православия, который, повергая Мешкова в умиление, питал его ум пищею наидуховнейшей. Он выписывал в тетрадь хронологию, начиная с сотворения человека — Адама и Евы — в 4152 году, и сопоставлял даты, вослед отставному полковнику, с текстом библейских книг. Разительно волновали его исторические имена, вроде Ассархаддона, царя ассирийского и вавилонского, или Феглафеласара. Иные записи были кратки: «753. Основание Рима». Иные неожиданно подробны: «713. Сеннахерим в Иудее взял в течение трех лет все укрепленные города. Езекия дал 300 талантов серебром (тут Меркурий Авдеевич сначала описался, поставив «рублей» вместо «талантов», но вовремя заметил ошибку и ухмыльнулся в том смысле, что, мол, на триста рублей много не сделаешь, нынче вон ржаная мука стала триста рублей! — и подчистил рубли ножичком, и продолжал выписывать) и 30 талантов золотом за обещанный мир. Но так как он имел намерение сделать нашествие на Египет и боялся оставить в тылу у себя непобежденного врага, то обложил Иерусалим. Езекия и пророк Исайя молят бога о защите, и в одну ночь умерло в ассирийском лагере 185 000 воинов и Сеннахерим отступил в Ниневию, где был убит двумя старшими своими сыновьями, а младший сын Ассархаддон вступил на престол». Пространных выписей становилось в тетради тем больше, чем ближе подвигалась история к новейшим периодам. Ассирийцев и вавилонян сменяли персы, готы, неслыханные маркоманны и алеманны, за ними являлись из приволья ковылей гунны, потом возникали воинственно звучно, как тимпаны и литавры, лангобарды, учреждая, с помощью своих царей Альбоина и Клефа, некий седьмой образ правления, в подтверждение сокровенных предвидений и по выкладкам отставного полковника. Дело развивалось все опаснее, история не дремала: «Альбоин и Клеф, цари лангобардские, были умерщвлены Розамундою, женою Альбоина, дочерью побежденного и убитого им царя гепидов (гепиды — вон еще какая подвизалась разновидность!). Этим Розамунда отомстила за нанесенную ей обиду,— Альбоин заставил ее на пиру пить из черепа ее убитого отца. Это время бессилия продолжалось до 585 года». Бессилие, бессилие,— рассуждал Меркурий Авдеевич, старательно проставляя даты,— а гляди — папа Григорий I уже образовал три новых царства: Баварское, Аварское и Славянское, или Чехское, так что опять имелось в пределах Рима десять государств.

(Вот оно: десять государств!) А там пошло: Магомет победил корейшитов и заставил их принять новую, им самим придуманную веру, которая, по его словам, была внушена ему архангелом Гавриилом. Там Омар взял Иерусалим. Там папа Виталий издал буллу, запрещающую лицам не духовного звания читать Библию. Там Гус и Лютер со своей Реформацией, там Игнатий Лойола со своими иезуитами, там папа Григорий XIII со своим новым календарем (ишь он откуда, новый-то календарь!). И пошло: война Тридцатилетняя, война Словенская, война Гуситская. Чего только не вкусила история! И что более всего потрясало Меркурия Авдеевича в проникновенной книге, это то, что отставному полковнику не составляло ни малого труда каждому убиению Альбоина или растерзанию разъяренной толпой императора Фоки, не говоря уже о гибели империй или начале венчания на престол римских пап,— не составляло ни малого труда привести сообразное пророчество для ветхих времен из Книги царств, из Ездры, или Исайи, для новых — из Деяний или Откровения. Так шаг за шагом Меркурий Авдеевич достиг 1773 года, под которым вывел каждое слово с заглавной буквы, кроме последнего, ибо такое слово и писать-то страшно: «Влияние Вольтеровской Литературы. Падение Религиозности и Начало Явного неверия». В сравнении с ужасающим этим фактом не могли помочь ни суворовские победы над турками, ни уничтожение папою Клементием XIV ордена иезуитов по требованию держав,— не могли помочь, ибо сразу затем следовала дата: 1793. И опять с прописных букв: «Первая Французская Революция. Первое Наказание Божие за неверие». Наполеоновские войны оказывались вторым наказанием божиим за грех неверия, а 1848 год, вместе с бегством из Рима папы Пия IX и возвращением его на престол при помощи австрийских солдат,— третьим. И вот понемногу, понемногу отставной полковник Ван-Бейнинген привел Меркурия Авдеевича Мешкова, стопами пророков, прямо к 1875 году, когда в городе Гота состоялся конгресс социал-демократов. Тут уже Меркурий Авдеевич не начертал, а прямо-таки разрисовал прописными траурными литерами: «Маркс, Лассаль и Толстой — представители этого учения». Так похоронно оканчивалась пройденная человечеством историческая стезя, и полковнику только оставалось, с помощью прорицателей, приоткрыть завесу будущего. Здесь Меркурию Авдеевичу виделось немного: на 1922 год полковник назначил гибель папства и тела его, на 1925 — построение сионистами христианского храма, что же касается напоследнего предсказания, то

под датою 1933 Мешков послушно переписал в свою тетрадь: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

Это было не совсем понятно, что такое за дни и почему все-таки именно 1335,— да ведь можно ли все уразуметь? Как вообще все образовывалось в ходе земных упований человечества? От Адама и Евы к Ассархаддону, от Ассархаддона к Розамунде, а там, глядишь, и Лев Толстой, а домик-то муниципализирован, а ржаная непросеянная мука-то триста рублей! Хитро! Разъять мудреную цепь не под силу, может, и такому уму, как отставной полковник Ван-Бейнинген! Да и ни к чему. Влечет-то ведь тайна, заманчивая, как вечный родник, бьющий из сокровенных недр. Утешает вера, а не знание. Знание лишь утверждает веру, а там, где его недостает, там она только сладостнее, как все непостижимое. Блажен, кто ожидает...

Меркурий Авдеевич закрыл тетрадь и книгу. Утро началось для всех. Слышалось, как закашлял табакур-старик, как взыграли и начали кидаться сапогами студенты, потянуло керосинкой из комнаты Лизы, прогрохотал вниз по лестнице убежавший в пекарню за хлебом Витя, зазвенькало на улице ведро, подвешенное к бочке водовоза. Из тьмы времен и неисповедимости господних путей день трезво возвращал мысли к заботам житейским.

Выдвинув ящик стола, Меркурий Авдеевич прикинул, какие из обреченных на ликвидацию мелочей следовало бы нынче пустить на базар. Тут лежали канцелярские кнопки, сухие чернила в пилюлях, пара отверток для швейной машины, кусанцы и плоскогубцы, две-три катушки ниток, звездочки с рождественской елки, пакетики с краской для яиц. На пакетиках, по обдумывании, он и остановился: сезон, правда, истек, да Витя — мальчик разбитной, иной раз ему удавалось сбывать несусветную чепуху — вроде стенок отрывных календарей! — найдет охотника и на яичную краску!

Выйдя к чаю и пожелав доброго утра, Меркурий Авдеевич внимательно глянул на дочь. Она была бледна, и то, что прежде он называл в ней стройностью, сейчас показалось ему угрожающей худобой. Слегка игриво он выложил перед Витей пакетики:

— Ну-ка, коммерсант, произведи-ка сего числа этакую товарную операцию...

— Опять? — сказала Лиза.— Я ведь просила, папа..

— Да ты, мамочка, не беспокойся, мне же это ничего не стоит, честное слово,— отбарабанил Витя.

— Базар — не то место, где можно научиться хорошему.

— И не то, без которого можно прожить,— нахмурился Меркурий Авдеевич.— Не я придумал новые порядки. Не я взвинтил цены. Дома-то, кроме пшена, ничего не осталось? Может, у тебя деньги есть? Ну, вот...

— Я говорю, что Виктору не следует ходить на базар.

— А что же, мне прикажешь ходить? Позор-то, конечно, не велик, ежели бывший купец станет на толкучке пустой карман на порожний менять. Да беда, что, вдобавок к бывшему купцу, я — нынешний советский служащий. Как-никак — товарищ заведующий, магазином управляю. Что же ты хочешь, чтобы меня в спекуляции обвинили?

— Я хочу, чтобы Виктор не ходил по базарам. Это кончится плохо.

— Все плохо кончится, я давно говорю. Да не для всех,— сказал Мешков и, дабы призвать себя к смирению, напомнил цитату: — «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко».

Помочав, Лиза тихо проговорила, не подымая глаз:

— Словом, Витя идет сегодня последний раз.

— Посмотрим,— сказал Мешков.

— Посмотрим,— спокойно, будто в полном согласии, повторила Лиза.

Он не мог больше выносить пререкания, встал, забрал свой стакан и ушел молча к себе в комнату.

Она поглядела ему вслед. Спина его ссутулилась круто, словно за шиворот сунули подушку. Затылок поголубел от седины. Весь он сделался щупленьким, узким, и что-то обиженное было в его прискакивании на носках.

«Боже, до чего скоро состарился»,— подумала Лиза, и опять, как все чаще за последний год, ей стало жалко отца до грусти. Но она не двинулась места.

6

Лизу в этот день преследовало беспокойство. Неминуемо произойдет беда, казалось ей, и это не было предчувствием, которое вдруг возникнет и необъяснимо улетучится, это было назойливое ощущение тягости в плечах, тоска во всем теле. Она не пошла на службу. Постепенно она уверила себя, что беда должна произойти с сыном. Он ушел утром и не возвращался.

 По дороге домой, к обеду, Меркурий Авдеевич встретил

Павлика Парабукина, узнал, что тот не застал Вити дома, и велел — если Павлик увидит его — передать, чтобы внук шел обедать. На дочь Меркурий Авдеевич покашливался виновато. Она мельком сказала, что, наверно, Витя, по обыкновению, зачитался у Арсения Романовича. То, что она крепилась, не показывая беспокойства, словно еще больше виноватило Меркурия Авдеевича, и он насупленно молчал.

Отдохнув, он собрался уходить, когда прибежал Павлик и, еле переводя дух, пугливо стреляя золотыми глазами то на Лизу, то на Мешкова, выпалил, что Витю забрали.

— Как забрали? Кто забрал?

— Грянула облава, и всех, кто торговал с рук, всех под метелку!

— Под какую метелку? Что ты несешь? — выговорила Лиза, так крепко держась за спинку стула, что побелели ногти.

— Дочиста весь базар загнали на один двор и там разбирают — кого в милицию, кого куда.

— А Виктор-то где, Виктор?

— И он заодно там!

— В милиции?

— Да не в милиции, а на дворе, говорю вам!

— Ну, а ты-то был с ним?

— Был с ним, да утек, а его замели.

Оторвав наконец руки от стула, Лиза подбежала к постели, схватила головной платок, бросила его, отворила шкаф, принялась что-то искать в платьях, бормоча: «Постой, постой, ты проводишь меня, Паша, постой...»

Меркурий Авдеевич взял ее за руку, отвел к креслу, усадил, сказал отрывисто:

— Некуда тебе ходить... Я приведу Виктора.

Она в смятении опять поднялась. Он надавил на ее плечо, прикрикнув:

— Сиди! Я за него в ответе. Сам пойду.

Он зашагал так скоро, что Павлик припустился за ним почти бегом. Дорога была не близкая, но до каждой надолбы на перекрестке знакомая Меркурию Авдеевичу: не так уж давно хаживал он, что ни день, на Верхний базар в свою лавку. Он двигался с замкнутой решимостью, точно на расправу, пристукивая жиденьким костыльком, как прежде пристукивал богатой тростью с набалдашником, спрятанной теперь подальше от недоброго глаза.

— Вон,— показал Павлик, когда между рыночных камен-

ных рядов завиднелась кучка людей,— вон, где милиция стоит, туда их согнали.

Меркурий Авдеевич сбавил шаг, перестал пристукивать костыльком. Вдоль корпуса с дверьми на ржавых замках (тут раньше торговали мыльные и керосинные лавки) терся разномастный народ, чего-то ожидая и глазея на двух милиционеров, охранявших ворота былого заезжего двора. Один милиционер был по-молодому строен, еще безбород и — видно — доволен представительными своими обязанностями. Другой рядом с ним был коротенький, напыщенный и с такими залихватскими, раздвинутыми по-кошачьи подусниками, о каких перестали и вспоминать. Оба они осмотрели Меркурия Авдеевича безошибочными глазами.

— Я насчет своего внука, товарищи. Внук мой нечаянно попал в облаву,— просительно сказал Мешков, подходя осторожно и приподымая картузик.

— Нечаянно не попадают,— ответил молодой.

— Как не попадают? Не ждал попасть, а попал. Полная нечаянность и для матери его и для меня, старика.

— Совершеннолетний?

— Как?

— Внук-то совершеннолетний?

— Да что вы, товарищ! Мальчоночка, вот поменьше этого будет,— показал Мешков на Павлика.

— Чего же в торгаши лезет, когда молоко на губах не обсохло?

Павлик вытер пальцем губы и отвернулся вызывающе.

— Зачем — в торгаши?! — испугался Меркурий Авдеевич и даже занес руку, чтобы перекреститься, но вовремя себя удержал.— Озорство одно, больше ничего. Ведь они же — дети, что мой внучок, что вот его приятель. То им крючки для удочек спонадобятся, то клетка какая для птички. И все норовят на базар — где же еще достанешь? Ребятишки — что с них спрашивать?

— То-то, спрашивать! — грозно мотнул головой коротенький милиционер, и подусники его стрельчато задвигались.

— Ведь как спросишь? — доверительно сказал Мешков, глядя с уважением на красные петлицы милиционера.— Не прежнее время, сами знаете. Прежде бы и посек. А нынче пальца не подыми: они — дети.

— Посек! — неожиданно заносчиво вмешался Павлик.— А чем он виноват? Удочки, птички! Тоже!

 Он с презрительной укоризной щурился на Мешкова и

уничтожающе кончил, полуоборачиваясь к милиционерам:

— Жизни не знаете!

— Суйся больше! — приструнил Мешков, оттягивая Павлика за рукав.— Что с ним поделаешь, вот с таким?

— В неисправимый дом таких надо,— сказал милиционер и усмехнулся на Павлика.

— Кем сами будете, гражданин?— спросил молодой.

— Советский сотрудник. Неурочно приходится службу манкировать, чтобы только внучка выручить.

— Ребят через другие ворота отсеивают,— сказал с подусниками.— Пойдем, я проведу двором.

Молодой приоткрыл ворота. Павлик хотел проскочить за Меркурием Авдеевичем, но его не пустили, и он обиженно ушел прочь, по пути изучая расположение омертвелых корпусов, замыкавших целые кварталы.

Двор заполняла толпа. Собранные вместе, люди были необыкновенны. Глядя на них, можно было сразу почувствовать, что в мире произошел космический обвал,— горы покинули свое место, шагая, как живые, вершины рухнули, скалы низверглись в пропасти, и вот — один из тьмы обломочков летевшего бог весть куда утеса оторвался и шлепнулся в эту глухонемую закуту Верхнего базара. Ветховато, убого наряженное во всякую всячину скопище дельцов поневоле, вперемежку с бывалыми шулерами, карманниками и разжалованной мелкой знатью, понуро ожидало своего жребия. Разнообразие лиц было неисчислимо: одни скорбно взирали к небу, напоминая вечный лик молившего о чаше; другие брезгливо поводили вокруг головами, будто ближние их были паразитами, которых им хотелось с себя стряхнуть; третьи буравили всех и каждого отточенными, как шило, зрачками, словно говоря — кто-кто, а мы-то пронырнем и сквозь землю; иные стояли, высокомерно выпятив подбородки, как будто — развенчанные — все еще чувствовали на себе венцы; кое-кто выглядывал из-за плеча соседа глазами собаки, не уверенной — ударит ли хозяин ногой или только притопнет; были и такие, которые язвительно дымили табачком и словно припевали, что вот, мол,— сегодня мы под конем, посмотрим, кто будет на коне завтра; были тут и обладатели той беспредельной свободы, какая дается тем, кто презирает себя так же, как других, и, обретаясь ниже всех, имеет вид самого высокого. Словом, это был толчок, попавший в беду, жаждущий извернуться, готовый оборонять свое рассованное по карманам и пазухам добро — пошеное бельишко, бабушкины пуговицы и пряжки, ворованные красно-

армейские пайки, кисейные занавески, сапоги и самогон, сонники и святцы.

— Благодарю тебя, господи, что я не такой, как они,— вздохнул и содрогнулся Меркурий Авдеевич и тут же поправил себя уничиженными словами праведного мытаря: — Прости, господи, мои прегрешения.

Особняком, в углу двора, жались друг к другу подростки, недоросли да горстка мальчуганов, похожих на озорных приготовишек, оставленных в классе после уроков. Меркурий Авдеевич думал сразу отыскать среди них Витю, но страж повел его в каменную палатку; где — за столом — сосредоточенно тихий человек в черной кожаной фуражке судом совести отмеривал воздаяния посягнувшим на закон и порядок.

— Да ты кто? — спрашивал он стоявшего перед ним нечесанного быстроглазого мордвина.

— Угольщик, углей-углей! Самоварный углей с телега торговал. Теперь кобыла нет, телега нет, углей-углей нет, ничего нет. Пошел торговать последней подметка.

— Зачем же ты царскими деньгами спекулируешь?

— На что царский деньги?!

— Я тебя и спрашиваю — на что? Зачем ты назначал цену на подметки в царских деньгах?

— Почем знать, какой деньги в карман? Я сказал — какой деньги будешь давать мой подметка? Царский деньги — давай десять рублей, керенский — давай сто рублей, советский — давай тыщу.

— А это что, не спекуляция — если ты советские деньги дешевле считаешь?

— Какое дешевле?! — возмущенно прокричал мордвин.— Товарищ дорогой! Царский деньги плохой деньги, никуда не годится царский деньги — хочу совсем мало, хочу десять рублей. Керенский деньги мала-мала хороший — хочу больше, хочу сто рублей. Советский деньги самый хороший — нет другой дороже советской деньги — хочу больше всех, хочу тыщу!

Тихий человек засмеялся, хитро подмигнул мордвину, сказал весело:

— Да ты не такой простак, углей-углей, а? Любишь, значит, советские денежки, а? Давай больше, а?

Он велел отвести его в сторону и обратился к Мешкову. Меркурий Авдеевич почтительно рассказал о своем деле.

— Как фамилия мальчика?

— Шубников.

— Шубников? — переспросил человек и помедлил: — Не из Шубниковых, которых вывески тут висят, на базаре?

— Седьмая вода на киселе,— извиняясь, ответил Меркурий Авдеевич.— Покойнице Дарье Антоновне внучатый племянник.

— Я и говорю — из тех Шубниковых? Сын, что ли, будет тому, которому магазины принадлежали?

— Да ведь он бросил его, мальчика-то. Я уж сколько лет воспитываю за отца,— сказал Мешков.

— Документ какой у вас имеется?

Меркурий Авдеевич достал уважительно сложенную бумажку. Милиционер с подусниками наклонился к столу, вчитываясь, заодно с тихим человеком, в обведенные кое-где чернилами сбитые буковки машинописи.

— Мешков,— прочитал он вслух и по-своему грозно шевельнул подусниками.— Прежде в соседнем ряду москатель не держали?

«Ишь ты,— подумал Меркурий Авдеевич,— видно, у тебя не один ус долог, а и память не коротка»,— и вздохнул просительно.

— Да ведь когда было?!

— А вам сейчас бы хотелось,— сказал милиционер.

— Бог с ней, с торговлей. Ни к чему,— ответил Мешков.

Тихий человек долго копался в списках, составленных наспех карандашом, отыскал фамилию Шубникова, поставил перед ней птичку.

— Есть такой. При нем обнаружен один порошок краски для яиц.

Он помолчал, обрисовал птичку пожирнее, сказал раздумчиво и наставительно:

— Дурман распространяете. На темный народ рассчитываете. Бросить надо старое-то. Берите сейчас своего внука. Другой раз так просто не отделаетесь. Торговый ваш дом будет у нас на заметке.

— Покорно благодарю,— отозвался Мешков, смиренно снял картузик, но сразу опять надел и поклонился, и добавил торопливо: — Спасибо вам большое, товарищ.

На дворе милиционер, подходя к толпе ребятишек, выкрикнул Шубникова, но Витя уже бежал навстречу деду, издалека увидев его,— побледневший, с желтыми разводами под глазами, но обрадованный и больше обычного шустрый.

Их выпустили на улицу. Едва они вышли за ворота, как Павлик налетел откуда-то на Витю, подцепил его, и они замаршировали в ногу, бойко шушукаясь. Меркурий Авдеевич

освобожденно выступал позади. Припрыжечка его помолодела, он распушил пальцами бороду и вскидывал костылек франтовато легко. Ведь мало того что гроза миновала, он сам принял на себя и выдержал удар, подобно громоотводу, и если мальчик был спасен, то Меркурий Авдеевич вправе был назвать себя спасителем.

Лиза встретила их, услышав высокий голос сына, и, почти скатившись по лесенке, как — от избытка счастья — скатывалась по перильцам когда-то девочкой, она обняла Витю и сказала несколько раз подряд — самозабвенно и нетерпимо:

— Я тебя больше никуда не пущу, никуда, никуда, ни за что не пущу, никуда...

Дед вторил ей:

— Слава богу, слава богу!

Вырываясь из рук матери, настойчиво тянувшихся к нему, Витя второпях рассказывал, как все случилось,— почему ему не удалось убежать, как он шел под конвоем, как затем на дворе всех переписывали и как все прятали товар, стараясь избавиться от продовольствия, которым запрещено торговать. Потом он оборвал себя, слегка закинул голову, молча шагнул к столу и, вывернув вместе с карманом кусок наполовину облепленного газеткой сала, положил его с гордостью на виду у всех. Павлик глядел на своего друга, как на героя. Дед сказал:

— Ах, пострел! Когда же ты словчил?

— Бог с ним, с салом,— проговорила Лиза, подняв и приложив руки к дверному косяку, в то же время укрывая лицо в ладонях.

— А это я уж на дворе,— продолжал в восторге Витя.— Тетенька одна страсть как перепугалась, что ее посадят.— У нее полкошелки салом было напихано. Вот она и давай скорей выменивать на что попало. Я ей показал краску — хочешь? Она говорит: милый, все одно отберут, на, на! — и сует мне этот кусок. Целый фунт будет, правда, дедушка? Я отдал ей краску, только один пакетик себе оставил. А начали переписывать, милиционер спрашивает меня — ты чем торговал? Я говорю — ничем, вот у меня только этот порошок. Он взял, посмотрел на меня и ничего не сказал.

— Ну и пострел! — одобрительно повторил дед.

Он ушел к себе в комнату и минуту спустя торжественно возвратился, неся яркую жестяную коробочку монпансье.

— Вот,— произнес он, волнуясь от великодушия,— берег к твоим именинам. Получай. Нынче ты заслужил.

Он не отдал — он церемонно преподнес внуку коробочку, а потом взял сало и принялся аккуратно сдирать с него приставшую газетку. Витя взглянул на мать.

— Нет, нет,— быстро догадалась Лиза и затрясла тонкопалыми кистями рук, точно защищаясь,— нет, нет, я не хочу и видеть этого сала!

— Почему такое? — немного обидясь, возразил Меркурий Авдеевич.— Вместе будем кушать, не обделю,— и понес сало к себе.

— Дедушка, пожалуйста...— остановил его Витя.— Пожалуйста, дай мне таких клейких полосочек, знаешь, у тебя есть, чтобы склеивать бумагу. Мне надо, знаешь...

Говоря, он вздернул рубашку, расстегнул пояс штанишек и вытянул на свет божий спрятанную на животе растерзанную книжку.

— ...надо немножечко подклеить странички.

— Ах ты читатель! Пострел! Откуда ты знаешь — что у деда есть, чего нет? — по-прежнему великодушно сказал Меркурий Авдеевич.

Он испытывал растворение чувств: внук обладал, конечно, не слишком похвальными задатками (ему недоставало боязни старших, а в будущем это сулило развиться в недостаток богобоязни — основы основ мирозданья), но жизнь-то ведь требовала не робости, а находчивости, и тут Витя обещал лицом в грязь не ударить — он был и смел и сметлив, глядишь — и выйдет в люди, наперекор всем препонам. Вряд ли могли произойти события, способные нарушить извечный канон житейской премудрости, по которому Меркурий Авдеевич оценивал человека: умеет или не умеет человек выйти в люди. Конечно, по пророчествам следует, что время близко, стало быть, конец света вот-вот нагрянет и все человеческое, с его устройством и неустройством, полетит в тартарары. Ну, а вдруг это самое «вот-вот» затянется? Вдруг его хватит, к примеру, на срок целого поколения? А что, если на два поколения? Что тогда? Земля-то ведь есть земля? Пусть на греховной этой планете заблудшие овцы творят беззаконие. Беззаконие — беззаконием, а закона земли не прейдеши: человеку надо выйти в люди. Вот тут смекалка Виктору и пригодится. Славный мальчик, прямо скажешь — разбитной мальчонка, хотя и туговато воспитуем.

Весь остаток дня Меркурий Авдеевич находился в состоянии тихого довольства. Ему все чудилось, что он избавился от какой-то опасности и даже кого-то очень тонко обошел. Но

коли сутки начались криво, не могут они, видно, окончиться на радость и в утешенье.

Придя домой, когда уже смеркалось, Мешков застал одного Витю. Он сидел на подоконнике зигзагом — упершись босыми ступнями в один косяк проема, спиной в другой — и остро вонзился глазами в книгу, прижатую к коленям. В стеклянной банке на подставке для цветов по-весеннему кудрявился нежно-зеленый сноп тополиных ветвей. Жирные листики в ноготок величиной насыщали комнату истомной сладостью.

— А мама? — спросил Меркурий Авдеевич.

— Мама ушла гулять. Заходил... ну, этот, который с ней вместе служит. Мама смеялась, а потом сказала, что она все дома да дома, что ей надоело и хочется пройтись.

— Так. А это что же — подношение, что ли, веник-то в банке?

Оказалось — да, подношение.

— Что же она, не соображает, что, может, человек пришел проверить — почему она на службе не была?

Витя не мог ответить, но, по-видимому, мама и правда не соображала.

— Ведь вот она пошла гулять,— не унимался Меркурий Авдеевич,— а о том не думает, что можно кому на глаза попасться? Раньше бы сказали — манкирует службу. Ну, манкирует и манкирует, не велик страх. А теперь что скажут? Саботаж! А ежели саботаж, сейчас же и пойдут: а кто муж? а кто отец?

И на это Витя ничего не мог ответить, но получалось, что действительно могут спросить — почему, мол, Лиза на службу не ходит, а гулять ходит, и кто же ее ближайшие родичи — не Мешков ли Меркурий Авдеевич, которого держат на заметке за то, что он посылает внука торговать на базаре? Как тогда вывернешься, а?

К этой заботе прибавлялась другая: ночью наступала очередь Мешкова караулить квартал. Все жители несли повинность самоохраны, а он ведь был тоже житель, жилец коммунальной квартиры — не больше. Он всегда с тревогой ожидал такую ночь, боялся — не последняя ли: убьют. Он не показывал страха, но страх холодил его, и все время тяготила неприятная потребность — глубже вздохнуть.

Прежде в караул его снаряжала Валерия Ивановна. Она одевала его в потертое касторовое пальто, в плешивую каракулевую шапку, загодя приготавливала изношенные калоши, сторожевую дубинку, напутственно крестила его и це-

ловала, и он, с молитвой, удалялся в ночь. После смерти матери Лиза взяла на себя ее обязанность провожать отца. И вот впервые ему приводилось отправляться на тяжелый пост без облегчающего напутствия.

Он прождал Лизу до последней минуты, велел Виктору ложиться, чтобы не жечь понапрасну керосин, вооружился дубинкой и ушел к председателю домового комитета бедноты — за свистком. Там он немного покалякал насчет того, что живется голодно, что самые ужасы — впереди, распрощался и канул в ночь, как в прорубь.

Черным-черно было кругом и тихо. С середины дороги не видно тротуаров. В палисадниках с акациями и сиреньками — угрожающий мрак. Земля все еще источает холод весны. Меркурий Авдеевич взвесил дубинку в руке, перевернул толстым концом книзу: как сподручнее бить, если нападут? Вынув из кармана свисток, он продул его — не засорился ли? Но, впрочем, если и правда нападут — не лучше ли сразу кинуть прочь дубинку, снять пальто, шапку, снять с себя все, до исподнего — нате, бог с вами, отпустите душу на покаяние!

Тягота хождения на ночном карауле заключалась для Мешкова больше всего в этой самой дубинке. Переставляя ее беззвучно по бархатистой уличной пыли, он видел себя не караульщиком, а словно татем, вышедшим на большак попытать счастье. Нет, не этой дубинкой охранялось его, мешковское, былое добро, не этим свистком отпугивали от мешковских окон городушников и громщиков. Не свою таскал Меркурий Авдеевич дубинку, не свой продувал свисточек, не свой караулил порядок.

Ему взбрели на память караульщики, которые являлись, бывало, на рождество и пасху с поздравлениями, и он давал им на праздник по целковому. Это был народ захудалый, немудрящий. У одного старикана, когда он дышал, потешно и прегромко играла в груди музыка, и он с важностью хвастал, что это болезнь редкостная, неизлечимая и дана ему навечно, заместо медали. Чаевые он прятал в шапку, за подкладку, смеясь большим, черным, как шапка, ртом без единого зуба.

Вот и Меркурию Авдеевичу привелось сделаться караульщиком — последним человеком. Только уж никто не побалует его целковым к празднику. За что его баловать? В прежних караульщиках было куда больше проку, они знали, кого стерегли, а кого стережет Меркурий Авдеевич? В старые его руки всунули дубинку — хорони, береги, карауль, гражда-

нин Мешков, *ихний* порядок, свисти в *ихний* свисточек, стой, Мешков, на страже, как на стреме!

Перевертывая в мозгу сто раз на такой лад одно и то же, одно и то же, он возвращается, обойдя квартал, к своему дому и останавливается. Он глядит на дом застывшим взором, угадывая в ночи так хорошо знакомые карнизы деревянной резьбы, покатую железную кровлю, печные трубы. Ветшает. И как быстро: за два года такое разрушение! Что же произошло за этот срок с человеком?!

Меркурий Авдеевич утирается холодной ладонью: жестковатые, точно шпагатные брови, провалившиеся виски, запущенная борода, под нею острым челночком нырнул кадык. Снашивается человек, пожалуй, не меньше дома. И опять все то же: ничей дом. *Ихний* дом. Общий. Чей угодно. Бывший дом Меркурия Мешкова. Дом, в котором каждая тесинка полита его потом. Гвоздок какой-нибудь в обшивке — это он, Мешков, недоел. Другой гвоздок — это он недопил. Недоспал. Не поехал на конке. Не купил к чаю баранок. Не дал дочери на подсолнухи. Не велел жене варить варенье: будем строиться. Так изо дня в день, камешек за камешком. Теперь это *ихний* дом, муниципализированный, превращенный в общественную собственность, ничей. Холодом веет от земли. Ни души. Черна ночь.

И вдруг Меркурий Авдеевич слышит голоса — мужской, за ним женский. Тихо. Молчание. Чуть различимые возникают во тьме слитные, наклоненные друг к другу тени. Ближе, ближе. Слышнее шаги. Вот заговорила женщина, и Мешков узнает голос дочери. Странно вкрадчив он, ласковая игра его изумляет Меркурия Авдеевича. Он не может разобрать слов, но переливы голоса звучат в его ушах поразительно заманчиво, и, кажется, он еще слышит их, когда Лиза смолкает.

Потом говорит мужчина. Ах, это тот, из нотариальной конторы, сослуживец Лизы, бывший судейский. Тот самый, который поднес ей, за неимением цветов, веник. Сладенек тенорок, ишь ведь! Меркурия Авдеевича кидает в дрожь: зябко стоять недвижимо на холодной аемле. Он перехватывает дыхание: тот, из нотариальной конторы,— Ознобишин его фамилия, Ознобишин! — сладеньким тенорком сказал Лизе — «ты». Вон куда зашло! Дочка Лиза, сбежав от законного мужа, уведя от него сына, не страшась ни бога, ни людей, ночью, вволю нагулявшись, возвращается в отчий дом об руку с возлюбленным!

Поделом тебе, Меркул, за великие твои труды, на старость!

Ломай дурака по ночам на улице, со свистулькой, карауль свой позор, свое унижение, чтобы — сохрани бог! — не помешал кто-нибудь родной твоей дочке Лизе целоваться с дружком под воротами! Ведь вон — никак, поцеловались, верно? Вот еще раз, еще,— считай, отец, коли не лень...

А может, все это мерещится Меркурию Авдеевичу во тьме? Черна ночь. Страшно.

Да что утешаться: все правда! Рассталась Лиза с провожатым, звякнула скоба на калитке, зашагал прочь, посереди улицы, нотариальный ухажер Ознобишин.

Тогда, тихонько, следом за ним двинулся Меркурий Авдеевич. Нащупывая ногами колею, доверху застланную растолченной пылью, он шел неслышно. У него тряслись руки. Он опять примерился — за какой конец надежнее взять дубинку. Вздрагивая, он думал, куда лучше метить: по ногам или по голове?

Мгновенно ему сделалось нестерпимо жутко, и он остановился. Ознобишин сразу потерялся во тьме. Если бы Мешков пустил сейчас по нему дубинкой, ее было бы трудно потом отыскать. Без дубинки-то еще страшнее.

Меркурий Авдеевич зажмурился. Внезапный жар ожег его лицо. Он медленно перекрестился и все стоял, боясь разжать веки. Неужели он мог убить человека? Любимого, может быть, человека дочери. Да все равно — какого человека. На улице. Ночью. Как вор. С нами крестная сила!

С усилием он приоткрыл глаза Из глубины мрака близилось к нему, покачиваясь, светлое пятно, желто облучая то узкие, то широкие круги на дороге, на палисадных заборчиках и домах. Так же нечаянно, как появилось, оно пропало, мрак сделался еще чернее, глухие голоса раздавались невнятно. Меркурий Авдеевич повернул назад, к своему дому, чтобы укрыться во дворе, но только успел сойти с дороги к палисаднику, как свет фонаря, поймав его и ослепив, стал надвигаться прямо на него.

Несколько человек, переговариваясь, подошли вплотную к Мешкову, и один сказал:

— Здорово, караульщик!

Мешков узнал рабочий пикет,— ружьеца виднелись у людей за спинами, патронташи были подвешены к поясам, одежка была кое-какая — на ком что.

— Здравствуйте,— ответил Мешков покорно.

— Не так надо отвечать,— произнес молодой голос.

— А как надо, научите, братцы,— спросил Мешков.

— Надо отвечать: служу революции, товарищи.

— Не видал ли, кто тут проходил? — опять спросил первый голос.

— Никого не видал.

— И вот этого человека тоже не видал?

Связка лучей сорвалась с Мешкова, взлетела вверх, упала против него, и в ярком свете он увидел желтокрасное лицо Ознобишина. Лизин кавалер стоял неподвижно, и его синие, безропотные глаза слезились.

— Этого человека тоже не видал, — сказал Мешков чуть слышно.

— А ты гляди в оба. Спать нельзя. У гражданина ночной пропуск просрочен.

Они все повернулись, осветив перед собой дорогу, и пошли тесной кучкой, раскачивая узенькими стволами винтовок.

— Прощай, дядя, поглядывай! — крикнул молодой.

— Служу революции, товарищи, — отозвался Меркурий Авдеевич и почувствовал заколотившееся, точно спущенное с привязи сердце: слава богу, пронесло.

Его снова объяла молчаливая темнота. Он услышал, как слезы защипали ему веки. Слезы унижения, они были едки. Он смахнул их кулаком и побрел к дому.

Уже когда он различил огонек лампы в окнах Лизиной комнаты, отворилась калитка со звонким лязгом щеколды. Витя, выскочив на улицу, осмотрелся, крикнул:

— Дедушка!

— Я здесь. Что кричишь? Что такое?

— Пойдем скорее, дедушка. Маме плохо.

— Как — плохо?

— Идем, идем! Она зовет.

Он тянул Меркурия Авдеевича, схватив, сжав и не выпуская его пальцы, пока шли, почти бежали, спотыкаясь, двором, и Мешков тоже сжимал тоненькие пальцы внука, и в этом пожатии рук — большой и маленькой — трепетало больше страха, чем только что испытал Меркурий Авдеевич на улице, чем пережил он за все эти несчастливые сутки.

Лиза нераздетая лежала на кровати, высоко вскинув подбородок. К полу спускалось наполовину упавшее с постели полотенце в черных пятнах и разводах крови. Неправдоподобно большими стали ее светлые глаза, и, заглянув в них, Меркурий Авдеевич почувствовал, что должен сесть. Он неуверенно примостился в ногах дочери, как был — с дубинкой, в шапке, и смотрел на нее безмолвно.

За столом усердно размешивал что-то ложечкой в чайном

стакане студент из соседней комнаты. Мучнисто-белые космы макаронами свисали к сморщенным бровям, покачиваясь в такт его движениям. Видимо, он счел молчание за вопрос к себе и сказал радушно-гипнотическим тоном, усвоенным от старой медицины:

— Явление, которое мы наблюдаем...

Но не выдержал и кончил скороговоркой:

— Вы не волнуйтесь, ничего особенного, сейчас остановим, сейчас.

— Лизонька, что же это ты? — проговорил тогда Меркурий Авдеевич, потянувшись к руке дочери и дотрагиваясь так осторожно, будто одним касанием мог причинить боль.

Она подозвала его взглядом. Он подскочил ближе к ее голове и присел на корточки. Она шепнула, прерывая слова боязливыми паузами:

— Пусть Витя... сбегает за Анатоль Михалычем... Он живет на углу...

— За доктором? На каком углу? — торопясь угадать, спросил он.

— Ознобишина... пусть Витя... приведет.

Меркурий Авдеевич хотел возразить, но у него оборвался голос.

— На углу напротив Арсения Романыча...

— Лизонька, ведь — ночь! — заставил себя выговорить Меркурий Авдеевич, отгоняя от своего взора чудом возникшее желто-красное лицо с безропотными глазами.— Ведь — дитя. Ведь обидят. Как можно?

— Витя... скажи... чтоб он шел с тобой... сейчас...

— Я не боюсь, дедушка,— тоже шепотом сказал Витя.

— Да ведь ты и адреса-то не знаешь. Разве найдешь в такую темь? Да и зачем нужен этот самый Ознобишин, бог с ним! Доктора надо, доктора, Лизонька!

— Витя...— опять шепнула она.

— Да ведь пропуска-то у Вити нет! — умоляюще воскликнул Меркируй Авдеевич.— Да у Ознобишина-то этого тоже, может, пропуска нет! Может, его и дома-то вовсе нет! Ведь ночь!

Вдруг Лиза кашлянула, вытянула еще больше вверх заострившийся подбородок и так отвердела в неподвижности, будто вся была переполненной чашей и боялась разлить ее ничтожным движением. Черная полосочка, появившись у ней в углу губ, медленно поползла книзу, на шею.

— Мама, я найду! — неожиданно вскрикнул Витя и бросился вон из комнаты.

— Ничего,— волнуясь, сказал студент, взмахом головы откидывая со лба макароны и дрожащей рукой поднося Лизе стакан,— сейчас остановим, сейчас.

Меркурий Авдеевич опустился на постель.

— Ничего не остановишь, ничего,— сказал он надорванно и затряс головой.— Остановить ничего нельзя...

7

Рагозин спал с открытым окном. Еще сквозь сон он расслышал звон ведер и журчание женской болтовни: хозяйки сошлись у водоразборного крана, и дворовая устная хроника начала свою раннюю жизнь.

Он вскинул руки за голову, ухватил железные прутья кровати, потянулся и, еще не открывая глаз, вспомнил — что ему предстояло делать: он был назначен в городскую комиссию по проверке арестованных и за ним должны были прислать лошадь, чтобы ехать в тюрьму. Уже много лет давали ему разные поручения, он привык, что всегда должен передвигаться и что постоянно его ищет новое дело. До революции надо было хитроумными и затяжными путями перевозить оружие, или партийную печать, или документы. После переворота обязанности стремительно разрослись, скрытый, запрятанный в кротовые норы мир взрывом выбросило на поверхность, и жизнь покатилась не то что на виду у всех, а поверх всех, над головами, над шапками, над крышами, как весенний гром. Все стало существенно важно, приходилось быть сразу везде, повсеместно и уже не прикидываясь невидимкой, а у всех на глазах, чтобы — куда ни явился — в депо, в казарму, в больницу, на фабрику — каждый знал бы, что пришел хозяин. В новых и всегда неожиданных местах он чувствовал себя просто, удобно, как испытанный ходок на привале, да и сам иногда шутя называл себя проходчиком по народу.

Рагозин поднялся, подошел к окну. Утро чистой голубизною обнимало спокойные дворовые деревца. Далеко за небосклон оседали плотно настеленные друг на друга дымносерые полосы тумана. Уже согрелась почва, слышно было, как земля отдавала тепло. Возле лужицы под краном скакали воробьи, распушившись и предерзко, самозабвенно крича. Свирепая ворона сидела на шесте для флага и пучила на воробьев черничный глаз, выжимая из себя краткие, похожие на лягушечьи, зовы.

Утро понравилось Рагозину, он пожалел, что из-за поручения, которое невозможно было отложить, разрушался хороший план — отыскать приехавшего в город Кирилла Извекова и провести с ним часок-другой на свободе. О приезде его он услышал незадолго,— в городском Совете говорили, что его назначили туда секретарем и для него ищут квартиру. Рагозин не видал Кирилла с тех пор, как девять лет назад завалилось дело с подпольной типографией, по которому они оба привлекались к суду. Рагозину грозила крепость, но он вовремя ушел и лет пять скрывался по волжским городам нижнего плеса, от Астрахани до Нижнего, потом очутился на Оке, работал на Коломенском заводе, проживая под вымышленным именем у голутвинского мещанина, успел прослыть там завзятым рыболовом, а к самому перевороту его направили в Петроград. Об Извекове он знал немного. После ссылки в Олонецкую губернию Кирилл, по слухам, был связан с военной организацией большевиков, в семнадцатом году имя его выплыло в газетах — он приехал с фронта на съезд солдатских депутатов и выступал как раз в тот момент, когда Рагозина отправили в Кронштадт. Вернувшись в Петроград, Рагозин уже не застал Извекова. Опять он не слышал о нем добрых два года ни там, где ему случалось бывать до переезда в Саратов, куда его прислали как человека, хорошо знакомого с городом, ни в самом этом городе, где толком никто уже не помнил, да и прежде вряд ли мог знать Извекова — мальчика, когда-то попавшего со школьной скамьи в тюрьму и затем исчезнувшего бесследно на севере, в топях и дебрях приозерной глухомани. Рагозину пришло было на ум, что Кириллу, наверно, любопытно взглянуть на тюрьму, бывшую первой его купелью испытаний, и что, может быть, не плохо как раз с этого возобновить дружбу — пусть Извеков отыщет свою камеру, а Рагозин — свою, в которой он сидел еще в девятьсот пятом, и оба они вспомнят, откуда пошла их закалка. Но тут же он развеселился от такой мысли — явиться к Извекову после девятилетней разлуки и позвать его прогуляться в острог.

Он засмеялся громко, оттолкнулся от окна, подошел к зеркалу, провел обеими ладонями по голове и, увидев себя, подумал, что дружба — вещь капризная, неизвестно, придется ли Извекову по вкусу вот этакий порядочно облысевший и заморщиневший дядя с изрядной проседью в кудрявых усах. Он потрогал в ведре воду. Она согрелась за ночь. Он слил ее и с пустым ведром пошел из комнаты. Хозяйка

квартиры в глазастом капоте, толокшая что-то в ступке, не отрываясь от дела, поздоровалась, сказала с одобрением:

— Купаться, Петр Петрович?

— Поплавать малость в ведерке,— ответил он, звеня ручкой, сбегая вниз по лестнице.

Воробьи шарахнулись, точно брызги от упавшего в лужу камня, ворона в оторопи присела на шесте, но раздумала улетать и только возмущеннее прогорлапила свое храброе «кра». Вода била из крана в звонкое дно ведра, звук быстро глохнул и подымался, подымался, переходя из гулкого бурления в журчащий плеск, пока поток не вырвался через края и живо не охватил ведра со всех боков струящимся серебром. Петр Петрович не удержался, подставил пригоршню под кран и плеснул водой в лицо, потом на лысину раз, другой, третий. «Кра! Кра!» — вдруг рассвирепела ворона, и он, обернувшись на нее, сказал:

— Кран,— говоришь? Ладно, не забуду! — засмеялся, набрал еще пригоршню воды, плеснул вверх, на испугавшуюся птицу, до отказа закрутил кран и, не вытираясь, побежал с переполненным ведром наверх.

Стоя, голый, в тазу и обливаясь из ковша, он слегка кряхтел от холодка, пробиравшего все тело. Высокий, хотя не ровный, наклоненный наперед, он все-таки почти касался кулаками потолка приплюснутой немудрящей своей светелки, когда растирал спину длинным холщовым полотенцем. Уже за чаем он расслышал тарахтенье подъехавшей к воротам пролетки, наскоро дожевал завтрак и опять бегом спустился во двор. Было в нем что-то еще совсем молодо-слаженное и очень непритязательное — в рабочей кепочке, ставшей после революции вроде непременной всеобщей формы простоты, в русской рубахе и незастегнутом поверх нее коротеньком, не то потемневшем синем не то посветлевшем черном пиджаке. И на полинялой до рыжизны, утерявшей сверкание крыл пролетке с кожаной подушкой в трещинах он сидел так, будто никакого значения не имело, что он едет на былом купеческом ли, адвокатском ли выезде и словно — того и гляди — он соскочит и начнет запросто мерить саженками мостовую, раскачиваясь на кругловатых высоких ногах.

Вразнотык прискакивая, дергаясь, прыгая на булыжнике, он обдумывал — как приступить к делу, которое даже ему, видавшему виды, казалось и неприятным, и чересчур замысловатым. Комиссию назначили смешанную из представителей разных учреждений и большую,— он был седьмым,

и на него возложили председательствование. Следовало проверить всех содержавшихся в предварительном заключении, и самые места заключения, и мотивы, послужившие поводом ареста, и обоснованность действий властей. Комиссия была правомочна освобождать людей, передавать дела из одного ведомства в другое, из младшей инстанции в старшую, требовать ускорения следствия — словом, как прямо указали при назначении, наделялась авторитетом, более веским, чем прокурорский надзор, и властью, выше которой был один суд. Рагозин решил, что члены комиссии порознь будут знакомиться с заключенными и подготавливать решения в бесспорных несложных случаях, а сложные — выносить на рассмотрение всей комиссии. План работы был у него вполне готов, когда он подъехал к воротам тюрьмы.

Он стукнул в решетку окошечка, и оно тотчас распахнулось. Он назвал себя и, едва загремели засовы, окинул глазом ворота. Когда-то зеленые, они были обмалеваны кирпичной охрой, но ему показалось, он узнал даже рисунок — елочкой разбегавшуюся вверх обшивку — и, входя в отворенную калитку, понял, что внимание его раздвоилось: он хотел думать о предстоящем деле, а мысли уводили его в воспоминания, и чем старательнее он оборачивал их к делу, тем беспорядочнее они рассеивались.

Он увидел пустынный двор с прибитой пыльной землей. Вот такой же голой, бесплодной, выродившейся встретила его эта острожная земля, когда его заставили ступить на нее подневольным плательщиком кровью за немилосердный порядок, который он вознамерился пошатнуть и которого теперь не существовало. Больше десятка лет жизни ушло у него на то, чтобы бежать этих пятен голой земли, оспенными следами развеянных по лицу городов и городишек, и он почти изумился, что знакомый этот двор еще не зарос травой, не ожил, не оплодотворился. Он пробежал взглядом по квадратным оконцам тюремных скучно побеленных корпусов: за какой решеткой платил он свою кровную дань? За какой решеткой кончила дни его маленькая Ксана? За какой отсиживали, отдумывали горькие, злые и добрые думы его товарищи, которых помнил он и которых позабыл, которых издавна знал и которых отроду не видел? Незряче щурились на свет черные оконца, нетронуто выслись мертвобелые стены, словно притворявшиеся, что за ними — пусто, что они бездыханны и бездумны. Но, наверно, нет на свете других таких стен, за которыми всегда, каждый час и каждую секунду, думалось бы так много, с таким жаром тоски

и так тщетно, и почему же до сих пор — спросил себя Рагозин — все еще должен томиться за ними народ?

— Народ? Народ, да не тот! — вдруг остро усмехнулся он своему вопросу и, оторвав глаза от тюрьмы, опять собрал внимание, озабоченно зашагал навстречу подходившей кучке людей, пожал им руки, спросил:

— Ну, что, все в сборе? Одного не хватает? Будем дожидаться или начнем?

Они прошли во второй двор, в канцелярию тюрьмы или, как теперь говорилось, домзака — дома заключения, условились о порядке разбора дел, и Рагозин остался один в комнате с решетками на окне и дверях.

Ему принесли пачку бумаг. На глаз разделив их, он велел раздать членам комиссии и просмотрел свою долю. Это были протоколы снятых с арестованных показаний, личные документы задержанных, заявления, опросы свидетелей. Иные дела показались ему ничтожными, возникшими из мещанской злости, мусорных самолюбий и наводящих уныние дрязг, иных он не мог сразу понять — что-то мутно ускользающее, как мошкара, витало вокруг невразумительных писаний; иные были, очевидно, серьезные и ждали больших решений. Он рассортировал дела по первому впечатлению и сначала хотел заняться теми, которые счел легкими, чтобы расчистить поле, покончить с обывательщиной — как он назвал по виду мелкие дела — и потом перейти к важным. Но, секунду помешкав, он вдруг сказал:

— А пусть потерпят! — и решил действовать: как раз обратно — взяться сразу за самое сложное.

На одном листе красным карандашом была сделана наискось и подчеркнута крупная надпись: «Чиновник царской прокуратуры». Рагозин приказал привести этого обвиняемого и начал читать дело. Оно содержало немного: рабочим пикетом был задержан ночью с просроченным пропуском помощник советского нотариуса Анатолий Михайлович Ознобишин, тридцати пяти лет, с высшим образованием; как выяснилось на допросе, в прошлом он имел звание кандидата на судебную должность и служил в камере прокурора палаты, однако, по материалам следователя, он исполнял и более высокие должности, вплоть до прокурора, и это предстояло установить.

Минут через десять Ознобишин был приведен. Он поклонился, не крепко потирая, как бы поглаживая маленькие руки, и поблагодарил, когда Рагозин предложил ему сесть. На обычные вопросы он отвечал кратко, точно, не заставляя

ждать, но и не забегая, прилично храня свое достоинство и в то же время показывая полную уважительность к личности допрашивавшего.

— За что же вас, собственно, взяли? — спросил Рагозин, исчерпав всю формальную часть.

— За то, что истек срок моего ночного пропуска. Всего на один день.

— Вы, что же, забыли возобновить?

— Нет, помнил. Но за житейскими хлопотами вовремя не успел. Думал — в этот день не понадобится, а на другой сделаю. В этом я виноват, конечно.

— А зачем вам вообще ночной пропуск?

— Приходится задерживаться на службе — очень кропотные дела. Днем много посетителей, прием. А вечерами приходится оформлять. У нас несколько человек имеют такие пропуска.

— Что же, в этот вечер вы тоже задержались на службе?

— Нет. В этот вечер — нет.

— А где же вы были?

— В этот вечер... просто житейский случай,—сказал Ознобишин неуверенно.

— Загулялись?

— Да.

— Женщина?

— Женщина,— тихо ответил Ознобишин и опустил глаза.

Рагозин видал на своем веку людей в самых различных обстоятельствах, привык распознавать человека не только по словам его, но по маленьким проявлениям внутренней жизни, которые можно бы назвать химией чувств,— когда переживания то вдруг соединятся в сложное целое, то распадутся на составные части, и одно исключает и прикрывает другое, и лживое кажется правдоподобнее истинного. В Ознобишине он не замечал ни капли притворства и хотел разгадать — не наигранна ли его искренность, не дальновидностью ли подсказано ему чистосердечие.

— Что же вы думаете, неужели вас держат здесь из-за просроченного пропуска?

— Нет, как же это может быть? — даже удивился Ознобишин, и вздернул плечами, и узенько развел руки, показывая своим корректным жестом, что, во-первых, не может допустить такую несправедливость властей, во-вторых, хорошо знаком с законными постановлениями о ночных пропусках.

— Но вы ведь только что сказали, что вас арестовали за неисправность пропуска?

— Да, когда вы спросили — за что меня взяли, то есть арестовали. Арестовали за неисправность пропуска. А сейчас вы спросили, думаю ли я, что меня держат в тюрьме за просроченный пропуск. Я повторяю — нет, не думаю.

— Значит, вы знаете, за что вас держат?

— Нет, мне это неизвестно. Я только могу предполагать, что мое прошлое внушает ко мне недоверие.

— А кем вы были?

— Я служил в камере прокурора судебной палаты.

— В должности?

— Я был кандидатом на судебную должность.

— И долго?

— Может быть, в былое время я сказал бы: к сожалению,— ответил Ознобишин с едва заметной извиняющейся улыбкой и как будто застеснявшись.— Теперь я говорю: к счастью, долго. Около семи лет, начиная с университетской скамьи. У меня, как раньше выражались, была неудачная карьера.

— Почему?

— Ну,— приподнял бровки Ознобишин,— я совсем не карьерист. К тому же у меня не было никакой протекции. Я из простой семьи.

— А была бы протекция?

— Протекция мне вряд ли помогла бы.

— Ну что же это за протекция, которая не помогает! — вскользь проговорил Рагозин.

— Да, конечно,— согласился Ознобишин и тут же добавил, как бы в шутку:— Но в моем случае просто никто не согласился бы протежировать.

— Такой вы неудачник?

— Да, естественный неудачник.

— Как — естественный?

— То есть по своей природе.

Он опять немного опустил глаза:

— Мне не доверяли в прокуратуре.

— Не доверяли?

— Я не совсем был похож на прочих чиновников. Это внушало недоверие.

Рагозин вдруг сказал решительно:

— Не доверяли, не доверяли,— и кончили тем, что назначили вас прокурором.

Ознобишин не только всеми чертами лица, но всем вытянувшимся телом изобразил вопрос, который, однако, никак не мог слететь с его затвердевших и выражавших обиду

губ. Насилу одолевая борьбу чувств, он сказал озадаченно:

— Вы позволите разъяснить?

— Мне нужны не разъяснения, а я требую, чтобы вы без утайки сказали о вашем прошлом.

— Я ничего не утаиваю,— потряс головой Ознобишин, все еще не вполне справляясь с обидой, просившейся наружу, и потом заговорил с горькой, но очень скромной учтивой улыбкой:

— Я теперь понимаю, что существует подозрение, будто я выдаю себя не за того, кем был. Это неверно. Я никогда не был прокурором. Перед самой революцией на меня возложили исполнение обязанностей секретаря палаты, но в должности этой я так и не был утвержден. Откуда же могла взяться легенда, что я был прокурором? Я думаю, это только потому, что буквально за два дня до Октября, то есть при Временном правительстве, в палате было получено из Петрограда назначение мое товарищем прокурора. Назначение было от двадцать третьего числа, а переворот, как вы помните, произошел двадцать пятого. Никаких формальностей по назначению не было сделано.

— Почему же вы скрыли это при допросе?

— Я ничего не скрыл. Мне задавался вопрос — кем я был? Поэтому на вопрос — кем я не был? — я не отвечал.

— Но все-таки вы были прокурором, только не при царе, а при Керенском, так ведь, да?

— Нет. Прокурор — это легенда. Но я никак не могу признать себя даже бывшим товарищем прокурора, потому что в должность эту не вступил.

— Ну, а секретарем палаты при царе?

— А эту должность я только исправлял, но утвержден в ней никогда не был,— с проникновенным убеждением сказал Ознобишин.

Рагозин засмеялся.

— Ловко вы это, право!

— Какая же ловкость? Ведь это все легко подтверждается документами. Архив палаты уцелел. Да и свидетелей я могу указать какое угодно число.

— Ну, а за что же вы так полюбились Керенскому, что он вас назначил прокурором?

— Товарищем прокурора,— поправил Ознобишин,— и не Керенский, а при правительстве Керенского. Керенский меня, конечно, не мог знать. А назначения тогда были валовые.

— Что это такое?

— Валом назначали, по всем судебным округам, вроде, как бы сказать, призводства приказом в прапорщики.

— Но целью-то производства было что? Создать аппарат из приверженных Керенскому чиновников, да?

— Целью, как я понимаю, было заменить царских сановников в суде более свободомыслящими и молодыми силами. Назначили тех, кому при царе не давали хода, кому не доверяли почему-либо. Вот и я, как полагаю, в числе многих других был замечен: сидит, мол, человек кандидатом на судебную должность столько лет, очевидно, не очень он пришелся по душе блюстителям царской юстиции.

— Значит, никаких заслуг перед этой самой юстицией у вас не имелось?

— Заслуг? Скорее наоборот,— немного пожал плечами Ознобишин.— Скорее уже неудовольствие мог я вызывать до революции, что, собственно, революция и отметила назначением, за которое я почему-то сейчас должен страдать.

— А! Вас революция, отметила, так-так,— усмехнулся Рагозин,— вон какой поворот...

— Нет, не поворот, а я хочу только сказать, что движения по службе до революции у меня не было, что я не располагал начальство к доверию.

— А, собственно, что у вас такое было?— чуть-чуть раздраженно спросил Рагозин.— Вот вы все говорите — недоверие, недоверие. Почему вам, собственно, могли не доверять? За что?

— Это я могу только догадываться, предполагать,— ответил Ознобишин в добродушно-вкрадчивом тоне, как близкому человеку.— Скорее всего за мое неодобрение репрессий, за недостаточную радивость к политическим делам. На меня, конечно, ничего серьезного не возлагали, так себе — кое-что подготовить, подобрать материалы. Но я старался, в меру маленьких своих возможностей, облегчать нелегкую участь людей, которых преследовал царский закон за убеждения. Революционеров даже, если случалось.

— Вон как,— легонько мотнул головой Рагозин.— Может, приведете какой пример?

— Например, в рагозинском деле, очень у нас нашумевшем,— сказал Ознобишин.

— Это что за... рагозинское дело такое?— спросил Рагозин, помолчав.

— Дело о тайной подпольной типографии, которую держал в погребе революционер Рагозин. Очень много людей бы-

ло замешано, дело тянулось долго, но Рагозина так и не разыскали. Бежал.

— Он что, этот Рагозин,— сказал Рагозин, в упор смотря на Ознобишина,— он что — эсер?

— Рагозин? Нет, он был из социал-демократов. Рабочий железнодорожного депо. В дело была втянута интеллигенция, много молодежи.

— Вы что же... участвовали в преследовании?

— Дело проходило в палате. И мне кое-что поручали по делопроизводству, так что я был в курсе. Особого влияния я иметь не мог, но все-таки посчастливилось оказать помощь привлеченному по делу Пастухову. Может быть, слышали — известный театральный деятель, драматург?

— Он что же, имел отношение... был тоже в подполье?

— Нет, он был запутан по косвенным связям, но ему грозила ссылка, как многим по этому делу. Цветухин привлекался еще — актер здешний. И ему мне тоже удалось быть полезным. Конечно, мое сочувствие к неблагонадежным, как тогда они назывались, не могло нравиться моему принципалу, то есть товарищу прокурора. Да и сослуживцы-коллеги на меня косились. Вот это я имел в виду, говоря о недоверии ко мне в прокуратуре.

— Большое было, значит, дело?— сказал Рагозин и отвернулся от Ознобишина.

— Рагозинское? Очень разветвленное: прокламации, тайное общество, типография, масса обвиняемых. В нашем округе одно из самых громких.

— Ну, а этот, как его... Рагозин, значит, уцелел?

— Не могу сказать. Во всяком случае, не был разыскан, и, по закону, дело о нем было прекращено. Может быть, и уцелел,— такие примеры нередки, старый режим был бессилен против бывалых революционеров.

— Да, против бывалых, конечно...— буркнул самому себе Рагозин и спросил вскользь:— Он что, был семьянин?

— Рагозин? Насколько помню — нет. Жена у него была, это я знаю, потому что он сам ушел, а жена не успела, ее взяли, и она умерла здесь в тюрьме во время следствия.

— Отчего же? Отчего умерла?

— Ну, знаете,— тюрьма! Но насколько память не изменяет, кажется — в родах.

Рагозин взялся за бумаги. Он просматривал их, как будто вчитываясь в отдельные строчки, нагнув низко голову, почти не шевелясь. Потом оторвался, быстро спросил:

— А ребенок? Остался ребенок после нее?

— Не могу сказать. Возможно, конечно.

— Понимаю, что возможно. Но я спрашиваю — знаете вы или нет?— грубо спросил Рагозин.

— Не знаю, нет, не знаю,— ответил Ознобишин, настораживаясь и тоненько прищуривая небольшие, вдруг словно успокоившиеся глаза.

— Возможно, понятно — возможно,— проговорил Рагозин по-прежнему ровно, без нажима, желая показать, что он не может допустить грубости.— Я почему спросил? Потому что слишком хорошо известно, что таких детей, рожденных в тюрьме, предостаточно.

— Безусловно,— неуверенно подтвердил Ознобишин.

— И о них надо проявлять заботу.

— О детях сейчас заботятся, это правда,— вздохнул Ознобишин.

— Сейчас!— сказал Рагозин опять резко.— Сейчас — другое. А раньше разве о них думали? Родится вот такой от арестантки, и ладно. Куда его? Куда его девали, спрашиваю?

— В приют, обыкновенно,— сказал Ознобишин.

— В приют? В какой приют?

— Были такие сиротские приюты.

— Я понимаю. Я спрашиваю, допустим у этой... у жены, ну, о которой вы говорите, которая умерла, скажем, остался ребенок. Куда его из тюрьмы, куда должны были поместить?

— Не могу сказать,— произнес Ознобишин нащупывающим новый тон голосом.— Но ведь можно попробовать установить, если бы заинтересовал именно случай с женой Рагозина.

— Установить?

— Да, ведь в рагозинском деле могут найтись следы.

— Вы, что же, думаете, оно сохранилось, это дело?

— Архив палаты цел, как я уже вам сообщил.

— И вы, что же, могли бы отыскать?— в какой-то вспышке нетерпенья спросил Рагозин.

— Вероятно, конечно,— подумав, медленно отвечал Ознобишин,— но вряд ли в моем положении, по крайней мере пока я лишен свободы...

Вдруг долгий, связывающий взаимностью и все понимающий взгляд остановил их, в молчании, друг на друге. Слышалось ясно дыхание Рагозина — частое, с шипящим выталкиванием воздуха в усы, и ознобишинские хрипловатые вздохи через приоткрытый рот. Они пробыли в неподвижности несколько секунд. Затем, шумно перевернув лежащее на столе дело и отодвигая его прочь, Рагозин проговорил, обрезая слова:

— Стало быть, вы утверждаете, что оказали услуги некоторым лицам, которых преследовал царский суд. Как либерал, да? По либеральным мотивам, так?

— Из сочувствия,— мягко пояснил Ознобишин.

— Понятно. Нам не сочувствуют только там, где нет нашей власти.

— Извините, но это было до вашей власти,— деликатно поправил Ознобишин.

— Но говорите-то вы об этом при нашей власти, а не при царе,— возразил Рагозин.— Я попрошу вас письменно назвать свидетелей, которые могут подтвердить ваши показания о прошлой службе. У вас ко мне вопросов нет?

— Один. Кому я должен подать просьбу об освобождении?

— Не надо подавать. Комиссия рассмотрит и решит. Можете идти.

Ознобишин встал и поклонился с тем же учтивым видом, с каким поздоровался, входя. Он был уже у двери, когда Рагозин хмуро остановил его.

— Минутку. Значит, вы могли бы быть полезны в отыскании этого, видно, интересного дела, о котором рассказывали?

— Рагозина?— переспросил Ознобишин и, как необычайно расположенный советчик, отечески ласково сказал:— Да лучше меня для этой цели, пожалуй, никого и не найти. Архив палаты мне знаком. Хотя порыться придется и в архиве охранного отделения, и вот здесь, в местных тюремных делах,— следы могут обнаружиться совершенно неожиданно.

— Может, еще в приютах?— вставил Рагозин.

— В приютах?— не сразу понял Ознобишин, но догадался и воскликнул:— Ну, разумеется, в бывших приютах. Насчет ребенка, да?

— Да, да! Можете идти,— нетерпеливо сказал Рагозин и тут же, подтолкнутый странной неловкостью и раздражением, задал неожиданный для себя самого вопрос:

— Вы знаете мою фамилию? Вам сказали?

— Нет. А как ваша фамилия, товарищ?

— Можете идти,— настойчиво повторил Рагозин, как будто его не слушались и он вынужден был требовать.

Он вскочил, едва шаги Ознобишина и провожавшего его конвоира затихли в коридоре. Он вскочил и почти промчался по комнате из угла в угол, раз, и другой, и третий.

— Дурак, ну и дурак!— едва не крикнул он на себя, подбегая к окну и стукнув кулаком по подоконнику.— Еще подумает — я в нем нуждаюсь. Черт меня дернул!.. Надо же, надо было случиться этому как раз сегодня!..

Он еще припечатал кулак к подоконнику, растворил окно, сжал пальцами недвижимые прутья решетки и так застыл.

Двор, голая земля острога опять мертво лежала перед его взором. По ней, может быть, прошла последний раз за свою жизнь Ксана, касаясь натруженной ступней бесчувственной тверди. Ксана! Вмиг ожившая, встала она перед Рагозиным, когда из чужих уст вылетело так долго никем не повторенное, давнее, теплое слово — жена. Он увидел ее руки — как она положила их острыми локотками ему на круглые, грубые колени, вытянула открытыми узкими ладонями вверх, точно ждала, что он их чем-то наполнит, нальет, и она понесет это что-то бережно к будущему. Это будущее настало, а Ксаны не было, и он уже сколько лет идет со своими мыслями наедине. Нет, нет, конечно, он не одинок, у него — товарищи, много товарищей, он всякую думу может запросто и серьезно с ними разделить. Но он должен всегда отыскивать верные, доходчивые слова, чтобы поговорить с товарищами, а Ксана понимала молчаливый поворот его головы, его наполовину прикрытый глаз, его мурлыканье, его кашель и — может быть, самое главное — неловкую и одновременно задорную усмешечку, с какой он взглядывал на жену, когда думал вместе с ней о будущем ребеночке, которого они так ждали. Что Ксана умерла в тюрьме от родов, Рагозин знал еще лет восемь назад и успел свыкнуться с этим неутешным знаньем. Возвратившись на родину, он пробовал разведать о непозабытой смерти, но всюду были новые люди, никто ему не мог ничего сказать. Смерть от родов ему почему-то всегда представлялась как безрезультатные роды. Что после Ксаны мог остаться ребенок, сын — без сомненья, сын!— это он неожиданно понял только сейчас. Он думал, что с ее смертью все кончилось навечно. И вдруг теперь он увидел, что это было невероятное заблужденье! Что она не умерла совсем, что она оставила ему часть себя, часть его жизни с нею, и эта часть не могла умереть, нет, не могла! Сын, сын, которого он ждал вместе с женой, как возрожденье, как преемника первого ребеночка, умершего еще когда Рагозин уходил в ссылку, сын его единственной Ксаны был, конечно, жив! Уверенность эта внезапно впиталась всем существом Рагозина и стала действительностью, как действительностью была высившаяся перед глазами Рагозина огромная, намертво вросшая в голую землю тюрьма. Отсюда, из этой тюрьмы, пошла жизнь его сына, отсюда, из этой тюрьмы, пошло убеждение Рагозина в том, что жизнь сына продолжается, что она не могла прекратиться.

— Я его найду,— сказал он твердо, и насилу разжал похо-

лодевшие от решетки пальцы, и отвернулся от окна, и увидел на столе бумаги, которые звали к работе.

Он вспомнил мгновенно весь допрос и решил, что — нет, Ознобишин не был, конечно, прокурором, потому что если бы был, то не остался бы жить там, где служил,— он слишком для этого умен, слишком осторожен — он бежал бы.

Рагозин записал: «Проверить показания гражданина Ознобишина вызовом свидетелей» — и принялся за следующее дело. Но работа делалась им с непривычным напряжением, он заставлял себя не думать о сыне — и все время думал о нем: как будет его разыскивать, какими путями надо идти, чтобы напасть на след, и кто может помочь, и как наконец сын найдется, и он возьмет его к себе, и будет с ним жить.

К концу дня Рагозин почувствовал такую усталость, что, пойдя домой пешком, чтобы освежиться, еле-еле добрел. Хозяйка на дворе встретила его охами и сказала:

— А к вам тут приезжал один товарищ, очень жалел, что не застал.

— Что за товарищ?

— Молодой из себя, на машине, машина такая, что мальчишки сбежались со всей улицы.

— Да как же его зовут, не спросили?

— Он вам записочку оставил с адресом. И очень велел кланяться.

Рагозин, не торопясь, поднялся к себе и взял со стола записку без особого желания прочитать, но взглянул на подпись — и не прочитал, а разом проглотил остро начерченные карандашом и кое-где прорвавшие бумагу строчки:

«Петр Петрович, родной!— заезжал и — какая досада — не застал! Но тут ты не уйдешь — Саратов у меня на ладошке! Знаю, какую тебе дали сейчас работу, и не завидую — дело не веселое. Но как только у тебя освободится время, пожалуйста, заезжай ко мне вечером. Я пока у матери: Солдатская слободка, трамвай до конца, спроси школу, там ее квартира. Страшно хочу увидеть тебя — какой ты? С нетерпением жду.

Кирилл».

Рагозин бросил записку на стол, прихлопнул ее ладонью, поднял руки под самый потолок, хрустнул туго сплетенными пальцами, выдохнул:

— Ах, черт! Кирилл! А?!

Засмеялся, шагнул к двери, крикнул хозяйке:

— Самоварчик не раздуете?.. Да хорошо бы... Рюмочки не осталось от прошлого раза, а? Рюмочку хорошо бы!

Опять негромко сказал — ах, черт!— и опять засмеялся.

8

Все старания Дибича сесть на пароход, чтобы ехать в Хвалынск, были напрасны. Но чем больше постигало его неудач, тем больше хотелось добраться до дома, и он решил, что если не попадет на пассажирский, то поедет на буксирном или наймется на баржу водолеем — все равно. Он исходил все пристани, облепленные народом, как медовые пряники — мухами, побывал во всяких конторах и канцеляриях, ночевал в очередях за пропусками, разрешениями, резолюциями, пробовал следовать разным доброхотным советам и, наоборот, действовать наперекор тому, что советовали,— ничего не получалось.

В этих поисках он очутился у военного комиссара города. Но в первый день, когда он пришел, комиссар никого не принимал, на другой день Дибич должен был продежурить до вечера за хлебом, на третий ему сказали, что прием был вчера и надо являться вовремя, на четвертый комиссар был куда-то срочно вызван, и только на пятый Дибича записали в очередь. Как и повсюду, у военкома толпились с виду одинаковые, но на самом деле разнокалиберные люди. Одни были из военнослужащих давно расформированных частей царской армии, искавшие помощи в личных делах, другие — из вновь мобилизованных в Красную Армию, третьи — из отпущенных по болезни, или хлопотавших об отсрочках по призыву, или привлеченных к ответу за уклонение от службы — юные и пожилые, много испытавшие мужчины, оторванные событиями от дома, разумной работы и близких, все усталые, нередко озлобленные, чающие какого угодно, но только скорого решения: либо домой, либо в воинскую часть, лишь бы не это изнурительное сидение на затоптанных крылечках и лестницах, по коридорам и передним, под выцветшими приказами и плакатами.

Дибич был принят за полдень, когда военкома уже измучили жалобами на невыдачу инвалидных пенсий, требованиями содействия и пособий, и он сидел, навалившись на стол локтями, мокрый от духоты, очумелый от папирос. Ему что-то докладывал, самолюбуясь, молодой военный с проборчиком и в новой сногсшибательной форме хаки, к которой Дибич сразу возымел отвращение, потому что она напомнила околоштабных хлыщей фронтовых времен и потому что все в ней состояло из чрезмерностей — невиданной длины полуфренч-полугимнастерка, чуть не до колен, с фигурчатыми нагрудными и поясными карманами, как почтовые ящики, ремень шириною в ладонь на щегольской портупее, раздутые в колесо галифе, ров-

нейшая спираль обмоток на тонких икрах, словно бублики на мочалках.

— Ведь это же некультурно!— видимо с презрением закончил докладчик, разглаживая пробор ребром руки.

— Ты думаешь?— сказал комиссар и постучал по бумагам темными полумесяцами ногтей — раз-два, раз-два, раз-два-три, будто напевая про себя: «Чижик, чижик, где ты был».

— О чем вы, товарищ?— спросил он у Дибича, и, когда Дибич высказал просьбу, разъяснил со скукой:— Это же не наше дело! Вам надо в Центропленбеж, а не к нам.

— Я был там два раза.

— Ну, и что же?

— Центропленбеж посылает меня в эвакопункт, эвакопункт в собес, собес к коменданту, комендант к вам, я в конце концов...— начал Дибич, быстро распаляясь.

— Ч-ш-ш,— приостановил его молодой военный, заткнув большой палец левой руки за портупею и упокаивающе поводя вверх и вниз другими пальцами.

— Вы снабжение где получаете?— спросил комиссар.

— По военной линии, как выписанный из госпиталя.

— Ну и неправильно. Вы должны получать по Центропленбежу.

— Мне безразлично. Я должен попасть на родину, и все.

— Вам безразлично, а нам нет.

— Пока меня не доставят до дома,— упорствовал Дибич,— как бывшего пленного, как больного, как демобилизованного, если хотите — как сумасшедшего,— мне все равно,— я считаю себя за военным ведомством. И я отсюда никуда не уйду, покуда меня не отправят в Хвалынск.

— Ну, ну, ну!— опять попридержал Дибича военный франт.— Вы с кем разговариваете? Товарищ военком говорит, что вы должны идти по общей гражданской линии, по советской, а не по военной. Понятно?

— Напиши ему записочку в Совет, пусть там займутся,— покладисто приказал комиссар и выстукал ногтями «Чижика».

Военный показал Дибичу одной бровью на дверь, щелкнул каблуками и пошел первым. Ботинки у него были похожи на утюги, повернутые тупым концом наперед, и глянцево сияли, как красный яичный желток. Когда он, в смежной комнате, поравнялся со своим столом, зазвенел телефон. Он снял трубку, послушал, сказал небрежно:

— Да, у телефона для поручений Зубинский... Я повторяю: вас слушает для поручений Зубинский... Ну, если вы не пони-

маете, что такое «для поручений», значит, вы — не военный или просто бестолочь...

Он положил трубку, взял у Дибича документы, прочитал, спросил:

— Вы из кадровых?

В это время снова раздался звонок.

— Опять вы?— сказал Зубинский в трубку и подкинул кверху ловко выделанные плечи френча.— Напрасно сердитесь, дорогой. Я отвечаю: да, у телефона Зубинский, для поручений... Ну да, по-старому это адъютант... Но мы живем не по-старому, а по-новому!.. Ах, теперь понятно? Ну, слава богу...

Кончив разговор, он взглянул на Дибича и, явно рассчитывая на сочувствие, пробормотал:

— Действительно, было удобно и просто адъютант есть адъютант... Вы не кадровый?— повторил он, разглядывая документы...— Нет?.. А когда были произведены в поручики?.. Командовали ротой?.. А, вон что — батальоном... А к штабс-капитану вас не представили?

— А разве все это имеет отношение к тому, что вам приказал комиссар?— нервно сказал Дибич.

Зубинский не ответил, а достал листик бумаги, окунул перо в полупудовую, усыпанную стеклянными пупырьями чернильницу и дольше всякой меры крутил ручку над каким-то невидимым пунктом бумаги, будто разгоняя перо для необыкновенного, как он сам, росчерка. Однако он ничего не написал, остановил кручение и спросил:

— Почему бы вам не вступить в Красную Армию? Вы — специалист, у вас боевой опыт, специалисты нам нужны.

— Я больной,— отрезал Дибич.

— Лучше, чем в армии, вы нигде не поправитесь. Пайки у нас отличные, живо откормим.

— Я не свинья, чтобы меня откармливать,— наливаясь кровью, выпалил Дибич.— Если таких, как вы, ставят вербовать в Красную Армию, то я ее не поздравляю!

Зубинский даже не поднял на него глаз, а только еще раз обмакнул перо и проговорил в бумагу:

— Спокойно, поручик, спокойно.

— Я давно не поручик, к вашему сведению, никакой не поручик! Так же, как вы — не адъютант!— в бешенстве прохрипел Дибич.

Зубинский хладнокровно написал записку, украсив ее действительно акробатическим росчерком, и сказал:

— Напрасно волнуетесь, товарищ. Надо дорожить людьми, которые готовы вам помочь. Вот с этой бумажкой ступайте

в городской исполком, к секретарю товарищу Извекову. Если дело не выйдет, приходите ко мне, я человек культурный и не мелочной и вхожу в ваше положение.

— Можете быть уверены — я вас больше не обеспокою!— в необъяснимой злости ответствовал Дибич и ушел, не простившись.

Последнее время он неожиданно для себя вдруг впадал в крайнее раздражение. После плена, где надо было принужденно сдерживать и прятать всякую тень своеволия, его желаниями овладело нетерпенье. Слишком часты и, в сущности, ничтожны были бесконечные препятствия на большом его пути. Взбесившись по пустяковому поводу, он быстро приходил в себя, как человек, доведенный до исступления комарьем и начавший по-мельничному махать руками, бросает это занятие, понимая его бесплодность.

На улице ему стало сразу легче. Его отвлекла перемена, происшедшая за часы, которые он провел у военного комиссара. Когда он входил в дом, день был синий, все вокруг остро прочерчивалось солнцем, можно было ждать зноя. Сейчас под холодным ветром испуганно клонились в палисадниках трепещущие деревья и смутный пепельный свет обволок улицы, точно накинув на них хмурую хламиду. Тучи ярусами настигали друг друга, чувствовалось, что где-то уже хлынул весенний ливень, может быть с градом.

«Не хватает еще попасть под душ»,— подумал Дибич, набавляя шаг и пригибая голову против ветра.

По мостовым гнало бумажонки, солому, прошлогоднюю пересохшую листву, раскрошенный навоз — целые кадрили завинченного в трубы и воронки мусора, в котором, наверно, без следа затерялись бы дороги, если бы не благодетельные бури. Все пело и перезванивало под напором ветра, стон катился по железным кровлям, свист верещал в колеблемых проводах телефона, стрельба потрескивала от захлопываемых калиток и дверей. Народ бежал под крыши.

Оставалось недалеко идти, и уже совсем на виду был высокий дом на улице, пышно обсаженной зеленью, метавшейся под нажимами ветра, когда прямо навстречу Дибичу, словно опрокинутая из-за угла, вымахнула косая и как будто кудрявая, избела-свинцовая, шумящая стена воды. Он врезался с разбега в эту стену, торопясь к подъезду дома, и она охватила и вмиг испятнала его с головы до ног темными пятаками, и пятаки стали мгновенно сливаться в черные разводья на плечах, груди и коленках, и Дибич ощутил животворящий колючий холод во всем теле.

Он весь промок, пока взбежал под козырек на ступени подъезда, где уже скучилось несколько человек. Отряхнувшись, он смотрел, как взапуски щелкали несчетными шлепками по земле увесистые дождины, как высевались и звездами лопались на асфальте белые пузыри, яростнее, яростнее и толще вырывались пенистые струи из водосточных труб по сторонам подъезда, мутно набухал и разливался поток по скату между мостовой и тротуаром.

Перед подъездом мокрый шофер суетился вокруг длинного сверкающего «бенца», стараясь поскорее натянуть тент, но автомобиль уже заливало водой, и от ее живого бега по черным кожаным сиденьям, по радиатору и крыльям машина будто превратилась в покорное животное, застигнутое ливнем в поле.

В этот момент из парадного торопливо вышел на подъезд невысокий, даже коротковатый, плотно сбитый человек со смуглым лицом, чуть покрапленным веснушками на прямом переносье, в белой русской косоворотке с откинутым краем расстегнутого ворота. Он слегка взмахнул кепкой, зажатой в руке, и присвистнул.

— Вот это баня!— сказал он с очевидным удовольствием.

Он по-деловому глянул туда, где полагалось быть небу, а сейчас накатами туманился, то разряжаясь, то темнея, гонимый шквалом водяной хаос, и Дибич совсем нечаянно увидел в этом стремительном взгляде что-то такое заносчиво-жизненное, будто небольшой этот человек ни капельки не сомневался, что от него одного зависит остановить дождь немедленно или припустить его погорячее. В ту же секунду Дибичу почудилось, что он где-то видел это лицо с выдвинутыми скулами, прямым ртом и такими же прямыми, немного сросшимися темно-русыми бровями. Но Дибич не мог прояснить мимолетное воспоминание и рассмотреть получше лицо, может быть, знакомого человека, потому что тот сразу же, поглядев так необыкновенно на небо, нахлобучил кепку и спокойно, даже как будто нарочно замедленным шагом вышел на дождь, к машине, молча и ловко помог распрямить шарниры тента, сел рядом с шофером и укатил, почти уплыл, точно лодкой рассекая озорно несущуюся по дороге рябую, шумную речку. Двое мальчишек, вынырнув неизвестно откуда, в задранных штанишках и облепивших тело лоснящихся рубашонках, с криками зашлепали вслед за автомобилем и тотчас веселыми китайскими тенями исчезли в сером водяном экране.

Дибич вошел в подъезд.

В обширной комнате второго этажа, показавшейся неожи-

данно торжественной, он застал полдюжины посетителей и стриженую барышню за столиком около двери с надраенной по-морскому медной ручкой. Извекова ждали не раньше чем через час, к нему было записано десять человек, и барышня резонно советовала не терять времени — всех ведь принять невозможно. Но Дибич настоял на своем,— его записали, он сел в ряд с ожидающими и приятно почувствовал, что здесь его хождениям должен прийти конец: так хорошо было сидеть в удобном кресле, такое тепло витало в чистых стенах, такая тишина баюкала слух, точно состязаясь с плеском и хлестанием ливня за зеркальными стеклами окон. Его чуть-чуть познабливало от прохлады мокрой гимнастерки, он поглубже сел в кресло и, наверно, сразу задремал, потому что вдруг обнаружил себя прислонившимся к парапету над пароходным носом, и на носу — загорелого парня, который долго размахивал собранной в кольца легостью и потом молодецки кинул ее на пристань, и она распустилась в воздухе длинной-длинной змейкой и стукнулась о железную крышу конторки, и капитан на мостике прижал рот к слуховой трубе и глухо крикнул в машинное отделение: стоп! задний полный!.. И тогда забурлило, зашипело и заплескалось под плицами колес, и пароход задрожал, и народ бросился с верхней на нижнюю палубу, грохоча ногами, и капитан опять скомандовал: стоп!— и Дибич очнулся.

Он увидел, что ожидавшие люди поднимались, двигая креслами, и через комнату наискось быстро и громко шагал тот самый коротковатый смуглый человек с кепкой в кулаке, которого он встретил на подъезде, и человек этот наотмашь распахнул дверь с медной ручкой и скрылся, и следом за ним скрылась стриженая барышня, затворив дверь. Дибич понял, что довольно крепко уснул. Он хотел спросить у посетителей, ходивших в нетерпении по комнате,— кто этот человек, который пришел, но дверь снова отворилась, и барышня, глядя очень пристально и как-то по-новому, сказала:

— Товарищ Дибич, пожалуйста!

Он совсем не был готов к этому приглашению, слегка замешкался, и она проговорила, кивнув утвердительно:

— Вас, вас просит товарищ Извеков.

Он обтянул себя гимнастеркой, собрав складки назад, под пояс, выправка его будто перемогла усталость, и он по-военному остановился в дверях, когда ступил в кабинет. Он впервые видел такого, как ему думалось, крупного советского работника, и притом не военного, и не представлял себе — как же подобает держаться.

Извеков неподвижно стоял с края стола и глядел на вошедшего немигающими глазами из-под приподнятых своих темных бровей в линейку.

— Ваша фамилия — Дибич? Садитесь,— пригласил он и сам, обойдя стол, первый сел, не спуская взгляда с Дибича.

Вдруг опять, и уже с полной уверенностью, Дибич сказал себе, что видел этого человека, где — не помнит, но видел, и невольно тоже остановил внимание на его табачно-желтых глазах и на этом легком пятне веснушек, врассыпную сбегавших с переносицы, необычных для смуглокожих. Так они несколько мгновений безмолвно смотрели друг на друга, пока Извеков не спросил словно бы приказывающим тоном:

— Скажите, вы не командовали вторым батальоном восьмого стрелкового?

— Так точно, командовал. Я — поручик восьмого запасного.

— Ну, я вас не признал бы, если бы не ваша редкая фамилия!— сказал Извеков и не то с участием, не то с упреком покачал головой.

— Я вас, напротив, как будто узнаю, но не вспоминаю. Может быть — на фронте?

— Ломова помните? Рядового шестой роты вашего батальона Ломова, а?

— Ломов!— приподнялся Дибич.— Ломов, разведчик!

— Ну, какой там разведчик! А уж если разведчик, то по вашей вине,— улыбнулся Извеков.

В этой его улыбке, будто обращенной к самой себе и одновременно насмешливой и стеснительной, Дибичу раскрылась та черта, которой недоставало, чтобы воскресить воспоминание, и тогда в один миг он не только узнал в Извекове своего солдата, но словно взрезал в памяти сразу все, что окружало имя Ломова...

Было это на Юго-Западном фронте, во время майского наступления русских армий, оставившего неизлечимую рану на духе австро-венгерского войска и придавшего духу русских нежданное возбуждение, полное веры в неистощимость народных сил.

Командиром роты Дибич проделал с боями больше чем двухсотверстный марш. К концу марша был тяжело ранен батальонный командир, и Дибича, недавно награжденного анненским темляком, назначили на его должность. К этому времени австрийцев на многих участках уже заменили германские части, спешившие на подмогу своему разбитому, панически отступавшему союзнику. Прорванный русскими и пришедший в без-

надежное расстройство фронт немцы не могли восстановить,— они ставили себе задачей удержать дальнейшее распространение прорыва, угрожавшее их флангу на севере и австро-венгерскому фронту на юге. Перебрасываемая с запада, обкатанная в боях с французами немецкая пехота кидалась в контратаки против русских полков, уже ощущавших, после длительных битв и переходов, недостаток в пополнениях. Добиваясь создания непрерывности линии фронта, германцы укрепляли и решительно отстаивали новые позиции, местами стараясь вернуть из русских рук выгодные пункты, и с упорством возобновляли атаки, если они сразу не приносили результата.

Батальон Дибича почувствовал смену противника на рассвете, когда захваченная с вечера небольшая высотка подверглась внезапному картечному обстрелу легкой артиллерией, которой до того у австрийцев не было. Дибич был предупрежден штабом своего полка, что против соседей справа и слева появились немцы, что надо ожидать контрудара и необходимо удержать высоту. Еще до начала обстрела он приказал окапываться. Под огнем, перебегая от одного укрытия к другому, он осмотрел расположение батальона и отдал приказ отвести шестую роту в лесок, на самую маковку высоты, в резерв, с тем чтобы там была подготовлена запасная линия обороны. Он не отвечал на стрельбу, но деятельно готовился отразить атаку и всеми силами наблюдал за позицией противника и его огнем. Однако действия немцев ограничились этим неожиданным артиллерийским налетом, а затем все утро и весь день было загадочно тихо, как будто, с треском уведомив о своем прибытии, враг решил, что этого вполне достаточно.

Считаясь с вероятностью ночной атаки, Дибич в сумерки вызвал к себе в недостроенную землянку командиров рот с рапортами о ходе работ по укреплению высоты, с намерением подогнать эти работы. В офицерах он видел еще не столько своих подчиненных, сколько недавних равноправных сослуживцев и приятелей, поэтому в разговоре с ними скоро почувствовал, что они, совершенно так же как он сам, не могут разгадать сумбурной тактики противника и довольно заметно взволнованы. Было признано, что самое главное в этих обстоятельствах — разведка, и Дибич решил, что все роты, за исключением шестой резервной, с наступлением полной темноты вышлют, каждая на своем участке, разведывательные отряды с заданием — проникнуть в ближайшее расположение противника и бесшумно захватить «языка».

И вот после этого решения, задержавшись перед уходом из землянки, командир шестой роты — партнер Дибича по шахма-

там и тоже из прапорщиков запаса — доложил, что у него — неприятность: с последним пополнением пришел в роту рядовой Ломов, о котором через фельдфебеля стало известно, что он на привалах вел с солдатами опасные беседы о бесцельности войны для простого народа. Рядовой этот новобранцем прошел обучение в Нижнем Новгороде, до призыва служил чертежником на Сормовском заводе, хорошо грамотен,— на острый нюх фельдфебельского носа тут дело не совсем чисто.

— Что ж,— сказал Дибич, размыслив,— пошли его для начала в разведку,— может, это вправит ему мозги. Я прикажу, чтобы его взяли нынче бывалому разведчику в пару.

Беспокойство продолжавшейся затаенной тишины выросло к ночи нестерпимо. Низкие тучи соединились с темной землей. К моменту вылазки разведок наступил такой мрак, что не видно было пальцев вытянутой руки. Спустя короткое время вправо от Дибича разнеслось несколько выстрелов, тотчас старательно поддержанных пулеметами. Почти сразу затем возникла беглая ружейная пальба далеко слева. Дибич понял, что огонь вызван разведкой, и за один этот час ожидания в непроглядной ночи извел столько табаку, сколько не выкуривал в иные сутки.

Когда вдруг ввалившийся в землянку связной доложил, что «язык» добыт и что это — немец, Дибич подпрыгнул, как мальчишка, обнял солдата, крикнул:

— Живо, живо! Пусть его тащат ко мне! А тем, кто добыл,— по новой паре сапог, нет!— отпуск вне очереди, черт их побрал! Молодцы!

Уже после того как доставленный немец был допрошен и на телеге отправлен с конвоем в штаб полка, Дибич узнал — кому приходится обещанный под щедрую руку отпуск. Оказалось — как раз новичку-разведчику шестой роты и посчастливилось добыть живьем немца, притом — только ему одному и в условиях, совсем исключительных.

В назначенную минуту Ломов в отряде из шести человек выбрался из окопа и пополз по склону вниз. Заросший молодой травой чистый луг скатывался полого, сажен на сто, к неглубокому овражку с ленивой речкой, почти ручьем. Овражек увивался порослью ольшаника и черемухи. За ним опять шел луг, еще сажен на сто, такой же чистый и ровный, кончавшийся невысокой грядой. На гряде должна была находиться передняя линия противника — цель, которую надо было достичь незаметно. Что предстояло там встретить — никто не знал.

Старшим в отряде был унтер-офицер, недовольный, что ему дали неопытного солдата, к тому же — чужой роты. Он ус-

нел только спросить Ломова, как его зовут, и приказал: «Держись за мной». С самого начала продвижения по склону отряд разбился на пары, и в средней паре ползли Ломов с унтером, а крайние постепенно отдалялись от нее в стороны, так что след за ними, если бы можно было видеть, расходился, как раздвигаемый шире и шире веер. Но видеть было ничего нельзя. Сейчас же как крайние пары отползли в стороны, Ломов потерял их черные, горбами приподнятые над землей тени, и все меньше и меньше слышал их шорох в траве, пока он совсем не растаял.

Ломов слышал теперь только унтера и себя,— глухое, иногда под остренький треск надломленного, старого стебля прикосновение к земле коленок и кулаков, частое дыханье через открытые рты, тяжелое, скорее угадываемое, чем слышимое, трение о поясницу винтовки, закинутой на спину, и сам себя подгоняющий бег непривычных толчков в ушах: это шумело сердце. Бесконечный мир тьмы был объят молчанием, но молчание это наполнялось непрестанной жизнью луга с невидимым населением его почвы и трав. И это был другой слой шума, лежавший над шумом сердца и отделенный слухом от тишины.

Едва Ломов коснулся руками и коленями земли, он намок от росы, и влага быстро начала пропитывать всю одежду, и скоро родилось ощущение, что он ползет в воде, потому что и лицо стало мокрым, и грудь, и спина, только от земли было прохладно, а со спины тепло — пот проступил на Ломове горячей росой. Он тащил с собою в кулаке тяжелые, длиною в пол-аршина, стальные ножницы на случай, если бы противник успел протянуть перед своими траншеями проволочное заграждение. Он испытывал это самым мучительным неудобством, потому что, когда опирался на кулак, сталь давила пальцы и ладонь, а заткнуть ножницы за пояс он не решался, ему казалось — они непременно выскользнут в траву. У него мелькнула мысль, что можно не ползти, а шагать во весь рост — все равно ничего не видно. Но он тут же ответил себе, что, если нечаянно вспыхнет ракета или скользнет прожектор и осветит шагающих солдат, дело тотчас провалится. К тому же он твердо помнил, что рассуждать нельзя, как нельзя было бы возразить, когда его неожиданно назначили в разведку, и он подумал, что теперь, наверно, всему конец.

Ломову чудилось — он ползет давно, и совсем уже близок овражек с речкой, но вдруг впереди защелкал соловей, и тогда он по звуку догадался, что до речки еще далеко. Щелканье сменилось трелью, посвистом, бульканьем,— десяток колен на-

считал Ломов, пока дышавший рядом унтер не просопел шепотом: «Ишь собачий сын!» — и не вздохнул глубоко с каким-то тоже птичьим всхлипом.

Соловьиный голос шутя унес Ломова назад — в юность. Он полз, слушал и видел себя на Зеленом острове, среди голубого тальника, где соловьи переговариваются с тихим плеском воды на песчаной кромке берега. Идет мимо Волга, перламутровая от лунного сумрака, мерцает на стрежне коренного русла красный бакен, плывет, словно дворец уснувшего царства Додона, вся в теремках и башенках, прихотливая беляна,— и на песке сидит недвижно маленький Кирилл Извеков, обняв колени, и думая—каким он будет, когда станет большим. Каким он будет, когда понадобится забыть, что он — Кирилл Извеков? Каким будет, когда назовет себя Ломовым? Каким будет вот сейчас, сию минуту, когда до Зеленого острова юности недосягаемо далеко, а мокрый, усталый, согнувшийся в крючок солдат Ломов, таща винтовку и стальные ножницы, слышит душный, сырой запах отцветающей черемухи, видит черную кайму поречного ольшаника, надвигающуюся с медленной неизбежностью ближе и ближе?

Унтер привстал, достигнув кустов, и за ним поднялся на ноги Ломов. Они передохнули, размяли поясницы, скинули с плеч винтовки и вошли в заросли. Глаз настолько привык к темноте, что различал смутными пятнами стволы деревьев, шапки курчавых ветвей. Овражек был неглубок. Нащупывая подошвами землю, они, шаг за шагом, спускались к речке. Ее ленивое журчание раздавалось ясно. Соловей выбивал свои дроби над головами. Скоро чуть-чуть блеснул между листвы черный лак воды. Через минуту они увидели весь ручей. Он был в три шага шириной. Близко от берега они прислонились к толстым деревьям. Наверно, это были вётлы.

В эту секунду пронеслись вдалеке рассеянные выстрелы, и потом взвыли пулеметы. Ломов взглянул на своего начальника. Он был неподвижен. Когда стрельба стихла, он шепнул: «Переждем!» Снова защелкали выстрелы, так же далеко, но по другую сторону, и снова наступила тишина.

Тогда Ломов заметил прямо перед собой две кинувшиеся через ручей тени, и тотчас раздались один за другим два толчка в землю с гремящим, сахарным хрустом береговой гальки. Два человека перепрыгнули речку, и разогнулись, и замерли, прислушиваясь. На черном лаке воды отчетливо видны стали их контуры. Совершенно слитно — как одна — возникли у Ломова две догадки: что это — враги и что это — свои. Враги могли идти на разведку, свои могли возвращаться или заблу-

диться в зарослях. Но каким-то новым зрением ночной птицы он различил котелками накрывавшие этих людей шлемы, понял, что это — немцы, и тут же содрогнулся от нечеловеческого голоса: это была команда унтер-офицера.

Унтер-офицер не скомандовал, а не похоже на человека, ужасающе крякнул:

— Бей прикладом! — и оторвался от своей ветлы навстречу ближней к нему тени.

У Ломова сразу вспотели ладони, и спина будто отделилась от туловища. Чтобы схватить, как следовало, винтовку, он должен был бросить ножницы. И вдруг, не думая, вместо того чтобы разжать кулак и выпустить ножницы наземь, он размахнулся и со всей силой пустил ножницами в ту тень, которая была слева и уже успела присесть после внезапного крика. Удар был мягкий и как будто мокрый, и Ломов увидел, что тень тотчас слилась с землей. И, все еще ни о чем не думая, схватив винтовку обеими руками, он повернулся направо и заметил, что другая тень клонилась к сбитому с ног унтер-офицеру, занося над ним руку. Ломов сделал скачок и с разбега, наваливаясь своей тяжестью, ткнул штыком под эту занесенную руку. Ему запомнилось только одно ощущение: как туго и неуклюже вытягивал он штык из упавшего тела. Потом он расслышал стонущий голос унтер-офицера:

— Вяжи свово!

Ломов бросился назад. Немец лежал ничком. Ломов пал коленями на его лопатки, заложил ему руки за спину и, сорвав с себя пояс, стянул их крепким узлом.

— Жив? — спросил унтер.

— Сопит,— ответил Ломов.

— Заткни ему глотку!

Ломов повернул голову, тяжело вдавленную шлемом в гальку, нащупал рот и впихнул в него больше половины скомканной своей фуражки. Потом встал, утерся мокрым рукавом.

Все было по-прежнему. Соловей, не переставая, рассыпал свой дробный щекот. Невозмутимо журчала речка.

Ломов будто очнулся от сна и понял, что убил другого немца штыковым ударом наповал. Он подошел к унтер-офицеру. Тот был сильно ушиблен прикладом в плечо, и Ломов хотел помочь ему идти, но он отказался. Они разделили предстоящую задачу: унтер взял на себя немецкие винтовки, Ломову пришлось тащить раненого немца. Они приползли к своим окопам, изнемогая.

Стало светать, когда Дибич выслушал Ломова. Унтер-офицер не мог явиться — он был взят на перевязку. Все еще мок-

рый, поеживаясь от утренней свежести, даже в низкой землянке Ломов казался маленьким, щуплым, и странно было слушать его спокойную, несмотря на короткость, вразумительную речь и глядеть в его глаза, желтизна которых, подсвеченная лампой, точно насмешливо загоралась и гасла.

— Ну, что же,— сказал Дибич,— дело вдвойне удачное: добыли языка и помешали немецким лазутчикам. Поздравляю. Начало хорошее.

Ломов промолчал.

— Не знаешь, как отвечать?

— Рад стараться, ваше благородие,— сказал Ломов, чуть заметно прищуриваясь.

— Делает честь шестой роте.

— Рота у нас дружная. Не я — так другой.

— Похвально слышать. Ну... а скажи, пожалуйста, как же насчет войны, а? Подговариваешь солдат не воевать, а сам вроде не прочь? Как тебя понять?

Ломов переступил с ноги на ногу. Дибич не отрывался от его немигающих глаз.

— Разрешите сказать?

— Да, говори. Я хочу знать, о чем толкуешь солдатам у себя в роте.

— Я считаю, война — одно, солдатская верность — другое. О войне каждый думает по-своему. Дело взглядов. А не выручить на фронте своего брата солдата — это может только трус. Тут нет противоречия.

Ломов выговорил эти слова еще спокойнее, чем рассказывал, как добыл «языка», и оттого они прозвучали еще больше — до сухости какой-то — вразумительно, неоспоримо. Вместе с тем Дибичу было ясно, что спокойствие дается Ломову нелегко, и он подумал, что поеживается Ломов не от холода, а от подавленного волнения. Он вздрагивал, как будто по телу его пробегала судорога, и после каждого такого содрогания спокойствие его маленького тела словно укреплялось, и в этом была такая заразительность, что Дибич тоже вздрогнул.

Поднявшись, он сказал, неожиданно обращаясь к солдату на «вы»:

— Вот что. Мне нет дела до ваших взглядов. Но вы их обязаны держать при себе. Война идет, и никто не имеет права ей мешать. Во всяком случае, вам не позволят ей мешать.

Он остановился. Ломов молча ждал.

— И вы прекратите свою проповедь против трусости в одиночку и за общую трусость всей армии, всей России. Потому

что хотеть, чтобы все были против войны, значит хотеть, чтобы все были трусы.

Ломов по-прежнему не отвечал. В молчании его было заключено оледенелое несогласие, и Дибич насилу удержал себя, чтобы не поднять голос:

— Не забывайте, что вы — солдат.

— Так точно,— сказал Ломов по-солдатски, но как-то не вполне серьезно, с неуловимой лукавой и стеснительной усмешкой.

— Что значит — так точно? Что значит — так точно, когда с вами говорят, как с человеком? Вы не согласны со мной? По-вашему — мы наступаем зря? Льем кровь зря?

— Разрешите сказать?

— Да, да, говорите!

— Я нахожу, что признать заблуждение — значит проявить мужество, а не трусость. А что такое эта война, если не заблуждение?

— Хорошо,— сказал Дибич, совладав с собой.— Я обязан был предупредить вас, как офицер и командир. Прекратите у себя в роте разговоры на эту тему. И помните, что у военного суда не тот язык, каким говорю с вами я. Ступайте.

Дибич не вспоминал больше ни этого странного рядового шестой роты, ни мыслей, им пробужденных, потому что с того часа было не до воспоминаний о незначащих вещах: перед восходом солнца немцы пошли в атаку. В первые два дня боев они отрезали батальон от полка, окружили высоту и продолжали попеременно артиллерийский огонь и атаки до тех пор, пока раненый Дибич не попал в плен. Шестая рота так и дралась до конца на макушке высоты, защищая свою линию, которая из запасной стала передовой...

Сейчас, в кабинете Кирилла Извекова, Дибич видел удержанный памятью взгляд маленького солдата, сохранивший свою особую черту,— Извеков как будто не хотел показывать веселую насмешливость глаз и знал, что ее скрыть невозможно, и ему было неловко, что она все время возникает.

— Вот куда привела вас судьба,— сказал Дибич.

— Какая же судьба? Мы к этому шли.

— К чему — к этому? К поражению? — с горечью, но нерешительно проговорил Дибич.

— К поражению царской армии. Чтобы теперь идти к победе армии рабочих и крестьян.

Дибич увидел, как вдруг исчезла усмешка Извекова, отвернулся, помедлил, затем сказал, будто отклоняя предложенный разговор:

— Ваша шестая рота сражалась отлично.

— Да,— тряхнул головой Извеков,— отлично, но бесплодно.

— Это можно с сожалением отнести ко всей войне.

— Вы думаете? — быстро сказал Извеков и вскинул локти на стол.— Это неверно! Народ нашел на войне путь к своему будущему. По-вашему, это бесплодно?

— Но вы же сами говорите, что рота дралась бесплодно.

— Да, она проиграла бой. Но часть роты вышла из сражения, уцелела, вы этого не знаете, не могли знать, вам не повезло, вас взяли немцы. И те, кто уцелел, влились теперь в свою новую армию. Она борется за ту цель, которая не могла быть осуществлена той армией, в той войне и которая стала ясной народу во время той войны: за его освобождение.

— Понимаю,— чуть заметно передернул плечом Дибич.— Ломовы проиграли войну, Извековы выиграли.

Извеков улыбнулся, но сразу прикрыл кончиками пальцев, будто взял в щепоть, улыбку и даже немного подпрыгнул, напав на то, что надо было сказать:

— Вот-вот! Вам, я вижу, дело представляется так, что происходившее на войне — одно, а происходящее теперь — другое. А ведь это совсем неправильно! Народ, который был тогда там, сейчас здесь. Его жизнь изменилась, но его жизнь продолжается.

— Но кто же вы все-таки — Ломов или Извеков? — не тая иронии, но в искреннем недоумении спросил Дибич.

— А разве есть разница? — уже открыто улыбнулся Извеков.

— Похоже, мы продолжаем разговор, начатый у меня в землянке три года назад. Но еще больше похоже, что... мы переменились местами. Не находите? — сказал Дибич и, захватив пальцами непросохшую гимнастерку, оттянул ее от своего тела и вздрогнул.— Кажется, я такой же мокрый, как вы были тогда.

— Я тоже,— просто сказал Извеков и пощупал свои прямые плечи.— Очевидно, мы в одинаковом положении. Нет, серьезно. Мы переменились местами, говорите вы. Но вы можете занять такое же место, как я. Или мое место. Если вы таких же убеждений, как я.

— Мне сейчас не до убеждений,— проворчал Дибич.

Он достал бумажку, написанную Зубинским, и протянул ее через стол.

— У вас в Хвалынске родные? — спросил Извеков, прочитав записку.

— Мать и сестра. Я не видел их скоро пять лет.

— Долго. Я со своей матерью не виделся почти девять лет и вот недавно встретился. Я — здешний,— проговорил Извеков доверчиво-непосредственно и немного задумался.— Я понимаю. Я думаю, помогу вам — выпишем вам литер на пароход. Поезжайте.

Он взялся за перо, но остановился, сказал, как бы отвечая своему раздумью:

— Повидаетесь со своими, отдохнете. Только все равно — в Хвалынске или в Саратове — вам не уйти от вопросов, которые вы не решили: переменились мы местами или нет?

— Я не был в России три года,— словно одолевая тяжелую помеху, отозвался Дибич.— Для меня все ново. Я и людей не узнаю.

— Вы знали армию. Солдаты вас любили. Приглядитесь к красноармейцам, это многое объяснит, ко многому вас приблизит.

— Вам бы все сразу. И убеждения, и Красная Армия...

— Сразу? — засмеялся Извеков.— Почему — сразу? Сколько вы уже в России? Месяц? Ну, а нынче иной день,— да что там! — иной час дороже месяца. Революция, товарищ Дибич. Есть о чем подумать.

— Мне нечем думать! — обрывисто и сдавленно выговорил Дибич.— Понимаете? Нечем! У меня нет мозга! Я его съел, понимаете? Мне не хватало одних бураков, и я вдобавок к ним ел свой мозг! Два года докладывал свой мозг к немецким буракам, понимаете? Как сухой паек к приварку. Чтобы не превратиться в скотину, чтобы не потерять рассудка, чтобы жить, жить — кормил свой организм, черт его взял, свои клетки запасом мозга, запасом нервов. Вот эти клетки, вот эту шкуру...

Он начал щипать себя за руку, высоко оттягивая словно вощеную тонкую кожу от костлявой пясти. Взор его стал мутным, большой лоб будто еще больше округлился, глазурно-желто, как вынутый из бульона мосол, засветившись от пота.

— Вам плохо? — воскликнул Извеков, быстро поднимаясь и обегая вокруг стола.

Но Дибич уже наклонился головой к острым своим коленям и со странной легкой плавностью медленно выпал из кресла, точно ребенок, на пол.

Извеков без усилий поднял его и оттащил на диван. Бросившись к двери, он отворил ее осторожно и сказал стриженой барышне очень тихо:

— Доктора. Сейчас же. Ко мне в кабинет.

9

О Лизе по возвращении домой Кирилл Извеков не говорил. Прошло слишком много времени с тех пор, как они разлучились. Так же как первые месяцы ссылки мысли о ней были его крылом, помогавшим залетать далеко от замшелой лесной деревушки, так эти мысли сделались неповоротливой обузой, когда ему стало известно о судьбе Лизы. Впервые он узнал власть воспоминаний, и открытие это его поразило. Пока он думал, что разлуке с Лизой положен срок, что он отбудет ссылку и потом для них наступит жизнь, о которой они вместе мечтали,— он видел Лизу хотя и отдаленной от него туманом оцепенелых верст, но живущей с ним напролет дни и ночи. После ее замужества она стала прошлым, но прошлое это обладало истязающей силой, и он с болью принуждал себя забыть о нем, и все не мог. Он сразу перестал упоминать Лизу в письмах к матери, и Вера Никандровна поняла, что ему известна судьба Лизы, и тоже никогда не напоминала о ней. Но Кирилл знал только о том, что Лиза выдана замуж,— кто ее муж, он не мог догадываться, да и не хотел гадать. В единственном письме к нему, пришедшем в угрюмую пору снегов, в момент нещадной отрешенности ото всего света Лиза написала ему о своем браке и умоляла не винить ее, хотя бы только потому, что этот брак — ее горе. Она писала о выданье, а не о выходе замуж, поэтому Кириллу долго не приходила на ум прежде волновавшая его склонность Лизы к Цветухину (не мог же Мешков выдать дочь за актера), а когда эта мысль пришла, он неожиданно испытал нечто подобное злорадному утешению — что вот теперь слабость Лизы справедливо наказана. С годами Кирилл вспоминал ее все реже, но затем каждое воспоминание возникало внезапнее и словно бессмысленнее, ловя его врасплох на какой-то неподготовленности к сопротивлению, в безоружную минуту грусти или задумчивости. Уже когда он, после ссылки, скрывал свое имя и был особенно строг к себе, тренируя самообладание и хладнокровие, изображая старательного и недалекого малого, чтобы оправдать паспорт васильсурского мещанина Ломова, дорожащего местом заводского чертежника, он, прогуливаясь по нижегородскому откосу и любуясь огнями ярмарки, вдруг приступом ощущал необъяснимую тягу за кем-то идти из улицы в улицу, кого-то настигать, и долго не в силах бывал подавить захватывающую иллюзию, что он идет, преследуя и настигая Лизу. Он слышал не только ее скользящую поступь, он различал в полумраке вечера ее дыхание — тот тонкий, еле уловимый сладковатый запах парного молока, какой удивлял его, когда он едва не касался ее лица

своей вспыхнувшей щекой. Во снах она бывала с ним еще ближе, но сны он умел обрывать, а припадки воспоминаний наяву уязвляли его своей внезапностью.

Для Веры Никандровны Кирилл был в одно и то же время прежним мальчиком, нетронуто сохраненным с момента его ареста памятью сердца, и совсем новым, зрелым мужчиной, казавшимся иногда в чем-то старше ее самой. Целую треть своей жизни он провел вдали от нее, и эта треть была исполнена необыкновенного содержания, о каком Вера Никандровна могла догадываться по письмам Кирилла, составившим главные события девяти лет разлуки. Он писал все годы ссылки, потом сообщил, чтобы она не тревожилась, если писем не будет долго — год и даже много больше, и потом написал только после революции. Она угадывала, что этого требовала так называемая конспирация — нечто столь возвышенное и до священности необъяснимое, что даже догадка о ней делала ее будто соучастницей жестокой сыновней тайны. Она по-прежнему оставалась только учительницей, но так как всеми помыслами из года в год шла путем сына и следила по вестям от него и даже по его молчанию за всеми переменами, в нем происходившими, то она невольно думала о себе не только как о простой учительнице, но как о человеке, чем-то совершенно отличном от всех других.

Когда наконец Кирилл появился, во всех их ненасытных, хотя и малоречивых разговорах был установлен особый строй: Вера Никандровна либо слушала сына, либо отвечала ему. Она как будто продолжала переписку с ним,— он лучше знал, о чем надо и можно было говорить, и если он молчал, значит, его не следовало выспрашивать. О Лизе он не заговаривал, и как раз это было легче всего понять матери,— забвение простиралось над прошлым, и тепло памяти не пробивало его, как солнце не пробивает вечной мерзлоты.

И вот нечаянно беглый луч скользнул в неосвещенный угол.

Вера Никандровна вскоре после Октября рассталась со своим карликовым флигельком на пыльной площади и переселилась в здание школы, где ей дали квартиру. Здесь было непривычно много места — две просторных комнаты, выбеленных и светлых, как классы, громадная кухня и передняя, в которой уместился бы без остатка весь покинутый флигель. Квартира напоминала старое подвальное жилье, служившее Извековым долгие годы до ареста Кирилла, и с его возвращением в этих больших школьных комнатах, под топот и крики учеников, у матери появилось чувство продолжения былой

жизни — опять вместе с сыном, опять в школе. Не хватало, пожалуй, только оконных кованых решеток, ячейками своими похожих на связанные восьмерки, да трех, вечно шепчущих за окнами, пирамидальных тополей. Но все-таки иногда Вере Никандровне было пустовато в этом просторе и жалко, что уж не присядешь у крохотной голландки — подкинуть в огонь обрывыш завившейся овчинным клочком бересты: тут печи были неохватные, и с ними насилу управлялся школьный сторож.

Не прошло недели после приезда Кирилла, как матери стало ясно, что жить с ней он не будет. Он говорил ей как раз обратное: что его желание — не разлучаться с ней, но практически ему нужна была квартира в центре, ближе к городским учреждениям, а Солдатская слободка была пригородом, куда скачи, скачи — когда еще доскачешь! Бросить же этот пригород Вера Никандровна не могла. Ее связывала не столько школа, сколько издавна укоренившееся убеждение, что перемена школ отражается на учительском деле вредно: семья школьника должна доверять учителю, а если он будет прыгать с места на место — какая ему вера? Ей было бы обременительно жить в центре, Кириллу — невозможно оставаться на окраине. Они должны были разъехаться. Но сын решил, что будет часто бывать в слободке и что у матери устроит нечто вроде главного обиталища, для чего заложит в одной из комнат начало своей библиотеки.

Это была давнишняя его цель — библиотека, полки с книгами, такие, которых нельзя сдвинуть с места и которые протянуты — именно протянуты — даже не вдоль стен, а под прямым углом к ним, так, чтобы между полок можно было ходить и стоять — да, да, стоять подолгу в переломленном луче солнца, вытягивая из плотно содвинутых в ряды книг самый необходимый или самый желанный томик, раскрывая его на титуле, на оглавлении, отыскивая какую-то неведомую страницу или изумляясь, что хорошо знакомая строчка таит в себе нечто неожиданно новое и покоряющее. В бродячей и неверной прошедшей жизни Кириллу никогда не приходилось иметь больше связки книг, пригодной для переноски в одной руке, и он мечтал когда-нибудь собрать книг много-много.

Теперь время пришло. Конечно, Кирилл не думал осесть в Солдатской слободке навсегда или хотя бы надолго. Наоборот, он был уверен, что принадлежит событиям, а события требуют от человека подвижности, и он вот-вот будет сорван с места, как лист среди листьев, и унесен неизвестно куда. Но у него, в комнате матери, останется то, без чего нельзя чело-

веку обретаться на земле,— кров, дом, прибежище души, и этим прибежищем, о котором он не перестанет по-прежнему мечтать, будет библиотека.

— Знаешь,— сказал он матери,— мы заложим ее пока из того, что есть у тебя и — немножко, правда,— у меня. Все-таки наберется названий с полсотни. Ну, а полки...

— Полки ты пока возьми из учительской, они там лишние, я достану для учительской шкаф, как только проведу смету.

Вера Никандровна незадолго была назначена заведующей школой и слегка упивалась своей распорядительностью. Даже в дискуссиях о перестройке преподавания она чаще чем нужно произносила слова — смета, штаты, перерасход, отодвинувшие привычный ее лексикон — программа, расписание, часы.

Полка из учительской не понравилась Кириллу. Она была узка и так запачкана чернилами и старыми керосиновыми разводами, что он раздумал было ее брать. Но в учительской обнаружился склад исписанных школьных тетрадок, пущенных на растопку, и обложки их с внутренней стороны не выцвели, были чисты. Этими синими обложками решено было обить полку. Попробовали — получалось очень неплохо. Полку, разумеется, пришлось поставить пока вдоль стены: нелепо было бы ткнуть ее поперек, хотя Кирилл сначала примерил — как выйдет, когда полок будет много,— и выходило тоже очень хорошо.

Вера Никандровна распрямляла столовым ножом проволочки, которыми были сшиты тетради, аккуратно снимала обложки, а Кирилл облекал в них полку, жестким пальцем проглаживая бумагу на рантах досок.

— Да, я хотел тебе сказать, что смотрел сегодня квартиру, которую мне подыскали.

— Что же ты молчишь? Где это?

— Удобное место. Недалеко от Верхнего базара. В доме Шубникова, знаешь?

Вера Никандровна чуть-чуть охнула, но тотчас перехватила вздох, и Кирилл, не обернувшись, спросил:

— Ты что?

— Укололась,— сказала она,— наколола палец на проволочку.

— Ты осторожнее. Знаешь, эти гвоздики да проволочки...

— А ты смотри не занозись,— сказала она, быстро закладывая за уши спустившиеся волосы.

— У нас в полковом комитете был случай,— сказал Кирилл.— Пришли в одну деревню, в Полесье. Солдаты увидели на каком-то дворе самовар. Давно не попадалось самовара,—

давай чай пить. Стал один паренек лучину щепать — вкатил себе в ладонь щепку. Посмеялись. А через два дня свезли его в околоток: антонов огонь. Всю войну прошел, в каких только столпотворениях не был, а тут — на старушечьем деле!

— Умер?

— Нет. Отрезали руку. Славный был парень. Член комитета.

— Вот видишь,— сказала мать.

— Чего же — видишь? Это ты палец наколола, я для тебя рассказываю.

— И большая квартира? — спросила погодя мать.

— Купеческая. Хоть на велосипеде катайся.

— Зачем тебе такая?

— Если бы ты со мной переехала...

— Да если бы можно...

— Я понимаю. Я думаю — займу две комнаты, там есть с отдельным ходом.

Они не глядели друг на друга, занятые своей нетрудной работой. Кирилл приноровился ловко прибивать бумагу к доскам полок снизу — сверху она должна была держаться книгами.

— Не знаю, будет ли тебе там хорошо,— сказала Вера Никандровна.

— На квартире? А почему? Мне ведь не надо ничего особенного.

— Я знаю,— сказала она тише и оглянулась на сына.— Но в этом доме есть нечто особенное.

— Привидения?

— Да, может быть,— ответила она, стараясь усмехнуться.

— Если бы с купцом что-нибудь приключилось недоброе, я еще понимаю. А то — ничего чрезвычайного. Выселили, дом муниципализировали — и все. Мне говорили, он даже где-то у нас на службе. Откуда же взяться привидениям?

Он с улыбкой обернулся на мать и вдруг понял, что она не шутит: все в ней затруднилось — от движений поникших рук и медлительной жизни лица до дыхания. Она повела на него взглядом и увидела, что он ждет.

— За Шубниковым была замужем Лиза,— сказала она.

Смуглость его сделалась как будто темнее, в ней появился зеленовато-оливковый оттенок, он не двигался.

— Ты не спрашивал, поэтому я не говорила,— словно устраняя его упрек, добавила Вера Никандровна.

Он отвернулся, провел тяжеловесно кулаками вдоль полки в обе стороны и так, с раздвинутыми руками, постоял молча.

— У меня вся бумага. Ты отстала,— сказал он.

Она подала ему несколько обложек, он начал обивать нижнюю полку нагнувшись и скрывая лицо. Вдруг он с коротким присвистом втянул сквозь зубы воздух и распрямился.

— Что, и правда заноза? Покажи! — шагнула к нему Вера Никандровна.

— Пустяки,— буркнул он, прикусывая зубами кончик пальца и потом широко размахивая рукой, так, что мать не могла приблизиться.

Он бросил работать и, отойдя к окну, открыл его. Вдалеке звонил трамвай, и угрожающее гудение мотора взбиралось выше и выше, переходя в нетерпеливое вытье и сразу оборвавшись. Обиженное коровье мычание откликнулось трамваю. Стадо начало появляться из-за поворота улицы. Закат уже покрасил тесовые домики, они стали картинными. Пыль вышла над скотом из-за угла, будто коровы несли ее — насквозь зарозовевшую от солнца — на своих рогах.

— Ты говоришь — была,— произнес Кирилл в окно и, не получая ответа, досказал громче: — Была за ним, а теперь?

— Она ушла от него во время войны,— ответила Вера Никандровна.

Он опять умолк и долго смотрел на слободку — как ее домишки сменяли беззаботную розоватость на всполошную красноту и как этот заревный свет, еще горя огнем, уже притушивал все вокруг золистой тенью крадущегося вечера. Довольнее и в то же время просительнее мычал скот, расходясь по воротам и калиткам. Потом все стихло.

— А что же теперь?— спросил Кирилл, будто обращаясь к тишине.

— Я не знаю — что. Она ушла к отцу.

— У нее дети?

— У нее, кажется, один сын.

— Сколько же ему? — спросил Кирилл, помедлив, и вдруг, резко отвернувшись от окна, подошел к матери, торопясь отвел ее к деревянному, по-канцелярски чинному диванчику, и они сели рядом.

— Я вижу, тебе все известно, да? Как это случилось? Как могло, как могло случиться? Что это? Как ты понимаешь? Почему, почему, почему?

Он обрушил на нее эти прорвавшиеся расспросы дерзко, точно развязав в себе сразу все узлы, разворошив, раскидав прочь путы, которыми держал свое неутоленное желание все знать. И мать, словно обрадованная его жадностью, так же неудержно, как он начал расспросы, стала говорить все, что

пережила за него когда-то вместе с Лизой, что передумала о Лизе и что когда-либо слышала о ней или догадывалась,— говорить о таких воодушевленных мелочах, так странно зримо, как способна говорить лишь женщина о другой женщине и лишь тогда, когда ставит себе целью ничего не скрыть.

Кирилл сидел, облокотившись на колени, уткнув подбородок в кулаки. Он не пропустил ни слова из рассказа матери. Конечно, он знал Лизу только как Лизу. Но она была, кроме того, Мешковой. Прежде для него Мешковы не существовали, была одна Лиза. Наверно, и о себе он думал в то далекое время только как о Кирилле. А он был еще сыном Извекова, которого, правда, не помнил, и сыном учительницы, вырастившей его тем, кем он сейчас был. То, что Лиза была Мешковой, как будто объясняло, что с ней случилось, но объяснение не удовлетворяло его. По-прежнему казалось, что Лиза пошла против себя, и было непостижимо — почему, и он хмурился, затапливаемый подробностями, которые изливала мать. Обилие их начинало обременять, хотелось сделать этот первый разговор о Лизе последним, заключить его окончательным выводом, и Кирилл сказал:

— Что же ты думаешь о ней в конце концов?

— Я думаю, она слишком добра.

— Слабовольна?

— Нет, добра. Добра к тому, кто к ней ближе в данную минуту. Добра вообще, беспредметно.

— Беспредметно? — переспросил он и протестующе дернул плечами.— Это хуже, чем слабовольна. Это значит безразлична. Но, по-моему, ты ошибаешься. Может быть — мягка?

— Может быть, мягка,— сказала Вера Никандровна, задумываясь вместе с сыном.

Они слышали тяжелые шаги по лестнице — наверно, не спеша поднимался сторож: пора было ставить самовар.

— Но она все-таки ушла от мужа, увела с собой ребенка,— сказал Вера Никандровна,— безвольная женщина едва ли способна на это.

— Мужей бросают из-за страха, из-за отчаяния. Из-за того, что муж опостылел. Это мало говорит о силе, скорее — о слабости. К тому же люди меняются,— сколько лет прожила она с мужем, прежде чем уйти? Это не объясняет, что с ней произошло перед замужеством.

Кирилл встал, потянулся, будто хотел сказать, что больше не вернется к этому разговору.

 — Я надеялся разобраться,— проговорил он спокойно,—

не разобрался и, видно, никогда не разберусь. Да, наверно, и не надо... Давай кончим полку.

Свет побагровел и, как на сцене, углубил комнаты, сделав их частью согретого зарей мира, уходившего за небосклон. Дверь в переднюю стояла настежь, за нею тоже продолжался этот немой багряный свет.

Тогда шаги на лестнице замолкли, и недолго спустя в передней показался пагнутый в плечах высокий человек. Он стал у порога, сощурился — свет бил ему в крупное усатое лицо.

— Мне указали, здесь проживает товарищ Извеков,— утвердительно спросил он, бережливо выкладывая слова.

Кирилл вышел к нему, вгляделся и сразу приподнял вытянутые руки, точно собрался осторожно принять что-то не совсем удобное и хрупкое.

— Петр Петрович, ты? — сказал он тихо.

Тот взял его за руку, поворотил к свету и одобрительно тряхнул головой.

— Крепенький стал. А будто все тот же.

— Да и ты тот же,— по-прежнему тихо отозвался Кирилл.

— Где там! — сказал Петр Петрович, снимая кепку и заодно скользнув ладонью по голове.— Выщипали кудри-то.

Широко разведя руки, они быстро обнялись, потом отстранились и опять стали осматривать друг друга и смеяться все громче и громче, выталкивая вместе со смехом неразборчивые коротенькие восклицания, понемногу двигаясь из прихожей в комнату. Они были совсем разные — Кирилл на голову ниже гостя, прямой, даже слегка откинутый назад, а гость громоздко-сутулый, с длинными руками и шеей. Но багрово-румяный свет делал их в эту минуту чем-то похожими друг на друга, сливая в единство, и сходство еще увеличивалось обоюдной, счастливой и шумной веселостью.

— Мама, это — Рагозин! — вскрикнул Кирилл, смеясь и снова беря его за руку.

— Вон вы какой,— чуть слышно сказала она.

Она глядела на Рагозина так, будто с необыкновенной высоты и в один миг увидала все прошлое сына, и свое прошлое, и все, чего ей не дано было до сих пор видеть.

— Да, да, понимаете ли,— бормотал Рагозин, точно извиняясь,— так оно и есть, он самый, видите ли, какая вещь...

Все трое улыбались, как люди, долго ожидавшие встречи и от возбуждения утратившие толковые слова, но бестолочью первых слов, которые подвертывались на язык, они выражали как раз то, чего нельзя было не выразить в такой момент.

— Вот какая история,— повторил Рагозин, чуть подмигивая Кириллу.— Встретились, а?

— И ведь ни капельки не переменился! Прямо как живой! — говорил Извеков, кружась около него и притрагиваясь к его рукавам, к его от времени закатанным в трубочки пиджачным бортам.

— А что мне не жить? Теперь только живи! — отвечал Рагозин.

— И усы колечком. Мама! Он и тогда усы колечком носил,— с восхищением вспоминал Кирилл.

— Как подобает! — довольно утверждал Рагозин и пощипывал ус.

— Мама! Ты устрой поскорее нам что-нибудь этакое экстраординарное!

— Как же, как же! — отзывалась Вера Никандровна, продолжая разглядывать гостя.— Сейчас будет самовар.

— Это — да-а! — гудел Рагозин.— Ничего не скажешь! Самовар!

— Ну, спасибо! Удружила. Эх, мама!

— А что же еще можно? — сконфуженно недоумевала мать.

Так, неуклюже изливаясь, проходила первая оторопь радости, пока чувство не улеглось на душе сияющей поверхностью водоема, отволновавшегося после мгновенного налета ветра. Тогда Рагозин, осмотрев полку, взял со стола картонки с крупными надписями рондо — «История», «Социология» — и хитро усмехнулся:

— Красиво изобразил. А библиотека где?

— Библиотека будет.

— Хозяйственно.

Они взглянули друг на друга уже спокойными изучающими взорами, и Рагозин без паузы проговорил:

— Не на книжной полке сейчас судьба будет решаться, как думаешь, а?

— Да, конечно. Но и не без книжной полки тоже.

— Вроде как не без высшей математики, а?

— Вот-вот.

— Не думай — я не против,— сказал Рагозин примирительно и опять засмеялся: — Ершист ты, не любишь, чтобы задевали! И смолоду не любил, помню!

— Да нет, я ничего,— вдруг застеснялся Кирилл и сразу как-то по-ребячьи понесся: — Это у меня, знаешь, из ссылки. Встретился там один редчайший человек, сосланный из Питера. Борода, знаешь, ниже пупа.

— Народник, поди?

— Эсер, думаешь? Ничего похожего. Он про себя говорил, что принадлежит к книжной партии. Библиотекарь, библиограф, ну и наши складывали у него на квартире за полками литературу, прежде чем переправлять из Питера на места. Кончилось ссылкой. Так он, знаешь, нам рассказывал вечерами о книге — слушать было наслаждение. Читает иногда свою лекцию, а у самого по бороде слезы бегут. Об эльзевирах, о венецианских альдинах или о нашей русской вольной печати, о «Колоколе», о «Полярной звезде». Раз я назвал при нем какую-то брошюру книжонкой. Так он весь затрясся: ты что, говорит, хочешь, чтобы я тебя презирал? — Книжонка — это, говорит, презренный язык лицемеров и отребья. Книга — жизнь, честь, слава, богатство, высочайшие взлеты, неизмеримое счастье! Могучая любовь человечества! Что же, спросил я, и огромную макулатуру надо «книгой» величать. Он побледнел: это говорит, сор, а сор нельзя сшить даже в книжонку.

— Любопытно,— сказал Рагозин.

— Он помнил каждую книгу, которая у него хоть день побывала в руках. И раз признался, что, к стыду своему, предан книгам больше, чем людям. Рассказывал с умилением о московском букинисте, который начинал всякое утро земным поклоном об упокоении раба божия Николая,— это о Николае Новикове, первом российском издателе, первом историке русской литературы. Я бы, говорил бородач, согласен с вами отменить религию, я — человек просвещенный. Но религию нельзя отменять, потому что просвещенному человеку надо молиться за Новикова.

— Я таких встречал, видишь ли,— с живостью кивнул Рагозин,— и я бы их тоже отменил, да нельзя: кто же будет обучать книголюбию?

— Вот-вот!— подхватил Кирилл.— Я уверен — ты это серьезно. Правда? Вот этот книголюб и привил мне свою лихорадку. Богу молиться я не стал, ну а книге преклоняюсь.

— Не сотвори себе кумира,— ухмыльнулся Рагозин, но вдруг прибавил по-деловому: — Давай с тобой загляяем в одно местечко. Литературы — океан! Знаешь, есть такой утильотдел? Там целый пакгауз бесхозных библиотек. Пороемся. Читать, правда, некогда, да я давно ищу кое-что... из книг, понимаешь ли...

— Да ты не извиняйся, я не против,— поощрительно заметил Кирилл.

Они лукаво косились друг на друга.

— Ершист,— повторил Рагозин.— Значит, ссылка-то не без пользы, коли с таким пылом вспоминаешь. А у меня, бывало, нет-нет да и заноет: не из-за тебя ли, мол, пошел мальчик в медвежий край, сосать лапу?..

— Хоть ты и крестный мой отец, но за меня не отвечаешь. В купель-то я сам полез, верно? Мне другое приходило на ум: не подвел ли я товарищей, а с ними и тебя? Если бы я тогда успел раздать листовки, может, ничего бы и не было?

— Нет, это было широко задумано у охранки: они решили сразу все захватить, брали направо и налево. Народ попал в бредень, как густера. Я только случайно поверх бредня прыгнул.

Уже разгорелась зажженная лампа, и они сели за стол. Едва скользнув воспоминаниями о разделившем их прошлом, они заговорили о том, что теперь все время было на душе — о войне, — как вдруг им помешали: кто-то остановился в сумраке дверей, и Вера Никандровна, прикрывшись от лампы рукой, сказала:

— Это ты? Заходи.

Была всего секунда паузы, когда Извеков и Рагозин словно решали, как отнестись к неожиданной этой помехе разговору, который только что по-настоящему начинался. Но в следующую секунду внимание их невольно переместилось с себя на вошедшую девушку, и они оба, как по сговору, поднялись.

Она поцеловала Веру Никандровну в щеку и подставила для поцелуя свою щеку с такой бездумной быстротой, с какой это делают часто встречающиеся друг с другом близкие женщины.

— Сегодня воскресенье, я решила, вы — дома,— сказала она и, глядя на мужчин, прибавила: — Я только на полчасика.

Говорила она тихо, но голос ее звучал сильно, как у певиц с прирожденной полнотой звука.

— Конечно, ни минуты свободной, где там! — упрекнула Вера Никандровна, но будто даже не без одобрения или гордости, как часто бывает в обращении матерей с детьми.— Кирилл, это и есть Аночка Парабукина.

Аночка не подала, а точно выбросила навстречу Кириллу легкую и немного длинноватую руку, в то же время шагнув к нему совсем неслышно.

— Мы знакомы,— проговорила она по-прежнему тихо, но еще звучнее,— хотя вы меня, разумеется, не можете помнить. Я была вот такая,— она показала себе по грудь.— А вас я бы сразу узнала.

Она поздоровалась с Петром Петровичем, огляделась и, не найдя стула, пошла в соседнюю комнату, до странности легко, каким-то скольжением двигаясь. Однако, несмотря на бесшумность, поступь ее была как бы угловатой, и вся она казалась легкой не от плавности, но от худобы, особенно заметной по тонким ногам и рукам, к тому же слишком вытянутым, как у девочек, переросших свой возраст. Она принесла стул и подсела к Вере Никандровне. Лампа осветила ярче ее голову, остриженную накоротко, с недевичьим вихром на затылке, с маленькой женственной, светящейся белизны прядкой на лбу и голыми висками. Лицо ее производило впечатление несколько противоречивое: тонкому овалу его и красивому рту и подбородку, пожалуй, не соответствовали чересчур строгие брови, вдруг делавшие суровым выражение медлительных синих глаз.

— Ты что смотришь? — спросила Вера Никандровна Кирилла, который как поднялся, так и стоял, молча следуя взглядом за Аночкой.— Она, наверно, и тебе кажется больше похожей на мальчика? Ишь своевольница! (Вера Никандровна слегка пригладила Аночкин вихор.)

— Я смотрю, какая же прошла вечность! — ответил Кирилл, подвигая стул так, чтобы видеть Аночку, но тут же мельком глянул на Рагозина и шумно отодвинулся на прежнее место. Он решительно намерился продолжать прерванный разговор и, подавляя неожиданную неловкость, произнес именно то, что в таких случаях произносят:

— Так, значит, вот...

Но мысль его пошла другой дорогой, и хотя он обращался к Рагозину, речь велась не к нему.

— Пока смотришь на себя, словно ничего и не случилось: ну, бежит и бежит время, вполне обыкновенно. А взглянешь на других — и как с того света свалишься! — что же с тобой произошло, если вокруг тебя прямо-таки перевоплотились?!

— Я стала, каким вы были, когда я первый раз вас увидала,— сказала Аночка, и спохватилась, и перебила себя быстро: — Нет, нет, по годам, я имею в виду только года!

Она почти рассмеялась и прикусила губу, и брови ее тотчас прыгнули вверх, и тогда в глазах у ней не только исчезла суровость, но они стали изумленно-озорными. Все сразу улыбнулись, и Вера Никандровна сказала, втолковывая, как на уроке:

— Сколько сейчас девочке лет, если девять лет назада она была в два раза моложе мальчика, а сейчас он в полтора раза старше ее?

— Девочке не знаю, а мальчику, на мой счет, лет двадцать семь? — прищурился Рагозин.

— Как ловок считать,— сказал Кирилл,— тебе бы в финансовый отдел.

— Меня уже прочили, друг мой, да я отбоярился.

— Теперь не отбояришься!

— Ух, сердит!

В шутке этой только для Кирилла заключалась какая-то нешуточная сторона. Он все поглядывал на Аночку, клонясь вбок, потому что ее загораживал самовар, и вылетевшее у него слово о вечности еще вертелось в голове. Когда он увидел Рагозина, он не заметил ничего нового в той разнице, которая была между ними прежде: они продолжали двигаться в одном ряду. Приход же Аночки открыл в нем перемену, как будто нагрянувшую моментально: он и правда обнаружил вечность, отделившую его от маленькой белобрысой девочки, припоминаемой невнятно, и разница между ним и ею была совершенно новой. Но странно, раскрыв ему глаза на происшедшую в нем перемену и представ перед ним совсем новой, Аночка напомнила собою в то же время о чем-то неизменном. Она была нисколько не похожа на Лизу, но именно Лизу увидел в ней Кирилл, и странно ему было как раз то, что эта Лиза ничуть не изменялась, оставаясь по-прежнему восемнадцатилетней, по-прежнему красивой, может быть красивее, чем раньше, тогда как он разительно переменился, и они находятся в далеких друг от друга рядах. И потому что Кирилл не привык к таким двойственным ощущениям, он испытывал и неприятность и удовольствие.

— Куда же ты все-таки торопишься? — спросила Вера Никандровна.

— Егор Павлович обещал с нами вечером репетировать.

— Кто это? — спросил Кирилл.

— Наш руководитель кружка. Цветухин, актер.

— Цветухин? Он жив?

— Почему же? Он не такой старый,— насмешливо и едва ли не обиженно сказала Аночка.

— Я хотел сказать — он все еще здесь? — с нажимом поправился Кирилл.

Ну, вот и Цветухин должен был выплыть, как только вспомнилась Лиза,— иначе не могло быть.

— Я тебе не говорила — Аночка будет играть на сцене, в новом театре,— сказала Вера Никандровна с той еле уловимой, не то гордой, не то извинительной ноткой, с какой гово-

рят о начинающих художниках и артистах.— Она уже выбрала профессию.

— Ты хочешь сказать, что кое-кто еще не выбрал? — вдруг усмехнулся Кирилл.

— Тебя это не должно задеть,— прямо ответила мать.— Ты сам говорил, что как только будет можно, станешь учиться, чтобы иметь специальность. Надо кем-нибудь быть. Без специальности нельзя.

— Так, так! — уже смеясь, воскликнул Кирилл и обнял Рагозина, будто призывая его к сочувствию.— Политики всю жизнь учатся и никогда не могут доучится, верно, Петр Петрович? Надо кем-нибудь быть, а политики — это не «кто-нибудь». Общество строить, мир создавать, жизнь переделывать— какая это специальность? Вот, скажем, стихи писать — это другое. Это — специальность. Хотя что, собственно, стихотворец делает? Чем он занят?

— Он производит вещи,— сказал Рагозин.

— Какие вещи? — Сонетами не пашут, на одах не обедают, как на посуде. А поди — специальность! Профессия!

— Вы очень не любите искусство? — строго спросила Аночка.

— Нет, я искусство люблю,— сказал Кирилл и помолчал.— Но я его люблю очень серьезно. Даже больше: я сам хотел бы причислить себя к людям искусства, служить искусству, потому что хотел бы воздействовать на людей. А разве воздействовать на людей не великое искусство? Пока я учусь еще только ремеслу руководить людьми, то есть специальности. Но я знаю, что ремесло это может быть поднято на огромную вершину, на высоту искусства. Когда в моих руках будут все инструменты, все средства влияния на людей, я из ремесленника могу стать художником. У меня будут все радости художника, если я научусь строить новое общество, не меньше, чем у актера, который научился вызывать слезы у зрителя. Я буду радоваться, как художник, когда увижу, что кусок прошлого в тяжелой жизни народа отвалился, и счастливый, здоровый, сильный уклад, который я хочу ввести, начинает завоевывать себе место в отношениях между людьми, место в быту... Нет, нет! Я искусство люблю,— еще раз с глубокой убежденностью сказал Кирилл и, крепче обняв Рагозина, улыбнулся матери: — Уж кем-нибудь мы с тобой, Петр Петрович, будем. Кем-нибудь!

— Он прав? — обратилась Вера Никандровна к Рагозину не потому, что ей нужно было подтверждение правоты сына, а чтобы высказать несомненную уверенность в ней. И Раго-

зин, кивнув коротко: он прав,— снял руку Кирилла со своих плеч и пожал ее.

— А вы не допускаете, что я буду любить искусство тоже очень серьезно? — спросила Аночка опять так же строго.

— Неужели я это отрицал? — встревожился он.— Я хотел только, чтобы вы не думали, что у меня с искусством недобрые счеты.

— Вы дали повод это подумать, потому что так отозвались о стихах...

— Разве я плохо сказал о стихах?

— Не плохо,— затрясла головой Аночка и поискала слово: — Высокомерно.

— Высокомерно? Ну нет. Это — принадлежность самих поэтов. Они считают, что сочинять стихи куда значительнее, чем делать революцию. Да, может, и вы так считаете?

Аночка не ответила, но, наклонившись к Вере Никандровне, сбормотала проказливо:

— Вот и еще двойка за «Счастье человечества».

— Счастье человечества? — сказал Кирилл.

— Это у них в школе,— улыбаясь, объяснила Вера Никандровна.— «Счастьем человечества» они называли... Как это у вас говорилось, Аночка?

— Я ведь только что окончила гимназию, она, правда, школой теперь называется,— быстро заговорила Аночка.— Ну, и у нас всем предметам были даны особые имена. Между девочек, конечно. Например, литература — это «Заветные мечты». А последний год у нас ввели политическую экономию и конституцию. Их мы окрестили «Счастьем человечества». Ну, и мне за «Счастье человечества» всегда двойку ставили.

— Трудно, видите ли, дается счастье человечества,— засмеялся Рагозин.

— Но ведь мы с вами говорили о «Заветных мечтах»,— сказал Кирилл, взволнованно и без улыбки глядя на Аночку.

— Пожалуй, верно,— проговорила она, отвечая ему неподвижным взглядом.— Но мне кажется, вы не столько дорожите «Заветными мечтами», сколько «Счастьем человечества». И потому, что вы хотите, чтобы все думали одинаково с вами, вы мне для начала знакомства влепили двойку.

— Ну, вы уж понесли какую-то абракадабру,— сказала Вера Никандровна.

Кирилл приподнял пальцы, закрывая свою мимолетную усмешку.

— Я не хочу, чтобы все думали одинаково со мной. Я хочу, чтобы вы думали так же, как я.

— Небольшое требование... Но, вероятно, я не смогу его выполнить.

— Почему же... если оно небольшое?

— Как-то слишком скоро у нас наметились расхождения.

— Например?

— Например, вы почему-то сразу переменились, как только я назвала Цветухина.

— Не знаю, каков он сейчас,— отвел глаза Кирилл.— Раньше я его терпеть не мог. Он самообольщен, как пернатый красавец.

— Как вас звать? Кирилл, а по отцу? — вдруг спросила Аночка.

— А как вы меня зовете за глаза?

— За глаза... я вас никак не зову.

— Ах ты вихор,— улыбнулась Вера Никандровна.— Николаевич, по отцу Николаевич.

— Так вот, Кирилл Николаевич. Позвольте дать вам совет: не высказываться о людях, которых вы не знаете.

— Правда,— беспокойно сказала Вера Никандровна.— Цветухин мужественный и простой человек.

Аночка легко нагнулась к Вере Никандровне и опять с необыкновенной быстротой поцеловала ее.

— Мне надо идти,— сказала она и прибавила, держа в ладонях голову Веры Никандровны и покачивая своей головой в такт раздельным и звучным словам: — Именно мужественный и простой человек!

Вера Никандровна взяла ее руки и спросила, глядя ей близко в глаза:

— Как Ольга Ивановна?

— Маме плохо,— ответила Аночка, словно мимоходом, но так, что уже больше не нужно было ничего говорить, и распрямилась, и обошла стол, чтобы проститься с Кириллом.

Он вдруг неловко выговорил:

— Ну, хорошо. Принимаю совет. Не сердитесь.

— А я не сержусь,— непринужденно ответила она и ушла, мигом исчезнув из комнаты.

С минуту все молчали, потом, вздохнув, Рагозин спросил:

— Тебе, говорят, квартиру нашли! Переезжаешь?

— Нет. Она мне не нравится.

— Э, да ты вон какой! Этакого буржуя тебе палаццо дают, а ты недоволен?

— Да,— сказал Кирилл, явно думая о другом,— я, братец, задрал нос...

10

В безветренный, почти уже летний день Пастухов вышел из тамбура дорогомиловского дома в легоньком пальтеце по давней моде — до колен, палевой окраски с белой искрящейся ниточкой, и глянул сначала вверх — не хмурится ли? — потом в стороны — куда приятнее направиться? — потом под ноги — не грязно ль? Поглядев вниз, он заметил троих мальчуганов-одногодков, сидевших на тротуаре спинами к залитому солнцем цоколю дома, с ножонками, раздвинутыми на асфальте в виде азов. Асфальт был исплеван. Они повернули головы к Пастухову, ожидая, скажет ли он что-нибудь или пройдет молча, и в одной из довольно запачканных мордашек он узнал своего Алешу. Он шагнул к ним.

— Что вы тут делаете?

— Играем,— сказал Алеша.

— Как играете? Во что?

— А кто дальше доплюнется.

— Гм,— заметил Пастухов с неопределенностью, но тотчас прибавил ледяным голосом, еле двигая натянутыми губами: — Пошел сейчас же домой и скажи маме, что я назвал тебя болваном и не велел пускать на улицу.

Он порхнул взглядом по плевкам. Откуда они брались? Этот дом обладал необъяснимой притягательной силой для мальчишек, они льнули к нему, как осы к винограду. Алешу было немыслимо уберечь от них: если его выпускали на улицу, он встречал там одних, в саду его ждали другие, на черной лестнице третьи, в комнатах Арсения Романовича четвертые. Может быть, во встречах с мальчиками не было ничего дурного (Александр Владимирович считал, что дети должны расти, как колосья в поле,— среди себе подобных, а не как цинерарии — каждый в своем горшочке), но мальчиков было слишком много. Ольга Адамовна протестовала, чтобы ее посылали в город с хозяйственными поручениями и чтобы Алеша оставался без присмотра. Она даже попробовала пролепетать, что это не ее обязанность — ходить по базарам. Но не может, в самом деле, Пастухов допустить, чтобы мадам сидела дома, а по базарам ходила Ася. Такое время. Надо мириться. Именно — время, то есть все эти неудобства происходят до поры до времени: кончится ужасная братоубийственная распря, и Александр Владимирович возвратится в свой петербургский кабинет карельской березы. А пока все должны терпеть.

В конце концов Пастухов терпел больше других. Он привык работать, привык, чтобы театры ставили его пьесы. А сей-

час в театрах только разговаривали о работе, но работы никакой не делали, потому что пьесы Пастухова перестали играть. В театрах говорили об античном репертуаре, Софокле и Аристофане, о драматургии высоких страстей, Шекспире и Шиллере, о народных зрелищах на площадях, о массовых действах и о зрителе, который сам творит и лицедеет вместе с актерами. Но в театрах не говорили о Пастухове, о его известных драмах и, право, недурных комедиях. А ведь пьесы его ставили не только у Корша или Незлобина, они подымались и до Александринки. Иногда знакомые актеры, встретив его на улице, расцеловавшись и пророкотав голосами с трещинкой — как жизнь и что слыхать? — начинали патетически уверять, что он один способен написать как раз то, что теперь надо для сцены — возвышенно, великолепно, в большом плане (громадно, понимаешь, громадно! — говорили они), потому что, кроме Пастухова, никого не осталось, кто мог бы за такое взяться (мелко плавают, понимаешь? — ну, кто, кто? да никого, никого!). Но, отволновавшись, они доверительно переводили патетические ноты на воркование лирики, и тогда получалось, что напиши Пастухов свою возвышенную пьесу, ее никто не поставит, потому что наступила эпоха исканий нового и, стало быть, распада старого, все ищут и не знают — чего ищут, но все непременно отвергают сложившиеся формы, а Пастухов и хорош тем, что имеет свое лицо, то есть вполне сложился (Пастухов — это определенный жанр, понимаешь? — тебя просто не поймут, не поймут, и все! — да и кто будет судить, кто?).

Выходило, что писать не надо. Да Пастухов и сам видел, что писать невозможно. Произошло смещение земной коры — вот как он думал о событиях. И, прежде с таким утешливым чувством игры сочинявший сцену за сценой для своих пьес, он слышал теперь работу собственного воображения, как слышат скрип несмазанной телеги через отворенное окошко. Он трудился прежде так же непроизвольно, как пищеварил. Теперь труд стал для него мучителен, потому что он не знал, что должен делать. Сместилась земная кора,— могла ли улежать на месте такая кроха, как его занятия? Все колебалось от толчков землетрясения, и камни, рушившиеся с карнизов вековых зданий, погребали людей под своими нагромождениями. Воздев руки, чтобы защитить головы, как в библейские времена, люди бежали туда, куда их гнал ужас или толкал случай. Пастухов тоже бежал.

Но по виду он совсем не был похож на беглеца. Нисколько не изменив своему обыкновению хорошо одеваться, он, правда, не купил за два последних года никакой обновки, но вещи его

приобрели лишь ту легкую поношенность, какая делает их как бы одушевленными, особенно на людях, умеющих носить, и он казался все еще элегантным, так что опытный глаз сразу признал бы в нем петербуржца. Привычка наблюдать жизнь во всякой обстановке добавила к его независимой осанке некоторое высокомерие, которым он, однако, владел настолько, что оно бывало и незаметно. Он ходил по земле любопытным и судьей одновременно, и то становился простодушен, как зевака, то весь наливался самоуважением, точно посол не очень заметной державы. При этом ему всегда легко давалась любезность и сопутствовала природой дарованная радость бытия. И сейчас, растерянный, обремененный неизвестностью будущего, он сохранял наружность человека, довольного тем, что его окружало.

В Саратове он, как приехал, взялся разыскивать актера Цветухина — друга-приятеля, обретенного в последнюю побывку на родине и не то чтобы забытого, а за петербургскими интересами переведенного из друзей действительных в друзья воспоминания. Как школьных товарищей соединяет школа и затем разводит жизнь, так Пастухова и Цветухина с десяток лет назад соединило пребывание в одном городе, а затем развела разлука и та часто лишь подразумеваемая, но деликатная ступень, какая высится между обитателями столицы и закоренелыми провинциалами.

Цветухин был не меньше Пастухова виноват, что за столь долгий срок они ни разу не дали о себе знать друг другу. Он не причислял себя к любителям писать письма, редко делая исключения даже ради женщин, переписываться же с мужчинами считал за блажь: что я — маклер, что ли, какой — вести корреспонденцию? — говорил он и уверял, что актеры никогда не умели писать никаких писем, кроме долговых. Может быть, он все-таки был немножко обижен молчанием Пастухова и, допуская, что тот ненароком мог бы и не ответить, если бы он первый написал ему, предпочитал не подвергать свою гордость такому испытанию.

Пастухов прежде всего побывал в городском театре,— нигде достовернее не могли бы сказать об известном в городе актере. Но разведать удалось немного: Егор Павлович последнее время не служил в театре, а собирал какую-то особую труппу и занимался с нею не то на железной дороге, не то в гарнизонном клубе, а возможно — и еще где-нибудь.

— Они, знаете, захвачены,— сказал, подморгнув Пастухову, старый человек с небритым подбородком и приподнял ко лбу палец.

— То есть как захвачен? Егор Павлыч?

— Они самые, Егор Павлыч. Они от нас отошли, и в рассуждении у них что-либо совсем стороннее.

— А вы тоже актер?

— Нет, не актер. Я реквизитор. Но вы не сомневайтесь.

Пастухов и не думал сомневаться. Он знал своего друга за человека с причудами, хорошо помнил его скрипку, слабость к изобретательству, его поиски народных типов для воплощения на сцене. Особенно историю с этими народными типами никогда он не мог бы забыть, потому что с ней Цветухин запутал его в пренеприятное жандармское следствие по опасному революционному делу, когда они вместе едва не увязли. Так что от Егора Павловича он равно ждал и вполне обыкновенных поступков, как от очень милых людей, и вещей самых необычайных, как от больших оригиналов.

Александр Владимирович, выйдя из Липок, пошел к той старой приземистой гостинице рядом с консерваторией, в номерах которой когда-то проживал Цветухин. Он узнал двор, хотя тополя вдоль щербатых асфальтовых дорожек сильно вымахали ввысь и загустели. Как и прежде, в воздухе таяла капель падавших через отворенные окна звуков — арпеджио роялей, поплевывание флейт, нутряные жалобы виолончелей. Высокий красный дом, под своими похожими на сахарную бумагу колпаками крыш, как будто тянулся на цыпочках к небу, приподнимаемый музыкальной смесью голосов. Корпуса гостиницы лежали у него в ногах. Пастухов обошел дальний корпус. Тут тоже были отворены окна, и низенький дом скудно отвечал высокому звонами размолоченного пианино.

Было безлюдно, и Пастухов беспрепятственно осмотрел длинный коридор с запахом шампиньонов и аммиака, незапертые номера, тесно уставленные койками в бурых одеялах, и добрел наконец до зальца с искусственной волосатой пальмой-вашингтонией. Отсюда и вылетали звоны. Стоя в дверях, он послушал это настойчивое подражание музыке. Барышня в очень короткой узкой юбке, наступив на правую педаль ногой в модном, до колена зашнурованном матерчатом ботинке, выдалбливала из пианино «Молитву девы» — мелодию, которая в веках останется памятником мечтательности старой провинции. Указательный палец музыкантша держала, не сгибая, под прямым углом к покорной клавиатуре.

Пастухов кашлянул. Барышня обернулась, оставив палец воткнутым в клавиш. Пианино медленно успокаивалось.

— Вы меня? — спросила барышня.

— Простите, я оторвал вас от вашего экзерсиса.

— Чего?

— Я помешал вам. Скажите — не живет ли здесь актер Цветухин?

— Актер? — быстро проговорила барышня и сбросила ступню с педали, причем инструмент замурзился, как потревоженный старый собакевич.— А он что, делегат?

— Не знаю,— сказал Пастухов, вполне возможно, конечно.

— Тут больше делегаты.

— Какие делегаты? Может быть, действительно Цветухин находится в их числе?

— Отчего же нет? — согласилась барышня и заложила ногу на ногу.— Кто приезжает на всякие съезды, тот и останавливается. Тут общежитие. В крайних двух номерах студенты консерватории. Но только актеров с ними нет.

— А вы, простите, вероятно, тоже студент консерватории? — поинтересовался Пастухов так почтительно, что никто не заметил бы насмешки.

— Вы думаете — потому что я играю? Нет, я так, любительница. А вам что — разъяснили, что этот актер живет в общежитии?

— Он жил здесь прежде в одном из номеров.

— Давно?

— Порядочно,— сказал Пастухов,— лет, пожалуй, восемь-девять назад.

Барышня, нагнувшись, обхватила свои зашнурованные икры сплетенными пальцами и широко разинула яркозубый веселый рот.

— Что? Девять лет? Да ведь это в прошлом веке! — вытолкнула она с хохотом.— Нет, вы смеетесь! Если правда — столько лет, то вы бы лучше спросили об вашем актере у моего дедушки! Вы, наверно, сами тоже артист?

Глаза ее с любопытством и любованием бегали по его шляпе, костюму, туфлям, почти не задерживаясь на лице. Говорила она бойко и с увлечением.

— А вы здесь служите? — спросил Пастухов, улыбаясь.

— Нет, я в «Зеркале жизни».

— Ах, вы в зеркале жизни? Вон как! Это что же такое?

— Да вот рядом — кино. Не знаете? Я там билетершей. А сюда меня тетя Маша пускает играть на пианино.

— Тетя Маша?

— Ну да, она тут коридорной. У нас в кино тоже есть пианино, да администратор запрещает играть. А я живу недалеко, вместе с тетей Машей, и мы с ней дружим. Она сейчас ушла на обед и велела мне посидеть.

— Чрезвычайно интересно,— сказал Пастухов,— благодарю вас.

— Нет, правда, вы тоже артист? — опять спросила она, и расцепила пальцы, и поправила спустившийся на лоб озорной чубик.

— А я вам не скажу.

— Да я сама сразу увижу: артисты все такие замысловатые. А если вы не шутите, что ваш товарищ жил тут так давно, то подите в первый корпус, там комендант, может, он вам скажет.

Пастухов еще раз поблагодарил, испытывая удовольствие от ее резвого взгляда, в котором брезжилась нескрываемая женская жадность, и слегка засмеялся, и она захохотала в ответ, и он ушел. На дворе он опять расслышал тот же упрямый, но учащенный звон пианино, и тотчас представился ему перпендикуляром опущенный на клавиш палец, и он ухмыльнулся.

В облике смешной любительницы музыки он, однако, увидел что-то новорожденное и настолько самонадеянное, что не она показалась ему курьезом, а он сам — со своими поисками прошлого века. Прошлый век! — это слово ошеломило его, примененное к недавнему времени, о котором он привык думать, как об идущем, а оно уже невозвратно ушло. Не был ли он сам прошлым веком? Остатком, обломком, в крошку разбившимся карнизом колеблемого здания? Застывшим в воздухе отрывком давнишнего напева, какой-нибудь жалкой ноткой провинциальной «Молитвы девы»?

— Какая чушь! — отмахнулся он.

Но едва он сказал про свои мысли, что они — чушь, как время, которое он считал вчерашним днем, отошло в такую недосягаемую даль, что он остановился в испуге. Все вокруг почудилось ему решительно изменившимся, непохожим на прежнее, как план города не похож на город. План был тот самый, что и прежде, дома стояли на своем месте, были старой высоты и даже старых окрасок, но во всем виделось новое выражение, жил не прежний, иной смысл. И в этом переменившемся до неузнаваемости окружении он себя одного увидел совершенно прежним. Он бродил, слонялся среди незнакомого города, ища свое прошлое, свой век.

— Я старый,— сказал он себе, медленно выходя на улицу и озирая ее оторопело,— я здесь один такой старый.

Ему надо было найти отрицание этого непрошеного самопризнания в старости, чтобы восстановить блаженное равно-

весне духа, и вдруг его глаз выделил из прохожих приближающегося необыкновенного человека.

Это был старик с бесцветной лысиной и серпом голубовато-белых волос, положенным концами на массивные уши. В округлой бородке, седых бровях, не уступавших по размеру усам, он был иконописен, и его разящий взгляд мог бы принадлежать сразу и мученику и мстителю. С плеч его свисал жеваный чесучовый пиджак, каких уже не оставалось от былых летних гардеробов, с оттянутыми до колен карманами, топырившимися от засунутых в них газет и свертков. В руке он нес панаму, от давности потемневшую, как высушенная тыква. Подходя к Пастухову, старик морщинил лицо, щеки его сделались гребенчатыми, улыбка обнажала исковерканные изжелена-желтые зубы, словно он набрал в рот фисташковой скорлупы.

— Когда же это вы, Александр Владимирович, в родные края? — пропел он, разводя руки для объятия.— С приездом! Не узнаете?

— Нет, извините,— помигал на него Пастухов.

— Ну, где уж! Молодое растет, старое старится. А ведь я вас выручал, вытягивал, когда вас преследовала жандармерия за связи ваши с подпольем! Помните?

— Да, да, да, да, позвольте, позвольте...— припоминал и не верил, что может нечто подобное припомнить, Пастухов.

— Ну, ну, ну! — помогал ему старик.

— Да, да, да, что-то такое, действительно...

— Да ну, конечно же, конечно! Вспомните-ка! Еще когда с вас была взята охранкой подписка о невыезде, а?

— Действительно, действительно, как же? — удивился Пастухов.

— Еще когда вы собирались поехать в Астапово, к смертному одру Льва Николаевича, а?

— В самом деле, позвольте-ка, позвольте...

— Да ну же, ну!

— Как же такое, а? Ну, просто, никак не могу, право...

— Ай-ай-ай, Александр Владимирович! Кто тогда хлопотал за вас перед прокурором, а? Кто спасал вас и для искусства и для всех нас? Нуте-ка, а?

— Позвольте, ну, как же? — мучился Пастухов.

— Да Мерцалов, Мерцалов! Помните? — пожаловал наконец старик, убежденный, что его имя осчастливит кого угодно.

— Ах, Мерцалов! — повторил рассеянно Пастухов.

— Ну да, Мерцалов, былой редактор былого здешнего «Листка»!

— Ах, конечно же, здравствуйте, здравствуйте! — воскликнул и с облегчением утер ладонью лицо Пастухов.

Они жали и трясли друг другу руки, и нагруженные карманы старика бились по его коленкам, и он то прикрывал лысину панамой, то снова оголял ее, и Пастухов, рассматривая старика, твердил себе со всею силой оживающего самодовольства: как хорошо, что я молод, молод, молод, что не ношу чесучовых пиджаков, не набиваю карманы газетами, что во рту моем здоровые зубы, как хорошо, как хорошо.

— Как хорошо,— сказал он, беря старика под локоть и поворачивая не в ту сторону, куда тот шел, а куда собирался идти сам,— как хорошо, что я вас встретил. Как вы тут живете, а?

— Живем, как сейчас можно жить,— в трудах, в ожиданиях.

— Не трогают вас за ваш «Листок»? — мимолетно спросил Пастухов.

— За что же? Я ведь не либерал какой-нибудь, помилуйте! С молодых ногтей мечтал о революции. Всем известно. В мрачнейшие времена имел дело с подпольем. Сколько людей выручил, вот так же, как вас.

— Да?

— А что вы думаете? Вы думаете, откуда я узнал, что вы тоже работали на революцию?

— Да? — повторил Пастухов, уклончиво улыбаясь.

— Ну, разумеется! Мы ведь понимаем друг друга, понимаем! Вы ставили на карту свое будущее, свою славу, и я не один раз рисковал головой. Всякое бывало. За вас, помню, клялся и божился, что вы непричастны. А ведь знал, знал — какое там непричастен!

Мерцалов с коротким смешком потряс головой, будто одобряя себя снисходительно за то, что следовало бы пожурить. Пастухов глядел на него пронизывающе-пытливо.

— Я не знал, что вы мне так помогли,— быстро сказал он.— Благодарю вас, хотя и запоздало.

Он протянул старику руку.

— Ах, что там! Это ведь святая обязанность, дело чести. Сколько добра приводилось делать — не запомнишь! Вот ведь и о Цветухине надо было тогда замолвить словечко. Он ведь тоже был не без грешка, хе-хе.

— Вот хорошо — вспомнил. Где он? Я его не могу разыскать.

— Цветухин? Ну, как же — здесь, здесь! Собирает таланты из народа. Труппу составил. Передвижной театр мечтает

устроить. Интересная личность. Перессорился со всеми насмерть. Темперамент! Мнится горы сдвинуть.

— Что вы говорите?! Как на него похоже! Но где же его найти?

— Нет ничего проще. Я ведь с театральными людьми на короткой ноге. Пишу о театре. В газете мне — вы понимаете? — приличествующего места не дадут, я человек, так сказать, индивидуальных понятий, хотя, если говорить строго, именно подлинный общественник. Но меня уважают. Не могу пожаловаться. Поручили мне хронику искусства, да, да. Так что я пишу. Немного. Но подождем, подождем.

— Как же все-таки повидаться с Цветухиным? — поторопил Пастухов (он успел заметить, что старик имел пристрастие к излюбленному болтунами словечку «ведь», будто касавшиеся его, Мерцалова, обстоятельства знал или обязан был знать каждый встречный-поперечный).

— Я поспрошаю, где сейчас подвизается наш Егор Павлович, передам о вас, он к вам придет. Будет рад, будет рад. Мы земляков почитаем. Вы где остановились-то?

— У одного знакомого, неподалеку. У такого Дорогомилова, слышали?

— Бог ты мой, вы живете у Дорого...

Старик даже осекся и придержал Пастухова, чтобы стать лицом к лицу. Вздернув скульптурные брови, отчего лысина его двинулась на извилины лба, словно поплывший воск, он тотчас, однако, сменил удивление на добродушный смешок, который, в свою очередь, удивил настороженного Александра Владимировича.

— Я только что случайно познакомился с ним. Что это за фигура?

— Ну, кто же не знает — старожил! Чудак, человек превратностей.

— Мистик?— сам не зная почему, подсказал Пастухов.

— Не думаю. Мечтатель скорее, любитель загадок, утопист.

— И бухгалтер?

— Представьте! Испокон века тянул счетную часть управы. Но, так сказать, житель двух миров. Невинный мистификатор. Не мистик, как вы думаете, а мистификатор!— обрадовался словцу Мерцалов.— Неужели вы его никогда прежде не видели? Его ведь нельзя не приметить — он вечно в окружении мальчишек.

 — Вот-вот, что это такое?

— Это его пунктик. У ребятишек он — божок. Вообще целая история. Кое-что, может, и недостоверно, но многие легенды о нем легко поддаются некоторому своду...

Они проходили Липками, и Пастухов ничуть не раскаялся, что принял предложение — посидеть и выслушать предание об Арсении Романовиче. Мерцалов оказался не простым говоруном, а презанятным рассказчиком.

Ходячая в городе дорогомиловская история вела начало с глухих времен, когда Арсений Романович был еще студентом Казанского университета. Как-то летом он попал на охоту по уткам в хвалынские займища, встретился там с компанией охотников, и они затащили его в Хвалынск. В городке, полном тишины и скуки, они покутили, сдружились еще больше и отправились в одно из тамошних поместий, к барону Медему. Тут произошла, что называется, роковая встреча. У Медемов была воспитанница — девушка прекрасная, с воображением, не засоренным какими-нибудь городскими пустяками. Дорогомилов потерял голову, как может потерять молодой человек в августовские вечера, на свободе, среди полей, садов, парков. Он нашел самый нежный отклик и уехал домой окрыленный. Но у Медемов оказались особые расчеты на воспитанницу,— они выдали ее за своего обедневшего родственника, московского гренадера. Несчастье убило Дорогомилова. Он ушел из университета и долго болел. Жил он тогда у крестного отца — камского пароходчика. Это были годы, когда на пароходах наживались неслыханные в Поволжье капиталы. Но одни пароходчики богатели, другие банкротились. И вот благодетель Дорогомилова разорился, и недавний студент, еще не оправившийся от первной болезни, переехал к бедным родичам, в Саратов, чтобы вместе с ними бедовать. У него ничего не клеилось, что бы он ни предпринимал. О женитьбе он и не помышлял: он был из породы людей, умеющих держать зароки, а судьба толкнула его к зароку, и он его себе дал: никогда не жениться. Года через два дошел до него слух, что гренадер бросил жену и она умирает от чахотки. Дорогомилов в отчаянии ринулся в Москву, и правда — застал свою возлюбленную умирающей. У нее уже был ребенок. Дорогомилов дал ей слово, что воспитает мальчика, и увез его с собой. Надо было теперь думать не об одном себе, и он поступил на первое подвернувшееся место — в управу. Меньше всего собирался он щелкать счетами, но ребенок требовал ухода, пришлось содержать няню. Дорогомилов проявил такую старательность по службе, что постепенно сделался незаменимым в управе человеком. Но, отдавая самые похвальные старания службе,

чтобы упрочить свое положение, Арсений Романович сердцем жил в мире ребенка, привязываясь к мальчику с каждым днем все более страстно. Он усыновил его, сделал его воспитание целью жизни, привык считать себя счастливым, а счастье мальчика казалось ему обеспеченным навсегда. Но обоих ожидал другой удел. Поехав однажды в превосходный день кататься на лодке с приятелем Арсения Романовича — учителем Извековым, они были застигнуты на коренной Волге внезапной бурей. Они не могли выгрести ни к берегу, ни к пескам. Лодку залило и опрокинуло. Извеков первый бросился к мальчику, но не мог, как требуется, ухватить его сзади, мальчик от испуга вцепился в шею своего спасителя, и они оба пошли ко дну. Это случилось, как всякая беда, почти мгновенно, на глазах Дорогомилова. Он удержался за перевернутую лодку, и его прибило к пескам. Труп Извекова был выброшен через неделю на остров, мальчик же пропал бесследно.

Горе не прошло Дорогомилову даром: он попал в психиатрическую больницу. Лечили его без мудрствований, как всех тогда — в сумасшедших домах — успокоительными каплями, купаньем, а чаще — ничем. Он вышел на волю в черной меланхолии. Но вдруг в нем как бы обнаружилось новое призвание. Погибший двенадцатилетний сын его был славным мальчиком,— у него осталось несколько друзей-сверстников, и вот они-то проявили к Арсению Романовичу ни с чем не сравнимое детское участие. Они взялись навещать его, проводить с ним целые дни, и он стал медленно оттаивать в тепле мальчишеской любви. Сначала у него явилась задача — отвлекать своих друзей от Волги. Он сам боялся выйти на берег и перестал глядеть в ту сторону, где искрилась и горела речная гладь. Но, пожалуй, нет вернее способа потерять дружбу детей, чем помешать их тяге к воде. Как ни увлекательны были прогулки с Арсением Романовичем в горы и в лес, хождения по деревням, экскурсии на раскопки татарского Увека, или на махорочную фабрику, или к Чирихиной — на чугунолитейный завод, а ребятишки всё косились на Волгу, и перед Дорогомиловым встал выбор: либо утратить расположение детей, либо преодолеть водобоязнь. С годами он ее преодолел, захваченный любовью мальчиков к реке, и тогда начались поездки на пароходах, побывки на рыбачьих станах, которые кочевали по берегам и островам, смотря по ходу стерляди, сазана или леща. Нередко целым выводком, во главе с Арсением Романовичем, как с клушкой, ребятишки высыпали на берег с удочками — таскать густёрку и отливающую синей эмалью чехонь, разжигали костер, варили уху,

какой никто не поест, если не полюбит с детства мечтательного сиденья с удочкой у воды. С холодами все эти удовольствия кончались, но тогда на первый план выступала дорогомиловская библиотека. Он собирал книги не столько для себя, как для маленьких друзей и, приваживая их любить чтение, делал из них поклонников своего уютного холостяцкого угла. Он, конечно, был прирожденным педагогом, но общение с детьми строил на личной дружбе, и это многим казалось странным, на него покашивались, пока не привыкли, как привыкают к городским дурачкам. Те мальчики, которые с ним не могли сдружиться, дали ему кличку «Лохматый», открыто насмехались над ним, особенно когда он постарел и усвоил слишком чудаческие манеры. Из-за него случались и драки среди мальчишек, нечто вроде рыцарских турниров, когда дело шло о праве на преимущественное внимание Арсения Романовича, а то и просто схватки между защитниками его чести и оскорбителями ее. Для Дорогомилова весь этот романтический мир детских привязанностей, мечтаний, дружб и ссор, мир, выраженный в смелом прямом взгляде подростка, пылающем фантазией, неукротимой любознательностью и наивной чистотой, которую найдешь разве только у дикого животного, еще не обученного охоте,— мир этот стал наркозом Дорогомилова, и чем дальше шло время, тем больше делался старик наркоманом. Дети вырастали, разбредались по свету, но на их место приходили другие, они оставляли Дорогомилову в наследие своих товарищей, передавая им особые заветы, маленькие традиции, неписаный культ почитания старика. У него редко бывало больше четырех-пяти приятелей в одно время, и общение их не напоминало ни школы, ни класса — оно было вольным, как у взрослых, и мальчики считали, что ходят к Арсению Романовичу отдыхать, хотя часто уносили от него больше, чем из классов.

Конечно, Дорогомилов не позабыл ни своей несчастливой встречи в хвалынском поместье, ни приемного сына, которого он не сумел уберечь. Но он ни с кем не говорил об этой памяти, как почти не отвечал на расспросы о гибели своего друга Извекова. Он представлялся вечно поглощенным обязанностями, вечно мчащимся по неотложному делу, и его потрепанный сюртук, развевающийся на бегу, хорошо знали в городе. Однако, хотя к нему очень привыкли, никто не хотел допустить, что он так прост, все находили и в его поведении, и на его лице нечто необъяснимое, что, впрочем, находят у всякого, кто побывал в сумасшедшем доме.

— Прекрасная история,— сказал Пастухов с довольной

улыбкой, выслушав рассказ.— А что это за Извеков? Что-то такое знакомое в этой фамилии.

Мерцалов лукаво покачал всем корпусом и даже как-то мяукнул, выпевая через нос игривый мотивчик.

— Н-да-м, н-да-м, Александр Владимирович, полагаю, что фамилия эта должна вам говорить весьма и весьма много (на лице его засборились во всех направлениях гребенючки складок). Ведь вы пострадали в свое время по одному делу с Извековым, который тогда был еще мальчиком, припоминаете?

— Да?— опять рассеянно сказал Пастухов.

— И этот соратник ваш Извеков — сын утонувшего учителя. А сейчас он ни более ни менее — секретарь здешнего Совета. Н-да-м, н-да-м.

— Вон как,— ответил Пастухов, как будто пристальнее вдумываясь в слова Мерцалова, но тотчас переводя его на другую мысль:— А вы знаете, моя жена Ася, когда познакомилась с Дорогомиловым, сразу почуяла, что это праведник. Как вы полагаете?

— Из семи праведников,— усмехнулся Мерцалов,— которыми держится город, да? Может быть, может быть. Но ведь теперь, вы знаете, держится ли вообще город, а? Удержится ли, хочу я сказать, в этаких корчах планеты?

— Корчи планеты,— повторил Пастухов.

Они всмотрелись друг в друга, молча улыбнулись и стали прощаться: Пастухов — напоминая, что надо разыскать Цветухина, Мерцалов — непременно обещая это сделать.

Подходя к дому и увлеченно перебирая в воображении то черты Дорогомилова, какими они возникли из рассказа Мерцалова, то повадку и приметы характера самого рассказчика, Пастухов нежданно обнаружил, что дверь тамбура стоит настежь. Никого на улице не было видно, и даже мальчуганы, обычно игравшие где-нибудь поблизости, исчезли.

Он взбежал по лестнице. Дверь в квартиру была не заперта, по коридору наперегонки неслись спорящие голоса.

— Нет-с, извините, нет-с, извините,— вскрикивал Дорогомилов на высокой, не столько грозной, сколько умоляющей нотке.

Пастухов вошел в свою комнату. В тот же момент он увидел Асю, и по ее взгляду, горевшему сквозь тонкую слезку, которую Александр Владимирович превосходно знал и которая появлялась не от обиды или горя, а в минуту покорной слабости, по этой трогавшей его почти незаметной слезке понял, что шум в коридоре касался не только кричавшего Дорогоми-

лова, но, может быть, прежде всех — его, Пастухова, семьи. И, остановившись на первом шаге, он сказал не так, как подумал, а как, мимо всякого размышления, слетело с губ:

— Что с Алешей?

Ася покачала головой, улыбаясь с польщенной гордостью матери, чувство которой обрадовано беспокойством отца за ребенка. Она подошла к мужу. Он поцеловал ее мягкие пальцы и тогда заметил Алешу.

Мальчик прижался к печке, скрестив руки по-взрослому — на груди,— и выжидательно, с опаской смотрел на отца. Ольга Адамовна сидела в двери маленькой комнаты, ухватив косяк, как ствол винтовки, с выражением стража, решившего окаменеть, но не сойти с поста.

— Хорошо, ты пришел,— сказала Ася.

— Что происходит?

— Нас выселяют,— ответила она просто и с тихой веселостью, словно то, что муж продолжал сжимать ее пальцы, возмещало удовольствием любую неприятность.

— Нас одних?

— И нас, и нашего покровителя, и его скарб, словом — весь экипаж вон с корабля!— засмеялась она, но тут же, только чуть-чуть убавив улыбку, сказала практичным, внушающим тоном:— Ты должен выйти поговорить. Арсений Романович чересчур горячится и, по-моему, портит дело. Явился очень милый молодой военный и немножко форсит. Ты ему сбавь гонор. Слышишь, какое сражение?

Александр Владимирович неторопливо вышел в коридор.

Наваленное до потолка старье не могло даже наполовину поглотить разлив приближающихся криков. Казалось, голосят сразу несколько человек — такое множество оттенков вкладывалось в непримиримый спор. Слышались и угроза, и насмешка, и увещевание, и язвительность, и грубость.

— А я вам десятый раз повторяю, что коммунхоз тут ни при чем, помещение забирает военное ведомство! Военная власть!

— Забирает, забирает!— какими-то пронзительными флейтами высвистывал сорвавшийся голос Дорогомилова.— Никому не позволено забирать имущество коммунхоза без его согласия и разрешения, да-с, да-с!

— Военному ведомству нужно — оно берет. Война, и — как вы изволите говорить — да-с! Война, и да-с!

— Нет, не да-с! Вы делаете плохое одолжение военному начальству, если выставляете его беззаконником!

— Я делаю не одолжение, а то, что надо. А насчет беззакония вы потише. Будет законный ордер.

— Ордер от коммунхоза?

— Законный ордер.

— Законен только ордер коммунхоза!

— Не беспокойтесь.

— Это мне нравится! Меня лишают крыши, мне заявляют, что имущество и книги я могу, если угодно, проглотить — да-с, вы именно так выразились! — и мне же предлагают не беспокоиться! Но поймите же...

Пастухов стоял у окна, освещенный сверканием дня, и как ни щурился, не мог разобрать — что за человек надвигался по коридору, останавливаясь и оборачиваясь, чтобы парировать выкрики Арсения Романовича. Потом из темноты выплыли на свет сразу две фигуры. Первым шел военный в великолепном френче и в надвинутой па брови фуражке с длинным, прямым, как книжный переплет, козырьком и с щегольской крошечной рубиновой звездочкой на околыше. С ним в ногу выступал, по плечо ему, человек с плотно замкнутыми устами, полуштатский-полувоенный, в галифе, пестром пиджачке, в картузе с белым кантом, какие носят волжские боцманы. Пастухов загораживал проход, и военный, негромко шаркнув ногой, придержался, показывая, что надо дать дорогу.

В эту минуту Дорогомилов, протискиваясь вперед, вытянул руки с воплем отчаяния:

— Александр Владимирович!

Он был в одной жилетке и старинной рубашке с круглыми накрахмаленными манжетами, жестко гремевшими на запястьях, волосы его сползли на виски, перепутавшись с бородой, из-под которой свисали концы развязанного галстука в горошек.

— Александр Владимирович! Извините, пожалуйста, извините! Но послушайте. Приходит этот товарищ, осматривает квартиру и объявляет, что она будет занята военным комиссариатом. Прекрасно, прекрасно! Военным властям нужны помещения. Ну-с, а вы с семьей? Ваш маленький Алеша? А я со своей библиотекой? А коммунальный отдел Совета, чьей собственностью является весь этот дом? Гражданина военного все это не интересует. Его интересует война.

— Виноват, — перебил человек, которого интересовала война.

Заложив большой палец за портупею, он на секунду прикрыл глаза, будто собираясь с терпением и призывая внять доводам разума. Момент этот Александр Владимирович счел

удобным, чтобы, кивнув, назвать свою фамилию с внушительной размеренностью, давно установленной им для тех случаев, когда он рассчитывал произвести впечатление. Военный стукнул каблуками и взял под козырек — под свой импозантный козырек и на свой удивительно особливый лад: собрав пальцы в горсть, он раскинул ее и вытянул в лодочку у самого виска, словно погладив выбившуюся из-под околыша кудряшку.

— Зубинский, для поручений городского военкома,— сказал он совсем не тем голосом, каким только что перебранивался, и не без приятности.— Разрешите объяснить. Военный комиссар полагает занять верхний этаж дома под одно из своих учреждений. Гражданин Дорогомилов напрасно волнуется...

— Напрасно!— выкрикнул Арсений Романович и загремел манжетами.

— Совершенно напрасно, потому что ему, по закону, будет предоставлена, возможно, тут же, внизу, комната.

— Комната! Благодарю покорно! А библиотека, библиотека?!

— Относительно библиотеки лично я полагаю, что в случае ее ценности...

— Кто установит ее ценность? Вы? Вы? Вы?— исступленно закричал Дорогомилов.

— В случае ценности,— продолжал Зубинский, слегка играя своим спокойствием,— она подлежит передаче в общественный фонд, в случае же малоценности...

— Малоценности!— почти передразнил Арсений Романович.

— В этом случае она, конечно, останется за ее владельцем.

— Но помещение для книг, помещение!— требовательно возгласил владелец.

— Если недостанет помещения, тогда о книгах позаботится отдел утилизации губсовнархоза.

Дорогомилов качнулся к стене и произнес неожиданно тихо:

— Вы слышали, Александр Владимирович?

— Да,— отозвался Пастухов, усмехаясь Зубинскому,— вы зашли, кажется, чересчур далеко.

— Я отвечаю на вопросы. Это мое мнение, не больше.

— Какое же у вас мнение обо мне с семьей?

— Вот гражданин Дорогомилов требует, чтобы мы заручились ордером коммунхоза. Почему же он поселил у себя без всякого ордера вас, гражданин Пастухов?

Все молчали. Зубинский вежливо и с интересом наблюдал, как обескураженно мигает Александр Владимирович, как приглаживает волосы Дорогомилов, как помалкивает человек с замкнутыми устами, и наконец медленно перевел взор на Анастасию Германовну, безмолвно следившую за сценой из комнаты.

— Иными словами, гражданина Пастухова с семьей вы просто выкинете на улицу, да?— вдруг спросила она мягко и с улыбкой, которая могла показаться и очаровательной и вызывающей, так что Зубинский, поколебавшись, ответил уклончиво:

— О, с таким имеем, как ваше, вряд ли можно остаться под открытым небом.

— Это сказано, пожалуй, по-светски,— все так же улыбаясь, проговорила Ася,— но правда, Саша, мы предпочли бы галантности приличный номер в гостинице?

— Я предпочел бы чтобы нас не трогали,— мрачно сказал Пастухов.

Зубинский приподнял плечи в знак того, что он отлично понимает, как все это неприятно, но он — человек службы и выполняет долг.

— Я надеюсь, вы поможете со своей стороны гражданам Пастуховым,— обратился он к своему спутнику, который, еще помолчав, с сожалением разжал рот и, будто преодолевая головную боль, выдохнул одно слово:

— Оформим.

— Простите, а вы кто?— сострадательно полюбопытствовала Ася.

— Представитель жилищного отдела,— горько сказал молчаливый человек.

— Ах, такого типа!— вскрикнул оживший Арсений Романович.— Позвольте! Жилищному отделу известны все эти намерения? И вы не проронили ни звука?! Я сейчас же иду вместе с вами и делаю заявление. Официально! Официально!

Ни на кого не взглянув, представитель жилищного отдела вразвалочку направился к лестнице. Зубинский козырнул на свой изысканный манер Анастасии Германовне, изгибом корпуса показывая, что приветствие относится и к Пастухову — побольше, и к Дорогомилову — самую малость, быстро шагнул к выходу, и слышно было, как он молодцевато забарабанил подошвами по деревянным ступеням.

Арсений Романович сложил руки, закрывая ладонями грудь, и низко поклонился Анастасии Германовне:

 — Извините мне этот мой вид (он громыхнул манжетами)

и эти мои ужасные вопли! Ужасные, ужасные, как на базаре!

Он устремился в темноту коридора с легкостью необычайной.

Оставшись с женой, Пастухов подошел к окну. В тишине раздавалось каждую минуту возобновляемое постукивание его ногтей по стеклу. Вдруг он засмеялся, вспомнив любительницу музыки в общежитии.

— Ты что?— спросила Ася.

— Есть люди настолько самонадеянные, что спроси этакого павлина — играет ли он на рояле, он, не моргнув глазом, ответит: не знаю, мол, не пробовал, но думаю, что играю...

— И ты думаешь, Зубинский из такой породы?

— Думаю, да.

— Ну, значит, мы с тобой горим!— весело сказала она, и, повернувшись друг к другу, они так захохотали, будто никаких невзгод и не было вовсе, а они шли навстречу очень заманчивым событиям.

Тогда Алеша, выйдя из своего угла, стал между родителями и Ольгой Адамовной, точно обеспечивая отступление к любой из трех точек, если будет надобность, и сказал:

— Папа, лучше, чем если нас станут кидать на улицу, то давайте будем жить в саду, а? И чтобы Арсений Романыч вместе с нами жил, хорошо?

Александр Владимирович перестал хохотать и, немного подумав, как всегда в разговоре с сыном, сощурился на него и ответил серьезно:

— Да, конечно, мы так и сделаем. Нам с тобой в саду будет чрезвычайно удобно... играть с мамой и с Ольгой Адамовной в кто дальше доплюнется...

11

День спустя, проходя торговым рядом, называвшимся по старой памяти — Архиерейским корпусом, Пастухов с женой остановились перед газетой, только что наклеенной на кирпичную стену и обрамленной по краям, где стекал клейстер, шевелящимся ободком мух.

Военная сводка Красной Армии была грозной: фронты раскачивали свои действия все более зловеще на юге и на востоке. Нижняя и Средняя Волга по-прежнему была желанной целью белых генералов, одновременный выход к ней деникинского правого фланга с донских степей и колчаковского центра из Заволжья означал бы слияние разомкнутых военных сил

контрреволюции, которые теперь поднимались явно для решающего удара. Казаки уральских и оренбургских степей должны были бы сомкнуть звенья мертвой цепи вокруг Республики Советов. Саратов в этой борьбе громадного стратегического масштаба был рукоятью меча, опущенного клинком вдоль Волги, на юг, и одним лезвием обращенного к западу, против деникинских армий, другим — на восток, против казаков. Переломить этот уже испытанный большевиками, послушный им меч, выбить эту рукоять из непокорной десницы революции — было ближайшим намерением белых, и для осуществления его они согласились между собой не пощадить крови.

Поспешно надвигавшееся лето несло с собою на Саратов, казалось, одинаково горячие ветры с трех сторон — с низовья, где так же, как год назад, у всех на устах был Царицын, с донских хлебных равнин, где страшной опухолью набухал новый фронт, и из Заволжья, где, в глубине степей, казаки осадили свою главную станицу — завоеванный красными Уральск. От этих ветров, ускорявших жаркий свой бег, становилось тяжелее дышать, город чувствовал: быть лету знойным.

Всякий хорошо понимал, что жизнь и в самом коротком, и в самом дальнем будущем зависит от гражданской войны, ее повседневного течения, ее конечного исхода. Но, понимая это и либо отдавая войне то, что она требовала, либо противясь ее требованиям, всякий был связан общей жизнью, рассчитанной не на военное, а на мирное будущее, и вдобавок неизбежно вел свой личный быт, то совпадавший, то совсем не вязавшийся с жизнью общей. Все это уживалось в переплетении иногда красочном, иногда бесцветном, и с такими внезапными переменами, что один час никак нельзя было уподобить другому.

По дорогам маршировали рабочие отряды, запыленные, с деревянными мишенями на плечах бойцов. Госпитали мчали на грузовиках свои кровати, учреждения — свои оббитые шкафы. В трудовых школах девочки и мальчики лепили из розового и зеленого пластилина петушков и лошадок и устраивали выставки своих изделий. На заводах и в мастерских паяли и начиняли взрывчатой смесью ручные гранаты. В садике наискосок Липок толпа любителей в поздние сумерки, подковой окружив эстраду, слушала поредевший после войны симфонический оркестрик и наблюдала за извивами худосочного дирижера — городской знаменитости, прямоволосой, как Лист, и черно-синей, как Паганини. На Верхнем базаре, оцепленном нарядом красноармейцев, вели облаву на дезертиров. В газете появлялась значительная статья о предстоящей петроградской

постановке «Фауста и города». Шли съезды сельских Советов и крестьянской бедноты. В кино показывали «Отца Сергия» Льва Толстого. У пекарен дежурили очереди за калачом. Городской Совет выпускал обязательное постановление о снятии с домов старых торговых вывесок. Церкви густо благовестили ко всенощной. Против здания бывших губернских присутственных мест возводилась из цемента еще неясно угадываемая конструкция революционного памятника.

Прочитав сводку, Ася и Александр Владимирович перекинулись скорым взглядом, который был им до дна понятен без слов. Но в тот же момент, обернувшись к газете, Ася сказала:

— Смотри.

И они вместе, почти касаясь друг друга головами, приблизились к темным от проступившего клейстера строчкам:

«К приезду А. Пастухова. В Саратов прибыл драматург Александр Пастухов, пьесам которого не раз бурно аплодировали наши ценители театра. Имя его должно быть известно у нас не только поклонникам сценического искусства, но также и в революционных кругах. В свое время А. Пастухов участвовал в распространении в нашем городе подпольных листовок против самодержавия и пострадал от царских охранников. Деятели прогрессивной местной печати предпринимали шаги в его защиту, но безуспешно: мрачные силы прошлого не могли простить начавшему завоевывать популярность литератору его симпатий к угнетенным массам, его самоотверженную помощь революционерам. Теперь, когда рабочий класс открыл широкий простор для творческих талантов народа, мы можем ожидать, что из-под искусного пера нашего земляка А. Пастухова выльется немало произведений, которых от него вправе ожидать современный зритель. Театральная общественность желает ему на этом ответственном пути славных удач и свершений. ЮМ».

Они отошли от газеты и завернули за угол, Ася взяла мужа под руку. Не глядя на него, она видела его мину. Оттого, что он вобрал шею в воротник, у него вздулся второй подбородок, нижняя часть лица выросла, губы припухли, как спелый гороховый стручок. Он смотрел вдаль, веки его то начинали мигать, точно стараясь освободить глаза от царапающей помехи, то замирали, полуприкрытые.

Раздался внезапный трезвон на звоннице архиерейского двора, и сразу готовно отозвались многоголосые колокола нового собора: преосвященный выезжал из ворот на своей тяжеловатой, небыстрой паре темно-карих. Пастуховы должны были пропустить карету и увидели его через начищенное

стекло дверцы — он слегка наклонял черный клобук и пухлыми, как пшеничный хлеб, короткими пальцами, чуть выглядывавшими из лилового шелкового отворота рукава, благословлял направо и налево.

Ася тихонько перекрестилась.

— Тьфу! Поп переехал дорогу,— буркнул Пастухов с явным умыслом показать, что его настроение превосходно.

— Какой же это поп, Саша? Это монах!

— По-твоему, монах— к добру?

— Непременно к добру!

— Тогда другое дело,— согласился он и, омыв ладонью лицо, засмеялся:— Мерцалов! ЮМ! Ах, шут гороховый! Удружил!

— Ты мне никогда не говорил об этой истории,— облегченно сказала Ася.— Подполье, прокламации, революционеры. Что это?

— Да ерунда! Ты же знаешь — или забыла?— старый анекдот с подпиской о невыезде. Ну, действительно, меня тогда здесь подержали, хотели что-то там такое мне приписать... пришить, как говорят по-блатному. Чепуха! Выдумки.

Он помешкал, нервно расстегивая и распахивая пальто, потом вдруг досказал:

— Во всяком случае, сильное преувеличение. Этот заржавленный прогрессист стряпает, наверно, для себя, свою домашнюю кухню, больше ничего. Постную лапшу из провинциальных бредней...

— Но что-то все-таки было?

— Ах, ну что там могло быть! Какие-то пустяки...

Он немножко посвистел, приосанился, и она поняла, что он еще не решил, как отнестись к навязанным ему заслугам.

— Что же, что пустяки,— мурлыкнула она вкрадчиво и любяще,— нам, бедным, и пустяками нельзя брезговать, если пустяки на руку. Все сложилось не по нашей вине, не по нашему желанию...

Он передернулся, она ответила неслышным, шутливым и таким убедительным своим смешком, и тогда он произнес резко:

— Не могу же я, в самом деле... раз это ниже моего достоинства...

Она чуть пожала ему руку выше локтя, он насупился и промолчал всю дорогу до дома...

Арсений Романович с первых дней настоял на том, чтобы Пастухов пользовался кабинетом и библиотекой, потому что заниматься в комнате, где находилась семья, было затрудни-

тельно, и Пастухов принял этот порядок. Он расположился за письменным столом, приведя его в чистоту, хотя считал, что как раз этим больше всего нарушает привычки хозяина-холостяка. Но он не выносил ни пыли, ни лишних вещей перед глазами. С тоской он вспоминал свой стол — лампу на высокой хрустальной колонке, бледно-фиолетовый абажур, кубический стеклянный массив чернильницы, желобок из папье-маше с золотым китайским драконом, и в желобке — целую поленницу отточенных карандашей. Карандашами занималась Ася: он их ломал, она чинила, и она же ставила рядом с чернильницей какой-нибудь цветок — смотря по сезону: тюльпаны ранней весной или связку нарциссов, зимой — ветку оранжерейной азалии, малиново-алой, как огонь, летом — левкой, или просто ромашки, или два-три длинновязых розовых лупина. Прихотливая череда запахов проходила комнатой Александра Владимировича, и чего только он не отыскивал в оттенках благоуханий, и как только не поражал своими открытиями жену.

— Ася!— звал он содрогающим квартиру криком.— Поди сюда!.. Закрой глаза, нюхай. Правда, в этих окаянно-невинных благовещенских лилиях спрятаны опенки? А?

— Да что ты!— восклицала она, счастливая и неверящая.— И правда! А говорят — лилии без запаха! Как же я не замечала?! Боже мой, совершенные опята! Жареные опята!

— Да не жареные, а свежие, только что снятые с гнилого пенька! Такие розоватые со ржавчинкой, кустиком, на палевых ножках. Убирайся, ты ничего не понимаешь, у тебя в носу вата от насморка!.. И заметь: опёнок — происходит от слова пенек, опёнышек растет на пёнышке. Это открытие сделано мною. Поняла? Ну вот, запомни, что у тебя муж — гений. И уходи, пожалуйста, безносая, ты мне мешаешь работать...

В кабинете Дорогомилова пахло следами мышей, при белом свете резво шуршавших книгами, где-нибудь между стеной и задней полкой. Книги пахли книгами: этот аромат не сравним ни с чем. Особенно книги восемнадцатого века, из тех, которые понемногу перекочевывали из усадеб в город, с обветшалыми дворянами или с поповичами, изменившими сельским церковным слободкам отцов — желтые или пепельно-голубые, с едва улавливаемой на свет водяной сеткой страницы «Нового Плутарха», «Словаря суеверий», «Смеющегося Демокрита». Но и позднейших лет книги, прошедшие базарным «развалом», через руки содержателей ларьков и букинистов, несли в своих разворотах букет неповторимой кислятинки и заболони, напоминая и винный бочонок, и обчищенный прут лозняка — пер-

вородный запах легко принимающей влагу древесины, которую со временем все больше добавляют в бумагу. Старинная тряпичная бумага немного похожа на выветриваемый бельевой комод или донесшийся издали дух белошвейной мастерской. Но все это только приблизительные уподобления, потому что книга пахнет книгой, как вино — вином, уголь — углем,— она завоевала место в ряду с основными стихиями природы, это не сочетание, но самостоятельный элемент.

Пастухов клал рядом с чернильницей карманные часы: он работал много, однако всегда по часам. Но, воззрившись на золотую шелковинку секундной стрелки, он чувствовал, что обычное сосредоточение фантазии вокруг одной темы не приходит, что — наоборот — в кабинете Дорогомилова мысль развеивается, будто невесомая пыльца цветений — то туда, то сюда, куда дохнет прихотливым воздухом весны. Тогда он шел к полкам и, как попугай, вытягивающий билетик «счастья», тащил за корешок какой-нибудь приглянувшийся томик.

Обычно он брался за историю. То, что прежде казалось достоянием университетских приват-доцентов, архивных крыс и мертво покоилось в прошнурованных «делах» и учебниках, теперь приобретало для Пастухова живой смысл и беспокоило, как личная судьба. Громы, ходившие второй год, днем и ночью, за пределами ненадежных убежищ Александра Владимировича, перекликались с отдаленными событиями, описанными на полузабытых страницах. Наверно, прошлое умирало только мнимой смертью вместе с пережившими свой век летописями, но вечно пребывало в крови народа, взметывая языки старого пламени, едва загорался новый огонь — огонь возмездия и неистовой тоски о лучшей доле.

Пастухов читал о народной войне Пугачева, и Емельян Иваныч возникал перед ним, как призрак, явившийся на желтых лысых взгорьях, обнимающих Саратов. Былой хорунжий стоял без шапки, уткнув кулаки в бока, августовский полынный жар шевелил его русую гриву, и он спокойно и грозно глядел вниз, на городских людишек, которые, с занявшимся духом, взбирались к нему вверх, чтобы положить к стопам покорителя городские ключи. Он въезжал на вороном коне, сам как ворон — жгучий и окрыленный,— с казачьей шашкой на бедре, в серебряных, как белое перо, ножнах, с распахнутым воротом пунцовой шелковой рубахи под бешметом, въезжал через открытые Царицынские ворота в город, и народ кидал над головами шапчонки и бежал за его конем, шумя и выкликая изустные челобитные на своих ворогов-утеснителей. В закатный

 час, под звон соборной колокольни, восседая на приподнятом

помосте, крытом отнятыми у богачей закаспийскими коврами, он милостиво принимал присягу горожан, и вольные его сподвижники, руками проворного на расправу войска, развешивали вокруг Гостиной площади изловленных дворян, царевых ставленников, вредных купчишек, и тот же терпкий от полыни степной ветер покачивал на глаголях висельников и, накружившись вокруг них, летел в Заволжье.

С извечным этим ветром уносился Пастухов прочь из пугачевщины, перелетая через желтые горы, через Волгу, через степи на полторы сотни верст и на добрые полторы сотни лет к недавним дням.

Тогда слышался ему топот белого коня и свист его ноздрей, и на коне, прижавшись к гриве, скакал, заломив папаху, светлоусый всадник с прищуренным глазом под стиснутыми бровями, и за всадником, переливаясь, словно ковыль, волнами, накатывались ярые конные полки. Это был балаковский плотник, недавний подпрапорщик из солдат, теперь собравший на просторах Заволжья конную и пешую рать в защиту революции от возмутившихся против нее уральских станиц. Под знаменем большевиков карал он — красный командир Василий Иваныч — карал и казнивал корыстный старый мир щедрой и увесистой народной дланью. Имя его уже неслось впереди него восточным гортанным клекотом — Чапай, Чапаев — по всему Уралу, по всей Волге. Как прирожденный хозяин степей брал он степные города и станицы, нарекал их новыми именами — повелительный крестный отец — и скакал, скакал, загоняя под собою коней, по великой равнине от Узени до Урала, от Иргиза до Белой. Опаленный все тем же неистребимым полынным жаром августа, отвоевывал он у белых захваченный ими родной уездный город Николаевск, и когда вел свой Первый имени Емельяна Пугачева полк в атаку — сбивать с позиций чешскую артиллерию,— наименовал штурмуемый город Пугачевском, отменив рабочей и крестьянской властью царское его Николаево величанье, и конники, скача в атаку, грянули на всю раздольную ширь: «Даешь Пугача! Даешь!»

Случилось это за девять месяцев до того, как сейчас, весной, Пастухов думал об Емельяне и о Василии Иванычах, отыскивая сходства и различия между пугачевской вольницей и чапаевским краснознаменным войском. Теперь Василий Иваныч бился уже далеко от Пугачевска, ломая и руша строй офицерского корпуса Каппеля. Иные города встречали чапаевских всадников, иная музыка Заволжья — будто барабанный бой — Бузулук, Бугуруслан, Бугульма, Белебей.

Но как ни менялась музыка имен, как ни рвались вперед и ни вращались события, Пастухову все слышался неотвратимо зовущий жар полыни, который объял равнинные пространства русского юго-востока, соединив их во времени и в чувстве. Тогда он думал, что судьбы народа из века в век решались в этом полынном зове юго-востока. Здесь пробовалась прочность русского копья, здесь мерилась крепость сабель, здесь посвист казака играючи перекликался со свистом пули. От поля Куликова до Степана Разина, от Пугача до неизловимых вольниц волжского Понизовья, в степном углу, где сблизились, чтоб снова разминуться, два многоводнейших русла — брат и сестра,— звоном оружия вырубалась история народной славы, народного недовольства, народного гнева. И вот опять, в том же сладостно-горьком степном углу, назад тому немногие месяцы, около города — ключа волжского Понизовья, который величали еще по-царски — Царицыном, выиграна была первая из великих военно-стратегических битв за хлеб, за волю, за Советскую власть. И еще раз, уже сейчас, новой весной, все в той же степи юго-востока — где брат тянет руку сестре — с новым зноем нависала душная туча: казачий Дон лязгал сталью шашек. Крестьянская, рабочая Волга выкатывала на курганы пушки...

Пастухов вздрогнул от негромкого стука в дверь: Арсений Романович заглядывал в комнату с видом раскаяния в такой непростительной смелости. Нет, нет, он не хотел мешать, ему нужно только на секундочку, и он сейчас же уйдет — варить свой суп из воблы. Правда, ему хотелось сказать об одной новости, но это можно и отложить.

— Да входите вы, пожалуйста, ведь это же — ваш дом! Мне, ей-богу, неловко! Я ничем не занят. Сижу, перелистываю Соловьева. Что-нибудь насчет выселения?

Нет, насчет выселения не было никаких новостей, жалоба Арсения Романовича еще не рассматривалась, а военные власти ничего о себе не давали знать.

— Пока живем, живем!— бодренько сказал Дорогомилов.— Но есть одна новость.

Он извлек из бокового кармана и распахнул газету.

— О вас,— произнес он уважительно.

— Ах да,— быстро ответил Пастухов,— читал.

— Читали? Я тоже прочитал и очень, очень рад!

— Рады?

— Ведь сами вы не сказали бы, что вы не только слуга Мельпомены, но и слуга народа?!

— Ну, знаете,— как бы отклонил незаслуженную честь Пастухов.

— Я только подумал — по какому же вы делу привлекались? По времени получается — по рагозинскому. Не по рагозинскому?

— Некоторым образом, если угодно,— без охоты сказал Пастухов, отходя к окну.— Бросьте вы об этом!

— Я понимаю, хорошо понимаю!— воскликнул Арсений Романович, сделав шаг вперед и сразу же отступив в застенчивой нерешительности.— Эта заметка, как бы сказать, ранит вашу скромность, да? Извините меня, это так понятно, что ведь нельзя же человеку о самом себе так вот и заявить, что я, мол, страдал за народ и имею, что ли, заслуги перед революцией. И даже, может быть, неприятно, если другой кто-нибудь возьмет и заявит — смотрите, мол, вот он, в своем роде, исторический деятель. Ну, и вообще такого типа. Я бы тоже ни за что не проронил бы о себе ни слова, если бы и сделал что-нибудь в прошлом для успеха движения...

— Ну, если бы сделали, то почему же?— убежденно вставил Пастухов.

— Нет, нет, нет! Что вы!— совсем в испуге взмахнул руками Арсений Романович.— Нет! Я почему взволновался? Я как прочитал, так невольно подумал, что неужели вы тоже... то есть неужели вы участвовали в рагозинском деле? И мне, знаете, пришла идея... или, как бы сказать, я перенесся в ваше положение и решил, что вам, наверно, очень было бы интересно узнать, как это тогда все происходило...

— Что происходило?

— То есть нет, нет! Может быть, вы стояли гораздо ближе... и даже наверно, наверно стояли так близко, что вам все отлично в самых мелочах известно!..

— Что известно?

Дорогомилов, переплетя пальцы, теребил руки, прижимая их к груди, розовые, стариковские румянцы выступили над путаной седой бахромой его бороды, он приподымался на носках, словно стараясь куда-то заглянуть, и Пастухов смотрел на него уже с той жадностью, которая обычно возникала, когда он чего-нибудь вовсе не мог понять.

— Я подумал, что если вы причастны к этому делу, то все-таки мне, как вашему знакомому, следовало бы, может быть, сказать, что́ собственно известно лично мне...

— Арсений Романыч! Ну говорите же, ради создателя!

— Нет, нет! Вы только не заключайте, пожалуйста, и я даже буду вас просить дать мне слово, что вы не поймете

так, будто я хочу как-нибудь фигурировать или создать впечатление, будто я тоже какой-нибудь революционер, стать как бы в один ряд с вами, Александр Владимирович,— нет, нет! Я просто никому об этом...

— Арсений Романыч!

— Ну, так пожалуйста, пожалуйста!

Дорогомилов расцепил пальцы, сложил аккуратно на столе газету, чиркнув ногтями по ее складкам, и, приведя себя в спокойствие, сказал тихо:

— Вам, вероятно, будет интересно узнать, что Петр Петрович Рагозин, когда его разыскивало в тысяча девятьсот десятом году охранное отделение, никуда не уезжал из Саратова и находился...

Арсений Романович вздохнул глубже и слегка поднял дрожавшую руку, показывая на боковую узенькую дверь.

— ...вот здесь.

— У вас?

— Вот в этой самой библиотечной комнатке.

— Значит, вы...— сказал Пастухов, но Дорогомилов не дал ему договорить.

— Я прошу — поймите меня: я не о себе хочу, а только о Петре Петровиче. Он не потому у меня очутился, что я принимал какое-нибудь участие в его деле, как, допустим, вы, а совсем наоборот — потому что я никакого, ну просто-таки никакого отношения ко всему этому не имел. А когда подпольному комитету партии стало известно, что готовятся повальные аресты, тогда один мой старый знакомый, который в комитете работал, пришел ко мне и сказал, что надо укрыть одного хорошего человека и что моя квартира вполне для этого безопасна, потому что все меня считают (тут Арсений Романович улыбнулся детской и в то же время хитроватой улыбкой и затем дохнул с открытой душой)... ну, что говорить, считают вроде как за городского дурачка. Это он мне прямо не выговорил, но я понял и согласился, нечего греха таить, согласился, потому что ведь это, ей-богу, так. И потом ко мне хороший человек явился, и я его вот тут вот...

Дорогомилов подбежал к библиотеке, рассек рукой воздух между полок, отпорхнул назад, к старому дивану с желтым исцарапанным кожаным сиденьем, и, прижав к нему обе ладони, закончил с проникновением:

— Вот на этом диванчике, там, за полками, Петра Петровича я тогда и водворил.

 Арсений Романович принял вид несколько церемониаль-

ный, откинув волосы, одернув сюртук и ожидая, что скажет Пастухов.

Александр Владимирович зашел в библиотечную комнатку, постоял перед полками, медленно вернулся, сел на диван, легко оглаживая прохладную полировку спинки, потом достал портсигар и стал разминать папиросу.

— И долго он у вас там за полками сидел?

— Двадцать семь дней!— не задумываясь, дополнил Дорогомилов.

— Не выходя?

— Не выходя.

— Но как же он...

— Все, все, что ему было нужно, я доставлял...

— Но что же он все-таки целый месяц делал?

— Читал.

— Читал?

— Да. Вот извольте — что это? Соловьев? Читал и Соловьева. И даже на многих книгах оставил заметочки карандашом.

Дорогомилов схватил со стола книгу и поспешно залистал страницы.

— Вот, вот, к примеру...

Пастухов увидел на полях малоразборчивую резкую надпись поперек отчеркнутых строчек и пробежал взглядом отмеченное место. Это была грамота Пугачева, где он, милостью своей императорской личины, жаловал всех своих приверженцев «...рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью...».

— Вы можете разобрать, что тут написано?

— Могу,— сказал Дорогомилов и прочел:— «Так будет».

— Это написал Рагозин?

— Да, это написал Петр Петрович.

Пастухов поднялся, окученный клубами папиросного дыма, долго стоял, вызывая неподвижностью своей молчаливое и почтительное ожидание у Арсения Романовича.

— Что же — преемственность?

— В каком отношении?— не понял Дорогомилов.

— Я до вашего прихода, читая о Пугачеве, думал о происходящем нынче там, за Волгой, на Дону, по всей России. Порох, заложенный тогда, горит сейчас. Правнуки казацкой вольницы скачут по степям.

— И да и нет!— торопясь, сказал Дорогомилов.— Народный суд, который тогда был сплою прерван и который после

того сколько раз зачинался опять и сколько раз опять прерывался, он сейчас продолжается, это так. Но цель-то ведь не только суд и кара, правда? Цель-то ведь — устройство иного общества, ведь верно?

— Но вы видите: Рагозин приложил собственную руку под обещанием Пугачева, а?

— Под мечтой его, под благодетельной мечтой! Не под казацкой вольницей! Под будущим приложил свою руку, которое таилось в пугачевском обете, а не под прошлым.

— А не кажется вам, дорогой Арсений Романович, что народ безудержностью своего суда, разгулом страсти своей, крепче укоренит то прошлое, которое сейчас корчует?

— Никогда, Александр Владимирович, никогда, говорю я, ибо он, корчуя, насаждает!

— Хотел бы я думать так, как вы! Но разве не смоет этот карающий поток слабенькие саженцы, которые мы едва видим в его водовороте?

— Слабенькие? Вы называете их слабенькими? Да самый поток-то извергнут одним таким ростком — великой идеей насаждения государства на совершенно народной основе. Поток-то этот всеразрушающий новым государством и направляется! Этим слабеньким, как вы говорите, саженцем!

— Однако не слышно ли слепой стихии в нашем окраинном свисте и топоте конниц?

— Разве что всякое величие может быть названо стихией! Да и не окраинный это свист и топот! Мне слышно другое. Сейчас сказано бессмертное слово, слово о власти труда, которое свяжет все окраины в целое!

— И неделимое?

— И неделимое!

— Но об этом и на Дону говорят, Арсений Романович...

Пастухов как будто поддразнивал его, любуясь священной серьезностью, с какой он выкладывал свои убеждения. Но игра не мешала Пастухову согреваться пылом неусмиримой веры в седоволосом растрепанном человеке, и он чувствовал, что спор влечет к тому самому главному, о чем думалось с каждым днем больше и больше,— о своем месте в происходящем.

— На Дону!— с возмущением сказал Дорогомилов и даже отворотился прочь, показывая, что такого довода он себе решительно не представляет.— Там говорят о неделимой России прошлого. А тут народ настолько сметает все прошлое, что...

 Дорогомилов неожиданно схватил Пастухова за лацкан

и, подергивая книзу на каждом слове, провещал в каком-то сурово восхищенном рвении:

— ...народ будет вынужден взять на себя все будущее и по необходимости построить свой совершенно иной мир. Как поется в гимне! Да-с! И это будет великий подвиг!

Он тут же застеснялся своего душевного рывка и отскочил сейчас же в сторону, как только досказал о подвиге.

Мысль его поразила Пастухова. В том, как было выговорено слово «необходимость», точно впервые обнажился настоящий смысл непременности и такой предрешенности, что уж будто новому миру ничего не могло оставаться, как только возникнуть. И то, что слово это сказано было старым человеком без какого-нибудь страха или опасения перед будущим, но с юношеским восторгом, наполняло его пророческой силой, которая тотчас, как всякая сила, оказала действие, вызвав в Пастухове желание ей подчиниться. Но он слишком привык начинать с возражений встреченному факту и сразу понял смешную сторону своего желания: хорош бы он в самом деле был, если бы упал в объятия этому чудаку в сюртуке, вдруг признав в нем самого убедительного из пророков, которые до сих пор ни в чем Пастухова не убедили! И, повременив, пока не улеглась потребность слиться чувством с перетревоженным Арсением Романовичем, Пастухов сказал:

— Вы убеждены, что разум переборет страсти прежде, чем они подчинят себе события?

— Он не собирается бороть страсти, это было бы гибелью. Он их направляет.

— Компасом Рагозиных?

— А вы сомневаетесь? Вашим компасом, если вы не выпустили его из рук с тех пор, как держали вместе с Рагозиным.

Дорогомилов вдруг потерял свой взбаламученный облик и глядел на Пастухова похолодевшими, даже жестокими глазами, словно пробуя его выдержку. Уж не осталось следа от уважительности в голосе, уже совсем будто и не было боязни как-нибудь задеть скромность Пастухова, а было только испытание, взыскательный экзамен, и как экзаменатор, решивший добить ускользающего от прямого ответа ученика, Дорогомилов спросил без обиняков:

— Но, может быть, вы отошли, Александр Владимирович, от взглядов Рагозина за истекшее время и находитесь в другой партии?

Несмотря на примелькавшуюся обычность разговора о партиях, вопрос показался Пастухову необыкновенным и на се-

кунду смутил и почти оскорбил именно тем, что задан был с экзаменаторским намерением принудить к прямому ответу. Кроме того, Пастухов становился из наблюдателя наблюдаемым, и это его крайне умаляло в собственном о себе мнении. Но обижаться было малодушием и, он, как всегда в затруднительных случаях, прибегнул к спасительному своему жесту омовения лица. Он утерся ладонью, помигал и с легким сердцем засмеялся.

— Никогда я, милый Арсений Романович, ни к каким партиям не принадлежал, да и не собираюсь принадлежать. Историю, которая со мной приключилась во время рагозинского дела, я когда-нибудь расскажу. А вы расскажите, как же было дальше с Рагозиным, когда он у вас тут сидел?

— Да, да,— вдруг обретая свою беспокойную обязательность, заспешил Дорогомилов.— Замечательно, что я вовсе и не знал тогда, кто у меня укрывается.

— Как так?

— Я же ведь понимал, что спросить об этом значит получить не отказ даже, а просто ничего не сто́ящий ответ, вымышленное имя, и все. И я не думал спрашивать. Я только год спустя узнал, кто был этот хороший человек. И, знаете, хотя прошел уже целый год, я все-таки очень тогда испугался!

Арсений Романович улыбнулся со счастливым удовольствием.

— Испугались через год?— опять засмеялся Пастухов.

— Испугался через год! Очень уж в городе шуму много было вокруг его имени. Да вы помните?

— Ну, а как все кончилось?

— Кончилось просто. На двадцать седьмые сутки, в ночь, я проводил Петра Петровича на берег, в приготовленную заранее однопарную лодку, и он один отплыл по течению, до села Рыбушек, как он мне сказал, где должен был сесть на пароход. Наверно, так все и вышло. Я у него не расспрашивал — с верхним ли он поедет пароходом или с нижним, а лодку мы договорились, что он бросит. С той ночи я его не видел до самой революции: когда он сюда вернулся, я его слушал на митинге.

— Он здесь?— воскликнул Пастухов.

— Да разве вы не знаете?— тоже изумился Дорогомилов.

— И вы с ним не встречаетесь?

— Нет.

 — Позвольте,— вскидывая руки, сказал Александр Вла-

димирович,— позвольте! Что же вы столько себе задали треволнений, хлопоча в каком-то там коммунхозе, чтобы вас не выселяли из собственной квартиры, если вам стоило пойти к Рагозину, и он вас во дворец бы переселил, с почестями и с музыкой!

— Это почему же?— спросил Дорогомилов и нагнул вбок голову.

— Как почему, странный вы человечище? Да ведь вы ему жизнь спасли!

Дорогомилов, весь съеживаясь, как от налетевшего озноба, проговорил с подавленной обидой:

— Я провалился бы от стыда, прежде чем это сделал бы.

В эту минуту в коридоре зазвучали голоса, сильнее и сильнее, сначала женские, потом мужской — на редкость полный, с маслянистым переливчатым оттенком, и Пастухов, испытывая неприятное стеснение перед оскорбленным Арсением Романовичем, обрадовался нежданной выручке, насторожился на шум и вдруг с облегчением узнал этот особенный мужской голос и кинулся к двери:

— Цветухин! Пришел Цветухин!

12

Когда Егор Павлович сбрил усы, обнаружилось, что у него — слегка вздернутый нос и выпяченная нижняя губа, которая как бы припечатывала речь в конце слов. Возможно, он носил усы, чтобы сгладить этот недостаток, и так же возможно — сбрил их, чтобы смягчить следы, положенные на лицо работой времени.

Но за этой неожиданной губой и за этими морщинами Пастухов тотчас увидел прежнего Цветухина — бурсака, фантазера, любимца публики, чуть-чуть гарцующего смуглого красавца, и на секунду растрогался. Обнимаясь, они оба ощутили наплыв того родственно молодого, что связывало их в прошлом.

Егор Павлович сразу, однако, как-то заиграл, взяв шутливый, пожалуй насмешливый, тон, к которому прибегают люди независимые, старающиеся показать, что они за себя постоят, если их чувство равенства будет задето чьим-нибудь превосходством. Это — одна из чувствительных заноз, мешающих непринужденности отношения некоторых даже тонких людей провинции к так называемым столичным птицам: боязнь оказаться ущемленными часто лишает гордецов возможности,

в свою очередь, обнаружить истинное превосходство над такими птицами.

Произойди первое свидание приятелей наедине, оно прошло бы совсем иначе. А тут Цветухина изучали сразу и Анастасия Германовна, встретившая его с обаятельным, хотя почти артистическим расположением, и взволнованный Дорогомилов, о котором Егор Павлович слышал, как о своем присяжном поклоннике. Вдобавок, встреча сопровождалась одним смешным обстоятельством, толкнувшим Пастухова к игривости, так что, против ожиданий, все пошло слегка вкривь.

С Цветухиным явилась девушка, отрекомендованная им запросто: «Моя ученица Аночка». Она оказалась знакомой Дорогомилова, но, несмотря на это, в первый миг очень смутилась, будто попала бог знает куда, и сразу отступила в тень, за этажерку, с таким вежливо умоляющим выражением лица, словно просила о себе забыть. Оттуда она и выглядывала, наблюдая особенно за Пастуховым.

— Что, старый революционер?— чуть ли не со второй фразы после «здравствуй», пожаловал Цветухин.— Воевать приехал?

Он со вкусом потер руки, точно хотел сказать, что, мол, вот я сейчас возьму тебя в работу!

— Это ты, говорят, здесь воюешь,— усмехнулся Пастухов.— Взорвать театр собрался?

— Мы — что! Перелицовываем, что можем, как костюмеры. Из рогожки парчу делаем. А ты залетел в самое поднебесье. Не достанешь. Революцию делал. От царской охранки пострадал!

Цветухин шельмовски сощурил один глаз, но не настолько, чтобы это можно было счесть за подмигиванье.

— Я-то при чем?— сказал Пастухов, и усмешка его сделалась неподвижной.— Это все ваш Мерцалов.

— Да уж там наш или не наш! Мерцалов или не Мерцалов! Только теперь весь город знает про р-революционные заслуги Александра Пастухова.

— Разве это плохо?— спросила Анастасия Германовна в обворожительном испуге.

— Помилуйте! Помилуйте!— вскрикнул Цветухин и потом сразу опустился до шепота, прикрывая рот указательным пальцем:— Оч-чень, оч-чень, хорошо! Замечательно! И, между нами, в высшей степени своевременно!

Он громко засмеялся и опять сощурил глаз.

 — У тебя тик?— полюбопытствовал Пастухов.

Ощупывая свое лицо, Цветухин быстро перешел на крайнюю озабоченность.

— Тик? Почему тик? Ты что-нибудь заметил? Ты меня убиваешь. Аночка! У меня тик, а?

— У тебя глаз дергается,— сказал Пастухов.

— Ах, глаз!— снова засмеялся Цветухин.— Так это он ослеплен видом испытанного в боях революционера!

— Ладно, ладно! Вместе ведь прошли наш доблестный путь благородный...

— Ты уверен?— тихо и серьезно сказал Цветухин.

— Не столько уверен, сколько помню, как ты трясся при мысли о жандармах.

Взгляд Цветухина сделался странно отвлеченным.

— Это хорошо, что ты не совсем уверен,— проговорил он вскользь и, выдержав паузу, спросил еще серьезнее:— Ты не допускаешь, что с моей стороны это могла быть конспирация?

— То есть ты трясся... для конспирации?

— Вот именно. Для конспирации.

— От кого?

— От тебя.

Они посмотрели друг на друга в молчании, Цветухин — затаенно-многозначительным взором, его приятель — часто и мелко моргая легкими веками.

Вдруг Егор Павлович захохотал, навалился на Пастухова, туго обхватил его плотный стан и, хлопая ладонями по спине, как делают, разогреваясь на морозе, стал выкрикивать сквозь хохот:

— Поверил! Поверил! Поверил!

Все развеселились, и Пастухов, высвобождая себя из объятий, подобревшим тоном пропел:

— Ну,-ну, ступай к черту, комедиант несчастный...

— Погоди, мы еще вернемся к твоей биографии. А сейчас — два вопроса. Во-первых: употребляешь?

— У тебя есть?— недоверчиво спросил Пастухов.

Цветухин, откидывая полу пиджака, показал на вздутый брючный карман.

— Не верю,— скороговоркой буркнул Пастухов.

Цветухин медленно вытянул на свет бутылку с коричневатой жидкостью.

— Не верю,— холодно повторил Александр Владимирович.

Цветухин, оглядев все углы комнаты, истово перекрестился на окно.

— Все равно не верю. Что это?

Цветухин зажмурился и чуть-чуть покачал головой.

— Что за зелье, я тебя спрашиваю, комедиант?

— Пер-вач,— сценическим шепотом произнес Цветухин и вскинул брови до предела.

— Не может быть,— сказал Александр Владимирович потрясенным голосом.— Немыслимо. Неправдоподобно. Противоречит естеству человеческого разумения. Убью, если врешь, Егор!

— Аночка, подтверди!— с мольбой попросил Цветухин.

— Есть ли хоть крупица правды в том, что говорит этот безрассудный человек?— строго обратился к ней Александр Владимирович.— Спиртоносит ли хоть самую малость содержимое этого убогого сосуда?

— К сожалению, да,— улыбнулась из своего укрытия Аночка.

Пастухов взял у Егора Павловича бутылку, приподнял к свету, проницательно вгляделся в загадочный туман влаги, внезапно прокричал:

— А-ся! Немедленно на стол студень!

— Боже мой, сколько шуму!— ответила Ася, делая перепуганное лицо и в то же время премило смеясь Аночке, как естественной союзнице.

— Воболка!— неожиданно тонко воскликнул Дорогомилов.— Есть провяленная весенняя астраханская воболка!

Он с прихода гостей не проронил ни звука, сначала не понимая, что происходит — ссорятся ли друзья или шутят, а потом чувствуя, как завораживают и тянут за собою переливы и прыжки цветухинской игры. Раньше Егор Павлович доставлял ему глубоко интимные переживания. Актер был зрелищем, резко отделенным непереходимой чертой: он действовал, а Дорогомилов смотрел. Теперь никакой черты не было, зрелище вошло в самый дом Дорогомилова и звало не к созерцанию, а к действию наравне с актером. Это было невероятно: Арсений Романович будто попал на сцену и участвовал в одном спектакле с Цветухиным!

Но, воскликнув насчет воболки, Арсений Романович тут же застеснялся, потому что все стали глядеть на него с ожиданием — что же он теперь сделает, и ему непременно надо было что-нибудь сделать. Пастухов рассматривал его зашевелившиеся космы с таким изумлением, будто эти сивые пряди волос вдруг ожили на манекене в пыльном окне парикмахерской. Дорогомилов замер. Тогда Александр Владимирович подвинулся к нему, тронул мягко под локоток и произнес, слегка загнусавив, мучительно и сладострастно:

— Арсений Романович, милый! Поколотите! Поколотите! Поколотите ее об угол плиты. Покрепче. Пока не проступят соки. Потом облупите и надерите, родной мой, со спинки, с балычка, этаких тоненьких ремешков. От хвостика к головке.

Цветухин туго зажмурил глаза.

— Ремешками такими, ремешками! — изнывая, договорил Пастухов и тоже зажмурился.

— Чую! Чую настоящего земляка! И отлично понимаю! — опять воскликнул Дорогомилов, и все сразу задвигались в неодолимой потребности скорее все устроить.

Но Егор Павлович дирижерским мановением остановил беспокойство, плавно приблизился к Аночке, взял ее за руку, которой она не хотела давать, и потянул на середину комнаты.

— Прежде чем выпить за повстречанье,— сказал он торжественно,— нам предстоит решить еще один, не терпящий отлагательства, технический вопрос. Фатальный случай сковал это молодое существо...

— Егор Павлович, ну, право же, не надо! — противилась Аночка. Пунцовая краска занялась у нее на всем лице, и она как-то неловко пятилась, продолжая вырывать свою руку.— Я чувствую себя совсем хорошо!

— А вы не стесняйтесь,— приободрила ее Анастасия Германовна и с женской догадливостью спросила: — У вас каблук оторвался. Правда?

— Бедняжка просто стоит на гвозде! — возбужденно подхватил Егор Павлович.— Каюсь, вина моя. Мы шли через трамвайную линию, Аночка угодила каблуком в рельс,— кнак! — и понимаете? Я бросился на выручку, нашел какой-то там булыжник, стал приколачивать и знаете — вот эдакий гвоздище, из-под стельки,— ужас! И ничего я не мог поделать! Как мы дошли? — понять невозможно...

— Как вы дошли! — лукаво переговорил Пастухов.

— Как дошли! — не сообразил сразу Егор Павлович, но приостановился: — А что?

— Ничего. Ты ведь про бедняжку Аночку? Или, может, у тебя тоже гвоздь в башмаке?

— Ну, конечно, про Аночку. Но ведь... сердце-то не железное?

— Не железное,— быстро согласился Пастухов.

— А вы разуйтесь,— сказала Анастасия Германовна так ласково и проникновенно, будто давала совет по крайне секретному делу.

Егор Павлович пододвинул Аночке стул. Она села. Он с ловкостью стал на одно колено, чтобы помочь ей снять туфлю. Но она тотчас вскочила, отбежала, прихрамывая, назад к этажерке, стряхнула прочь туфлю и по-журавлиному подобрала разутую ногу. Смущения ее как не бывало,— она баловливо посматривала на всех, следя за преувеличенным переполохом, поднятым Егором Павловичем.

Дорогомилов готовно отыскивал в своем фантастическом хозяйстве нужные орудия, со звоном, дзинькаиьем, стуком перерывал ящики письменного стола, вздымая пыль столетий, чихал, фыркал, ворчал на своих мальчишек, которые были вечным испытанием его любви к порядку. Нашлось кое-что очень полезное: маленькие слесарные тиски, никелированная наковальня, щипцы для сахара. Но, как на грех, запропастился молоток.

Хитро, насмешливо водил взглядом Александр Владимирович за суетившимся Цветухиным. Егор Павлович, перебегая с места на место, то прижимал к себе Аночкину туфлю, то заглядывал в нее и трогал гвоздь пальцем с видом полного отчаяния. Разгадка как будто уже была нащупана Пастуховым, и он забавлялся потешной сценой. Когда молоток отыскали и Цветухин с азартом выхватил его из рук Арсения Романовича, Пастухов сказал:

— Простите, милая мадемуазель. Кого из трех рыцарей вы хотели бы иметь своим башмачником?

Стоя по-прежнему на одной ноге так, что согнутая коленка другой, в телесном по моде чулке, торчала из-под короткой юбки, Аночка внимательно глядела на Александра Владимировича.

— Меня зовут Аней или Аночкой. Я буду очень благодарна, если каблук будет прибит прочно.

Пастухову показалось, что перед ним — совсем не та девушка, которая, войдя, пряталась дичком за этажеркой, и особенно удивил голос, вдруг прозвучавший строгой женской нотой.

— Не беспокойся, Аночка, я теперь сделаю, сделаю! — говорил Егор Павлович, нагнувшись над подоконником и мастеря какое-то приспособление.— Ты, Александр, забыл, конечно. А мы с Аночкой сейчас вспоминали, что ведь ты называл ее когда-то сиреной. Она была большеглазой девчоночкой, с косицами на затылке. Помнишь?

— Да, мне кажется...— лениво отозвался Пастухов и опять стал наблюдать Цветухина, упоенно воевавшего с гвоздем.

Пока продолжалось сапожничанье, Анастасия Германовна хлопотала вокруг стола, и слышно было, как Арсений Романович на совесть выполнял кулинарный рецепт Пастухова: глухое колоченье воблой о чугунную плиту неслось из летней кухни, бойко отзываясь на неровный цветухинский стук молотка.

Наконец вся работа кончилась, и стали рассаживаться довольно неудобно, потому что мешали ящики письменного стола,— мужчины в один ряд, Аночка с Анастасией Германовной напротив.

Были налиты три рюмки (женщины со смехом, но решительно отказались пить), и когда Егор Павлович потянулся за своей рюмкой и открыл рот, чтобы произнести первое застольное слово, Пастухов остановил его.

— Погоди. Я не знаю, что ты такое принес. Может, это тараканья отрава. Недаром от нее шарахается дамский пол. Но я хочу объявить, чем дорогих гостей буду потчевать я. Блюдо, которое смолою горит перед вами, называется вельможьим стюднем.

— У нас говорят — студень,— вставил Цветухин.

— У вас говорят, как хотят. А я говорю, как это кушанье называют в трактирах, откуда распространилась его слава. Настоящий стюдень — это не свиной, не телячий и не еще какой. Настоящий стюдень только говяжий. Варится он из одних ног. От морды допускается класть только губы. Навар должен быть такой, чтобы и в незастылом виде воткнутая ложка не падала, а только клонилась. Вывариваться он должен не бурно, а с томлением, почему требуется русская печь, а плита совершенно противопоказана.

— Пощади! — простонал Егор Павлович, ерзая от нетерпенья.

— Когда дрожалка застынет, она должна быть упругой, как резина, прозрачной, как сказочный ала́тырь, что значит — янтарь, и отстой жирка поверху обязан чуточку отдавать паленым копытом. Вот такую штуку вкушали на древней Руси бояре, отчего и пошло имя — вельможий стюдень. Я сам выбирал на базаре воловьи ноги. Мадам у нас есть, Ольга Адамовна, чертыхаясь, палила их при моем личном участии. Ася ходила к шабрам, где, по протекции уважаемого Арсения Романовича, топила печку и двигала ухватом чугунок. У других шабров формы с отваром студились на погребе. В конце концов получилось то чудо, которое у вас разложено по тарелкам. Предлагаю первый тост за Асю.

Он поднес рюмку ко рту, но отшатнулся.

— Что такое?

Он осмотрел всех вокруг с предсмертным ужасом.

— Ага! — мстительно сказал Цветухин.— Ну теперь погоди ты! Я перед твоим стюднем в грязь не ударю. Это изделие народнейшее! (Он щелкнул ногтем по бутылке.) Есть, правда, возвышеннее его. Но то — авиаторское. Бензина сейчас мало, и «ньюпоры» наши летают на чистом спирте, так что с авиаторами можно подняться на недосягаемую высоту. А в штатском обществе выше этого не взлетишь. Это — лесная легенда. Она рождается на дне оврагов, в глубине рощ. Во чреве глиняного очажка, величиной в ту же русскую печь. Каждый очаг — вроде жертвенника тайному божеству. Закрутится дымок, взовьется через кружево деревьев к небу, глядишь — и начнет, как в первую мартовскую ростепель, капля за каплей, падать из змеевика в ведерко теплая влага, наговаривая с тихим звоном лесную легенду. Первая бутылочка этой легенды и прозвана — первач. Если вино гонят не из хлеба, а из арбузов, то это — нардяк. Если...

— Очень поэтично,— сказал Пастухов.— Но ты смерть как скучно рассказываешь.

Егор Павлович беспокойно покосился на Аночку. Она была грустна и слушала состязание чревоугодников без любопытства.

— Погоди,— сказал Цветухин, приобадриваясь.

— Не старайся,— возразил Пастухов.— Никакой мейстерзингер не уговорит меня, что этот желтый яд, настоянный на животе гадюки, можно проглотить. Я уверен, он запрещен докторами.

— Доктора — чудаки! — всплеснул руками Егор Павлович.— Их бы на площадях лаврами венчали, вокруг них детей, как вокруг елки, водили бы, им бы пенсию выплачивали, не успели они университетские штаны сносить... если бы они признали доказанную со времен праведного Ноя истину, что винный спирт благодетелен для человека! И поверь моему предчувствию: они к этому придут! Пропишут человечеству разумное употребление чарочки. И обогатятся! И возвеличатся! И закроют свою медицину навеки, за ненадобностью!

— Аминь,— сказал Пастухов.

Он привалился к плечу Егора Павловича, мигнул Асе, поднял рюмку, озорно добавил:

— За золотой башмачок!

С бесовской искоркой в глазу он глянул на Аночку, зажал пальцами нос, выпил самогон, сморщился, прокряхтел:

— Чудесный ты проповедник, Егор.

— Тебя, кажется, не надо красноречиво уговаривать,— нежно сказала Анастасия Германовна.

— Ты меня глубоко распознала, Асенька,—ответил он и налил еще.

Темп нечаянной пирушки настолько же буйно возрастал, насколько задержался на подступах к первому глотку.

— Послушай, Егор,— сказал Александр Владимирович, когда бутылка опорожнилась наполовину,— где ты добываешь этот восхитительный шерибренди?

— Его не так просто раздобыть. Но есть два закадычных друга — они всегда выручат в нужде. Помнишь ли еще Мефодия Силыча — поклонника муз, моего однокашника? Нет? Эх вы, петербуржцы! Коротка у вас память.

— Оставь, пожалуйста. Во-первых, я все досконально помню. Во-вторых, что ты возносишь себя перед петербуржцами? Подумаешь— глубь земли!

— Добавь: глубь русской земли. А ты — петербургский русский, о которых как будто Достоевский сказал, что они даже не завтракают, а фрыштикуют...

— Чем это я фрыштикую? — обиделся Александр Владимирович.— Паленым копытом стюдня? С твоим крюшоном из жжепой пробки, которую размочили в мазуте? Тебе бы этакий фрыштик!

— Спасибо. Я с удовольствием. Да и ты сердишься не на фрыштик, а на то, что забыл Мефодия. Наверно, и Апочкиного отца не припомнишь? Тихона Платоныча Парабукина, а? Уж этого человека забыть стыдно! Из-за него ты ведь и пострадал за революцию, а?

Пастухов поднялся, двинув стулом, грузновато дошел до окна, вернулся.

— Знаешь, Егор Павлович, мне твой тон не нравится. Что ты хочешь сказать? Что я сам подстроил эту глупую газетную заметку?

— Ты с ума сошел! — даже подпрыгнул Цветухин.

— Нет, стой. Я хочу говорить серьезно. Сейчас многие бегут, торопятся заявить, что они тоже чем-нибудь, когда-нибудь услужили революции. Может, это мелко, но понятно. Как ты выразился — своевременно. Но что прикажешь делать мне? Бежать заявлять, что я перед революцией никаких заслуг не имею? Да ведь это же просто идиотство! Ты представь себе: какой-то там Мерцалов приписал мне участие в пропаганде против царизма. Я являюсь в редакцию газеты и говорю... Что, что я говорю? Что меня оклеветали? Что за-

метка не соответствует действительности? Мне ответят — редакция сожалеет, что введена в заблуждение своим почтенным сотрудником. Но что, однако, ей предпринять? Поместить опровержение? В каком смысле? В том, что Александр Пастухов никогда не выступал против царизма? Но что это будет означать? Что этот самый Пастухов был против революции? Благодарю покорно! Это уж едва ли своевременно! И почему я должен считать Мерцалова клеветником? Он же хотел мне добра! Открыл, можно сказать, дорогу! Состряпал за меня то, ради чего сейчас тысячи людей и людишек унижаются до сделок с совестью, чтобы только оградить себя от немилосердного хода событий. Хотел облегчить мне карьеру в новых обстоятельствах. За что же его казнить? Наконец, этот великодушный добряк мог чистосердечно заблуждаться. Ведь перед царским прокурором он когда-то за меня хлопотал? Охранка мной интересовалась? Подписку о невыезде с меня брала? Значит, это все правда? Значит, Мерцалов если в чем и виноват, то в некотором преувеличении. Но за преувеличение не судят. А за такое преувеличение, какое он допустил, нынче даже и взятку дадут, если представится случай. Стало быть, мне нужно не с опровержением в газету бежать, а писать Мерцалову благодарственное письмо — с совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга, тьфу!

Александр Владимирович действительно плюнул, опять отошел к окну, отколупнул кусочек окаменелой замазки и бросил об пол.

— Значит, ничего этого не было, Саша,— никакого подполья, никаких листовок?— спросила Анастасия Германовна, как будто с разочарованием.

— Да это же чистый анекдот! — брезгливо махнул он рукой.

— Тогда и отнесись ко всему как к анекдоту,— сказала она, светло и невинно оглядывая все общество.

— Да, но ведь только вы вот тут вчетвером знаете, что это анекдот! — крикнул Пастухов, круто отворачиваясь от окна.— Ведь в газете не напечатано, что это анекдот! Ведь кто прочитает, сочтет все за правду!

— А пусть сочтет за правду,— еще невиннее, на самой тихой нотке утешила Анастасия Германовна,— разве это тебе повредит?

— Ты не понимаешь. Если потом станет известно, что это вымысел, то все решат, что я забежал, что я заискиваю, подстраиваю, что просто вру! Посмотри, как на меня глядят мои

же друзья. Ну, взгляни ты на Арсения Романовича! На Егора, который ведь тоже меня заподозрил черт знает в чем!

— Ни в чем не заподозрил. Ты, видно, и меня забыл, если допускаешь, что я о тебе плохо думаю,— вдруг горько сказал Цветухин.

От этой неожиданной перемены тона словно дохнуло отрезвлением. Пастухов сел за стол, воткнул в рот кончик вобловой ленточки и начал медленно вбирать ее губами, как сытый конь — клочок сена. Помолчав, он как-то неловко засмеялся.

— Что вы притихли, Арсений Романыч?

Дорогомилов встрепенулся, нервно огладил бороду, будто готовясь к основательной речи, но ответил кратко и останавливаясь не там, где надо.

— Действительно, как-то сложилось... в смысле затруднительности... не совсем...

Он покашлял и, видимо, решил опять смолкнуть.

— Затруднительно меня понять? — спросил Пастухов.

— Нет, с этой газетной историей... В том смысле, что вам не совсем удобно, что публика будет заблуждаться... насчет особых заслуг. Которые, конечно, были... заслуги... однако...

Он конфузился, обходя мешавшую ему неприятную мысль. Анастасия Германовна поспешила на подмогу со своей примиряющей затруднения улыбкой:

— А зачем непременно нужно, чтобы у каждого были какие-то особые заслуги? Мы ведь не требуем от путейца, чтобы он имел дополнительные заслуги сверх путейских? Он может не иметь и путейских. Довольно, что он просто путеец.

— Я понял — Александра Владимировича беспокоит, что заслуги приписаны не по адресу,— почти сурово отозвался Дорогомилов и, очень заметно бледнея, прямо поглядел в лицо Пастухова.— Я даже понял так, что вам неприятна не столько фальшь газетной заметки, а то, что вы прослывете сторонником революции. Что ваше имя связывают с революцией.

Александр Владимирович длительно помигал, как бы налаживая встречный взгляд на Дорогомилова, но отвел глаза и вопрошающе остановил их на жене. Потом произнес тихо:

— Видишь, Ася, я прав: мне угрожает общее презрение.

Аночка, все время сидевшая неподвижно, согнулась и, облокачиваясь на колено, заслонила лицо рукой.

— На такого субъекта, как я, даже неприятно смотреть,— чуть двигая губами, продолжал Пастухов.— Вон юная совесть меня уже не переносит.

— Нет, нет! — перебила Аночка, быстро распрямляясь.— Вы не обращайте внимания. Я просто своим мыслям...

— У Аночки дома...— начал было Цветухин, но она, с оттенком строгости, не дала ему договорить:

— Мне, впрочем, жалко, что Егор Павлович затеял странный разговор. Как будто он в чем-то особенно прав. А ведь Александр Владимирович, по-моему, вовсе не должен отвечать за недоразумение. Если это недоразумение. Это недоразумение, Александр Владимирович? — спросила она както вызывающе серьезно.

Он секунду смотрел на нее молча, будто не веря, что эта девочка могла задать столь дерзкий вопрос.

— Да,— ответил он вразумительно жестко.

Но, тут же повеселев, он толкнул локтем Егора Павловича и сказал отчетливым шепотом, чтобы все слышали:

— Ага! Золотой башмачок притопнул!

— Вы меня не поймите, что я осуждаю,— опять на свой лад законфузился Арсений Романович.

— Я-то уж никак не хотел тебя обидеть, Александр,— сказал Цветухин.

— Слава богу! Вы всех растопили, Аночка,— с облегчением вздохнула Анастасия Германовна.— Вернитесь-ка, дорогие друзья, к воспетому вами первобытному пойлу.

И она взяла бутылку своим немного кокетливым и обаятельным жестом мягкой руки.

— Что ж,— сказал Пастухов, закусывая воблой,— обижаться было бы смешно. Этакое квипрокво могло ведь случиться и с тобой, Егор. Без меня меня женили. И тоже пришлось бы доказывать, что ты не революционер.

— И не подумал бы! — радостно воскликнул Цветухин.

— А что? Ты — большевик? — словно мимоходом спросил Пастухов.

— Нет. Но согласен большевичить.

— В своем театре?

— Театра у меня пока нет. Но будет. Я очень хочу говорить с тобой насчет своих планов. Именно с тобой. И чтобы ты обязательно принял участие.

— Это в чем же?

— У меня есть кружок. Ну, назови его студией. Два-три актера, но больше всего молодежь. Кое-кто играл в школьных спектаклях, а большинство еще не видело рампы. Если б ты знал, что за прелесть! Какая жажда работать, а главное — какая вера! Мы много толкуем между собой о том, каким теперь будет театр. Революционный театр, и прежде

всего, конечно, наш театр. Если бы ты, Александр, послушал!

— Слушаю,— мельком заметил Пастухов.

— Я — что! Ты должен послушать мою молодежь!

— Дети останутся детьми. Но ты-то не ребенок? Мне интересно, что, собственно, хочешь ты?

— Понимаешь, в широком смысле это пока еще искания, даже мечта. Но мы хотим сделать первый шаг к мечте. Мы думаем, это будет театр, который прежде всего может играть во всякой обстановке. Чтобы его можно было передвигать на руках, если нет лошади. Чтобы актеры чувствовали себя, как на сцене, в любой точке земли.

— Земли и неба,— добавил Пастухов.

— Да, это будет небом. Небом актера и зрителя. Да, и зрителя. Он будет встречать нас там, где никогда не думал встретить. У себя за работой. У себя дома. В деревне. На полях. На ярмарке. На городской площади. На войне, если идет война. За отдыхом, если воцарился мир. Словом... Словом,— произнес Егор Павлович и замолк. Растопыренными пальцами он прочесал свою темную шевелюру и так оставил на затылке согнутую в ладони вескую руку. Волосы его уже густо переплела седина, и Пастухов приметил, что голова стала лиловатой.

С того момента, как Егор Павлович заговорил о театре, в тоне его без следа пропала колючая шершавость, явно стеснявшая его самого. Посадка его стала свободной, он весь облегчился и вырос. Аночка следила за ним увлеченно, но требовательным и своевольным взглядом, который будто говорил: смелее, ну, еще смелее! Дорогомилов смотрел, как глядят из рядов на сцену, когда впереди сидит чересчур высокий человек: он вытянулся вбок и запрокинул голову, так что борода вздернулась каким-то оборонительным заслоном. Анастасия Германовна приоткрыла красочный свой рот. Все были заняты Цветухиным. Его голос, его речь словно отодвинули Пастухова в сторонку. Пауза длилась что-то очень долго.

— Словом,— повторил Егор Павлович завороженно и певуче,— наше искусство проникнет в самую жизнь зрителя, а зритель сольется с нашим искусством. Он будет вмешиваться в него и в конце концов его создавать.

Пастухов неслышно засмеялся.

— Побереги себя на будущее. За вход в твой театр пока никто не заплатит. Лучше скажи, что вы собираетесь играть?

— Мы начали с Шиллера. Ты увидишь, что это такое!

— «Коварство», разумеется?

— Да.

Пастухов быстро глянул на Аночку.

— И вы, конечно, Луиза?

Она вспыхнула и спросила по-детски изумленно:

— Как вы угадали?!

— Да, да,— с улыбкой покачал он головой,— это было очень, очень трудно.

Прихватив зубами кончик большого пальца, он покосился на Цветухина.

— Но еще труднее угадать, кто будет Фердинандом.

— Да,— вызывающе сказал Егор Павлович,— Фердинанда сыграю я.

— Тебе пятый десяток пошел, верно? Пора, брат, стариков играть.

— Что вы! Он такой необыкновенный Фердинанд! — почти негодующе воскликнула Аночка и еще больше покраснела.

Но Александр Владимирович точно не заметил ее пыла и спросил разочарованно:

— Ты, само собой, будешь устранять сцену?

— Да, если это будет диктоваться обстановкой. Но это — не главная задача. Пока у нас будут и занавес и декорации.

— Знаешь, друг мой. Я могу писать на бересте, могу на камне или мелом в печном челе, но все это не будет книгой. Какую бы революцию театр ни совершал, он не уйдет от сцены

— А Греция? А мираклп?

Но Пастухов обошел и это восклицание. Он говорил все задумчивее, и нельзя было разобрать, готовится ли он сосредоточенно, чтобы высказать нечто важное для себя, или ему становится скучно. Он вдруг небрежно пробормотал:

— Идейка не свежа. Либеральные петербургские прожекты передвижных театров.

— Я хочу сделать театр передвижным не по названию.

— Хочешь сделать его бродячим?

— Если это нужно, чтобы он был народным. Как при Шекспире.

— Шекспир не играл Шиллера. Смутно, смутно, друг мой...

— Вначале всякая новая мысль кажется смутной. Но примись за работу, и произойдет кристаллизация идеи. Однажды ты вскакиваешь с постели с совершенно ясной готовой формой в голове.

— Ах, кристаллизация! Ну, тогда, конечно... Изобретатель! Раньше ты был, однако, трезвее.

— Связаннее, а не трезвее. Я теперь нашел крылья, которые искал всю жизнь.

— Я помню твои летающие бумажки. Что ж, авиатор. Если проломишь себе голову, ты в ответе только перед собой. Но пока неизвестна грузоподъемность твоей козявки, зачем ты сажаешь с собой в полет вот эти невинные души?

Пастухов кивнул головой на Аночку. Напряженная, но поборовшая свое волнение, она слушала, опустив тяжелые веки, и то притрагивалась к положенной ей, как младшей, Алешиной костяной вилочке, то ровно вытягивала пальцы на скатерти.

— Нет ничего ответственнее, чем совращение в искусство,— сказал Пастухов недовольно.— Ты увлекаешь за собой юношей и девушек. Но ведь ты знаешь, что это за дорога? Ты рисуешь ее яркой и заманчивой. Но разве тебе известно, каким будет искусство? Во что оно превратится под давлением всех твоих и всяческих фантасмагорий? Может быть, оно будет великой печалью для каждого, кого тебе удастся соблазнить? Я распространил бы закон о совращении малолетних на всех, кто совращает молодежь в искусство, кто...

— Так нельзя строить будущее! — оборвал его Егор Павлович.— С такими мыслями нельзя стремиться к лучшему, понимаешь ты или нет?

— Никоим образом нельзя! — вдруг подтвердил Арсений Романович и с силой наклонился вперед, точно собираясь подняться, но тут же снова занял прежнее место и притих.

Тогда Аночка взглянула на Пастухова.

— Почему вы говорите о каком-то совращении? Я не знаю, чем будет со временем искусство. Но сейчас — это часть жизни. Я живу. Я свободно выбираю дело, которому хочу себя отдать. Если у меня найдутся силы, я буду на месте. Ошибиться можно всюду. В прошлом году моя подруга поступила на зубоврачебные курсы. Ее повели в анатомический театр смотреть, как у трупов вырывают зубы. Она упала в обморок и больше на курсы не пошла, а стала учиться пению. Если у меня будут обмороки на сцене, я уйду и попробую работать в анатомическом театре. Я хочу жить так, как хочу. Уверяю вас, меня никто не совращает.

— Очень хорошо,— неожиданно ласково сказал Александр Владимирович.— К сожалению, так гладко получается только в формальной логике. Вы проходили? Искусство — часть жиз-

ни, я живу, я свободна, стало быть... и прочее. Но нигде с такой легкостью, как в искусстве, люди не делаются глубоко несчастными. Для этого надо немного: вы честолюбивы, честолюбие не удовлетворено — вот вы и несчастны. Совсем излишне падать в обмороки.

— А мое честолюбие будет удовлетворено,— убежденно и просто сказала Аночка и совсем по-ребячьи сначала вздернула голову, а потом, будто опомнившись, понурилась и скромненько пригладила свой вихор. Ее веселому движению все засмеялись, и она сама улыбнулась, уже смущенно.

— Конечно, будет удовлетворено,— в восторге поддакнул Егор Павлович.— И ты, Александр, пожалуйста, не запугивай Аночку.

— Я вижу, она не из пугливых. Но я слишком хорошо знаю театр, чтобы замалчивать правду. Возьми зависть, этот иссушающий, как чахотка, медленный огонь...

Он не досказал и подвинулся вплотную к Цветухину.

— Знаешь, чем отличается плохой актер от хорошего?

— Чем?

— Плохой завидует успеху, хороший — таланту.

— Как верно! — выкрикнул Цветухин.— Ведь это метод! Метод, по которому можно без ошибки распознавать и отбирать дарования! Правда, Аночка? Как ты умеешь сказать, чудный, чудесный ты человек.

Егор Павлович прижал к себе голову Пастухова и с неудержимым напором громко облобызал его губы.

— Я уверен, мы сговоримся! Мы с тобой ищем, поэтому преувеличиваем. Где-то между преувеличений таится истина. Я тоже, наверно, преувеличиваю. Вот тебе моя рука — ты будешь с нами!

— В какой же роли? Панталоне в красных штанах?

— Не шути, не шути! Ты должен быть нашим первым драматургом.

— И какую из моих пьес ты поставишь?

— Ты напишешь для нас новую пьесу.

— Ах, вон что!

Александр Владимирович опять встал и прогулялся. Раскуривая гаснувшую папиросу и снисходительно посмеиваясь, он начал расставлять будто заранее отобранные слова:

— Незадолго до нашего отъезда в Петербурге добивался меня увидеть неизвестный мне человек. В конце концов он прорвал кордоны — Ася уступила его настойчивости. И вот вваливается этакий великанище с кучерявистой и желтой, как мимоза, бородищей. Садится на диван и битых полчаса

наводняет мой кабинет задачами исторического момента. Я чувствую, он меня завалит выше головы своей риторикой, и в отчаянии пищу́ ему, что для момента он тратит чересчур много времени. Он не понимает и гремит дальше. Я взмолился: согласен, согласен, но что я должен делать? Он пришел в себя и вдруг требует, чтобы я немедленно написал пьесу о борьбе за чистоту дворов и особенно выгребных ям. Оказалось, он фармацевт и участвует в кампании Санпросвета по борьбе с угрозой эпидемий.

Александр Владимирович спокойно подождал, когда засмеются. Но никто не засмеялся.

Анастасия Германовна с каким-то вдумчивым восхищением сказала:

— Бородища, как мимоза,— очень хорошо!

— Но ты торопишься сравнить меня с этой мимозой,— возразил Егор Павлович.— Тебе ведь неизвестно, о чем я хочу просить написать.

— А ты меня спросил, о чем я хочу писать? — внезапно озлился Пастухов.— И возможно ли сейчас писать? Я как приехал сюда — строчки не могу выжать! Ты мне давеча Достоевского цитировал. Позволь процитировать Ломоносова: «Музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно». Это он своему меценату написал.

— И ты можешь допустить, что я тебе советую насиловать твою музу?! — с обидой воскликнул Цветухин.

— Когда мы к вам шли,— быстро сказала Аночка,— Егор Павлович говорил, какие вы друзья. Отчего вы все время пререкаетесь?

Она опять глядела на Пастухова взыскательным и тяжеловатым взором.

— Позлятся, позлятся, да и поцелуются,— улыбнулась Анастасия Германовна и взяла в свою нежную горсть Аночкины пальцы.— Вы еще, милая, не привыкли. У нас, когда говорят об искусстве, всегда бранятся.

Пастухов молчал. Последние годы его вообще утомляли рассуждения об искусстве. Ему казалось, он уже понял сущность искусства лучше, чем кто-либо другой. Споры о театре, разожженные революцией, напоминали ему сердитые дебаты дачных любителей об игре под открытым небом. Школы и течения искусства давно не возбуждали в нем ничего, кроме скуки. Он был убежден, что все хорошее в искусстве создается вопреки течениям и что для декларированных течений важнее, что ты назовешь себя их сторонником, чем будешь им: они, как партии, собирали голоса. Он не хотел при-

твориться и, в сущности, презирал всех. Это и было его направлением. Если его втягивали в споры он кончал обычно заявлением, что любит живое чувство, любит мысль, любит человека во плоти и потому считает себя одним из немногих настоящих реалистов. Так как его пьесы игрались, он был уверен, что не ошибается. В душе он раз и навсегда решил, что наступила пора безрассудства, потому что делается попытка ввести рассудок в область, которая, как танец, рассудку подчинена меньше всего. Он думал о себе, что никогда не сможет перемениться ни во вкусах, ни во взглядах, и это доставляло ему гордую, хотя немного грустную отраду.

То, что говорилось Цветухиным, он мог бы услышать в каком-нибудь петербургском кружке. Там тоже требовали, чтобы было создано нечто такое, чего никто не знал. Но Пастухова раздражала невинная вера в новизну чаяний. Он назвал это целомудрие провинциальным. К тому же он хорошо видел, что происходит с Цветухиным: когда влюбишься, даже и луна кажется в новинку.

Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле, и ждал, куда повернется разговор. Ему самому повернуть его было лень.

Арсений Романович проговорил в раздумье:

— Этот человек... с такой бородой (он застеснялся назвать — с какой и даже прикрыл ладонью свою бороду, правда никак не похожую на мимозу), может, он был не совсем деликатен, но насчет задач исторического момента нельзя, конечно, не задуматься...

— Я именно хотел сказать, Александр, что если ты... если бы твоя будущая пьеса была проникнута духом истории, как он выражается в наши сказочные дни...

— Дух истории! Сказочные дни! — перебил Пастухов.— Ты полюбил громкие слова, Егор. Это же, наконец, просто не в русской традиции. Нас всегда отличала скромность. Откуда эта болезнь?.. История! Когда-то где-то я прочитал о парижских событиях, кажется, начала пятнадцатого века. Там была фраза: «кабошьены соединились с бургиньонами, но были побеждены арманьяками...» Эта фраза не выходит у меня из головы. Стоит ли всерьез брать события, если спустя два-три столетия кем-то и где-то о нас будет сказано, что кабошьены соединились и так далее?

— Только что, вон на том диване, вы говорили об истории по-другому! — сказал Арсений Романович.— Разве за

 этими бог знает когда умершими словами вам не слышатся

страдания и торжество живых людей? За Соловьевым-то вы сидели не ради смеха?

Вдруг снова вмешалась Аночка, но уже не с наивной и осуждающей строгостью, а в каком-то ликовании нечаянно сделанного открытия.

— А правда, Александр Владимирович, вы все это говорите не потому, что так думаете, а почему-то еще?

— То есть что — все это? — переспросил он, сердито помигав на нее.

— Вы, пожалуйста, не сердитесь. Но вы смеялись над вашим фармацевтом. А вам ведь приятно, что он так верит в ваше искусство, такое придает значение вашему слову, что вот вы только напишете, и сразу будут дворы чистить и, может, во дворах совсем по-особенному жить начнут. И ведь правда, сколько бы ваше слово жизней сохранило бы... ну, сколько бы людей больше не заражалось и не умирало. Если бы вы взяли и написали. Правда ведь? Вы сами знаете, что правда.

У нее залучились глаза, словно от умиления, что она все так просто и легко разобрала.

— Бедный Саша, тебя исклевали,— засмеялась Анастасия Германовна.

Он передернул плечами.

— Не считаете же вы серьезно, милая барышня, что с помощью стихов можно поднимать колокола на колокольню? Мы говорим об одном и том же, но думаем разное.

— Я и прошу вас сказать, что вы думаете об идее Егора Павловича.

— Прежде всего я думаю, не надо из меня делать подсудимого. Я возражаю не против слов, и даже не против мыслей. Но события слишком распалили вашу фантазию. И я против состояния, в котором вы находитесь.

— Потому что оно тебе чуждо, да? — сказал Цветухин.— Я считал тебя моложе.

— При чем здесь молодость?

— Революция — это молодость.

— Умри. Я выбью это слово на твоем надгробии. К сожалению, молодость невинна в делах искусства. Впрочем, не совсем невинна. Она мешает искусству.

— Мне непонятно,— призналась Аночка.— Если молодость и революция одно и то же (она немного запнулась)... Разве революция мешает вам писать?

— Она мешает писать против себя,— хмуро произнес Цветухин, но сейчас же встряхнулся: — Не знаю, не знаю!

У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что...

— Ах, черт! Вот оно! — ожесточился Пастухов.— Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, не существующее, противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!.. И твой наигрыш, Егор! Когда я слышу эти одушевленные восклицательные знаки, мне чудится — какой-то здоровячок вертится передо мной нагишом и все время показывает бицепсы!

Он остановился, набирая воздуха, чтобы говорить и говорить, словно наступила минута пробивать брешь в мешавшей ему стене. И неожиданно замолчал.

Аночка, медленно поднимаясь, в страхе глядела на притворенную дверь.

Павлик, войдя, манил сестру пальцем. Видно было, что он примчался сюда не переводя дух.

Она, как школьница, перешагнула через стул и подбежала к нему. Он нагнул ее к себе, что-то коротко прошептал, изо всех сил удерживая дыхание.

Арсений Романович вскочил.

— Что такое с мамой, а?— спросил он, насторожившись.

Поднялся Егор Павлович. Бледный, он смотрел за Аночкой выросшими глазами. Она стала со всеми прощаться.

— Дорогая моя, позволь я тебя провожу,— попросил Цветухин, когда она подошла к нему.

— Умоляю вас, не надо.

Она схватила Павлика за плечо, и они выбежали из комнаты. Мальчик успел крикнуть:

— Арсений Романыч, я потом забегу!

Цветухин тотчас собрался уходить. У него тряслась рука, когда он подал ее Пастухову.

— Ну, куда же ты? Подожди. Неужели ни минуты не можешь без золотого башмачка?

— Оставь, оставь! — вырвалось у Егора Павловича.— Ты не представляешь, что значит для Аночки ее мать!

— Она при смерти,— сказал Арсений Романович.

— Откуда же мне знать...— замялся Пастухов.

Он проводил Цветухина по коридору и зашел в свою комнату.

Анастасия Germановна распахнула окно. Уже сильно алело на западе, но было еще душно. Они сели рядом. Все чересчур быстро переменилось, и они должны были помолчать,

чтобы собрать мысли. Немного погодя Анастасия Германовна положила руку на колено мужа.

— Ты ведь знаешь легенду о Пилате? — спросила она тихо.— Понтий Пилат, дряхлый, толстый, закрыв глаза, лежит на морском пляже, греет свои подагрические кости и слушает другого старика патриция. У обоих вся жизнь в прошлом. В далеком, славном, счастливом прошлом. «А помнишь ли ты,— спрашивает Пилата старик,— когда ты был еще прокуратором Иудеи, помнишь ли маленького рыжего пророка, который называл себя царем иудейским? Это было как будто до восстания. Книжники требовали его казни, и ты им выдал его, и они распяли его в Иерусалиме. Помнишь? Его звали Иисусом...» Пилат поворачивается другим боком к солнцу и, не открывая глаз, лениво говорит: «Нет, не помню...»

Пастухов спросил:

— Почему ты рассказываешь это богохульство?

— Мне это пришло на память, когда Цветухин укорял тебя, что ты перезабыл его приятелей, и ты стеснялся признаться, что действительно перезабыл. А почему ты их обязан помнить?

— Ты хочешь сделать из меня Пилата?

— Что ты, милый! Но в самом деле: что они, в сущности, для тебя? Рядом с тобой? Разве ты не вправе забыть их?

Она прижала голову к его груди.

— Ты большой. Ты сильный. Ты должен больше всего думать о том, к чему призван.

Он подождал и ответил рассеянно:

— Нет, Ася. Я самый обыкновенный. Слабый. Слабее других.

Он сказал это, и ему стало хорошо, что он так откровенно сказал и что она назвала его сильным, и он знал, что сейчас она возразит — нет, нет! — и поцелует его.

И она возразила:

— Нет, ты сильный! — и открыла свои губы, чтобы он поцеловал.

Спустя минуту он выговорил не совсем твердо:

— Я все-таки думаю, Ася, нам надо отсюда куда-нибудь подвинуться.

— Нам надо, милый, не подвинуться. Нам надо бежать,— сказала она едва слышно и заглянула в его глаза страстно и отчаянно.

13

Ольга Ивановна умирала.

Это длилось долго. Была глубокая ночь. Аночка лежала поперек своей кровати, спустив ноги на пол, заложив ладони под затылок и туго касаясь им стены, лицом кверху. Глаза она зажмурила. Отец и Павлик находились в соседней комнате, у постели умирающей.

Аночка слушала нечастые громкие хрипы матери, наплывавшие откуда-то изглубока, точно из подполья, непохожие на человеческое дыхание и совсем невозможные для Ольги Ивановны, для мамы. Часы-ходики в обычной своей спешке прозвонили три и неслись дальше, с хрустом, как разгрызаемые каленые подсолнушки, отщелкивая бег маятника. Слух ее как будто ничего больше не воспринимал. Она была уверена, что непрерывно бодрствует, что тело ее оковано не потребностью сна, не бессилием, а сознательным нежеланием глядеть на мучение матери. Но то, что ей виделось в это время, было подобно коротким снам, обрываемым частыми пробуждениями. Она видела то отца, то неожиданно когонибудь из знакомых, то вдруг себя, но больше всего, даже почти непрестанно и будто сквозь других людей, как сквозь редкую листву, видела и ощущала мать.

Маленькая, шустрая, рано состарившаяся, Ольга Ивановна, легко приседая, бежала с узелком по улице, торопясь отнести заказчице платье. Или протискивалась через базарную толпу к возу, груженному капустой, и, выбрав кочан, давила его в обхват, пробуя ядреность, чтобы не прогадать лишнего пятака. Или копошилась у себя в углу над столом, выкраивая шитье и потом тонкой кистью руки подталкивая материю под стрекочущую иглу машинки. Этим бегом, суетой, труженичеством безустальных рук неугомонная женщина сколько раз вытаскивала семью из ям, куда невзначай сталкивал ее глава дома — Тихон Парабукин — неизбывной своей приверженностью к вину. Не он, конечно, а Ольга Ивановна была настоящим водителем дома, считая себя одну в ответе и перед детьми, и перед мужем, нуждавшимся в ней иной раз пуще малого дитяти. Она вырастила Аночку, она растила Павлика наперекор всем бедам, с упрямством, которое питалось неуступленной ее идеей — освободить их от недоли, какую до дна испила сама. В воспитании Аночки ей помогла Извекова. Вера Никандровна положила начало Аночкиной грамоте, устроила девочку в гимназию, хлопотала за нее перед обществом пособия нуждающимся ученицам и вооб-

ще протягивала крепкую руку, лишь только являлась в этом необходимость, вплоть до того, что подарила швейную машинку, за которую Ольга Ивановна благословляла ее, просыпаясь и засыпая. Но не сторонней добродетелью держалось существование семьи, а натянутыми до предела жилами матери. Парабукин не раз порывался поддержать труды жены — отыскивал службу, с ликованием приносил домой первое жалованье, но вскоре пускал по свету больше, чем заработал. Он тоже любил детей, особенно Аночку, но любовью виноватой, а Ольга Ивановна любила самозабвенно, ни на минуту не усомнившись, что любовь ее восторжествует и даст плоды.

В сонной голове Аночки все это прошлое выражалось не мыслями, а перемежающимися видениями, и странно было, что уже все стало именно прошлым с того момента, как в круглых, выпяченных глазах матери она рассмотрела смерть. И она лежала на кровати, точно связанная, ощущая, как отекли руки и ноги, и за всем мельканием полуснов испуганно повторяла в уме, что уход матери будет не уменьшением семьи на одного человека, а концом семьи, концом дома.

Ей показалось, будто что-то переменилось в звуках комнаты. Ходики летели по-прежнему. Но, кроме их хруста, Аночка ничего не услышала. Она мгновенным движением повернула тело на локоть и похолодела от колючего притока крови к пальцам и коленям. Тяжелый долгий хрип словно наводнил собой весь мир. Потом надолго стихло. Потом опять прорвался, распространился и угас новый хрип.

Значит, все-таки — конец? Как это могло случиться, и неужели так бывает всегда? Еще недавно, еще вчера, зная от доктора, что опасность велика, Аночка верила, что мама не умрет. Еще сегодня поутру Ольге Ивановне вдруг стало лучше, и можно было убеждать себя, что кризис означает конец болезни, а не смерть. Ведь вот прошла же первая болезнь — устрашающий всех сыпной тиф, когда Ольга Ивановна была так слаба и так легка, что Аночка переносила ее на руках, словно ребенка. И Ольга Ивановна начала поправляться, вставать и даже опять взялась было за иголку. Почему же теперь несчастная история с каким-то отеком легкого должна кончиться смертью? Нет, это просто кризис, конец кризиса, его вершина. Ольга Ивановна перешагнет через вершину, вздохнет поглубже, вздохнет и...

Почему она не вздыхает? Нет, вот, вот опять! Опять этот хрип, еще ужаснее, еще неестественнее. Неужели возможно такое клокотание, такой рев в человеческой груди, в узень-

кой, жалкой маминой груди? И вот молчание. Нет. Вот еще. Нет, это послышалось. Неужели все? Неужели это был последний вздох? Нет, не может быть! Если бы Аночка знала, что это — последний, она слушала бы совсем по-другому, совсем по-другому...

Но почему хрипа нет? Сейчас будет. Может, будет уже последний, потому что очень давно не было, очень долго стоит тишина, и комнаты ждут. Вот. Вот начался, начался. Но начался совсем неожиданно, совсем иначе, какими-то короткими толчками. Что это?

— Что это? — спросила Аночка дрожащим голосом и в тот же миг, как будто очнувшись, поняла, что вместо хрипа мамы вдруг вырвались через отворенную дверь все более учащающиеся и растущие, живые, отчаянные всхлипы. Это рыдал отец, чем-то глухо пристукивая о железную кровать.

— Что это? — вскрикнула Аночка.

Она хотела подняться, но ее держала тяжесть, какой никогда прежде не бывало в ее свободном и послушном теле. Она полежала неподвижно.

Из комнаты быстро вышел взъерошенный Павлик, пододвинул стул к ходикам, вабрался на него и остановил маятник.

— Зачем? — спросила Аночка и села на постели.

Но Павлик не ответил, и она только увидела его позолоченные, тронутые жаром и как будто осуждающие глаза: наверно, у него не хватило слов ей объяснить, что часы останавливают, когда в доме умирает человек,— он вычитал это в одной удивительной книге.

Уже рассвело, но предметы казались еще слитными, когда Аночка боязливо вошла в комнату матери. Отец — высокий, исхудалый, в короткой не по росту толстовке черного сатина — стоял у кровати, согнувшись глаголем, положив локти и голову на железный прут изножья. Вздрагивая, голова его билась об руки.

Мать была новой,— Аночка не узнала ее и со страхом отвернулась. Ища опоры, она подвинулась к стене, почти в угол комнаты, и, чувствуя, что сейчас заплачет, поднимая к глазам руки, задела настенную полку и свалила на пол пустую вазочку из папье-маше — единственное украшение дома, раскрашенное маркими цветами.

Точно от этого звука, похожего на щелчок по картонке, отец распрямился, судорожно захватил в кулак простыню и сорвал ее с мертвой. Рухнув на колени, он начал со стонами, громко и часто целовать тоненькие ноги Ольги Ивановны.

Аночка подняла безделушку с пола, поставила аккуратно на место и вдруг выбежала из комнаты, бросилась к себе на постель и тяжело уткнула лицо в подушку.

Два дня затем протекли в странном перемещении лиц,— появлялись, исчезали и опять являлись соседи и знакомые с советами, утешениями. Ольга Ивановна раньше никого не стесняла, а теперь, когда ее уложили на стол, заняла очень много места, и квартирка сделалась еще меньше. Аночка говорила со всеми, кто приходил, а потом забывала, кто был, и спрашивала — почему не зашел тот, с кем она только что разговаривала.

Забегал чаще других Мефодий Силыч — побратан и собутыльник Парабукина. Он считал долгом поддерживать упавший дух вдовца, для чего оба удалялись в сени или на задворки, под старую, отцветающую акацию, и там наспех опоражнивали посуду, которую приносил в кармане утешитель.

Был Цветухин. Он положил в ноги Ольги Ивановны букет сирени. Цветы мгновенно залили квартиру удушающим ароматом, и этот аромат внес с собою безысходно-томительное ощущение покойника в доме. Егор Павлович заставил Аночку прогуляться с ним по улицам. Она согласилась, но, выйдя за ворота и вслушавшись в его отвлекающие речи, заупрямилась, будто в раскаянии, и кинулась назад.

Была Вера Никандровна. Она принесла вышитый гладью шелковый платок — им повязали голову покойницы, накрыв краями с бахромой руки. Ольга Ивановна стала так белоснежна в сияющей нарядной этой раме, что Аночка не выдержала и, как ребенок, который прячется от какой-нибудь неожиданности, присела, крепко уткнулась лицом в колени Веры Никандровны, и та долго, убаюкивающе поглаживала ее стриженый затылок.

Павлик больше всех проявил деятельности. Прыткие ноги его как нельзя лучше помогали в эти часы печальных хлопот. Он разузнал нужные адреса, водил отца к гробовщику, ездил на кладбище. Он видел, как упрочилось значение его в доме, и гордость его особенно возросла после того, как он побывал у Мешковых, намереваясь поделиться горем с Витей. Больная Елизавета Меркурьевна страшно разволновалась, вздумала даже пойти проститься с Ольгой Ивановной, но ее уговорили не вставать. Она подробно расспрашивала, как умирала Ольга Ивановна, и потребовала от Павлика, чтобы он немедленно бежал домой — узнать, не нужны ли деньги.

Состоялся семейный совет, в котором Павлик участвовал наравне с отцом и сестрой. Парабукин заявил, что подачек от Мешковых ему не нужно.

— Довольно покойница при жизни настрадалась от Меркула. Ты забыла, как он вас, маленьких, на мороз выгнал? Получим пособие на похороны — перебьемся. Возьми пока у Извековой.

— Вера Никандровна дала, но едва ли нам хватит,— сказала Аночка.

— Ну, попроси у своего актера. Не откажет. Ведь — взаймы,— сказал отец.

Аночка стала сумрачной и не ответила. Он грузно опустился на пустую кровать Ольги Ивановны, глаза его слезились, и уже какой раз за это время он начал всхлипывать. Глядя в землю, Аночка вымолвила горько:

— От водочки, отец...

— Ну ладно, от водочки,— покорно вздохнул он.— Ну, а неужто все от водочки? Неужто так ничего во мне не осталось, кроме что от водочки? Осуждаешь меня. Хоть и умна, а не приметлива. Давно уж и водочки нет. Все вроде смеси горючей из-под грузовика.

Павлик перебил отца:

— Если не хочешь занимать у Витиной мамы, то давай я попрошу у Арсения Романыча? Он даст.

— Вот верно, сынок: он даст, он — блаженный.

— Попросим, если денег не хватит, только если не хватит,— решила Аночка.

Понемногу все устраивалось, как всегда, когда умрет человек. Сначала близким кажется, что они бессильны преодолеть навалившиеся затруднения и горе отняло у них всякую волю. А потом все сделается само собой, и, как бы помимо желания оставшихся, человека отнесут туда, где беспрепятственно кончается путь каждого.

Только на третье утро доставили тяжелый гроб из сырого, пахнувшего свежей смолой дерева. Витя Шубников смотрел из уголка, как мертвую сняли со стола, опустили в гроб и потом стали поднимать гроб на стол.

— Пособи,— позвал Павлик Витю, и Витя, заставив себя оторваться от своего укромного угла, подбежал к ногам Ольги Ивановны, сунул руки под днище гроба и натужился изо всей мочи. Он сейчас же почувствовал, что пальцы приклеились к невыструганной доске, и когда гроб установили, он испуганно и долго оттирал от пальцев смолу, и чем дальше тер, тем сильнее слышал скипидарный запах гроба.

К выносу собралось неожиданно много людей, но почти все остались у ворот, и провожать пошел маленький кружок. Были поданы дроги.

— Все очень прилично,— бормотал сам себе Парабукин, когда тронулись в путь,— Ольга Ивановна была бы довольна. Спасибочка сказала бы тебе, Тиша.

В это время он вспомнил, что из экономии кладбищенские могильщики наняты только вырыть яму, а хоронить придется самим, и требуются заступ и молоток. Шествие остановилось на перекрестке улиц, и Павлик с Витей побежали назад — разыскивать по соседям нужные вещи.

Было безветренно, наступала духота, город словно примирился с знойными днями и каждым своим дюймом слышал, как раскаляется бело-голубое небо. Все стояли молча позади дрог. Катафальщик в запачканном кремовом балахоне сердито взмахивал рукой, отгоняя шершня от лошади, которая мученически мотала головой.

На поперечной улице показался автомобиль. Он со всей скоростью шел в гору и, долетев до перекрестка, остановился. Процессия должна была бы продвинуться, чтобы дать дорогу, либо автомобилю пришлось бы заехать на тротуар. Но тут в открытом кузове машины невысоко поднялся человек и, как будто в нерешительности, обнажил темноволосую голову. Потом он распахнул дверцу, выскочил на мостовую и поспешно зашагал к дрогам.

Аночка узнала Кирилла. Он подошел прямо к ней, сильно сжал протянутую ему руку и постоял несколько мгновений ничего не говоря. Продолжая держать руку, он сказал очень быстро и негромко:

— Я хотел проводить вашу мать, но невозможно: у меня срочные дела. Вы извините.

Она высвободила руку из его горячих пальцев.

— Спасибо.

Она не глядела на него, но заметила, что он стал центром внимания. Взор Веры Никандровны выражал одобрение. Стоявший поодаль Дорогомилов напряженно следил за Кириллом: он помнил его мальчиком и с тех пор не встречал. Парабукин как будто не понимал — что за человек приехал на автомобиле. Его беспокоило — почему долго не возвращаются Павлик с Витей. Цветухин поздоровался с Кириллом, как с хорошим знакомым. Ему хотелось попросить его о приеме по важному делу, однако Извеков ответил на приветствие слишком вскользь, и Егор Павлович немного растерялся. Потоптавшись, он отозвал в сторону Мефодия Силыча,

чтобы узнать его мнение — удобно ли в такую минуту заговорить о делах?

— Почему нет? — пожал плечами Мефодий и продекламировал: — Мирно в гробе мертвый спи, жизнью пользуйся живущий.

Но Цветухин опоздал со своим намерением: мальчики прибежали с заступом и молотком, и дроги опять тронулись.

Кирилл простился с Аночкой:

— Нужна будет какая помощь — скажите маме, она мне передаст. Я вас очень прошу,— добавил он с неловким движением к ней, будто остерегаясь, что его услышат.

Она наклонила голову.

Кирилл сделал с ней рядом несколько тихих шагов и потом быстро вернулся к машине. Он велел выехать на самый перекресток и остановиться. Упираясь коленом в сиденье, он стоял все еще с открытой головой и глядел вслед удалявшейся процессии. Вдруг он заметил, как Аночка на один миг обернулась, и в солнечном блеске поймал ее далекий взгляд. Он посмотрел еще секунду, потом сел, приказал шоферу ехать:

— Скорее. Я опаздываю.

Он вынул часы и долго держал их перед глазами в качающейся от езды руке, не видя или не понимая — который час.

На кладбище у открытой могилы Парабукин засуетился. Он подходил ко всем по очереди, собираясь о чем-то спросить, но только заглядывал в лица и тотчас отшатывался. Мефодий придержал его за локоть.

— Ты что?

— Она ведь у меня верующая,— шепнул ему Парабукин.

— Отпеть, что ли, хочешь?— спросил Мефодий так, что кругом услышали.

— Суета, суета,— сказал Парабукин, точно без памяти,— а неудобно перед ней, а?

Он робко глянул на дочь. Аночка посоветовалась с Верой Никандровной. Они решили, что отцу не надо перечить.

Он скрылся между крестов и через минуту привел худощавого батюшку в скуфейке и эпитрахили. Сняли крышку с гроба и ближе обступили его. Помахивая пустым кадилом, батюшка начал панихиду. Голос у него был высокий и будто доносился сверху. Сильнее стало слышно птичье верещанье в крупной листве калифорнийского клена, простертого за недалекой оградой, и бубенцы кадила в тон откликались птицам.

 Дорогомилов держался между Павликом и Витей. Косма-

тая голова его была вздернута к небу, казавшемуся здесь вознесенным необычайно далеко. Мефодий растрогался и на катавасии «Молитву пролию ко господу» принялся подпевать обрывчивой октавой.

Когда с покойницей прощались, батюшка, глядя на ее расшитый гладью убор, спросил горестно и сожалительно:

— Платочек с ней пойдет?

— Да,— тотчас ответила Аночка и стала перед батюшкой, чтобы загородить от него гроб.

— Все с ней пойдет, все с ней,— опять забормотал Парабукин.

В какой-то ревнивой спешке, вдруг овладевшей им, он накрыл углом платка лицо жены.

Это был последний миг, когда Аночка видела мать. Необъяснимо счастливой и чистой показалась она ей в этот миг и со страшной властью потянула к себе. Аночка неожиданно кинулась к ней, упала коленями наземь около гроба, откинула платок и припала к рукам матери. Руки эти были уже мягкими и не очень холодными, пригретые солнцем. Целуя ту, которая лежала верхней, Аночка приподняла пальцы и ощутила губами внутреннюю, исколотую и словно еще живую, поверность их кончиков. Она так явно слышала недавнюю ласку этих шероховатых, натруженных пальцев на своем лице, что будто продолжала эту ласку, и не могла оторваться от пальцев, и все целовала, целовала их, заливая слезами.

Ее хотели поднять, Цветухин нагнулся к ней, но она так же неожиданно и с силой встала на ноги, и отошла на шаг от гроба, и вытерла свое потрясенное болью и будто уменьшившееся лицо.

Какая-то кладбищенская старушка, юрко протискавшись вперед, спросила Аночку:

— Сестрица, что ли, она тебе?— И, узнав, что не сестрица, а мать, запричитала:— Ахти! Ведь краше невесты под венцом, матушка! Голубица непорочная, царство ей небесное!..

Парабукин накрыл гроб крышкой и торопливо, на совесть, начал вгонять гвозди. Стук отзывался дробным, словно шаловливым, эхом между крестов. Потом единственный могильщик, скучавший поодаль, кинул на землю смотанное в кольца вервие. Его размотали, просунули концами под гроб и стали поднимать гроб на бугор рыхлой глины, вынутой из могилы.

Вдруг Мефодий Силыч по-рабочему громко приказал:

— Повернуть! Повернуть!

— Зачем повернуть?— бестолково спросил Парабукин.

— Крест-то где будет? Повернуть ногами к кресту!
— Чай, крест в головах!
— Кого учишь? В день воскресения сущие во гробах восстанут из мертвых ликом ко кресту и к востоку. Понял? Заноси ногами к кресту.
Но Парабукин противился. Они пререкались шумно, потом Мефодий оглянулся: попа уже не было, и он метнул глазом на могильщика:
— Что молчишь?
— Поворачивай,— нехотя сказал могильщик, понимая, что его слово дорого, а ему ничего не приплатят.
Когда гроб опустили, Парабукин, не дожидаясь, пока провожавшие бросят прощальную горсть земли, выхватил у Павлика заступ и с таким усердием начал отваливать от бугра комья глины в могилу, что оттуда облаком поднялась рыжеватая пыль. Он работал ожесточенно. Обвислые щеки его быстро белели, грива поседевших кудрей переливалась и взблескивала сединами на солнце, пот закапал со лба наземь.
— Дай сюда, дай,— старался взять у него заступ Мефодий.
Но он не отдавал, у него будто свело судорогой руки, он кидал и кидал землю, все учащая движения, словно работал с кем-то наперегонки. Наконец он стал махать пустым заступом, почти не прихватывая земли, и качнулся от изнеможения.
Тогда Аночка подошла к нему, разжала ему пальцы, отвела его в отдаление, и он лег на землю, облокотившись на покатую могильную насыпь. Он коротко дышал, по прилипшей к груди толстовке было видно, как содрогалось его сердце, бессилие обозначилось в его свесившихся кистях рук и тяжело раскинутых громоздких ногах. Он выговорил, прерывая слова свистом вздохов:
— Ольгу Ивановну... родимую нашу... своими руками...
Аночка не отходила от него. Глядя сквозь просветы неподвижного клена, она наблюдала за сменой работавших вокруг могилы, и почему-то ей чудилось, что она смотрит через уменьшительное стеклышко, и все происходит далеко-далеко. Вот из рук Павлика взял заступ Егор Павлович. Вот на его месте закачался Арсений Романович, и долгие рассыпчатые волосы занавесили его лицо. Вот взяли все вместе крест, опустили концом в могилу, он стал коротенький. Опять принялись кидать глину. Голова Мефодия Силыча клонится, подымается, и продавленный его нос кажется еще некрасивее, чем всегда.
 Яма сровнялась с поверхностью, начали насыпать холм. Он

рос исподволь и неровно с одного края к другому. Птицы подняли возню на дереве, листва задрожала, то укрывая от Аночки могилу, то показывая ее. Глину кидали и кидали, но снизу она была сыроватой и пыль рассеялась, все стало ярче.

Парабукин, отдышавшись, поднялся.

— Пойду.

Аночка вздумала удержать его, он сказал:

— Не хочу смотреть. После.

Она не заметила, как с ним исчез Мефодий Силыч.

Егор Павлович положил на холм вялую сирень. Поникшие султаны ее все еще распространяли запах, который шел от гроба.

Потом все молча двинулись к воротам.

На трамвайной остановке Павлик заявил сестре, что поедет с Витей на Волгу. Она ответила, что надо идти домой. Тогда он сказал, что пойдет к Арсению Романовичу. Нет, он должен домой. Кто же отвезет заступ и молоток?— настаивала Аночка. Тогда он пойдет к Вите. Нет, домой,— повторяла она. Он нахмурился. Ему трудно было не слушаться сестры. Она первая научила его читать, ее слово в доме иной раз решало какое-нибудь важное дело. Может быть, она теперь вздумает взять весь дом в свои руки? Вряд ли. Она, наверно, примется устраивать театр со своим Егором Павловичем. Ей будет не до дома.

— Чего теперь дома делать?— спросил Павлик.

— То же, что делал раньше, только лучше,— ответила сестра.

— Ничего я не буду делать. Жизни не знаешь,— сердито сказал он.

Аночка чуть-чуть улыбнулась ему.

Трамвай тащился кое-как. Знакомые понемногу выходили на остановках, прощаясь с Павликом за руку, и кто похлопывал его, кто прижимал к себе и гладил. Егор Павлович подержал его за подбородок. Вера Никандровна поцеловала в щеку.

«Вот еще!» — подумал Павлик.

Проходя своим двором, Аночка увидела за акациями Мефодия Силыча и отца. Они сидели нагнувшись, голова к голове, и, наверно, как всегда, философствовали. Она решила не мешать им.

Предстояло убрать комнаты. Стало очень просторно в этих крошечных комнатах, и впервые за всю жизнь появились словно бы излишние вещи. Им нужно было найти новое место. Но в то же время нельзя было допустить, что они переменят место. Невозможно было представить себе, что будет вы-

несена куда нибудь кровать мамы. Или передвинут стул, на котором мама работала за швейной машинкой.

Самые ничтожные обстоятельства кажутся знаменательными, если они сопутствуют смерти. Аночка старалась занять себя работой, но все останавливалась. Припоминания обессиливали ее. Вдруг у ней в руках оказывался лоскут с красными горошинами из тех бесчисленных обрезков, которые оставались после кройки, и она неподвижно глядела за окно, не выпуская тряпицы. Другой такой тряпицей с красными горошинами она как-то забинтовала маме большой палец, нарывавший от укола. С пальцем Ольга Ивановна долго мучилась. На какой руке болел палец? На правой? Нет, на левой. Маме было больно придерживать материю под иглой, когда она строчила. Аночка не могла выбросить лоскут в сор и заложила его себе в книгу. Потом она смотрела на фотографию, розовато-пепельную от старости, памятную по детству и всегда удивлявшую. Мама сидела в кресле. На ней была широкая, колоколом, юбка до пола, на коленях она держала девочку с кривой голой ножкой. Это была умершая сестра Аночки. Рядом стоял отец в коротком сюртуке, в брюках раструбами. Он тогда служил ревизором поездов. Аночка не знала его таким, она всегда помнила отца грузчиком, в посконной рубахе или в толстовке — уже позже, когда он начал искать легкую работу. И у него и у мамы с девочкой вместо зрачков были точечки, словно наколотые булавкой.

Она наконец заметила, что в доме не хватает привычного хрустящего звука, и подняла голову к часам. Ходики стояли. Стрелки почти сливались на трех часах семнадцати минутах. Она спросила неуверенно:

— Павлик, может, их уже пустить?

Он не ожидал вопроса и не нашелся, что ответить. Он читал только о том, что часы останавливают, если в доме умирает человек. Но когда затем снова пускают часы, в книге ничего не было сказано. Может быть, их останавливают навсегда? Ведь человек умирает навсегда?

— Мы все равно никогда не забудем это время,— сказала Аночка, глядя на стрелки.

Но Павлик опять не ответил.

— Пойди узнай, который час,— велела она.

Он убежал к соседям. Без него она толкнула маятник.

Но все-таки она была не в силах решать все одна. Она пошла к отцу.

Парабукин сидел на дощечке, набитой на старый пень. Мефодий Силыч топтался возле него. Они, видимо, поспорили.

У них было в обычае донимать друг друга каверзными рассуждениями, но они никогда не ссорились и, пожалуй, не могли друг без друга жить. Несколько лет назад они сошлись на одной ступени, Мефодий — опускаясь вниз, Парабукин — немного поднявшись: одного все чаще выгоняли из театра за пьянство, другой, после болезни, стал пить меньше и пробовал счастье на разных службах. С тех пор они так и застряли на своих неудачах. Впрочем, как раз последние месяцы Тихон Платонович имел службу и тем несколько отличал себя от друга.

Он подвинулся и показал дочери, чтобы она села.

Но Аночка отказалась.

— Я только спросить тебя: может, мы дадим мамину кровать Павлику? Он вырос из своей.

— Я уж тоже думал. Тебе помочь, что ли?

— Нет, мы с Павликом,— сказала она, уходя.

Он качнул ей вслед головой.

— В мамочку, в Ольгу Ивановну. Хрупка и трепет такой в ней. Хотя и от меня есть: все чтобы по ее было. Опасная кровь.

— Плохо, коли в тебя,— сказал Мефодий.— Не дастся одно счастье — кинется очертя голову за другим. Только разве гордость не пустит. Она вон как мать-то свою от попа загородила! Смерть — это, брат, великая обида человеку. Обиде панихидой не поможешь.

— Ты меня панихидой коришь? А сам не подтягивал поповой погудке?

— Это воспоминания мои, а не я. Пережиток мой запел во мне,— слукавил Мефодий.

— Себе прощаешь, а мне нет? Я для чего попа звал? Перед покойницей надо было очиститься. Перед памятью ее.

— Бога забоялся?

— Что зря калякать!— печально сказал Парабукин.— Мало мы воду переливали? Мечтаний моих не знаешь?

— А это тот же бог, мечта-то!— обрадовался Мефодий и скоренько присел на край дощечки.— Ее ведь никогда не догонишь, мечту-то, а? А догонишь — она уж будет не мечта. Как с богом, пока его не видишь, он — бог. Увидал — он уж чурбан, идол.

— Сам говорил — без мечтаний человеку нельзя,— обиделся Парабукин.

— Говорил. Нельзя. Но и на землю мечту низвести невозможно. Как начнешь ее претворять в вещь, в ощутимость, так, глядь, а из-под рук твоих выходит чурбан. Понял?

— Сам ты чурбан.

— Верно! Сиречь материальная, как философски говорят, материализованная мечта.

— Оставь свой сиречь! Все хорошее в человеке есть мечтание. Твои же слова. Говорил? Говорил. Значит, если мечтание — бог, то, выходит, я — бог. И все могу. Захотел устроить полезный мир и — пожалуйста, устраивай. Тоже твои слова. Говорил? Говорил. И не мучай меня. Филосо́ф! У меня дети, я перед ними виноват. У меня к ним жалость. Я не могу, чтобы не верить.

Парабукин поднялся, захватил в кулак стволик акации, качнул его, стряхивая с куста желтые коготки цветов. Мефодий снизу прищурился испытующе:

— Ежели уж ты такой бог, устрой поминовение Ольги Ивановны. Да по-русски. Материально.

Парабукина передернуло, как он холодка, он вдруг попросил с покорной мольбой:

— Ты друг? Тогда утешь. Плачет у меня все внутри.

— Ладно, дожидайся.

Мефодий Силыч ушел решительно, а Парабукин, оставшись наедине, опять сел и закрыл лицо руками.

Мефодий был его учителем жизни, возвышаясь над ним семинарскими познаниями и той отравой сомнений, которая, как купоросная кислота, разъедает и камни. Парабукин же считал мир устроенным очень практично, настолько практично, что не у всякого доставало ловкости его уколупнуть. Людям, вроде него — как он думал — отказано было судьбой в том, чтобы перемудрить хитрость житейского механизма. У них была короткая пружина. Люди с длинной пружиной никогда не отставали от бега дней. А у Парабукина не хватало завода: только он соберется с силами, чтобы потягаться за свое счастье, а завод и вышел. В наступивших после революции событиях он увидел тот смысл, что житейский механизм будет упрощен, и тогда короткого завода тоже хватит, чтобы и с таким заводом брать от мира себе на потребу. Он не заботился о своем личном переустройстве, он верил, что без всяких со своей стороны перемен подойдет для переустроенного мира. Ему представлялось, что именно ради таких, как он, всеобщие изменения и предприняты. Притом он не был человеком бессовестным. Наоборот, его часто мучила совесть.

Поэтому, едва Мефодий Силыч удалился, он бросил философствовать, а трезво задумался над своим положением. Со смертью Ольги Ивановны его завод еще больше укоротился.

 Окажись сейчас Тихон Платонович без службы, просто нече-

го будет положить на зуб. То он был на руках у Ольги Ивановны, а то вдруг у него самого на руках осталось двое детей. Правда, Аночка кончила учиться и теперь должна уже подумать о семье. А как с Павликом? Будь он хотя бы лет двенадцати, можно было бы сказать, что ему пятнадцатый, а в этом возрасте, с грехом пополам, Тихон Платонович пристроил бы мальчика хотя бы при себе, в утильотделе. Там есть, к примеру, пакгауз с безхозными и конфискованными библиотеками. Подростки сидят и рвут ненужные книги. Переплеты идут в сапожное производство, чистая бумага — в канцелярии, печатная — на пакеты. Труд пустяковый, а, глядишь, мальчик пришел бы домой с рабочим пайком. Ведь на одно-то свое жалованье Тихон Платонович его, поди, не прокормит?

Скорбно стало Парабукину от здравого хода мыслей, и тоска еще томительнее взялась точить его сердце.

Он насилу дождался Мефодия. Когда же тот пришел и Парабукин увидел его устало-виноватое лицо, он не мог удержать стона: верный друг явился ни с чем.

— Дожидайся теперь меня,— сказал Парабукин, опомнившись от удара, и живо, саженками огромных тонких своих ног, зашагал к дому.

Аночка к этому времени успела побороть себя, разработалась и уже много сделала. Невесомая золотистая пыль светилась в окнах, полных солнца. Павлик сцарапывал ножом наросты клякс с чернильницы. Визгу ножа отзывалось ширканье веника из другой комнаты. Сложенная кровать стояла прислоненной к косяку. Всюду лежали разобранные постели.

— Я помогу, дочка,— сказал Парабукин.

— Хорошо. Ты вынеси одеяла и развесь. Павлик знает, где веревка. Да недалеко от окон, чтобы видно.

Отец пошел натягивать веревку, привязал ее к резному оконному наличнику и к давно заброшенному дворовому фонарному столбушку, на совесть попробовал — крепко ли держит, и начал вместе с сыном выносить и развешивать одеяла. Он что-то все мешкал, задерживался в комнате, перебирал разное тряпье, стал мудрить, посылая Павлика принести с веревки одно, вынести и повесить другое.

И вдруг Павлик, забарабанив в стекло, крикнул сестре со двора:

— Смотри, папа чего-то унес!

Аночка выбежала и еще из дверей увидела отца. Он резво шел напрямик к воротам, держа под мышкой прижатую к боку, накрытую клетчатой осенней маминой кофтой, не-

удобную кладь. Он был уже посередине двора, когда расслышал, что его нагоняют. Он побежал тяжко и широко.

Но Аночка перегнала его, домчавшись до ворот стремительным, почти беззвучным бегом, захлопнула с маху калитку и повернулась спиной к щеколде, закрыв собою ход.

Отец стоял с ней лицом к лицу.

Она рывком откинула край прикрывавшей его добычу кофты. Это была швейная машинка под деревянным колпаком. Аночка потянула за ручку колпака.

— Ну, довольно, довольно,— сказал отец негромко.

Но она упрямо тянула к себе. Отстраняясь от нее, он затрясшимися от неверной улыбки губами пробормотал:

— Чего ты испугалась? Что я — враг разве вам?

Павлик уже стоял рядом и глядел на отца светло-желтыми от солнца глазами в слезах.

— Я ведь только на время, вместо залога. Не продам же... мамочкину память,— сказал Парабукин жалостно.

Аночка все молчала, ухватив уже обеими руками колпак. Потом она развела закушенные губы:

— Павлик, возьми папину руку.

— Ну, давай я сам отнесу. Он маленький, уронит,— будто смирился Парабукин.

Но она ловким и быстрым усилием со злобой надавила на машинку книзу и вырвала ее, едва удержав в своих тонких руках.

— Отнеси домой,— сказала она брату, и он понес машинку, сильно накренившись набок и махая далеко откинутой свободной рукой в лад частым маленьким шажкам, как несут переполненное водой ведро.

Аночка подняла с земли кофту, отряхнула ее, не глядя на отца.

Парабукин сказал заносчивым и обиженным голосом:

— Ты что хочешь? А? Переделать меня хочешь? Меня мать не переделала! А?

Она ответила коротко:

— Я попробую.

Краска спала у нее с лица. Она пошла двором медленно и легко.

Из-за куста акации все время подглядывал за ней присевший на корточки и не шелохнувшийся Мефодий Силыч.

14

Ознобишин сидел у постели Лизы, и на лице его уступали один другому оттенки заботы, испуга, благодарности, счастья. Счастье было самым сильным из них и придавало ему иногда наивно ликующий вид, так что Лиза говорила немного осевшим голосом: «Смешной, смешной!..»

Он притрагивался к одеялу, чтобы поправить его благоговейным движением, или поглаживал свои руки, ставшие будто еще менее мужскими. Он был доволен ощущением наступившего мира после двух ураганов, которые пробушевали над головой и в сердце: тюрьма и болезнь Лизы.

Когда он узнал, что Лиза слегла, он подумал, что она непременно и сразу умрет. Но она поправлялась, он это видел по ровному свечению ее глаз. И главное — она была рада ему, она страдала за него, пока была в неизвестности насчет того — где он исчез, а потом — что с ним произойдет в ужасном заточении, куда он попал, может быть, из-за нее?! О, ее рассказ — как она мучилась до его появления, забывая о своей болезни,— взволновал Ознобишина до глубины. Кому не понятно, что означают женские терзания за судьбу мужчины? И разве не изумительно, что в момент опасности ее душа потянулась прежде всего к нему, и, вместо того чтобы думать о враче, Лиза послала маленького своего сына на розыски Ознобишина?

Холодной ночью, затерявшись во тьме, мальчик стучал в незнакомые дома, выспрашивая, где живет Ознобишин, и если ему не отвечало мертвое молчание, то раздавался бранчливый окрик либо подозрительный опрос — а кем он будет или что ему надо? Никто не знал такого человека: Анатолий Михайлович поселился в этом квартале недавно.

Витя бежал и бежал от двери к двери, от одной оконной ставни к другой, ощупью отыскивая на косяках звонки или барабаня пятками в запертые калитки. У него не было ни капли страха или, вернее, страх оставался позади и гнал его вперед. Страхом было то, что мама лежала на постели и у ней изо рта текла кровь, и раз она не побоялась послать ночью Витю на розыски Ознобишина, значит, только Ознобишин мог остановить кровь. Он прибежал домой, взмокнув от пота и в таком ужасе от своей неудачи, что мама испугалась и попросила у него прощения.

На другой день она послала Витю в контору нотариуса, где служила вместе с Анатолием Михайловичем. Но Ознобишин

на службу не являлся. Она послала Витю второй раз, чтобы он с точностью узнал адрес Ознобишина и прямо из конторы пошел бы по этому адресу. Но Витя принес еще более странную весть: Анатолий Михайлович дома не ночевал. Она велела сыну отнести записку, в которой упрашивала одну сослуживицу разузнать у родственников Ознобишина — что с ним? Но пришел ответ, что о родных Анатолия Михайловича никто не слышал.

Ко всем этим розыскам Меркурий Авдеевич относился неприязненно и с тревогой. Он придумывал разные доводы несостоятельности такой спешки: время тяжелое, мало ли что случается. Зачем попусту гонять по городу мальчика? То Лиза запрещает послать его на базар, а то вытуривает ночью, сама не зная куда. Да и что дался этот Ознобишин? Кто он, в самом деле, Лизе? Муж? Жених? Кавалер какой или, может... Но тут Меркурий Авдеевич не договорил. Лиза перебила настойчиво:

— Это касается одной меня. Он мой друг.

— А коли друг, сам придет. Вот ты его дружбу и проверишь.

— Я прошу тебя, помоги его разыскать!

Он понял, что перечить бесполезно.

Но едва он признался, что видел, как Ознобишина ночью забрал патруль, ему стало ясно, что лучше было бы это скрыть. Лизу обуяло смятение, она заявила, что теперь сама пойдет на розыски, что раз отказываются ей помочь, значит, ее хотят замучить — и правда, видно было, что она скорее замучит себя, чем отступится от требования, чтобы Ознобишин был найден.

С великой робостью Мешков принялся разузнавать по участкам милиции, где мог обретаться задержанный Анатолий Михайлович. Наконец он осторожно доложил дочери, что Ознобишин — в домзаке. Что такое домзак? Дом заключения. Тюрьма. Лиза была и потрясена и обрадована известием — неведение для нее было тяжелее печальной действительности. Она сказала отцу, что расцеловала бы его, если бы теперь имела право целовать: в признании этом скрывалась вся грусть ее положения тяжелобольной.

Но тогда у ней появилась новая мания — непременно поддержать Ознобишина в тюрьме. Оказалось, что нет никакой беды, если Витя сбегает на базар — продать какие-нибудь обноски и взамен купить сала и сахара. Если потом он постоит в очереди у тюремных ворот, чтобы передать посылку заключенному. Если вообще будет стараться утешить Анатолия Ми-

хайловича в его горькой доле: Витя — мальчик уже большой и должен понимать, что делать добро — его долг.

Мешков поворчал про себя, что, мол, для отца каждый пустяк в тягость, а ради какого-то друга Ознобишина не жалко и родного ребенка. Но ведь молился же он о «плавающих, путешествующих, недугующих и плененных»? Случай был явно неоспоримым: дочь заботилась о плененном, и Меркурий Авдеевич смирился.

Только теперь, глядя на растроганного Анатолия Михайловича, Лиза в полную меру могла оценить свое благодеяние. Он признался, что заплакал, когда ему в камеру принесли с воли гостинец, и ему вдруг стало очевидно, что тот последний памятный вечер с Лизой не был случайностью для них обоих.

— Что же там происходило с вами? Что?— допытывалась Лиза, стараясь угадать сокрытые чувства Ознобишина.

— Ах, Лиза!— вздыхал он, покачивая свое нескладное, широковатое книзу туловище, будто томясь расспросами.

— Страшно, да?

— Ах, Лиза! Слава богу, все позади.

— Но что, что? Почему вы не хотите сказать? Нельзя?

— Нет. Вам я все равно рассказал бы, что бы там ни было. Но не будем, не будем сейчас говорить!

— Бедный, как вам тяжело!

— Тяжело за вас.

— Нет, нет, я — что!.. А вы...

— Со мной все хорошо, очень хорошо обошлось. Мне помог один трезвый и, наверно, умный человек. Но все-таки... ужасно было каждую секунду ждать, что тебя обвинят, засудят, когда ни в чем не виновен. Ни в чем! Можете мне поверить?

— Что вы невиновны? Перед кем? Конечно нет!— сказала Лиза, отводя взгляд с чувством неловкости, что мысль ее не полностью участвует в разговоре.

— Что это был за человек? Большевик?— спросила она.

— Наверное. Один из той комиссии, которая разбирала дело. Не знаю, как его по фамилии. Мне обещали узнать. Он как следует разобрался и, разумеется, ничего не мог найти.

— А что же искал?

— Ну, вы понимаете — следствие о бывшем царском чиновнике! Будто я умышленно родился и вырос при царе,— усмехнулся Ознобишин.— В конце концов убедились, что я — мелкая рыбка. Они ставят сети на леща. А я — густёрка.

Лиза посмотрела на него озадаченно, потом чуть улыбнулась.

— Сети могут поставить и на густёрку.

— Печально. Придется доказывать, что я уклейка.

Она стала серьезной. Неожиданно захотелось лучше распознать его. Оттого, что она с увлечением давала жить новорожденному своему чувству, ей казалось, она хорошо знает Ознобишина и смотрит на многое так же, как он.

История их отношений мысленно делилась ею на две неравные части. Одна была долгой и довольно бесцветной, другая быстро, почти внезапно привела к тому шагу, который — по виду — бесповоротно предрешал будущее.

Лиза в прошлом встречала Ознобишина редко — раз-другой в год, где-нибудь в магазине, на бульваре или на благотворительном вечере. Обычно он только раскланивался, правда, с необыкновенной приветливостью. Раз, в Липках, она заметила, что он пристально следит за ней. Это не понравилось ей, и, вероятно, он уловил ее неудовольствие, потому что в другой раз поздоровался до спесивости официально. Это тоже пришлось ей не по вкусу, она посмеялась в душе: «Подумаешь, какая чувствительность!» Потом он надолго исчез.

Уже после ухода Лизы от мужа Анатолий Михайлович встретился ей на улице. Произошло это при комическом обстоятельстве: она вышла из аптекарского магазина, и у нее развязалась покупка — пузырьки, коробочки, пакетики высыпались на тротуар. Стояла весенняя оттепель, все это перепачкалось в слякоти, и Лиза, с другими покупками в руках, неловко пыталась справиться с бедой. На помощь ей и подоспел Ознобишин. Купив в киоске газету, он все упаковал и предложил проводить Лизу до дома. Он был весел, дорогой пошучивал насчет того, что узнал секреты Лизиной косметики, ее женские пристрастия и будет иметь в виду ее любимый запах: флакон с одеколоном, вывалившись на тротуар, треснул, и газета быстро пропахла экстрактом резеды. Может быть, потому, что слепило мартовское солнце и ветер нес с собою приятно утомляющую влажность талых снегов, Анатолий Михайлович понравился Лизе забавной простотой речи и даже странностью своей фигуры, напоминавшей кенгуру: с маленькими руками, веским корпусом и как бы мешкавшими переступать тяжелыми ногами.

Они расстались дружески. Потом она увидела его перед самой революцией. Уже давно тянулось дело о ее разводе с Шубниковым, и она просила Ознобишина рекомендовать умелого адвоката, так как Виктор Семенович чинил всякие препятствия расторжению супружества, ловко предупреждая все ее шаги в консистории и в суде. Ознобишин назвал не-

сколько адвокатов и сам дал кое-какие советы, с деловым и очень тактичным участием. После революции в таких советах отпала надобность: браки расторгались по заявлению одной стороны, женщина была провозглашена свободной, наравне с мужчиной, невиданный новый закон говорил, что он не вмешивается в желание мужа и жены жить совместно или разойтись, и любому из этих состояний он тотчас придавал юридическую силу, как только супруги этого хотели.

Когда наступили трудные годы гражданской войны и Лизе наряду со всеми пришлось искать службу, она — опять случайно встретив Озпобишина — сказала ему, что нуждается в работе. Он давно снял форму чиновника и мечтал устроиться поотдаленнее от тех мест, где могли помнить его сюртук судейского ведомства. В виде переходного этапа он занимал должность помощника нотариуса и предложил Лизе поступить в его контору. Занятие, конечно, ничуть не поэтичное, но незаметное, по смыслу своему совершенно бюрократическое и, стало быть, безопасное — никаких выспренних требований к нему не предъявишь: сиди, составляй купчие на окраинные и слободские домишки не выше установленной властями для частной собственности предельной суммы или регистрируй мужнины доверенности женам — и всё. Меркурий Авдеевич тоже нашел службу у нотариуса всесторонне безвредной, и Лиза начала ходить в контору.

Здесь встречи ее с Анатолием Михайловичем стали ежедневными. Он проявлял к ней невинные знаки внимания, которые так легко будят в женщине симпатию. Иногда они вместе уходили после службы и брели грустными улицами на Волгу. Со смертью матери Лиза сильнее чувствовала свое одиночество. Во всем свете только сын был ей близок, но в душе оставалось так много простора для неизведанных желаний, что заполнить его не могла даже непрерывно растущая материнская любовь.

Пожалуй, ничто быстрее не объединяет людей, как одинаковые переживания. Анатолий Михайлович был холостяк, одиночество стало его привычкой, но в самой привычке этой он постоянно слышал горклость скучновато сложившейся жизни. Он не считал себя несчастливым, но, когда Лиза спросила его, бывал ли он счастлив, он с полной искренностью ответил, что нет, он не счастлив. Доброе десятилетие он стремился наладить свою карьеру, полагал, что, сделав ее, получит счастье в придачу. Но карьера требовала таких кропотливых усилий, что до счастья он уже и не думал дотянуться. Его признание толкнуло Лизу к откровенности. Она высказала убеждение,

что счастье никогда не приходит само по себе, его, наверно, надо приводить насильно, добиваться, брать. Вот она однажды не взяла своего счастья, упустила какой-то секрет — и уже не знает, как надо строить личную судьбу. Они оба были одиноки, хотя по-разному, оба несчастливы, хотя каждый на свой лад. Это сблизило их. Однако ни он, ни она не испытывали полной слитности своего чувства. Они увлекались взаимным тяготением и заманчивым любопытством друг к другу.

Болезнь Лизы все переменила.

Еще ранней весной Меркурий Авдеевич стал замечать ее похудание, кашель, чередующиеся возбуждение и усталость. Она сама ощущала непреходящую потребность отдыха, покоя. Отец настаивал, чтобы она показалась врачу. Ознобишин добыл адрес университетского клинициста и все не мог взять в толк — почему Лиза медлит. Однажды она созналась ему, что давным-давно была у врача и то, что ей стало известно, так устрашило ее, что она не может сказать дома о своей болезни. Ей казалось, прежняя жизнь кончилась безвозвратно. Безжалостной печатью, которую недуг накладывал на нее, она отвергалась от прочих людей. Больше всего она боялась за Витю: она обязана была отдалить его от себя, а как этого можно достичь? Вообще ведь известно, что роскошь успешной борьбы с чахоткой доступна богатым, а бедняки — это мыши, с которыми болезнь играет по-кошачьи. Лизе остается поднять руки.

Анатолий Михайлович с ожесточенным упорством запротивился такому упадку духа. Если Лиза не способна взять над собою власть, то он берется руководить ее лечением. Это все закоснелые предрассудки—будто бы на такую распространенную, превосходно изученную болезнь нет управы. Миллионы людей болеют, и миллионы поправляются. Слава богу, Лиза живет в университетском городе, к ее услугам самая просвещенная медицина. Надо только проявить твердость. Если Лизе тяжело сказать дома о характере заболевания, пусть до поры до времени болезнь называется как-нибудь по-другому. А лечиться Лиза будет, и Анатолий Михайлович руку дает на отсечение, что она вылечится!

Конечно, произнести горячую речь Ознобишину было несравненно проще, чем способствовать лечению. Как юрист, искусству красноречия он учился, а искусству медицины верил едва ли больше, чем красноречию. Поэтому, разведав, сколько можно было, о замечательных докторах, он стал прислушиваться ко всяким живучим поверьям о борьбе с туберкулезом и требовать, чтобы Лиза не пренебрегала народной мудростью. Что ни день, он приносил ей новые рецепты, доставал горшки

с бабушником, свиной жир, коровье масло и пристально следил за исполнением всех предписаний и советов. На службе в его письменном столе образовалась коллекция склянок, а на окне растопырились колючие кинжаловидные голубоватые листья алоэ.

Лиза слушалась его в полушутку. То, что болезнь не отпугнула, а приблизила его, удивляло Лизу. Заботы его не только возрастали, они менялись в своей сущности, пока не превратились в обожание. Лиза становилась особым, единственным делом его сердца. Он думал больше всего о ней, и она поняла, что если бы он вдруг ушел, она лишилась бы вернейшей своей опоры.

В тот вечер, когда он явился к ней с потешным и трогательным снопом тополиных веток и они пошли гулять, беседа их приняла окраску воспоминательную: у них уже было нечто вместе пережитое. Им хотелось быть совершенно откровенными.

Они сидели в том саду, где играл оркестр, музыка то поддерживала их разговор, то пререкалась с ним. Люди, бродившие по аллеям, были сосредоточены на себе и внушали, что на свете живется беспечно и увлекательно. Было холодно, Лиза испытывала удовольствие, ощущая неизменное соседство ознобишинской руки. Они ушли из сада и долго бродили по улицам, которые медленно засыпали, пока весь город не окунулся в полуночное безмолвие. Они спохватились, что можно простудиться. Анатолий Михайлович накинул на спину Лизе один борт своего пальто, обняв ее плечо. Почти у самого дома он сказал:

— Если мы переживем вместе трудное время, то легкое нам будет очень легко.

— Сейчас, в иную короткую минуту, мне и трудное кажется легким.

Он вдруг спросил:

— Ты согласишься быть моей женой?

Она не ждала этого «ты» и этого слова — «жена», с которым у нее соединена была прошедшая и уже чуждая пора жизни. Она не отвечала долго, потом выговорила первые слова, поддавшиеся связной мысли:

— Надо было подумать о таком предложении.

— У меня было время.

— Нет, правда,— сказала она с горькой веселостью,— ведь меня и целовать нельзя: я заразная.

Он сразу остановился, повернул ее к себе лицом и поцеловал, не выпуская из своего пальто. Они сделали несколько тихих шагов. Он туго держал ее. У ворот он высвободил ее из

пальто. Она ощутила свое лицо стиснутым его ладонями, и он опять надолго закрыл ее рот своим. Ей стало страшно холодно, она растворила калитку, хлопнула ею и побежала непроглядно темным двором к дому...

Как все больные, Лиза заполняла бессчетные часы лежания раздумьями. Это были медленные облака, проплывавшие перед взором из конца в конец прожитых лет. Она сравнивала облака по цвету, разглядывала их прихотливые очертания. Она видела среди них себя. Насмотревшись, она заставляла плыть их в другом порядке, перевертывая на разные лады, как это делает ветер с настоящими облаками. Так не осталось в ее прошлом ни одного шага, о котором она не передумала бы десять раз.

Когда Ознобишин находился в тюрьме, Лизу удивила пришедшая на ум своенравная игра случая: вот так же когда-то Кирилл Извеков был отнят у нее тюрьмой. Что сделала в то время Лиза для Кирилла? Ничего. Неужели она полюбила Ознобишина сильнее, чем любила Кирилла? О нет, насколько же тогда она была беспомощнее! Сейчас она прикована к постели, но никогда прежде ее слово не имело такой власти: даже отец уступает ей во всем. А в те далекие дни она была бессильна, несмотря на благодатное здоровье. К кому могла бы она пойти за поддержкой? В подругах ей не посчастливилось. Если же и нашлись бы подруги, то что она получила бы от них, кроме девичьего любопытства? Вера Никандровна относилась к ней, как к девочке. Да и правда, не слишком ли детским было это первое чувство Лизы?

Конечно, конечно, оно было прекрасно! Еще сейчас, вспомнив вдруг, как Кирилл неподвижно держал в своей жестковатой руке ее пальцы и за непреодолимой робостью его она слышала упрямую силу и тоже не могла шевельнуться от страха и непонятного наслаждения,— еще сейчас Лиза испытывает медленный прилив крови к лицу. Ни с кем, никогда она не будет так мечтать, как мечтала с Кириллом! Она один раз сказала ему:

— Мы с тобой непременно будем читать вслух. Самых, самых любимых писателей! И если будем читать про несчастных героев, то будем еще счастливее. Поэтому что мы будем про них читать и думать: какие мы счастливые, что не несчастны, как эти герои!

Тогда Кирилл ответил:

— Нет. Мы будем читать и придумывать с тобой, как бы сделать несчастных героев счастливыми героями. И от этого мы будем с тобой самыми счастливыми.

До сих пор помнит Лиза, как ответил Кирилл и как поглядел на нее будто подожженными изнутри глазами. Ей тогда очень понравилось, как он это сказал и как посмотрел. А хорошо ли теперь помнит Лиза его глаза? Они желтые. Темно-желтые. Почти карие. Но все-таки какого оттенка? Вот у Павлика Парабукина тоже желтые глаза. Но ведь ничего похожего на глаза Кирилла! У Кирилла они быстро менялись: то вдруг тяжело блеснут матовым отливом старой меди, то посветлеют, как табак. А вечером они чернели, и однажды Лиза засмеялась: «Не гляди на меня, как цыган».

Что, если бы Кирилл был отцом Вити?

Может быть, теперь перед Лизой всегда находился бы любимый взор, и она не позабыла бы его поглощенных далью оттенков? А у Вити глаза матери, глаза Лизы. Он вообще почти ничего не перенял от Шубникова. Он — ее сын, и только. Скорее, в нем что-то напоминает Кирилла, как ни странно. Хотя почему — странно? Когда мальчик еще не появился на свет, когда Лиза носила его, она гораздо больше думала об Извекове, чем об отце ребенка. Такие вещи не могут не сказаться — все женщины верят в это.

Она и сейчас думает об Извекове. Правда, все реже, все созерцательнее. Раньше, перебирая свои заветные памятки и вынув из-под спуда записную книжку с буквами «Е» и «К», она подолгу сидела, держа ее в опущенных на колени руках. Ничуть не поблекла надпись, сделанная на первой странице Кириллом: «Свобода. Независимость». Эти два слова говорили сначала о том, что Лизу могло ожидать в будущем, потом стали напоминать, что ею утрачено. Не раз над этой книжкой у нее текли слезы. Как-то она решила записать в ней лермонтовское «Прощанье». Она заполнила всю вторую страничку и перешла на третью.

Прости, прости!
О, сколько мук
Произвести
Сей может звук.
В далекий край
Уносишь ты
Мой ад, мой рай,
Мои мечты.
Твоя рука
От уст моих
Так далека,
О, лишь на миг,
Прошу, приди
И оживи
В моей груди
Огонь —

Тут у Лизы получилась вместо слова неровная черточка: она оборвала записыванье, потому что услышала шаги Виктора Семеновича. Он был в духе, вошел шумно, от него веяло парикмахерской и ноябрьским ветром, он сказал обрадованно:

— Скорей, скорей собирайся! Мы едем смотреть этот самый заграничный синемаскоп с акустическими эффектами. Говорят — здорово! На экране бьют тарелки — и за полотном звенят черепки! Или вдруг мчится автомобиль, и ты слышишь рожок — гу-гу! Как на улице! Живей, а то опоздаем! Внизу ждет самовар! («Самоваром» он называл свою гордость — недавно приобретенный автомобиль, один из первых во всем городе.)

Так стихотворение и осталось недописанным, и Лиза больше никогда не могла что-нибудь добавить в книжку, а только едва вновь брала ее, договаривала в душе слово, которого недоставало на месте испуганно неровной черточки:

И ожили
В моей груди
Огонь любви.

Да, конечно, это была детская любовь. Сейчас Лиза уже не плачет, перебирая заветные памятки. Сейчас она грустит, задумчиво, почти светло. Совсем недавно она разглядывала большой картон с фотографиями гимназисток ее выпуска. Центр картона занят портретом начальницы и педагогами, а вокруг них, разбегаясь по правильным овалам, наклеены глазастые девицы с бантами на груди и в высоких взбитых прическах. Лиза Мешкова наклеена рядом с законоучителем — с грозным батюшкой, у которого смоляная борода росла больше в ширину и лежала на плечах. Не от этого ли неожиданного соседства у Лизы такой перепуганный вид? Нет, просто она еще девочка и не знает, как быть, когда являешься к фотографу, и у тебя завиты щипцами волосы, и вся голова в шпильках.

Да, да, это была детская любовь. Какими силами могла воспротивиться Лиза миру злобы и несчастья, приведшему Кирилла в тюрьму? Может быть, она должна была поехать за Извековым в ссылку? Но отец предупредил ее, выдав замуж. Может быть, уйдя от мужа в первый раз, она должна была бежать не к отцу, а прямо в олонецкие дебри? Но замужество успело тоже предупредить: ей предстояло ждать ребенка. Может быть, Лизе вовсе не приходила в голову такая дерзновенная мысль? Ах, сколько дерзновений приходит на ум в минуты отчаяния или несчастья! Много ли из всех дерзаний или хотя бы дерзостей покинуло пределы ума, которого они коснулись?

Не покоятся ли они в нем тихо и мирно, подобно добрым намерениям, которые человек складывает в своем сердце, нисколько его не обременяя?

Нет, Лиза не оправдывала свое прошлое. Она только видела себя в нем беспомощной. У ней не было своей воли. Свою волю она лишь начинала искать, когда Кирилл был для нее уже потерян.

До тех пор, пока не узнаешь горя, не станешь взрослым. Но и сделавшись взрослым, не со всяким горем справишься. Шесть лет жизни с Виктором Семеновичем Лизе и теперь еще кажутся наваждением. Несмотря на множество маленьких событий, составивших бойкую биографию Шубникова, все годы замужества слились в памяти Лизы в сплошную краску сумрака. Ребенок держал Лизу в доме его отца, но ребенок и вырвал ее из этого дома. Она была пронизана долгом перед сыном — тем, что обязана вырастить сына. Но она убедилась, что вырастить его в доме Шубникова — это значит вырастить второго Шубникова: ребенок не мог не повторить собою отца, впитывая каждую минуту его пример. И она бросила дом, чтобы выполнить материнский долг, как прежде оставалась в доме ради мнимого выполнения того же долга.

Сыну исполнилось тогда пять лет. Она схватила его, спящего, на руки и черной лестницей, вечером, ушла в одном платье, так же как почти за шесть лет перед тем первый раз пробовала убежать от мужа. Слишком долго зрело ее решение, чтобы слабость могла его пересилить. Слишком безответны стали ее ожидания помощи, чтобы она не уверилась, что ей никто не поможет.

Иногда жажда помощи так томила ее, что она искала сочувствия даже там, где заведомо его не могло быть. Так, однажды она рассказала все о себе Цветухину, нечаянно и нелепо — в театре, во время антракта, прогуливаясь в фойе и крутя в пальцах программку.

Не видя Егора Павловича годами, она после каждой встречи открывала в нем новые особенности. Но обаяние его, некогда почти ослепившее Лизу, все время тускнело. Она думала, что меняется он, а менялась она. Он как-то линял в ее глазах, живописность его становилась похожей на рисовку, и вдруг, не веря себе, Лиза обнаружила в нем пошлость. Однако она по-прежнему волновалась, слыша его многотонно переливавшийся голос.

Здесь, среди разодетых, чинных пар, мерно и серьезно кружившихся по фойе и разглядывавших особенно разодетую, особенно чинную пару — известную Шубникову с известным Цве-

тухиным — Лиза, сама не зная почему, сказала Егору Павловичу, что жизнь не удалась, и все надо перестраивать, и она не в состоянии найти выход. Он слушал ее с проникновением, и когда она выговорилась, ответил, что, вероятно, несчастье корнями своими уходит в тот дар, которым ее наделила природа.

— Что это за дар?

— Чистота,— сказал он, будто с сожалением.

Он даже назвал Лизу мадонной и процитировал: «чистейшей прелести чистейший образец». Это звучало шуткой, а Лизе хотелось говорить от всего сердца.

— Вы когда-то предостерегали меня от моего купца.

— Да, но вы не доверились мне. Теперь поздно предостерегать. Нужны иные советы.

— Какие? У вас жизненный опыт, я готова довериться.

— Вы требуете от всех слишком большой правдивости,— сказал он с видом вдумчивым и немного утомленным.— А люди всегда двойственны, и даже нищий играет какую-нибудь роль, если он не наедине с самим собою. От этой бытовой мудрости не уйти. Она целительна.

— Нельзя ли яснее? Как эту мудрость должна применить я?

У него был слегка комичный, но хитрый взгляд картинного змия, когда он тихо выговорил оттолкнувшие ее слова:

— Аромат лжи утешительнее зловонной правды.

Она прошла несколько шагов точно оглушенная, потом ответила:

— Поэт выразил это пристойнее: «нас возвышающий обман»,— так, кажется?

— Да. Однако, я припоминаю, вы боитесь поэзии. Поэтому я перевел ее на язык прозы.

— Но начали вы с поэзии, и, разрешите, я ею кончу: я предпочитаю оставаться «чистейшим образцом». Проводите меня в ложу.

Эти околичности и кокетство Цветухина отодвинули его в воображении Лизы неожиданно далеко, хотя был момент, когда он легко мог бы стать ей другом, потому что Шубников толкал ее к поискам дружбы своими вздорными преследованиями.

Она не любила вспоминать жизнь с Шубниковым, но совсем незадолго до болезни один миг повторил в ее памяти весь путь с Виктором Семеновичем в таких разительных подробностях, словно это был предсмертный миг, о котором знают умиравшие и возвращенные к жизни люди.

Лиза проходила той отлично знакомой улицей, где помещался главный магазин ее бывшего мужа. Еще издали она заметила кучку зевак и перебегавших с места на место неуклюжих, в брезентовых одеяниях, рабочих. Она решила, что случился пожар, каких много бывало из-за распространенных самодельных печек. Звон железа, треск досок долетел до ее слуха. Она перешла на другую сторону и увидела, что все происходит вокруг магазина. Она невольно ускорила шаги.

Пожарными баграми срывали с дома вывеску. Аршинные золотые буквы по черному полю — ШУБНИКОВ — уже исковеркались на разорванных и свисавших со стен железных листах. Крючья багров скрежетали по железу, длинные гвозди со свистом вылезали из своих проржавленных гнезд в мясе полусгнивших досок. Наконец вывеска вместе с кусками деревяной рамы рухнула на тротуар под восторженные крики бегавших кругом мальчишек.

Был действительно один только миг, совпавший с грохотом обрушенного на асфальт железа, когда Лиза, словно во внезапном припадке, все озаряющем пронзительным светом, увидела себя за кассой этого шубниковского магазина, и все свое существование у Шубниковых, и мгновенно заново передумала прежние нескончаемые свои думы. Потом это исчезло, как исчезает вблеск магниевой вспышки, и ей почему-то сделалось необычайно легко, будто миновал мучивший страх. Лязг багров, детские голоса, треск деревянных рам, отдираемых от железа, показались ей веселым шумом ранней весны. Задорная уверенность вселилась в нее: теперь с Шубниковым кончено для всех и для всего! Она уже не гнала от себя воспоминаний о нем, они перестали ее пугать...

И вот проплывают в сознании Лизы непохожие друг на друга, но связанные в нераздельную череду эти далекие облака: Кирилл, Цветухин, Шубников. И — самое близкое, из-за близости неуловимое ни в расцветке, ни в очертаниях, с размаха полнеба занавесившее облако: Ознобишин. Кто из всех четверых проявил к ней столько человеческой заботы? Мыслимо ли, чтобы в трудную для нее пору болезни Анатолий Михайлович руководился чем-нибудь другим, кроме любви, поддерживая Лизу своей добротой?

Он был, несомненно, добр, хотя Лизу изредка останавливало на себе его маленькое игривое лукавство: вдруг будто проскользнет в мягком взгляде Анатолия Михайловича тоненький смешок, да и лицо станет хитрым-прехитрым, но всегда на одну секунду, а потом он снова добродушно смеется, и все в разговоре хочет смягчить и приладить. О добре он рассуж-

дает с охотой, считая, что время должно бы научить людей преимуществу доброты над злобивостью.

— Человек плохо знает арифметику, если думает, что на злобе больше выгадаешь. Счастливее добрый, а не злой. Не говоря о том, что у доброго печень в лучшем порядке, ему всегда легче окажут услугу, в расчете на его доброту. Каждый ведь помнит о черном дне и прикидывает: я тебе, ты мне.

Лиза, слушая его, в раздумье сказала:

— Я припоминаю, меня, в сущности, только и учили что добру. На разный манер, но все то же: делай добро, делай добро. Отец с утра до ночи. Мать. В гимназии. В церкви. Добро, добро, добро — я больше ничего и не слышала. Готовили к миролюбию, к прощению, ко всякой боязненности, к тихому уюту. А когда вырастили, оглянулась я, вижу — вокруг борьба, ненавистничество, бесстрашие, пороховая вонь. Как быть с неглохнущим в ушах наставлением о добре? Чему теперь учить сына?

— Добру и учите,— без колебаний посоветовал Ознобишин.

— Чтобы он был беспомощен, как его мать? Вот вы, с вашим тихим идеалом — зеленым городком Васильсурском. На Волге, под горой,— песня. На Суре замерли рыболовы в лодках. Кругом — сады. Козы на травке-муравке. Из окна на сто верст — заливные луга. На столе — «Нива» за девяностый год, на стенке — часы с кукушкой. Так ведь вы мне рисовали? А вас взяли и посадили в тюрьму...

— Добро-то меня из тюрьмы и выручило,— с торжеством сказал Ознобишин.— Убедились, что вреда я никому не причинил, и выпустили.

У него скользнула на один миг улыбка, и тут же он проговорил в покаянном тоне:

— Когда я служил в палате, у меня было спокойное убеждение, что тюрьма — это непременно справедливость. А когда сел сам в тюрьму, я воспринял ее как крайнюю несправедливость. Странно, правда? Теперь мне справедливым кажется только освобождение. И я должен отблагодарить за добро добром. Сделаю это, тогда успокоюсь.

Лиза больше не расспрашивала, что же с ним произошло в тюрьме. Ей было довольно, что он на свободе, а ворошить пережитое для него слишком тяжело.

Пережитое не давало Анатолию Михайловичу покоя, это верно. Ему вдруг мерещилось, будто он снова погружается в глухоту одиночного заключения, и страх, что это повторится

 в действительности, заставлял его все время думать — как бы

предотвратить такую грозную возможность? Он не мог допустить, чтобы существовало сомнение в его добропорядочности, и решил как можно скорее доказать верность своему слову.

Дела былой камеры прокурора палаты в эти дни перевозились на новое место, в помещение губернского архива. Ознобишин застал в сыром приземистом доме катакомбы пропыленных папок, тетрадей, перевязанных в пачки или наваленных вдоль стен врассыпную. Нельзя было надеяться что-нибудь отыскать в этом хаосе. Но Ознобишину повезло: знакомая старушка-архивариус, некогда известная среди судейских чиновников по прозвищу «Былое и думы», сказала ему, что архивы начала десятых годов свалили недавно в дальней комнате — и пусть он там попробует порыться.

Он остался один на один со штабелями дел, пристроился у окна, где легче было разбирать надписи на корешках папок, и неожиданно обнаружил сразу несколько связок с датой 1910 года. Он скоро напал на след нужного дела и выискал донесение канцелярии тюрьмы товарищу прокурора судебной палаты о погребении на Воскресенском кладбище, в братской могиле номер такой-то, находившейся под следствием и умершей в тюремной больнице от родов Ксении Афанасьевны Рагозиной. Он обрадовался, что память не обманула его, и продолжал листать тетрадь за тетрадью, рассчитывая найти еще какой-нибудь документ об умершей Рагозиной.

Но тут ему подвернулась папка с делами самого прокурора палаты. Он раскрыл ее. Это были всевозможные прошения и письма чиновников камеры на имя его превосходительства и с его начальственными резолюциями.

Ознобишин быстро перенесся в атмосферу быта, столь еще недавнего и в таких подробностях изученного, что почудилось, будто распахивались, после разлуки, двери родного дома. Как живые, заговорили голоса сослуживцев и начальников — о перемещениях с должности на должность, о производстве в чины, о представлении к «Аннам» и «Станиславам», о зачислениях, о квартирных и подъемных.

Вдруг в этих голосах он расслышал самого себя, свой вкрадчиво-деликатный голос за каллиграфически написанным заявлением. Он, Анатолий Михайлович Ознобишин, кандидат на судебную должность, жаловался на товарища прокурора, не допускавшего его к участию в расследовании дела о привлекаемом по государственному преступлению Петре Петрове Рагозине. Заявление свидетельствовало о стремлении просителя послужить на благо царю и отечеству, и на бумаге, рукою его превосходительства, была нанесена сочувственная надпись:

«Лично говорил товарищу прокурора о желательности поощрить».

Анатолий Михайлович замер с развернутой папкой в руках. Документ был памятный, документ был страшный. Документ продолжал жить старой жизнью Ознобишина, тогда как он сам эту старую жизнь хотел бы считать несуществовавшей. Документ не имел права на то прежнее существование, в котором было отказано самому Ознобишину. Бумага говорила о рвении ее составителя к коронной службе. Бумага утверждала то, что Ознобишин должен был отрицать, если не хотел себе погибели.

Анатолий Михайлович обернулся на окно. Стекла были серы, за ними виднелась рано потемневшая зелень усталых от зноя деревьев. Он прислушался. Комнаты архива были немы и глухи.

Плотно накрыв бумагу влажной ладонью, Анатолий Михайлович чуть повернул кистью руки, и лист бесшумно отделился от корешка папки. Ознобишин сложил и спрятал документ в нагрудный карман. Папка была сшита шнуром, листы пронумерованы, но никакой описи в деле не имелось — никто не мог бы догадаться, какого именно документа недоставало теперь в папке. Ознобишин отнес ее в темный угол, закопал поглубже в кучу разрозненных листов и вернулся к окну. Он тщательно связал просмотренные раньше дела, сложил их на подоконнике и вытер лицо платком. Пальцы его немного вздрагивали.

Уходя из архива, он сказал об отложенных на окне связках и многозначительно просил не трогать их, потому что они могли скоро понадобиться:

— Делом интересуется ответственный товарищ. Оно имеет историко-революционное значение.

Ему обещали исполнить просьбу: обещания давались с легкостью безразличия, потому что архивисты видели в происходящем не просто беспорядок, но что-то похожее на всемирный потоп. Ломовые извозчики продолжали перетаскивать с телег вороха доставленных архивов, лестницы, коридоры были усеяны бумагой, и если бы исчез целый воз каких-нибудь документов, вряд ли кто бы сразу спохватился.

Анатолий Михайлович решил сжечь похищенную бумагу. Однако, придя домой, передумал: запах гари мог проникнуть к соседям, пепел было нелегко уничтожить. Он изорвал бумагу на крошечные кусочки и хотел выбросить их с мусором. Но и это показалось опасным. Тогда ему пришла на ум совершенно свежая мысль. В его холостяцком хозяйстве находился

пакет с мукой. Он развел немного теста, закатал в него изорванную бумагу и, завернув лепешку в обрывок газеты, отправился на улицу.

Он пришел к Волге в сумерки. Люди, изнуренные жарою, поодиночке поднимались ему навстречу в город. Лиловое марево затягивало всю луговую сторону, река шла молча и ровно, точно расплавленный свинец.

Ознобишин швырнул в воду лепешку, она погрузилась как камень, он посмотрел недолго на расплывавшиеся кольчатые следы всплеска и пошел дальше. Если бы все прошлое одним таким броском можно было потопить в воде! А оно плелось по стопам Анатолия Михайловича и, против ожиданий, в эту минуту словно бы еще больше потяжелело. Не осталось ли в архивном море еще какого-нибудь губительного клочка бумаги? Не навлек ли Ознобишин на себя подозрение своим приходом в архив? Как знать?

И вдруг, день спустя, Анатолию Михайловичу стало известно, что допрашивал его в тюрьме не кто иной, как Петр Петрович Рагозин. Мигом все будто обернулось против Ознобишина, и земля стала горячей у него под ногами. Человек, которого он считал своим доброжелателем и собирался отблагодарить, был не только трезв и умен, он был беспримерно коварен. Ураган еще не отбушевал, он уносил Анатолия Михайловича с собою в неизвестность.

Ознобишин бросился к Лизе. В великом треволнении он рассказал о поразительном случае в тюрьме, и она была подавлена необычайным и, как ей показалось, угрожающим стечением обстоятельств. Едва они опомнились и приступили к совету — надо ли что-нибудь предпринимать? — как новая неожиданность вмешалась в события.

Задолго до обычного часа явился домой Меркурий Авдеевич. Его как будто смутило присутствие Ознобишина, но только на минуту. Присаживаясь у кровати дочери, он обратился к нему почти родственно:

— Я забежал мимоходом. На всякий случай сказаться Лизе. Но рад, что застал вас, потому что ваше слово может мне быть сейчас очень полезно.

Он говорил чуть внятно, дышал часто, будто примчался неоглядкой, и вид его был помраченный.

— Вот. Подали мне на службе. Срочно. К трем часам дня вызван я, как видите...

Он протянул Ознобишину бумажку. Финансовый отдел городского Совета предлагал гражданину Мешкову явиться в сороковую комнату к товарищу...

Тут у Анатолия Михайловича, читавшего повестку про себя, вырвалось во всеуслышание:

— К Рагозину?

Лиза приподнялась на локтях и спросила шепотом:

— В тюрьму?

— В тюрьму? — подхватил Меркурий Авдеевич.— Почему в тюрьму?

Ознобишин встал и сделал два-три неопределенных шажка прочь от кровати и назад. Все трое некоторое время не могли выговорить ни слова. Меркурий Авдеевич испуганно смотрел на дочь. Она полусидела, упираясь в подушку локтями, и у ней были видны темные ямки, запавшие под ключицы.

— Может, это другой Рагозин? — несмело предположил Анатолий Михайлович.

— Какой там другой! — отчаянно махнул руками Мешков.— Тот самый Рагозин, я знаю!

— Тот самый? Который в тюрьме? — спросил Ознобишин.

— Был когда-то! Теперь все они на воле. Я уж разузнал: Рагозин, который у меня во флигеле квартирантом стоял. Назад с десяток лет. Тогда его у меня и забрали.

— Неужели Петр Петрович? — сказала Лиза.

— Он и есть.

— Так это же хорошо! Он ведь, наверно, тебя помнит.

— Не знаю, что лучше — чтобы помнил или чтобы забыл. Ты чего про тюрьму-то заговорила?

Анатолий Михайлович должен был наскоро пересказать свою историю знакомства с Рагозиным, и все трое попытались распутать неподатливый узел.

— Что же это? — недоуменно сказал Мешков.— Он и в тюрьме орудует, он и финансами заправляет? Что же это получается? — он вроде главной власти, что ли?

— Отчего же нет? Если с ним и царский режим не управился,— сказал Анатолий Михайлович.

— Может, у них только так называется — финансовый, мол, отдел. А придешь, тебя сразу цап! — и под замочек, а?

— Зачем же? Ведь указано — в городском Совете,— без уверенности возразил Ознабишин.

— А сороковая комната? — значительно проговорил Мешков.

Он тяжко вздохнул, вынул из бумажника гребенку, начал расчесывать бороду, но бросил и долго, нескладно засовывал бумажник назад, в карман.

— Скоро идти... ох, господи! Как же вы посоветуете, как мне себя в этой сороковой комнате держать?

— Говорите правду, Меркурий Авдеевич, и все. Против правды злодейство бессильно.

Меркурий Авдеевич испытующе вгляделся в Ознобишина, словно удивленный его шелковой речью.

— Я рад, что около тебя такой человек,— сказал он дочери и снова вздохнул.— За что все это испытание? Мало ли я добра делал? Тому же Рагозину квартиру сдавал. А ведь он был поднадзорный. И цену с него сходную брал, не грабил. Чай, вспомнит, а? Да нет, где вспомнить? Добро нынче не помнится. Эх...

— Помнится, помнится! — воскликнула Лиза и умоляюще взглянула на Анатолия Михайловича.

Мешков привстал и поцеловал дочь.

— Не собрать ли тебе чего? Возьмешь с собой,— сказала она в тревоге.

— Да что уж! Чай, вернусь, а? — спросил он, озираясь вокруг, точно в незнакомой комнате.

Помедлив, он шагнул к Ознобишину и вдруг раскрыл узенькие, неуверенные объятия.

— Если чего случится, вы уже не оставьте Лизу мою со внучком.

Он оглянулся на дочь.

— Да между вами, может, уже сговорено?

Он ответил себе сам, утвердительно тряхнув головой.

— Ну, слава богу. Тогда... в случае, не вернусь... мое вам благословение.

Он перекрестил по очереди Лизу и Анатолия Михайловича.

— Прощайте. Витю поцелуй, Лиза. Куда он делся? Пойду. Прощайте.

Он вышел, мелко шагая, сгорбленный и всклокоченный.

Лиза лежала сначала неподвижно, потом круто отвернула лицо к стене.

15

Об угрозе выселения Дорогомилова из квартиры мальчики узнали от Алеши. Кроме того что Алеша пережил сражение Арсения Романовича с Зубинским, он слышал очень важный разговор отца с матерью. Дело касалось тайны, которую Арсений Романович доверил Алешиному отцу, и в разговоре об этой тайне отец назвал имя какого-то Рагозина. За Рагозиным кто-то гнался, и Арсений Романович его спрятал. Теперь Рагозин мог бы защитить Арсения Романовича от Зубинского, но Арсе-

ний Романович не хочет даже слышать о Рагозине, и тут скрыта загадочная сердцевина тайны.

Павлик Парабукин наказал Алеше крепче держать язык за зубами, а сам принялся действовать. Он выспросил у своего отца — кто такой Рагозин. День спустя он сообщил Вите, что это — самый главный комиссар.

— Как бы не так,— возразил Витя,— самый главный! Есть главнее его.

— Главнее его нет,— сказал Павлик,— потому что у него все деньги, какие только есть. Он все может сделать, что захочет.

— Нет, не все, потому что есть военный комиссар, который сильнее всех, потому что он должен воевать.

— Умник какой! Так тебе ружья задарма и дадут? А деньги у кого?

Они поспорили, но потом сошлись на общем плане похода к Рагозину, чтобы искать защиту Арсению Романовичу. Павлик решил, что найти Рагозина можно, очевидно, в банке,— где же ему еще обретаться, если не там, куда складывают деньги.

Он привел Витю на Театральную площадь. Парадная сторона ее была занята зданиями коммерческих банков. Фасады потускнели — заботы давно были направлены на вещи более насущные, чем блеск цветных изразцов или полировка дверей на подъездах.

После Октябрьской революции банки были национализованы государством. Национализация происходила медленно. Банки саботировали, уклоняясь от проведения советской политики, изыскивая разновидные ходы, чтобы скрыть подлинные ценности и скорее обесценить невиданную гигантскую массу бумажных денег.

Стать хозяином страны мог только победитель на трех фронтах. Это были фронт военный, фронт хлебный, фронт денежный. События на денежном фронте совершались бесшумно, но они не останавливались, не прерывались ни на секунду, они текли, как вода, затопляя дворцы и подвалы столиц, разрушая работу заводов, просачиваясь в хаты деревушек. Сцепления жизни рвались, связки ослаблялись, суставы окаменевали. Паралич всякого обмена и за ним смерть всякой деятельности — вот чем угрожал революции бесшумный денежный фронт.

Банки обладали в денежном хозяйстве опытом тысячелетий. Орудия их отличались тонкостью и были гибки. Их яды могли сказываться мгновенно и могли действовать исподволь.

Никто с момента революции так изящно не мистифицировал добродетель, как банки: их действия имели вид борьбы со спекуляцией золотом и валютой, и чем это казалось убедительнее, тем больше плодилось спекулянтов.

Банковская сеть России была обширна, в ее ячейки густо вплетались нити чужеземных банкиров. Национализация столкнулась с препятствиями, которые тотчас дали себя знать во внешней политике. Было недостаточно объявить банковский капитал собственностью государства. Надо было воспрепятствовать его утечке за рубежи, помешать его омертвлению. Поэтому не на каждом шагу национализации тактика центральной власти была понятна в провинции, на окраинах. К тому же столичные правления банков не переставали потихоньку штопать и подтягивать свои раскинутые по стране тенета.

Саратов задыхался от недостатка денег. Налоговые источники губернии уже иссякали. Оставалась одна надежда на печатный станок. Но как ни упрощенно выпускала казна кредитные билеты, мало чем отличавшиеся от трамвайных и достойно переименованные в «дензнаки», станок не успевал за нуждою. Банки на Театральной площади чувствительно мешали стараниям изыскивать деньги, и — наконец — городские власти решили подогнать события: была создана комиссия, которую назвали «инициативной», и она внезапно овладела аппаратами всех банков. Это был не очень большой, но внушительный шум на самом тихом из фронтов. Коммерческие банки перестали существовать.

Теперь, годом позже, финансы города еще острее испытывали расшатывающие потрясения времени, хотя и управлялись одной рукой. Рука эта тем больше обязана была к твердости, чем труднее становилось отыскивать деньги на войну и переустройство жизни. Поэтому на Петре Петровиче Рагозине сошлись все взоры: руку его знали и в нее верили.

Когда в заседании исполнительного комитета назвали его кандидатуру и было сказано, что город и губерния стоят перед финансовым крахом, Рагозину оставалось повторить, что он уже раз отказался от должности финансового комиссара по простой причине: он ничего не понимает в деньгах, а итальянскую бухгалтерию считает подозрительной, ибо она именуется двойной. Его успокоили: теперь он будет не комиссаром, а заведующим финансовым отделом. Он спросил, улыбнувшись: а на этой должности можно и не понимать в деньгах? Ему возразили: в этом состоит его преимущество перед финансовы-

ми специалистами — понимать в деньгах он научится, зато ему не нужно учиться честности. На дебатах присутствовал Кирилл Извеков, не проронивший ни слова. После того как Рагозин дал согласие принять должность, Кирилл покосился на него, встретил грозный взгляд и закрыл ладонью лукавую улыбку.

Не согласиться Рагозин не мог. За десять лет пребывания в партии основой его сознания сделалось то, что он — большевик и принадлежит коллективному разуму, наделяющему целью все его существование. Он исполнял раз усвоенную обязанность, как долг, который стал привычкой.

Но, приступив к новому делу, он с первых же часов обнаружил, что еще никогда нога его не ступала в мир более хаотичный и менее податливый человеческой воле. Как всегда перед началом работы, Петр Петрович составил план, чтобы не растрачиваться на мелочи, а идти по главным направлениям. Таких направлений было три. Требовалось проверить, как проводится конфискация денежного капитала, затем — как хранятся ценности (с мыслью подготовить их к возможной эвакуации ввиду прифронтового положения города) и, наконец, добиться основательного порядка в распределении ассигнований.

Он едва начал знакомиться со своими сотрудниками, как его заполнили бесчисленные неотложные требования. Деньги — это хлеб, в хлебе нельзя отказать, когда его ждет голодный, а единственно, чем без недостачи располагали двадцать комнат, поступившие в полное распоряжение Рагозина, было слово «нет».

Весь его день поглощали просьбы и просители. Шмелями гудели в приемной небогатые держатели процентных бумаг — мелкие адвокаты, чиновники, педагоги, владельцы пригородных дачек, популярные среди обывателей врачи. По закону всем им полагались ссуды под конфискованные облигации, если сумма бумаг не превышала десяти тысяч.

Вдруг впорхнет в кабинет рыдающая актриса и, утирая синие от ресничной краски слезы, примется доказывать возмутительную неправильность описи ее драгоценностей, хранящихся в банковском сейфе. У нее две пары настоящих бриллиантовых серег, а одну из них в описи обозначили бриллиантами «Тэта». Она никогда не положила бы в сейф тэтовские стекляшки. Поддельные украшения ей, чуть не каждый вечер, нужны были для сцены, и она держала их вот в этой сафьяновой коробке — вот, смотрите, товарищ комиссар, вот четыре браслета, вот два колье, вот кольца, вот сережки, сколько

их? — она даже не считала. Она ведь не говорит, что это — бриллианты? А в сейфе были только настоящие камни чистой воды. Серьги ей поднесли поклонники на последнем бенефисе. Свидетели — вся труппа. Она не виновата, что сейчас отменены бенефисы и больше нельзя ждать никаких подношений. Ей нужно жить. В сейфе она хранила честные трудовые сбережения. Это не прихоть и не роскошь, а заработная плата актрисы. В банке либо подменили серьги поддельными, либо составили фальшивку, чтобы устроить какую-нибудь аферу. Она не девочка! Ее не обманешь! Она требует создать комиссию экспертов. Она скорее умрет, чем признает, что ей поднесли вместо бриллиантов химические суррогаты! Слава богу, ее поклонники — не немцы!

То заявится к Рагозину и просидит битый час заведующая отделом здравоохранения. Это — уважаемая женщина, старый врач. Мощь ее убеждений неотвратима, и Петр Петрович с непосильным трудом отыскивает возражения. Он знает, что она права, но он тоже прав: ей нужны деньги, потому что государство требует от нее народного здравия, а у Рагозина нет денег, потому что государство не успевает изготовить столько, сколько диктуется обстоятельствами. Конечно, станок приспосабливается ко времени. На бумажке, которая вчера украшалась цифрой десять, сегодня печатается цифра тысяча, завтра к трем нулям той же бумажки прибавится еще три. Но рынок обгоняет нули, как гончие зайца, никакие петли и скидки не помогут зайцу уйти от погони. Рагозин слышит дружный хор двадцати своих комнат. «Нет!» — возглашают они.

— А я прошу вас вникнуть в положение,— настаивает докторица.— Ожидать денег из центра нечего. Мы ездили, нам сказали: вся постоянная медицина должна содержаться на местные средства, на нее мы ни копейки не дадим. На что же прикажете содержать наши больницы? Мы живы тем, что нам присылают на военнопленных, на лазареты, на холеру. Мы отказываем больным. Одеял нет, обуви нет. Назначают чрезвычайную комиссию, она спрашивает — почему нет подушек? А откуда взять? Я не финансист, я врач, я не могу изобрести деньги. Нам говорят, что мы не имеем права допускать, чтобы беженцы умирали. А стоит только перевести деньги из одной статьи в другую (если я израсходую на холеру то, что нам прислали на тиф), то мне грозят судом. Кто виноват, что еще не кончился тиф, как вспыхнула холера? Если бы вы видели, как мы бьемся! А вы обзываете нас, партийных врачей, саботажниками.

— Это вы зря,— укоряет Рагозин,— я вас никак не обзываю. Я говорю, надо пошевелиться, составить сметы, предопределяя, кто покроет расходы.

— Смета мертвым не поможет. Деньги нужны сейчас, сию минуту. У нас окраины захлебываются в нечистотах. Четыре года назад мы могли очистить город всего только на одну пятую часть, когда в обозе было четыреста бочек. А знаете, сколько числилось бочек прошлым летом? Шестьдесят семь! А сколько сейчас? Двадцать. Вы интересовались?

— Ну, насчет бочек-то, это как будто не мое дело,— слегка обижается Рагозин.

— Это — дело денег. А вы — деньги. По адресу я обратилась или нет? Я предлагаю обложить население на медико-санитарные нужды.

— Нельзя.

— Почему нельзя? Без вас ведь прошлый год финансовая комиссия Совета наложила контрибуцию на имущих? Еще тогда купцы между собой перессорились, не могли разверстать сумму. Кто побогаче, старались свалить тяжесть на середняков, и под конец пришли с челобитной в Совет, чтобы он взял на себя разверстку.

— Не подрались? — вдруг с веселым интересом спрашивает Рагозин.

— Подрались или нет, а только контрибуция дала большие суммы, которые пошли на улучшение быта красноармейцев. Почему Красной Армии можно, а медицине нельзя?

— Теперь нельзя, контрибуции запрещены законом,— почти с сожалением отвечает Рагозин.

Так он говорит и говорит целыми днями, часто ища выход там, где его нет, точно человек, который знает, что у него давно не осталось ни копейки, и все-таки машинально шарит у себя по карманам.

В минуты передышки Рагозин, потянувшись, взглянет за окно, заметит между крыш тоненькое пятнышко речной сверкающей глади, подумает, что уж, наверно, никогда больше не съездит на рыбную ловлю с ночевкой, и только успеет вздохнуть, как ему доложат, что ожидает представитель отдела народного образования, или социального обеспечения, или еще кто-нибудь, и он снова сядет за стол, и ухмыльнется промелькнувшей мысли, что он, собственно, не просто человек, а как бы человек-ассигнация, и скажет громко:

— А ну-ну, давайте, кто там первый?..

Конечно, мальчики, остановившиеся перед богатым фасадом на Театральной площади, не имели понятия ни об исто-

рии национализации банков, ни о трудных обязанностях Рагозина. Они долго не решались отворить дверь, казавшуюся им, несмотря на тусклость, величественно строгой. Предприимчивый Павлик толкнул Витю в бок и сказал:

— Чего еще? Айда!

Они очутились перед широкой лестницей, покрытой истертым, но все еще парадным красным ковром с полосками по рантам. Было тихо, лишь издалека сверху доносилось неровное щелканье костяшек счетов, будто после дождя капало с крыш.

Сбоку из стеклянной дверцы вышел старик с голубой бородой, укрывавшей его до пояса. Он держал в одной руке жестяной чайник, из носика которого цепочкой вилась струйка пара, в другой — пустое блюдце.

— Вы зачем сюда?

— Нам нужен товарищ Рагозин,— сказал Павлик.

— Вона кого захотели.

Старик налил в блюдце кипятку и начал студить его, надувая щеки. Отхлебнув, он спросил:

— А зачем он вам требуется?

— Нас к нему послали,— ответил Витя.

— Куда послали?

Витя переглянулся с Павликом.

— Сюда послали,— сказал Павлик.

Старик допил воду и налил еще в блюдце.

— Здесь есть Волжско-Камский коммерческий банк,— сказал он и посмотрел мальчикам в ноги.— Надо пыль с башмаков смахивать, а не лезть, как в сарай. Никакого Рагозина тут сроду не было.

— Где ж он? — спросил Павлик.

— А кто он, ваш Рагозин?

Мальчики помолчали.

— Он начальство,— сказал Витя.

Старик надвинулся на них бородатой грудью, широко расставив руки с чайником и блюдцем.

— Ошпарю вот, чтоб не шмыняли, где не следует.

Витя и Павлик попятились к выходу.

— Начальство! — сказал старик, наступая.— Теперь все стали начальством. Ну и ищите его там, где начальство.

— А где? — спросил Павлик, уже с порога.

— В Совете начальство! Пошли отсюда!

— Вот ехидна! — сказал Павлик, когда, словно нехотя, затворилась тяжелая дверь.— Я знаю, где Совет.

— И я знаю. Бежим, а?

И они побежали.

Рагозин уже привык, что перед ним возникали самые невероятные посетители, но все-таки никак не ожидал увидеть у себя в кабинете детей. Он был уверен, что они пришли по ошибке, и повеселел, разглядывая их раскрасневшиеся лица с открытыми ртами. Он встал и смотрел на мальчиков молча, с улыбкой пощипывая ус.

— Вы товарищ Рагозин? — спросил как можно тише Павлик.

— Ну, допустим.

— Нет, вы скажите, правда, потому что вон в той комнате нам сказали, что вы в этой комнате.

— Я и правда в этой комнате. Вы что, своим глазам не верите?

— А вы — товарищ Рагозин?

— А разве я не похож?

— Мы не знаем,— сказал Витя,— потому что мы вас не видели.

— Ну, а теперь-то видите? Похож я на Рагозина?

Павлик смерил его с головы до ног не допускающим шуток взором и признал убежденно:

— Похожи.

Он немного отступил и шепнул Вите в затылок:

— Ну, говори ты.

— Мы к вам, товарищ Рагозин, от Арсения Романыча.

— Не от Арсения Романыча,— опять выступил вперед Павлик,— потому что Арсений Романыч не знает, что мы к вам пошли.

— Ну да, — сказал Витя,— Арсений Романыч, правда, не знает. Но ведь мы насчет Арсения Романыча...

— Кто это — Арсений Романыч?

Оба мальчика глядели на Рагозина удивленно.

— Кто он такой? Почему вы от него утаили, что пошли ко мне?

— Разве вы не знаете Арсения Романыча? — чуть слышно выговорил Витя.

— А кто он?

— Арсений Романыч? Он Дорогомилов.

Рагозин выскочил из-за стола и остановился посередине кабинета.

— Дорогомилов? — повторил он, крепко растирая лысину ладонью.— Арсений Романович Дорогомилов? Он здесь?

 — Нет, не здесь,— вдруг заспешил Павлик,— он у себя на

службе. Мы ему ничего не говорили, потому что он ни за что не хочет идти к вам, и мы пошли одни, вот Витя и я.

— Не хочет ко мне? Что с ним случилось?

— С ним еще не случилось. А мы боимся. Потому что к нему приходил военный и грозился выселить из квартиры. И с библиотекой, и со всем.

— С библиотекой? — почти крикнул Рагозин.— Что за история! Значит, он жив? И все там же, со своей библиотекой? Ну, скажи пожалуйста! Ах, черт!

Он схватил стул, потом другой, третий, составил их в ряд, взял мальчиков за руки, посадил на крайние стулья и сел посередине.

— Ну, ребята, рассказывайте все по порядку.

Рассказывать мальчикам было нечего — они уже все выложили. Они не хотели дать в обиду Арсения Романовича — в этом состояло дело. Зато они знали решительно каждый гвоздик в старом жилище Дорогомилова и о каждом шаге его могли повествовать сколько угодно. И чем дольше они говорили, тем явственнее видел себя Рагозин на диване между книжных полок, перелистывающим, в безмолвии, потрепанные страницы или помогающим мыть посуду косматому, всегда слегка возбужденному человеку, который надевал на сюртук клеенчатый фартук и, орудуя мочалкой, критиковал французские социальные утопии с таким пылом, будто они давно осуществились на земле и нанесли ему личный вред. В памяти Рагозина встала отчетливо эта странная фигура в шляпе и несменяемом сюртуке, какой она высилась на берегу в предрассветном лиловом мраке. Рагозин, сидя в лодке, перебирал руками борты скученных дощаников и шлюпок, чтобы неслышно выйти на свободную воду, и уже когда провел лодку под пристанные мостки и обошел липкий от смолы борт пристани, снова последний раз приметил на берегу черный силуэт и над ним — прощально размахиваемое круглое пятно шляпы, похожее на живую мишень в ночи. В неведомый путь уносила тогда Рагозина Волга, и он оставлял на произвол неизвестности все родное — Ксану, ожидавшую мальчика, старых друзей, опоясанный подковой холмов незримый спящий город.

— Скажи пожалуйста, Арсений Романыч все такой же! — повторял он, слушая мальчиков.

Едва только они появились в кабинете, Рагозин почувствовал, как настойчиво заторкалось сердце. Его больше привлек Павлик — разящим своим взглядом, жизнерадостной рыжизною, вздернутым, как видно, чутким носом. Рагозин все обо-

рачивался к нему со своим восклицанием — скажи пожалуйста! — и все думал — похож ли на этого рыжика маленький Рагозин, которого он непременно начнет разыскивать, непременно найдет, вот только немножко бы навести порядок на службе.

— Сколько тебе лет? — спросил он Павлика.

— Одиннадцатый. Я старше Вити.

— Старше Вити,— медленно сказал за ним Рагозин.— И старше еще одного мальчика.

— Какого?

— Одного такого... Такого, как ты,— засмеялся Рагозин.

Он положил руку на его плечо, слегка помял пальцем это худенькое, с острой ключицей ребячье плечо и помолчал. Потом выпрямился, поднимая вместе с собой обоих мальчиков, и расставил по местам стулья.

— Вот что, друзья, Арсений Романыч может не тревожиться. Никто его не выселит. А если кто обеспокоит, сейчас же прибегите ко мне. Да пусть он тоже зайдет. Скажите — я его хочу видеть. А заупрямится, так я и сам приду!

Он сложил все их четыре руки в своих и сильно тряхнул, так что оба они вдруг расхохотались.

Он закрыл за ними дверь и, присев на подоконник, минуту смотрел через распахнутую раму на город. Крыши и верхушки деревьев были остро очерчены слепящим светом, и весь небосвод дышал безжалостным жаром.

— Нет,— сказал он вслух, отходя от окна,— не половлю больше, наверно, не половлю! Какое там — рыбалка!..

Павлик, прытко шагая по коридорам, говорил:

— Попробуй теперь кто тронь Арсения Романыча! Правда?

— Попробуй тронь! — запальчиво вторил Витя.— Тронешь!

Они сбегали по людной лестнице то расходясь, то сближаясь, чтобы не столкнуться со встречными; когда у самого выхода их удержал оклик: «Витя!» — они чуть не налетели на Меркурия Авдеевича.

Мешков потянул внука за рукав.

— Ты что здесь?

— Мы... это самое...— сказал Витя, от смущения оборачиваясь к Павлику.

— Мы ходили... нас послал Арсений Романыч. В сороковую комнату,— воинственно ответил Павлик и тоже потянул к себе Витю, словно беря его под защиту.

— В сороковую?

Меркурий Авдеевич кое-как утер вспотевшее лицо.

— Ну, что он?

— Кто? — не понял Витя.

— Да ведь в сороковой-то этой — Рагозин? Как он? Ничего? — с опаской выспрашивал Мешков.

— Ого! — в восторге дохнул Павлик.— Как бы не так, ничего!

— Злобен?

— Еще какой добрый,— сказал посмелевший Витя.

— Он, кому не надо, не спустит,— сказал Павлик.

— Эх, младость неразумная! Мне бы на ваше место!— пожалел Меркурий Авдеевич.— Ступай-ка себе, Паша, своей дорогой. Куда тебе надо. А ты, внучок, пойдешь со мной.

— Зачем?

— Покажешь мне эту самую сороковую комнату. Да подождешь, пока я оттуда выйду... Коли выйду...

Он повел Витю за руку.

Ожидая в приемной, когда пригласят, он снял свою соломенную, в прошлом шоколадную, а теперь сиреневую шляпу и дал ее держать Вите. Ему хотелось расспросить внука подробнее, но во рту пересохло, то ли от жары, то ли от волнения, и невозможно было отвлечь внимание от двери, которая вот-вот должна была его поглотить. Витя скучал и, не вытерпев, жалостно проскулил:

— Дедушка, я пойду-у...

Но дедушка только потряс головой и сжал его пальцы на шляпе, чтобы он ею не вертел.

И вот произнесено до странности чуждо прозвучавшее имя:

— Гражданин Мешков.

Он подскакивает на скамье и меленько перебирает ненадежными в коленях ногами. Остановившись при входе, он низко кланяется туда, где виден стол. Это он обдумал раньше: голова не отвалится. Если Рагозин его узнает, то — глядишь — поклон придется по душе: ага, подумает он, Мешков-то покорился! Если не узнает, скажет: ишь ведь какие все-таки эти канальи купцы благовоспитанные!

— Пожалуйте, присаживайтесь,— слышит он и не может не изумиться: до чего вежливо, до чего обходительно — уж не изменил ли в самом деле слух?

Рагозин следит за Мешковым без напряжения, словно бы утомленно преодолевая посторонние мысли. Но глаза его ясно светятся под насупленными бровями. Он знает, кто перед ним. Стараясь сломить произвол бесконечных запутанных дел, он прорубает в нем свои плановые главные направления, как

просеки в тайге. Это тоже его долг и его привычка — вмешательство в события. Он не хочет плыть с потоком, он либо режет его поперек, либо круто берет против воды. Прочитывая списки владельцев сейфов, Рагозин наткнулся на фамилию Мешкова, вспомнил не слишком обширное, но плотное хозяйство Меркурия Авдеевича и вызвал его в числе первых собственников, былые богатства которых собирался проверить.

«Не тот, нет, уже не тот, что прежде»,— думает Рагозин, всматриваясь в осунувшееся, будто безлюбовно запущенное лицо Мешкова, и напрямик говорит:

— Мы ведь с вами знакомы.

— Да что вы?— удивляется Меркурий Авдеевич.

— Помните, у вас в надворном флигеле стоял квартирант Петр Петрович?

— Петр Петрович? Батюшки! Да неужто это вы?

Мешков приподнимает руки так, что правая оказывается над столом, примерно с курсом на середину, где могла бы встретиться с неподвижной рукой Рагозина, если бы тот пожелал ею шевельнуть. Меркурий Авдеевич на секунду замирает в положении парящей птицы, прикидывая в уме — захочет или не захочет старый знакомец поздороваться, и уже намеревается сложить неуверенные свои крылья, но Рагозин, наклонившись, захватывает его пальцы и коротко пожимает. Видно, все-таки дружелюбного склада человек. Да и речь такая располагающая:

— Да, понимаете ли, какая история. Меняются времена.

— Истинные слова, Петр Петрович. Меняются. А вы, значит, слава богу, здравствуете? Мы-то думали про вас, думали...

— Да неужели думали? — тоненько усмехнулся Рагозин, подвигая вверх один ус.— Это в каком таком рассуждении думали?

— С супругой с моей, покойницей, о вас нет-нет да и потужим: хороший, скажем, бывало, человек, Петр Петрович, справедливый.

— Умерла, значит, супруга? — мимолетно говорит Рагозин и прибавляет: — Моя вот тоже.

— Да что вы! — поражается Мешков.— Такая была славная женщина. Мы ведь страсть как тогда по ней убивались.

— Убивались? — сурово спрашивает Рагозин.

— А как же? Увели-то ведь ее тяжелой. Должна ведь была наследника вам принести. Может, и родила? Не слышали?

— Не слышал,— еще суровее и как-то слишком врастяжку отвечает Рагозин, но сразу затвердевшим голосом словно подмененного человека произносит:— Вызвал я вас, чтобы опро-

сить насчет капиталов. Финансовый отдел интересуется общей суммой вашей собственности.

— Интересуется? — переговаривает Мешков вдруг почти с заигрыванием.— Чего же теперь интересоваться? Капиталы-то не у меня.

— Вы держали бумаги в сейфе?

— Точно так. В сейфе Волжско-Камского банка.

— При изъятии у вас было обнаружено бумаг в общей сложности на двести двадцать тысяч?

— Двести двадцать одну пятьсот.

— И вы показали, что этим исчерпывается весь ваш капитал?

— Именно, что исчерпывается.

— Но у вас была еще лавка? Магазин на Верхнем базаре, москательный будто? Из чего собственно образовался ваш капитал в бумагах?

— Вот из этой самой лавки и образовался.

— То есть как?

— То есть так, что лавка была продана, а бумаги куплены.

Мешков говорил в разочарованном и даже оскорбленном тоне. Утрата первоначальной темы, обещавшей установить в разговоре доверительность, огорчила его, а размышления о потере состояния вызвали колючую досаду.

— Вы не обижайтесь, что я ворошу ваше счетоводство,— с улыбкой сказал Рагозин, словно читая в душе Меркурия Авдеевича.— Только вам придется поделиться со мной попространнее.

— Да уж с меня все сняли, до исподних — чем же еще делиться?

— Не так жестко, не так жестко,— мягко придержал Рагозин.

— Вы задайте вопросы, Петр Петрович, я отвечать не отказываюсь. Только не меня корить жесткостью.

— Чувствую. Но и вы чувствуйте, что я пригласил вас не пререкаться. Расскажите, в чем состояла ваша собственность — денежная, недвижимая, товарная. Да поточнее. Все будет проверено.

— Извольте,— уступчиво согласился Мешков.— Мне таить нечего. В шестнадцатом году торговые дела, вам известно, как покосились, и мало стало надежды, что поправятся. Под влиянием этого беспокойства решил я лавку ликвидировать и скоро продал ее. Выручил я больше, чем ожидал,— сто восемьдесят тысяч. Но это оттого, что деньги стали совсем не те, против довоенных. Еще перед этим уступил я одному купцу ноч-

лежный дом, да лабаз у меня был, канатный амбар, если помните. Гнилье одно, на слом пошло. Деньгами до этого у меня ничего не было, все в обороте. Так и получилось, что перед самой революцией привел я все хозяйство к общему знаменателю.

— А знаменателем что было? Банк? — спросил Рагозин.

— Точно так. Банк.

— У вас ведь еще городское место было, земля?

— Место было, верно. Да на месте ничего не было. А теперь и места нет. Земля-то стала государственной?

— Ну, а дом?

— Что же дом, Петр Петрович? Дом отошел по муниципализации.

— Ну, а вот в сейфе вашем ничего не оказалось, кроме «Займа свободы». Что же, вы до революции обращали все в деньги, а потом все деньги так в один заем и вбухали?

— Все до копейки,— вздохнул Мешков и основательно, как после бани, утерся платком.

— Почему же этакое безрассудство? Все деньги — в одну эту «свободу», а?

— Я вам сознаюсь, Петр Петрович. Меня взяли уважением. Уважение мне было оказано такое, что я из рук кормовую лопатку выронил. Директор банка напустил на меня мороку, будто только он сам да я с ним — люди деловые, дальновидные. После революции должна была будто прийти победа над германцем, а за победой — подъем коммерческих дел. «Свобода» непременно укоренится, и с новым займом никакие бумаги, наипаче деньги, не пойдут в сравнение. Мы с вами, Меркурий Авдеевич, сказал директор, на процентах с «Займа свободы» как на граните будем стоять... Вот и стоим!

— На «свободе», значит, просчитались? — улыбнулся Рагозин.— Керенский подвел?

— Вам виднее, Петр Петрович, кто подвел. Я в политике не разбираюсь.

Они сосредоточенно замолчали. Вдруг отчетливо, но гораздо тише прежнего, Рагозин сказал:

— А я в политике малость разбираюсь... Золотом у вас ничего не было?

Он в упор глядел на Мешкова.

Меркурий Авдеевич развел руками.

— Ваша власть, хоть матрасы вспорите.

— Ну,— сказал Рагозин и поднялся,— матрасы ваши ни к чему, а книги банковские у нас в руках, они скажут, все

ли так обстояло, как вы докладываете. Пока я вас не задерживаю.

Наполовину тоже поднявшись, Мешков, однако, не распрямился, а так полусогбенно и спросил:

— А потом что же — задержите?

— Нет, почему же, если вы на все ответили откровенно?

— Петр Петрович! Как на духу! Да и что от вас скроешь? Вы вон на мне все подоплеки вывернули: и ренту мою, и дом, и лавку припомнили. Да и зачем мне вас подводить? Я от вас худого не видел, а к вам всегда с симпатией.

— Ладно, ладно,— кивнул Рагозин.

— Правду говорю. Никогда о вас слова обидного не проронил. А ведь сколько из-за вас пострадать от охранки пришлось, когда в моем доме подполье обнаружили, а вы скрылись...

— Пострадали? От охранки пострадали? — с неожиданным хохотом перебил Рагозин.— Из-за меня, грешника? Эка вы, бедняга!

Он хохотал, то отталкиваясь от стола кулаками, то наваливаясь ими на край, и слезы истового веселья лучились в его сжатых глазах.

— Я вас, выходит, тоже... тоже подвел! — выталкивал он со смехом.— Не один... Керенский!

И у Мешкова будто блеснули слезы, но жар отхлынул с его лица, он стоял изжелта-бледный, все еще преклоненный, высоко вздернув потерявшие грозу брови.

Тут постучали в дверь, и Рагозин крикнул:

— Да, да! Заходите... Не думал не гадал, а подвел, что поделаешь! — продолжал он раскачиваться, смеясь.

Вошли двое мужчин с пиджаками через руку, в узеньких поясках, похожие на теннисистов, и девушка в белой блузке и короткой шотландковой юбке. Открыв дверь, они словно впустили в комнату добрый пай уличного горячего света — так вспыхнули в кабинете их рубашки, на одном голубая, на другом персиковая, чертовски утонченного оттенка, и даже гладко бритые лица мужчин были как-то по-особому светоносны. В том, как пришедшие поклонились и стали близиться к столу, заключалось соединение почтительности с уверенностью в самой, однако, благородной пропорции. Рагозин, еще не переключившись со смеха на другой лад, успел себе отметить: ишь, вальяжные! — и сказал Мешкову:

— Все-таки я вас меньше подвел, чем «Заем свободы», ей-богу. Давайте на том кончим.

Но Меркурий Авдеевич будто не вполне внял этому отпущению. Нечто отдаленно обидное почудилось ему в посети-

телях, которые не дали довести визит до какого-нибудь смягченного конца. И сейчас же он услышал знакомую атласную распевку:

— Артист Цветухин,— проговорил человек в голубой рубашке и, указывая на персиковую, добавил: — Пастухов.— А потом притронулся к голому локтю девушки и сказал пониже: — Моя ученица.

— А, как же! — ответил Рагозин и пригласил садиться, показав и на тот стул, у которого еще стоял Мешков, точно Меркурий Авдеевич вовсе не мог собою отнять никакого пространства.

Наступила маленькая пауза, пока рассаживались, и Мешкову пришлось отшагнуть в сторону, чтобы уступить Пастухову дорогу к стулу. Они совсем близко сошлись, и Меркурия Авдеевича осенило некоторое посмеление.

— Запамятовали? — спросил он у Пастухова.

Александр Владимирович, в момент самооткровенности, давно признал, что хорошо припоминает только тех знакомых, в которых у него могла быть нужда. А Мешкова он и правда забыл. Помигав на него, он оборотился к Рагозину, как бы спрашивая — какая цена этой захудалой бороденке? Рагозин решил дело недвусмысленно: он мотнул Мешкову головой и сказал:

— До свиданья. Я вызову вас, если понадобится.

Мешков поклонился в ответ Петру Петровичу, а затем поднял голову и остро глянул на Пастухова из-под бровей, снова обретших обычную свою грозу.

— Сравняли теперь знатных с незнатными,— выговорил он в глубокой укоризне,— пора гонор за пазуху спрятать. Учитесь у них (он повел бровями на Рагозина). Поважнее вас будут...

Тогда вдруг к нему подошла девушка.

— Здравствуйте, Меркурий Авдеевич. Я вас, простите, только сейчас узнала.— Я — Аня Парабукина.

Он негромко и непонятно хмыкнул, точно ему помешала внезапная хрипота, и осторожно потряс в своей пригоршне ее длинноватую тонкую руку. С ним сейчас же поздоровался Цветухин, немного сконфуженно наклонил голову Пастухов, и все безмолвно смотрели ему в спину, пока он, пошатываясь, не исчез из комнаты.

— Вот, товарищ Рагозин,— заговорил Цветухин проникновенным голосом,— мы к вам по важному делу. Нам встретился на улице Александр Владимирович, и я его пригласил себе в союзники.

— Слушаю.

— Позвольте без предисловий, чтобы, как говорится, взять быка за рога.

— Попытайтесь...— прищурился Рагозин.

— В том смысле, чтобы сразу деловым образом...

— Понимаю.

— Видите ли, мной организована в городе драматическая студия, которая...

В эту минуту распахнулась дверь, и Кирилл Извеков крикнул из приемной через всю комнату:

— Петр Петрович, можешь ко мне в кабинет, на два слова?

— Заходи, заходи — ответил Рагозин, кругло обводя рукой своих посетителей,— видишь, у меня...

Но Кирилл уже разглядел гостей и сразу вошел.

— Целый клуб,— сказал он, прикрыв пальцами улыбку, и, направляясь к Аночке, сбавил шаг.

Цветухин смотрел, как Аночка здоровалась с Извековым: она, по гимназической выучке, еще не могла спокойно усидеть, когда к ней подходил старший. Но тут сдержала себя и, может быть, поэтому дала руку с преувеличенной женственной грацией.

Цветухин сказал Пастухову:

— Это тот товарищ Извеков, который был тогда — помнишь? — мальчиком.

— Ну, уж не таким мальчиком,— вскользь бросил Кирилл, отходя за стол, к Рагозину.— Что тут у вас?

Петр Петрович сказал со смешком:

— Видно, ходит молва, что я рогат: пришли меня взять за рога.

Цветухин принял смешок за добрый знак.

— Втроем-то как-нибудь осилим? А может, и товарищ Извеков поддержит? Я насчет нашей студии. Полагаю, не трудно догадаться, о чем мы хотим просить.

— Не знаю, как товарищу Извекову... а мне не очень трудно.

— Воображаю!— улыбнулся Цветухин.— К вам все приходят не иначе как с большими запросами. Но мы, люди искусства, привыкли, как говорится, по шпалам пешочком.

Рагозин протянул руку:

— Смета с вами?

— Смету мы немедленно представим — как только получим первое ассигнование. Мы хотели бы в принципе договориться о тех суммах...

— Вон ведь что! — рассмеялся Рагозин, не давая Цветухину досказать.— Вынь да положь денежки. Найдем, как истратить! У вас, что же, и на смету финансов не хватило? Вы при отделе искусств, что ли, находитесь?

— Нет, мы, так сказать, самостоятельны. Вернее, мы считаемся кружком при гарнизоне, в красноармейском клубе.

— Так ведь у Красной Армии на всякое дело есть свои ассигновки. При чем тут я?

— Дело в том, что...— собрался с духом продолжать Егор Павлович, но Рагозин все перебивал.

— Чем собственно вы занимаетесь, ваша эта студия?

— Мы... драматическая студия.

— Что же вы такое делаете?

— Мы... естественно, играем,— пожал плечами несколько задетый Цветухин.

— Ну, понятно. А для кого, для чего?

— Играем? Разумеется, для зрителя... чтобы зритель... Надо сказать, как студия, мы преследуем главным образом воспитательную цель. Но...

— То есть воспитание зрителя? Так?

— Само собой. Однако сначала мы учим, образовываем, создаем будущих исполнителей, ну, актеров, вот — актрис...

Цветухин взглянул на Аночку, не столько чтобы продемонстрировать, каких актрис он создает, сколько призвать ее к совместному наступлению.

Пастухов, сперва безучастный и немного напыщенный, все больше начинал развлекаться, с любопытством ожидая, к чему приведет эта канитель. Интерес его сосредоточился преимущественно на Егоре Павловиче, словно его забавляло, что тот натолкнулся на афронт.

— Но вы получаете деньги от клуба? — не унимался Рагозин.

— Клуб согласен давать на обычные занятия кружка. Но нам нужна оплата актерского труда, всей нашей работы в целом.

— Я понял — у вас ученики? О какой же оплате речь? Руководителей, да?

Цветухин встал. Он решил заставить наконец себя слушать. Он был внушителен.

— Я должен сказать о наших основных целях. Это революционные цели, и вы к ним отнесетесь, я убежден, с уважением.

Он метнул сердитый взор на Пастухова, осуждая его позицию наблюдателя.

— Основная идея моя — создание революционного театра. Что я под этим понимаю? Актер носит в себе лишь то, что есть в зрителе. Каков зритель, таков актер. Зритель мечтает, и актер полон полета в неизведанное. Зритель подавлен буднями, и актер ползет с ним по низинкам. Забурлит у зрителя страсть — тогда и актера не удержать от экзальтации. Для того чтобы эта гармония между зрителем и актером прозвучала, театр должен быть свободен от предвзятостей. Мы объявляем войну рутине, условностям, всяческой старинке. Громоздкий, вросший в землю театр из храма искусства давно стал его тюрьмой. Сценические традиции стали оковами актера. Мы хотим вывести искусство из тюрьмы и вернуть его в храм. Мы разбиваем цепи на руках и ногах актера. Наш храм будет походным. Наш актер будет в вечном движении. Он будет зеркалом жизни. Сейчас мир объят огнем, и не время представлять в театре домашние сценки. Наша цель — душевная буря на сцене, отвечающая буре страстей в жизни!

Цветухин припечатал рот нижней губой, сел, но и сидя будто все еще стоял — так распрямился и возрос весь его стан.

Рагозин сказал мягко:

— Отвлеченно немножко... Как вы все это... практически-то, а?

— Практика родится из наших убеждений,— по-прежнему на высокой ноте продолжал Цветухин и повел рукой на Аночку,— а наши убеждения — молодость. Мы, профессиональные актеры, обучаем молодежь только технике. Молодежь делает главное: она учит нас своей вере в жизнь и революцию.

— Вы тоже участвуете в этой студии? — неожиданно спросил Извеков у Пастухова.

Александр Владимирович подождал с ответом, точно желая отделить свое слово ото всего, что было сказано.

— Нет. Я здесь новый человек. Студия возникла без меня. Но эти идеи, до известной степени, для меня не новы.

— И вы разделяете их?

— Я согласен, что Егор Павлович несколько отвлеченно высказался. Практически дело идет о молодом передвижном театре. По-моему, мысль следует поддержать. Я, впрочем, не вижу, чтобы она заключала в себе угрозу старому бедняге — традиционному театру.

— Посмотрим!— воинственно заметил Цветухин.

— Это мое мнение, и я не хочу возражать. Наоборот, я вполне поддерживаю... живое начинание с таким талантливым руководителем, как Егор Павлыч. Хотя, говорю, не вижу в самой мысли какой-нибудь театральной революции.

— Ну, конечно, где нам тягаться с тобой по части революции! — шутливо сбормотал Цветухин и остановил себя, и тотчас увидел, что поздно жалеть, потому что Извеков сразу же, как подсказку, перехватил его слова:

— Да, я читал. Вы, оказывается, участвовали в революции? Вы какой партии?

Александр Владимирович снова выдержал достойную паузу:

— Я никогда не принадлежал к партиям.

— Но были в подполье?

— Нет,— сказал Пастухов решительно.

— Это утка? — спросил Извеков.

Пастухов немного спал с лица. Отыскивая поворот разговору, он приметил раскаяние Цветухина, тотчас смыл ладонью со своих губ недовольство и неслышно засмеялся.

— Эмбрион утки. Преувеличение. Меня вместе вот с Егор Павлычем охранка подозревала в распространении ваших листовок, товарищ Рагозин. И это все. Вы ведь, кажется, печатали листовки?

— Вы были арестованы? — в свою очередь, спросил Рагозин.

— Нет, обошлось допросами.

— Но все-таки, значит, пострадали?

Рагозин внезапно расхохотался. Все недоумевали. Он хохотал и хохотал, вытирая кулаком слезы, так искренне, что рассмешил Аночку, и тогда все заулыбались.

— У меня такой день,— качал он головой.— Ко мне всегда приходят пострадавшие от Рагозина. А нынче, кто ни придет, оказывается — пострадавший за Рагозина. Везучий этот Рагозин!

Он вдруг серьезно посмотрел на Кирилла:

— Один ты, видно, не пострадал ни от меня, ни за меня.

— Тут ты можешь быть спокоен,— так же серьезно отозвался Кирилл и обратился к Пастухову:— Мне интересно, вы действительно не находите ничего революционного в работе студии?

— Ничего,— с чувством реванша отрезал Александр Владимирович.— Обыкновенный кружок начинающих любителей. Тот же занавес, те же ходули. Только что нет своего театра, где играть.

— Ну и союзничка вы себе отыскали! — прищуриваясь на Цветухина, опять засмеялся Рагозин.

— К сожалению, я ошибся,— с негодованием ответил Егор Павлович.

— Я обещал поддержать твою просьбу о деньгах, а вовсе не твои принципы.

— Александр Владимирович!— с горячей болью вырвалось у Аночки.— Уж лучше бы вы молчали!

Она вся устремилась вперед, сжав крепко руки, будто удерживая себя, чтобы не вскочить. Кирилл, взглянув на нее, резко отошел от стола и пристроился на подоконник, наблюдая оттуда Пастухова, который тотчас распалился:

— Почему я должен молчать, если меня спрашивают? Я размышлял о судьбах искусства никак не меньше Егора Павлыча и вправе высказать свои убеждения. Егор Павлыч говорит о вечном движении, о зеркале жизни. Но вечное движение существует только в головах доморощенных изобретателей perpetuum mobile, а вон возьмите «Зеркало жизни» — там показывают «Отца Сергия»... Что покажете вы в своем театре? Шиллера? И это революция? Уж если революция, то выходите на городскую площадь, на улицу. Сооружайте струги, пусть ватаги Степана Разина проплывут по Волге, а народ будет смотреть с берега, как разинцы вздергивают царских воевод вместо парусов и топят в реке изменников своей вольнице.

— Ты сочинишь нам тексты для такого зрелища?— вставил Цветухин.

— При чем здесь я? Ведь это ты претендуешь на переворот в искусстве. Я считаю — были бы таланты, а зритель будет счастлив без переворотов.

— А почему бы вам, правда, не сочинить для студии революционную пьесу? Таланты, наверно, найдутся,— сказал Извеков.

— Мы уже просили Александра Владимировича, это было бы замечательно!— порывисто обернулась к нему Аночка.

— В самом деле,— в голос ей вторил Кирилл,— если мы уговорим Петра Петровича субсидировать студию, будут и средства на хорошую постановку.

— Вон он где, союзник-то!— сказал Рагозин.— Тратить народные деньги на журавля в небе меня не уговоришь.

Аночка быстро привстала.

— Но вы же слышали — мы совсем не журавль! Обыкновенная любительская синица в кулаке Егора Павловича!

— И синица меня не уговорит,— улыбнулся Рагозин.

— Ведь все так просто!— воскликнула Аночка, оборачиваясь к Кириллу, уверенная, что найдет опору.— Представление о каком-то журавле получается оттого, что спор поехал бог знает куда! Зачем спорить о том, что когда-то будет с искусством или чего с ним не будет? Будущее всякий видит по-

своему. А вы посмотрите, что сейчас уже есть, и все станет ясно. Есть совершенно новый молодой театр. Это можно сказать без скромничанья.

— Красноармейцам ваш театр понравится?— спросил Рагозин.

— Конечно!

— А на фронт вы с ним поедете?

— Конечно! Егор Павлович, поедем ведь?

— Это одна из наших целей!— тотчас подтвердил Цветухин.

— Да я просто убеждена — если вы посмотрите, как мы репетируем, так сразу и дадите денег!

— Непременно даст!— весело выкрикнул Кирилл.

Рагозин нахмурился на него, сказал тихо:

— Ты меня в это дело втопал, так теперь я уж хозяин: на ветер деньги пускать не намерен.

— Честное слово, я ни при чем, я только проголосовал за тебя со всеми... И ты вникни хорошенько, дело не пустяковое. (Кирилл опять подошел к столу). Товарищ Пастухов нам не ответил, поработает ли он для революционного спектакля?

— Пока меня еще не осенило подходящей темой,— ответил Александр Владимирович любезно.

— А если мы вам подскажем?

— Подскажете... замысел?

— Да.

— Вероятно, не подскажете, а... закажете?

— Назовите так.

— Замысел художника — это его свобода.

— На вашу свободу не посягают. Но не найдется ли в ее пределах нечто такое, что понравилось бы молодому театру? Ведь ваши прежние пьесы кому-то нравились?

— Они нравились публике.

— Надо думать, вы немного зависели от того, кому нравились. Сейчас явилась другая публика.

— Вы хотите сказать,— я теперь буду зависеть от вас?

— Очевидно, если ваши новые труды понравятся новой публике.

— Устанавливая зависимость, вы меня лишаете свободы.

— Это прежде всего касается ваших бывших заказчиков, которых я лишаю свободы ставить вас в зависимость.

— И берете эту свободу себе?

— Она мне принадлежит. Это — мой вкус.

 Пастухов слегка передернул плечами и проговорил с той

наставительной интонацией, в какой преподносится басенная мораль.

— Это было больше десяти лет назад. Я был новичком в искусстве и довольно много ходил по разным кружкам и собраниям. Однажды меня привели на совещание редакции «Золотого руна». Хозяином его был известный и вам Рябушинский. Чем-то он был рассержен и заявил примерно так: «Я вполне убедился, что писатели то же, что проститутки — они отдаются тому, кто платит, и если заплатить дороже, позволяют делать с собой что угодно...»

— Ну, вы великолепно поддерживаете меня!— перебил Извеков.

Пастухов испытующе помедлил.

— Ведь вы не хотите сказать, что ваш взгляд совпадает с Рябушинским?

— Я хочу сказать, что мы вас освободили от рябушинских!

— Благодарю вас. Позвольте мне воспользоваться освобождением.

— Пожалуйста,— сказал Кирилл, поворачиваясь к Цветухину.— Это значит только, что искусство революции будет жить без особого расчета на вас. Думаю, оно обойдется.

— Я надеюсь тоже,— отозвался Цветухин.

— А я думаю,— заявил Рагозин, вставая,— пока такие дискуссии продолжаются, моим финансам вступать в игру рано.

— Может быть, сегодня рано, а завтра поздно,— сказал Кирилл.— В помощи отказывать мы не имеем права. Надо различать, что — наше и что не наше. Столкуемся с клубом, в котором студия занимается, и если дело за деньгами, деньги найдутся. Ты зайдешь ко мне, Петр Петрович?

Он поклонился так, словно предназначал поклон одной Аночке, следившей за ним благодарно и строго, и ушел, вдруг будто спохватившись, что у него расстегнут воротник рубашки, и неловко прилаживая его на ходу.

Прощание с Рагозиным вышло суховатым. Пастухов направился из кабинета первым, обиженный и недоступный, до самой улицы не обернувшись на своих молчаливых спутников.

У дверей, посторонившись от прохожих, все трое по очереди взглянули друг другу в глаза. Пастухов спросил, как будто в смущении:

— Я, кажется, подпортил тебе, Егор, карьеру? Но себе тоже. И ты не унывай. Война — время легких карьер. Революция — вдвойне легких.

Аночка воскликнула:

— Неужели вы допускаете, что Егор Павлович заботится о какой-то карьере?

Разглядывая ее напряженное негодованием юности лицо, Пастухов слегка мигал. С гипсовой улыбкой он отчеканил неторопливо:

— О какой-то заботится несомненно. Я хорошо знаком с режиссерами. Будьте трезвее, милая девочка. Вам сулят славу, а за посулы потребуют дорогую цену...

— Вы... это грязно так думать!— едва слышно выдохнула Аночка и, точно от нестерпимого света, заслонила рукой глаза.

— Знаешь, как это называется?— вдруг на всю улицу крикнул своим маслянистым голосом Цветухин.— Это — подлость, вот что это!

Они мгновенно пошли в разные стороны. Егор Павлович — подпирая Аночкин локоть своей ладонью.

16

Лето началось грозно. Для тех, кто знал эти богатые, но капризные края, для коренных саратовцев упругие степные ветры предвещали сухой год. С весны пронесся один короткий ливень, воды сгладили поверхность и сбежали стремительно, не напоив землю. Влагу быстро выдуло, почву затянуло сверху плотной коркой. Зелень на горах посерела, они становились с каждым часом скучнее. Волга торопливо убывала, пески ширились и словно набухали над рекой.

В воскресенье, выйдя поутру из дома, Кирилл поднял голову к небу. Оно было полотняным, чуть-чуть подсиненным и вдали струйчато рябилось. В Заволжье в разгар жары уже появлялись миражи. Вдруг покажется над берегом невысоко приподнятая утонченно зеленая тополиная рощица, отчеркнутая от земли то бледной, то сияющей узкой полоской. Непонятно, растет ли рощица на берегу или поднимается прямо из воды: полоска играет переменчивым светом, и зеленая куща манит глаз нежной прохладой.

Кирилл услышал принесенный ветром запах гнилой рыбы. Со дня на день этот запах набирал силу. Весь город до самых верхних флигельков на горах пропитывался им, когда тянуло с Волги.

Распространился слух, что сельдь идет с низовьев вверх, выбрасывается от жары и мелководья на пески и гниет. Ход ее был неслыханно обильный, головные косяки, миновав город, уходили далеко вверх, до Хвалынска, Сызрани и Самарской Луки, а снизу надвигались новые косяки, томясь, спадая с те-

ла, редея, вымирая по пути. Низовые промыслы не удержали рыбы, пропустили необъятную ее массу, и она поплыла навстречу самоуничтожению. Да, в низовьях было нынче не до рыбы.

С начала лета белые армии вооруженных сил Юга России предприняли наступательные действия против Красной Армии, самые широкие, какие до того времени знала гражданская война на юге. Добровольческая армия Деникина была двинута по дорогам на Харьков. Отдельному корпусу белых командование поставило задачу взять Крым. Особый отряд добровольцев должен был отрезать выход из Крымского полуострова. Восточнее Донская армия казаков наступала на север против Донецкой группы революционных сил. Врангель со своей Кавказской армией продвигался Сальскими степями на Царицын. Войска Северного Кавказа выделили части для захвата Астрахани. Эти шесть направлений были раздвинуты по всему югу веером, будто игральные карты, снизу зажатые в кулаке екатеринодарского деникинского штаба. Действия белых начинались согласованно, и уже никогда позже коалиция царских генералов, помещиков, буржуазии и казаков не испытывала подобного единящего прилива радужных упований, как с открытием этого летнего кровавого похода.

Красная Армия отбила первую попытку Врангеля взять Царицын атакой и внезапным контрнаступлением отбросила войска Кавказской армии. Астрахань не только слала пополнения угрожаемому Царицыну, но сама сражалась против Северо-Кавказского отряда терского казачества, наступавшего на Волжскую дельту двумя колоннами — степями от Святого Креста и берегом Каспийского моря от Кизляра. Сжигаемые солнцем просторы Понизовья все гулче гремели громами боев. Тишина мирных занятий отлетала в прошлое, и даже исконный рыбацкий промысел волгаря замирал.

Кирилл все время остро слышал события войны, но этим утром душный ветер с Волги заставил его будто телесно ощутить бескрайную ширь охваченных борьбой фронтов. Он перебрал в уме все, что стало известно за последние дни о военных действиях. Он принимал в борьбе непрерывное участие своей работой, но ему все чаще стало казаться, что он стоит далеко оттуда, где должно было решиться будущее. Он и сейчас почувствовал это снова.

Но ветер принес с собою и другое чувство: Кирилла неожиданно потянуло на Волгу, куда-нибудь на островную косу, ближе к этому горклому запаху воды и рыбы, чтобы растянуться на прокаленном песке, подставив всего себя колючей

ласке зноя, и долго пить слухом плеск мелкой волны да сухое жгучее царапанье по телу перегоняемых ветром песчинок.

Однако Кирилл вышел на улицу с иным намерением: он решил навестить лежавшего в лазарете Дибича. Откладывать это было нельзя, потому что слишком редко выдавался свободный час и потому что Дибич прислал записку, в которой сообщил, что надо поговорить.

Дибич находился в хорошем военном лазарете, куда его устроил Извеков. За четыре недели Василий Данилович очень окреп, сам себя не узнавая в зеркале. Исчезла краснота век, и глаза прояснились. Побритое лицо стало приветливее, моложе и тоньше в чертах. Весело раздвигалась при смехе ямка на середине подбородка, голос лился звонче.

Но, правда, смеяться доводилось редко. Дибич лежал в маленькой палате из четырех коек. На двух сменилось несколько красноармейцев, лечившихся после ранений. На одной, почти так же долго, как Дибич, лежал служивший в полковом штабе командир из бывших офицеров. Это был коротенький мужчина, с лиловыми сумками под глазами, сильно окрашенным рыхлым лицом и подвижными мягкими руками. Он часто страдал от припадков печени, но между ними оживлялся и охотно говорил. Он был постоянным собеседником Дибича и по натуре спорщик.

Дибич много накопил за истекшие дни. Каждый, кого он здесь видел, обладал своим особым познанием, приобретенным в революцию, и одновременно эти разные познания сливались в общий опыт людей, переживших нелегкую пору испытаний. Санитары, сестры, фельдшера и парикмахеры, сиделки, врачи и фронтовые бойцы — все приносили что-нибудь раньше неизвестное Дибичу, и понемногу он суживал брешь своего непонимания, которая образовалась за годы плена. Дибич больше слушал, чем говорил. И, медленно пропитываясь током чужих мыслей, иногда смутных, иногда отчетливых, либо восторженных, либо бесчувственных, то злобных, то одобрительных, он понял, что каждому эти мысли дались с такою болью и были так дороги, будто пришли со вторым рожденном.

К исходу четвертой недели в палату поступил новый больной — пароходный механик, родом из Архангельска, веснушчатый, скуластый малый лет за тридцать. Он был прочно сшит, и все в нем производило впечатление основательности — от тяжелых жестов, которыми он как бы дорожил, до круглой поморской речи. Ему помяло ребра на паровой лебедке: неподпоясанную рубаху надул ветер, шестеренки закрутили ее, и шатуном угостило молодца в бок так, что он невзвидел света.

Его продержали двое суток в госпитале и перевели в лазарет на долечивание: он сам сказал, что, мол, долго коечничать поморам несручно. В Поволжье он очутился случайно, бежав от белых из Архангельска, и попал в Затон, где ремонтировались суда для Волжской флотилии.

Одна койка как-то запустовала, больные остались втроем, штабист долго раскачивал северянина, выспрашивая — кто он да что, и малый разговорился.

— А в Мурманск не ходил?

— Как не ходить!— отозвался помор со своим круглым и таким славным открытым «о».— Я мальчонкой в десять лет как залез на карбас, так и не слазил. А с пятнадцати в пароходной кочегарке торчал. Сколько морей исходил, сколько за границей прожил!

— Научился чему за границей или нет?— спросил штабист.

— Много чему. Да раскусил-то ее только теперь. Вот как последним рейсом из Мурманска в Архангельск шел, так все и разъяснело.

— Как же это ты в русских водах заграницу раскусил?

— А вот так. Русские-то кораблики на севере нонче под английским флагом гуляют.

— Ну и что же?

— Да то-то что! Англичане весь рейс в кают-компании виску тянули да сигарками баловались. А нашего брата — без разбора, что мужика, что офицера — как в Мурманске свалили в трюм с тухлой треской, да так до Архангельска не дали нос высунуть.

Штабист мягко развел руками:

— Да, конечно. Беда, что иной готов год просидеть в трюме с треской, лишь бы стряхнуть большевиков.

Дибич покраснел и, видно, нарочно долго пересиливал себя, чтобы сказать тише:

— Я готов бы тоже посидеть в трюме, не знаю сколько, лишь бы сорвать с наших судов чужие флаги.

— Хотелось бы,— вздохнул штабист.— Да беда, европейский мир никогда не согласится признать Советы. Власть в его представлении — дело преемственное.

— Он признáет любую власть, которая будет платить ему царские долги, ваш европейский мир,— сказал Дибич.

— Почему, однако, мой? Уж скорее — ваш, раз вы так долго... проживали в Европе.

Дибич смолчал. Помор изредка обмеривал соседей коротким зорким взглядом.

— Посмотрел я на тех, которые готовы хоть в трюме, лишь бы не с большевиками,— сказал он не спеша.— На набережной Двины год назад английских добровольцев белогвардейцы хлебом-солью встречали. Шпалерами по всему Архангельску войска выстроили. Все правительство Чайковского на мостки вышло: добро пожаловать! Поелозьте, дорогие гости, поелозьте!

— Ты говоришь, англичане без разбора всех русских в трюм сажают,— сказал штабист, будто размышляя наедине с собой.— Но мы сами себя в этом смысле уравняли. Мы же вот лежим в одной палате — командиры и... не командиры. Европейцы думают — это в русском обычае. Ну и валят в одну кучу... Только трудно поверить, будто они не отличают офицеров.

— А вы поверьте,— словно нарочно спокойно ответил помор,— я говорю, что своими глазами видел. Англичане открыли артиллерийскую школу для белогвардейских офицеров. Поставили всех на положение солдат. Сержант английский бьет русского офицера — и ему ничего.

— Ну, батенька!— осадил рассказчика штабист и даже поднялся в постели.

— И очень хорошо,— сказал Дибич, снова наливаясь кровью,— и черт с ним, что сержант бьет русского офицера! Потому что это не русский офицер, если он зазвал иностранцев усмирять свой народ. Черт с ним! Ему мало сержантской пощечины!

— Позвольте, товарищ Дибич,— воззвал штабист, спустив ноги с кровати.

Сумки под глазами почернели, он точно укоротился, когда сел, рыхлые щеки отвисли, лицо стало больше.

— Сами-то вы разве не русский офицер?

— Нет!— крикнул Дибич.— Я — не русский офицер! Я не тот русский офицер, которых обучают английские сержанты! Я...

— Да все равно не откреститесь. Разве вы не так же, как те офицеры, от которых вы отрекаетесь, разве вы не давали одной с ними присяги?

— Присяга?

Дибич вскочил с постели. Запахнув коротенький, выше колен, горохового цвета халат вокруг худого тела и оставив на животе скрещенные длиннопалые бледные руки, он стоял босиком среди палаты, дрожа, поворачивая голову на тонкой голой шее то к штабисту, то к помору.

— Присяга? Кому? Строй, которому я присягал, не существует. Это освобождает меня от присяги ему. Армия, которой

я присягал, не существует. Это тоже меня освобождает. Остается отечество, да? Земля отцов? Родина? Так я верен присяге своей родине. Эта присяга заставляет меня изгонять из пределов родной земли всех, кто на нее посягает. Эту присягу я готов выполнить. Но этим занята сейчас не та армия, которая привечает иностранцев хлебом-солью за то, что они бьют по морде ее офицеров. И кажется...

Дибич сдержал раззвеневшийся свой голос, отошел к кровати, язвительно досказал:

— ...кажется, вы, товарищ командир, принадлежите к другой армии, если не ошибаюсь...

— Не отказываюсь, не отказываюсь,— несколько присмирел штабист.— Да ведь нельзя добиться, чтобы у нас все полтораста миллионов одинаково думали. Иностранцы помогают своим единомышленникам, естественно. Мы ведь говорим об интернационале? А что это, как не наши иностранные единомышленники?

— Мы своего достояния нашим единомышленникам не сулим и не дадим.

— Это собственное мое дело,— хмуро сказал помор.

Он сидел на своей койке, широко расставив колени и придавив их громадными кистями рук, которые казались почти черными на бумажных, не по росту тесных кальсонах.

— Мое дело, как я рассядусь у себя дома. Кого под кивоты посажу, а кого в заклеть пихну. Дом свой я от дедов наследовал, они мне его под стрехи вывели и кровью отстояли. Нет мне указчика, как его содержать! Коли я кого позвал зачем — будь гостем. А сам ко мне кто сунулся — ну, не посетуй, если я тебя твоим пречистым ликом да в назём... Всякий заморский шарфик меня принижать станет? Да я лучше кору с деревьев глодать буду, а пока земли своей не очищу, не успокоюсь.

— Ну и гложи, если тебе по вкусу,— сказал штабист, суетливо укладываясь в постель.

— Да мне не по вкусу,— обиделся помор,— кора кому по вкусу? Я говорю — я дом свой сам буду устраивать, и лучше на погост, чем под пришлого сержанта...

Разговор по виду кончился ничем. Но спустя день Дибич послал Извекову короткую записку и потом нетерпеливо ждал, как он отзовется.

Кирилл влетел в палату частой своей поступью, остановился, мигом оглядел всех обитателей, закинул руку за голову и потрепал себя по затылку. С крайней койки у окна улыбался навстречу совсем не тот Дибич, которого Кирилл откачивал у себя в кабинете валерьянкой. Это был скорее прежний Ди-

бич — батальонный командир, читавший выговор рядовому Ломову в недостроенной фронтовой землянке. Впрочем, и от того старого Дибича этот отличался не только своей, еще не изжитой, худобой, но словно бы облегченностью всего выражения лица, казавшегося в эту минуту даже беззаботным.

— Здорово вас отремонтировали! Прямо хоть в строй!

Извеков сказал это в полный голос, без обычной оглядки на незнакомых больных, с какой входят в палаты гости.

— Я и думаю, не пора ли в строй?— улыбаясь, ответил Дибич.

— Ого! Но все-таки не рано ли? Неужели у вас все в порядке? Позади-то, можно сказать, голгофа!

— Неделя, как гимнастику начал. Вчера вот этот стул за ножку выжал.

— За заднюю или за переднюю?

— За заднюю.

— Ну вот, когда за переднюю выжмете, тогда и выписывайтесь.

Они громко посмеялись. Что-то молодое, как шалость, соединило их в болтовне, и они впервые ощутили себя ровесниками — стали говорить друг другу, где кто учился, вспомнили чехарду на переменах, и как состязались поясными металлическими пряжками (кто выбьет глубже насечку на ребре пряжки), и как мерились силой (кто из двух, поставив локти на стол и взявшись накрест пальцами, пригнет руку соперника к столу), и Кирилл вдруг выпалил:

— А ну, давайте потягаемся!

Он присел на кровать против Дибича.

Неудобно нагнувшись, они сжали друг другу пясти и уперлись локтями в матрас. Дибич упрямо противился, побагровел от натуги, но постепенно рука его клонилась, и потом он сразу уронил ее на постель.

— Я говорю — рано выписываться,— весело сказал Кирилл и обернулся к больным:— Кто хочет помериться?

— В лазарет за легкими лаврами?— усмехнулся штабист.

— Не знаю, за легкими ли. Вот вы, пожалуй, пересилите,— сказал Кирилл архангелогородцу.

Помор ответил не сразу, будто подбирая в уме слова.

— Против двоих давайте, что ли,— буркнул он смущенно.

— Товарищ Дибич, покажем ему!

Вдвоем они сложили вместе правые руки — Кирилл и Дибич — и поставили локти на тумбочку перед койкой помора.

 Тот занял место напротив, захватил обе кисти противников

в свою вместительную теплую длань и, как железным воротом, шутя припечатал их к тумбочке.

Кирилл увидел на распахнутой его груди татуированное сердце, пронзенное стрелой.

— Матрос?— коротко спросил он.— Как фамилия?

Помор качнул головой:

— Страшнов по фамилии.

— Матушки мои, а?!— отступил Извеков.

Он опять сел у кровати Дибича, изучая его озорным, необъяснимо довольным глазом.

— Что же не спросите, в какой я хочу строй идти,— сказал Дибич.

— А что спрашивать? Я по лицу вижу.

Дибич улыбнулся.

— Быстрый вы.

— Решили?

— Решил.

— Хорошо. Как выйдете отсюда — прямо ко мне. Я дам рекомендацию. Сейчас новые части сколачивать будем. Поработаете на формировании.

— Я думаю, может, сперва на побывку к матери? На коротенькую.

— А... Что же, как хотите,— сказал Кирилл.

— Вы устроите меня на пароход?

— Как хотите,— повторил Извеков.

Впервые за эту встречу они оба примолкли.

— Газеты вам дают?— спросил Кирилл.

— Да. Что там на фронтах?

— Ну, вы же читаете. Уфа наша. За Урал переваливать будем.

— А на юге?

— На юге хуже.

— Деникин, видно, в решительную перешел?

Извеков оглянулся на соседнюю койку. Штабист смотрел на него внимательно.

— Решать будем мы, большевики,— сказал Кирилл громче и подождал, будет ли ответ.

Но стало как будто только тише.

— Почему я так говорю? Народ с нами, вот почему. Согласны?

— Я то же думаю,— сказал Дибич.

— Безусловно. Заметили вы одну вещь? Народ чувствует, что в самом главном мы делаем как раз то, что отвечает его желаниям. Это не просто совпадение. Наши цели идут в ногу

с историческими интересами России. Как раз в решающие моменты народной жизни они сливаются. Смотрите: народ требовал выхода из войны, он сбросил помещиков, сейчас он будет гнать в три шеи интервентов — мы на каждом его шагу с ним. Разве не так?

Кирилл не упускал из виду соседа Дибича. Во взгляде штабиста он угадывал тот метко нацеленный прищур, с которым следят за агитатором всё на свете отрицающие слушатели. И Кирилл вдруг почувствовал прилив давно неиспытанной услады, что он опять агитатор, каким бывал много и подолгу, и под своим именем, и под именем Ломова, на фронте, и всюду, куда его посылали. Он говорил, довольный, что слово его не вызывает в Дибиче протеста, но еще приятнее ему было, что оно явно претит другому слушателю. На фронте это называлось: насыпать соли на хвост.

Наконец он прямо обратился к штабисту:

— А вы я вижу, скептически относитесь к тому, что я говорю?

— Извините, товарищ, но здесь все-таки лазарет... И у меня печень.

— Ах, да. Тяжелая болезнь... Ну, значит, как, товарищ Дибич?— спросил Извеков, поднявшись.— На побывку домой, или как?

— Приду к вам после лазарета.

— Буду ждать. Да смотрите, не переусердствуйте...

Кирилл согнул в локте руку и показал на стул.

— И не оглядывайтесь. Окаменеете, как жена Лота,— опять засмеялся он.

Уходя, на одну секунду он остановился перед Страшновым.

— Извиняюсь, а кем вы будете?— захотел узнать помор.

— А я буду секретарь Совета, Извеков.

— У-у,— сказал помор,— слыхал про вас. Ну, правильно.

— Правильно?— улыбнулся Кирилл.

— Правильно.— тоже с улыбкою повторил Страшнов и медленно дал Извекову тяжелую руку.

Больше они ничем не обмолвились, а только еще секунду посмотрели друг на друга, улыбаясь, и Кирилл ушел.

Он двигался свободно, несмотря на зной, с ощущением какой-то проделанной гимнастики, и само собою, без рассуждений, пришло желание повидаться с Рагозиным.

Петра Петровича он застал в его приплюснутой комнатенке, у распахнутого окошка, за самоваром. Было душно, роились мухи, проносившаяся вдалеке тучными взвихреньями пыль мутила жаркий склон неба.

— Сижу, обливаюсь потом, и так, знаешь, подмывает двинуть на песочек — сил нет устоять.

— Купаться? Да ты что? Ясновидцем стал? Мысли-то мои читаешь,— сказал Кирилл.

— Что ты говоришь? — встрепенулся Рагозин.— Тогда, как тебе понравится: есть у меня задушевный старец один, у него — закидные удочки, котелок и все такое. И с лодочником он приятель. Поедем, искупаемся, вечерком закинем на живца и, может, переночуем, чтобы на зорьке еще попытать счастье. А поутру — назад, а?

Они скоро договорились на том, что Кирилл зайдет в гараж за машиной, съездит домой — сказаться до другого утра, и явится прямо на берег, а Рагозин возьмет на себя заготовку провизии и рыболовных снастей.

Через два часа они встретились у лодочной пристани: Кирилл — налегке, Рагозин и старик — увешанные всякой всячиной. Они взяли двухпарку, которую старик отрекомендовал послушной на ходу,— выгоревшую, не слишком опрятную лодчонку с навесным рулем, окрещенную по прихоти какого-то классика «Медеей». Рагозин был возбужден, торопился, размещая в лодке пожитки, точно опасаясь, что давно соблазнявший план сорвется. Только когда все было уложено, он спросил Извекова:

— Не признал?

Кирилл посмотрел на старика. Лицо его было взрыто крепкими, будто нарочно выделанными морщинами и овчинно-желто от загара. Рабочие очечки в белой оправе сидели на крупном горбатом носу. Кирилл проговорил неожиданно застенчиво:

— Тот, что ли?

У него потемнело и поползло в ширину пятно веснушек, которые умножались всегда к лету и делались заметнее, если он сдерживал улыбку. Рядом со спокойным стариком он стал больше похож на юношу.

— Тот и есть,— ответил Рагозин, почтительно ласково прикасаясь к сутулым лопаткам старика, крылами торчавшим под пиджаком.— На таких кремешках мы и держались. Великий конспиратор.

— Ишь отвеличал! — сказал старик, осторожно занося ногу в лодку.— Я-то думал, меня Матвеем кличут.

— Первый меня товарищем назвал,— слегка мечтательно припомнил Кирилл.— Совсем я еще был мальчишкой.

— И знаешь, где теперь проживает? Там, где мы с тобой листовки мастерили. У Мешкова.

— С господином Мешковым под общей кровлей,— сказал старик, надевая через голову рулевую бечевку.

— Мешкова я недавно видел, знаешь? — продолжал Рагозин.— Сбавил против прежнего.

— Сбавил, сбавил, а ерш в нем торчит,— заметил Матвей.

Но Кирилл не промолвил ни слова. Он сел в переднюю пару весел, Петр Петрович — в центре лодки, на другой паре, и они оттолкнулись.

Выйдя на середину Тарханки, они взяли вверх и гребли молча. Гуще и удушливее становились пронизанные рыбной гнилью накаты ветра. Все вокруг было упитано солнцем. Ни пятнышка тени на плоских песках. Ни перемены в ослепляющей ровной ряби воды. Ни свежего вздоха в разожженном воздухе. Только с каждым новым всплеском весел как будто подымается выше и выше, раздвигается дальше и дальше горящий над головой не измеримый никакой мерой почти бесцветный купол.

— Давно я не баловался весельцами. Последний раз — на Оке, в коломенских местах,— сказал Рагозин.

Ему не ответили. Старик, вскинув очечки под козырек картуза, глядел с кормы вперед, так туго прижмурившись, что в щелках его узких век не видно было и зрачков. Кирилл вработался в греблю и вскидывал весла на слух, совсем закрыв глаза. Когда проходили мимо Зеленого острова, он стащил с себя рубашку. Тело его сверкало от пота.

— Не сожгись,— предупредил Рагозин.

Но Кирилл опять ничего не сказал.

Обошли первый песчаный мыс и взяли наперерез протока, к дальнему стрежню. Тут слышнее стал запах рыбы, к приторной сладости его прибавилось кислоты.

Когда подошли к большим пескам, вдоль всего их края обозначились две-три серебристых каймы. В ближней к воде кайме серебро играло больше. Дальше тянулась кайма порыжее, последняя была сплошь черной. Скоро можно было различить в этих выброшенных на песок полосах отдельные рыбины, мертво блестевшие иссушенной чешуей на солнце.

— Держи поодаль,— сказал Рагозин старику,— дышать нечем.

— Селедочка-сестричка, рабочая рыбка,— качал головой Матвей.— Сколько добра прахом уплыло!

— Возьмем свое, наверстаем,— сказал Рагозин.

— Возьмем, да когда? Людям сейчас подай, люди жалостятся.

 — Есть люди, только и знают — жаловаться.

Стало тяжелее выгребать — приближался стрежень, и пришлось налечь из последних сил. Рагозин тоже снял рубаху, положил под кепку обильно намоченный платок. Течение отжимало лодку к мысу, старик правил круто против воды, чтобы не прибило к пескам. Когда наконец обогнули косу и открылся впереди размах коренного русла, Матвей отпустил рулевую бечеву, и лодку понесло. Рагозин крикнул:

— Суши лопаты! — и первый вскинул так высоко в воздух весла, что вода ручьями побежала по ним через уключины в лодку. Он водрузил на рукояти весел раздвинутые ноги и сказал Кириллу: — Здоров, малыш, грести!

Все притихли, отдаваясь нераздельному скольжению с водой вниз и отдыхая. С левого берега дуло горячим, но чистым дыханием степей, все здесь на Коренной было вольнее и бесконечно просторней.

Старик выбрал место у мелководного затона с узким горлом. Сразу, как пристали, Рагозин и Кирилл бросились купаться.

Они попробовали соблазнить и старика, но он отговорился, что свое отплавал и теперь у него одно дело — размачивать мозоли.

— Да он, чай, и плавать не умеет,— поддразнил Петр Петрович.

— А когда ты будешь из воды караул кричать, тогда посмотришь — умею или нет...

Кирилл и Рагозин плавали по-волжски — саженками. Петр Петрович опускал лицо в воду, выставляя солнышку лысину, потом высовывался, фыркал, фонтаном вздувая брызги, кричал — ого-го! — и опять зарывал нос в воду. Кирилл шел ровно и уплыл далеко вперед. Их руки взблескивали на свету, как полированные спицы медлительных колес.

После купания распределили работу. Старик пошел с ведерком и сеткой к затону — ловить уклейку для наживки, Рагозин взялся приготавливать закидные, Кириллу поручили собирать в тальнике валежник для костра. Заботы эти отняли много времени. Стайки рыбешек на отмелях вели себя хитро, молниеносно перебрасываясь всей слитной гурьбой с места на место. Тальник рос далеко, на самом горбу песков. Почти весь валежник унесло с полой водой, а сухостой поддавался рукам туго. На закидных оборвано было изрядное число поводков, и приходилось копаться с навязыванием новых крючков. Каждый намучился со своим делом.

Солнце уже порядочно опустилось, когда принялись насаживать живцов. Ставили четыре закидные, всего крючков на

сто, и возни с наживкой оказалось много: живец был не стойкий, быстро засыпал в руках от жары, и пока добирались до последних крючков закидной, на первых уклейка уже плавала брюшком кверху, и надо было наживлять заново.

Наконец Рагозин старательно раскачал свинцовое грузило и запустил в реку последнюю закидную. Все трое с удовольствием смотрели, как увлекаемые бечевой живцы на поводках один за другим отрывались от прибрежья и, поблескивая в воздухе, неслись вслед за стремительным грузилом. Воткнули в песок у самой воды аршинные пруты, навязали на них концы закидных, а на верхушки — крошечные колокольца, и Рагозин сказал:

— Первая закидная твоя, Кирилл. С того края — моя. А обе посередке — Матвея. Айда чай пить!

К вечерней заре они лежали вокруг притихшего костра на животах, воткнув локти в песок и потягивая из кружек прикопченный дымком чай. Ветер спадал, вода успокаивалась, меняя краски своего наружного цветного щита. Очень хорошо и долго всем молчалось,— наверно, лучшие воспоминания передвигались чередой у каждого, а может быть, охотники вели друг с другом понятный без слов разговор. И когда заговорил старик, то голос его будто и не нарушил безмолвной беседы, но продолжал ее потихоньку вести:

— Ты верно, Петрович, сказал, что люди любят жаловаться. С тех пор как помню себя, каких я жалоб не наслышался? Овес дорог. Снегу мало выпало, озимые не прикрыло. Корма скудные. Работник в семье один, а ртов много. Наделы малы. Дожди залили, все в поле сгнило. Одна супесь. Один суглинок. Все как есть спалило, и соломы не собрали. Аренда дорогая, кулак задушил. Чересполосица замучила. Приработки плохие. Погорельцы, переселенцы...

— Что же,— сказал Кирилл,— это все правда.

— Правда-то оно правда. Только переделывать эту правду надо. А как к переделу подходит, так, глядишь, куда твои жалобщики подевались!

— Так что же ты хочешь?

— Хочу я много чего. Между прочим, как людей заставить, чтобы не жалостились, а переиначивали в жизни, что неудобно?

— Надо пример дать. Это мы сделаем.

— Пора говорить — делаем,— сказал Рагозин.— Да кое-что уже и сделали.

 — Конечно,— согласился Кирилл,— но мы строим пока

первые новые отношения между людьми, а Матвей говорит обо всем укладе, о нашем быте.

Старик негромко засмеялся.

— Ишь какой!.. Ты, чай, пока чижа не накормишь, песни от него не потребуешь, а? Птичью песню семечко питает, верно? Нет, ты, брат, и петь учи, и зерно расти, и неприятеля бей, обо всем сразу думай.

— Обо всем сразу рановато,— сказал Рагозин,— хоть мы это понимаем. Кто это сейчас нам даст?

Старик замолчал, то ли наговорившись, то ли не находя ответа, потом надумал поддакнуть:

— Едем давеча в лодке, а я думаю, мол, захотели на отдых, будто уж все поделано. А дела-то еще у-у-у!.. Одной грязи сколько выгребать.

— Декарт утверждал, что земной шар — это солнце, покрытое грязью,— проговорил Кирилл, ни к кому не обращаясь.

Старик встал, медленно потянулся, спросил:

— Ученый какой?.. Насчет солнца ученому виднее. А насчет грязи мы сами замечаем.

Он тут же, прикрыв от закатного света глаза, добавил:

— Кого это господь дает?

По краю берега близился оживленной походкой человек в большой соломенной шляпе. Двое мальчиков, то забегая перед ним, то отставая, пригибались и кидали в воду гальку на состязание — кто выбьет больше «блинчиков», то есть у кого запущенный камень сделает больше скачков по поверхности, прежде чем затонет. Было уже слышно, как они выкрикивали счет, ускоряя его к концу, вместе с учащающимся подскакиванием камней: пя-ять, шесть, семь, восемь-девять-десять!

Рагозин вдруг вскочил.

— Смотри-ка!.. Да ведь... да ведь это...

Он безотчетно шагнул вперед, воскликнул:

— Ну конечно, он! Арсений Романыч! — и пошел, стараясь шире ставить вязнувшие в песке босые ноги.

— Арсений Романыч! — крикнул он.

Мальчики понеслись ему навстречу, но, не добежав, растерянно стали, обернулись к Дорогомилову, который торопился за ними.

— Ну, здоро́во, вы, ходатаи по делам,— засмеялся Рагозин, сразу узнав Павлика и Витю.— Тащите скорее своего подзащитного!

Они и правда кинулись назад, схватили с обеих сторон Арсения Романовича за руки, и он пробежал с ними несколько

шагов и остановился, почти такой же, как они, растерянный.

Сняв шляпу, он поправил или, пожалуй, старательнее запутал свои космы и стал одергиваться, явно стесняясь, что рубаха на нем заправлена в брюки и брюки кое-как держатся на стареньких подтяжках.

— Не грех ведь нам и облобызаться,— сказал сияющий Рагозин,— здравствуйте, дружище.

Они поцеловались. Мальчики подпрыгнули от восторга (они впервые видели, чтобы Дорогомилов целовался) и наперегонки сунули Петру Петровичу свои перепачканные руки.

— Вы, пожалуйста, Петр Петрович, пожалуйста, извините моих сорванцов,— заговорил счастливый, но ужасно как засмущавшийся после объятий Дорогомилов.— И не подумайте, прошу вас, что это как-нибудь я... То есть совсем не я их надоумил, ну, чтобы они пошли к вам... с этим выдуманным делом... Они сами, все как есть сами...

— Да Петр Петрович же знает, что это мы сами придумали, вот я и Витя...

— Погодите вы! Я хочу объяснить.

— Ничего не надо объяснять, ничего! — успокаивающе и с упреком перебил Рагозин.— Мне все известно, все! Неизвестно только, почему вы от меня прячетесь, а? Я-то ведь черт знает как все время занят. А вы...

— Именно, именно! — завосклицал Дорогомилов.— Потому мне и стыдно, ей-богу, как это все...

— Бросьте! Как вы здесь очутились, на косе?

— Мы с удочками, удить приехали,— за всех отозвался Павлик и махнул рукой назад,— вон там наша лодка. Поставили девять удочек еще в обед, и ни разу не клюнуло. Клева нет никакого, хоть лопни!

— А у вас закидные? — спросил Витя.

— На живца, да? — спросил Павлик.

— Верно ведь на червя сейчас не берет? — спросил Витя.

Так они в кучу сыпали вопросы, не давая говорить взрослым и сами недосказывая всего, что хотелось, пока не подошли к костру и Рагозин не сказал им:

— Ну, знакомьтесь, как полагается: докладывайте, кого как зовут, кого как величают.

И мальчики назвали себя по-школьному вежливо: Витя Шубников, Павел Парабукин.

Кирилл даже вздернул голову от этого, словно нарочно подстроенного, сочетания фамилий. Он поздоровался с маль-

чиками без следа своей уверенной скорой манеры. Витино лицо поразило его — так много неуловимо памятного заключалось в милой связи детских черт.

— Твою маму зовут Елизаветой Меркурьевной?

— Да,— смущенно ответил Витя.— Вы разве знаете?

— Ты... один у нее? — спросил Кирилл, после маленького замешательства.

— Один... Вот дядя Матвей живет вместе с нами.

Старик кивнул:

— Мешкова внучонок...

Рагозин пристально наблюдал за Кириллом, но того как будто всецело занимали дети.

— Вы давно дружите? — обратился он к Павлику, разглядывая его почти так же настойчиво, как только что изучал Витю.

— Мы все время дружим,— смело ответил Павлик и обернулся на Дорогомилова: — Правда, Арсений Романыч?

Говоря с мальчиками, Кирилл, против воли, непрерывно слышал присутствие Дорогомилова, и ему мешало чувство, что этот неожиданный пришелец ждет его взгляда и тоже непрерывно и как-то особенно ощущает его присутствие. Как ни изумила его встреча с сыном Лизы и одновременно с братом Аночки, он будто умышленно затягивал с ними разговор, чтобы овладеть собой и спокойно ответить на ожидающий взгляд Арсения Романовича. Он смутно знал этого человека, но с очень ранних лет таил к нему бессознательную неприязнь, которая позже, когда стала известна история гибели отца, превратилась в затаенную вражду. Кириллу в детстве нравились уличные мальчишки, дразнившие Дорогомилова Лохматым, и про себя он называл его не иначе.

— А это Дорогомилов, будьте знакомы,— приподнято сказал Рагозин.

И Кирилл произнес по слогам с холодной отчетливостью — Из-ве-ков! — и в упор уставил глаза на Лохматого, и увидел на его старом смятенном лице бумажную бледность. Тогда он тотчас решительно ответил на свой бередивший чувство скрытый вопрос: да, виноват! И ему захотелось во всеуслышанье грубо спросить: скажите, где утонул мой отец? Или уж еще злее: где вы утопили моего отца?

Но едва он ощутил трепещущее и в то же время обрадованное рукопожатие Арсения Романовича, совсем другой вопрос явился его мысли и отрезвил его. Не испытывает ли — подумал он — не испытывает ли тот, кто спасся из беды, всегда какую-то свою вину перед тем, кто от этой беды погиб? Мо-

жет ли он быть спокоен, даже если сделал все, чтобы спасти погибшего?

— Знаешь, Кирилл,— все еще возбужденно сказал Рагозин,— я ведь в десятом году уцелел благодаря Арсению Романовичу.

—Ах, что вы, ах, что! — взмахнул шляпой и весь заколыхался Дорогомилов, протестующе и потрясенно.— Совсем не то, совсем! И не надо, что вы!

Бледность его прошла, заменившись неровными старческими румянцами, и он вдруг перешел на растроганный и слегка торжественный тон:

— Можно мне прямо сказать, в вашем присутствии (он несколько раз перебежал взглядом с Кирилла на Рагозина), вот для них, мальчиков? Вы извините. Вот, друзья (он сблизил Павлика с Витей привычным настойчиво мягким движением воспитателя). Посмотрите на этих людей и запомните их навсегда. Они работают, чтобы вы были счастливы сейчас и в будущем. Чтобы, когда вы станете взрослыми, в жизни вашей больше не было той тяжести и той неправды, которая была прежде и которую вы и сами так часто еще встречаете на земле. Они хотят сделать землю такой чистой, как вот это вечернее небо... Вы меня простите... я немножко...

Он оборвал себя, отвернулся лицом к закату и отошел на шаг, покашливая.

Кирилл внезапно увидел в этом неловком косматом человеке необычайное сходство с книголюбом, который в ссылке заразил его своей лихорадкой, и с облегчением вздохнул.

Мальчики смотрели на него серьезно и неподвижно. Потом почти без паузы, после такой неожиданной речи, Витя громко спросил:

— Дядя Матвей, а как лучше насаживать живцов? За спинку или за жабры?

Рагозин рассмеялся и толкнул маленьких товарищей к костру.

— Идемте-ка к чайку поближе, там и разберем, как надо насаживать.

И тут случилось небольшое событие, объединившее всех быстрее, чем это может сделать самый добрый разговор.

Только всем лагерем уселись вокруг огня, как Витя привстал на корточки:

— Взяла?

Все точно по сговору обернулись к закидным. Неподвижные пруты, воткнутые в песок, были четко видны на притихшей матово-желтой речной глади. Внезапно крайний прут

пригнулся к воде, тотчас упруго выпрямился, и высокий тоненький звон захлебнувшегося колокольца растекся в тишине.

Витя, Павлик, Кирилл вскочили первыми. Рагозин схватил их и потянул книзу.

— Пусть возьмет! — страшным шепотом просвистел он.

Но, усадив мальчиков и дергая за рукав Кирилла, чтобы тот тоже сел, он сам, странно скорчившись, будто готовясь к смертельному скачку, подняв брови и выпучив глаза, стал как в присядке перебирать согнутыми в коленях ногами, загребая песок и все дальше отдаляясь от костра. Руки его, подлиневшие и выброшенные вперед, касались песка, он почти полз на четвереньках. За ним начали подниматься и тоже ползти мальчики, Кирилл и позади всех Арсений Романович, у которого лопнула от натуги и повисла под животом подтяжка.

Прут качнулся опять и мелко затрепетал испуганной дрожью, разливая вокруг беспокойный звон колокольчика. Рагозин, не отрывая глаз от прута, устрашающе махал рукой назад, чтобы все остановились, не ползли, а сам все быстрее загребал ногами, подбираясь к воде.

В шагах пяти он замер. Колокольчик смолк. Рыболовы позади Рагозина остановились в самых разновидных и неудобных позах. Арсений Романович торопился как-нибудь приладить подтяжку. Откуда-то издалека глухо доносилось трещание мотора. Прут стоял оцепенело.

Вдруг он сильно склонился, бечева закидной натянулась, выскочив из воды, колеблясь дернутой струной и ссыпая с себя частые сияющие капли.

— Взяла! — совершенно чужим и бесподобным голосом взвопил Рагозин и ринулся к закидной.

За ним бросились все сразу. Он ухватил бечеву, дернул наотмашь в сторону, потом приспустил назад, подождал, ощупью слушая — что происходит в реке — и опять крикнул:

— Матвей, подсак!

Старик тащил на плече сачок, трусцой перебирая негибкими ногами.

Кирилл, побледнев, сказал Рагозину:

— Дай. Это моя. Твоя — с того края.

— Постой, постой,— сказал Рагозин, с трудом выбирая закидную из воды и локтем останавливая Кирилла.— Пова́дить надо, пова́дить! Упустишь!

— Давай, давай,— повторял порывисто Извеков и, ступив в воду, в нетерпенье перехватил у Рагозина бечеву.

Тогда Петр Петрович вошел в воду глубже, по колено, и схватил закидную подальше.

— Упустишь, говорю... Трави! Трави, говорю! Оборвет!

Он дал добыче на минуту волю и опять начал выбирать. Стали показываться крючки с наживкой, раскачиваясь в воздухе или закручиваясь на бечеве.

— Здоровая! — по-детски сказал Кирилл, впившись глазами в натянутую закидную и невольно простирая к ней руки.

— Матвей, подсачивай!

Старик уже мочил свои мозоли, подводя сак под закидную, взбаламучивая железным обручем сетки податливый донный песок.

Сначала справа от бечевы, потом слева метнулась, гулко взбурлив тихую поверхность, рыба. Она почудилась всем титанической — так заволновалась, заходила, заискрилась растревоженная вода.

— Потрави еще,— присоветовал старик.

Рагозин отпустил, глянул через плечо на Кирилла и неожиданно протянул ему закидную:

— Ну валяй, что ли!

Кирилл так горячо принялся выбирать, что крючки на поводках заболтались широко из стороны в сторону, один впился ему в рукав, другой потянул Матвея за подол рубахи.

— Легше! — успел прикрикнуть старик.

Но тут бурный каскад воды вырвался из глубины вверх. Всего в двух шагах от охотников мелькнул начищенным ножом рыбий хвост, и вода забушевала. Матвей подставил колено под саковище, нажал правой рукой, а левой вырвал из воды тяжелый сак. Разбрызгивая выбегающие из сетки струи, в нем бесновалось пойманное чудовище.

В четыре голоса взлетели клики:

— Есть! Есть!

Кричали Витя, Павлик, Кирилл и бегавший кругом них Арсений Романович. Сак оттащили дальше от воды, и Кирилл вытянул на поводке в воздух извивающуюся белобрюхую с иссиня-рыжим хребтом щуку. Он подержал ее, вытер рукавом потное лицо, проговорил с благоговением:

— Фунтов семь.

Рагозин взял у него поводок, прикинул, сказал:

— Пять, не больше.

За ними то же проделал Матвей.

— Три фунта, от сил с половиной,— окончательно решил он.

После чего мальчики стали дергать щуку за хвост, и Арсений Романович начал читать наставление о том, почему нельзя класть палец щуке в рот, даже если она сонная.

Пока все были захвачены ловлей, шум мотора приблизился, и первым обратил на него внимание старик.

— Похоже, сюда заворачивает.

— А нам что? — ответил Рагозин.

— Катер-то чей? — загадочно прищурился старик.

— А нам не все равно? — еще раз отговорился Петр Петрович.

Опять занялись щукой. Конечно, уха должна была получиться не наваристой. Но, во-первых, солнце только что село и клев еще впереди, а во-вторых, рыболовы были людьми тертыми и всегда брали из дома на охоту мешки полнее, чем привозили с охоты домой.

— Подваливает катер-то,— опять сказал Матвей.

— Да ты что? Боишься — рыбу распугают?

— Нас бы не распугали...

Все стали глядеть на катер. Он летел напрямик к тому месту, где стояли закидные. Отваливая вздернутым носом два радужных вала с высокими белыми гребнями, волоча следом угольник исчезающих вдали волн, он вдруг оборвал треск мотора. Донеслось шипение рассекаемой воды, потом оно стихло, и катер врезался в песок, когда где-то далеко еще отзывался эхом его умолкший шум.

На берег выпрыгнул ловкий человек в щеголеватой гимнастерке. Он подбежал прямо к Извекову, и только песок помешал ему щелкнуть каблуками.

— Зубинский, для поручений городского военкома. Имею приказание доставить в город вас, товарищ Извеков, и товарища Рагозина.

— По какому поводу?

— Имею вручить пакет.

Кирилл сломал печать на конверте, развернул повестку. Губернский комитет вызывал его с Петром Петровичем немедленно явиться на экстренное партийное собрание.

Извеков дал прочитать бумагу Рагозину. Они переглянулись и пошли к костру — обуваться. Когда оба были готовы, Рагозин тронул Матвея по плечу с тем выражением, что, мол, прощай, старик,— такое вышло дело.

— Понятно,— проворчал Матвей,— меня, в случае чего, и в воду можно.

— Не брюзжи,— сказал Рагозин и хотел пожать ему руку, но тут самого его затормошили за локоть.

Арсений Романович, крайне всполошенный, отвел его чуть в сторону и, озираясь на Зубинского, шепнул с неудержимой поспешностью:

— Вы осторожно, Петр Петрович, с этим человеком. Это, может быть, совершенно неприязненный вам человек.

— Бросьте, дорогой! Мы не маленькие. Помогите лучше старику с его лодкой да со снастями.

— А щуку-то! Щуку! — закричал Павлик.

Рагозин притянул мальчика к себе, нажал пальцем на его облупившийся, спаленный солнцем нос, заглянул в глаза.

— Щуку — тебе. Хочешь — дай ее в общий котел, хочешь— съешь один!

Он шутя оттолкнул Павлика.

Кирилл, Зубинский и моторист раскачивали засосанный песком катер, и Рагозин тоже навалился всем телом на борт. Столкнув лодку в воду, они повскакали в нее на ходу. Зубинский сейчас же усердно начал обмахивать замоченные ботинки.

Мотор сильно взял с места, оглушив пространство нетерпеливым грохотом. Никто не обернулся на пески, где оставались розовые от заката неподвижные фигуры мальчиков — у самой береговой кромки, и стариков — поодаль.

Шли все время молча. Слышно было, как поднятый нос хлопает по воде, словно огромная ладонь. Только на виду сумеречно-багрового города в первых несмелых огнях Кирилл нагнулся к уху Зубинского и прокричал:

— Что там случилось, вам известно?

— На Уральском опять казаки шевелятся.

— На каком направлении?

— Говорят — у Пугачева.

Ботинки Зубинского просохли, он чистил носок правого башмака, натирая его об обмотку левой ноги. Лицо его было сосредоточено.

— Как вы нас разыскали? — опять крикнул Кирилл.

— В гараже сказали, что вы уехали на стрежень. Вам подадут на берег машину.

Втроем, кроме моториста, они стояли на носу, когда катер пробирался между причаленных лодок. С нетерпением ожидая толчка, они все-таки чуть не повалились друг на друга и, перепрыгнув через борт, выскочили на землю и пробежали несколько шагов вперед.

Никакой машины на берегу не было.

— Кто обещал автомобиль?

 — Механик гаража Шубников,— раздосадованно ответил

Зубинский.— Запоздал, дьявол. Я сбегаю в гараж, товарищи, а вы пока тихонько поднимайтесь.

Он бросился бегом, прижав согнутые локти к бокам, как спортсмен.

Рагозин и Кирилл шли вверх по взвозу солдатским шагом. Уже стемнело. Навстречу, дробно постукивая по мосткам, спускались к огням Приволжского вокзала гуляющие пары. Заиграл духовой оркестр, и гулкий барабан ретиво начал отсчитывать такты.

— Черт те зачем держат в гараже какого-то купчишку,— сказал Кирилл.

— Специалист,— небрежно буркнул Рагозин.

— Мы тоже хороши,— продолжал Извеков, будто говоря сам с собой и не заботясь о связи.— Если бы прошлый год не пропустили казаков за Волгу, может, не знали бы никакого Уральского фронта...

— Забыл, что за время было? — спросил Рагозин.— Их пришло три полка, вооруженных по-фронтовому. А что мы могли выставить прошлый год в феврале месяце? Какое время — такая политика... А драться с казаками было не миновать.

Они остановились перевести дух: взвоз был взят одним махом. Наверху, в старинных улицах города, было малолюднее и душнее. Жизнь угадывалась только в отголосках сокрытых темнотою дворов и за притворенными ставнями тихих флигелей.

Рагозин обнял одной рукой Кирилла.

— Может, этим летом нас ждет еще не самое тяжелое. Но, наверно, тяжелее всего, что осталось позади. Осилим?

— Обязаны,— сказал Кирилл.

Он с лаской потеребил сжимавшую его руку Петра Петровича.

Они двинулись дальше в ногу, ускоряя шаг и больше не говоря ни слова.

17

I

Пролог
к военным картинам

Если взглянуть на карту старой России, то казачьи земли начертаны на ней растянутой подковой от Дона на юг, к Азовскому и Черному морям, через прикавказскую сторону на во-

сток, к морю Каспийскому и к северу от него, вверх по Уралу. Донские, кубанские, терские, астраханские, уральские, оренбургские казаки своими землями держались друг за друга, словно солдаты руками в цепном строю.

В гражданскую войну белоказачьи фронты простерлись из конца в конец подковы. Но фронты не были непрерывны — их резала надвое Волга своим ниспадающим в глубину этой подковы нижним плесом с Царицыном и Саратовом.

Занять сплошь все пространство, лежащее внутри подковы, ставил себе задачей раньше всех один из первых генералов контрреволюции — Каледин. Он взывал в письме к оренбургскому атаману Дутову: «Мы должны иметь Волгу во что бы то ни стало. Только тогда мы сорганизуемся и поведем общее наступление на Москву. Мешает Саратов. Представляется безусловно необходимым приложить все старания к наибыстрейшему его занятию. Вам это легче сделать...»

Дутов пробовал приложить старания. Еще в первые дни после Октябрьской революции он решил опрокинуть на Саратов свою расположенную неподалеку Оренбургскую дивизию и приказал ей в двадцать четыре часа взять «столицу Поволжья». Атаманский приказ остался на бумаге. Он не мог быть выполнен не только в сутки, но на протяжении двух месяцев, пока оренбуржцы пытались сломить выставленные городом красные войска. Это был первый белоказачий фронт под Саратовом.

Новый девятьсот восемнадцатый год начался с мятежа на юге: астраханские казаки, взяв в осаду Астрахань, перерезали железную дорогу на Саратов. Это был второй белоказачий фронт, потребовавший от саратовцев борьбы в Заволжье. Они послали на помощь Астрахани испытанные сражениями части бойцов, получившие в Саратове громкое название «Восточной армии». Линия дороги была очищена от мятежников, Астрахань — воссоединена с Севером.

Но подняли голову белоказаки Дона. Опираясь на германцев, оккупировавших Украину и продолжавших движение за ее пределы на восток, донцы начали наступать на Волгу. Для укрепления Царицына Саратов выслал артиллерию с людьми и крепкую команду в сорок пулеметов.

Этот возникший в округе Саратова третий белоказачий фронт за годы гражданской войны не раз приобретал большое значение. В восемнадцатом году Краснов бесплодно бросал своих донцов против непреклонного Царицына. Казаков остановила у его стен не только отвага защитников революции. Атаманы и батьки впервые столкнулись здесь с обдуман-

ным искусством военного маневра и огня. Эти бои в приволжских степях и нагорьях правого берега отметила история.

Опасный фронт донцов побудил Саратов ускорить создание из партизанских отрядов регулярной армии. Ядром ее стали отборные части, действовавшие против астраханской контрреволюции. Но этой новой армии не привелось выступить на Царицынский фронт.

Весной восемнадцатого года уральские казаки арестовали уральский Совет, покорили своей власти город и провозгласили, что пришла пора проучить большевистский Саратов. Новая армия саратовцев вынуждена была отправиться не к Дону, а в Заволжье, на четвертый белоказачий фронт — Уральский.

Военная хроника этого фронта была открыта по весне дружным движением советских войск на восток. Василий Чапаев шел грунтовой дорогой из Николаевска, саратовцы, тамбовцы, новоузенцы следовали железной дорогой. У станции Алтата все силы объединились и развернутым по степной целине фронтом повели наступление через Семиглавый Мар на Уральск. В боях было разбито несколько вражеских полков. Но белые произвели контрудар, красные войска отошли почти к исходной позиции. Однако уже спустя десяток дней в Саратове на заседании исполнительного комитета Военный совет выступил с заверением, что наступление возобновлено. На этом заседании делегаты съезда астраханского трудового казачества сообщили, что съезд обращается с воззванием к «уральским братьям трудовым казакам», «дабы выкинуть из нашей среды всех тех, кто мешает нам создавать народную власть в лице Советов». Это был обнадеживающий просвет в борьбе.

Но именно в эти дни ворвались события, которые грозили перечеркнуть первые успехи под Уральском.

Когда главные силы были направлены на Уральский фронт, в оставшихся частях саратовского гарнизона вспыхнул бунт. Тайные офицерские организации объединились с правыми эсерами и спровоцировали выступление одной из батарей против отправки на фронт. Солдат напоили, началось подстрекательство к избиениям, были арестованы представители Совета, сами собой начали разряжаться винтовки и палить орудия. Когда словно уже все было ликвидировано, некий казачий офицер Викторов составил за ночь план разрушения здания Совета и с утра открыл из орудий ураганный огонь по городу. Отряд в полтораста рабочих удерживал разъяренный нажим бун-

товщиков на Совет, пока мятеж не был подавлен ответным огнем.

Не это трехдневное происшествие могло, конечно, отразиться на фронтах войны. Но оно было слабым дуновением, предвещавшим ураган мятежей и восстаний, который промчался по Саратовской губернии, втянул в свою воронку все Среднее Поволжье и унесся через Урал в Сибирь.

Эшелоны бывших пленных чехословаков в союзе с белогвардейскими офицерами, захватив Ртищево, двинулись на Саратов и Пензу. Мобилизованные саратовские рабочие отряды удержали их, выбили из Ртищева и, вместе с подоспевшими аткарцами и балашовцами, стали освобождать занятые чехами города. На пути к Самаре мятежники арьергардным ударом разбили преследователей. Борьба приняла затяжной характер.

С момента, как Самара очутилась во власти чехов и Учредительного собрания, многими десятками саратовских волостей овладело восставшее кулачество, и, наконец, поднялись против Советов немцы-колонисты по обе стороны Волги.

В руках Саратова нашлись надежно сформированные батальоны, потушившие пожар восстаний, слитые затем в Вольскую армию и направленные по следам чехословаков вверх по Волге. Один из саратовских полков в числе первых вошел в отбитую у чехов Самару.

Оттесненные с правого берега мятежники угрожали Саратову с луговой стороны. Чехи взяли Николаевск, им на подмогу спешили из Самары учредиловские войска.

Чапаев, предупреждая угрозу, повернул со своей кавалерией от Уральска на Николаевск. Изгнав из него чехов, он разгромил в конце лета на Большом Иргизе, неподалеку от родимого своего Балакова, войска учредиловцев наголову.

Чапаевская дивизия выступила по Самарскому тракту, и ее состава полк имени Емельяна Пугачева — тот самый, что лихо брал Николаевск-Пугачев,— ворвался осенью и в Самару.

В это время во главе Николаевской бригады своей дивизии Чапаев снова продвигался к Уральску. Казаки были уже достаточно сильны. Близ степной станицы Таловой они окружили Чапаева, и, после отчаянных стычек, он прорвался сквозь кольцо и вышел назад к Пугачеву.

Так наступил в Заволжье тысяча девятьсот девятнадцатый год.

Подвижность Уральского фронта в этот неповторимый
 историей год, в этой редчайшей по подвижности фронтов

войне оказалась едва ли не исключительной. Уральск был завоеван Красной Армией в начале года, в феврале. Белоказаки отступили в глубину студеных степей. Лошади их выбивались из сил, по брюхо в снегах, днем и ночью на морозном буране. Чапаев, проведши конец осени и начало зимы в Московской военной академии, к февралю был опять в уральских степях, во главе своей дивизии. Он шел на юг, к концу месяца занял Александров-Гай, в середине марта взял Сломихинскую. Это было направление на Каспийское море и в тыл казакам. Путь чапаевских конников измерялся сотнями верст. Но истории было угодно, чтобы они мерили свои походы не сотнями, а тысячами верст.

Весенний прорыв белых армий Колчака к Средней Волге заставил сосредоточить все возможные силы революции на Восточном фронте. Уже в апреле полки Чапаева, переброшенные из уральских степей на север, в степи самарские, приняли участие в контрнаступлении против главных сил Колчака. В период великолепной Бугурусланской операции Фрунзе, в середине мая, чапаевцы достигли Белебея, разгромили корпус Каппеля, взяли город и начали движение на Уфу. В начале июня белая Уфа пала.

Борьба против огромных сил Колчака дала уральским белоказакам новый роздых, и они быстро оправились. В середине апреля они произвели налет на Лбищенск, к исходу месяца обложили кольцом Уральск. С этого момента гражданская война повела счет восьмидесятидневной осаде красных в Уральске.

На пятидесятый день осады, в середине июня, Ленин телеграфировал командарму Фрунзе:

«Прошу передать... героям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель...»

В тот же день Фрунзе отдал приказ Чапаеву выступить со своей дивизией из Уфы на юг, против белоказаков и освободить Уральск. Через пять дней кавалерия Чапаева была уже на марше.

Действия уральских белоказачьих войск весною — осада Уральска, продвижение на запад к Пугачеву и по железной дороге на Саратов — облегчались не только борьбой Красной Армии с Колчаком, но и событиями на юге.

К началу мая разгорелся мятеж казаков на Дону, в районе Богучара — Вешенской. Стараясь использовать мятежников как опору, в середине мая предприняла наступление Донская армия, а в конце месяца красный фронт был прорван

Деникиным, выступившим из Донецкого бассейна в направлении на Богучар через Миллерово.

Вожделения Каледина, Краснова — соединиться с заволжским казачеством — были преемственно унаследованы Деникиным. Он все время напряженно искал связи с изолированным Уральским фронтом. Его штаб с февраля девятнадцатого года имел постоянные сношения с уральцами. Либо это осуществлялось через захваченный англичанами Баку, либо через Петровский порт. Деникин слал отсюда уральским казакам на пароходах в Гурьев деньги и обмундирование, ружья и патроны, орудия и броневики — все, чем снабжала его усердствовавшая Антанта.

Но эти сношения не могли удовлетворить белых. В момент, когда ими делалась ставка на уничтожение Красной Армии и разгром революции, Деникину стало кровно необходимо, чтобы армии белых протянули друг другу руки через неприступную Волгу. В конце июня он решительно потребовал от казачества Заволжья: взять город Уральск и затем действовать на Бузулук или Самару — в тыл Красной Армии, на выручку бегущему Колчаку.

В эти дни топот чапаевской конницы, валом катившейся на юг от Уфы, уже разнесся по душным уральским степям.

И как раз в эти дни прилетевшие в Самару на аэроплане бойцы осажденного Уральска передали Красной Армии приветственное письмо его защитников. Они благодарили в письме за обещанную помощь. Они сообщали, что за время осады приняли три сильных боя, окончившихся поражениями противника, и отразили многие демонстративные наступления, выдерживая упорные бомбардировки города. Они писали, что в черте города подавили заговор белых, собравшихся встречать, под торжественный звон колоколов, генерала Толстова. И они заканчивали свое возвышенное письмо так:

«Может быть, у вас возникает вопрос — чем вооружились защитники Уральска, что их никак не взять. Так вот чем: революционным духом и непреклонным убеждением, что хлебородный Уральск должен прокормить наши голодающие красные столицы — Питер и Москву...»

Слова эти выразили коренное сознание народной России, которая вела неутомимую и беспощадную битву на юго-востоке: революции нужен был хлеб, революции нужна была нефть, революция не могла уступить Волгу белогвардейцам.

II

Для тех, кто изучает историческую военную карту ретроспективно, для потомка современников событий, она существует как незыблемая данность, но в то же время кажется гораздо сложнее, запутаннее, нежели казалась современникам. Чем пристальнее вникаешь в ее неподвижные зигзаги, тем больше требуется объяснений — почему та или иная линия проведена там, а не тут, почему она отклонилась в сторону через месяц, а не раньше или позже, почему она исчезла, а вместо нее появилась другая?

Современник событий усваивает военную карту так, как усваивается погода протекающего на ваших глазах дня: утром собирались тучи, к полудню пошел дождь, потом дул ветер, потом разъяснило и стало чисто. По мере движения военных дел откладываются в представлении наблюдателя возникающие во времени подробности, и память удерживает живое значение каждого штриха, нанесенного на карту. Изображенный на бумаге театр военных действий полон для современника смысла, любая точка насыщена кровью, страданием, надеждой или торжеством сердца.

У Кирилла Извекова картина событий — расстановка сил, места сражений, время военных действий, их объем и важность — жила как бы в подсознании. То, что ежечасно дополняла действительность, переносилось мыслью на эту живущую в подсознании схему, и Кирилл ложился спать и просыпался с этим буквально подразумеваемым общим представлением о том, что сегодня происходит. Он не мог знать — что́ произойдет завтра. Но знал, что́ в конце концов неминуемо должно произойти, ибо со всей силой желал этого неминуемого и верил, что желаемое сбудется.

Когда вечером после рыбной ловли Кирилл и Рагозин явились в Совет, им стало известно, что дерзким набегом казаков захвачен город Пугачев, причем зарублен отряд коммунистов в сто человек. Чапаев, выступивший из Уфы за пять дней перед тем, стремительно вел свою дивизию на уральский театр, но его цель находилась глубоко в степи. А Пугачев отстоял от Волги в однодневном, самое большее в двухдневном переходе, и казачьи разъезды вот-вот могли очутиться на правом берегу.

Этот год был годом мобилизации. Кончалась одна, начиналась другая. То они делались по предписаниям из центра, то их производили губернские или даже уездные власти. Мобилизовали в армию, в продовольственные отряды, в сани-

тарную службу, на оборонительные или тыловые работы, на заготовку топлива. Мобилизовали коммунистов, рабочих, врачей, крестьянскую бедноту, членов профессиональных союзов, буржуазию, царских офицеров. Одни мобилизации вызывали бурный приток добровольцев, другие затихали, не успев развернуться. Почти за каждым большим событием на фронте следовала какая-нибудь военная мобилизация. Почти каждому неожиданному происшествию — мятежу, набегу, заговору, измене — сопутствовала равноценная мобилизации отправка наспех сколоченных боевых групп к месту происшествия.

Взятие казаками Пугачева и новая угроза из Заволжья пробудили новую решимость защищать Саратов. Сейчас же были намечены военные части, которые следовало послать на фронт. Сейчас же было решено придать частям ударный отряд. Сейчас же началось составление списка вновь мобилизуемых в отряд большевиков.

И Кирилл и Рагозин со странной уверенностью ожидали, то оба они войдут в список. То, как их разыскивали бог весть где на коренной Волге и потом доставили на катере в город; то, как возбужденно проходило партийное собрание и как оно закончилось в глубине ночи пением «Вы жертвою пали» в память погибших товарищей и потом — гимна, все это создало у них разгоряченное чувство, что они должны добровольно идти и непременно пойдут на фронт.

Но они не успели договорить о своем намерении, как им было отказано наотрез: об оставлении ими должностей не могло быть речи, положение вовсе не считалось таким, чтобы надо было мобилизовать «партийных работников губернского масштаба».

— Губернского масштаба! — воскликнул Кирилл.— Дело идет не о губернии, а кое о чем побольше!

— И когда же прикажете считать положение не таким, а этаким? — с сердцем вопросил Рагозин.— Может, когда опять с Ильинской площади по Совету из орудий задолбают? Так, что ли?

Но пыл не мог поколебать ответного спокойствия: существовало решение, что на заведующих отделами Совета мобилизация не распространяется. Рагозин обрушился на противника что было мочи:

— Может, на мое место чинуш не найдется? Что сейчас важнее — фронт или дебет-кредит? Все равно из меня министра финансов не сделаете! Ишь какой нашелся! Что с тех пор переменилось, как меня деньги считать посадили?

Цены стали ниже? Керенки подорожали? Штаты стали меньше раздувать? Я даже порядка в отчетности не добился, кавардак везде такой — ноги переломаешь!

Тирада встретила, однако, лишь замечание о «несознательности» да было произнесено под конец непреложное слово: «Придется подчиниться партийной дисциплине».

Подчиняться словно было все-таки легче, чем перетерпеть иронию: какая в самом деле несознательность могла обнаружиться в Извекове или Рагозине, когда все сознание их было слито в одно целое с судьбой революции?

Так они размышляли, так чувствовали, покинув Совет и маршируя обок друг с другом в молчании по непроглядным улицам.

Ночь стояла черная, затянутая тучами и как будто безвоздушная. Можно было ждать — соберется дождь. Безмолвие было полным, но город казался не спящим, а затаившимся. Какой-то незримый враг словно перехватил дыхание и бесцветными очами ночи провожал Кирилла и Рагозина, выглядывая из зарослей палисадников, через заборы и с нависших над тротуарами крыш.

Извеков решил переночевать у Рагозина: Вера Никандровна будет думать, что сын остался на песках, а дом Рагозина ближе к Совету — можно пораньше прийти на работу.

Они распахнули окно, зажгли настенную лампочку с круглой жестянкой рефлектора (электричества уже давно не давали) и, кое-что собрав из остатков еды, поужинали. Спать легли на полу, разостлав простыни и раздевшись догола. Но оба они не ответили бы — что больше мешало заснуть: духота или неунимавшееся снование мыслей.

Прислушиваясь в томлении к тяжелым вздохам Кирилла, Рагозин сказал:

— Раньше говорилось — работать на ниве. Черта с два, доберешься до нивы! Латай рукавом ворот, воротом рукав. Отмахивайся да отстреливайся. Не там — так здесь.

Кирилл вдруг усмехнулся.

— А ты приехал на рыбалку и хочешь, чтобы за тебя кто другой комаров гонял! Нет, ты и наживку наживляй, и от гнуса отбивайся. Матвей-то прав.

Он ненадолго примолк, потом досказал:

— Тебе что же жаловаться? Никто тебя с твоей нивы не гонит...

— Верно. Сиди, считай керенки да подмахивай бумажки.

— Упразднил бы керенки-то.

— Вон Колчак упразднил...

— Ну, видно, у него не все без мозга!

— Ан, видно, без мозга! Офицеры его бунт подняли — карманы-то керенками набиты. Не хочется нищать. У наших мужиков на деревне этого добра тоже не мало... Что ты понимаешь в керенках?!

— Ну, раз ты понимаешь, значит, правильно посажен. Сиди.

Рагозин поднялся. Было так темно, что даже его высокого белого тела Кирилл не мог разглядеть. Оно стало угадываться, когда Рагозин взгромоздился с ногами на окно: чуть-чуть начинал брезжить вялый рассвет.

— Ты полагаешь, я буду муслякать деньги да ждать, пока белые покажутся на Соколовой горе?

— Нет,— ответил Кирилл спокойно,— если белые дойдут до Соколовой, от тебя в городе и следа не останется.

— Пущусь наутек, да?

— Тебя первого заставят эвакуироваться.

— Спасибо. Ты мне удружил, ты меня и выручай, коли так: эвакуируй со мной мои сейфы.

Кирилл быстро привстал и, скрестив по-мусульмански ноги, выпалил:

— Я больше трех лет был военным работником. Привык к армии, и думаю — так уместнее. А меня держат за чернилами да промокашками.

— И что же?

— То, что я не хуже тебя. А подчиняюсь.

— А я не подчиняюсь?

— Ну и подчиняйся!

Кирилл отвалился на подушку, взял ее в обхват и задышал ровно и громко, то ли притворяясь, что засыпает, то ли действительно засыпая от усталости.

На другой день он работал как никогда скверно. Все было не по нем. Зудящий жар полыхал по груди и спине,— Кирилл подумал, что с непривычки обжег себя на Волге солнцем. С грехом пополам он дотянул до обеда летучие совещания, телефонные разговоры, перечитыванье и перечеркиванье бумаг. Потом велел позвонить в гараж и поехал домой.

У Веры Никандровны он застал Аночку, которая тотчас собралась уйти.

Что-то очень нежное показалось Кириллу в ее смущении, какое он уже не раз видел.

 — Нет, нет,— возразила Вера Никандровна,— не уходи.

Во-первых, в нашем деле полезна мужская голова, во-вторых, будешь с нами обедать.

Мужская голова, впрочем, не столько обнадеживала ее пользой, сколько беспокоила.

— Ночевал на песках?

Кирилл не торопился с ответом.

— Нет, вернулись поздно вечером. Но не было машины, я заночевал у Рагозина.

— Не унести было улов на плечах?

— Ага! — поддакнул он довольно.— Знаешь, я вытащил этакую вот щучину!

Он так развел руками, что Аночка посторонилась.

— Ее везут? — спросила она внушительно.

— На подводе. И позади тележка для хвоста — знаете, как возят бревна.

Вера Никандровна улыбнулась только из деликатности. Раз он ухватился за шутку, значит, был рад, что его не спрашивают о серьезном, и значит, недаром в городе шептались об экстренном ночном собрании. Аночка как будто догадалась помочь ей:

— Говорят — неприятные новости, да?

— Ничего чрезвычайного,— сказал он быстро.— А у вас что за совещание?

— Аночка с жалобой на брата. И я не могу ничего присоветовать. Расскажи, Аночка, Кириллу.

— Мало у вас, право, дел, кроме моего Павлика!— опять смутилась Аночка.

Но он настоял, чтобы она говорила,— он предпочитал расспрашивать, чем отвечать на расспросы.

Оказалось, Павлик совсем отбился от дома после смерти матери — пропадает на улице, на берегу, завел дружбу с беспризорными мальчишками. Даже ночует неизвестно где...

— Я видел его на песках, с Дорогомиловым,— сказал Кирилл, испытующе взглянув на мать.— Надеюсь, эта дружба не во вред?

— Арсений Романович сам жалуется на перемену в Павлике. Мальчишка даже книги перестал у него клянчить.

— Чего захотели! Каникулы! Я бы тоже пропадал на Волге. Счастливое время,— вздохнул от зависти Кирилл.

— В том-то и дело, что каникулы: никакого влияния школы,— произнесла Вера Никандровна строго, точно на учительском совете.

— Что ты на меня смотришь? — с улыбкой сказал Кирилл.— Ты педагог, тебе лучше знать.

— С мальчиком, правда, очень трудно,— заметила мать.

— А со мной было легко? — живо спросил он и обернулся к Аночке.— Вы ведь не хотите из него сделать паиньку?

— Я не хочу, чтобы он стал беспризорником. А к этому идет. У меня мало времени для него, и я недостаточный авторитет. На днях он заявил, что убежит на фронт. Что я могу сделать?

Кирилл засмеялся:

— И я с ним!

Вера Никандровна следила за сыном пристальнее, чем этого требовал разговор: несомненно, он что-то умалчивал важное!

— Затвердил какую-то глупую фразу, «Жизни не знаешь!» — сказала Аночка, улыбнувшись.

— Конечно, не знаете! — продолжал смеяться Кирилл.— Ко мне в Совет, что ни день, приводят таких героев. Убежит, непременно убежит воевать!

— Отца тоже не слушает. Отец хотел его устроить в утильотдел — рвать книжки...

— Как рвать книжки? — удивился Кирилл.

— Ну, вот именно. Повел Павлика в пакгауз, где рвут макулатуру. Павлик прибежал ко мне, чуть не в слезах, говорит: «Вот она, твоя революция! Жизни не знаешь! Поди посмотри, как отец дерет книги!»

— Книги? — повторил Извеков уже совсем серьезно.— Мне это неизвестно. Надо заняться. Что это такое?

Он отошел к своей полке. Она все еще была пустой — два-три десятка брошюр и газеты стопкой лежали в углу, и поверх них — картонки с названиями разделов. Он перебрал всю эту разрисованную рондо «Экономику», «Беллетристику» и спросил:

— А это что же, ваш отец определяет — что макулатура, что нет?

— Там есть какие-то люди для этого. Отец занят чем-то другим... то есть хозяйственным чем-то. И вообще... что же, отец? Он болен... вы же знаете, русской болезнью.

— Не понимаю, почему это зовется русской болезнью,— ухмыльнулся Кирилл.— Пьют не одни русские. Пьют и англичане. Однако английская болезнь — это рахит, а не алкоголизм.

Ему тут же стало стыдно этого, вероятно вычитанного каламбура, но Аночка расхохоталась тем хохотом, какой нападает на молоденьких девушек, например, в последних школьных классах, когда хохочут без особой причины, един-

ственно потому, что молодое ликование жизни требует смеха.

Кирилл прикрыл рукой рот,— все-таки вырвалось что-то веселое, хотя и неловко, и было изумительно слушать плещущий на переходах разлив Аночкиного смеха. Вера Никандровна нашла момент подходящим, чтобы заняться обедом, и оставила Кирилла и Аночку вдвоем.

Он подождал, пока Аночка успокоится. Но они оба молчали слишком долго, и, чтобы побороть волнующую растерянность, которая внезапно явилась, когда он увидел себя наедине с этой казавшейся ему необычной девушкой, Кирилл спросил умышленно по-деловому:

— Что же делать с вашим братом?

— Если бы отец как следует зарабатывал, дом больше привлекал бы Павлика... не знаю, какими-нибудь занятиями, может быть, просто достатком...

— Я попробую сделать что-нибудь для вашего отца,— сказал Кирилл.

Она отбежала к окну и минуту не в состоянии была ничего выговорить, заслонив голову обернутой назад ладонью, будто мешало даже то, что Кирилл видит ее затылок.

— Ничего особенного,— хотел выручить ее Кирилл.

— Я совсем не то думала!.. Я скоро буду тоже зарабатывать, и тогда...

— Конечно,— сразу поддержал он,— все наладится, как только ваш театр станет на ноги.

— Правда? — мгновенно повернулась она с новым, горящим взором.— Вы поможете?

— Разумеется. Да и Рагозин тоже. Он ведь понимает, что искусство не может самозародиться. Мы с ним пьесу не разыграем.

— Нет, правда? — почти крикнула она.

— Конечно. Мы с ним не актеры.

— Нет, я не то! — смеясь и волнуясь, лепетала Аночка.— Я о том, что вы серьезно верите в наш театр?

— Ведь вы в него верите? А я смотрю на вас и не могу не верить.

— В театр или в меня? — спросила она с чуть заметным колебанием.

— Я вас тоже спрошу: а вы — в театр или в его людей?

— Это одно и то же,— ответила она, подумав, и тут же, разгадав его мысль, нахмурилась:— Вы не о Цветухине?

Он словно обиделся, что она его уличила, потом сказал твердо:

— Мне кажется, он может сделать много полезного, потому что увлечен и хочет работать. Но так же легко может много напутать, потому что — страшный фантазер.

— Вы считаете, что никогда ни в чем не ошибаетесь? — спросила она раздраженно.

— Нет, не считаю.

— Но хотите никогда не ошибаться?

— Хочу. Это я могу сказать. Хочу,— подтвердил он.

Она прошлась по комнате непринужденно, но он видел, что она подавляла мешающее ей чувство.

— Я тоже хотела бы. Но знаю, по крайней мере, в деле, которому хочу принадлежать, знаю, что в нем невозможно не ошибаться.

— В искусстве?

— Да.

— Кто вам это внушил? — сказал он, недоумевая.

— Я вижу, как работают старые актеры. Как они ищут, как им кажется, что они нашли, как потом отказываются от найденного, и все начинается сызнова.

— Так во всяком труде,— сказал Кирилл.

Она с грустью покачала головой, словно желая пристыдить его.

— Вы сами не верите в свои слова. Почти всякий труд состоит в повторении усвоенного. Попробуйте повторяться в искусстве. Художник умирает, если повторяется. Мечта его жизни — выразить себя отлично от других и отлично от того, чем он однажды уже был.

— Этому вас учит Цветухин? Я с ним не согласен. Артист должен выразить через себя всех. Одинаково со всеми. Иначе он будет непонятен.

Аночка была очень сосредоточенна. Она размышляла упрямо, как над задачкой. Она даже поднесла к губам палец. Вдруг с торжествующей улыбкой и тихо, как раскрывают чувство, которым дорожат, она сказала:

— Я согласна. И Егор Павлович, наверно, тоже. Но ведь это — цель, быть понятной. А я говорю о том, как ошибаешься по дороге к цели. В работе, в поисках. Никакая цель не мыслима без движения к ней, верно? Вот в движении и ошибаешься.

— Ошибаться не грех. Но стоит ли повторять ошибки других?

Она озорно повернулась на каблуках.

— Не-ет, не-ет! Вы плохо знаете Цветухина!..

 Уже был накрыт стол. Хлопоча вокруг него, Вера Ни-

кандровна краем уха слушала разговор, отвлекший сына от скрытых мыслей, и, когда уселись, заключила с довольной добротой, будто радуясь, что все так удачно подстроила:

— Спорщица! Любишь свой театр, ну и люби, пожалуйста, никто не возражает.

— Да, да, да! — воскликнула Аночка.— Никто не возражает! Потому что это самое сильное переживание! Самое яркое! Самое полное! Самое (она столкнулась глазами с прямым, но слегка задорным взглядом Кирилла и неожиданно спуталась)... самое... налейте мне, пожалуйста, Вера Никандровна... что у вас, щи?

Начавшись этой забавной ноткой, обед прошел в шутливой болтовне, и Кириллу стало казаться, что он не только дома, но в кругу своей семьи. Он предложил Аночке довезти ее в город на машине, и она с удовольствием вскочила в потрепанный, однако все еще импозантный «бенц».

Горячий, но освежающий ток встречного ветра захватил ее. Она ничего не говорила, отдаваясь ни разу не испытанному властному движению. Толчки на древних выбоинах мостовой не сдерживали, а усиливали ощущение полета.

Кирилл сбоку глядел на ее лицо. Расширились и отчеркнулись резче ее легко изогнутые ноздри, смело держалась против ветра голова, и тонкая шея стала еще длиннее, вдруг выразив своим очертанием всю наивную прелесть девушки. Он смотрел на нее, и в ушах его повторялся такой певучий, такой бесхитростный возглас: «Самое сильное переживание, самое яркое, самое полное!»

На крутой яме машину подкинуло, где-то в утробе кузова инструменты весело громыхнули звонкой сталью, Аночку бросило в сторону, она всем весом оперлась на колени Кирилла, тотчас выровнялась, но он прижал ее руку к своей коленке и не хотел выпускать. Она отвернулась и с упрямством высвободила руку.

— Вон вы какая,— сказал Кирилл.

Она продолжала молчание, по-прежнему поглощенная единственным ощущением головокружительной езды, и только в конце пути, точно опомнившись, ответила:

— Откуда вам меня знать? Вы, наверно, и не подумали обо мне ни разу. А вот я о вас знаю все.

— Все? — не поверил он.

— Как вы были в тюрьме, как жили в ссылке, как пошли на войну...

— Еще не все,— подзадорил он.

— Ну... что же вам еще? О Лизе Мешковой? И о Лизе знаю. Словом — все!

Она обернулась к нему в первый раз за дорогу. Лукавое любопытство мелькнуло на ее лице, и он неожиданно отвел взгляд.

Ей надо было выходить. За эту секундную стоянку ему захотелось так много высказать о себе, что он не нашел ни одного подходящего слова.

— Давайте увидимся,— предложил он, протягивая ей руку, когда она уже стояла на тротуаре — тонкая, прямая, в сверкающем на солнце белом коротком платье, с растрепанными ветром волосами.

— Давайте.

— Приезжайте послезавтра вечером к маме, хорошо?

Она сказала, чуть кивнув:

— Хорошо,— и скрылась за угловым домом.

Эти два дня Кирилл занимался делами с увлечением, но чем настойчивее уводило его за собой дело, тем медленнее шли часы, и едва наступал вечер, он спрашивал себя с изумлением — почему назначил встречу на послезавтра, а не на сегодня, не на завтра? «Растерялся, молодой человек, растерялся»,— повторял он про себя с издевочкой и озорно.

Ему была знакома эта беспокоящая протяженность времени. Давней, почти забытой порой, вынужденный излишек времени заполнялся живучей тревогой об утрате, о потерянной надежде. Это бывало в Олонецких лесах, позже — в годы сормовского притворства, когда надо было жить надетой на себя скучной личиной благонамеренного чертежника Ломова. Тогда это чувство выливалось в тоску о Лизе.

Сейчас он испытывал что-то похожее и одновременно другое, новое, смешанное с нетерпением. Сходство и различие чувства шло дальше. Тогда, тоскуя о Лизе, он думал о Цветухине. Теперь не успевал он вспомнить Аночку — Цветухин тоже приходил ему на ум. Но в прошлом его столкновение с Цветухиным было иллюзией, выросшей из предчувствия опасности. Сейчас Цветухин казался живой угрозой, и он только не понимал — почему?

За сутки до назначенной встречи с Аночкой, ночью, лежа у отворенного окна и глядя в звездную неподвижность неба, Кирилл потребовал от себя объяснения странному чувству.

Прежде всего он решил, что у него нет никакой неприязни к Цветухину как к человеку. Наоборот, Цветухин делал, в сущности, как раз то, что Кирилл мог бы ожидать от актера в революционное время. Правда, Кириллу было неясно,

что надо было делать в искусстве. Но искусство должно было быть с революцией, по эту сторону баррикад. Цветухин разделял такой взгляд и, значит, был естественным союзником. Отсюда следовало, что Кирилл прав, давая обещание поддержать Цветухина.

Но, поддерживая его, он поощрял одержимость Аночки театром. Разве это плохо? Наоборот — превосходно! Молодое увлечение, молодая страсть... Ах да! Не может же Кирилл Извеков из каких-то личных соображений поступать против принципиально правильного дела! Это умаляло бы нравственное сознание, весь умственный строй Извекова. Да и что за соображения в конце концов? Откуда Кирилл взял, что они — личные, эти соображения? Разве у него родилось какое-нибудь особое чувство к Аночке? Да если бы и родилось, если бы и нахлынуло, как ветер, как буря, как тайфун... Черт возьми!.. все равно Кирилл никогда бы не мог свалить в одну кучу совершенно разные вещи — общественное дело и личное чувство. Слава богу, ему не занимать выдержки!

Тем более — еще неизвестно, как отнесется Аночка к этим самым личным соображениям. Она может воспротивиться, может иметь собственные личные соображения. Просто может спросить — кто дал Кириллу право вмешиваться в ее жизнь? Ведь если она любит Цветухина... Вот именно!.. Если она его любит, значит, помогая Цветухину, Кирилл делает одолжение ее чувству. Он поддерживает вовсе не какое-то там революционное искусство, а роман довольно старого актера, не больше и не меньше!

А ведь Кирилл всегда терпеть не мог этого фразера, этого любимчика театральных барышень, этого писаного красавца, черт бы побрал его пресловутые таланты! Кирилл и не подумает возиться с его студией! Зачем это нужно? Чтобы Аночка испортила себе жизнь ради очередной прихоти избалованного успехами хлыща? Недоставало еще одной глупой жертвы! Ужасно, право, как все повторяется на белом свете, как летят и летят на огонь такие славные, такие милые, такие удивительные девушки!

Как хороша, в самом деле, Аночка! Что за пение льется в ее манящем смехе! Как чутко откидывается ее голова этим легким, этим быстрым поворотом шеи! И как она вдруг рассердится, задумается, смутится. И опять вдруг заспорит... Разве сравнишь ее с Лизой? Да и какой была Лиза? Кирилл не помнит. Да и была ли когда-нибудь Лиза? Кирилл не знает. Что было главным в его чувстве к Лизе? Влекла ли

она к себе Кирилла? Звала ли вот так, душной ночью, изнуряюще и неотступно, как зовет Аночка?

— Ах, дьявол, когда же конец этой духотище? — сказал Кирилл, бросаясь к окну.

Выпить воды? Умыться? Да и вода кажется больничной, прогретой, словно постель. И ни малейшего движения за окном! Стоит воздух, стоит одурелая от сна слободка, стоят звезды в небе, стоит все небо. Гляди, гляди в него — теплое, бездонно-черное — и не дождешься никакого знака, никакой перемены. Только звезды. Одни звезды. Вечность. Будущее. Неизменное всегда.

— Всегда! — сказал Кирилл и выплеснул подонки воды из кружки за окно.

Всегда на дороге будет стоять кто-нибудь другой. Чужой, ненужный, неприятный. Какой-нибудь Цветухин. Противно чувствовать себя его соперником. Противно вымолвить, хотя бы наедине с собою, пошлое слово — соперник. И хорошо, что слово это непрочно держится в воображении, оттесняемое нежным зовом мечтательного имени — Аночка. Душно, медленно, настойчиво поглощает собой ласковое имя все чувства. Поглощает, погружает на дно желаний, тяжко влечет в сон...

И вот наступило многожданное послезавтра. Аночки еще не было, когда Кирилл приехал домой и отпустил шофера.

— Ты сегодня рано,— встретила его мать.

Она видела перемену в сыне, но не могла распознать ее причину.

— Я немножко устал, хочу побродить,— ответил он.

Это значило, что он неразговорчив и озабочен. Что попрежнему скрывает от матери нечто важное. Что она должна молчать, теряться в догадках.

И вдруг явилось настолько пустячное и в то же время примечательное обстоятельство, что не только материнский, но даже безучастный сторонний глаз вмиг разгадал бы, что происходит.

Пришла Аночка, веселая, поспешная, как всегда, и, как всегда — впрочем, самую малость горячее обычного (на чем впоследствии остановила внимание Вера Никандровна),— поцеловала в щеку хозяйку дома и заговорила о крайне срочных своих делах.

Кирилл не дал ей кончить, а сразу объявил, что вот как замечательно — он как раз собрался побродить, и тут судьба прислала ему такую хорошую компаньонку.

 — Пойдемте со мной на бахчи, а? — сказал он.

Судьба, наверно, подмигнула откуда-то из уголка Вере Никандровне, потому что у нее немедленно отлегло от сердца, и она совсем неожиданно пошутила:

— Не заходите слишком далеко, в конце бахчей — психиатрическая колония!

— Вот чудно! — рассмеялась Аночка.— Кирилл Николаевич определенно считает, что с моими взглядами место как раз в этой колонии! Он все это хочет подстроить!

— Да уж подстроил, заранее подстроил,— говорил он, выводя ее из комнат.

«Подстроил, очевидно, подстроил»,— с необыкновенным облегчением вторила про себя Вера Никандровна, провожая их на лестницу.

Трудно было удержаться ей, чтобы не посмотреть через окно, как они пойдут по вечерней улице, сохраняя маленькое расстояние, чтобы не коснуться, не задеть нечаянно друг друга, как скроются за далеким поворотом дороги. Трудно было мыслью не следовать за ними дальше, мимо флигельков и долгих щербатых заборов с крапивой и лопухами, под железнодорожное полотно, перекинутое мостиком через проезжий путь, который пылит, дальше и дальше, в открытом вольному ветру просторе. Трудно было не гадать, о чем же они говорят на этом просторе, среди бесконечных желтобурых борозд земли, увитых длинными кудрявыми плетьми арбузов, с бледно-зелеными или чернополосыми шарами плодов.

И правда, о чем говорить Кириллу с Аночкой? Оба подвижные, любящие быстроту и легкость, они нечаянно точно утяжелили вдвое свой вес, укоротили шаг, потеряли вкус к любимой скорости. Они бредут по обочинам протоpенной узкой межи, вдоль бахчей, задевая ногами усатые, выползшие на тропу концы арбузных плетей да изредка отгоняя сорванными ветками ивы толкунов, которые увязались у самого выхода в поле и виснут неотвязно за плечами. Горы вдалеке уже потемнели, окаченные сзади полымем заката, краски их склонов охладились, а поле еще жарко, и зелень бахчей пропиталась освещенной желтизной земли и щедрым горением неба. И хотя шаги Кирилла с Аночкой как будто тяжелы, хотя отмахиваться от толкунов по виду трудно, обоим хорошо идти, обоим нравится молчать.

Где-то под обломанной ветлой с кроной, похожей на веник, у старого скрипучего чигиря они останавливаются. Одноглазый высокий мерин скучно перебирает распухшими от опоя ногами, вертя лежачее колесо. Хлебнув в глубине ко-

лодца воды, ползут кверху ковши. Звенит дождь несчетных серебряных струек, растерянных дырявыми донцами ковшей. Колода, в которую опрокидывается наверху вода, и желоба, бегущие от колоды на бахчу,— все насквозь прохудилось, течет, и чудесная пыльца рассеянной влаги свежит вокруг воздух, наполняя его волшебным запахом гнилого колодца.

Старикан-бахчевник отыскал у себя в бараке скороспелку арбуз в два кулака, попробовал — хрустит ли на нажим, подкинул его, поймал, протянул Аночке:

— А ну, красавица, отведай первого сбора.

Кирилл взрезал арбуз куцым клиновидным ножом, который старик сперва обтер об армяк, валявшийся на земле. Плод был мясист, бледно-розов, не очень обилен янтарно-красяными семенами и медвян на вкус.

Аночка уселась на армяк и стала есть, поплевывая семенами и с присвистом всасывая сладкий сок. Кирилл стоял возле, ел сам и подавал ей новые куски, когда она бросала обглоданную корку. Словно ребенок, она намазала у себя на щеках усы. Кирилл посмеивался ей по-прежнему молча.

Отдохнув, они пошли назад. Все время играючи, менялись расцветки неба, гор слева и волжской дали справа. Земля обретала покой перед коротким и чутким сном.

— Мы, кажется, слишком усердно молчим,— сказала Аночка.

— Значит, не хочется, да и зачем говорить? О себе вы ничего не расскажете, обо мне все знаете.

— Вас задело, что я так сказала... будто все знаю?

Он не ответил. Она глядела на него с нарастающим любопытством, как женщина, которая готовится испытать сердце близкого человека.

— Вы знаете, что я, девчонкой, передавала ваши письма Шубниковой?

Он чуть вздернул плечи.

— Неужели вы с ней не видались, когда приехали?

— Нет.

— Почему?

— Когда хотелось видеться, это было невозможно. Когда стало можно — не захотелось.

— Она вас очень любила.

Кирилл опять замолчал.

— Мы как-то говорили с вашей мамой. Она считает, что Лиза была чересчур слаба, чтобы составить счастье сильного человека.

— Но может быть, сильный человек сделал бы ее тоже сильной? — сказал Кирилл.

Она подумала, по своей привычке низко опуская брови.

— Все дело, стало быть, в том, чтобы подчиниться?

— Довериться,— ответил он тихо.— Слабый должен довериться сильному.

Ей показалось, что он сам слушал себя удивленно, как будто общение с ней открыло в нем особую, мягкую сторону души, которую он редко в себе слышал. У ней вырвался странный вопрос:

— Вы любите, когда вас боятся?

Он смутился, прикрыл рот и, не отнимая руки, еще тише выговорил в ладонь:

— Простите меня... это — глупость.

Она тотчас улыбнулась, однако ответила сама себе настойчиво и убежденно:

— Нет, нет. Любите. Я знаю. Это не глупость...

Уже спускались сумерки, свет был темно-рыжий, как опавшая хвоя, целые хоры трещащих кузнечиков вступали в ночное состязание. Пахло пересохшей горячей глиной и близким пастбищем, с которого недавно угнали скот.

— В такой вечер можно говорить молча,— сказал Кирилл.

— Я слишком болтлива? — весело спросила Аночка.

— Говорите, говорите больше, я хочу вас слушать!

Но они миновали все поле и вошли в слободку, не разговаривая.

Как только они повернули на свою улицу, перед школой вспыхнули и погасли автомобильные фары. Кирилл остановился на секунду и со внезапной уверенностью проговорил:

— За мной.

Они пошли очень быстро, совсем новым, подгоняемым тревогой шагом.

Шофер, увидев Кирилла, подбежал к нему и вынул из фуражки конверт.

— Зажги фары.

В разящем белом свете Аночке показалось, что пальцы не слушались Кирилла. Он прочитал записку и сказал тотчас:

— Поехали.

Он занес ногу в машину, но вернулся, взял Аночку за руку.

— Это я говорю только вам. Понимаете? Пал Царицын.

Он впрыгнул в автомобиль и уехал, не оглянувшись.

9*

В тот же момент вышла на улицу Вера Никандровна. Сдерживая голос, она спросила, что случилось.

— Не знаю,— ответила Аночка,— он мне ни слова не сказал.

18

Не исполнилось месяца после похода Меркурия Авдеевича к Рагозину и не успел он хоть немного сжиться с сознанием, что ему угрожает смертная опасность, как его опять вызвали в финансовый отдел. Он отправился, точно на крестную муку.

Но, против самых угрюмых ожиданий, Рагозин принял его хорошо и говорил с оттенком поощрения, впрочем без всякого желания разговор затягивать. Оказалось, проверка, произведенная в банке, подтвердила целиком показания Мешкова о его капиталах. Он действительно утратил все, и его наивность не к лицу, с какой он доверился посулам «Займа свободы» (в чем сначала нещадно раскаивался), теперь обернулась своей благодетельной стороной. Он был нищим и тем мог быть счастлив. «Никогда прежде деньги не спасали так, как теперь спасал пустой карман»,— подумал Мешков, сообразив, что опасность миновала. Мысль эту с такой смелостью высказать он побоялся и облек ее некоторым орнаментом:

— В прежнее время как было не копить про черный день? Я от вас, Петр Петрович, ничего не скрыл, да и не удалось бы скрыть: вы помните, как я жил. Что было, то было. Но зла я никому не причинял. Что имел — собрал по щепотке неустанными своими трудами, с одной-единственной целью: придет старость — куда денешься? Теперь же хоть я одной ногой скоро в гроб ступлю, все-таки спокойнее: угол мне оставили, работу мне дали, а подкрадется дряхлость, Советская власть обо мне позаботится, как о всяком трудящемся гражданине. Чего же еще?..

— Ну, значит, на том и закончим, трудящийся гражданин Мешков,— сказал Рагозин, разглядывая его остро, но не особенно подчеркивая свое исследовательское любопытство. Впрочем, он быстро спросил: — Что золота у вас нет, вы подтверждаете?

— Подтверждаю.

— Вопрос ваш выяснен, можете спокойно продолжать службу у себя в кооперации. Вы ведь в кооперации?

Да, Меркурий Авдеевич служил в кооперации, и ему казалось, что он уже раз сто говорил об этом Рагозину. Но, откланявшись ему с признательностью и возвеселившись, что крестная мука не состоялась и так все гладко окончено, он вышел на улицу с отчетливо протестующим чувством. Поощрение — спокойно продолжать службу — только еще больше увеличило неприязнь Мешкова к этой самой службе, которую теперь он словно получал из рук Рагозина как снисхождение и милость. А милость была ему в тягость, потому что к десяти страхам, подстерегавшим его за каждым углом, служба прибавлялась одиннадцатым страхом и притом самым ужасным из всех.

Недавно к нему в магазин явились какие-то люди с требованием на бумажный товар для профессиональных союзов и, нагрузив целый воз, расписались и преспокойно уехали. Уже занося требование в книгу, Меркурий Авдеевич неожиданно почувствовал, как на душе захолодело от тревожного сомнения, и бросился к телефону. Тут он обнаружил, что никакие профессиональные союзы за товаром к нему не посылали: требование было подложным. Вне себя от страха он помчался в милицию. Пока там составляли протокол, думал, что уже не выберется на свет божий, а так и пойдет за решетку. Возвратившись в магазин, он встретил поджидавших его агентов уголовного розыска и от нового испуга едва не потерял чувств. Но тогда вдруг объяснилось, что случай выручил из беды: где-то на городской окраине воз, въезжавший в ворота обывательского флигеля, вызвал подозрение этих агентов, был задержан, и они явились в магазин распутывать дело. Непричастность Меркурия Авдеевича легко устанавливалась.

Он отслужил в церкви благодарственный молебен за избавление от опасности. Но это не было избавлением от страха: он окончательно убедился, что служба будет его погибелью. Ведь не произойди такого спасительного случая, кто поверил бы, что бывший торговец и собственник Мешков, которому, в нынешних представлениях, как бы по природе положено заниматься обманами, не замешан в воровской махинации с товаром?

Нет, нельзя было спокойно продолжать службу. И, несмотря на освобождение от новой беды, грозившей, но и миновавшей по милости Рагозина, его истязала тоска, и ноги вели не туда, куда следовало. Он мог к тому же воспользоваться, что на службе его не ждали, потому что ушел он по вызову начальства.

Меркурий Авдеевич всю жизнь предпочитал захудалые улицы. Покойница Валерия Ивановна терпит, бывало, терпит, да и раздосадуется: «Куда тебя, прости господи, тянет, обок с какими-то помойками?» Но он так и не изменил этой склонности даже для прогулок выбирать всегда задворки и пустыри. Он был не кичлив, а скрытен и больше всего опасался, как бы, лишний раз появившись в людном месте, не напомнить, что он богат.

Он свернул с оживленной улицы, прошел переулками, безлюдным бульваром в сизых, похожих на тальник, кустах, потом по краю наполовину засыпанного шлаком и мусором оврага и, перейдя его, зашагал нагорными дорогами к кладбищу. Было, как всегда эти дни, знойно, свет, пронизывая стоячую пыль, зыбко дрожал в воздухе, земля каменела в сухотке.

Меркурий Авдеевич помолился на могиле Валерии Ивановны, присел на насыпь. Он приходил сюда за утешением, весной — с лопатой, чтобы поправить бугор и упрочить крест, в большие праздники — чтобы раздать милостыню ссорившимся у ворот пронырам-нищенкам. Он слышал наплывавшее между крестов одноголосое панихидное пение: «Ужасеся о сем небо и земли удивишися концы...» Он вторил про себя: воистину ужаснулось небо! Воистину все концы шара земного дались диву! Что творится! Что только творится! Благодари господа, Валерия Ивановна, что он уже сомкнул твои очи, и они более не узрят иного страха, разве страха божия. Он поклонился могиле и, выйдя с кладбища, усмиренный душою и словно возмужалый от кротости, направился через Монастырскую слободку в скит.

Этот скит известен был больше под именем архиерейской дачи. Сейчас же за мужским монастырем начиналась роща, взбиравшаяся по взгорью и невдалеке окружавшая своими дубками усадьбу. За ее стенами виднелись крашенные в желтое приземистые корпуса и церковный купол. Дачу эту занимал с недавних пор детский дом — заведение для мальчиков, которых прежде называли трудновоспитуемыми, а теперь — отстающими либо дефективными. Беспорядочные призывные голоса населяли от зари до зари в прошлом тихую рощу. Ворота в скит, раз отворившись после революции, теперь уже не закрывались, однако дубки были пока густы и пространство под дачей обширно, так что здесь еще обретались, несмотря на полную перемену жизни, укромные кущи.

 В одном таком затененном углу, в келейно-обособленном

строении, проживал викарный архиерей. Это был человек непривычного для церковных обычаев склада. Не сказать, чтобы он позволял себе какое-нибудь несогласие с выше стоявшими иерархами, а тем паче с канонами или обрядами. Он во всех правилах был совершенно послушен. Единственно, чем он отделялся от общепринятых начал — это образом жизни. И опять-таки, будь он простым монахом, этот образ жизни был бы вполне приличен ему и не вызывал бы ничего, кроме общего удовлетворения. Но сан его уже почти не допускал уклада, который он взял себе за образец и который, вознося простого монаха, мог только умалить достоинство столь вознесенное, как епископ.

Противоречие это породило особенность его положения. Жил он крайне просто, едва ли не нищенски, как будто не зная никаких потребностей, выходивших, скажем, за рамки послушнических. Почитатели его приносили ему не мало, но он с беззаботностью и бескорыстием все раздавал. Зная эту его слабость, к нему наведывались самые разные просители, в числе их, без дальнего раздумья и даже превесело, соседи мальчуганы из детского дома. Бессребреничество больше всего возбуждало к нему почтение, и число приверженцев его не слишком гласно, но живо увеличивалось. Вокруг него росла молва о некоем праведном житии, к нему шли за облегчением совести и с покаянием. Известность его не шла в сравнение с какими-нибудь привлекавшими к себе толпы народа монастырскими праведниками легендарных или хотя бы не очень отдаленных религиозных времен. Однако известности никто не мог отрицать, как и того, что покоилась она на людской вере в его праведность. Но как раз это обстоятельство было причиной нерасположения к викарию и почти преследования его со стороны предержащей церковной власти. Епархиальный владыка, а за ним весь духовный синклит с консисторскими чиновниками усматривали в простоте викария хитрость, в безмездности — намерение уязвить сребролюбивое пастырство, в популярности его находили некий соблазн, в смирении — притязание на святость от гордыни. Словом, все, что в викарии для приверженцев его было непорочно, для его недругов было исполнено зазорного греха.

Мешков позволил себе впервые словно бы восстать против церковного мнения. Узнав викария, он сразу настолько покорился им, что стал порицать даже тех, кто колебался в признании за монахом неоспоримой безгреховности, а противников его невзлюбил, кажется, во вся дни.

Вошел Меркурий Авдеевич в скит, при всей кротости духа, с одним решением, давно и серьезно обдуманным, но теперь созревшим до неколебимой твердости. Пробираясь вдоль скитской ограды, он размышлял, что вот, мол, час назад ступал стезею нечестивою в горнило антихристова слуги Рагозина и терзался смертным страхом, а теперь идет стезею праведною в обитель слуги господня, и душа его безбоязненна, и уста славословят всевышнего, и слух услажден песнопениями, кои будто витают над проясненной главой.

Его встретил кучерявый старик келейник в завощенном подряснике и провел из первой горенки во вторую, а сам, постучав в дверь со словами: «молитвами святых отец наших...», отворил ее, исчез и сразу опять явился и сказал, что владыка просит.

Меркурий Авдеевич покрестился на киот с лампадкой, сделал поклон, тронув средним пальцем половичок, и подошел к благословению. Викарий качнулся навстречу из гнутого венского полукресла и попросил извинить, что затрудняется встать, так как нездоров. Лицо его было одутловато, как у страдающих сердцем, и с такой жидкой растительностью, что она нисколько не могла изменить тяжелого овала, который был ясен, как у бритого, а длинные серые волоски бороды казались по отдельности подвешенными к коже жидкого охрового оттенка. Маленькие глаза его были вполне спокойны, если говорить о движении, но почти совершенно лишенная цвета водяная прозрачность их придавала взгляду непреходящее возбуждение. Окно в стене занимало мало места, но солнце опаляло всю рощу, и свет в комнате был яркий.

На вопрос о болезни викарий не ответил, а только неторопливо развел кисти вздутых на суставах рук и почаще стал перебирать четки из бирюзово-холодных перенизок. Он смотрел выжидательно, показывая, что надо, не мешкая, переходить к тому, что привело Меркурия Авдеевича в эту келью.

— Пришел просить благословения своему шагу, который я намерился сделать, владыко. Издавна имел желание постричься. Теперь настало время принять решение. Благословите, владыко.

Меркурий Авдеевич снова поклонился.

— Не поспешно ли решились? — спросил викарий тихо.

— Ведь уж шестьдесят, владыко.

— Вижу. Один в пятнадцать лет наденет клобук — будто родился иноком, на другом и под конец жизни ряса — будто с чужого плеча.

— Веление сердца, владыко.

— А вы присядьте, прошу вас. Да и успокойтесь. Что же волноваться, коли желание ваше созрело.

— Созрело, владыко. Одной думой жив: о спасении души.

— Давай бог. Да ведь спастись-то везде можно. В миру крест нести — заслуга едва ли не ценнейшая, чем за нашими стенами.

— Облегчить надеюсь крест свой...

— Понимаю. Ненависть-то бороть нелегко,— сочувственно качнул головой викарий и опять подался немного вперед, приближая взгляд свой к лицу Мешкова и вдруг договаривая еле слышно: — Примиритесь, вот вам и спасение.

Меркурий Авдеевич вздохнул и, уклоняясь от этого взгляда, похожего на накаленную током проволочку при солнечном свете, ответил смиренно:

— Сил нет совладать с собой.

— Значит, по слабости идете?

— Грешен, владыко.

— Отцу небесному не слабость угодна, но крепость духа.

Откидываясь назад, словно в изнеможении, викарий перестал перебирать четки, остановив пальцы на большой поклонной перенизке с крестиком, потом спросил неожиданно сурово:

— Стало быть, обиде своей ищете укрытие?

— Нет,— сказал Мешков твердо,— обида, правду сказать, торопит, владыко. Но желание родилось еще в юности. Я когда с молодыми приказчиками у хозяина жил, взялись они меня к старым обрядам склонять — из раскольников были. Я совсем было соблазну поддался, да один добрый человек посоветовал обратиться за правилами жизни к духовнику святой Афонской горы иеромонаху Иерониму. Я послушался, написал и получил в ответ наставление в православной вере и книгу. После чего отдался духовному чтению и восчувствовал наклонность уйти в обитель. Однако тот же святой муж отсоветовал делать такой шаг до кончины моей матушки, а там, если богу будет угодно,— намерение исполнить. Но пока матушка жила, я женился. Впрочем, и в семейной жизни всегда призывал, чтобы господу благоугодно было, если овдовею, ниспослать мне окончание дней в монастыре. Теперь же я вдов, а у внука, который на моем попечении, скоро будет вотчим, так что меня и совсем в миру ничего держать не будет.

— Так,— сказал викарий, выслушав и помолчав.— Тогда что же? Раздай свое имущество и иди за мною.

— Да уж и раздавать-то нечего,— как-то даже встряхнулся от оживления Мешков.— Последнее, чем дорожил из имущества — Четьи-Минеи — я принес вам, владыко. А что еще осталось в моем углу, можно и просто выкинуть.

Он оглядел стены кельи. Викарий весело улыбнулся:

— Что изучаете? Не находите дара вашего? Я его успел уже дальше передарить. Заезжал намедни ко мне один сельский попик, жалуется на тягость жизни, прихожане-де никаких треб не отправляют, иссякла народная щедрость. Бога забыли. Ну, я и пожалел его: грузи, говорю, себе в возок Четьи-Минеи, может, какой охотник, в уезде, купит. Сам-то попик поди, давно житий не читает, непутевый такой, нос — сливой. Пропьет, наверно, Четьи-Минеи, бог с ним.

Мешков тихо покачал головой.

— Жалеете? — не без коварства спросил хозяин.

— Приятно мне было думать, что книги у вас находятся, владыко.

— Ну вот,— все еще с улыбкой покорил викарий.— Не только свое, а и чужое пожалел. Ведь уж подарил, чего же помнить?

— Грешен.

— То-то. Куда же хотите податься, в какую обитель? В монастырях-то нынче тоже не радость: братия вот-вот завоюет не хуже фронтовиков каких...

— Зовут меня, владыко, в один скиток, под самым Хвалынском. Не посоветуете?

— Знаю. Утешительное место, живописное. Но ведь там и староверы рядом. И посильнее наших будут. Не переманили бы... — опять весело, чуть не озорно сказал викарий.

— Коли надо будет состязаться за православие — постою, владыко: в свое время посрамлению расколов учился в здешней кеновии.

— Ну,— сказал викарий с облегчением,— тому и быть Могий вместити да вместит. С богом.

Меркурий Авдеевич помолился, стал на колени перед монахом, и тот благословил его, дав приложиться к руке. Уже собравшись уйти, Мешков, однако, приостановился, вопрошающе глянул в спокойно обвисшее больное лицо викария и подождал, когда он поощрит его каким-нибудь знаком.

— Что еще смущает? — проницательно спросил викарий.

— Не ответите ли, владыко,— произнес Мешков вкрадчиво,— как понимать число 1335?

Прозрачные глаза долго покоились в неподвижности, как будто утрачивая последние следы какой-нибудь окраски, но-

том тоненько сузились, прикрылись и, опять раскрывшись, ожгли Мешкова своими накаленными зрачками.

— Откуда такие помыслы?

Мешков ответил крайне доверительным голосом, но и в крайней робости:

— Читал я труд, в котором история царств и деяний человеческих поверяется Священным писанием. И труд тот окончен словами пророчества: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

— И кто же оный труд составил?

— Ученый, как я понимаю, человек — Ван-Бейнинген.

— Немчура какой?

— О том не сказано. Обозначено только, что книга дозволяется цензурою.

— Что ж,— проговорил викарий сострадательно,— цензура, в силу подслеповатости своей, дозволяла и про социализм печатать.

— Однако, владыко, в труде пишется противу социализма.

— Еще не убедительно, ибо и папы римские прежестоко поносят социалистов.

— Но книга, владыко, и папство заклеймляет яко ересь.

— Опять же не убедительно, ибо и социалисты пап римских клеймят весьма прижигающе.

Меркурий Авдеевич наклонил голову с таким видом растерянности, что викарию оставалось только покарать либо помиловать заблудшую овцу, и он подождав сколько требовалось для полного прочувствования его торжества, чуть слышно засмеялся и несколько раз слегка ударил себя по коленям, как бы посек, четками.

— Зачем нам диавол иноземный, егда у нас и свой неплох? — спросил он, очень развеселившись.

Потом лицо его сделалось сердитым, он захватил в щепоть один волосок бороды и медленно протянул по нему пальцами книзу.

— Придешь домой,— сказал он жестко,— разведи таганок и спали на нем своего Ван... как его? ученого немца. И не мудрствуй более, не суетись, не посягай все понять своим умом, ибо ум-то твой прост. Пророчества же разуметь надо как божественный глагол, а не как арифметику. Сообрази-ка: чтобы человек хоть чему-нибудь внял, агнец божий должен был говорить на человеческом языке. А что наш язык? Немощь ума нашего — вот что такое наш язык. Господь глаголет: «день», а мы понимаем — двадцать четыре часа, сутки.

А может, в один божественный день жизнь всех наших праотцев и всех правнуков уместится, как зерно ореха в скорлупе? Вот и толкуй библейские числа! Не толковать надо, а веровать. В чистоте сердца веровать. И помнить сказанное самим учителем нашим о втором пришествии своем: «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный».

Он передохнул, еще раз пропустил между пальцев волосок бороды и окончил смягченно:

— Устал я с тобой. Иди. Начнешь послушание — покайся духовнику в грехе своем со ввозным этим супостатом, разрешенным цензурою. Может, и епитимью на тебя наложит. А я тебя отпускаю с миром. Большой искус предстоит тебе. Иди...

Меркурий Авдеевич возвращался домой так, словно оставил где-то далеко позади вес своего тела. Прошлое отрезывалось глубокой межой, и на старости лет, точно в юности, блаженное будущее казалось легко вероятным. Конечно, от прошлого давно уже ничего не оставалось, кроме поношенных штиблет с резиночками, но даже если бы это исчезнувшее прошлое каким-то чудом восстановилось, Мешков не мог бы обратиться к нему вспять. Благословение, испрошенное и полученное на будущее, обязывало его отказаться даже от воспоминаний. Ему не только предстояло стать другим человеком, ему чудилось, что он уже стал другим — настолько проникновенно отнесся он к решающему своему и торжественному поступку.

Дома его ожидала новость. Впрочем, он тоже ждал ее, и она вдобавок ускоряла освобождение, которое отныне становилось его целью. Новость эта восторгала Мешкова до просветления именно потому, что освобождала его, но в то же время он принял ее с затаенной грустью, потому что получалось, что не успел Меркурий Авдеевич уйти от своих близких и даже не успел сказать, что собрался уходить, а в нем, в его слове, в его участии уже как будто ничуть не нуждались.

Стол был накрыт вынутой из сундука наполированной утюгом скатертью, и все вокруг, подобно скатерти, было празднично, разглажено, приподнято, как тугие ее топорщившиеся от крахмала складки.

Лиза оделась в белое платье. Ее голова словно поднялась над плечами. Опять облегчилась, наполнилась воздухом прическа. Опять загорелось на тонком пальце обручальное кольцо — новое, узенькое, такое же, как на руке Анатолия

Михайловича. Она уже кончила хлопоты — четыре стула выжидательно стояли крест-накрест перед столом. Витя одергивал на себе тоже разутюженную, еще без единого пятнышка, апельсинового цвета русскую рубашку. Ознобишин нарядился в летний китель, на котором пуговицы с царскими орлами были обтянуты полотняными тряпочками.

Когда остановился в дверях вошедший Меркурий Авдеевич, все степенно помолчали, не двигаясь. Он спросил, вскинув бровями на дочь:

— Расписались?

— Расписались,— ответила Лиза.

Он прошел к себе и через минуту вынес, с ладонь величиною, в позеленевшем окладе образ, благословил Лизу, потом Ознобишина, подумав при этом, что вот теперь заполучил второго зятя при одной дочери, и затем погладил по волосам Витю.

— У тебя теперь вотчим,— проговорил он,— слушайся его и почитай, как отца и наставника. Он будет главой дома, выше матери, понял? А я...

— Сядем к столу,— сказала Лиза.

— Перед тем, как сесть,— неторопливо, но с настойчивостью продолжал Меркурий Авдеевич,— хочу, чтобы вы меня выслушали. Вы свою жизнь переменяете, и я тоже решился переменить. Исполняя издавний обет, ухожу я провести конец положенных мне дней в монастырь. Простите, Христа ради.

Он поклонился дочери и Анатолию Михайловичу. Лиза сделала к нему чуть заметный шаг и нерешительно провела пальцами по своему высокому лбу.

— Ты, папа, никогда не говорил...

— Много думают, мало сказывают. А сказавши, не отступаются. За тебя я теперь спокоен, ты — за хорошим человеком. Над Витей есть опекун. А мне пора о душе подумать. Бодрствую о ней и сплю о ней.

Все трое глядели на него и молчали в каком-то стеснении, словно пристыженные. Витя спросил:

— Дедушка, ты камилавку наденешь?

— Витя! — сказала Лиза.

Меркурий Авдеевич удержал глубокий вздох.

— А комнатка моя вам перейдет,— обратился он к Ознобишину.

Анатолий Михайлович потер свои женственные ладоньки, возразил смущенно:

— Вы не думайте, нам с Лизой немного нужно.

— Я уж вам много-то и не могу дать,— сказал Мешков.— Потому и ухожу спокойно. А теперь, пожалуй, договорим за трапезой.

Он оглядел угощения,— тут была иззелена-черная старая кварта портвейна, искрился флакон беленькой. Снедь, от которой давно отвык глаз, манила к столу благоуханио.

— Ишь ты, ишь ты! — шепнул он.— Вот я и попал на первую советскую свадьбу.

Он поплотнее прикрыл входную дверь, и все уселись, он — между дочерью и внуком.

— Вроде обручения,— сказал он.— А венчание когда? Без благодати таинства супружество не может быть счастливым. Венчайтесь, пока я с вами.

— Да что же так вдруг? — все еще с чувством ей самой непонятной вины спросила Лиза.

Он коснулся ее плеча, увещая смириться с тем, что неизбежно.

— Не вдруг, моя дорогая. А только нынче получил я напутствие святого отца. И вот... — Он опять остановил глаза на столе, улыбнулся, понизил голос: — Налей-ка. Уж все равно: отгрешу — и в сторону. Навсегда.

Выпили в молчании, кивнув друг другу ободряюще, и так как успели позабыть, когда случались такие пиршества, все были покорены мгновенной властью ощущения. Витя чмокнул, впервые в жизни отведав портвейна.

— Где ж вы такое расстарались? — изумился Меркурий Авдеевич, уже взглядом союзника одаривая Ознобишина.— Живительно. Совсем прежняя на вкус, а?.. И вот, говорю я, у меня теперь к вам вопрос, как к юриспруденту. При нынешней трудовой обязанности, как же мне покинуть службу, чтобы без неприятностей, а?

— Надо заболеть.

— Понимаю. Обдумывал. Но чем же заболеть?

— Вопрос больше медицинский, чем юридический.

— Ну, а ежели, несмотря на преклонность возраста, я так-таки вовсе здоров?

— Вы обратитесь к такой медицине, которая утверждает, что вовсе здоровых людей не существует.

— Которая всех считает больными от прирождения?

— Которая допускает, что всякий может сойти за больного по мере надобности.

— Которая допускает? — переспросил Мешков лукаво и потер большим пальцем об указательный, точно отсчитывая бумажки.

— Именно,— с тем же выражением поддакнул Анатолий Михайлович и взялся за графин.

Меркурий Авдеевич хмелел внезапно и ни разу не мог определить, в какой момент теряет над собой полноту управления. Происходил прыжок из буден в особый выпуклый мир, в котором краски становились будто сквозными, как в цветном стекле. С ярким задором этот мир звал к действию.

Лиза определяла такой момент по памятным с детства приметам: у отца начинали вздрагивать ноздри, и он с некоторой обидой, но решительно и даже возмущенно раскидывал на стороны бороду отбрасывающим жестом пальцев. Лиза отставила графин подальше. Отец смолчал неодобрительно.

— Нынче я еще — мирянин, раб суетных страстей,— сказал он будто в оправдание.— Стану скитником — облегчусь от мирских вериг, вкушу впервые истинной свободы.

— Это верно,— согласился Ознобишин,— настоящая свобода только и состоит в том, что человек освобождается от самого себя.

— Однако правильно ли — от себя?— усомнился Мешков.

— По-моему — правильно. Потому что религиозный человек полагает себя всецело на волю божию.

— Вот именно. Человек подчиняет свою волю воле избранного им наставника, а через него — покоряется воле божией. Почему и следует сказать: освобождается от воли своей, а не от себя. От себя мы освободимся только со смертию. От бренности бытия нашего.

Меркурий Авдеевич залюбовался мастерством своего рассуждения и опять потянул руку к водочке. Лиза предупредила его, налив неполную рюмку. Он раздвинул и снова сдвинул могучую заросль бровей.

— Ты вроде уж повелевать отцом хочешь! — произнес он сдержанно.

Но тут постучали в стенку, и за дверью кто-то кашлянул. Стенкой этой выделен был из большой комнаты сквозной коридор для прохода новых жильцов,— она была жиденькой, как гитарная дека, и шум от стука ворвался в беседу гулко. Лиза приоткрыла дверь.

В коридоре высился Матвей, жилец-старик, заглядывая, видимо, без умысла, а вполне невинно поверх своих рабочих очечков, в комнату и что-то негромко высказывая Лизе.

— Пришли насчет какой-то описи, папа,— оборотилась она к отцу.

— Описи? Что еще за опись? — вопросил Меркурий Авде-

евич, поднимаясь, и попутно, с сердцем, долил рюмку водкой и выпил.

Отстраняя дочь от двери, он рассек надвое бороду посередине подбородка.

— Что за опись! — еще раз сказал он.— Чего описывать, когда ничего не осталось?

— Проводят учет строений,— с ленцой ответил Матвей,— требуется указать в описи жилищную площадь. Я сказал — вам, наверное, известна площадь.

— А кто вас просил?

— Да чего же просить? Вместо того чтобы людям крутить рулеткой, вы скажите — и вся недолга.

— Отчего же им не крутить рулеткой? Они жалованье по своей ставке получают? Пусть крутят.

— Да ведь скорее, чем если они по комнатам пойдут.

— А я здесь при чем? Дом-то ведь не мне принадлежит?

— Чувствую, чувствую, Меркул Авдеевич,— усмехнулся старик,— да вам же будет хуже, если они помешают вашему пированью.

— Пи-ро-ванью?— тихо выговорил Мешков, силясь заслонить собой проникавший в комнату взгляд старика и приподнимаясь как можно выше на цыпочках.— Пированью? — повторил он, немного взвинчивая голос к концу слова.— Ах, вона что усмотрели в моих комнатах! Пированье! Вона с какими целями заглядывают в чужие двери!

— Да чего заглядываться-то?— презрительно встряхнул головою Матвей,— когда на весь дом самогоном несет.

— Само-гоном? — угрожающе забирался вверх Меркурий Авдеевич.— Нет, уважаемый сожитель мой, извините!

— Папа! — остановила его Лиза.

Но он вдруг, будто только ожидая этого слабого препятствия, вскрикнул изо всей мочи:

— Очищенной царской водочкой! Царской водочкой, а не самогоном! Что? Скушал? Может, теперь побежишь докладывать, что Меркул Мешков предпочитает царское зелье вашему вонючему самогону? Беги, беги, докладывай на Мешкова, старый бесстыдник!

— Тьфу тебе, сам ты старый бесстыдник!— отвернулся прочь жилец и, сорвав с носа очки, пошел по коридору.

— Беги, беги,— кричал Мешков, уже захлопнув дверь и принимаясь подпрыгивать на носках, яростно перебегая из конца в конец комнаты.— Пускай знают, что Мешков в доме сороковки с царскими орлами держит! Что Мешков пиры задает! Свадьбы справляет! Гульбу устраивает, а своим сосе-

дям, шаромыжникам, ни полнаперстка под нос не подносит! Беги, беги!

Старик сильно ткнул в стенку и прогудел из коридора:

— Не распинайся! И так известно, что ты за элемент!

Мешков забил по стене кулаками.

— Не смей буйствовать! Элемент! Не я, не я, а ты — вредоносный элемент! Ты ворвался в чужой дом! Ты суешь свой табачный нос по дверным скважинам! Кто меня раздел, а? Кто меня с голодранцами в ряд поставил? Ты, ты, ехидна злокозненная, вместе с твоей братией-шатией. Все, все до нитки взяли, до последней пустой облигации! Сами под свою свободу заем напечатали, печатники, сами его расторговали, сами назад отобрали! А все мало! Все шастают, вынюхивают, чего бы еще рулеткой обмерить, чего бы урезать, чего бы урвать! Ну что ж, режьте Мешкова, пока не дорезали! Рвите его сердце! Все равно ничего впрок не пойдет! Чужое-то добро не носко! Не разбогатеете! Не расхозяйничаетесь!..

Он подбежал к столу, быстро налил полную стопку, опрокинул ее, остановился с разинутым ртом, набирая воздуха, и нежданно рухнул на стул.

Лиза стояла все время лицом к окну. Когда-то отцовский крик пугал ее своей неукротимостью. Ей казалось, что в гневе отец способен ударить, прибить, убить насмерть. Теперь она не испытывала никакого страха. Все больнее чувствовала она жалость к отцу, и ей было стыдно ничтожной его беспомощности. Она вспомнила, как видела его во сне — безропотным и убогим. Надо было помочь, а ее не пускала к нему старая отчужденность. Он был так слаб, так жалок, Лизу тяготило превосходство над ним, и она ничего не могла для него сделать. Сейчас ее жалость смешалась с неприязнью к нему за стыд перед Анатолием Михайловичем. Шум, поднятый отцом, отзывался в ней болью, но она не вдумывалась — о чем отец кричал. Она думала только о муже, который становился отныне участником ее домашней жизни и которого бесчинный этот шум грубо, нецеремонно вводил в ее дом. Не оборачиваясь, она как бы спиной ощущала, что Ознобишин не знает от растерянности, куда себя девать.

Когда же, выведенная из столбняка неожиданной тишиной, она обернулась, отец слепо нащупывал локтями упор о стол и бормотал:

— Что я им сделал? За что они меня преступником объявили? За что гонят? За что унижают? Разве мой труд хуже ихнего? Из всякого труда пропитание извлекается. Кто взалкал моего куска хлеба?

— Вы успокойтесь,— сказал Ознобишин, вежливо убирая посуду подальше от его непрочных локтей.

Сочувствие тотчас же расслабило Меркурия Авдеевича, он прослезился, язык его все больше выходил из повиновения:

— Согрешил! Согрешил, и замолю! Все замолю, простите меня, окаянного... Уйду... живите одни! Как в древние времена старики в тайгу... на Северную Печору, в скрытники уходили... так и я... заточусь в леса... Мальчика Витеньку жалко!.. Простите меня... остаток дней богу молить за вас буду... прости, господи...

Он ударился головой о край стола.

Лиза взглянула на Витю. Они взяли Меркурия Авдеевича под мышки и повели в его комнату. Он был нетяжелый, расхлябанный, странно маленький. Они уложили его в постель. Он цеплялся за Витю и успел поцеловать внука в щеку, Витя стащил с него штиблеты, отряхнул ладони, вытер щеку. Он никогда не видел таким дедушку и чувствовал над ним незнакомое суровое преобладание. Он одернул свою атласную апельсинную рубашку и осмотрел ее. Она помялась, но была чистой. Лиза прикрыла отца краем одеяла, и они оставили его одного.

Ознобишин несмело приблизился к жене, обнял ее плечи. Ей что-то мешало взглянуть ему в глаза. Потом она пересилила себя.

— Ты извини... Он в сущности хороший человек. Только... Домовладыко.

— Я вполне извиняю,— сказал Анатолий Михайлович, торопясь утешить ее.— Гордость ломит тяжело тому, у кого она есть, а не у кого ее нет. Это надо понять...

Она вдруг отошла от него с сильным и будто недобрым вздохом и залилась краской, стыдясь своей досады:

— Ах, ну какая же это гордость! Он нетерпим ко всем, кроме одного себя!..

Она села к столу и долго глубоким, замершим взглядом смотрела на Витю. Потом спокойно вздохнула:

— Как хорошо, что он от нас уйдет!..

19

Заплаканный Алеша лежал на траве в кустах сирени. Заросли дорогомиловского сада он хорошо изведал и все-таки постоянно открывал в них новую утешительную прелесть.

Здесь вел он тот разговор со взрослыми, на который не хватало смелости в другом месте.

Его мокрых щек касались острыми кончиками сердцевидные жесткие листья. Уколы их он принимал, как сочувствие. Все было тут дружелюбно — свежие отпрыски корней, похожие на крошечные деревца; козявки с черноглазыми старческими рожицами, нарисованными на красных спинках; мучнистые семенные коробочки недозрелого просвирника, словно полотняные пуговицы ночной рубашки.

Можно было сказать этому уединенному миру в тени листвы — вот, ты понимаешь страдания Алеши и любишь его из всей силы, совершенно так же, как он самозабвенно любит тебя. А разве любит Алешу папа? Никогда!

Второй раз Арсений Романович собирается взять Алешу на пески. И второй раз папа говорит — нельзя! Уже пересмотрены и перещупаны все удилища. Уже починены сачки. Уже Витя раздобыл новые крючки — маленькие, как заусенец, и огромные, как шпильки Ольги Адамовны. Все приготовлено. И опять — отцовское нельзя!

А какой поплавок подарил Арсений Романович Алеше! Длиннущее полосатое перо дикобраза! Полоска белая, полоска черная. Другого такого поплавка не сыщешь на всей Волге. Перо на одном кончике продырявилось, это верно. Если через дырку наберется вода, то поплавок затонет. Но Арсений Романович отыскал на антресолях раму пчелиных сот и хочет залить дырку вощиной. От старости вощина сделалась как кремень. Однако у Арсения Романовича есть спиртовка, и вощину можно растопить. Правда, пока еще нет спирта, и спиртовка не горит. Но можно обойтись керосином. Недавно Ольга Адамовна достала керосин, и Алеша знает, куда она его запрятала.

Несчастья Алеши идут, скорее всего, от Ольги Адамовны. Она только и делает, что наговаривает на Арсения Романовича: он испортит нашего бедного Алешу! Это все от зависти, конечно, потому что — где ей до Арсения Романовича! С ним никто не может равняться. Если бы не мама, то Алеша мог бы твердо сказать, что ему больше всех на свете дорог Арсений Романович. И если бы Алешу спросили, кем он хочет быть, он ответил бы: Арсением Романовичем.

Он хотел бы им быть на всю, на всю жизнь, хотя с горечью понимает, что этого ни за что не достигнешь. Разве когда-нибудь будешь столько про все знать, сколько знает Арсений Романович? Откуда взять такой дом с садом и вещи, какими набит целый коридор? А верстак? А спасатель-

ный круг? Да разве за Алешей будут ходить толпой мальчики? И разве поступишь когда-нибудь на службу, на которой служит Арсений Романович? Вон папа — так совсем не ходит на службу. А, наверно, хотелось бы! А шляпа Арсения Романовича? А борода? Где уж там Алеше отрастить такую бороду!

Нет, Алеша хорошо видит, что из него Арсения Романовича не получится. Он только хотел бы пожить с ним, как другие мальчики. Бродить по горам, ездить на пески. Свободно, бесстрашно и всегда, всегда!..

Алеша утер высохшее лицо и стал собирать пуговки просвирника. Нащипав полную горсть, он решил съесть все в саду, чтобы никому не попасться на глаза. Иначе сразу же перепугаются за Алешин живот. Недавно Ольга Адамовна принесла с базара плошку черной смородины, и Алеша не успел пристроиться к ягодам, как отец схватил плошку и высыпал все в помойное ведро. «Вы, мадам, другой раз достаньте поздники, от нее скорей сведет ноги холера!» — сердито сказал он.

Вообще папа стал всего бояться. Вдруг заявит, что они всей семьей перемрут с голоду. Или грустно вздохнет: «Мы тут с тобой, Ася, никому не нужны!» Или скажет что-то совсем непонятное: «Алексей, может быть, под конец жизни что-нибудь увидит, а мы с тобой, Ася, ничего не увидим».

— Если ты, папа, плохо будешь видеть, то купи себе пенсне, как у Ольги Адамовны,— сказал тогда Алеша.

— Ах ты мой нежный дурак,— ответил папа.

Вспоминая эти домашние разговоры, Алеша дожевал просвирник и вышел из зарослей на тропинку. Тут он поднял голову и нежданно обнаружил наверху, в открытом окне коридора, военного человека, который стоял спиной к саду. По стриженому затылку и необычайно гладкой спине он сразу узнал этого человека и сразу испугался.

Отряхнув ладони, он побежал домой. У него свалилась туфля, он на бегу вбивал пятку, поднимая задник, торопился, чувствуя, как стучит сердце.

В коридоре находились папа с мамой и разговаривали с Зубинским.

— Я повторяю,— вежливо говорил Зубинский,— вопрос решен окончательно.

— Но ведь это вопрос нашей судьбы! — тихо ответила мама и удивительно большими глазами посмотрела на Зубинского.

— Сожалею. И понимаю, что все это в высшей степени некультурно. Но что я могу сделать? Положение на фронтах такое, что можно ожидать, простите, черт знает чего! Я исполняю приказание. Послезавтра дом должен быть свободен от жильцов. Он уже числится за военными властями. Прошу вас, передайте гражданину Дорогомилову, что это бесповоротно.

Зубинский шаркнул, надел фуражку, взял под козырек.

И снова, второй раз, Алеша услышал, как припечатывали по ступенькам его жесткие подошвы.

Папа молча ушел из коридора в комнату. Алеша, подкравшись к двери, затаил дыхание. Еще стучало сердце после бега. Еще не исчез испуг. Последнее — бесповоротное — слово Зубинского не угасло, как удар колокола, а разгоралось, как приближение несущегося паровоза. Вот паровоз мчится по улице. Вот он влетел в сад и мнет деревья. Вот ворвался в дом и валит в коридоре, без разбора, превосходные, милые вещи Арсения Романовича. Вот сейчас провалится от его тяжести пол под ногами Алеши!

— Да! — грозно обрубил молчание папа.

Он обернулся к маме и спустя секунду крикнул голосом, которого никогда прежде не слышал Алеша:

— Не смотри на меня своими акварельными глазами!

Он схватил коробку с табаком, рухнул на кровать и начал скручивать дрожащими пальцами папиросу. Мама приблизилась к нему, мягко провела рукой по его затылку, как делала с Алешей, когда хотела утешить.

— Не огорчайся,— сказала она.— Послушай меня. Ступай сейчас же к этому деспоту Извекову и обрисуй ему наше состояние.

— Обрисуй!— передразнил папа.— Сейчас не рисованием заниматься надо, и колотить дубиной! Все равно не услышат... Унижаться перед мальчишкой? Состояние! Это не состояние, пойми ты! Это — катастрофа! Катаклизм. Гробовая доска. Могила. Кол осиновый. Смерть!

— Что значит — унижаться? — сказала мама.— Когда идет дождь, ты раскрываешь зонт. Это не значит, что ты унижаешься перед дождем.

Папа вскочил, но, секунду постояв, мирно пробурчал:

— Где моя шляпа?

Он набрал из рукомойника горсть воды, выплеснул, погладил мокрой ладонью волосы, причесался, подтянул галстук. Потом взял мамину руку и долго держал ее у своих губ.

— Не сердись, пожалуйста,— произнес он неразборчиво.

В коридоре он увидел сына. Алеша хотел проскочить дверью к маме. Но он поймал его, поднял за локти, как совсем маленького, высоко над своей головой, немного приспустил и поцеловал в лоб. Тогда Алеша, задыхаясь от счастливого волнения, спросил:

— Папа-пап, ты ведь, правда, не скажешь Арсению Романычу про бесповоротно? Нет?

Папа поставил его на пол.

— Иди, тебе все объяснит мама...

На улице Александр Владимирович чувствовал себя странно. Его не привлекали люди, он не замечал жары, даже обоняние его притупилось. Все в нем сошлось на одной идее, которую он нес в себе, как болевое ощущение. Он назвал это последним часом приговоренного к смерти. Это было сожительство подавляющего по своему значению факта с болезненным желанием осмыслить факт. Фактом был приговор к смерти. Из желания осмыслить факт непрестанно рождалось и умирало противоречие: мысль то примиряла с приговором, то возмущалась им.

Фактом была гражданская война. Не перебирая в уме ее подробностей, Пастухов видел их в неумолимом единстве, как в одном слове «смерть» приговоренный видит десятки подробностей расставания с жизнью.

Он шел по тихому городу, но где-то рядом, за близкими пределами улиц, слышал нарастающий шум. Вулканическое извержение июля, казалось, подступало к невинному уличному покою.

В июле Кавказская армия Врангеля медленно подбиралась по берегу Волги к Камышину. Уже больше месяца назад екатеринодарским приказом вооруженным силам Юга России Деникин объявил о признании им верховной власти Колчака, и правитель ответил генералу «с чувством глубокого волнения» телеграммой. Вскоре после акта соединения контрреволюции Востока и Юга Деникин, прибыв в завоеванный Царицын и приняв парады, подписал директиву, начинавшуюся до помпезности самоуверенным речением: «Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю...»

Директива определяла тщательно разграфленные задачи белым генералам. Она словно нарочно напоминала теоретические планы ученого немца в русском генеральском, дурно сшитом мундире — того самого Пфуля из «Войны и мира», который чувствовал себя на месте только за картой. Врангелю директива предлагала выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов и продолжать наступление через Пензу. Нижний Нов-

город на Москву. Сидорину — развивать удар через Воронеж — Козлов — Рязань, а также через Елец — Каширу. Май-Маевскому — наступать на Москву в направлении Курск — Орел — Тула. На юге директива ставила целью Киев и Херсон, Николаев и Одессу.

Исполняя приказ Фрунзе о занятии Уральска, Василий Чапаев, за день до «московской директивы» Деникина, начал наступление на Уральск. Казаки были разбиты, и через пять дней началось их бегство на юг. Еще через пять — в день, назначенный приказом Фрунзе,— Чапаев вступил со своими конниками в Уральск, освободив город от осады. А всего сутки спустя на Восточном фронте Красная Армия торжествовала другую победу: был занят Златоуст, и отброшенные за Уральские горы белые армии Колчака бросились в отступление по Сибири.

Человек, плутающий в лесу ночью, знает о существовании света и открытых дорог. Но это знание не устраняет ощущения темноты и безвыходности. Пастухов знал об Уральске, знал о Златоусте. Он узнал также о готовящемся контрнаступлении вниз по Волге, на Царицын. Но физическим существом своих чувств он испытывал только надвигающуюся духоту фронта, которая угрожала Саратову. Война катилась на город, война шумела за околицей, война наваливалась на Пастухова с его Асей, с его Алешей, с его цветочками в стакане, рукописями, замыслами, ожиданиями будущего, с его жизнью. История, время, календарь, часовая стрелка приговорили Пастухова к войне. Приговорили к смерти. Это был факт.

Как можно было осмыслить этот факт? Зачем Александр Пастухов должен погибнуть в войне, которой он не призывал, не хотел, чурался? Ведь приговаривают за преступление, за вину. Что преступил он? В чем виновен? Он не красный, и, значит, его будут считать белым. Он не белый, и, значит, его будут считать красным. Он приговорен за то, что не белый и не красный. Ужели весь мир либо белый, либо красный? Что делать, если Пастухов оливковый? Убить его! Ультрамариновый? Тоже убить! Но почему оливковые, ультрамариновые не убивают, а убивают белые и красные? Впрочем, есть еще зеленые, и они тоже убивают. Курьезно то, что зеленые зовутся братьями — братья, которые убивают, зеленые братья, дезертиры, скрывающиеся в лесу. В лесу, где заплутался, в темноте, Пастухов. Он заплутался, он приговорен. Это факт. И осмыслить этот факт нельзя. Потому что приговоренный к смерти может понять значение своей смерти для других, но значения своей смерти для себя понять не может: его смерть зачем-то

нужна истории, времени, календарю, часовой стрелке, но ему она не нужна. Для него, для Пастухова, который умрет, в смерти нет никакого смысла. И его мысль возмущается смертью.

Но его мысль вдруг ищет примирения со смертью, хотя он не хочет примиряться. Он думает так. Человек поставлен перед лицом исторической действительности, как перед лицом своей природы. Ему дана возможность бороться с силами природы за продление своей жизни. Но силы природы непременно побеждают смертью. Ему дано бороться за продление своей жизни, выбирая в действительности позицию, которая сильнее. Но если он не способен предугадать, какая позиция обережет его жизнь, и он становится жертвой преждевременной смерти, то ему остается найти смысл в этой жертве. Найти смысл в бессмыслии жертвы. И он его ищет. Ведь если молодой, здоровый, счастливый, талантливый человек, каким себя видит Пастухов, падет никому не нужной жертвой, люди поймут бессмыслие его гибели. Люди убьют одного, двух, десятерых Пастуховых и обнаружат, что убили их напрасно. Обнаружат, что утрата не только бесплодна, она невыгодна, вредна. Поймут, образумятся, и жертва из ненужной станет осмысленной.

Однако тут Пастухов возвращается к исходу. Совершенно верно жертва может быть осмыслена. Но смысл жертвы является достоянием тех, кому она принесена, а не того, кто ее принес. Тот, кто пожертвовал собой «за други своя», ничего не приобрел. Приобрели «други». Кто же эти «други», другие, друзья? Ради кого должен уничтожаться Пастухов?

Он думает о друзьях. Где они? Ася? Алеша? Их ожидает несчастье, если он погибнет. Его петербургские приятели? Они рассеялись по земле и безразличны к нему. Театральные дирекции, актерские труппы? Они скорее пожалеют его, чем извлекут из его смерти пользу. Кто же выгадает от исчезновения Пастухова? Два-три драмодела, которым мешал успех Пастухова. Они подпишут коллективный некролог и, растирая подошвами крокодиловы слезы, будут плясать от радости, что больше не появится ни одной новой пьесы Пастухова. И ради того, чтобы они пустились вприсядку, он должен умереть?

Нет, у Пастухова нет друзей. Может быть, вся беда в том, что у него нет друзей? Может быть, если бы друзья были, они помогли бы ему сделать выбор — куда пойти? Ради чего приносить себя в жертву, если история, время, календарь, часовая стрелка обрекли его в жертву? Выбор, выбор, вот что

должен был сделать Пастухов! Все содержание жизни, вся ее сущность сводится к одному, и это одно — выбор!

Так, с этим ощущением приговоренного, Александр Владимирович явился к Извекову. Его заставили подождать в приемной. Он понимал, что его могут обидеть, и был готов к обиде. Даже в позе его проступила безропотность. Но он ошибся: его не собирались обижать. Через полчаса с необычайной поспешностью к нему вышел Извеков:

— Я был занят телефонными переговорами, извините. Пройдем ко мне. Вы ничего не имеете, если я пообедаю?

В смежной с кабинетом узенькой комнате Извеков снял салфетку, укрывавшую две тарелки. В одной была пшенная каша, на другой лежало яблоко, еще не совсем спелое, и кусок пеклеванного хлеба.

— Съешьте яблочко,— сказал Извеков.

— Спасибо. Я боюсь, помешаю вам. Но у меня короткое дело.

— Нисколько не помешаете,— возразил Извеков, отправляя ложку каши в рот.— А то, правда, съешьте, а? Из наших советских садов в Рокотовке. Бывали когда там?

— Да. Там прежде было прекрасно.

— И теперь тоже прекрасно.

— А вы были?

— Нет. Я представляю себе.

Пастухов почувствовал любопытство к этому молодому человеку, глотавшему холодную кашу с таким удовольствием, будто аппетит был пробужден изысканной гастрономией. Однако по-настоящему любопытно было не то, что он ел с аппетитом (редко кто в эту эпоху ел без аппетита), а то, что во время еды лицо его не переставало отражать, видимо, нисколько ему не мешавшую настороженную мысль.

— Теперь везде одинаково, что в садах, что в огородах.— сказал Пастухов.

— Одинаково хорошо или одинаково плохо?

— Достаточно того, что одинаково. По-моему, несчастье человечества заключается в универсальных учениях. Нельзя создать общую, одинаковую форму жизни, одинаковое счастье для человека.

Извеков облизал губы и словно подмигнул собеседнику.

— Страшно хочется пофилософствовать, да? Как у Чехова. Ну, давайте. Вскроем, для начала, одно заблуждение. Общее не означает одинаковое. Общее — значит принадлежащее всем, но не одинаковое. Это общее будет разное, но равно доступное всем. Каждый будет выбирать деятельность по своему

желанию, и один станет садоводом, другой хирургом, третий землепашцем или машинистом. Но каждому равно легко будет доступно счастье.

— Если он от него не откажется,— заметил Пастухов.

— Невыгодно будет отказываться.

— Невыгодно для одних, выгодно для других. Это доказывает война.

— Да, пока идет раздел. Тем, у кого отбираются излишки благ, конечно, выгодно... отказаться от счастья тех, кому излишки передаются,— усмехнулся Извеков.

Пастухов приметил оттенок нового удовольствия на его лице — немного лукавого удовольствия превосходства. Извеков со вкусом заедал свои реплики кашей, будто шутя вознаграждая себя за легко найденное соображение.

— Забавы мысли,— сказал Пастухов недовольно.— Жизнью движет чувство.

— И мысль! — живо воскликнул Извеков.— И, пожалуй, мысль раньше всего, потому что стремится руководить чувством.

— Это неверно,— запротестовал Пастухов, чуть-чуть раздражаясь.— Вначале была боль. Был жест. Был крик. Потом было слово. Из чувственного родится мысль. Не наоборот. Нет, не наоборот. Злоба, ненависть, любовь всегда сильнее сознания. Мы не хотим войны, но не можем без нее.

— Мы не хотим бессмысленной войны. То есть войны злонамеренной.

— Вы хотите войны, которая руководствуется любовью? Вы хотите доброй войны,— по ее целям, по ее намерениям, так? Но это значит, вы хотите облагородить или обогатить смыслом чувство, идущее впереди сознания,— чувство ненависти, потому что война исходит из чувства ненависти. А это чувство сильнее осмысления, которым вы стараетесь его опередить. Зло войны сильнее добра ее целей.

Извеков отставил тарелку и поглядел в глаза Пастухова настойчиво жестко.

— Что значит «вы»? Кто это? — спросил он низким голосом.

Пастухов немного выждал, затем ответил, тяжело подымая плечи:

— Я не имею в виду вас лично. Но раз вами употреблено слово «мы»... я говорю... вообще...

— Чтобы отделить себя?

— Это воспрещено?

 — Это ваше право. Я только хотел знать, ведем ли раз-

говор мы, или мы и вы. По-видимому, последнее. Тогда я буду говорить только о нас... Да. В этой войне нами руководит ненависть. Но ненависть наша не слепа. У нее зоркий глаз. Этот глаз — справедливость. Мы ведем справедливую войну обездоленных, которые защищают свое право на достойное человека бытие. Мы не хотим войны, мы хотим мира для всех. Но к нам применено насилие, нам предложена война. Мы приняли ее. Мы воюем против войны. Поэтому наша война не злонамеренна и не бессмысленна. Она, как вы выразились, добра. У нее великий смысл и прекрасная цель. Если мы сложим оружие, мы будем преступниками, потому что нас не пощадят, раздавят и еще больше обездолят обездоленных.

Пастухов вскинул руку, чтобы остановить Извекова. Очень тихо, преодолевая вдруг вернувшееся к нему испытанное по дороге сюда страдание, он проговорил:

— Я никогда не сомневался в возвышенности целей, о которых вы говорите. Я не так наивен и в конце концов не так жалок, чтобы бояться осмысленной борьбы. Но, признаюсь, меня ужасает, что в битве за добро человек вынужден делать так много зла!

Кирилл молча взял яблоко, без усилия переломил его и, улыбнувшись, протянул половину Пастухову:

— Попробуйте все-таки...

Пастухов долго сохранял неподвижность, всматриваясь с каким-то глубоко утаенным опасением в зеленовато-белый, заискрившийся соком овал разломленного яблока.

— Ну что ж. постараюсь справиться один,— сказал Извеков, опять улыбаясь, и с хрустом перекусил половинку надвое.

Намек на знакомую с детства легенду праотцев был настолько очевиден, что Пастухов почел неостроумным сказать, что понял его. Он пристально следил, как Извеков разжевывал хлеб вприкуску с яблоком. Угловатые челюсти Кирилла сильно пружинились от крепкой работы мышц. Казалось, он всецело отдался наслаждению приятной едой. И все же взгляд его сохранял настороженную и словно мечтательную мысль. Хрустя яблоком. он заговорил:

— Вы ужасаетесь войны, но под войной разумеете революцию. Я, по крайней мере, слышу это.

— Я разумею уничтожение человека человеком. А каким словом называется уничтожение — разве это существенно?

— Вы не были на войне?.. В армии есть понятие «невозместимого материала». Мораль обязывает нас дать в руки революции нечто подобное невозместимому материалу. В самом

деле. Если война имеет право пользоваться ценностями и человеческой жизнью в целях разрушения во имя победы, во имя защиты от врага, то как же революционер будет лишен всяких ценностей, всякого права на жизнь, когда его целью является строительство нового мира? Солдат не отвечает за израсходованный боевой припас, за уничтоженный кров, за истребление богатств и жизней, если это сделано в интересах победы. Почему же революционеру должно ставить на счет всякую разбитую тарелку и тем паче всякое членовредительство, будь оно учинено даже явному врагу?

— Логично, но жестоко,— сказал Пастухов.

— А война? Та война, против которой вы, наверно, не возражали, пока она не обратилась в революцию. Она была жестока, но нелогична. Правда?

Кирилл смотрел на Пастухова с торжеством. Бог знает, куда могло завести неожиданное состязание!— подумал Пастухов и отозвался как можно ленивее, показывая, что устал спорить:

— Человек есть существо объясняющее. Без объяснения видимого или происходящего нет ему покоя. Но уж зато если он нашел объяснение — готов примириться с чем угодно.

— Не примириться, но отстаивать верно найденное объяснение.

Нет! Этот говорун находил в дебатах явную усладу! В конце концов не ради словопрений явился сюда Пастухов в такую тяжелую минуту.

— Стоит ли, однако,— сказал он с грустью,— стоит ли цепляться и виснуть на подножке трамвая, лишь бы угнаться за объяснениями? Не проще ли идти по-хорошему пешком?

— Можно еще верхом на осляти,— задорно добавил Извеков.

Пастухов снова пожал плечами:

— Мне кажется, в погоне за объяснениями вы не хотите понять Россию.

— Нет, я принадлежу к тем, кто хочет понять ее, чтобы делать новую Россию. В отличие от тех, кто хочет понять ее, чтобы сохранить старой.

— Вряд ли следует огулом отвергнуть все старое. Так, как думаю я, думают многие. Я не один.

— Знаю, что вы не один,— мгновенно усмехнулся Кирилл.— По данным на прошлый месяц, таких, как вы, двести тысяч. Сейчас наберется и больше.

 — По каким это... данным?

— Центральной комиссии по борьбе с дезертирством. (Извеков прикрыл рукой расплывшуюся улыбку.) Впрочем — может, гораздо меньше. Комиссия, поди, раздувает цифры, чтобы похвастать — ловим, мол, с успехом, не дремлем...

Пастухов повременил, как будто подчеркивая, что даже не находит, как ответить, но вдруг деловым тоном, с виду совершенно отклоняющим шутливость, высказал мнение, которое еще больше развеселило Извекова:

— Вы — большевик? В таком случае последнее решение вашей партии обязывает вас к работе с... товарищами дезертирами. Если не ошибаюсь.

— Замечание, как говорится, не лишено...— поискал слово Извеков и не нашел и рассмеялся.

В смехе его было, пожалуй, не так много веселости, как вызова, и Пастухов решил, что не всякая шутка хороша. Он представительно поднялся, не спеша одернул на себе пиджак.

— Дезертир тот, кто нарушает присягу. Я присяги не давал.

Кирилл тоже встал. Сдвинув прямые свои брови, он секунду мерил сощуренными глазами Пастухова с головы до ног.

— Когда городу угрожает наводнение, жители выходят строить дамбу, не давая никакой присяги... И кто не вышел, кто спрятался, тот дезертир.

Пастухов достал платок, утер губы, в высшей степени деликатно поинтересовался:

— Вы пообедали?

— Да,— ответил Извеков.— Пойдемте в кабинет.

Там он остановился около своего места за столом, давая понять, что хотел бы скорее кончить с делом.

— Не знаю, угодно ли вам будет пойти мне навстречу после нашего... философского разговора,— проговорил Пастухов натянутыми губами.— Я с семьей очутился на улице. Квартиру, в которой мы жили, занимает городской военком под какое-то свое учреждение. Это квартира Дорогомилова. Вы слышали о таком? Его, между прочим, тоже выселяют, вместе с нами.

— Дорогомилова?

— Да. Мы должны выехать из квартиры завтра. Куда? Я не знаю. Я прошу либо остановить выселение, либо предоставить мне какое-нибудь жилье.

Тогда произошел разговор, который поистине не нуждался ни в каких философских предпосылках. Так как дом занимали военные власти, Извеков не мог приостановить выселения. Что же до жилья, то с помещениями в городе было из рук

вон плохо, и Пастухову оставалось устраиваться частным образом. Сделать это в двадцать четыре часа было, очевидно, невозможно, но Извеков не видел иного выхода.

— Простите...— обиженно сказал Пастухов,— но в каком положении окажется Совет, если горожане увидят завтра мою семью на узлах и чемоданах, как цыган, под открытым небом?

— Этого не может быть. Жилищный отдел обязан дать помещение, хотя бы временное.

— Где-нибудь в бараке? — спросил Пастухов, легонько кланяясь, как бы в благодарность за утвердительный ответ, который он предвосхищал.

— Возможно,— бесчувственно сказал Извеков.— Во всяком случае, мы не будем проводить дополнительную муниципализацию домов, чтобы устроить вас в квартире.

Пастухов стоял, точно памятник самому себе — с опущенными руками, неподвижный и будто покрупневший. Вдруг сорвавшимся неверным голосом он выговорил, шумно вздохнув:

— Вы меня толкаете... бог знает на что!

— Мне не интересно, на что я вас толкаю,— быстро ответил Извеков.— Вы старше меня, у вас на плечах своя голова... Что такое? — спросил он тут же у вошедшей стриженой барышни.

— Вас ждут на заседание.

— Да, я кончил. Сейчас иду.

— Будьте здоровы,— негромко сказал Пастухов и коротким шагом пошел из комнаты, не подав руки.

Как только затворилась за ним дверь, Кирилл велел вызвать к телефону военного комиссара. Пока барышня вертела ручку аппарата, постукивала рычажком, читала наставления центральной станции, он успел несколько раз пробежать по кабинету из конца в конец. Потом он сам вступил в бой с телефонисткой, добился соединения и сказал военкому:

— Мне тут на тебя жалуются, что ты выселяешь из квартиры одного гражданина... Да, есть такой гражданин... Арсений Романыч Дорогомилов. Можешь узнать о нем у Рагозина, если хочешь... Как первый раз слышишь? Выбрасывают человека на улицу, а тебе неизвестно?.. Что ты меня спрашиваешь? Я должен тебя спросить — кто приходил. Приходили выселять от твоего имени... Как так — не нуждаешься в помещении? Странно. Разберись, пожалуйста... Ясно, что есть дела поважнее. Думаешь — у меня нет?.. Распутай, прошу тебя, а то нехорошо получается. И позвони мне.

Кирилл с силой хлопнул себя руками по бокам, отошел к окну. Не мог же Пастухов сочинить все от начала до конца! Вон он шествует вдалеке по тротуару, тем же коротким шагом оскорбленного и сдерживающего себя человека, каким покинул кабинет. Разве только прибавилось в осанке надменности, да голова поднялась немного выше, да правая рука значительно и в то же время свободно отсчитывает такт шагов. Нет, такой человек не может безответственно наболтать черт знает что! Такой человек уверен, что занимает свое место во вселенной не напрасно. Такому человеку уступают дорогу, по привычке уважать тех, кто знает себе цену. Тут что-то не то...

Да, тут было что-то не то. Пастухов шел полной достоинства походкой. Но это была прирожденная стать и привычка носить себя по земле сообразно представлению о выдающейся своей породе. На душе же Александра Владимировича не оставалось и следа порядка. Она была уничтожена и отвергнута миром, она с тоскою твердила одно: вот ты, красивый, статный, когда-то независимый, идешь по улице по-прежнему изящными шагами, так знай же — это твои последние шаги! Любуйся собою, неси свое добротное, складное, едва ли не великолепное тело в неизвестность — это твое последнее любованье, твои последние часы! Прощайся, прощайся со всем, что видишь. Прощайся с собой, ты скоро перестанешь быть.

Александр Владимирович возвратился домой мрачный, и Ася поняла, что они потерпели поражение. Он бросил шляпу, скинул пиджак, грузно придавил собою стул. Он был, как никогда, тяжел.

— Ну? — с извиняющейся улыбкой спросила Ася.

— Змий соблазнял меня вкусить от древа познания,— сказал он.

Она улыбнулась смятеннее, но игривей:

— И что же, грехопадение свершилось?

— Завари мне свежего чаю.

Он налил такого крепкого чаю, что она испугалась за его сердце. Он лег и пролежал до сумерек, глядя в потолок.

Потом он вывел Асю в сад. Они сели на перевернутую тачку, которую любил катать по дорожке Алеша. Они говорили неторопливо, о вещах ясных и одинаково близких им обоим. Решение уже сложилось, но они вели к нему друг друга нарочно с оглядкой, проверяя заново все пережитое.

Они надолго примирились бы с тишиной этого заброшенного сада, где просвирник, перевитый вьюном, бедно стлался под ногами, да мальвы жались к забору, да плотные тополя

навесом заслоняли небо. Конечно, это не был райский сад, но потому, что их изгоняли отсюда прочь, им было жаль его. Еще вчера беглецы, сегодня они становились изгнанниками. Им оставалось стремиться к другому такому же укромному углу. Тот самый Балашовский уезд, вожделенный и недосягаемый, ради которого они покинули Петербург, опять делался единственной целью. Там, конечно, еще сохранилась хуторская усадьба, где доживали старики Анастасии Germanовны, там найдется и хлеб, и кров над очагом, там никто не посягнет на человеческую неприкосновенность. Они договорились отправиться туда немедленно.

Вечером Пастухов сообщил решение Дорогомилову.

Арсений Романович в последнюю неделю обретался в непреходящем возбуждении. События будто дразнили его честолюбие. Он корил себя бездействием. В городе росла тревога, люди на разные лады готовились встретить надвигавшуюся грозную перемену. А он листал за конторкой ведомости и гроссбухи, как это делал всю былую жизнь. Он сердился на свою неспособность повернуть с проторенной дороги. Известие о том, что выселение из насиженного гнезда должно состояться, он встретил вдруг без всякого противления, но с тайной надеждой, что это будет толчок к каким-то очень важным действиям — может быть, к переходу на военную службу, а то и к выступлению на фронт. Да, он сменит заветшалый сюртук на гимнастерку, подтянется ремнем, выкинет галстуки, сбреет бороду и гриву! Маршировать он может превосходно, ходоком он был всегда неутомимым! Жизнь, в сущности, позади, но она еще теплится, и тепло ее надо отдать за благородное дело.

— Позвольте,— изумился Арсений Романович, когда Пастухов объявил, что завтра увозит семью в Балашов,— ведь там, подать рукой, идут бои! Как же можно — с мальчиком? Там кругом — белые!

— В нашем положении безразлично — какие. Раз меня до этого довели. Нам нужен дом,— даже с некоторой заносчивостью ответил Пастухов.

Арсений Романович не сказал на это ни слова, а только отшатнулся немного и потом молча, совершенно неучтиво удалился к себе темным коридором.

Короткий этот разговор слышал Алеша. Его поразило, как отвернулся Арсений Романович от отца. Он ни разу не замечал на лице Дорогомилова такого осуждения. Он насилу заснул, и ночью все время свергался и летел то с колокольни, то с горного обрыва, то с самого кончика мачтовой реи—

в бурлящую воду, и просыпался в горячем поту, и слышал, как мама и Ольга Адамовна шуршат на полу газетами, завертывая посуду, и папа сопит, продергивая в свистящие пряжки и затягивая с хрустом ремни саквояжей.

К Вите и Павлику Алеша питал уважение с того первого часа, как увидел их в настоящей драке. Он ощущал перед ними почтительный страх, как перед существами несравненно более ценными, чем он сам, и привык говорить им всю правду. Поэтому, когда на другой день мальчики забежали в обед к Арсению Романовичу, он приготовился обо всем рассказать. Но, очутившись с ними в саду, он догадался, что уже все известно, и ему сделалось почему-то до боли стыдно.

Павлик и Витя разглядывали его еще отчужденнее, чем в минуту незабвенного знакомства в кабинете Арсения Романовича. Павлик даже выпятил нижнюю губу, точно приготовился сплюнуть. Витя насвистывал неизвестный и потому крайне поддразнивающий мотив. Наконец он точно сжалился над растерянным Алешей и спросил презрительно:

— Утекаете?

— Мы уезжаем к маме домой. Это на хуторе у дедушки с бабушкой,— старательно объяснил Алеша.

— Рассказывай. Чего же раньше не уезжали? А как дошло до драки...

— До какой драки? — спросил Алеша.

— До такой...

— Они — белые,— сказал высокомерно Павлик.

— Нет, мы не белые,— сказала Алеша слабым голосом.

— А чего же вы против красноармейцев? — спросил Витя.

— Мы не против красноармейцев,— возразил Алеша, и один глаз его заблестел от слезы.

Все трое постояли безмолвно, не глядя друг на друга.

— Вы сердитесь? — робея, спросил Алеша и чуть подвинулся к Вите.

— Охота была! — ответил Павлик.

— Чего сердиться? — согласился Витя.— Ты маленький, тебя возьмут и увезут.

— Это все папа! — воскликнул Алеша отчаянно и с благодарностью за то, что Витя его понял.— Мне жалко Арсения Романовича... и вас тоже,— прибавил он, страшно краснея.

— Бедные лучше,— обличительно произнес Павлик.— Мой вот отец беднее твоего, а лучше. Только зашибала.

— Как зашибала? — спросил Алеша.

— Ну, когда на него найдет, он зашибает.

— Бьет?

— Не бьет... а пьет! Чудак ты какой...

Они еще постояли, и Павлик позвал Витю:

— Идем, чего дожидаться?!

Они ушли, не попрощавшись с Алешей, и он остался один, около черной лестницы, перед растворенной дверью, через которую долетал сверху шум: там выносили в коридор запакованные тяжелые вещи.

Потом к этому волнующему шуму прибавились шаги по ступенькам, и Арсений Романович, без шляпы, расстегнутый и косматый, показался в дверях. Он пробежал мимо Алеши и уже взялся было за щеколду калитки, но вернулся.

Обняв Алешину голову, он с жаром трижды прижал ее к своему животу и потом словно залил лицо Алеши путаными холодноватыми волосами своей бородой. Весь этот необъяснимый, неступленный порыв объятий и поцелуя длился маленькую долю секунды, и затем, оторвавшись от Алеши, Арсений Романович опять побежал к воротам.

И когда до Алеши долетел дребезжаще звонкий стук калитки и он увидел, что остался опять один, совсем один! — он зажал кулаками глаза и, дергаясь от плача, стал медленно взбираться по лестнице на верхний этаж. Он так отчетливо понимал, что с ним произошло, что невольно находил новые, недавно совсем чуждые ему слова, определявшие его переживание. Ему казалось, что, всхлипывая, он выговаривает эти необыкновенные, отчаянные слова. Но он только плакал. Вместе с мамой и папой, вместе с Ольгой Адамовной он был отверженным и бежал неизвестно куда! Его все презирали за то, что его отец был хуже бедных, за то, что сам он был ничтожнее и малодушнее Павлика с Витей! Его жалел один Арсений Романович, жалел, любил, но не мог его спасти и покинул навсегда.

Алеша остановился наверху, в летней кухне, около плиты. Он отнял кулаки от глаз и, как когда-то, в первые минуты после приезда в этот дом, увидел перед собой спасательный круг.

Прекрасная вещь лежала на старом месте. Сколько было связано у Алеши ожиданий с этим кругом! Несостоявшиеся походы за рыбой, путешествия на пески к далекому коренному руслу, гребля веслами, может быть — горячая работа за парусной оснасткой, может быть — купанье в пароходной волне, и, уж конечно,— костры, костры, костры! Когда Арсений Романович ездил с мальчиками на лодке, он брал с собой этот круг, как верного товарища. И вот с этим верным товарищем Арсения Романовича Алеша прощался теперь, как с утрачен-

ной надеждой. Он чувствовал, что гибнет и что ничто на свете его не спасет.

Он погладил шершавое раскрашенное пробковое тело круга, подержал оцеплявшие это тело веревочные петли и крепко припал к нему влажной щекой.

Голос мамы прозвенел в коридоре: «Где наш Алеша, где Алеша?»

Он вытер насухо глаза, щеки и крикнул сурово:

— Я здесь! Пожалуйста... без волнений...

Еще до заката солнца Пастуховы прибыли позади груженных багажом тележек, к вокзалу. Дорогомилов их не провожал. Алеша слышал, как Ольга Адамовна сказала маме: «Он мог не провожать, но проститься он был обязан... этот неприличный господин!» На что мама заметила со своей едва уловимой задумчивой улыбкой: «Он — строгий судия...»

Пастухов не участвовал в разговорах. Его захватило зрелище страстной и многоликой жизни, бившей на площади. Так же как весной, его семья беспомощно стояла перед вокзалом, прикованная к несуразной куче вещей, которую надо было оберегать от нетерпимой человеческой стихии. Но до чего разительны были изменения, происшедшие за недолгие месяцы!

Прежде всего, вокруг стало гораздо больше людей. Образуя сплошную массивную толпу, они рвали ее изнутри потоками, завихреньями маленьких толп, кучек и горсток. Одни текли и текли в вокзальные двери, другие напирали навстречу, вылетая наружу целыми гроздьями спрессованных, как изюм, едва не размятых тел.

Что дальше бросалось Пастухову в глаза — это обилие вооруженных красноармейцев. Они тоже непрерывно двигались в людской массе, то групами, то в одиночку. Повсюду над головами взблескивали исчерна-серебристые иглы штыков. Скинув с мокрых, почерневших плеч скатанные солдатские шинели, бойцы тащили их в руках, будто шли с хомутами запрягать лошадей, и тяжелая эта ноша казалась ненужностью среди распаренной зноем потной толпы, странно напоминая о далеких, неправдоподобно холодных ночах.

Огибая огромной живой скобой всю площадь, шевелились на мешках семьи беженцев. Витал неровный ропот голосов, и как бы ни был резок отдельный звук, он не мог отодвинуть этот ропот или стушевать его,— ни громко звякавший где-нибудь поблизости жестяной чайник, ни детский жалобный крик, ни даже перекатывающийся через крышу вокзала сплошный вопль паровоза. Шум был слитен и сомкнут, и чудилось —

даже мысль человеческая не могла бы тут зародиться обособленно от разноголосого и тысячеголового единства во множестве.

Неожиданно перед задумавшимся Пастуховым остановился военный в одежде с иголочки. Он был слегка загорелый, худой и словно только что вымытый. Улыбка раздвигала ямку на его подбородке. Он смотрел предельно увлекшимся взглядом молодости на Пастухова, ожидая — что же может получить в ответ.

— Вы меня ни за что не признаете,— пробормотал он наивно, не вытерпев слишком долгого молчания.— У меня ведь была борода!

— Борода,— повторил за ним Пастухов.

— Вы нам тогда показывали ленточку,— вдруг сказал Алеша.

— Совершенно верно!— обрадовался военный.— Дибич. Я — Дибич.

— Боже мой, ну конечно!— воскликнула Ася.— Вы прямотаки расцвели!

— Что вы! Просто — поправился. В первый раз за столько лет чувствую себя здоровым. А вы?.. Куда же опять собрались? Все еще не доехали?

— Вы, я вижу, уже... доехали,— проговорил Пастухов, останавливая медлительный взгляд на красной звезде Дибичевой фуражки.

— Да,— сказал Дибич все с той же улыбкой,— опять в армии. Формирую новые части.

— В канцелярии?— полюбопытствовал Пастухов.— Командовать вас, конечно, не допустят?

От Дибича будто отскакивали эти маленькие уколы. Он говорил живо, нисколько не тая восторга, что встретил приятных знакомых.

— Что там командовать! Теперь сколотить новую часть, пожалуй, хитрее, чем отбить у противника позицию. Заваруха — страсть!.. А я вас на днях вспомнил. Знаете почему? Помните солдата, который нас чуть не арестовал тогда, в Ртищеве?

— Белоглазый?

— Да, да. С одним глазом — в другом у него осколочек. Ипат Ипатьев.

— Ну?

— Так он ко мне явился добровольцем записываться. Вспомнили Ртищево, посмеялись. Смотри, говорю ему, что ты хотел учинить: человек революцию делал, а ты его в ката-

лажку потащил... Я, когда лежал в лазарете, о вас заметку прочитал,— добавил Дибич с оттенком почтения.

— Да,— произнес Пастухов несколько властно и зажал двумя пальцами поясную пряжку Дибича.— Скажите мне. Неужели вы не понимаете, что впутались в историю, которая обречена?

Дибич неторопливо сдвинул фуражку на затылок.

— В историю?— переспросил он.— Да. С большой буквы.

— Но вы будете жертвой этой большой буквы!— резко сказал Пастухов и выпустил пряжку, немного оттолкнув от себя Дибича в пояс.

— Может быть,— серьезно согласился Дибич, но тут же, с вызывающей хитростью, как-то снизу, нацелился на Пастухова и спросил:— А если нет?

— Если нет?— помедлил Александр Владимирович.— Если нет, значит, я дурак.

Дибич засмеялся:

— Ну, если вы хотите...

Ася, со своим тонким чувством опасности, вмешалась, озаряя Дибича любвеобильным сиянием лица, которое он помнил с первой встречи:

— Чем же вы сейчас здесь заняты?

— Я тут с маршевой ротой из моих формирований. Провожу ее до Увека, там — перегрузка на пароходы. Фронт совсем недалеко. Вчера белые Камышин взяли. Слыхали?

Пастухов быстро взглянул на жену. Она сказала, прикрыв волнение шутливо-просительной улыбкой:

— Но значит, вы на вокзале — у себя дома! Может быть, и нас, бедных, погрузите?

— Куда же, куда вы собрались?

— Все туда же — домой.

— Домой?— ухмыльнулся Дибич.— Это как в сказке... Нет, правда,— в Балашов? Не легко. Но попробую.

Он затерялся в толпе, и его долго не было. Уже начинало темнеть, когда он пришел снова и сообщил, что разговаривал с комендантом вокзала, и тот ждет, чтобы Пастухов явился лично. Дибич наспех распрощался — рота его уже стояла на колесах.

Если бы в эту минуту Пастухову сказали, что ему предстоит десятеро черных суток ползти в товарном вагоне, простаивая дни и ночи на станциях и разъездах, чтобы опять приехать не туда, куда стремился, он предпочел бы раскинуть семью табором где-нибудь за полотном дороги, в Монастырской слободке, или подальше, в Игумновом ущелье, под садовым

плетнем. Но он, закусив губы, добился посадки и тронулся в путь, как в плавание на утлом плоту по неизведанным водам.

Снова он попал в Ртищево, забитое вагонами, конями, платформами, ротными кухнями, интендантским сеном, некормленым скотом, поломанными автомобилями и людьми, людьми без счета. Снова он ходил по комендантам, начальникам, комиссарам, упрашивая, требуя, чтобы его пересадили на балашовский поезд. Он исхудал, истрепался. Ася потеряла сверкание своих красок, улыбка ее стала бедной. Алеша помногу спал или дремал, положив голову на колени Ольги Адамовны. Вокруг было серо от пыли и полыхало жаром иссушенных степей.

Раз поутру Пастуховы проснулись на полном ходу поезда. С громом и скрежетом сцеп вагон, раскачиваясь и гудя, летел по спуску между захудалых черных сосенок вперемежку с березняком. Как случилось, что вагон отправили с неизвестным составом, куда мчится поезд и давно ли — никто не мог понять. Наконец на маленькой станции выяснилось, что вагон прицепили к порожняку, который гонят в Козлов.

— Наплевать,— сказал Пастухов,— я так или иначе ничего не понимаю. Не все ли равно? В Козлов ли, в Баранов...

Он увидел отчаяние на лице Аси и как можно спокойнее договорил:

— Это даже лучше. Из Козлова скорее попадем в Балашов. Через Грязи... или как они там называются...

Он бросил взор на Ольгу Адамовну и, будто сорвавшись, закричал изо всей мочи:

— Перестаньте тереть глаза, мадам! Вы живете в историческую эпоху! И обязаны быть ко всему готовой... Черт вас возьми совсем!

20

В первой декаде июля было опубликовано письмо Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) к организациям партии — «Все на борьбу с Деникиным!». Письмо было написано Лениным. Оно начиналось словами:

«Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции...»

Колчак и Деникин признавались этим письмом главными и единственно серьезными врагами Советской Республики. Вместе с тем устанавливалось, что только помощь Антанты

делала этих врагов силой. И вместе с тем, несмотря на признание момента самым критическим, письмо провозглашало как свершившийся факт победу над всеми врагами: «И мы уже победили всех врагов, кроме одного: кроме Антанты, кроме всемирно-могущественной империалистской буржуазии Англии, Франции, Америки, причем и у этого врага мы сломали уже одну его руку — Колчака; нам грозит лишь другая его рука — Деникин».

Для того чтобы отразить эту занесенную над Республикой еще не сломанную руку врага, Ленин призывал партию приспособить к войне и перестроить по-военному всю работу всех учреждений. Он предлагал, не колеблясь, приостанавливать на время ту деятельность, которая не абсолютно необходима для военных целей. Он писал: «В прифронтовой полосе под Питером и в той громадной прифронтовой полосе, которая так быстро и так грозно разрослась на Украине и на юге, надо все и вся перевести на военное положение, целиком подчинить всю работу, все усилия, все помыслы войне, и только войне. Иначе отразить нашествие Деникина нельзя. Это ясно. И это надо ясно понять и целиком провести в жизнь».

Письмо, исполненное убеждения, похожего на остроту и твердость алмаза, отозвалось, словно в горах, повсюду разраставшимся эхом. Касаясь будущего страны в целом, судьбы всей революции, письмо каждой строкой било как бы по отдельному месту, по определенному факту, по особому, как бы вполне оазисному положению. Так, для тех, кто в эти дни жил событиями Саратова, было совершенно очевидно, что отдельным местом, которое будто бы подразумевалось в письме, был именно Саратов; определенными фактами были саратовские, нижневолжские общественные факты; особенным положением, как бы выделенным из всероссийской обстановки, было оазисное саратовское прифронтовое положение. Другими словами, в Саратове письмо рассматривалось людьми, сочувствовавшими революции, как адресованное всей Республике вообще, а Саратову в частности и, пожалуй, даже в особенности.

Рагозин, прочитав письмо один раз на службе, во время занятий, другой — у себя дома, при свете керосиновой лампы и с карандашиком в руке, написал заявление в две строки о том, чтобы его перевели на военную работу.

Он был вызван в губернский комитет. Член бюро комитета сообщил ему, что освобождение от должности в финансовом отделе в данное время невозможно: благодаря усилиям Рагозина работа только начала налаживаться, и уход руководите-

ля отразится на ней печально. Петр Петрович был вполне готов к возражениям, считая их естественными. Он извлек из кармана испещренный карандашом — в черточках, птичках и восклицательных знаках — печатный документ, отыскал жирно отчеркнутый абзац в разделе «Сокращение невоенной работы» и принялся читать вслух:

— «Возьмем для примера научно-технический отдел Высшего совета народного хозяйства. Это — полезнейшее учреждение, необходимое для полного строительства социализма, для правильного учета и распределения всех научно-технических сил. Но безусловно ли необходимо такое учреждение? Конечно, нет. Отдавать ему людей, которые могут и должны быть немедленно употреблены на насущную и до зарезу необходимую коммунистическую работу в *армии* и *непосредственно* для армии, было бы в настоящий момент прямо преступно».

— Позволь,— остановил Рагозина его оппонент.— Ты думаешь, мы тут этого не изучали?

— Изучали-то изучали, а ты разреши еще пару строчек. «Такого рода учреждений и отделов учреждений у нас, в центре и на местах, очень немало. Стремясь к полному осуществлению социализма, мы не могли не начать сразу постройку подобных учреждений. Но мы будем глупцами или преступниками, если перед грозным нашествием Деникина не сумеем *перестроить рядов* так, чтобы *все*, не безусловно необходимое, *приостановить и сократить*».

— Так что же, по-твоему, можно закрыть финансовый отдел?

— Можно закрыть меня в финансовом отделе.

— Кабы так, мы бы тебя туда не поставили.

— В свое время, в свое время!— выразительно сказал Рагозин и даже поднял над головой палец.— Мы ведь, как видишь, не против науки и техники? Не против. Но сейчас не до того. Верно я понимаю? Не до того... Финансами может управлять кто-нибудь другой. Об этом тоже определенно сказано. Смотри.

Он опять развернул документ, нашел другое отчеркнутое место и, читая, провел по строкам сложенными в щепоть пальцами:

— «...мы можем идти на такой риск, чтобы многие из сильно сокращаемых учреждений (или отделов учреждений) оставлять на время *без единого коммуниста,* сдавать их на руки работников исключительно буржуазных».

— Ты читай дальше,— сказал член бюро, видя, что Рагозин поставил точку, и вытягивая из его рук документ.— Что дальше сказано? «Этот риск невелик, ибо речь идет только об учреждениях, не безусловно необходимых...» Понял? А твой отдел необходим безусловно.

— Я тоже грамоте учился,— сказал Рагозин, поднимаясь и обходя вокруг стола. Он плотно привалился к товарищу и продолжал по-прежнему водить щепотью по бумаге, но уже не читая, а пересказывая напечатанное настойчиво и строго:— Какой ставится вопрос? Погибнем ли мы, если приостановим или сократим работу учреждения на девять десятых, оставив его вовсе без коммунистов? Кому поручается ответить на вопрос? Каждому руководителю ведомственного отдела в губернии или каждой ячейке коммунистов. Руководитель я отдела или нет? Могу я сам ответить на вопрос? Или, может, за меня ячейка должна ответить?

— Да за тебя уже отвечено,— раздосадованно сказал товарищ, отстраняя слишком тяжело навалившегося Рагозина.— И отвечено не ячейкой, а бюро губкома. Ты хочешь отозваться на призыв партии? Изволь. Финансируй погуще того, кто работает на войну, и зажимай всех, чья работа сейчас мало полезна войне. Вон в Затоне, на ремонте военной флотилии, недостает металлистов. Подкинь туда деньжонок, может, и металлисты найдутся.

Петр Петрович остановился на неудобном повороте корпуса, будто схваченный внезапной болью.

— А почему не слышно, что в Затоне не хватает металлистов? Я ведь тоже металлист.

— Опять свое! Людей берут от станков на руководящую работу, а ты от руководства к станку захотел!

— Да я не о том! В депо, на дороге, должны найтись старики, которые меня помнят,— я сколько лет там слесарничал. Их можно поднять, и — в Затон! Поручишь мне заняться?

— Что ж поручать? Делай. Только чтобы не во вред прямым обязанностям.

Рагозин слегка подмигнул:

— Я обязанности подсокращу. Не на девять десятых, а этак, скажем, на восемь.

— Шутить не время.

— Ладно, ладно!— уже в дверях сказал Рагозин со смехом.— На семь, на семь десятых, не больше, ей-богу!..

Так он попал сначала в депо — под задымленные, дышавшие гарью своды цехов, где сквозняки вели свои кадрили, присвистывая в пробитых черных стеклах, а потом — в Затон, под

вольный свод неба, куда летели наперегонки яростные стуки клепальщиков, визг напильников, хрипы плотничьих пил.

В депо отыскались всего два токаря, которые припомнили далекое прошлое и от души покалякали со старым знакомым, но только один согласился прийти на работу в Затон («в порядке субботника», как он выразился), потому что на железной дороге своего дела было — не передохнуть. Зато оба обещали сагитировать на подмогу речников кое-кого из молодых рабочих.

В Затоне Рагозин начал с помощи денежному ящику расплывшегося хозяйства, слабосильного, по сравнению с необычайными задачами, поставленными перед ним войной. Но, обходя суда, Петр Петрович попал на буксир, где расшивали железные листы фальшборта, взялся пособить, да так до вечера и не выпустил из рук тяжелого молота. После этого, приезжая в Затон на часок каждое утро, он прямо шел на этот полюбившийся буксир, и в руках его перебывали все инструменты, которыми когда-то он недурно владел. Власти удивительно скоро привыкли к тому, что за делами Затона наблюдает Рагозин, и не успел он оглянуться, как его потребовали к ответу: почему ремонт флотилии идет преступно медленными темпами? Он только позадорнее щипнул колечко своего уса:

— Вот тебе, непоседа-дурак,— напросился в преступники!..

Сейчас же после падения Царицына отряды военной речной флотилии, с успехом оперировавшие на Восточном фронте против Колчака, были отозваны из Камского бассейна на Нижнюю Волгу. Совпало это со взятием Красной Армией Перми.

Суда прибыли в район военных действий на юге, оказали артиллерийскую поддержку частям армии, которые сражались на берегах Волги, но вынуждены были вместе с этими частями отступить сперва к Камышину, затем дальше вверх на полторы сотни верст. К этому времени в боях принимала участие флотилия в несколько десятков судов, колонна ее растягивалась на версты, судовая артиллерия насчитывала до ста орудий. После отступления один из отрядов был снова направлен в глубокий тыл противника с заданием громить тыловые части Врангеля. В рейде он высадил несколько мелких десантов военных моряков, вызывая панику среди белых, внезапно обстрелял Камышин и лежащую против города, на левом берегу, Николаевскую слободу, стремясь поколебать приближавшийся к Саратову деникинский фронт.

Операции сопровождались серьезными потерями. Противник донимал речные силы интенсивными бомбежками с воз-

духа. Часть судов должна была стать в ремонт. В ремонте или на перевооружении находились и другие суда, готовившиеся влиться в Северный отряд Волжской военной флотилии, которому предстояло оборонять Саратов от врага. Город принял оттенок морского — с военным портом, черноморскими и балтийскими матросами, с особым флотским режимом, еще недавно совсем незнакомым мирному волжскому судоходству.

Тихие буксиры, привыкшие испокон века добродушно тянуть караваны баржей, да и сами баржи, с развешенным на рулевом бревне разноцветным бельем водолеев, наспех превращались в огнедышащие плавучие крепости. Буксиры становились канонерскими лодками, баржи — вспомогательными судами для десантов, для переброски пехоты при форсировании рек. Иные канонерки бывали внушительно вооружены — на наиболее сильных из них устанавливались два четырехдюймовых орудия, два трехдюймовых зенитных, четыре пулемета, им давалась радиостанция, дальномер.

Переоборудованный в канонерку буксир терял невинный облик парохода. На нем взвивался флаг Красного Военно-Морского Флота. Он переставал причаливать к конторкам: он пришвартовывался к стенке или становился на прикол. Уходя, он не отдавал чалки: он отдавал концы. Он уже не мерил задумчивый свой путь извечными верстами: он расценивал свои походы на мили. Про него уже не говорили, любуясь: ишь как бойко бежит! Нет: он имел хороший ход в двенадцать узлов. На его мостик больше не поднимался капитан: там высился командир. И даже старые его хозяева — матросы меняли прежнее свое имя водников на славное звание военморов.

Только одного человека не мог заменить на волжском судне никто из моряков, и этот человек лукаво поглядывал на боевые новшества. Шалишь, думал он, без меня ваша морская крепость, не моргнешь глазом, станет на обсушку: один я знаю кормилицу-матушку с ее мелями да перекатами, банками да косами. Человеком этим был урожденный волгарь-лоцман, который и в военной флотилии оставался душою многотрудного вождения судов по мелким водам. Впрочем, и сама канонерка, несмотря на всю перелицовку, в глубине души оставалась буксиром, который лихо шлепал гребными плицами да твердо помнил, что осадка его — неполных два фута, а мощность машины — каких-нибудь двадцать пять лошадиных сил.

Такому маленькому буксиру и отдал свою нечаянную привязанность Петр Петрович. Суденышко называлось «Рискованный», и это понравилось Рагозину. Оно вооружалось руками водников-добровольцев, но когда явились военные

моряки, чтобы принять «Рискованного» в состав флотилии, они ахнули. На палубе, вдоль бортов, сооружен был из обыкновенного кровельного железа широкий фальшборт. Внутреннее полое пространство его заполняла пакля. Кое-где в этом грозном каземате были проделаны бойницы для стрельбы из ружей и пулеметов. С носа и с кормы фальшборт был открыт, и оттуда торчали по одному полевому трехдюймовому орудию на колесах. Никаких креплений орудия не имели.

— Братишечки, милые,— сказали моряки,— да ведь ежели вы откроете огонь с этого вашего монитора, пакля-то ведь вспыхнет! Да и фальшборт ваш кувыркнется в воду. Не-ет, это слишком рискованно даже для «Рискованного». Давайтека всё сначала.

Приказано было разобрать бойницы и перевооружить судно. Рагозин застал на нем сокрушающую работу в разгаре. Она втянула его запалом речного люда — машинистов и матросов, кочегаров и пристанных крючников, которые строили сначала эту маленькую крепость на защиту Республики своим волжским, невоенным разумением, теперь без жалости рушили ее, не щадя сил, и собирались так же истово строить вновь разумением морским и военным. Рагозину казалось, что вот такой работы — с потом, кровью, до устали, до упаду, работы, истинно вдохновленной наивысшей целью защиты найденной и попираемой врагом правды,— такой работы он и хотел всю жизнь. Но он не мог позабыть и того своего долга, который возлагали на него еще не снятые обязанности, сокращенные им не на девять и не на семь, а всего на какихнибудь две десятых, «маненечко», как он говорил про себя. И он, после короткой работы, выходил из ворот Затона, охраняемых матросом под винтовкой, выходил вспотевший, с пожелтелыми от ржавчины и масла ладонями, но нисколько не усталый, а только счастливо притомленный, и у него не было раздражения, что он опять должен сесть за бумаги, где почти не встречалось слов, а только — цифры и цифры, и астрономически, до невообразимой абстракции, много нулей и нулей.

Но однажды, выйдя из ворот и взбираясь в перекошенную, облезлую пролетку, добросовестно служившую ему все лето, Рагозин почувствовал какую-то недостачу, словно бы спохватившись о некоторой позабытой важной вещи и не в силах сразу догадаться, что именно забыто. Как будто что-то держал в руках, а руки пустые.

Кучка мальчуганов-распоясок баловалась у придорожной канавы. Старший ударил ногой обломок кирпича, сбросив

его в канаву, за ним все по очереди сделали то же, выискивая себе подходящие камни. Самому младшему показалось этого мало, он схватил тяжелый кирпич обеими руками и, свирепо напыжившись, кинул его в канаву. На него никто из товарищей не смотрел, он, видно, старался заработать их уважение.

Этот маленький богатырь чем-то был похож на Павлика Парабукина.

— А что, если...— спросил Рагозин кучера,— что, если мы с тобой возьмем вон по той горной дороге? На Симбирский тракт мы не выедем?

Оказалось — почему бы и не выехать? И Рагозин совсем неожиданно для себя велел ехать.

Намерение разыскать сына не оставляло его. Но оно зрело рывками —то заноет сердце, то притихнет и забудется. С месяц назад он вдруг поехал в скит с целью нащупать какие-нибудь концы в тамошнем детском доме. Ему не давала покоя мысль, что сын, наверно, обретается в доме для трудновоспитываемых. Где мальчику иначе быть? Родился в тюрьме, рос, поди, в приюте, какое у него может быть воспитание? Попал, конечно, на улицу, испортился вконец, может, и ворует. Сколько таких несчастных кишит на берегу, на вокзале, на рынках!

В скиту о мальчике Рагозине ни воспитатели, ни дети не слышали. Один только учитель, служивший тут дольше других, начал что-то такое смутно припоминать будто бы, когда он поступил на службу, одного мальчика, как правонарушителя, отправили на Гусёлку, в трудовую колонию, и мальчик по фамилии был не то Ремезов, не то Рагозин. Документов в доме не сохранилось, старые воспитатели ушли, детей прежнего состава тоже не было, все непрерывно менялось, перетасовывалось, ведомства нередко тягались между собою, оспаривая друг у друга компетенцию воспитания детей, суда над малолетними: в надзоре за детскими учреждениями участвовали сразу народные комиссариаты общественного призрения, юстиции, просвещения, здравоохранения. В таких хитросплетенных обстоятельствах, как в дремучем бору, не хитро, конечно, было затеряться мальчику, особенно если неизвестно — существует ли в действительности этот искомый мальчик.

Покидая детский дом, Рагозин встретил в скитской роще одутловатого монаха, который, тяжко опираясь на посох и опустив глаза долу, брел между дубков. От учителя Рагозин узнал, что это — мирный сосед детского дома, викарный ар-

хиерей, и подумал не без досады: архиереи в полной сохранности, а в детском хозяйстве черт ногу сломит! А ведь архиереи — прошлое? Да. А дети-то — будущее? Да. Вот тут и покумекаешь...

Сейчас, трясясь по унылой дороге к Пристанному селу, Рагозин вспоминал, что доводилось слышать о Гусёлке. Имя это вселяло некогда страх. Гусёлка слыла жестоким наказанием для малолетних преступников, и если хотели непослушника запугать, то грозили ему Гусёлкой, а если о ком-нибудь говорилось, что он из Гусёлки, то взрослые пугались больше детей.

Вскоре завиднелись скучные каменные корпуса и на большом отстоянии от них — тягучие, кое-где щербатые заборы, ограждавшие небогатую зелень. Волга сверкала вдалеке. Обожженные горы были охрово-желты.

Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию. Было ярко на грядках и свежо. Шла поливка сада, и подростки — девочки и мальчики в серых блузах и платьях — мотыжили лунки под яблонями. Молодежь показалась Рагозину оживленной, поодаль слышался смех. Гусёлка, как видно, успела помрачить сияние былого своего мученического нимба.

Директор был в отъезде, и Рагозину пришлось говорить тут же, в саду, с очень юной воспитательницей. Она без всякой заносчивости сказала, что знает дела не хуже директора, потому что сама из Гусёлки — прошла исправление и теперь исправляет других.

— И с успехом? — спросил Петр Петрович недоверчиво.

— Как же иначе?

О мальчике Рагозине она ответила не моргнув глазом, так что Петр Петрович не дал ее словам никакой веры.

— Был, я знаю. Только он весной смылся.

— Как смылся?

— А как от нас смываются? Я его хорошо не запомнила, он был в мастерских, а не в садоводстве.

— Сколько ему лет, не знаете?

— Лет четырнадцать.

«Так и есть, болтает», — решил Рагозин и спросил, как пройти в канцелярию. Она показала — так вот прямо, потом наискосок, к правому корпусу. Но когда он сделал несколько шагов, она крикнула ему:

— Там никого нет. Сегодня канцелярия на картошке.

Он уехал ни с чем. Очевидно, происходила путаница, он напал на чужой след. Надо было идти совсем иным путем —

не снизу, где, как в пучине, тысячеголовыми стаями мальков ходят похожие друг на друга человеческие детеныши, а сверху, откуда можно пронзить загадочную глубину разящим лучом прожектора и сразу безошибочно вырвать из стаи единственно нужную рыбку. Должны же где-нибудь находиться эти станции прожекторов — архивы, описи, книги, в которых под точной датой и точным номером значится заброшенный, наверно славный мальчишка — родной сын Петра Рагозина и его жены Ксаны...

Петр Петрович явился на службу не в духе, с порядочным запозданием. Его ожидало много народу. Вне очереди, с изрядным спором, к нему в кабинет ворвалась странная пара.

— Товарищ Рагозин! Что у вас такое творится? — воззвал посетитель.

— Невиданно! — в голос поддержала его спутница.

Смоляного волоса, остриженный в скобку, подобный мавру, студент в панаме и серой куртке с золотыми пуговицами сел без приглашения к столу, в то время как молодая дама, напоминавшая амазонку, продолжала стоять. Несмотря на отроковическое лицо и фигуру, она держалась удивительно солидно.

Предмет разговора заключался в том, что пять дней по столам финансового отдела безрезультатно гуляло срочное требование отдела народного образования на кредиты, задержанные по статье публичных выставок трудовых процессов школьного подотдела.

— По-вашему, пять дней — долго? — черство спросил Рагозин.

— Неслыханно! — прошептала девушка.

— Срочное требование! Пять дней! Скоро неделя! — возмущался студент.— Вы вставили в нашу работу палку, когда она доведена почти до самого конца.

— Нет, палка, я вижу, еще не доведена до конца,— буркнул Рагозин с недоброй улыбкой.

— Что вы хотите сказать?.. Из-за каких-то денег! — презрительно заметила партнерша студента, в то время как тот снял панаму и зловеще взбил художническую свою прическу.

— Подотдел командировал нас, как устроителей выставки, чтобы получить нужную нам сумму. Выставка раскинута, а мы не можем ее открыть, потому что нет денег, чтобы напечатать каталог и приглашения.

— Это наши деньги, а не ваши. Вы — только касса,—

опять заметила барышня, выговорив слово «касса» с отвращением, точно это было пресмыкающееся.

— Мы открываем городскую выставку детского рисунка и скульптуры,— настойчиво продолжал студент,— чтобы впервые показать достижения трудовой школы и других воспитательных...

— Ну и открывайте, пожалуйста,— прервал Рагозин.— Я тут при чем?

— Ах, ни причем? Тогда где наши деньги, которые вы незаконно задержали? — рассерженно сказала девушка.

Рагозин ответил, сжав зубы:

— Денег на это дело сейчас не будет, и времени говорить дольше у меня тоже нет. До свиданья.

— Позвольте! От каталога мы откажемся, но хотя бы только напечатать приглашения! — неожиданно взмолился студент, и лицо его, посветлев, утратило сходство с мавром.

— Напечатайте ваше приглашение в газете.

— Но... но у нас и на газету нет!

Рагозин засмеялся.

— Что я могу сделать, дорогие товарищи! Поймите, есть нужда куда острее, чем с вашей детской затеей.

— Затеей? — потрясенно проскандировала девушка и круто поставила кулачки на край стола.— Вы здесь сидите и за своими счетами ничего не видите, что делается в мире! Вы оторвались от действительности, как настоящий бюрократ.

Рагозин раскрыл глаза. Что такое несет эта распушившаяся пичуга? Ей лучше известно, что делается в мире? Он — бюрократ? Нет, он представлял себе бюрократа несколько иначе! Ну, покруглее, что ли, или хотя бы с золотым зубом...

— Вы только и знаете — отказывать,— не унималась барышня,— мешать революционным начинаниям! Мы строим школу на трудовых процессах, готовим Республике новых граждан! Вы посмотрели бы лучше нашу выставку, прежде чем...

— Посмотрю, посмотрю,— снова перебил Рагозин,— посмотрю, на что вы швыряете деньги...

Он совсем грубо, на народный лад, рассерчал и только что не выпроводил молодых людей за дверь.

Но в памяти у него сохранилось от этого посещения что-то озорное, и когда он получил, спустя недолго, пригласительный билет с раскрашенными акварелью зелеными и

красными фонариками и старательной надписью, за которой слышался тоненький детский голосок: «Дорогой товарищ, приходите, пожалуйста, к нам, на открытие выставки наших работ по рисованию и лепке»,— ему стало приятно, и он сказал, посмеиваясь:

— И гораздо красивее, чем печатные билеты. И умнее гораздо.

Он решил, что непременно зайдет на минутку поглядеть, что там такое выставили эти головастики. А то, кой грех, и правда оторвешься от действительности,— еще посмеялся он и аккуратно спрятал приглашение в карман.

21

Выставка разместилась в центре города, в залах городской аудитории, и вокруг нее, еще до открытия, было немало разговоров в известном кругу. Город имел свои традиции в искусстве — он гордился старейшим в провинции Радищевским музеем и хорошим училищем живописи. Художники росли на западных образцах — музейная галерея славилась барбизонцами и боголюбовской школой. Но предреволюционные годы внесли в художественную жизнь бурю крайних влияний, и красочный, пышный Борисов-Мусатов иным своим землякам казался чересчур пряным в бульоне, вскипяченном новейшими экспериментаторами. Тут были даже супрематисты, пугавшие саратовцев хитрыми загадками из геометрических начертаний и преимущественно двух цветов — сурика с сажей.

Шумок вокруг детской выставки шел именно в этой, не очень обширной, среде живописцев. Были две темы лютых споров. Первая касалась метода обучения искусству. По этому новому методу педагог отступал на задний план, а ученик становился на передний. Детям предоставлялось выражать свое понимание мира своими детскими средствами. Очень высоко поднимали свободную фантазию. Подражание и копирование предавалось анафеме, натуру считали необязательной. Вторая тема затрагивала цели искусства. Призвано ли оно воспитывать вкус и в каком направлении? Или, может быть, все сводится к доступности пониманию зрителя? Те, кто отстаивал эстетико-воспитательные задачи, попадали в бессмертную тяжбу течений. Вечно ли прекрасное? Что значит — развитие искусства? Фидий или Роден? «Мир искусства» или футуристы? Сторонников доступности искус-

ства всеобщему пониманию эти спорщики обливали презрением: что значит «понятно»? — вопрошали они. Понятны не только передвижники, понятны мыльные обложки Брокара и К⁰. Куда же вы поведете новое поколение?

В конце концов кучка философов затерялась на вернисаже среди толпы людей, пришедших просто из любопытства: узнать, что делается в школах и — неужели дети интересно рисуют?

Рагозин удивился, что собралось много народу. Правда, большинство, так же как он сам, забежало сюда на минутку — всем было не до того, война стучалась в городские стены, а тут взрослые играли в куклы. Но еще больше изумило Рагозина странное зрительное ощущение, когда он вошел в светлый зал и в глазах зарябило от красочных пятен, рассеянных по стенкам.

Он стал рассматривать рисунки. Это была, на первый взгляд, обыкновенная ребячья мазня, какую хорошо знают те, кому пришлось растить детей. Домики с дымом из труб лепились на бумаге, и около них — заборы, деревья, собачки, телеги. Солнца, похожие на решето с клюквой. Звезды вроде хлопьев снега. Чернильные человечки, несущие знамена помидорного цвета. Война: из пушек рвется пламя, лиловый дым застилает всю картину. Еще война: кавалерия скачет на безрогих белых козах. Опять война: убитый лежит на бирюзовой траве и рядом — письмо с крошечными буковками: «пишет тебе твой сын Володя...»

Рагозин привык видеть во всякой картине объясненную мысль. Здесь странно привлекало что-то иное. Вдруг два схожих рисунка раскрыли ему — чем было это иное. Он увидел лимонного верблюда, стоящего в розовой, как разбавленное вино, пустыне. Грустью веяло от картинки, вся безнадежность пустыни, все одиночество животного вместились в лимонно-розовое сочетание. На соседнем рисунке пунцовый конь арабской стати с длинной шеей взлетал на коричневую скалу. Конь мчался почти по вертикали, но в окраске его было столько силы, что не оставалось сомнения — он взлетит и на небо. Волнение исходило от цвета, превращенного маленьким художником в свет.

Рагозин подошел ближе к необыкновенным рисункам и прочитал повторяющуюся в нижних правых углах крупную подпись: *Иван Рагозин.*

Он стоял и смотрел на верблюда и на коня, и перечитывал подпись, и чувствовал, как словно костенеют его ноги
 и руки и он не может сдвинуться с места. Страшный испуг

зародился у него в эту минуту на душе: откуда взялась его уверенность, что Ксана родила мальчика? Почему он уговорил себя, что надо искать сына? Может быть, если бы он искал дочь, она давно бы нашлась?

Но глаза его, заслезившиеся от напряжения, ничего не хотели видеть, кроме подписей под конем и верблюдом. Все стало пунцово-коричневым, лимонно-розовым вокруг, и в этом ликующем свете-красках врезано было непоколебимо четкое имя — Иван Рагозин. Сын был жив! Он жил рядом. Он протягивал со стены перепачканную красками руку своему отцу. Он — одаренный мальчик, может быть — талант! Конечно, конечно, каким еще мог быть сын Петра Петровича и Ксаны, если не одаренным мальчиком?!

Быстро пробиравшийся толпой Кирилл Извеков пожал Рагозину локоть и громко спросил:

— Здóрово, правда, ведь здóрово, а?

— Здóрово,— ответил Рагозин так автоматично, что воспринял свой голос наплывшим будто из другого зала.

Потом он заметил Дорогомилова, окруженного детской ватагой и размахивающего рукой в жесткой манжете. Среди ватаги мелькнула рыжеватая голова Павлика. Рагозин вырвал себя из неподвижности, схватил мальчика за руку и подвел к рисункам.

— Смотри. Нравится, а?

— Ага,— сказал Павлик,— только лошадь не настоящая. Я знаю, чьи это рисунки! Это — Красилы-мученика.

— Какого мученика? — обиделся Петр Петрович.— Откуда ты знаешь?

— Мы вместе по берегу шастали. Его ребята зовут — Красила-мученик. Он все красит. Он нам свои рисунки показывал. У него есть лошади лучше этой.

— Послушай, ты,— решительно сказал Рагозин, подталкивая мальчика к рисункам,— читай, что написано.

Павлик прочитал подпись и вопросительно оглянулся на Рагозина.

— Так же, как вы,— сказал он растерянно.

— Это он?

— Подписаться — что же? Как хочешь, так и подпишись. А рисовал Красила-мученик, я знаю.

— Ты должен привести ко мне этого рисовальщика. Обещаешь?

— Где я его возьму? Он из детдома.

— Из какого?

— Много я знаю, из какого. Он не говорил.

— Но ведь ты его увидишь на берегу, а? Где вы там встречаетесь? Ну, давай слово, что приведешь!

В эту минуту Павлика заслонил подошедший старик в чесучовом изжеванном костюме, с отвислыми карманами пиджака. Он раскрыл рот в бездыханной улыбке:

— Извините, товарищ Рагозин. Я хотел бы, чтобы вы поделились впечатлениями от выставки. Для газеты. Я подписываюсь ЮМ. Может быть, приходилось читать?

— Так, так,— с предельной серьезностью отозвался Рагозин.— Напишите, что, как известный специалист по вопросам искусства, я нахожу выставку исторической вехой в развитии новейшей живописи.

Мерцалов опустил приготовленный блокнот. Пергаментная кожа его лысины тихо поползла на поднятые брови.

— У вас это должно получиться. Вы, как говорится, журналист с острым общественным темпераментом. Ведь это ваша была недавно статейка под названием «Где купить лобзик?..»

Рот Мерцалова раздвинулся еще больше, но глядел он со злостью и оскорбленно.

— То бишь нет, я путаю! — воскликнул Рагозин, вплотную подвинувшись к Мерцалову, и вдруг договорил нетерпимо: — Вы напечатали выдумку о том, что Пастухов распространял революционные прокламации. Вы? Да? А вам известно, что Пастухов сбежал к белым? Нет? Вас надо выгнать раз навсегда из газеты! Вы...

Не досказав, он круто отвернулся и будто сразу забыл о Мерцалове.

Он хотел найти в толпе Павлика, но увидел ту солидную девушку, чем-то напоминавшую амазонку, которая повздорила с ним из-за денег. Он попросил ее подойти к рисункам Ивана Рагозина.

— Знаете этого чудодея?

— Что? Хорошо?— торжествующе сказала она, откидывая назад голову с выражением — «чья взяла?».

— Да, да. Не укажете ли мне, как найти самого рисовальщика?

— Очень рада, что вы способны отличить хорошее от дурного. Вы чувствуете благородную простоту этой цельной линии (она энергично провела кулачком по гриве, спине и хвосту пунцового коня)? Это превосходит народный лубок, потому что обобщеннее и яснее лубка. Вы понимаете, что мы находимся у самого истока не развращенного влияниями искусства?

— Да, я все понимаю,— с нетерпением сказал Рагозин,— кроме одного: почему вы не отвечаете на вопрос? Картинки вы развесили славно, но кто их рисовал, вам нет дела.

— На этой стене — работы детских домов. Если хотите, я справлюсь, где находится автор интересующих вас произведений.

— Да, да, этих самых произведений! Этот самый автор! Очень хочу, милый вы товарищ, очень! И, пожалуйста, как можно скорее!

Он сильно потряс ее руку. Она впервые улыбнулась.

— Как же насчет наших денег?

— Насчет денег никак,— тоже улыбнулся Рагозин.— Зачем вам теперь деньги? Все сделано. Да, все сделано очень хорошо.

Он повторял эту фразу, спеша выбраться на улицу и уже не замечая ни людей, ни картинок.

Все в его ощущении жизни с этого момента остановилось, точно заклиненное одним вопросом — нашел ли он сына или нет?

Через день, возвращаясь из Затона, он увидел у самого входа в Совет двух мальчиков. Прислонившись к ограде палисадника, они шелушили подсолнухи. Он сразу узнал Павлика и сразу понял, кто с ним.

— Мы ждали, ждали, а вас нет и нет,— попрекнул Павлик.

— Пойдем ко мне,—сказал Петр Петрович, заставляя себя двигаться спокойно.

Закрывшись в кабинете, он прошелся из угла в угол, не зная, как лучше сделать: усадить мальчиков с собою рядом или заставить их стоять, а самому сесть, или — пусть они сядут, а он будет ходить. «Не важно, черт возьми»,— подумал он, продолжая расхаживать, и вдруг поймал себя на том, что ему трудно взглянуть на мальчика, которого привел Павлик. Тогда он сразу остановился перед ними и попробовал приветливо усмехнуться. Павлик небрежно посматривал по сторонам. Другой мальчик сохранял невозмутимость. Взъерошенная русая голова его была большелоба, уголки бровей у висков сильно подняты, карие глаза круглы и чуть выпячены. Худой, длинноногий, с большими руками, он держал локти оттопыренными от пояса, точно наготове к отпору.

— Так это я... твои рисунки видел? — спросил Рагозин, чувствуя, что говорит не так, как хотел бы.

— Не знаю.

Голос мальчика звучал грубовато-уверенно.

— Этакие, знаешь... Лошадь еще такая красная.

— Да ну, конечно, твоя лошадь,— сказал Павлик.— Чего боишься? Петру Петровичу нравится.

— И не думал бояться.

— Я не кусаюсь,— будто заискивая, проговорил Рагозин.— Мне, правда, понравилось. Ярко так, видишь ли... И все такое... Тебя как зовут?

— Иван.

— Иван Рагозин, верно? А годов? Десятый скоро, да?

— Может, и больше.

— Больше,— согласился Павлик.— Мне скоро одиннадцатый, а он сильней меня.

— Ну? — будто с облегчением вздохнул Петр Петрович.— Покажи-ка.

Он осторожно потрогал пальцами бицепсы мальчика, и пальцы сами собой остановились на сухих, тонких детских мускулах, пока мальчик не высвободился и не шагнул назад.

— Ваня,— сказал Рагозин медленно,— так, так. А отец у тебя есть?

— Думаю, был,— ответил мальчик с насмешливой улыбкой взрослого.

— Я тоже думаю,— неловко отступил Петр Петрович и опять прошелся по комнате.

— Мать свою не помнишь? — спросил он на ходу.

— Ее, наверно, отец помнит,— будто еще насмешливее сказал Ваня.

Он стоял боком к Рагозину, подняв голову и шире раздвинув локти. Видно было — он не лез за ответами в карман, потому что привык к расспросам об отце с матерью. Петр Петрович растерялся от этой жестокости ответа, тут же начал сердиться, что не владеет собой, и поглядел на мальчика с гневом. Но в этот миг резко увидел в профиле Вани в точности повторенный поворот лица Ксаны — с острым вздернутым носиком и круглым глазом немного навыкате. Он чуть не выкрикнул то, что все время готово было слететь с языка — сын, сын! — но удержал себя.

— Вы зачем меня звали?

— Познакомиться. Поближе...— сказал Петр Петрович, оглядывая выгоревшую серую блузу мальчика, завязанный узлом матерчатый поясок, сбитые набок туфли.

— Вы покупаете рисунки? — вдруг с любопытством спросил Ваня.

 — Как так?

— Я думал, вы... которые на выставке рисунки хотите купить.

— Ты продаешь? — уже с улыбкой сказал Рагозин.

— Деньжонки пригодятся.

— На что же пригодятся? Ты ведь в детском доме?

— Когда где... Сейчас везде тепло.

— Ну, а где же ты столуешься?

— Столуешься! — передернул плечами Ваня.— Я не нахлебник — столоваться!

— На Волге всегда подкормиться можно,— сказал Павлик с видом берегового бывальца.

— У военморов либо еще где придется,— добавил Ваня.

— Тебе, видно, и на Гусёлке пришлось? — неожиданно отчеканил Петр Петрович.

Ваня нахмурился.

— Что не отвечаешь? Был на Гусёлке?

— Ну и был! Ну и что же?.. Пришили, будто я казенные чувяки на базаре загнал,— и судить! А у меня их шкет один стырил... я только ябедничать не хотел.

— Хорошо. Дело прошлое. А где живешь сейчас?

Ваня скрестил на груди руки, медленно оглянулся на дверь, будто заскучав от вопросов, затем нехотя выговорил:

— Меня назад в скит берут. И бумаги туда пошли.

— Так, так,— торопливо сказал Петр Петрович,— очень хорошо... Я тебе хотел предложить, может, поселишься у меня? Я один, нам с тобой не скучно будет. Учиться станешь. Рисовать... понимаешь ли, и все такое.

Ваня молчал. Павлик сожмурился на Рагозина и тоненько свистнул:

— Э-э, а я кое-что знаю!

— Ничего не можешь знать,— едва не прикрикнул Петр Петрович.— Я о деле говорю!

Он шагнул к Ване, положил ему на плечи широкие, тоже немного растопыренные в локтях руки, сказал мягко:

— Приходи сюда сегодня к вечеру, понял? Или, если хочешь — прямо ко мне домой, понял?

Он растолковал свой адрес, стараясь поймать уклончивый взгляд мальчика. Павлик косился на Ваню подозрительно, словно опасаясь, что тот поддастся соблазну или нарушит какой-то существующий втайне сговор.

— Давай по рукам: вечером ты у меня,— упрямо повторял Петр Петрович.

— Обдумать надо,— сказал Павлик, как купец, решивший поторговаться.

Рагозин пригрозил в полушутку:

— Я тебе обдумаю!

Но Ваня вдруг смутил его прямым вопросом:

— А зачем хотите жить со мной вместе?

Петр Петрович не сразу нашелся и, чтобы скрыть щемящее обидой чувство, грубовато похлопал Ваню по спине:

— Много будешь знать — скоро состаришься. Приходи вечером, расскажу. А пока довольно. Ступайте.

Он закрыл за мальчиками дверь, но тотчас снова распахнул и крикнул Ваню.

— На, на,— быстро заговорил он, шаря у себя по карманам и потом втискивая в Ванин кулак скомканные деньги,— на, возьми. Купишь себе поесть. Да приходи обязательно! Слышишь?!

Он, насторожившись, постоял у двери, будто мог уловить сразу исчезнувшие в гуле коридоров и лестниц детские шаги. Но он только рассчитывал, когда мальчики выйдут на улицу, чтобы потом, не теряя лишней минуты, сбежать вниз, вскочить в свою пролетку и всю дорогу, тянувшуюся нескончаемо долго, подгонять и подгонять кучера: скорее, скорей!

Приехав в скит, Рагозин заставил разыскать бумаги воспитанника детского дома Ивана Рагозина. В папке под наименованием «личное дело» находились отзывы учителей, заключения педагогических и врачебных комиссий, постановление социально-правового отдела несовершеннолетних, или СПОН, по поводу продажи на базаре Иваном Рагозиным казенных чувяков и много других солидных документов. Все они были наспех перелистаны Рагозиным и все сразу позабыты, едва он дошел до потертого, чуть пожелтевшего листа с царским гербом и печатным штампом министерства внутренних дел.

Взгляд Рагозина будто вырезал из бумаги единственное, все решающее слово, но он не мог бы в этот миг ответить — что это было за слово. Он поднялся, хотел прочитать бумагу стоя, но опять сел. Обхватив голову, он начал перечитывать строчку за строчкой.

Канцелярия тюрьмы адресовала свой гербовый лист в детский приют на Приютскую улицу, препровождая при бумаге младенца мужского пола для выкормления и воспитания за счет казны. Матерью младенца указывалась саратовская мещанка Ксения Афанасьевна Рагозина, подследственная арестантка, умершая от родов; отцом, со слов матери,— ее законный муж, крестьянский сын Петр Петров Рагозин, привлекаемый к суду по обвинению в государственном преступ-

ленип и неразысканный. О младенце было сказано, что он крещен в тюремной церкви и наречен Иваном.

Младенец, нареченный Иваном, стоял перед взором памяти Рагозина в образе большелобого мальчугуна с круглыми глазами, и он будто еще осязал своими пальцами податливые теплые мускулы его ребячьих рук.

— Я беру мальчика на воспитание,— сказал Рагозин барышне, которая смотрела за ним, пока он разбирал папку.

— Чтобы сдать ребенка на патронат, мы должны иметь постановление СПОНа,— ответила барышня.

— То есть, как — патронат?

— Вы желаете взять над ребенком опеку?

— Я его отец,— проговорил Рагозин со счастливым, почти ликующим вызовом и распрямился во весь рост.

— Безразлично. Если вы хотите...

— Мне тоже безразлично, как вы меня наречете — патроном, опекуном или еще как. Что я должен сделать, чтобы получить мальчика?

— Обратитесь в отдел народного образования. Там есть социально-правовой...

— Ах, что там еще есть! — как-то бесшабашно вскрикнул Рагозин.— Ребенка-то у вас нет, а? Ребенок-то у меня! Понимаете вы или нет? Я его нашел, понимаете?! Сына нашел! Эх, вы!..

Он весело хлопнул барышню по руке и побежал к пролетке.

Он отправился домой, дал хозяйке денег, наказал приготовить ужин и уехал на службу. Весь остаток дня ему казалось, что он чего-то не доделал: он все спохватывался, припоминая— все ли велел купить на базаре, разузнавал, нельзя ли достать что-нибудь съестное в столовой, и еще до сумерек ушел домой.

Ваня не приходил. Петр Петрович со вниманием рассмотрел каждое приготовленное блюдо, по своему вкусу переставил на столе посуду, вынул из корзинки постельное белье, вместе с хозяйкой втащил в комнату матрас. Потом присаживался к столу, надумывая, что следовало бы еще сделать, подходил к окну, несколько раз вышел за калитку. Ночью он почти не спал, виня себя, что зачем-то отпустил мальчика, когда мог сразу привести его на квартиру.

Утром он первый раз не поехал в Затон. Он понял, что совершил ошибку, не спросив адрес Павлика, чтобы знать, каким путем снова найти Ваню. Ошибку можно было исправить с помощью Дорогомилова, и Рагозин сам себе дивился — как

могло раньше не прийти на ум, что в розысках Вани Арсений Романович был бы идеальным пособником.

История сына и отца поразила Дорогомилова до восхищения. Он вспомнил необыкновенные рисунки на выставке, рассказы своих маленьких приятелей о Красиле-мученике, стал уверять, что розыски этого мальчика входили в его планы и что сейчас же, немедленно все сделает.

И правда, когда Рагозин в обед забежал домой — узнать, не являлся ли Ваня,— хозяйка встретила его радостью: мальчик пришел около часа назад, она накормила его, и он заснул.

Петр Петрович приоткрыл дверь и не вошел, а боком пролез к себе в комнату. На цыпочках он добрался до окна, присел на подоконник и затих.

Ваня лежал на матрасе, брошенном посередине комнаты на пол. Петр Петрович разглядывал его пристально. По босым ногам мальчика ползали мухи, но он спал крепко. На подошвах, черных от пыли, виднелись корки заживших ссадин. Кончики пальцев были немного приплюснуты. Вдруг Рагозин узнал в этих приплюснутых пальцах и в плосковатой ступне свои ноги. Он подвинулся ближе и рассмотрел Ванины руки. Кости на суставах пальцев слегка расширены, ногти невелики и на концах раздвинуты. Это были точь-в-точь повторенные кисти Петра Петровича, живой сколок с его рук, только поменьше. Странно, какие подражания лепит зачем-то природа, удерживая на земле сложившиеся формы. С лица Ваня был больше похож на Ксану. Особенно с закрытыми глазами. Ксана была такой же нежной и словно задумчивой, когда Рагозин глядел на нее во время ее тихого сна.

Петру Петровичу захотелось пить, он подошел к ведру, нечаянно звякнул ковшом и быстро оглянулся: нет, Ваня спал по-прежнему спокойно. Рагозин накрыл его простыней, помахал полотенцем, чтобы выгнать из комнаты мух, занавесил одеялом окно.

С чего он начнет разговор, когда Ваня проснется? Он скажет: ты — мой сын. Сын спросит отца: где же ты был раньше? Отец должен будет рассказать о преследовании, которому подвергся, о смерти матери. Ты спасал себя,— скажет сын,— но почему же ты не спас мать? Я спасал не себя, я спасал то великое общее дело, которому служил и служу,— ответит отец. Но ведь ты знал, что я должен родиться, почему же ты меня не искал? Это могло помешать великому делу,— скажет отец. Значит, ты любишь великое дело боль-

ше меня,— спросит сын,— зачем же я тебе? Ты не знал сына и жил. Я не знал отца и жил. Зачем я тебе?

Надо подумать, как вести разговор, надо подумать. Самое опасное в том, что сына легко отпугнуть. Что такое отец для ребенка, привыкшего считать себя безродным? Помеха своеволию, власть надзирателя, закон старших — все это Ваня вкусил полной чашей до того, как совершенно неизвестный, может быть не очень приятный, лысый человек назовет его сыном. Нет, отец должен пробудить в нем чувства, каких не может дать никакой воспитатель. Отец должен быть отрадой и примером существованья для сына.

Рагозин тихонько вышел из комнаты. Он надумал — пока сын спит — купить ему краски и тетрадь для рисования. Он сказал хозяйке, чтобы она не отпускала мальчика, если он проснется.

В ближнем магазине ни красок, ни тетрадей не нашлось. Рагозин пошел в центр города. Он торопился. Каждая мысль, приходившая ему на ум, была неожиданно новой, и мысли спешили еще больше, чем он сам. Он обнаружил, что прежде не думал о воспитании детей. То есть, конечно, он думал о воспитании, однако наравне со многими другими темами. Это был вопрос в числе других вопросов, которые отвлеченно более или менее удачно разрешались. Сейчас Рагозин должен был строить не теорию, а поведение — свое поведение отца. Ребенку надо видеть поведение отца, чтобы знать, как себя вести. Разумеется, обязанность воспитания лежит на обществе. Ребенок непременно будет подражать поведению общества. Чтобы построить общество, достойное подражания ребенка, нужно время. Но ведь Рагозин не может сказать сыну: погоди, вот мы построим примеры, достойные подражания, и ты будешь знать, как себя вести. Мы сейчас ведем войну за твое будущее, и пока нам не до тебя, а как только мы победим, мы тобой займемся. Это все равно что сказать: перестань расти. Нет, нет, ребенку следует дать безотлагательно все, что недостает для его развития.

Рагозин зашел во второй магазин и узнал, что краски найти вряд ли можно, ибо сейчас нехватка в предметах куда более важных, чем краски, а тетради надо искать в третьем магазине, где они не так давно, кажется, продавались.

На улице он не сразу припомнил, на чем оборвались размышления. Ах да, он думал, что прежде всего должны быть ясно установлены цели воспитания. Вот мы хотим, чтобы наш гражданин хранил достоинство Советской страны не-

поколебимо везде и всюду. Очевидно, надо сделать так, чтобы чувство достоинства было спутником ребенка повседневно, чтобы оно не оскорблялось буднями отношений, а стало обычным состоянием человека с детских лет. Или вот мы призываем Красную Армию к братской связи между рядовым воином и командпром, к верности и чувству взаимного долга в бою. Очевидно, уже в школе должно насаждаться товарищество, в семье — дружба, в быту — внимание к встречному, вежливость и приличия. Позволь, позволь! — остановил себя Рагозин,— приличия? Это что-то из умерших условностей. Дружба вообще? Дружба как культ? Из какого это арсенала? С другой стороны, можно ли пробудить в ребенке этот высокий дар души, если насаждать дружбу от случая к случаю, в определенных интересах, с особыми намерениями. Здесь надо разобраться раньше, чем сын успеет найти себе друзей. Надо разобраться сию минуту, пока Ваня еще не проснулся. Может быть, он уже проснулся? Надо спешить. Надо быть готовым к любому вопросу сына. Надо думать о нем, думать за него. Да, да.

И в третьем магазине не было красок и не было тетрадей. Какие тетради? — сказали тут Рагозину,— откуда они, если сейчас каникулы?

Однако ведь не приснилось же ему, что на выставке детских рисунков по стенам развешана бумага, покрытая красками? До аудитории было рукой подать, и Рагозин вздумал забежать на выставку.

Он застал там своих знакомых — студента, напоминавшего мавра, и гордую барышню. Они о чем-то спорили, но, увидев Рагозина, стали к нему единым фронтом. Он посвятил их в свою беду. Они ответили, что он зря беспокоится, так как все обстоит нормально: тетради и краски распределяются в школах и детских домах, и дети достаточно снабжены.

— Кажется, это недостаточно продумано,— возразил Рагозин.— Как быть с домашними занятиями, с уроками?

— У наших детей понятие «дома» должно отмирать,— сказал студент.

— Уроки — это устарелая педагогика,— сказала барышня.

— Это все вызывает на споры. А мне хотелось бы короче: где я могу купить краски своему сыну?

— Мы не торгуем,— вспыхнула барышня.

— Мы боремся с чувством личной собственности в детях, и мы против того, чтобы детям дома подносились подарки, как барчукам,— сказал студент.

— Знаете,— ответил Рагозин, решительно поворачиваясь к выходу,— вы либо сильно переучились, либо просто — недоучки!

Он мерил улицы своими длинными ногами все быстрее. Ваня уже, наверно, проснулся. Сейчас Рагозин его увидит. Несомненно, болезненная точка в самосознании такого ребенка, как Ваня — чувство свободы. Нельзя показать, что отец покушается на эту драгоценность. Нельзя врываться в маленькую жизнь, выспрашивать, допытываться, чем Ваня живет. Наоборот, надо сначала доверчиво ввести его в жизнь отца, рассказать о своей работе, о своей борьбе и планах будущего мира.

Рагозин внезапно замедлил шаг. Недурное начало! Вот он уже не поехал в Затон, бросил занятия на службе и носится по городу в поисках какой-то чепухи. Что он скажет Ване? Знаешь, дружище, я сегодня махнул рукой на свой общественный долг. Я так тебе рад, что мне, ей-богу, не до работы. Значит, если очень рад,— спросит сын,— можно наплевать на обязанности, правда?

Петра Петровича так смутила эта мысль, словно ее действительно высказал Ваня. Но ведь это же исключение,— подумал он. Первый раз за целую жизнь! Упущенное будет наверстано с лихвой. Работа как стояла, так и стоит у Рагозина на первом месте.

Он свернул за угол, решив предупредить на службе, что задержится еще часок-другой.

У самого крыльца шедший впереди, немного неуклюжий (как показалось) человек вдруг упал. Поднимался он тяжеловато, и Рагозин помог ему.

— Благодарю вас, ничего. Поскользнулся на арбузной корочке. Вон раздавленная корочка.

— Ушиблись?

— Пустяки. Немного, локоть,— сказал прохожий, отряхивая запачканный белый китель.

Он любезно взглянул на Рагозина и отступил.

— Удивительный случай! Я иду именно к вам. Здравствуйте, товарищ Рагозин.

Петр Петрович узнал Ознобишина.

— По какому делу? Я, извините, занят.

— По личному делу. Много времени не отниму. Если угодно — даже здесь, в сторонке от подъезда.

— По вашему делу?

— Нет, по вашему,— произнес Ознобишин доверительно.

— По моему?

Они отошли от крыльца и медленно двинулись вдоль палисадника.

· Только, пожалуйста, поскорее.

— В двух словах. Я очень признателен за внимание, с которым вы отнеслись ко мне и устранили недоразумение, весьма для меня щекотливое.

— Вы ведь бывший прокурор?

— Если бы так,— улыбнулся Ознобишин,— вряд ли я сейчас беседовал бы с вами... то есть на улице. Я именно хотел вас поблагодарить, что вы проявили терпение разобраться и снять с меня подозрения насчет моего прошлого.

— В чем же мое дело?

— Вы прямо тогда не высказали, но я понял, что вам крайне было бы ценно установить участь вашей супруги и, более того, вопрос — родился ли у нее ребенок и существует ли он.

— Так, так,— сказал Рагозин, приостанавливаясь.

— Я тогда не осмелился предложить вам услугу, но дал себе слово употребить все силы, чтобы быть вам полезным.

— И что же?

— И мне удалось, после кропотливых поисков, напасть на документ, который проливает свет, правда, на трагические обстоятельства, но одновременно дает в руки шанс некоторого счастливого оборота. Документ теперь доступен, вы можете его получить.

— Где?

— В архиве.

— Что это такое?

— К несчастью, это подтверждение, что супруга ваша скончалась в тюрьме. Указывается и место погребения.

— Да?

— Да. Но, вместе с тем, документом устанавливается, что она скончалась от родов и, таким образом, что у вас... осторожность требует допустить, во всяком случае, был ребенок.

— Вон что,— сказал Рагозин.

— Так или иначе, но я могу уверенно сказать, что след вашего ребенка мною найден.

— Да что вы?! И куда же след ведет?

— Это требует еще известных усилий, которые я с радостью приложу, если вы окажете мне поддержку.

— Поддержку в чем?

— В дальнейших розысках.

— Но если окажу, вы уж, конечно, наверняка отыщете след?

— Безусловно! — воскликнул Ознобишин почти вдохновенно.— Это для меня прямо-таки дело чести! Я начну с тюремных архивов, с года рождения ребенка.

— А если я скажу вам, что след приведет вас ко мне на квартиру?

— На какую квартиру?

— На которой я проживаю вместе с сыном.

— Вместе... Вы отыскали своего...

Ознобишин даже как будто испугался. Свежих красок лицо его поблекло, он немного вскинул руки, осторожно потер ушибленный локоть, но тут же устремился всем корпусом к Рагозину, освобожденно дохнув на него:

— Поздравляю, поздравляю ото всей души! Неужели возможно? Сын с вами? Тот, который...

— Вот так-то,— прервал Рагозин.— А из каких соображений вы, собственно, стараетесь? Можно спросить?

— То есть... Исключительно из доброго намерения быть вам полезным. Отблагодарить.

— Благодарить меня не за что.

— Я был бы счастлив вам просто услужить.

— Услужить мне не просто. Я услуг не принимаю.

Рагозин приложил руку к виску, откланиваясь, и пошел к подъезду, но на ходу обернулся, сказал с усмешкой:

— Поскользнулись... на корочке!

Он взбегал по лестнице, когда был остановлен одним из сотрудников своего отдела:

— Вы заходили в комитет? За вами присылали.

Не подымаясь к себе в кабинет, он направился коридорами в конец первого этажа.

Тот член бюро комитета, с которым он спорил, разбираясь в толковании письма Ленина, встретил его легким кивком и сказал:

— Ну, твое желание исполнено. Есть решение направить тебя на военную работу. Ты назначен в Волжскую флотилию комиссаром дивизиона. Обстановка на судах тебе немножко знакома.

— Немножко знакома,— ответил Рагозин, опускаясь на стул.— Когда я должен направиться?

— Позвони сейчас военкому. В дивизионе заболел комиссар, ты его заменишь. Выступление, наверно, завтра.

— Завтра?

Рагозин помедлил немного и отвел взгляд в сторону.

— Как же с моим отделом?

— Что тебя заботит? Сдашь дела заместителю.

— За несколько часов?

— Не знаю. Может — за несколько минут. Белые у Лесного Карамыша.

— Ну, счастливо оставаться,— сказал Рагозин, тяжело поднявшись.

— Ты будто недоволен?

— С чего ты взял?

— Тогда желаю тебе... Благополучно...

Они пожали друг другу руки.

Рагозин позвонил военному комиссару, узнал, что должен немедленно прибыть к нему для получения бумаг, и послал за своей пролеткой.

Он велел ехать домой.

Входя к себе в комнату, он растворил дверь нарочно шумнее, чтобы разбудить Ваню. Одеяло, которым он перед уходом занавесил окно, было опущено и висело на одном гвозде. Матрас был пуст, скомканная простыня откинута на пол.

Рагозин обернулся к хозяйке. Она в смущении развела руками. Она слышала, как Ваня вставал, пил воду, и она хотела согреть ему чайку, но когда заглянула в комнату, мальчика уже не было. Ушел ли он или выпрыгнул через окно, она не заметила. Она только боялась — не пропало ли, избави бог, что-нибудь из вещей?

Петр Петрович метнул на нее осуждающим взором, но невольно осмотрелся — все ли на своих местах. Но все было цело.

Он на минуту задержался в комнате. Странно пустынной и отчужденной она ему представилась, будто он никогда не был в ней наедине с собой. Ему ясно стало, что все его поведение было ошибочным: следовало с первой встречи открыть Ване истину. Догадался ли мальчик, что обрел своего отца? И что же будет с ним дальше? Неужели так все и кончится навсегда? Рагозин тщательно сложил помятую простыню и спрятал ее под подушку на своей постели.

— Я, наверно, должен буду экстренно уехать,— сказал он, волнуясь, хозяйке,— на некоторое время. У меня к вам будет просьба: если заявится этот парнишка, вы его, пожалуйста, не выгоняйте, а приютите. В моей комнате. Он того стоит. Я с вами рассчитаюсь, не беспокойтесь на этот счет. Прощайте.

Он выбежал на улицу и потребовал от кучера, чтобы он гнал по-боевому, как никогда еще не гнал.

У военного комиссара его ожидало направление в штаб Северного отряда Волжской флотилии. Там он получил при-

казание назавтра в шесть утра явиться на канонерку «Октябрь», которая, в голове дивизиона, стояла на якоре за песками.

Весь вечер и всю ночь Рагозин сдавал дела финансового отдела и прямо со службы, которая в этот момент делалась его бывшей работой и о которой он мог теперь не думать, так же как не думал о всех своих прежних службах и прошлых работах, поехал на берег.

Военный бот доставил его на коренную Волгу. Он поднялся на борт «Октября», встреченный вахтенными судна. Спустя час он начал, с командиром дивизиона, осмотр четырех судов, выстроенных колонной вдоль линии островных песков. Последним судном была канонерская лодка «Рискованный». С укороченной трубой и узким фальшбортом, свежевыкрашенный в зеленовато-серый оттенок воды, буксир казался очень воинственным. Хотя команда его состояла почти сплошь из военных моряков, Рагозин встретил на нем нескольких волжан, с которыми работал в Затоне, и эта встреча знакомцев на знакомом судне не только обрадовала Рагозина, но дала ему среди матросов первое молчаливое признание «своим»: стало известно, что в составе дивизиона есть корабль, который перевооружался комиссаром, и что комиссар этот умеет взять в руки какой угодно рабочий инструмент.

С полудня в рубке открылось заседание штаба дивизиона, и Петр Петрович Рагозин впервые в жизни увидел, как читают военную карту, и сам взял в пальцы легкий циркуль. Потом ему сделали доклады комиссары судов.

Оглушенный усталостью, он вышел к вечеру на палубу и, хотя провел на воде уже больше полусуток, только сейчас увидел Волгу.

Она была гладкой и розовой, и слева, к луговому берегу, розовое постепенно переходило в золото, а еще дальше, над золотом, точно горбы и головы верблюжьего каравана, неровно высились желтые от солнца хлебные амбары Покровска.

Вдруг Рагозин отчетливо вспомнил розовую пустыню с желтым верблюдом — на рисунке, который его так взволновал. Значит, правда, это бывает в жизни,— подумал он,— такие краски, такая пустыня и — неужели? — такая безнадежность. Он услышал неожиданные толчки сердца. Надо было отдохнуть: он не сомкнул глаз подряд две ночи. Воспоминание о сыне, выраженное этим розово-желтым тоном, благодаря необъяснимой способности мысли — видеть одновременно несколько картин, сопутствовалось другим воспоминани-

ем: в неаполитанской желтизне песков и в розовой глади воды Рагозин обнаружил повторение того закатного часа, когда, на рыбной ловле, он заметил мчавшийся к острову моторный катер. Он и сейчас ясно увидел этот катер и крепко протер кулаками глаза, решив, что галлюцинирует от переутомления. Но, открыв глаза, он еще явственнее увидел катер, словно двумя лемехами отваливавший на стороны золотые клинья волн.

— Это что, катер? — спросил он у вахтенного.

— Катер, товарищ комиссар.

Лодка быстро приближалась, все больше вырастая, все громче шумя. Она описала разбежистый круг и подвалила против течения к борту «Октября». С кормы канонерки спустили трап, и Рагозин разглядел ловко подымавшегося на судно человека.

— Кирилл! — крикнул он и побежал.

Они встретились на нижней палубе около машинного отделения. В горячем дыхании нефти и пригорелого масла, наполнявшем тесный проход, они обнялись. Рагозин повел Кирилла в свою каюту. Там они взглянули друг другу в глаза и, обрадованные, негромко посмеялись. Сон сняло с Рагозина как рукой.

— Что это у тебя? — спросил он.

Кирилл держал камышовый кошель, с какими хозяйки ходят на базар. Он ответил застенчиво:

— Это мама. С утра пекла. Я вчера сказал ей, что ты уходишь.

— Словно в больницу,— сказал Рагозин.

— Какая больница?

Кирилл порылся в кошеле, достал со дна бутылку, и они опять рассмеялись. Разложив на газете разрумяненные пирожки и разлив вино, они уселись плечом к плечу на неширокой койке. Выпили молча, только кивнув друг другу, и потом, прожевывая закуску, долго глядели через открытый иллюминатор на подожженное зарей водное зеркало, которое отсюда казалось лежащим выше уровня глаза, а движение речной массы — будто в сто крат сильнее своей мощи.

— Нынче снимаетесь? — спросил Кирилл.

— Ровно в полночь.

— Я торопился, думал — опоздаю.

— Не из тех, которые опаздывают,— сказал Рагозин и положил на колено Извекова ладонь.

 — Но, видишь, ты — не военный, а меня обогнал.

— Не спеши. Хватит и на твою долю. Тебя берегут на самое важное.

— А что самое важное? Каждый час со своей задачей — самое важное.

— Да. Со своей главной задачей и со своими второстепенными. И главную надо немедленно решать, а второстепенные... их можно отложить.

Рагозин выговорил это в сосредоточенном раздумье, и Кирилл сторожко посмотрел на него.

— Ты о чем?

Рагозин вскочил, потянулся, по своей домашней привычке, но в каюте было ниже, чем дома,— он стукнул кулаками в потолок.

— Эх, черт!— воскликнул он, опять взяв и сжимая колено Извекова.— У меня есть задача, ты меня извини, может, она... может, ее надо отложить, но... Я тебе не успел сказать. Я нашел, видишь ли, своего сына.

Кирилл рассматривал его все удивленнее.

— Да, сына. Моего и Ксении Афанасьевны. Она родила его тогда в тюрьме. Я узнал недавно.

— Где он?

— Он... Я его нашел, видишь ли, не совсем... Его еще надо искать. Но это легко, легко! (Рагозин заторопился, всем телом поворачиваясь к Кириллу.) Если ты согласишься... Я не успел его устроить. Ну, не до того! Понимаешь? Я только его нашел, и тут как раз...

— Да говори толком.

— Павлика Парабукина помнишь? Так это его приятель. Ты скажи Павлику, чтобы... Или, еще лучше, скажи Дорогомилову, что ищешь Ивана Рагозина понял? Он все сделает. У него ведь, знаешь, все мальчишки за пазухой. И ты только скажи, пошли к нему... Ладно? А?

Кирилл никогда не видел таким Рагозина — лицо Петра Петровича соединяло в себе что-то настолько противоречивое, в нем трепетало такое неестественное сочетание отчаянной решительности с извиняющейся мольбой, что на него невозможно было дольше смотреть.

Кирилл, нагнув голову Рагозина, придавил ее к своему плечу и сказал горячо и твердо:

— Я все понимаю и все сделаю. Ты не волнуйся. Я мальчика найду и возьму его к себе. То есть, к себе с Верой Никандровной. И буду за него перед тобой в ответе. То есть, вместе с мамой. Согласен? И ты выкинь из головы, что это дело второстепенное, это ерунда. Я считаю это дело таким же

главным, как и другое наше главное дело, за которое ты пойдешь сегодня в полночь. И ты можешь за это дело спокойно идти. За него и за своего сына одинаково. И счастливо возвращайся!

Они посидели еще и поговорили, успокоенные, и выпили расстанную в наступивших сумерках.

Когда они шли обратно к трапу тесным проходом мимо машинного отделения, им встретился могучий моряк. Он был чуть выше Рагозина и так пространен в груди, что, даже прижавшись к стенке спиною, почти загородил собой дорогу. Протискиваясь мимо него, Кирилл поднял глаза к его лицу, которое находилось чуть не вровень с потолочной электрической лампочкой, и в ее оранжевом свете различил широкие скулы, необычную основательность крупных надбровий и целую пелену веснушек вокруг носа. Моряк слегка улыбнулся, и спокойствие улыбки подсказало Кириллу, что он уже видел это лицо. Он тотчас же вспомнил помора, с которым встретился в лазарете, когда навещал Дибича, и тоже улыбнулся.

— Товарищ Страшнов?

— Товарищ Извеков, вы что же — к нам?— отозвался помор со своим емким «о».

— Я только гостем. А вот мой друг, товарищ Рагозин, к вам хозяином. Любите да жалуйте.

— Милости просим,— опять окнул моряк.

— Смотрите, с вас за него спросится,— смеясь, сказал Кирилл.

— Мы постоим.

— Ну, правильно,— ответил Кирилл, отчетливо припоминая это словцо и свое свежее чувство будто только что оконченной гимнастики при расставании с помором в лазарете.

— Поправились?

— Забыл, в каком боку болело.

Кирилл с улыбкой пожал моряку руку.

Простившись с Петром Петровичем, он сошел в катер, крикнул вверх — «счастливо!»,— но в шуме запущенного мотора не расслышал ответа.

Рагозин долго смотрел вслед убегавшему фонарику на носу катера. Уже довольно стемнело, и вода стала буро-черной. В ней ступенчато отсвечивали мирные огни канонерок. Колонна была неподвижна. Холодок августовского вечера на воде давал себя знать. До полуночи оставалось больше двух часов. Необходимо было соснуть. Рагозин вернулся в каюту.

22

В очень тяжелой обстановке, которая сложилась для Красной Армии в результате весенних и летних наступательных действий Деникина, командование Южного фронта разработало, в соответствии с указанием главкома, план контрнаступления. Основная идея плана заключалась в нанесении белым глубокого удара левым крылом Южного фронта через донские степи в общем направлении от Царицына на Новороссийск. С этой целью двум армиям, которые были сведены в ударную группу, ставилась главная задача — наступать на Царицын и далее через Дон, а на смежную группировку (к западу от главной) план возлагал вспомогательный удар на Купянск и Харьков. Эти наступательные операции были обеспечены значительным превосходством над Деникиным в пехоте, орудиях и пулеметах, тогда как кавалерия белых по-прежнему имела огромный численный перевес.

Решившие участь Деникина события, которые начали развертываться поздней осенью, показали, что этот летний план главного и фронтового командования в основной своей идее наступления через Дон на Новороссийск утратил значение вскоре же после августовской попытки проведения плана в жизнь.

Чтобы сорвать готовившийся маневр красных, Деникин сам перешел в наступление. Он прибег почти одновременно к двум операциям, поручив их бывалым и старательным слугам контрреволюции — казачьему генералу Мамонтову и генералу добровольцев Кутепову.

В августе Четвертый Донской кавалерийский корпус под командованием Мамонтова численностью около шести тысяч сабель, с орудиями, бронеавтомобилями и пешим отрядом до трех тысяч штыков прорвал под Новохоперском линию советского фронта. Деникин ставил корпусу первоначальной задачей овладение железнодорожным узлом Козлов с целью разрушения и расстройства глубокого тыла Южного фронта Красной Армии. Затем он эту задачу изменил и дал корпусу направление на Воронеж, с тем чтобы разбить Лискинскую группу Красной Армии, к северо-западу от Новохо́перска. Мамонтов приказания Деникина не выполнил и, пройдя фронт, повел корпус прямо на север, по направлению к Тамбову. Деникин пытался свернуть Мамонтова на запад, но безуспешно. С каждым днем уходя все дальше от живой силы Красной Армии, сосредоточенной на фронте, мамонтовский корпус быстро углублялся в тыл и на восьмой день марша захватил Тамбов.

С самого начала внезапного и угрожающего рейда донцов все, кому знакомо было июльское письмо Ленина, вспомнили строки, теперь вдруг изумившие безошибочностью предвидения. Ровно за месяц до мамонтовского прорыва Ленин писал: «Особенностью деникинской армии является обилие офицерства и казачества. Это тот элемент, который, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен на быстрые налеты, на авантюры, на отчаянные предприятия, в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения».

Кирилл Извеков был тоже изумлен этой конкретностью предвосхищения событий. Ему казалось, что его товарищи и он лично были чуть ли не прямо предупреждены о предстоящем налете именно Четвертого Донского кавалерийского корпуса под командованием Мамонтова и непростительно оставили предупреждение без внимания. Ни у его товарищей, ни у него — казалось Кириллу — не было никакого оправдания, что прорыв Мамонтова застал их врасплох: не хватало, чтобы заранее было указано, какого числа и в каком месте фронта прорыв будет совершен! Ведь в том же письме Ленин требовал исключительных мер предосторожности: «В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенные до высших пределов. Прозевать или растеряться — значит потерять все».

Проверяя свою работу, Кирилл убеждался, что исполнял все, на что способны были его силы в том положении, которое он занимал. Но он думал, что должен бы выполнить гораздо больше и что он даже именно «прозевал» вместе с другими и навлек несчастье, обрушенное на фронт и тыл налетом Мамонтова.

После ухода Рагозина на фронт возросла до беспокойства уверенность Кирилла, что будь он тоже в рядах армии, было бы лучше и для него, и для общего дела. Беспокойство это превратилось в тревогу, когда стало известно о новом прорыве белых.

Первый армейский корпус добровольцев под командованием Кутепова, перейдя на центральном участке Южного фронта в наступление, прорвал фронт на стыке двух соседних советских армий и, после ожесточенных боев, вынудил отойти одну в направлении на Курск, другую на Ворожбу. Последствием было то, что часть войск, которым предстояло содействовать вспомогательному удару Красной Армии на Купянск, оказалась неспособной это сделать.

И тем не менее на пятый день после прорыва Мамонтова и на третий после прорыва Кутепова, ровно в середине авгу-

ста, главком Красной Армии и командование Южного фронта начали наступление против Деникина по плану, разработанному до этих прорывов.

Как подавляющее большинство советских (в том числе военных) работников, Извеков не мог знать, что начавшееся наступление становилось уже запоздалым в новой обстановке Южного фронта. Наоборот, он был необычайно обрадован самым фактом перехода Красной Армии к активным действиям на юге и счел за очень хороший знак и за выражение силы, что наступление было предпринято как бы вопреки контрманеврам белых и началось с успехов. Его лишь настораживало то, что руководство борьбой с мамонтовской конницей было возложено на командование главной ударной группы, выделившей для этого две стрелковых дивизии: это не могло не ослабить удара Красной Армии в основном направлении, вниз по Волге и к Дону. И он с волнением следил за развитием налета мамонтовцев, которые продолжали топтать на Тамбовщине поля и людей.

Едва поступали новые сообщения с фронтов, Кирилл бросал дела и развертывал карты, какие удалось раздобыть, начиная от школьных, кончая земскими трехверстками, стараясь точнее установить передвижения войск и угадать развитие дальнейших операций. И по мере роста начальных успехов Красной Армии, он больше и больше завидовал Рагозину.

Углубленным в такое чтение карт его застала раз вечером Аночка. Она вошла в кабинет, забыв постучать, и остановилась в замешательстве, потому что Кирилл принял ее за свою помощницу и спросил, не подымая головы,— в чем дело? У него свисали на брови отросшие волосы, казавшиеся чернее обычного в низкой тени абажура, а ровный сжатый рот и подбородок сильно освещались лампой, и было видно, что он не брит.

— Ну, в чем же дело?— повторил он громко и оторвался от карты.

Почти сейчас же он выбежал из-за стола к Аночке, схватил ее руку и, только поздоровавшись, сказал другим, нетвердым голосом:

— Вы как здесь очутились?

— Мне сказали — можно... Нельзя, да?

— Можно, можно! Я не к тому. Я не понял, откуда вы взялись. Я вас ждал... То есть хотел повидаться с вами. Насчет одного дела... очень надо...

Он говорил быстрее, чем всегда, и уже заметил, что путается. Как на спасительную надежду, он оглянулся на карты

и, снова ухватив Аночкину руку, повлек нежданную гостью к столу.

— Откладывал разговор со дня на день — нет и нет времени. И как хорошо, что вы пришли. Смотрите, кстати, что происходит.

Он держал ее левой рукой, а правую протянул над картой, застилавшей весь стол.

— Это — Волга. Видите? Вот уже где наша флотилия. Еще денек — и Камышин наш. Понимаете? Врангель пятится. А отсюда нажимает наша кавалерия (он показал на запад и надавил на плечо Аночки, тесня ее влево). Конный корпус Буденного. Слыхали? Нет? Вот он куда нацелен, видите? Против донской конницы Сутулова. Если мы ее опрокинем, то получится...

Он еще потеснил Аночку, она вдруг отстранилась, он взглянул на нее и сказал потише:

— Словом, получится очень хорошо.

Он говорил ей только о том, что его возбуждало и обнадеживало, умалчивая о скрытой тревоге сердца, и не поднимал глаз к северу карты, чтобы не толкнуть Аночку к тому же. Рассказывая же об отрадных событиях на Волге, он все время непроизвольно думал об угрозе событий к северо-западу от Саратова — на Тамбовщине, потому что мамонтовцы буйствовали к этому дню уже в Козлове, прямая дорога на Москву была перерезана и связь оставалась только кружным путем, через Пензу. Он решил непременно отвести Аночкино внимание от этих омрачающих событий, был уверен, что скрывает от нее именно эти события, ничего, кроме них, и не признался бы, что не меньше озабочен тем, чтобы скрыть свое волнение от неожиданной ощутимой близости Аночки.

Он кинул свои карты, вытащил наверх маленькую и опять подвинулся к Аночке.

— Это я показывал направление Камышин — Царицын. А смотрите западнее. Наша другая группировка. Фронт пять дней назад, видите? А вот какой клин мы вколотили. Вот красная линия. Здорово, а? Если так пойдет дальше, то через неделю мы — в Купянске. Смотрите.

Он хотел слегка нагнуть Аночку к столу, но она сказала:

— Я хорошо вижу. Только почему в Камышине мы будем через день, а в Купянске через неделю? Ведь до Камышина вон еще сколько, а Купянск совсем рядом.

— Да,— сказал Кирилл, немного отходя в сторону,— это, конечно, большая неприятность. Но тут главное осложнение в том, что... карты разных масштабов. (Он потрогал свою не-

бритую верхнюю губу.) На маленькой карте и далекое кажется близко.

— Значит, надо воевать по маленькой карте,— улыбнулась Аночка.

Он засмеялся. Она спросила и деловито и озорно:

— Вы говорите — собирались меня увидеть. Чтобы посвятить в стратегию, да?

— Нет, без всякой стратегии.

— Ну, как же так, если вы — стратег?

— Плохой стратег. Иначе я воевал бы по маленькой карте... с вами, во всяком случае.

— Вы собрались со мной воевать?

— Не с вами собственно, а за вас.

Она опять улыбнулась не лукаво и не озорно, а с торжествующим удовольствием женщины, которая наслаждается тем, что шутя привлекла к себе все внимание мужчины. Но она в тот же момент как бы одернула себя и отклонила наивное кокетство разговора:

— У вас, правда, дело ко мне? Я тоже пришла по важному делу.

— Мне нужно поговорить с вашим братом.

— С Павликом?

— Насчет его приятеля — Вани Рагозина. Помните — Рагозин, у которого вы хлопотали о деньгах, тогда... с Цветухиным? Так вот, у него есть сын...

— Странно...— почти в смятении перебила его Аночка.— Как это совпало! Я — тоже по поводу Павлика. Он пропал.

— Пропал?

— Третьего дня поутру ушел и больше не возвращался.

— И вы искали его?

— Отец заявил в милицию, расспрашивал, кого мог, на берегу...

— Может, что-нибудь известно Дорогомилову?

— Арсений Романович говорил со всеми товарищами Павлика и ничего не узнал... Никаких следов. Ужасно.

— Ну, разумеется,— сказал Кирилл грубовато, с желанием подбодрить Аночку,— вам, поди, бог знает что лезет в голову: исчез, погиб, и еще что! Просто удрал на фронт. Он же грозил, что удерет.

— Но ведь это не утешение! Он совсем маленький, и — конечно — не снесет головы.

— Вы что, серьезно думаете, что таких вояк пропускают на фронт?

— А как же, если он туда убежал?

Она взялась за спинку стула и опустилась неожиданно тяжело для своего легковесного хрупкого тела.

— Послушайте, Аночка,— начал Кирилл, но она не дала ему говорить.

— Я знаю, что я, я виновата! При маме этого ни за что не случилось бы! Она так любила Павлика! А я совсем забросила его. Ведь он ребенок, понимаете, он еще совсем ребенок!

Она уткнула лицо в острый сгиб своего локтя, по-прежнему держась за спинку стула.

— Вы сама ребенок,— сказал Кирилл, подходя к ней ближе.

Это будто разжалобило ее, она обиженно пробормотала себе в руку, едва не всхлипывая:

— Я хотела позвать вас на репетицию, у нас скоро генеральная репетиция, а теперь я знаю, что провалюсь, знаю, знаю, непременно провалюсь!

Он договорил еще суровее, боясь, что вдруг она расплачется:

— Не выдумывайте. Какое событие — репетиция! Прекрасно сыграете свою Луизу, или кого там? И я еще буду вам хлопать. Подумаешь! Невидаль какая — Луиза! Я хочу сказать — ничего не стоит сыграть вашу эту Луизу. А Павлика... Я должен был разыскивать одного, ну, буду разыскивать двоих. Уверен, его притащат к вам с милицией. Не первый такой герой.

Аночка приподняла голову.

— «Не первый такой герой! Разложить бы да всыпать пару горячих!» — сказала она, очень похоже подражая упрямому баску Кирилла, и он отвернулся, чтобы сохранить серьезность.

— Завтра с утра я подыму на ноги милицию, все будет сделано,— сказал он мягче.

— Правда?— почти весело спросила она.— Правда, по-вашему, я должна хорошо сыграть свою роль?

Он не ждал такого поворота.

— Если играли до сих пор...

— Откуда вам известно, что я играю Луизу?

— Спрашивал у мамы.

— Все-таки, значит, вспоминали обо мне?

— Все-таки да.

— И поэтому не видались со мной два месяца?

— Не может быть!

— Семь недель и три дня.

 — Вы считали?— еще больше удивился Кирилл.

— А вы потеряли счет?

Он с сожалением повел рукой на бумаги и карты, из-под которых не видно было стола.

— Понимаю,— сказала Аночка,— не до того...

У нее медленно поднялись брови, и в этом невольном движении разочарования было столько горечи, что он смолчал.

— Надо идти. Спасибо вам. Я очень, очень боюсь за Павлика!

— Я провожу вас.

— Что вы, разве можно?— возразила она и, совершенно повторяя его жест, показала на стол.

— Постойте, постойте,— сказал он, разыскивая глазами и не находя свою кепку.— Я хочу пройтись так, как тогда, на бахчах.

— И потом скрыться на два месяца?

— Тем более хочу. Пошли!

Так и не найдя кепки, он вышел с непокрытой головой.

Прохладная тьма окутала их — вечера уже полнились предчувствием осени, их очарование казалось строгим и грустным. Воздух был крепок. Отчетливо наплывал прямой улицей долгий, зовущий гудок парохода.

Кирилл взял Аночку под руку. Второй раз держал он тонкую кисть, в которой прощупывалась каждая косточка. Ему пришла мысль, что, вероятно, часто эта рука ищет опоры и опускается от усталости. Но в резких сгибах кисти он будто услышал скрытое упрямство.

— Вам холодно... без фуражки?

— Вы совсем не то хотели спросить,— сказал он.

— Почему вы думаете?— тотчас возразила она, и запнулась, и прошла несколько шагов, ожидая — что он ответит.

— Я почему-то должна придумывать, как с вами заговорить,— сказала она, не дождавшись.— Наверно потому, что вы не хотите говорить о самом важном. Погодите, погодите! Я знаю, вы непременно сейчас спросите: а что самое важное? Правда?

Он усмехнулся и спросил:

— В самом деле, что самое важное? Сейчас, например, разыскать Павлика, верно?

— Да, конечно,— согласилась она чересчур поспешно.— Но вы не досказали мне тогда, в автомобиле, помните?.. Вы совсем не жалеете, что расстались с Лизой?

— Ах, вот оно, самое важное!.. Я не люблю возвращаться к прошлому.

— Она вышла второй раз замуж. Недавно. Когда вы уже

вернулись в Саратов. Вы слышали? Это не прошлое, а настоящее.

— Но это такое настоящее, которое не должно меня касаться.

— Не должно? Или действительно не касается?

— Вы только в этом случае придира или вообще?

— Вообще!— безжалостно утвердила она.

Он снова усмехнулся, но будто с неохотой, и долго молчал.

— Чтобы с этим кончить, раз это вас занимает,— сказал он вполголоса,— я действительно перестал вспоминать о Лизе. Сначала себя заставлял, потом это вошло в привычку — не вспоминать.

— Значит, вы еще любите ее?— с нетерпением спросила Аночка, дернув рукой, точно собравшись высвободить ее, но тут же раздумав.

— Откуда это значит? Той Лизы, которую я любил — сколько лет назад, я уж и счет потерял,— той Лизы, может, и не было вовсе.

— Но ведь это же чепуха,— даже с некоторой обидой сказала Аночка и на этот раз решительно вытянула руку из его пальцев.

— Почему чепуха? Была наша с ней юность, наша надежда.

— Конечно, чепуха. Если было, значит, есть. А если нет, значит, вы просто неустойчивый человек.

— Вот верно! Неустойчивый!

Ему стало очень весело, он громко рассмеялся, и Аночка вдруг мягко вложила свою кисть ему в ладонь, словно и не отнимала руку, и они шли дальше, уже ничего не говоря, но чутко слушая друг друга, хотя слышен был только мерный хруст пыли об асфальт под ногами.

Когда они добрались до дома Аночки, она хотела проститься у калитки, но Кирилл сказал, что войдет во двор. Она подошла к освещенному окну — постучать, и вскрикнула:

— Господи! Смотрите!

Кирилл шагнул к ней.

На кровати сидел Павлик. Даже в тусклом свете видны были разводы на его щеках — он плакал и растер слезы по грязному лицу. Рыжеватые волосы торчали, как перья потрепанной птицы. Он быстро наматывал на палец обрывок бечевки и сдергивал его.

Против него за столом восседал Парабукин с превосходным видом родителя, уличившего беспутное чадо в постыдстве. Он барабанил пальцами и метал гневные взоры на сына.

Впустив Аночку, он сразу заговорил, не уделяя внимания Извекову.

— Явился! Явился! Голод не матка. Кроме отца, никто этакому финтифлюю кофея не поднесет. В кого пошел, негодник, а? Мать была труженица, мыла его, поросенка, чистила. Сестра — примерная девица, вот-вот ему кормилицей будет, заместо матери. Отец... ну, что ж отец?

Тут Парабукин искоса глянул на дочь и ее спутника, осанился, пригладил бодрым взмахом руки взъерошенную гриву и бороду, и в этот момент обнаружилось, что он несколько отступает от общепринятого равновесия и подплясывает против своей воли.

— Отец тоже не какой-нибудь бессовестник, всю жизнь за семью горе мыкал...

— Погоди, папа,— сказала Аночка.— Где ты пропадал, Павлик?

Она, как вошла, смотрела на брата, не отрываясь, глазами, светящимися от любви и потрясения и выражавшими такой чистый, из души рвущийся упрек, что Павлик низко пригнул голову и перестал крутить свою бечевку.

— Чего ж годить? Я его уже исповедовал,— проговорил Парабукин и, раскрыв бугристую длань, потряс рукою увесисто и гордо.— И он мне свою морскую фантазию выложил полностью. В военморы, говорит, захотелось! Я ему прописал военморов!

Аночка бросилась к Павлику, прижала к себе его голову. Он с облегчением уткнул нос в ее грудь. Вздрогнув, он затем притих, и пальцы его опять старательно завертели бечевку.

— Забрался в пароходный трюм, доплыл до Увека, там его, миленыша, выкатили с бочками на сушу. Зачем, спрашиваю, поехал? Думал, говорит, морское сражение посмотреть. На каком, спрашиваю, море или на озере? А он мне: это военная тайна!

— Как мог ты, Павлик?— все еще в неусмиримом волнении сказала Аночка, приглаживая его вихры.

— Я, сознается под конец, решил с военморами жизнь положить за революцию. Вот шлюндрик! Что с ним делать, а?

— Разве не прав я был?— сказал Извеков.— Зов времени. Дети слышат его лучше взрослых — на фронт, на фронт!

Павлик оторвался от сестры на чужой голос, стремительно осмотрел и тотчас вспомнил Кирилла. Ободренный его нежданной поддержкой, он с жалобой и вызовом стрельнул золоченым своим взглядом на отца.

— Кабы я один — еще так. А то все Ванька Красила-мученик. Небось сам увязался на катере, прямо во флотилию, на Коренную. А мне говорит: ты, Пашка, вали на каком ни на есть пароходе до Увека. Флотилия будет там мазут брать, я тебя подберу. Я прождал два дня, а флотилия и не думала на Увек заходить. Нужен ей Увек!

— Ай-ай, какой тебе несолидный товарищ попался,— серьезно сказал Извеков.— Уж не Ваня ли это Рагозин?

— А кто же? Ему хорошо. Его все военморы знают!

— Неужели ты ни капельки не раскаиваешься?— отшатнулась от брата Аночка.

Он опять опустил голову: самой тяжкой укоризной было ему страдание сестры.

Так просто отыскался один беглец и, словно по росе, проступил след другого. Кирилл мог быть доволен. Он уже решил прощаться, но Парабукин, сбитый со своей роли благородного отца, обратился к нему довольно высокомерно:

— Извиняюсь, вы будете театральным сослуживцем моей дочери или что другое?

— Это сын Веры Никандровны,— сказала Аночка,— ты ведь знаешь, папа.

Парабукин сразу низвергся из-за облаков на трезвую землю, оправил мешковидную свою толстовку и отозвался с некоторым подобием изысканности:

— Знаю более по служебному высокому положению. Насколько читаю вашу подпись под разными декретами. А также, как ваш подчиненный, являясь сотрудником утильотдела.

— Да, я все не соберусь в этот ваш отдел,— сказал Кирилл.— Что там у вас происходит? Вы, говорят, книги уничтожаете?

— Ни восьмушки листа без разрешения! Только согласно инструкции. Макулатуру церковных культов, своды царских законов — это да. Капитальную печать — скажем, отчет акционерного общества или рекламу.

— А будто пакеты из географии не клеили?— злорадно ввернул Павлик.

— Молчи. Тебе еще рано понимать. Не из географии, а из истории. Потому это бывшая история, которой больше не будет. Отмененная история. У нас в науке разбираются. Если что имеет значение — в сторону. Не имеет — в утилизацию. Корочки от книжек — на башмачную стельку. Испечатанные страницы — на пакет. Чистую бумагу — для письма.

— Обязательно приду к вам. Очень меня занимает ваш отдел,— сказал Кирилл.

— К нам самые сведущие люди заходят. И не обижаются. Настоящие библиотеки составляют из книг. (Парабукин сильно нажал на «о».)

— Вот, вот,— улыбнулся Кирилл и протянул руку Павлику.— До свиданья, боевой товарищ. Мы с тобой, придет время, повоюем, войны на наш век хватит. А пока все-таки не огорчай Аночку, не надо, ладно?

Павлик не сразу решился подать руку, потом опасливо приподнял ее, не отнимая локтя от бока, и проворно отвернулся.

Аночка вышла проводить гостя. Волнение ее улеглось, она даже прихорошилась, успев причесать стриженую свою голову в то время, как Кирилл прощался с мальчиком.

— Надолго?— спросила она лукаво, когда они задержались в темноте у растворенной двери.

— До завтра. Хотите — завтра?— предложил он, будто вспомнив первую свою оплошность и решив не откладывать новую встречу в долгий ящик.

Он опять удивился,— как хрупка и тонка была ее кисть, и вдруг нагнулся к этой руке, не похожей ни на одну другую в целом свете, и дважды, торопливо и неловко, поцеловал ее.

— Что вы!— воскликнула она, отступая в сени, и уже из-за двери неожиданно прибавила:— Такой колючий!

Он сейчас же пошел прочь, некрупным, но сильным своим шагом. Он был рад и поражен, что так получилось, что он поцеловал ее руку. Никогда прежде не мог бы он себе представить, что поцелует женщине руку: это было что-то либо светское, либо ничтожное, рабское, и допускалось людьми, которые не имели с Извековым ничего общего. Чуждый этот жест (если случалось со стороны увидеть его где-нибудь на вокзале) отталкивал Кирилла, и он рассмеялся бы над собой, если бы вообразил, что когда-нибудь попробует подражать унизительному для женщины и прибедняющему мужчину обычаю. Особенную дикость приобретал в его глазах поцелуй руки теперь, когда с женщины спадали все путы принижения и предрассудков. Нет, уж если галантное целование руки вздумал бы кто отстаивать, то пусть женщина и здесь была бы совершенно равноправна и прикасалась бы губами к руке мужчины, выражая ему свою приязнь. Нет, нет, Кириллу было совершенно враждебно целование женской руки. Его только наполняло счастье, что он поцеловал руку Аночки — изумительную руку необыкновенной девушки! Его поцелуй не имел никакого подобия с пошлой манерой, принятой хлыщами. Он

поцеловал не руку, а какую-то особую сущность Аночки, так притягательно скрытую в руке, он поцеловал Аночку, конечно, самое Аночку! — не всё ли одинаково в ней достойно поцелуя — лицо, шея, рот или рука? Он завтра скажет Аночке об этом чувстве равноценности для него каждой дольки ее тела, завтра, завтра,— как хорошо, что уже завтра!

Он шел обратно той дорогой, где только что они проходили вместе, и в нем повторялось шаг за шагом, пережитое ощущение близости Аночки, остро подсказываемое мерным хрустом пыли под ногами в темноте пустынных улиц. Вот так хрустело, когда они шли вместе. Так хрустело под ее ногами. Он пел негромко и неразборчиво. У него не было слуха, но если он запевал для одного себя, ему нравилось, и он казался себе музыкальным. Завтра, завтра — означало его пение. Завтра, завтра,— отвечал он мыслям о поцелуе. Завтра, завтра...

Он застал в своем кабинете несколько товарищей. Одни курили, сидя на подоконниках, другие рассматривали карты, которые Кирилл показывал Аночке. Он всех знал и сразу понял, что их собрала неожиданность.

— Куда запропастился? — спросил один из них.

— Никуда особенно. Видишь, без кепки,— сказал он, заставляя себя обычным шагом пройти к своему месту и окидывая взглядом стол.

Он тотчас заметил телеграмму, воткнутую стоймя за чернильницу. Пока он читал, все молчали. У него сжался и точно постарел рот. Он сложил телеграмму надвое, не торопясь опустился в кресло.

— Ты не садись,— заметили ему,— нас ждет председатель, он назначил совещание.

— Так, так. Ну, пойдемте,— сказал он с безусловной уверенностью, что все сразу за ним пойдут, будто это он сам назначил совещание, и быстро двинулся через кабинет в соседнюю комнату.

23

Только в конце следующего дня Кирилл выбрал минуту, чтобы послать Аночке записку, в которой сообщил, что встречу приходится отложить дня на два. Когда он писал — дня на два, он не верил, что это так, и все же не мог написать ничего другого. Он, правда, добавил, что ужасно хочется увидеться, и решил, что такая приписка, ничего не объясняя, все искупит.

 Нельзя было загадать не только на двое суток вперед, как

сложатся события но и на два часа. Ночь прошла в совещаниях, телефон и телеграф работали не переставая: городу угрожал новый мятеж — с севера — и перерыв последней железнодорожной связи с Москвой — через Пензу.

Командир красной дивизии донцов, бывший казачий подполковник Миронов, формировавший в Саранске Пензенской губернии новый кавалерийский корпус, отказался подчиняться Революционному Военному совету. До этого он перестал считаться с политическим отделом дивизии, и на самовольно созванных митингах, внушая казакам и крестьянам, что он спасает революцию, натравливал их против Советов и большевиков. Вызванный от имени Реввоенсовета в Пензу, он ответил вооружением своих частей и ультиматумом, которым требовал, чтобы его беспрепятственно пропустили на фронт. Арестовав и посадив в тюрьму советских работников Саранска, Миронов во главе казачьих частей выступил на Пензу. По мере продвижения он рассылал по деревням своих агитаторов, подбивая крестьян на восстание, задерживаясь иногда в пути по многу часов.

Такие задержки помогли верным революции войскам стянуть части Первого конного корпуса, чтобы помешать выходу мироновцев к прифронтовой полосе и покончить с ними в тылу.

Пензенская губерния была объявлена на осадном положении, власть перешла к крепостному Военному совету, в уездах учреждались революционные комитеты. Деревенские коммунисты, вооруженные вилами и топорами, начали стекаться в уездные города, объединяясь для отпора изменившей дивизии. Налаживалась разведка, устраивались мастерские, где приводили в порядок неисправное оружие. Стали брать на учет лошадей и седла. В Пензе вели запись добровольцев в рабочий полк. В самых глубоких и спокойных углах губернии происходила мобилизация большевиков, и сотни людей становились под ружье.

Спустя четыре дня после выхода Миронова из Саранска его отдельные отряды, при попытке переправиться через Суру, были взяты под пулеметный огонь и обращены в бегство. Еще тремя днями позже около тысячи мироновцев выслали делегатов в Красную Армию и сложили оружие, заявив, что хотят вернуться в ее ряды.

Миронов с оставшейся частью мятежников продолжал марш к Южному фронту, оттесненный от Пензы, обходя ее, соприкасаясь с северными уездами Саратовской губернии и держа направление на Балашов. Силы его таяли, он шел

теперь осторожно, не решаясь заходить в города. В результате стычек или из нежелания сражаться, от него откалывались либо просто сбегали группы и кучки казаков, уходя в леса и рассеиваясь по деревням и селам. Эти шайки наводнили окрестные места его следования, сам же Миронов, с бандой в пятьсот человек, был окружен и взят в плен красной конницей в Балашовском уезде через три недели после измены[1], в середине сентября.

В первые дни мятежа немыслимо было, конечно, предвидеть, насколько он разрастется и скоро ли окончится. Своею вспышкой он угрожал Саратову не только потому, что потеря Пензы означала утрату кружного пути на Москву (в то время как прямой был перерезан находившимися в районе Козлова ордами Мамонтова), но и потому, что северные уезды Саратовской губернии прямо входили в орбиту мятежа. Красный петух мог забить крыльями в ближнем тылу, на севере, в то время как на юге алели пожары, зажженные деникинским фронтом. Из пензенского события мятеж мог каждый час сделаться событием саратовским.

Наступление на Южном фронте только словно бы начинало развертываться. В день, когда вспыхнул мироновский мятеж, матросы Волжской флотилии ворвались в Николаевскую слободу, против Камышина, а на другой день красная пехота заняла Камышин. Тем ожесточеннее встречал Кирилл известия об авантюре Миронова. Еще больше, чем прорыв Мамонтова, ошеломила его внезапность угрозы с севера. Саратов в непрестанной череде потрясений напоминал Кириллу больного, который не успевал одолеть одну болезнь, как на него наваливалась другая. Не успевали миновать «окопные дни», когда горожане толпами ходили на рытье траншей, как объявлялись «недели фронта» с их нескончаемыми мобилизациями. Это был кризис в кризисе.

И все же надо было отыскивать силы там, где они, казалось, иссякли.

Городской гарнизон, истощенный усилиями, которые понадобились на оборону от Врангеля и переход против него в наступление, мог выделить для борьбы с мироновцами лишь небольшие отряды.

[1] Из архивных документов теперь стало известно, что мятежные действия Миронова на Южном фронте в 1919 году рассматривались Военным трибуналом. Миронов приговорен к расстрелу, но на суде раскаялся и был помилован ВЦИК. Впоследствии реабилитирован. Командовал 2-й Конной Армией. ***(Примеч. автора.)***

Один такой отряд отправлялся в Хвалынский уезд и был — как сказал о нем военный комиссар — может, и не плох: до полутора сотен добровольцев и мобилизованных последнего призыва, сведенных в роту. Предстояло решить вопрос о командире: измена Миронова снова поднимала споры об отношении к бывшим офицерам царской армии как военным специалистам. При обсуждении кандидатуры военком назвал Дибича, отличившегося по формированию, но служившего в Красной Армии недавно и в боях не проверенного.

— Да что же я толкую,— добавил военком,— Дибича рекомендовал товарищ Извеков, он, наверно, скажет.

Кто-то заметил полушутливо, что если, мол, Извеков рекомендовал, пусть он и проверит свою рекомендацию в деле: дать его к Дибичу комиссаром! Замечание так бы и осталось не слишком серьезным, но общая мысль в эту минуту искала человека недюжинного и решительного, на которого можно было бы возложить полномочия более важные, чем комиссарство в роте, вплоть до права образовать на месте и возглавить революционный комитет, если бы обстоятельства потребовали. Назначением Извекова на маленький пост разрешилась бы большая задача, и полушутка прозвучала кстати.

Кирилл сказал кратко:

— Дибича я видел в боях с немцами. Командир мужественный и не аферист, пошел служить к нам, а не к белым вполне сознательно. Я за него ручаюсь.

На этом с вопросом о доверии Дибичу было кончено,— не потому, что не нашлось охотников перетряхнуть прошлое бывшего офицера, а потому, что сразу повели разговор об Извекове, тут же утвердили его комиссаром, и на него, в глазах всех, легла ответственность не только за Дибича или за роту, но будто и за события, которые могли произойти в Хвалынском уезде.

Часом позже Василий Данилович — уже командир сводной роты — явился, чтобы договориться с Извековым о подготовке предстоящего похода.

— Что значит человек на своем месте,— встретил его Кирилл,— даже румянец выступил! И ведь опять я с вами в одной части!

— Только вы с повышением, а я не дотянул и до старого,— сказал Дибич.

— Горюете? Вам на подносе счастье подается: не пройдет недели, как вы у себя дома, в своем Хвалынске.

— И как еще почетно,— улыбнулся Дибич,— с оружием в руках! Вот только не пришлось бы дом-то с боем брать.

— А что же особенного? И возьмем! — сказал Кирилл.— Вот вам карандаш, садитесь.

Он развернул карту Волги, и тотчас с удивительной живостью увидел, как Аночка клонилась над этой картой, следя за его пальцем, и как он старался привлечь ее внимание к действиям на юге, чтобы она не подняла голову на север. Теперь он подогнул южную половину вниз.

Но начали не с карты. Дибич рассказал, чем была в действительности рота, аттестованная, как «может, и не плохая». Красноармейцы не закончили даже ускоренной подготовки, старых солдат среди добровольцев числилось меньше половины, люди нуждались в одежде, сапогах, винтовок не хватало. Стали составлять списки потребного оружия, снаряжения, обмундирования, провианта. Когда подсчитали, сколько времени нужно на сборы, и выяснилось, что не меньше трех суток, Кирилл сказал:

— Плохо у нас получается. Мы должны это дело сократить вдвое.

— То есть как?

— А так, чтобы послезавтра на рассвете выступить.

— Я готов хоть сейчас выступить, да с чем? Палок в лесу нарезать — и то время надо. А тут придется каждую щель по цейхгаузам облазить.

— Придется проворнее лазить.

— И так мы с вами чуть не на минуты все рассчитали.

— Пересчитаем на секунды.

— Легко сказать. Я не первую роту сколачиваю.

— Наша рота особого назначения.

— Тем основательнее ее надо снабдить.

Кирилл посмотрел на Дибича тяжелым взглядом из-под осевших на переносье бровей.

— Вот что, Василий Данилович. Условимся, что бой уже начался. А в бою ведь у нас разногласий не будет, правда?

— Тут не разногласия, а простая арифметика.

— Значит, простая непригодна. Пересчитаем по арифметике особого назначения. Я беру на себя самое трудное. Что, по-вашему, труднее всего получить?

— Два пулемета нужно? Связь нужна? А попробуйте раздобыть провод.

— Хорошо. Попробую. Связь будет за мной. Срежу, на худой конец, вот этот аппарат,— сказал Кирилл, вдруг зачем-то стукнув ладонью по телефону.

 — Один аппарат — еще не связь,— возразил Дибич.

— Найдем сколько надо. Дальше что?

Они перебрали и перечеркали свои списки, разделили между собой намеченную работу и взялись за карту.

Роте предстояло идти по большаку на Вольск и оттуда на Хвалынск. Это составляло двести двадцать верст. Дибич клал на весь марш пятеро суток, с привалами и ночлегами. На хорошем пароходе передвижение отняло бы день. Но все суда были брошены на южную операцию, и пароход мог подвернуться только случайно. Поэтому Извеков предложил следовать на Вольск поездом (что больше чем удваивало путь до этого города, но сокращало время), а остаток дороги до Хвалынска — маршем. Такой комбинированный переход занял бы трое суток.

— Если не подведет чугунка,— сказал Дибич.— Пары-то разводят дровишками.

— Нарубим,— сказал Извеков.

— И если Миронов не двинет от Пензы на юг и не перережет железную дорогу где-нибудь под Петровском.

— А для чего нас посылают? Будем драться там, где встретим противника.

— Нас посылают в Хвалынск. В Петровск пошлют других. Мы обязаны выполнить свою часть задачи.

— Задача в том, чтобы переломать врагу ноги, а на какой станции мы их переломаем — не существенно.

— Напрасно так думать. Большая разница — кто кому навяжет бой, кто выберет время и место боя. Мы имеем дело с конницей. И она уже выступила. А мы будем готовы к маршу только на третьи сутки. Нас легко предупредить.

— Не на третьи,— поправил Кирилл,— а через полтора суток. И у нас больше шансов не быть предупрежденными, а предупредить самим, если мы перебросим роту по железной дороге.

— У меня нет возражений. Все равно неизвестно, что будет через трое или двое суток,— проговорил Дибич очень тихо и замолчал.

Неожиданно он побледнел и сказал с волнением:

— Вы начали о разногласиях. Давайте договоримся сразу. Вы мне доверяете или нет? Если нет, то не теряйте времени — вам нужен другой командир.

— Я вам доверяю,— спокойно ответил Кирилл.

— Вполне?

— Вполне.

— Благодарю. Тогда еще вопрос. Кто из нас будет командовать?

— Вы.

— Я хочу знать — не кто будет поднимать цепь в атаку, а кто будет определять тактику боя, я или вы?

— Мы вместе.

— Это значит, что я обязан присоединяться к тому, как вы решите, да?

— Нет. Это значит, что мы оба будем вникать в убеждения друг друга и находить согласие. Притом я потребую к себе такого же полного доверия, какого вы требуете к себе.

— А в случае расхождений?

Дибич глядел на Кирилла разожженными нетерпением глазами, все еще бледный, и Кирилл вспомнил, каким увидел его в этом кабинете первый раз — больного, измотанного судьбой и противящегося ей изо всех своих остаточных сил.

— Вы в Красной Армии,— ответил он,— устав ее не тайна. Но вряд ли между нами возможны расхождения. Во-первых, я не сомневаюсь в превосходстве ваших военных познаний и буду полагаться на них. А во-вторых, у вас ведь одинаковые со мной цели.

Кирилл подвинулся к нему и тепло досказал:

— Вы меня простите, я никогда не заставлю страдать ваше самолюбие.

Дибич, вспыхнув, махнул рукой.

— Я заговорил не потому... Просто чтобы раз навсегда... И чтобы к этому не возвращаться. Чтобы вы знали, что я ставлю на карту жизнь.

— На карту?— воскликнул Кирилл.— Зачем? Мы не игроки. Ваша жизнь нужна для славных дел.

— Я понимаю, понимаю!— отозвался Дибич с таким же порывом.— Я хотел, чтобы вы знали, что я во всем буду действовать только по убеждению, и никогда из самолюбия или еще почему... Так что если я с вами разойдусь в чем, то...

— Но зачем, зачем же расходиться?— сказал Кирилл, поднявшись и вплотную приближаясь к Дибичу.— Давайте идти в ногу.

— Давайте,— повторил за ним Дибич,— давайте в ногу.

Они улыбались, чувствуя новый приток расположения друг к другу и радуясь ему, как всякому вновь открытому хорошему чувству.

— Я вот еще что придумал,— сказал Кирилл.— Ежели какая непредвиденная задержка в наших сборах, то вы отправляетесь с эшелоном, а я доделываю здесь необходимое и нагоняю роту в Вольске, на автомобиле.

 — Откуда же автомобиль?

— А это я тоже беру на себя.

— Ну, я вижу, с таким снабженцем, как вы, не пропадешь!— засмеялся Дибич.

Уже когда он уходил, Извеков задержал его на минуту.

— Я хотел спросить, что это за человек — Зубинский, вы не знаете? Военком дает нам его для связи.

— Бывший полковой адъютант. Форсун. Но исполнительный, по крайней мере — в тылу.

— Ты, говорит военком, будешь за ним, как за каменной стеной.

— Ну, если уж прятаться за каменную стену...— развел руками Дибич.

— Так как же, брать?

— Людей нет. По-моему — надо взять.

С этого момента начались стремительные сборы в поход. Это были ночи без сна и день, казавшийся ночью, как сон — когда спешишь с нарастающей боязнью опоздать и все собираешь, собираешь вещи, а вещей, которые надо собрать, остается все больше и больше, словно делаешь задачу по вычитанию, а уменьшаемое растет и растет.

Зубинский носился по улицам на отличном вороном жеребце, в английском, палевой кожи, седле. Он был прирожденным адъютантом, любил выслушивать приказания, выполнял их точно и с упоением, доходившим до жестокости. Он покрикивал на всех, на кого мог крикнуть, сажал под арест, кого мог посадить, действовал именем старших с необычайной легкостью, как будто все, у кого он был под началом, в действительности ему подчинялись или состояли у него в закадычных приятелях. Перехваченный щегольской портупеей, в широком, как подпруга, поясе, со скрипучей кобурой маузера на бедре, он был под стать своему жеребцу. Не зная ни секунды передышки от трудов, он не уставал холить свою будто нарисованную внешность: разговаривая, он чистил ногти; на полном скаку лошади сдергивал фуражку и поправлял напомаженный пробор; расписываясь в бумагах, проверял свободной рукой пуговицы френча и пряжки своей гладко пригнанной сбруи. И походя он все чистился, отряхивался, одергивался, точно перед смотром.

— Да, молодой человек,— внушал он каптенармусу, который был по меньшей мере старше его в полтора раза,— если цейхгауз не отгрузит мне пятьдесят подсумков к тринадцати часам ноль-ноль, то вы через ноль-ноль минут сядете за решетку на сорок восемь часов ноль-ноль! Это так же точно, как то, что мы живем при Советской власти.

Свои угрозы он с удовольствием приводил в действие, его с этой стороны знали, и он достигал успехов. Полезность такого человека в определенных обстоятельствах была очевидна.

В канун выступления роты Извеков решил навестить мать, чтобы проститься. Он велел ехать по улице, где жили Парабукины. Он думал только взглянуть на ту дорогу, которой недавно прошел под руку с Аночкой.

Машина гнала перед собой белый свет, засекая в воздухе неровную волну дорожных выбоин, и полнолунно озаряла палисадники. Деревья словно менялись наскоро местами. Кирилл не узнавал, но угадывал очертания кварталов. Вдруг он тронул за локоть шофера и сказал — «стоп».

Один миг он будто колебался, потом распахнул дверцу и выпрыгнул на тротуар.

— Подождите, я сейчас.

После блеска фар на дворе показалось непроницаемо темно, так же темно, как было, когда он вошел сюда с Аночкой, и так же скоро, как с нею, он различил в глубине освещенное окно. Прежде чем подойти к нему, он подумал, что это нехорошо, что этого нельзя делать, но не мог перебороть желания с точностью повторить недавно пережитые минуты. Он медленно приблизился к стеклу и заглянул через короткую занавеску.

Аночка была одна, и маленькая комната почудилась Кириллу обширнее той, которую отчетливо запечатлела его память.

Аночка стояла у кровати. В слабом мигании лампы бледность ее лица то притухала, то странно усиливалась, как будто кровь все время живо бросалась к ее щекам и тотчас снова отливала. Губы ее дрожали. Она что-то шептала. Худоба высокой ее шеи стала очень заметной, и какое-то болевое напряжение, как у певца, который берет едва доступную ему верхнюю ноту, крылось в темной жилке, проступившей у нее от ключицы кверху. Казалось, вот-вот вырвется у Аночки еле удерживаемый крик.

Она и правда вдруг закричала. Руки ее вскинулись, и — словно кто-то безжалостно потащил ее за эти вытянутые в надежде тонкие руки — она ринулась через всю комнату и с разбега упала на колени.

Она упала на колени перед накрытым плетеной скатертью круглым столиком, на котором высилась швейная машинка в деревянном колпаке. Она протянула к этому колпаку руки, скрестив их в мольбе, и начала мучительно выталкивать из себя перегонявшие друг друга беспамятные восклицанья. Она

явно потеряла рассудок, и видеть ее отчаяние было невыносимо.

Кирилл с силой ухватил жиденькую раму окна, готовый вырвать ее и влететь в комнату. Но странное движение Аночки остановило его: она обернула лицо к окну, не спеша всмотрелась в пустоту комнаты, спокойно поправила прическу жестом, похожим на мальчишеский — запустив пальцы в свои короткие волосы,— и опять повернулась к столу.

Почти сейчас же она зажала лицо ладонями, потом снова простерла руки, до непонятности быстро поднялась и пошла к окну скованным шагом разбитого несчастьем человека. Страдание придавило ее жалкие девичьи плечи, оцепенение ужаса глядело из немигавших глаз. Никогда Кирилл не мог бы вообразить, что у Аночки такие огромные страшные глаза.

Она все шла, точно эта убогая комната была бесконечной, все тянулась к окну трепещущими бессильными пальцами. Он сделал шаг в сторону от света. Он увидел, как шевельнулась занавеска: Аночка тронула ее кончиками пальцев. Он расслышал стон: «Останься! Останься! Куда ты! Батюшка! Матушка! В эту страшную минуту он нас покидает...»

Кирилл крепко провел ладонью по лбу.

«Бог ты мой!— вздохнул он освобожденно.— Ведь она играет! Играет, наверно, свою Луизу!»

Он не мог удержать неожиданный смех и громко постучал в дверь.

Тотчас послышался голос:

— Это ты, Павлик?

— Это я, я!— крикнул он.

Она впустила его молча. Он смотрел на ее изумление, вызвавшее краску к ее щекам, и вдруг всем телом почувствовал счастье, что его приход поднял в ней смятение.

— Какой вы хороший, что пришли,— словно укрепила она его в этом ощущении.

— Я должен был прийти.

— Когда я получила вашу записку, я поняла, что вы не придете. Отчего вы такой веселый?

— Веселый?— спросил Кирилл.

Он как вошел смеясь, так с губ его все не исчезала улыбка.

— Ну, скажем, потому, что я не хочу повторять мину, с какой обычно приходят прощаться. Перед расставаньем.

— Прощаться?— сказала она с тревогой.

— Да вы не пугайтесь. Ничего особенного. Я должен поехать по одному делу.

— На фронт?

— Нет. Так. На небольшую операцию.
— Против этого самого Миронова, что ли?
Он ничего не ответил от неожиданности.
— Что же вы за друг, если у вас от меня тайны?
— Почему — тайны?
— Если вы верите в меня, не надо скрывать...
Она сказала это с детским укором, ему стало неловко, он отошел от нее, но сразу вернулся и взял ее руку выше локтя. Тогда отошла она и села у того столика, накрытого плетеной скатертью, перед которым Кирилл видел ее на коленях.
— Значит, так и не посмотрите нашу репетицию,— с грустью выговорила она.
— Я видел... как вы репетируете...
Она тяжело подняла брови.
— Только что,— договорил он, опять улыбаясь.
— Вы шутите.
— Нисколько. Хотите, повторю вашу реплику?
Он попробовал, довольно неудачно, изобразить ее стон: «Останься! Останься! Куда ты?..»
Она мгновенно закрыла глаза руками и вскрикнула:
— Вы подсматривали в окно!
Он испугался ее крика и стоял неподвижно. Она нагнула голову к столу.
— Как вы могли!— пробормотала она в свои согнутые локти.
— Честное слово, я только на минутку заглянул,— сказал он растерянно.
Она распрямилась, опять своим спокойным, но словно мальчишеским жестом поправила волосы.
— Ну хорошо. Если уж видели репетицию, то приходите на спектакль. Вы ведь вернетесь к спектаклю? Куда вы все-таки уезжаете? Я угадала, да? Кем вы туда едете?
Сам не зная зачем, он сказал:
— Я буду председателем ревкома. Слышали, что это такое?
Она всмотрелась в него изучающим взглядом чуть сощуренных глаз и спросила:
— Вы больше всего любите власть?
— Смертный грех властолюбия, да?— насмешливо сказал Кирилл.
— Нет, это не грех, если... на пользу человечеству.
— Так вот наша власть на пользу человечеству. Согласны вы с этим?

— Да.

— Значит, можно любить власть?

— Разумеется. Я спросила не об этом... вы не поняли. Я спросила — вы любите власть больше всего?

Он глядел на нее сначала строго, затем черты его, будто в накаливающемся луче света, смягчились и приобрели несвойственную им наивность. Не догадка ума, а волнение сердца подсказало ему, что Аночке совсем не важно в этот миг существо разговора и что только еле угадываемые оттенки слов доходили до ее внутреннего слуха.

— Нет,— проговорил он, уже всецело отдаваясь своему волнению,— я вас понял.

Она резко отвернулась, потом еще быстрее обратила к нему удивительно легкое лицо — свободное от недоумений, и он, подойдя, просто и сильно замкнул ее в свои руки, как в подкову. Короткий момент они оба пробыли без движения. Затем она с настойчивостью отстранила его, и он, как будто издали, услышал повторяющиеся упрямые слова:

— Когда вернетесь... когда вернетесь... не сейчас...

Он увидел ее первую улыбку в эту встречу — ее обычную, немного озорную, но вдруг словно и печальную улыбку.

— Я могла бы, и правда, повторить, что вы слышали через окошко: «Останься! Останься!..»

Она сама приблизилась к нему, в его неопущенные руки, и он услышал жаркое, незнакомо пахучее ее лицо.

Она проводила его спустя недолго до ворот. Шофер завел мотор, который поднял всполох в беззвучии вечера. Взрыв этого шума полон был предупреждающего, грозного беспокойства. Аночка сказала Кириллу, мягко касаясь губами его уха:

— Я жду непременно на первый спектакль.

Он ответил неожиданным вопросом:

— А почему Цветухин выбрал эту пьесу?

— Как — почему? Это же поймет каждый человек — как люди страдали под гнетом знати!

— Ах да!— шутливо спохватился он, но сразу, точно учитель, поощряющий ученика, одобрил серьезно:— Совершенно верно, поймет каждый человек.

Он сжал на прощанье ее пальцы.

В машине он не мог отделаться от назойливой мысли: вот он уезжает в то время, как Аночка остается с Цветухиным. Опять возникло в нем раздражение против этого человека, и опять он убеждал себя, что нет оснований раздражаться. Самое тягостное заключалось в том, что жизнь повторяла один раз испытанное положение, в котором преимущество снова было на стороне все того же Цветухина. Тот оставался, Ки-

рилл должен был уезжать, когда ему ужасно хотелось жить, ужасно хотелось — потому что душу его осветила торжествующая ясность: он любит и любим! Неужели и правда пустозвону Цветухину суждено омрачать Кирилла в самые счастливые мгновенья жизни?

— Да никогда! Да ни за что!

— Что вы говорите?— спросил шофер.

— Давно работаете за рулем, говорю я, а?

— А что? Разве недовольны, как веду?

— Нет, ничего... Мотор знаете хорошо?

— Не могу похвалиться, чтобы очень. Справляюсь.

— Так, так...

Дома Кирилл не застал Веры Никандровны — она отлучилась на какое-то собрание и скоро должна была вернуться.

Кирилл решил приготовиться к отъезду. Он долго искал чемодан и наконец обнаружил его под кроватью матери. Он принялся вынимать из него вещи сначала поспешно, потом все медленнее, пока вовсе не остановился на предметах, которые увели его воображение далеко в прошлое.

Сложенный любовно чертеж речного парохода, в продольном и поперечном разрезах, белыми линиями по выгоревшему, некогда синему фону; портрет Пржевальского и портрет Льва Толстого, два таких разных и таких схожих мудреца, изведывающих своими взорами землю и человека,— эти трогательные бумажные листы заставили Кирилла переселиться в жилище своей юности. Он вспомнил, как мальчиком строил корабли и суденышки фантазий и плавал в неизвестные земли будущего. Вспомнил, как потом попробовал найти к этим землям дорогу в действительности и как пресекли его поиски на первых шагах. Вспомнил домашний обыск, жандарма, который сорвал со стены и швырнул на пол Пржевальского: верхние уголки портрета были надорваны с тех пор, и Кирилл неторопливо расправил их ногтем. Он вспомнил, что этот вечер ареста был вечером последнего свидания с Лизой. И хотя он знал, что весь путь с того вечера и всю дорогу от фантазий к действительности он прошел в твердом согласии со своими желаниями и не хотел бы пройти иначе, ему стало больно, что он так много и так часто в жизни оставался один на один с собой.

На дне чемодана он нашел полотняный конверт с фотографиями. Здесь были спрятаны старые снимки. Он увидел себя крошечного — не старше, чем полуторалетнего — в длинном платьице с кружевным воротником. Это было едва ли не первым живым воспоминанием Кирилла — как он очутился у чер-

нобородого дяденьки, который сперва дал ему лошадку с мочальным хвостом, сказал «ку-ку» и спрятался под черным одеялом, а потом вылез из-под одеяла и отнял лошадку, и он изо всей мочи кричал, ни за что не соглашаясь с ней расстаться. На карточке он сидел, крепко вцепившись в эту лошадку, и лицо его было смешно сердито.

Вдруг Кирилл услыхал шаги на лестнице. Он быстро вышел в другую комнату. Только тут, остановившись и прислушиваясь, он заметил, что дышит часто и громко.

Он справился с собой и вернулся в комнату, где разбирал чемодан.

Вера Никандровна стояла неподвижно около вороха выложенных на стол вещей. Он подошел к ней, молча обнял ее. Они долго не говорили, остановив глаза на этой беспорядочной куче предметов, которые будто участвовали в их бессловесной беседе. Потом Кирилл поцеловал мать в холодный и немного влажный висок.

— Что же ты не говоришь — когда?— спросила она, с трудом произнося непослушные слова.

— Сегодня ночью. Времени еще не знаю.

Она отвела его в сторону, к окну, и, внезапно потеряв голос, шепотом сказала:

— Ну, посиди... посиди со мной...

Было очень тихо, и ясно слышался со стола запах лежалых вещей и тепло большой, ровно горевшей лампы. Ее отсветы кое-где на мебели казались тоже теплыми и наделяли всю комнату спокойной прелестью обжитого дома.

Так мать и сын просидели в безмолвии несколько минут. Потом Вера Никандровна помогла Кириллу собраться в дорогу, и они вместе вышли на улицу. Уже прощаясь, Вера Никандровна призналась, что все время ждала этой минуты и все-таки застигнута ею врасплох. Кирилл и без такого признания видел, что это так, и спешил скорее уехать, чтобы излишне не испытывать самообладание матери. Она смотрела вслед убегавшим по дороге огням автомобиля и, когда они исчезли, долго еще стояла, не шелохнувшись, в полной темноте.

На рассвете Извеков провожал свою роту. Она отправлялась эшелоном во главе с Дибичем. Кирилл должен был выехать в течение дня, как условились, на автомобиле и присоединиться к роте в Вольске. Ему предстояло забрать с собой медикаменты, бинокли, запас револьверных патронов — то, что не успели получить за слишком короткое время сборов. С ним отправлялись Зубинский и один доброволец-большевик, которого Кирилл прочил себе в помощники.

Совсем незадолго до выезда Зубинский отрапортовал, что все готово, но автомобиль капризничает, и ехать на неопределенно долгий срок с малоопытным шофером рискованно.

— «Бенц» в неумелых руках — дело опасное. Что, если сядем на полдороге?

— Какой же выход?— спросил Кирилл.

— Если вы похлопочете, вам, наверно, не откажут дать шофера-механика.

— Есть такой?

— Есть. Механик вашего же гаража Шубников. И водитель великолепный. Спортсмен.

Кирилл выдержал долгую паузу, прежде чем что-нибудь сказать. Вечерний разговор с шофером сейчас же пришел на память: ехать с человеком, который сам говорит, что не может похвастать знанием мотора, ехать не на прогулку, а в поход, было бы по меньшей мере глупостью. Но имя Шубникова вызвало в Кирилле протестующую неприязнь. Он пристально вгляделся в Зубинского. Тот стоял навытяжку, ожидая приказания, и глаза его высекали преданную решимость служаки.

— Хорошо, я сейчас позвоню,— сказал Кирилл и добавил про себя: «Черт с ним, если это необходимо!»

Через полчаса машинистке был продиктован приказ об откомандировании Виктора Семеновича Шубникова в личное распоряжение товарища Извекова в качестве шофера-механика.

24

В биографии Шубникова, как она сложилась после его женитьбы на Лизе, отыщется немало драгоценных подробностей. Мерцалов, например, считал его фигурой, достойной отражения в хронике русских нравов на рубеже революции. А среди газетчиков помельче Мерцалов слыл за человека, у которого есть что прибавить к подобного рода описательным сочинениям, все еще недостающим нашей литературе. Однако даже краткое изложение жизни Шубникова составило бы особую главу. Здесь достаточно привести две-три черты деятельности одного из представителей теперь вымершего или переродившегося типа не слишком крупных, но полных беспокойства дельцов, к каким принадлежал Виктор Семенович.

Он был из самых ранних автомобилистов в городе. Машиной, по виду близкой к фаэтону, он пугал лошадей и приводил в шумный восторг мальчишек. Бездельники на всю улицу

подражали пронзительному рожку с черной каучуковой грушей, приделанному снаружи кузова вместе с рычагами тормоза и скоростей, которые напоминали механизм железнодорожной стрелки. Когда появились более удобные автомобили, Шубников приобрел новый, а старый пустил в прокат.

Рядом с биржей лихачей на дутых шинах, у подножия памятника «царю-освободителю», прокатный самоход часами ожидал любителей острых ощущений. Извозчики, не предчувствуя судьбы, ожидавшей их сословие в жестокий век двигателя внутреннего сгорания, смеялись над картонкой с обозначением таксы, которую шофер вывешивал на автомобиле. Они держались кучкой в той стороне, где высился бронзовый крестьянин-сеятель, предназначенный иллюстрировать царское обращение манифеста: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ...» Шофер, со своей таксой, стоял в надменном одиночестве по другую сторону памятника, близ Фемиды. Она символизировала в данном случае не столько правосудие, сколько бесстрастие истории, и не желала смотреть из-под своей повязки на конкуренцию двух эпох. Победителями вышли извозчики. Витенька Шубников, со свойственным ему нетерпением, очевидно, переоценил завоевательную способность недоразвитой техники. Любители обгонять трамвай по асфальтовой мостовой остались верны лихачам, и прокат такси прогорел.

Войну Шубников отбывал дома. Призывная комиссия выдала ему белый билет ввиду эпилепсии. Припадки с ним на самом деле бывали, но только из озорства и лишь в той мере, в какой он считал нужным помучить ими Лизу либо разжалобить тетушку Дарью Антоновну. Он хороводил с военными чиновниками и врачами в кабинетах зимнего сада Очкина и дружил с интендантами.

На второй год войны Дарья Антоновна скончалась, и ее богатство нераздельно перешло к Витеньке. Это очень ослабило на нем поясок — не на кого стало оглядываться. Он все больше погуливал с барыньками и уже совсем не давал покоя Лизе наигранной ревностью. Впрочем, как случается с избалованными, себялюбивыми существами, он и правда мог ревновать Лизу к чему угодно, даже до настоящего страдания, до плача с истериками.

Наконец Лиза ушла от него. Он сразу кинулся под сень закона, стал гулять с консисторскими писарями, с адвокатами, и дело совсем было наладилось — он уже ожидал привода жены с сыном и возмещения урона мужниной чести.

Но пришел февраль, дело замялось, потом — Октябрь, и все расходы на восстановление домостроя пошли прахом.

Надо сказать, после смерти тетушки Витенька не только гулял и занимался семейными страданиями. Наоборот, предприимчивая натура ощутила острый вкус к размаху. Он привез из Москвы великолепного «мерседес-бенца», повергшего в конфуз богачей мукомолов, не говоря о всяческих властях, ездивших если не на лошадках, то на машинах глубокой довоенной давности. Потом он отстроил конюшню, продал иноходца и купил пару рысаков-фаворитов, один из которых тут же взял первый приз на бегах. Затем он продал коллекции почтовых марок, медалей, монет, продал яхту и купил сильную моторную лодку. На Зеленом острове, во время пикника, он договорился войти в компанию, которая собиралась строить сарпинковую фабрику. С серьезным лицом он заседал на учредительских собраниях будущего акционерного общества.

Но вдруг, под веселую руку, он поспорил с каким-то загульным фельетонистом московского «Раннего утра», что берется основать копеечную газету, которая через два месяца забьет в губернии всех конкурентов. Взявшись за это заманчивое дело, он ушел в него с головой.

Он набрал живописный штат репортеров с красными носами, удивительно знавших мрачный и темпераментный быт гор, бараков, пристаней, базаров, ночлежек. Фельетонист, рассчитав, что ему выгоднее проиграть пари, чем выиграть, подрядился писать для газеты сыщицкий роман приключений. Легендарный орехово-зуевский атаман-разбойник Василий Чуркин стал в газете чем-то вроде героя на жалованье. О нем собирались песни, анекдоты, ему посвящено было наукообразное описание вариантов народных драм и представлений театра, петрушки, воспевающих чуркинскую славу.

Сам Витенька литературных склонностей в себе не замечал. Он не собирался также хвастать своей образованностью. Ему ничто не стоило спутать Фермопилы с Филиппинами, и он это помнил. Но он давал газетке направление, названное им «мимополитическим», и у него был свой девиз: «Народ любит скандал». Поэтому все поножовщины, банкроты, пожары, громкие бракоразводы, схождение трамваев с рельсов ярко освещались уверенными перьями. Театр для газетки почти не существовал, но личная жизнь артисток считалась негаснущей злобой хроник. Успех цирковых борцов или кинофильмов, которые именовались «лентами», быстро подпал под зависимость от Витенькиного издания. Дешевое для читателей, оно

скоро стало дорогим для всех, кто жил процентами с человеческого любопытства.

Гонорар своему штату Витенька нередко выплачивал водочкой в «Приволжском вокзале». Речной трактир настолько пробуждал поэтическое чувство, что лучше всего именно здесь придумывались похождения провинциальных шерлок-холмсов на потребу подписчикам, и фантазия издателя участвовала в общем деле наравне с тружениками изящной литературы. Даже менее заносчивый характер, нежели Шубников, убедился бы на этом сочинительстве, что воистину горшки обжигают не боги. Витенька же спьяна так воспарил, что уверял, будто не пишет романов и стихов единственно за отсутствием свободного времени, и когда кто-то попробовал восстать в защиту Аполлона, он блеснул единственным своим произведением лирического жанра, подписав его псевдонимом *Убикон.* Стишок начинался так:

Отрываясь от земли,
Несется дух и ввысь взлетает,
Оставив страсти позади,
В эфире легком он ныряет.

Вскоре, однако, Шубников остыл к печатному слову и вовремя продал газетку, отчасти по бездоходности (перед революцией меньше стали помещать рекламы), отчасти в неясном предчувствии лозунга, который впоследствии поверг на землю нырявших в эфире легком газетчиков-спортсменов. Лозунг гласил: «Вся власть Советам!»

С приходом этой власти капитал Шубникова подлежал полностью отчуждению в пользу государства. Шаг за шагом Витеньку лишили текущих счетов в банках, магазинов, рысаков, домовладения и «мерседес-бенца». «Бенца» он жалел больше всего. Он было всплакнул, когда явились уводить машину из гаража, но тут обнаружилось, что неопытный шофер не может завести мотора, и бывший хозяин, в припадке негодующего презрения, сам кинулся к автомобилю и ухарски доставил его к месту новой стоянки. Прощаясь со своим любимцем, он поцеловал его в ветровое стекло.

С этого часа он втайне следил за судьбой автомобиля, знал всех его многочисленных пользователей, и если встречал мчащимся по улице, словно окаменевал и долго глядел «бенцу» вслед. Он дружил с шоферами, давал советы, как содержать машину, и был убит горем, узнав однажды, что «бенца» помял грузовик. Его приглашали чинить поломки, и он проявил себя находчивым мастером. Примерно в годовщину революции его

приняли в гараж Совета, и он скоро усиел прослыть незаменимым механиком.

С виду Шубников очень опростился. У него еще оставалось кое-что от туалетов щеголя, но он носил рабочий комбинезон, сменил усы колечком на усы кисточкой, любил класть на стол промасленные руки и говорить, что, мол, нам к труду не привыкать.

Меркурий Авдеевич дивился бывшему своему зятю — как он легко обрел подобающую условиям наружность. Пока Шубников надеялся, что Лиза вернется к нему, он забегал к сыну с игрушками, исподтишка настраивая мальчика против Лизы. После развода он пренебрег этой игрой и в душе был рад, что встретил революцию не обремененным узами семьи. Но к тестю он продолжал наведываться. Он чувствовал признательность за то, что, прощая Лизу в силу отеческой слабости, Мешков считал его более правым, чем свою дочь. И хотя Шубников не был единомышленником Меркурия Авдеевича, однако верил в него, как в безопасного собеседника, и только с ним говорил без оглядки. Они выступали друг перед другом в роли поучителей, но Мешков искал спасение в кротости, а Шубников не намеревался капитулировать перед действительностью, уверенный, что урок истории скоро кончится и люди будут поставлены на свои природные места.

— Вы, папаша, не дипломатичны,— говорил он,— не усваиваете каприза современной даты. Покуда *они* наверху, мы должны их одобрять. Обстоятельство преходящее. Пускай думают, что мы изумляемся ихней гениальности. А там увидим.

— Это, милый, за грехи наши наказание,— возражал Мешков.— Долготерпению господню настал конец. А ты говоришь — каприз даты! Что же, по-твоему, нынешней датой господь решил наказать, а завтрашней помилует? Нет, ты покайся, смирись, возложи крест на свои плечи, потрудись в поте лица за один кус хлеба насущного. Тогда всемилостивец, может, и сжалится.

— Потрудиться — не новость. Вы вот всю жизнь трудились, а толку что? Труд — это есть средство самозащиты, папаша. В самом труде, если вы хотите знать научную точку зрения, ума нет, в нем только печальная необходимость. Из нее никакой премудрости не выкроишь.

— Хочешь *их* перехитрить? *Они*, милый, хитрее, чем нам спервоначалу показалось.

— Чем *они*, папаша, хитрее? Не замечаю.

— Тем, что из-под тебя твою телегу выдернули, да тебя же в нее впрягли и ты их возишь.

— Я их вожу до поры до времени.

— Это они тебя в хомуте держат до поры до времени, покуда ты с ног не сбился.

Перепалки эти иногда доходили до решительных размолвок, но Шубников снова являлся к тестю и опять подбивал на споры.

Перед удалением в скитскую жизнь Меркурий Авдеевич еще раз излил себя Виктору Семеновичу и окончательно убедился, что новый зять — Анатолий Михайлович — много достойнее старого. Ознобишин, вместе с Мешковым, объяснял происходящее гневом божиим, а Шубников говорил, что, мол, дело отца небесного — вносить в нашу жизнь неустройство, а наше дело — заботиться о своей судьбе, насколько хватит смекалки.

— Никогда я, папаша, не поверю, что вам нравится господне наказание. А если не нравится и вы недовольны — какое же возможно примирение? Это все лицемерие.

— Ты, Виктор, хулитель,— сказал Мешков на прощанье.— И я теперь рад, что Лизавета отняла у тебя сына. Иначе ты развратил бы отрока безбожием. Смотри, береги свою голову.

— Уж если не уберегу, то отдам недешевой ценой.

— А цену кто получит? Тебя-то ведь не будет?

— Посмотрим, кто будет...

Назначение ехать за шофера в Хвалынск грянуло на Виктора Семеновича громом из ясного неба. Едва он узнал, чем вызвана поездка, как на «бенце», отказались работать аккумуляторы. «Бенца» он обожал, но не настолько, чтобы ради его сохранности подавлять мироновский мятеж.

В Саратове Шубникова слишком хорошо знали, и за пределами города ему угрожало гораздо меньше превратностей. Но это — в равных, так сказать, в мирных условиях. В сопоставлении же тыла и фронта дело круто менялось. В Саратове, на самый худой случай, могли припомнить Витеньке его капиталы, или его газетку, или его купеческие грешки, а шальные пули на фронте относились к биографиям безразлично в гражданскую или какую иную войну.

Зубинский — приятель Шубникова по ночным похождениям с интендантами — держался иного мнения о фронтовых перспективах.

— Ты не блажи,— ответил он Виктору Семеновичу на его перепуг.— Умные люди давно гасят свечи, прячут огарки по карманам. Игра перестает окупаться. Если белые нагрянут в Саратов — разговор короткий: на советской службе был? И готово. Культурному человеку еще хуже: вы, скажут, по-

нимали, что делали. А на фронте в критическую минуту — тут тебе и поле, и лес, и хуторок какой, и своя линия, и неприятельская. Большой выбор.

— На линиях не в подкидные дураки перекидываются. Там стреляют.

— А тебе что? Не будь и ты дураком. Стреляй... на своем «мерседес-бенце»,— ухмыльнулся Зубинский и, сняв с обшлага пушинку, кончил начальнически: — Короче говоря, машина должна быть в безукоризненном состоянии!

Виктор Семенович понял, что попал, как мышь в таз, и нельзя ждать, чтобы кто-нибудь пособил выкарабкаться. Наоборот, под горячую руку начальство не посчитается ни с чем. Поэтому «бенца» Виктор Семенович подал точно к назначенному часу, с усердием помогал укладывать багаж, а когда появился Извеков, козырнул ему, ничуть не уступая в изяществе Зубинскому.

Кирилл обошел автомобиль кругом.

— Все исправно?

— Горючего полный бак и бидон. Запасных два ската. Слабое место — мотор. Изношенность порядочная. Но, как говорится, господь не выдаст...

У Виктора Семеновича выработалась за последний год блаженная улыбочка, выражавшая нечто среднее между простодушием рубахи-парня и умилением льстеца.

Кирилл взглянул на него пристально:

— Мы будем требовать с вас, а не с господа.

— Понятно. Я ведь только ради поговорки...

Зубинский предложил Извекову переднее место, но он сел позади, рядом с добровольцем. Посмотрев на часы, он приказал ехать.

В пути на машине есть время многое заново понять, охватить успокоенным взором происходящее. Толчок к размышлениям дают прежде всего пространства.

За Саратовом они то унылы, то даже грозны своим однообразием. Едва миновали небогатые пригородные рощи насаждений — возрастом немногим больше полутора десятка лет,— как потянулись лысые холмы, разделенные оврагами, с нищими купами тополей и ветел около разбросанных на версты и версты селений. Надо было бы обсадить дороги березой, раскинуть по низинам темные дубовые леса вперемежку с мохнатой сосной — прикрыть охровую наготу земель питательной тенью бора. Как вольно вздохнули бы нивы, если бы извечные степные ветры вместо жгучей суши принесли бы на пашню и рассеяли боровые туманы! Как сверкнули бы

поднявшиеся в буераках зеркала родников, как заиграли бы на заре росы, какой звон подняли бы речки! Это была мечта безвлажных пространств, расстилавшихся перед Кириллом. С детских лет он разделял тоску своего края, грезил о дубравах на этом нескончаемом плато. Теперь, припоминая из детства, какими он себе рисовал будущие леса, Кирилл удивился. Фантазия уносила его тогда в парки причудливых тропических растений, словно приподнятых над землей и оберегающих ее пышно соединенными кронами аллей. Эти странные парки возникали в воображении скачком — оно отталкивалось от голых степей и попадало прямо в кружевное плетение лиан. Мечтателя не занимали переходы. Вдруг степи покрывались парками. Как парки сделались — неинтересно. Фантазия наслаждается спелым плодом, не заботясь — кто насадил и вырастил его. Сорви и вкушай, плод сладок и душист, хотя бы плод далекого будущего, а печальные глины, поросшие полынью, отвращают от себя неискушенную мысль. Сейчас Кириллу казались удивительными похожие на каменноугольную флору тропические декорации, увлекавшие детский ум. Он занят был тем, что в детстве не существовало для воображения. Он думал о переходах — о том, что надо сделать для обогащения степей. Как напоить их? Какие деревья насадить по оврагам, какие на холмах? Где та порода, которая устоит от суховеев? Сколько ветряков, сколько водочерпалок соорудить в уезде, чтобы он из степного стал лесным? Как объединить деревни, села и повести их к преображению земли? Довольно ли десяти тысяч людей, чтобы создать уход за десятью миллионами деревьев? Много ли это, мало ли — десять миллионов? Через какое время лес перестанет требовать у человека влаги и сам станет ее источником? Нет, это была не мечта о переустройстве края, и может быть, это нельзя назвать даже думами, а только — решением задачи, расчетом, черновым вычислением. Мечта устройства будущего становилась делом устройства, мечтатель становился делателем. И все-таки, все-таки! — вдруг мелькали в уме Кирилла разросшиеся дубравы, и где-то очень, очень далеко за синевой лесов на один миг приподнимались над землей гигантские тропические парки детства.

А дорога извивалась вправо и влево, змеилась вверх и вниз, не боясь наскучить, не заботясь о какой-нибудь пище для мечтаний. И то желтые глинистые, то бледные меловые круглоголовые холмы чудились пузырями, вспухшими на чреве земли от солнечного ожога. Поля уже повсюду убрали, и только кое-где поблизости деревень кучились бесцветные скирды.

Зубинский медленно обернулся, неуверенный — можно ли нарушить чересчур долгое молчание.

— Я хотел спросить, товарищ Извеков, как прикажете мне именоваться?

Кирилл, словно пожалев, что мешают его мыслям, не отозвался, разглядывая длинное и будто изогнувшееся в повороте лицо Зубинского. Что это был за человек? Что побудило его идти одним путем с Извековым? Кто соединил их на этом пути — общие противники или общие друзья?

— Именуйтесь по имени-отчеству,— ответил наконец Кирилл и усмехнулся.

— Я понимаю! — громко засмеялся Зубинский.— Но в смысле служебного положения?

— А как вы себе представляете свое служебное положение, в чем будут ваши обязанности?

— Я понимаю так,— сказал убежденно Зубинский и повернулся удобнее, навалившись локтем на спинку сиденья,— я буду при вас исполнять обязанности строевого адъютанта. Буду писать реляции.

— Это что еще?

— Описание боя. Дневник военных действий. Вы как командир...

— Я не командир...

— Я понимаю. Но, говоря прямо, как фактический командующий, будете отдавать общие приказания, командир будет вести бой, а я буду представлять вам реляции.

Кирилл долго смеялся, покачиваясь от толчков машины, потом остро посмотрел в глаза Зубинского так, что тот подобрал локоть, поерзал и сел прямее.

— Вы будете делать то, что я вам прикажу и что вам прикажет наш командир товарищ Дибич.

Зубинский проговорил как бы менее убежденно, но с достоинством:

— Разумеется, исполнять приказания мой долг... Но хотелось бы, чтобы вы очертили мне круг обязанностей, чтобы я знал. Строевой адъютант нес, например, в полку обязанности начальника команды связи: ординарцы, разведчики, телефонисты...

— Вот это я вам и дам,— быстро перебил Извеков и опять посмотрел в глаза Зубинского.— Кроме разведчиков...

Они снова надолго замолкли. Дорога укачивала и клонила в дрему, но не давала задремать, встряхивая на выбоинах. Шубников изредка ворчал, однако вел машину искусно. Зубинский опять обернулся.

— Я все восхищаюсь, как вы быстро снарядили и отправили отряд, товарищ Извеков. Без сучка без задоринки. Талант организатора. Редко другой такой найдется.

Извеков не ответил.

— Вам армией командовать,— продолжал Зубинский,— честное слово! В городе даже не могли понять: занимали такой пост, и вдруг вам дают роту...

— Обиделись за меня?

— Не то что обиделись, а не совсем понятно. Я считаю — не экономно. Крупные силы нужны в крупном деле. Смотрите, какие пошли успехи в международной революции. Вот где арена! А в нашем захолустье — это все возня с клопами.

— Интересная мысль,— сказал Извеков.— У вас, что же, своя стратегическая идея, да?

— Я думаю,— глубокомысленно произнес Зубинский,— я думаю, что правильно было бы сосредоточить все силы против украинской контрреволюции, ликвидировать ее и повернуть весь фронт на запад. Нас бы там подхватил гребень мировой войны.

— Интересно,— повторил Извеков.—А пока повернуться спиной к Деникину и Колчаку, чтобы они соединились и ударили нам в тыл с Волги. Так я понимаю?

— Конечно, мы кое-что потеряем, поворачиваясь спиной к востоку. Но то, что мы повернулись сейчас спиной к западу, станет нам гораздо дороже: упустим момент, он больше не вернется. Волна спадет.

— Да у вас целый план. Довольно распространенный, правда: славны бубны за горами!

Зубинский вскинулся возразить, но в этот момент автомобиль дал жесткий рывок и покатился на обочину, с визгом удерживаемый тормозами.

— Прокол! — воскликнул Шубников и с досадой распахнул свою дверцу.

Все начали выходить из машины.

Стояли высоко над рекой с ленивыми оползнями берегов и сумрачными шиханами, которые сонно сторожили округу. Солнце уже ложилось, тени возвышенностей придавали местности вид застывший и траурный. Безветрие было полным. Где-то горько посвистывал парящий кроншнеп.

Шубников взялся за смену резины, как заправский шофер — без раздумий и ладно. Извекову он понравился бережливостью движений. Зубинский тщательно оправлял и перетягивал на себе свои опояски. Доброволец, всю дорогу не вымолвивший ни слова, следил за ним недружелюбно.

Кирилл несколько раз вынул часы, прохаживаясь по береговому обрыву. Проехали уже больше половины пути, но остановка подрывала этот успех. Понемногу Кирилла начала раздражать возня Шубникова с колесом, расчетливость его работы стала казаться умышленной — он что-то слишком долго накачивал камеру.

— Давайте поживее, в очередь,— предложил Кирилл.

— Отчего же? — согласился Зубинский и принялся изящно расстегивать портупею.

Наблюдая его плавные жесты, Извеков чувствовал, как росла и теребила душу неприязнь к особе этого вышколенного франта.

— Так, значит, у вас нет охоты возиться с клопами? — спросил он Зубинского.

— Я говорил не про себя. Я — простой исполнитель, человек, так сказать, лишенный инициативы родом своей службы.

— Не скажите. Вам инициативы не занимать. Что это там вы задумали с выселением Дорогомилова из квартиры?

— А-а! Вам нажаловались? Но это дело мне подсказано самим военкомом. У нас недостает помещений для призывных пунктов. Я изъездил весь город. А ведь квартира Дорогомилова, собственно, городская, казенная квартира. И очень удобная.

— Для вас?

— Не для меня, а...

— А вы лично хорошо устроены?

— В отношении жилья? Отвратительно!

— И квартира Дорогомилова вам понравилась?

— Не понимаю, почему я, военный работник Красной Армии, должен ютиться где-то на горах, в тесовой лачуге...

— Когда Дорогомилов живет в удобной квартире,— досказал Кирилл.

— Я же не беру себе квартиру. Это сплетня. Я надеялся, военком разрешит призывному пункту выделить для меня комнату.

— И вы доложили военкому об этих планах?

Зубинский вздернул плечами. Он уже стоял в одной фуфайке и, вывернув снятый френч, опустил его на аккуратно сложенные при дороге свои ремни и маузер. Он пошел к автомобилю, взял из рук Шубникова насос, вытянул поршень, приостановился с растопыренными локтями, сказал:

— Вы, товарищ Извеков, мало меня знаете. Зубинский доводит дело до конца, прежде чем докладывать. Какой толк, если я сейчас доложу, что шофер качает воздух? Будет го-

тово — я отрапортую: товарищ комиссар, машина исправна, можно отправляться!

Он энергично навалился на поршень...

Проехали, после этой остановки, еще около часа, когда мотор вдруг стал давать перебои. Шубникову пришлось им заняться (не ладилось с зажиганием), и опять все вышли на дорогу.

Кудрявые палисады деревушки тянулись по сторонам большака. Народ высыпал посумерничать на улице, автомобиль скоро собрал вокруг себя любопытных ребятишек.

Зубинский, скучая, отошел к крестьянам, которые держались поодаль. Вернулся он к машине возбужденным, что-то даже для своих привычек слишком усиленно охорашиваясь.

— Слышно что новое? — спросил Извеков.

— Новости с бородой царя Гороха, товарищ комиссар. Медвежья берлога! Торговался, хотел достать молока. За деньги не дают — на соль меняют. Скорее бы Вольск!.. Как у тебя, Шубников?

Виктор Семенович попенял, что не было времени заняться мотором перед отъездом и надо теперь просматривать контакты.

— Жалко «бенца», запорешь такой ездой.

Мотор, однако, заработал, и снова все расселись по местам. Никто не заговаривал. Дорога шла на восток, уже темный и остуженный. Чаще начали попадаться перелески, иногда массивные, глухие. Зажгли свет. Мир сразу сузился до обрубленной по сторонам ярко-белой прорези, навстречу которой, медленно вырастая и мигом рушась в мрак, неслись придорожные столбы.

Вблизи города, на виду у станционных огней, мотор опять отказал. Шубников выругался. Ровная тьма опоясала машину, как только выключили фары. Зубинский карманным электрическим фонариком взялся светить Виктору Семеновичу, который, подняв капот, уткнулся в мотор.

Кирилл, подавляя злобу, шагал по обочине, то скрещивая руки на груди, то закладывая их за спину. Внезапно он остановился.

Склоненные над мотором лица Шубникова и Зубинского были освещены неподвижным лучом фонарика. Зубинский, опустив глаза, рассерженно что-то говорил Шубникову, отвечавшему кратко и недовольно. Мотором они явно не занимались. Необычайными показались Кириллу ноздри Зубинского — очень остро прочерченных, почти вывернутых над кончиком носа линий.

Кирилл окликнул добровольца, тихо сказал ему, чтобы он не отходил далеко, и подошел к Зубинскому.

— Пока мы тут возимся, надо узнать, известно ли на станции, где находится эшелон. Ступайте, справьтесь.

— Слушаю, товарищ комиссар.

— Дайте фонарик, я посвечу шоферу.

— А как же мне, товарищ комиссар, по незнакомой дороге?

— Ничего, приглядитесь. Станция видна.

Зубинский молча ушел.

Кирилл приблизился к мотору.

— Ну, что у вас в конце концов происходит?

— Ума не приложу! — с отчаянием вздохнул Шубников.

— А вы приложите,— сказал Кирилл.

— Свечи в полном порядке, а искра потерялась. Нет хуже изношенных моторов. Другой раз такой ребус загадают, дьявол их раскусит!

— Подержите-ка,— сказал Кирилл, передавая фонарик Шубникову, и нагнулся над магнето.

— Магнето в исправности! — быстро сказал Шубников и отвел свет в сторону.

— Светите ближе,— приказал Кирилл.

Он снял крышку прерывателя-распределителя.

— Да что смотреть, я уж смотрел! — воскликнул Шубников, тоже берясь за крышку.

Кирилл оттолкнул его руку, взял ключ и начал отвинчивать гайку прерывателя. Шубников погасил фонарик. В тот же миг он ощутил крепкую хватку на своих пальцах: доброволец, навалившись сзади, держал его за руку, вырывая фонарик. Свет снова вспыхнул. Кирилл спокойно отвинтил гайку и вскинул глаза на Шубникова: прерыватель отсутствовал.

Доброволец навел луч на Шубникова. Нижняя губа Виктора Семеновича прыгала, пошлепывая, будто он пытался что-то проговорить и не мог.

— Кто вынул прерыватель? — спросил Извеков.

— Что я... враг себе? — вдруг охрипнув, вымолвил Шубников.

— Себе не враг.

— Я сам ничего не понимаю,— сказал Шубников, откашливаясь и стараясь улыбнуться.

— Я понимаю отлично,— сказал Кирилл.— Револьвер есть?

— Нет.

 Кирилл ощупал его карманы.

— Садитесь в машину... Нет, нет, не за руль.! Садитесь назад!

Виктор Семенович послушался без пререканий. Пока он влезал и усаживался, свет фонарика следовал за ним, потом угас. По обе стороны автомобиля встали Извеков и его помощник.

Долго никто не проронил ни слова. Печальным вздохом скользнул над головами полет полуночника, и дважды разнесся его замогильный крик. Дружнее застрекотали кузнечики. С прохладным течением воздуха наплыл запах обожженного кирпича. Со станции прилетел тоскливый гудок паровоза. Ее огни стали ярче видны. Кирилл сказал неторопливо:

— Не подозревали, что я кое-что смыслю в моторе, да?

— Ну как не подозревать! — будто с облегчением откликнулся из машины Шубников (голос его уже окреп).— Я хорошо помню, что по образованию вы — техник.

— Вон как! На что же вы рассчитывали?

— Даю вам честное слово — ничего не понимаю!

— Значит, прерыватель вынут Зубинским? О чем вы с ним толковали, а?

— Да ничего не толковали. Ругал меня, что не могу найти причину неполадки. Я, говорит, тебя рекомендовал товарищу Извекову, а ты, говорит, выходишь идиотом.

Опять наступила тишина, и ночь как будто еще больше углубилась.

— Вот уж, правда, на полную безграмотность надо рассчитывать, чтобы вынуть прерыватель,— сказал Шубников.

Кирилл промолчал.

— Напрасно меня подозреваете, я репутацией своей дорожу,— укоризненно говорил Виктор Семенович.— Это вы просто так, лично против меня настроены, товарищ Извеков. Из личных соображений.

— Что еще за чушь?! — сказал Кирилл.

— Я тоже думал — чушь, пустяки. Все, мол, давно забыто. А получается не так.

— Что — не так?

— Получается — не можете простить, что Шубников вам тропинку перешел. А ведь когда было? — травой поросло. Видно, у вас сердце неотходчивое.

— Перестаньте плести.

— Я уже давно успел от того счастья отказаться, за которое мы с вами, по неопытности, тягались. Я ведь ушел от Елизаветы Меркурьевны, товарищ Извеков. Не за что на мне вымещать сердце. Может, я своим несчастьем с Елизаветой

Меркурьевной вас от большого разочарования избавил,— кто знает?

— Довольно! Молчать! — с лютой злобой крикнул Кирилл.

И все время безмолвный доброволец вдруг прогудел хмурым голосом, как спросонок:

— Закуси язык! Ты!

Прошло не меньше получаса, пока на дороге наметилась приближающаяся тень человека, который шел вымеренным маршевым шагом. На свету все резче проступал очерк френча раструбом от пояса и контур галифе, как два серпа рукоятьями книзу.

Кирилл дал Зубинскому дойти почти до автомобиля и зажег фары. Зубинский зажмурился, поднял к глазам руку, сказал:

— Свои, свои, товарищ комиссар.

— Ну, что? — спросил Извеков.

— Поезд с эшелоном находится на последнем перегоне, прибудет минут через двадцать. А как с машиной?

— Благодарю вас,— сказал Кирилл.— Снимите ваше оружие.

— Как — снять?

— Дайте сюда оружие, говорят вам!

— Вы смеетесь, товарищ Извеков.

Зубинский шагнул вбок, выходя из полосы света.

Кирилл достал из кармана револьвер.

— Снять маузер!

Зубинский своим изысканным жестом начал медленно отстегивать громоздкую кобуру. Слышно было, как поскрипывал пояс.

— Может быть, вы все-таки снизойдете объяснить мне, что произошло? — спросил он вызывающим, но несколько кокетливым тоном.

Кирилл схватил маузер и вырвал его у Зубинского, едва кобура была отстегнута.

— Это вы мне объясните, что произошло. Когда я вас спрошу...

Арестованным приказали откатить автомобиль на обочину: машину приходилось бросить на какое-то время в темноте ночи. Затем попарно двинулись большаком — позади Извеков с добровольцем, который, насадив на деревянную кобуру маузер, держал оружие наизготове.

Еще оставалось далеко до станции, когда их перегнал грохочущий на стрелках поезд, и по числу вагонов Кирилл признал эшелон Дибича. Они застали роту в разгар выгрузки.

Дибич так обрадовался Извекову, словно расстался с ним бог весть когда, а не на рассвете минувшего дня, и — для обоих неожиданно — они обнялись.

— В роте полный порядок. А вы доехали хорошо?

— Обогнали собственную телегу.

— Поломка?

— Небольшая. Хотя натолкнулись на каменную стену. Помните? — с усмешкой сказал Кирилл.

— Каменную стену? — не понимая, переспросил Дибич и вдруг раскрыл глаза: — Зубинский?!

— Да. Я вас прошу, пошлите пару коняжек из обоза — пусть подвезут «бенца» к вокзалу. Сдадим его пока станционной охране, что ли...

Кирилл рассказал о происшествии, добавив, что арестованных необходимо взять с собой до места назначения и там разобрать дело.

— Наши первые потери в личном составе,— сказал Дибич, выслушав рассказ.

— Первые потери нашего противника,— поправил Кирилл.

— Успех разведки,— улыбнулся Дибич, глядя на Извекова с шутливым поощреньем.

— Ошибка разведки,— тоже улыбнулся Кирилл,— к счастью, вовремя исправленная.

— Я вас подвел, не отговорив брать Зубинского.

— Я поторопился,— строго закончил Извеков.— Буду осмотрительнее. А сейчас давайте действовать: мы должны еще затемно быть на марше.

25

Оставалось меньше однодневного перехода до Хвалынска, когда ранним утром разведка Дибича обнаружила красноармейский разъезд и узнала от него, что близлежащее село Репьёвка захвачено какой-то бандой. Разъезд был выслан маленьким хвалынским отрядом, пришедшим для подавления мятежа.

Подобные мятежи случались нередко, разжигаемые реакционными партиями, которые опирались на деревенских богатеев и рассчитывали на поддержку контрреволюции крестьянством. Иногда это были разрозненные вспышки, не выходившие за пределы волости или одного села. Иногда мятеж распространялся на уезды или даже целые губернии.

Так на Средней Волге возникло ранней весной этого года обширное брожение в соседних уездах Симбирской и Самар-

ской губерний, получившие известность под именем чапанного восстания. (Чапаном зовется верхняя одежда волжских крестьян, в иных местах называемая азямом, армяком. Ходит шуточная побасенка: «Мы ехали?» — «Ехали».— «На мне чапан был?» — «Был».— «Я его сняла?» — «Сняла».— «На воз положила?» — «Положила».— «Да где ж он?» — «Да чаво?» — «Да чапан».— «Да какой?» — «Да-ть мы ехали?» — «Ехали».— «На мне чапан был?» — «Был...» И так далее, как в сказке про белого бычка.) За чапанами стояли партии правых и левых эсеров, выбросившие лозунг «освобождения Советов от засилия коммунистов» в целях мнимой защиты конституции РСФСР. Для большей мистификации чапанам раздавались знамена с провокационными надписями: «Да здравствуют большевики! Долой коммунистов!» Кроме того, восставшие кулаки оснастили свою агитацию призывами к защите православия. Чапанный комендант города Ставрополя Долинин первое свое воззвание к крестьянскому населению начал словами: «Настало время, православная Русь проснулась»,— и закончил: «Откликнитесь и восстаньте, яко с нами бог». Имя бога комендант начертал по правилу новой орфографии, со строчной буквы (очевидно, во внимание к объявленной приверженности Советам), но борьба за всевышнего, за иконы и за всяческую святость составляла важное подспорье в действиях чапанов, и тот же Долинин предписывал в одном из объявлений: «Приказываю гражданам, что по приходе в присутствие головной убор должен быть снятым, так как это есть первый долг христианина». Чапанное восстание было подавлено местными силами через неделю после возникновения. Но отзвуки его еще долго таились в разбросанных деревенских углах лесного и степного Поволжья.

Богомольный разбой чапанов был частью российской Вандеи, так и не объединившейся в целое, несмотря на множество отчаянных попыток в годы гражданской войны — на Волге, на Украине, на черноземной Тамбовщине — обратить крестьянскую массу в стан контрреволюции. Мятежи случались грозные, затяжные, стоили большой крови. Но им не суждено было вылиться в решающие битвы. Участь будущего удерживалась в руках регулярной Красной Армии, сильнейшим противником которой оставались регулярные армии белых. Кулаческие восстания вспыхивали и разгорались, гасли и тлели в зависимости от событий на фронтах, и часто это были только крошечные угли, рассеянные бурей войны, зароненные в неведомую глушь деревень.

 Едва разведка Дибича принесла донесение, что в Репьёвке

находится противник, как была установлена связь с хвалынским отрядом, вышедшим на подавление мятежников. Во главе отряда стояли военком и член уездного исполнительного комитета, которым было известно о движении из Саратова сводной роты. Встреча командиров отряда и роты произошла на широком бугре, к югу от Репьёвки, откуда хорошо видна была вся местность.

Репьёвка находилась в низине, оцепленной с севера и юга отлогими холмами. Село густо затенялось садами, переходившими на западе в покрытую лесом материковую возвышенность. На востоке тянулись береговые кряжи, крутизна которых обрывалась к Волге. Низину пересекал большак. Спускаясь с южного и северного холмов, от большака отбегал проселок, терявшийся в садах, а потом, в виде главной улицы, деливший Репьёвку надвое. В центре села через бинокль виднелась базарная площадь — с церковью под васильковыми куполами, с волостной избой, трактиром, школой, ссыпным амбаром.

Позиционное положение мятежников казалось крайне невыгодным в охваченной высотами ложбине. Единственное преимущество занятого ими села составляли сады и близость леса. О численности мятежников соседние деревенские обитатели говорили спорно: кто ценил число в полсотню, кто в сотню человек. О происхождении банды тоже нельзя было судить с точностью. Одни говорили, что это зеленые, то есть дезертиры, явившиеся из леса. Другие уверяли, что — мироновцы. Третьи божились, что — репьёвские кулаки, отказавшиеся сдавать хлеб по государственной разверстке. Скорее, правы были все вместе, хотя сведений о мироновском мятеже не поступало, кроме слуха, принесенного хвалынцами,— что Миронов разбит на Суре и конники его разбегаются.

Было принято решение о совместных действиях роты и отряда под общей командой Дибича и о создании революционной военной тройки, в которую вошли Извеков и хвалынские военком и член исполнительного комитета. Дибич тотчас, в сопровождении верховых, поехал выбирать позиции, а ревтройка приступила к решению очередных дел — сразу же, как обычно, возникла неизбежная очередь дел.

Первым в этой очереди Извеков доложил дело с саботаже шофера Шубникова и бывшего офицера Зубинского. Преступление было подсудно военному трибуналу. Правомочия такого суда в обстановке мятежа ложились на ревтройку, и она признала, что разбирательство не может быть отложено.

Это высшая власть мгновенно зародившегося маленького фронта, в ряду десятков других фронтов, расположилась в крестьянской избе с оконцами на волнистые прибрежные горы, которые покоились в безветренном чистом полдне.

Когда в избу ввели Зубинского, воцарилась длительная тишина. Зубинский осунулся за время пешего перехода, но запыленный его костюм по-прежнему казался недавно разглаженным и ловко облегал прямой корпус. На нем не было пояса и портупеи, и на фуражке не алела рубиновая звезда. Он глядел на Извекова не мигая.

Кирилл сказал:

— Вы находитесь перед революционной военной тройкой, которая вас судит за совершенное вами преступление против Советской власти. Назовите себя полностью по имени и расскажите о своем происхождении.

Зубинский выполнил требование без запинки. Кончив, он вздернул бровь и спросил с подчеркнутой субординацией:

— Разрешите узнать, какое преступление вы хотите мне вменить?

— Вы обвиняетесь в злостном саботаже. Желая нанести вред Красной Армии, вы умышленно вывели из строя принадлежащий сводной роте, в которой вы служили, автомобиль.

— Каким образом? — удивился Зубинский.

— Объясните суду, что вы сделали, чтобы причинить поломку машине.

— Я не могу объяснить то, чего не делал.

— Какую цель вы преследовали, тайком вынув прерыватель из магнето?

— Я первый раз слышу, что существует какой-то прерыватель. Где он находится? Может быть, сидя с шофером, я задел что-нибудь ногой? Я ничего не понимаю в машинах. Я понимаю в лошадях.

— Вы отвечайте: зачем понадобилось испортить машину? — нетерпеливо спросил военком.

— Я не могу на это ответить, потому что это дико — портить машину! Я предпочитаю ездить, а не ходить.

Извеков проговорил настойчиво:

— Мы находимся на фронте. Вы — военный, и понимаете, что происходит. На войне мало времени для следствия. Отвечайте кратко. О чем вы шепотом договорились с Шубниковым во время подстроенной остановки, когда он смотрел мотор?

— Я не хотел говорить громко, что он — болван. Я говорил, что ему несдобровать, если он не найдет поломку. Мне стыдно перед вами, товарищ комиссар...

— Я вам не товарищ.

— Ну, я понимаю, в данный момент — граждане судьи, так? Я сказал Шубникову, что отвечаю за него перед товарищем Извековым. За свою рекомендацию.

— С какими намерениями вы рекомендовали Шубникова?

— Его считали классным механиком. Я думал — это так и есть. А потом, признаться, рассчитывал, что уж за своей собственной машиной Шубников ухаживать постарается. Чай, жалко!

Зубинский одернулся и чуть заметно повел уголком губ. Кирилл вскинул на него настороженный взгляд.

— Что значит — собственной машиной?

— «Бенц» был его собственностью. До революции.

— Почему вы это от меня утаили?

Оба других члена тройки, точно по сговору, повернули головы к Извекову. Он взял карандаш и завертел им, пристукивая по столу то одним, то другим концом.

— Я с седла не слезал двое суток,— ответил Зубинский.— Некогда было особенно размышлять. Рассчитывал, Шубников не подведет. А получилось...

— Что получилось? — пытливо спросил военком.

Новое обстоятельство вселило в Извекова смущение. Он все постукивал карандашом. То, что он взял Шубникова в поход, словно оборачивалось теперь против него самого. Он обязан был ближе узнать Шубникова, а не отмахиваться только потому, что этот человек был ему лично неприятен. Недоставало времени, это правда. Но спросить, какое отношение имеет Шубников к автомобилю,— для этого не надо было времени. Теперь следствие усложнялось. Впрочем, не наоборот ли? Не упрощалось ли? Что должен вообще делать следователь? Искать решение задачи собственными умозаключениями? Подсказывать обвиняемым возможные выводы из дела? Что другое, а Кирилл не готовил себя к работе следователя. И вот он — следователь и одновременно судья. Прежде как будто эти функции строго разделялись. Может быть, только по видимости? Судья ведь тоже ведет следствие, которое является окончательным, решающим для вынесения приговора. Кирилл должен расследовать, судить, вынести приговор. По долгу совести перед революцией. Это не дознание, не следствие в прежнем понимании, не суд по царскому своду законов.

Это суд революции. И Кирилл не следователь такого-то класса. Не коллежский асессор. Он — революционер. Он должен думать не о букве, но об интересах, которым служит, о кровных интересах революции. И, таким образом, дело саботажников Шубникова и Зубинского...

Вдруг Кирилл остановил нервное движение руки. Он держал карандаш и глядел на остро отточенный графит, которым были немного испачканы кончики пальцев. Он слегка улыбнулся.

— Что же получилось? — повторил он вслед за военкомом и, вынув платок, стал медленно стирать графит с пальцев.

— Получилась ошибка...— отвечая тоже легкой улыбкой, сказал Зубинский.

— Не ошибка, а преступление,— суровее проговорил Извеков.

— Если преступление, то не мое.

— Чье же? Яснее.

— Не знаю. Речь ведь обо мне и о Шубникове. Я не совершал преступления.

— Вы обвиняете Шубникова?

— У меня нет оснований.

— Вы давно знакомы с ним?

— Одно время я увлекался бегами, он тоже. Потом он увлекся автомобилем, и мы видались только случайно. Он спортсмен.

— Он спортсмен! — вдруг вскрикнул член исполкома и покосился на Извекова точно с сожалением и какой-то неожиданной догадкой.

— Нельзя представить, что Шубников нарочно испортил машину. Все равно что я лошади насыпал бы в овес стекла.

— Однако ведь испортил? — спросил Извеков.

— Может, он, правда, пожалел «бенца»,— будто между прочим предположил Зубинский.— Боялся, поди, что на фронте машина погибнет.

— Понятно,— еще более нетерпеливо, чем раньше, выговорил военком.— Вы показали, значит, что автомобилю причинена поломка, чтобы его нельзя было применить на фронте.

Зубинский поднял выделанные плечи своего необыкновенного френча.

— Если бы я капельку был в этом уверен, я сам поставил бы Шубникова в ту же минуту к стенке!

— По-моему, ясно,— сказал военком.

Все члены тройки переглянулись, и Кирилл приказал увести Зубинского.

Допрос Шубникова протекал в неуловимо изменившемся настроении суда, внесенном самим обвиняемым. Виктор Семенович держал себя всполошенно, озирался на конвойного, будто все время ждал какой-то внезапности, перебивал сам себя, не досказывал начатое. Он словно не мог угадать, какой надо взять голос — повыше или пониже. Одно он понимал ясно (и это горело в перетревоженных его глазах), что дело идет о всей его судьбе, которую вот тут же могут навсегда загасить легко, как спичку. Показывая о своем сословии и прочем, он остановился и спросил в полнейшем недоумении:

— Как такое — судить на дороге? Судят в установлениях, в городе, по форме. А тут и чернильницы нет!

Ему объяснили, что он на военной службе, но он запротестовал:

— Никогда не был! Освобожден по эпилепсии. Эпилептик. Белобилетник. Вот смотрите.

Он вытянул из-за жилетки кипу бумажек, поношенных и свежих, разбросал их по столу, ища и не находя, что нужно. Руки его плохо слушались.

Член исполкома собрал бумажки, отдал их Шубникову, сказал:

— У меня к обвиняемому один вопрос, к делу не имеющий, правда, отношения. Так, ради частного интереса. Поскольку я сам любитель спорта. Скажите, Шубников, это верно хвастал здесь нам Зубинский, что он в Саратове первый спортсмен был по автомобильной езде?

— Врет! — вскричал Шубников, замахав руками.— Он все врет! И не садился за руль! Какой он спортсмен! Он и лошадник дутый. Всегда потихоньку вызнавал, на какую лошадь я ставлю. Спросите в Саратове... я говорю, правильный суд может быть только в городе. Там свидетели. Они скажут, кто у нас первый автомобилист!

— А кто? — спросил член исполкома.

— А свидетели покажут кто! Шубников, вот кто!

— Зубинский, значит, не понимает в автомобилях?

— Он в портных понимает! — с презрением вырвалось у Шубникова, но он осекся, тускло уставился на Извекова и сбавил тон: — Нынче моторы стали каждому доступны. Не мудрено научиться.

Не отводя взора от Извекова, он блаженно ухмыльнулся:

— Бывает, человек не автомобилист, а в моторе разбирается. Может, и Зубинский так же вот... Он для меня загадочный.

— Вы спортом занимались на собственном «бенце»? — спросил член исполкома.

Шубников обернулся на дверь, подумал.

— На разных марках.

— «Бенц», который вы поломали, принадлежал прежде вам?

— Я не ломал. Зачем ломать? И марка по-настоящему не «бенц», а «мерседес-бенц», если вы спортом занимались.

— Отвечайте на вопрос: это ваш «бенц»? — спросил Извеков.

— Не мой, а советский,— опять поднял голос Шубников.— Зубинский, что ли, наговорил? Ну да, был мой. Был мой, ходил как часы Мозера.

— А потом вы его испортили?

— Я! Все я, я! Без меня было бы у саратовского Совета кладбище, а не гараж. На мне на одном все ремонты, а говорят — я ломаю. Я советскую собственность поддерживаю. Советская собственность живет короче частной в четыре раза. Это статистика установила, если хотите знать. Я предупреждал товарища комиссара, когда выезжали, что мотор изношенный. Кто износил? Я, что ли? Я нанялся в гараж жизнь советской собственности поддерживать. У меня сердце кровью обливается, когда вижу, как с советской собственностью...

— Остановитесь,— перебил Извеков.— Зубинский показал, что вы выпули прерыватель, чтобы сделать машину негодной для похода.

— Зубинский врет! Он фанфарон, разве вы не видели? — закричал Шубников, наскоро вытирая ладонью рот.— Он ни черта не понимает в моторе, а говорит, что я там что-то сделал. Врет!

— Он не понимает в моторе и, стало быть, не мог вынуть прерывателя,— продолжал Извеков.— Значит, он правильно показал на вас. Признаете вы себя виновным?

Шубников огляделся, на один миг застыл, потом начал чаще и чаще обжимать губы рукой, как будто ему мешало говорить слюнотечение. Глаза его потемнели.

— Раз вы сами не отвечаете, зачем вы это сделали, тогда нам остается положиться на Зубинского. Он показал, что вы намеревались уберечь свою бывшую собственность и для этого вывели мотор из строя. Ответьте теперь: вы собирались затем дезертировать, да?

— Ну, ладно,— тихо произнес Шубников и тряхнул головой.— Ладно. Зубинский наврал, чтобы меня потопить. Он

думает, если я из купцов, так мне не поверят. Ладно. Он тоже не пролетарий. Ладно.

— Говорите яснее.

— Я говорю ясно,— громче, но малораздельно сказал Шубников.— Как на присяге. Перед Евангелием. И прошу записать. Хоть карандашом, все равно. Записывайте.

Он расстегнул ворот рубашки. На губах его двумя белыми точками показалась густая слюна. Он дышал громко, и слова вырывались скороговоркой.

— Зубинский хотел перебежать к белым. Я не хотел. Он угрожал, сказал, что пустит мне в затылок пулю. И что никто не узнает. Сказал, что на машине можно в одну ночь докатить до белых.

— Когда он это сказал? — спросил Извеков.

— На остановке. На последней. Он узнал в деревне, что в Пензе белые. Мужики уже ждут. Когда мы стояли у деревни, они сказали. И что идут на Саратов. Все кончено с красными, сказали ему мужики.

— Кто идет на Саратов?

— Мироновцы. Он не успел толком пересказать. Торопился. Сказал, что рассуждать поздно. Вот и все. Все он. Зубинский. Вот, теперь пусть.

Шубников вздохнул на всю избу.

— И он велел вам вынуть прерыватель?

— Он сказал: ты ковырни там, что надо.

— И вы вынули прерыватель?

— Товарищи! — вскрикнул Шубников.— Товарищ Извеков! Как вы можете говорить, будто я вынул! Это под револьвером, под страхом смерти! Да разве я волен был вынуть или не вынуть?

— Вы вольны были вовремя заявить мне об измене,— сказал Кирилл.— Когда Зубинский ушел на станцию, он был больше не опасен для вас.

— Так ведь Зубинский унес с собой на станцию прерыватель в кармане! — с отчаянием воскликнул Шубников.

На мгновение все смолкли.

— Но вы обманывали меня и покрывали Зубинского,— сказал Кирилл.

Шубников наклонился, словно готовясь упасть на колени.

— Виноват. В этом виноват. Побоялся. Не думал, что вы, товарищ Извеков, великодушно поверите. Все равно, думал, из личных наших отношений не захотите простить.

— О каких отношениях вы? — жестко сказал Кирилл, и лицо его стало медленно желтеть.

Опять оба члена тройки пристально посмотрели на него.

— Не буду же я в данном обществе рассказывать,— пробормотал Шубников со своей простецко покорной улыбочкой.

— Вы еще наглец к тому же! — не выдержал Извеков.— Признаете ли вы, что у вас с Зубинским был сговор в Саратове — перебежать к белым?

Шубников вытянул руки, словно обороняясь, и на миг остался в этой позе:

— Нет, нет, не предумышленно! То, что я здесь показал,— святая правда. Жертва чрезвычайной обстановки. Действовал под угрозой. И все. Сам никогда бы на это не пошел. Я — человек слова. Раз взялся служить Советской власти, значит, служу.

Военком сказал мрачно:

— По-моему, ясно. Обвиняемый умышленно привел машину в негодность и признался, что сделал это своими руками.

— То есть как — своими? Моими руками насильник действовал! Никак не я! Я жертвой сделался! За какую вину меня на одну доску с Зубинским ставите?

— Вы узнаете из приговора, за какую вину отвечаете,— сказал Кирилл и взглянул на конвойного.— Уведите его.

— Как из приговора?! — захлебываясь и налегая на стол, выдохнул Шубников.— Из приговора поздно! Я хочу сейчас. Чтобы очевидно, чья вина. Если меня преступником выставляют, я требую очной ставки!

— Я полагаю — излишне? — обратился Кирилл к членам тройки.

— Излишне? — на неожиданной истеричной ноте вскрикнул Шубников.— Что ж, выходит, Шубникова жизнь излишняя? Вам-то она, товарищ Извеков, наверное, всегда была излишня! Не можете мне Лизу простить! Теперь я к вам в руки попал, да? Выместить злобу решили, да?

— Я вас заставлю молчать! — тихо перебил его вопли Кирилл.

— Рот мне затыкаете, а? Из личной ненависти, а? Не-ет! Не на такого напали!

Шубников рванул на себе и отодрал ворот рубахи. Губы его дергались, взгляд блуждал мрачно. Вдруг он закатил глаза, взвизгнул и, побелевший, не сгибая колен, со всего роста повалился на пол. Его начало корчить, голова запрокинулась, дыхание почти остановилось, только изредка выталкивал он кряхтящие стоны. Бумажки высыпались у него из-за пазухи и усеяли половицы.

 Все встали и молча смотрели за ним. Военком не спеша

скрутил цигарку, закурил и, подымливая, косил глазом на искажаемое гримасами лицо Шубникова.

— Может, его — на воздух?— спросил взволнованный Извеков.

Ему не отозвались, и еще минуты две, так же молча, все продолжали наблюдать припадок. Потом, в спокойствии, но немного брезгливо, военком сказал:

— Такие нам знакомы. Есть, которые гораздо натуральнее работают. Даже врачи затрудняются.

Он отошел к окну, полуобернул назад голову и сквозь дым процедил:

— Вставайте, Шубников. Все ясно.

Но Виктор Семенович забился еще сильнее.

— Оттащите его в сени,— приказал Извеков, и конвоир приставил винтовку к косяку, подхватил Шубникова под мышки и выволок его из горницы.

В начавшемся после этого совещании вся тройка единодушно признала, что вина Шубникова установлена полностью тем, что он один физически выполнил акт саботажа. Что же касалось Зубинского, то соучастие его в деле устанавливалось лишь косвенно свидетельством Извекова о разговоре Зубинского с Шубниковым в момент совершения вредительства. Показания Шубникова на Зубинского могли быть продиктованы стремлением облегчить свою вину. Не исключалась даже и клевета, как месть за то, что Зубинский выдал Шубникова. Кроме недостаточности улик против Зубинского (в виновности которого тоже никто не сомневался), возникла опаска, что за человеком такого пошиба мог тянуться хвост других преступлений и что скорое решение помешает их раскрытию. Постановили поэтому дело Зубинского выделить и, если позволят обстоятельства, препроводить арестованного в Саратов.

В совещании не проявилось никаких разногласий, и уже встал вопрос о мере наказания, когда вдруг Извеков заявил, что он примет те предложения, которые будут на этот счет сделаны, но подписать приговор Шубникову отказывается.

Произнося это слово — отказываюсь,— Кирилл был готов встретить изумление. Но как только оба члена тройки смолкли, он невольно опустил взгляд и притих так же, как они. Потом он превозмог себя и, не дожидаясь расспросов, прибавил:

— Должен отказаться по личным мотивам.

Но слова его не разрешили, а как будто еще затянули тяжелое безмолвие.

— Вы оба слышали, Шубников утверждал, будто я свожу с ним личные счеты. Я не хочу, чтобы у вас или у кого бы то ни было осталась тень подозрения, что это так.

— Но ведь ты судил? — сказал наконец военком.

— Я не мог предвидеть, что мое право судьи будет подвергнуто сомнению. В сущности, подсудимым сделан отвод судье.

— Хе! — усмехнулся член исполкома.— Какое тебе дело до этакого отвода? Контрреволюционеры отводят всю революцию.

— Я не о признании нашего права белогвардейцами. Но революционер должен быть вне подозрений, что действует хотя бы косвенно из личных мотивов.

— Да что у тебя с ним, любовные дела? — бесцеремонно спросил военком.

Как всегда, смуглость Кирилла, если он бледнел, переходила в желтизну и сейчас приняла даже зеленоватый оттенок. Глаза его необычно вспыхнули.

— Вот именно,— сказал он, нажимая на каждый слог.

— Жену увел? О Лизе-то говорил, а?

— Это лишний разговор.

— Да ты что, против высшей меры, что ль? — воскликнул член исполкома.

Кирилл отошел к окну. Оба товарища повернули следом за ним головы, и все увидели, как через улицу конвойный повел Шубникова, довольно бойко маршировавшего.

— Вон твой подзащитный, здоровехонек! — сказал военком.

Кирилл быстро обернулся:

— Я защищаю не его, а всех нас против него!

— Хочешь выйти с чистыми руками?

— Разве вы делаете не чистое дело? Но чистоту дела угрожают запятнать кривотолки подлеца. И я не имею права это допустить.

— Словом, уклоняешься,— чуть язвительно заметил член исполкома,— поддаешься на провокацию.

Кирилл шагнул к двери, взялся за скобку.

— Если хотите, пусть моим поступком займется партия... Против ли я высшей меры? Нет. Считаю, что другой применить нельзя. Но подписи моей под приговором Шубникову не будет.

Он стукнул носком сапога по двери и вышел.

Оглядевшись, он, кроме связного красноармейца, сидевшего на крыльце, нигде не заметил людей из роты — дворы, ули-

ца, дальние холмы за деревней были пусты. Он перешел дорогу, миновал две-три избы и очутился перед садом с развалєнным плетнем. Он вошел в сад.

Тут никто не хозяйствовал. Среди заросших осотом лунок корягами торчали когда-то расколотые тяжестью плодов стволы яблонь; в междурядьях кусты крыжовника зло топорщили свои колючие плети, увитые цветущим белым вьюнком.

Кирилл остановился перед сломанной яблоней. Обломок молодого ствола вышиной по грудь нес на себе большую ветвь, простертую, точно человеческая рука, вбок и кверху и страстно засыпанную листом. На одной половине ствола древесина была совсем обнажена и уже засыхала, на другой — лента коры подогнула свои края внутрь, силясь плотно прикрыть еще живую часть ствола.

Кирилл положил руку на мозолистый слом дерева. Ему казалось, что все внимание сосредоточилось на мельчайших впечатлениях, которые давал заброшенный сад. Но за поверхностью этих впечатлений непрерывно работала мысль о том, не уступил ли он мимолетной слабости и не правы ли его товарищи, говоря, что он уклонился от выполнения долга. Кому-то он должен будет дать отчет в своем поступке. Кто-то будет его судьей, как он был судьей Шубникова.

С необыкновенной яркостью увидел Кирилл направленный на него взор Аночки. Конечно, она, может быть, не скажет, но непременно подумает, что Кирилл ненавидел личной ненавистью мужа Лизы. Может, придется встретиться в жизни с самой Лизой. И она, наверное, не скажет Кириллу, но подумает: это он отправил на тот свет отца моего мальчика. И мать Кирилла тоже, может быть, промолчит, но отведет глаза в сторону и подумает: было бы лучше Кириллу не порождать молвы, что он мог действовать из личных побуждений. А разве у тех же товарищей, которые разбирали с ним дело Шубникова, не останется в памяти, что в это дело замешалась какая-то интимная история Извекова? Любовная история, как выразился военком, то есть что-то недоступное постороннему глазу, скрытое, потайное.

Но неужели факт неподписания приговора имеет какой-нибудь смысл, кроме чисто внешнего? Шубников сам себе вынес приговор своим преступлением. Кирилл со всей глубиной убежденности находит правильной для Шубникова высшую меру наказания. Меняется ли что-нибудь по существу от того, что Кирилл не даст своей подписи? Да, меняется многое. Меняется то, что отказом подписать приговор Кирилл разоблачает клевету, будто Шубников — его жертва. Разоблачается

ложь, которая стремится нанести вред солдату революции, значит, самой революции. Нет, нет, Кирилл прав!

Внезапное предположение обеспокоило Кирилла: а что, если Шубников останется жить? Ведь могут же судьи применить более мягкую меру наказания? Не будет ли тогда Шубников торжествовать, что его провокация увенчалась успехом?

Кирилл туго зажал в кулаке обломанный ствол яблони. Ощущение руки вернуло его к внешнему миру. Он опять оглядел засыпанную сырым листом ветвь. Странно было, с какой жаждой жизни эту ветвь простирал к небу жалкий обломок ствола. Дерево было обречено на гибель, но с тем более жгучей страстью цеплялось оно за существование и последней, уродливой лентой коры, почти уже с невероятной силой обилия, питало, насыщало единственную еще пышную ветвь. Выживет ли она? Нет. Какой-то крошечный срок она еще будет набирать новые почки, высасывая свои остаточные соки, когда уже омертвеет и превратится в полено исковерканный ствол. Потом она сбросит с себя пожухшие листья, чтобы никогда больше не зазеленеть. Если уж нужно возрождать такой полуумерший сад, то первым делом надо выкорчевывать старые пни и поднимать заново всю землю.

Кирилл сказал вслух:

— Нет, конечно, присудят к высшей мере...

Вдруг он услышал сухой выстрел.

Он осмотрелся. Позади соседнего с садом двора он увидел амбар и перед ним — красноармейца с винтовкой, который, в необычайной спешке, бросился к двери амбара и начал вытягивать засов. В ту же секунду Кириллу пришла на ум догадка, что в амбаре содержатся арестованные — в этом направлении конвойный повел Шубникова после допроса. Кирилл побежал на помощь.

Это был крепкий бревенчатый сруб, с узкими прорезями под крышей вместо окон, из тех ладных небольших амбаров, какие ставят крестьяне либо впритык к дворовым навесам, либо на задах, поодаль от двора, и куда ссыпают зерно.

С утра здесь поместили Зубинского с Шубниковым, и они, впервые после ареста, получили возможность переговорить без помехи. Пока шли из Вольска, в колонне и на привалах, они все время находились на людях.

Перед допросом разговор их сначала носил недружелюбный характер. Шубников обвинял Зубинского в торопливости, а Зубинский всю неудачу взваливал на Шубникова, слишком грубо-очевидно, в расчете на дремучую глупость, нару-

шавшего работу мотора. Понимая, что печального положения, в каком они находились, попреками не изменишь, Зубинский и Шубников замирились и попробовали обдумать побег. Они пришли к выводу, что необходимо выждать, когда рота будет втянута в дело, а пока кругом тихо — понапрасну не испытывать судьбу. Затем разговор уклонился в лирику, и особенно Шубников изливал свою душу, вспоминая о золотых недавних днях. Под конец, скучно пережевывая пшеницу, которую наскребли в закроме, он даже всхлипнул:

— Сколько талантов пожрала проклятая междоусобица! Возьми меня. Какой талант! Эх, какой талант! А что толку, когда в наших исторических данных все дарование целиком уходит на то — как бы увернуться от тюрьмы?!

— Вот и не увернулся,— подлил масла Зубинский.

— По чьей вине? По твоей!

Опять они поссорились.

Для обоих было неожиданностью, когда явился конвой и неизвестно куда увел Зубинского. Он успел только шепнуть Шубникову: «Не признавайся в случае чего!» Возвратившись, он сказал, что судит ревтройка и что он все обвинения начисто отрицал. «Смотри, держись»,— напутствовал он Шубникова.

После допроса их уже не сдерживали ни осторожность, ни надежда, что они еще будут друг другу полезны. Ожесточение было единственным чувством, которым они пытались подавить отчаяние. Если бы они не набросились друг на друга с низкими ругательствами, им оставалось бы только трястись от ужаса. Страх они переключили на ярость. С ненавистью Шубников твердил, что Зубинский — предатель.

— Что заладил? Я сказал правду, что не понимаю в машине. Больше ничего.

— Нет, ты соврал, что ты первый гонщик на моторах! А раз ты такой, выходит, ты сам и навредил.

— Они тебя, дурака, вокруг пальца обвели.

— Выкручивайся. Кто же, получается, прерыватель в кармане унес, а?

— Не знаю, что у тебя в карманах напихано.

— А я знаю, что ты в свой карман сунул! И Извекову это тоже понятно, коли хочешь знать.

— Ты что, наклепал? — вдруг почти вежливо спросил Зубинский.

— А ты думаешь, я за тебя под расстрел пойду? На простофилю нарвался, хват!

— Может, я за тебя идти должен?

— Ты за себя пойдешь.

— Ну, ваше степенство, плохо еще вы мои карманы изучили.

— Не отвертишься! Как ты меня, так и я тебя! Потопить собирался? Я тебя скорее на дно пущу. Теперь уж известно, что я твоему насилию уступил. И что ты — перебежчик.

— Ценой моей головы жизнь себе покупаешь? — холодно сказал Зубинский.— Ну, так и черт с тобой, с собакой!

Шубников увидел в полумраке, как Зубинский ткнул руку за френч, под мышку, и тотчас выхватил назад. Виктор Семенович успел только раскрыть рот.

Зубинский убил его одним выстрелом в упор с необыкновенной легкостью и сделал два ровных шага к свету, проникавшему через прорезь отдушины в амбар. Осмотрев на себе френч и галифе, он обмахнулся от пыли левой рукой, а правую, сжимавшую револьвер, поднял вровень с грудью, ожидая, когда распахнется дверь: засов уже гремел, плохо поддаваясь усилиям постового.

Зубинский выстрелил, едва проглянул в амбар яркий свет, но сейчас же был сбит с ног красноармейцем, придавившим его винтовкой поперек груди.

В это мгновенье подбежал Кирилл и стал вывертывать из судорожно сжатых пальцев Зубинского плоский холодный браунинг. Сухо треснул еще один выстрел. Потом оружие перешло к Извекову. Зубинского перевернули ничком и заломили ему локти за спину. Красноармеец сказал Кириллу, что снаружи у амбара сложено надранное лыко. Длинной сырой лентой липовой коры Зубинскому скрутили руки.

Шубников лежал навзничь, широко разбросив ноги. Смертельная рана в голову была почти бескровной.

Постовому красноармейцу пуля поцарапала плечо, рукав его гимнастерки побагровел. Кирилл хотел поднять с пола винтовку. Солдат отстранил его.

— Не полагается. Вы, товарищ комиссар, скажите, чтобы меня сменили. Я с поста не могу.

Кирилл один привел Зубинского в избу.

Только теперь спохватились, что арестованные не были как следует обысканы: у Зубинского обнаружили внутренний карман, пришитый к френчу под мышкой, где он хранил браунинг. На разбор всего события ушло не больше четверти часа. Тройка нашла, что содержание Зубинского под стражей во фронтовой обстановке опасно. По совокупности преступлений его приговорили к расстрелу.

У ротного писаря достали чернил, но перо было вязкое и грязное. Кирилл старательно вычистил его.

Он первым подписал приговор прямым своим разборчивым почерком, с резким хвостом вниз у буквы «з».

26

Поутру другого дня Извеков и Дибич прорысили по позициям, осматривая расположение роты и отряда.

План Дибича, принятый тройкой, вытекал из благоприятных особенностей местности и состоял в кольцевом окружении мятежников. Хвалынский отряд остался на месте, которое занимал в момент встречи с ротой, немного спустившись с перевала северного холма под прикрытие погоста, заросшего березами. Роте принадлежали главные позиции. Часть ее отделений залегла на восток от Репьёвки, за большаком, и предназначалась для лобового удара. Другая часть растянулась по южному холму, довольно кустистому, переходившему на западе в лесной массив.

Этот лес на материковой возвышенности был малодоступен с флангов из-за густоты и отсутствия троп. Единственная лесная дорога шла прямо из Репьёвки и находилась в руках мятежников. Лазутчикам удалось заметить на заре передвижение противника по этой дороге: банда садами отступила из села и заняла лесную опушку на возвышенности, оставив в Репьёвке только свой заслон.

Выяснилось, таким образом, что, во-первых, полное окружение трудно достижимо из-за природного препятствия с запада и, во-вторых, что противник готовится либо принять бой в лесных условиях, либо рассеяться в глубине бора. Извеков поэтому предложил усилить фланговые кулаки в расчете на преследование врага в лесу. Дибич согласился и ускакал на большак — снять несколько отделений с восточной линии.

Кирилл остался на южном холме, спешился и пошел перелесками вдоль позиции.

Дымки утренних костров уже исчезли, и красноармейцы занимались кто чем — порознь и горстками в три-четыре человека. Кирилл удивился, как маловнушительны были эти группы, какой реденькой цепочкой легла линия вокруг окрестности, которую предстояло захватить с боем. Когда рота двигалась колонной по шоссе, она казалась плотной силой.

Из-за кустов крушины пахнуло теплом притухшего угля, и в тот же момент донесся певучий и задорный голос:

— Был у меня кобель — умом насыпан! Гоняли мы с ним зайцо́в.

— Постой, ты чем кроешь? — перебил другой голос, поважнее.

— Козырем, чем!

— Ты зубы не заговаривай про кобеля! Козыри ви́ни, а не кре́сти.

— Ах, ви́ни! — сказал задорный.— За ви́ни извиняюсь. Ви́ней нет.

Кирилл шагнул вперед и сквозь листву разглядел поодаль костра двух красноармейцев с поджатыми по-татарски ногами. Они играли в «простого дурака», щелкая картами по шанцевой лопате, служившей вместо стола. Он сразу признал обоих.

Еще в первый день по выходе из Вольска Кирилл невольно обратил на них внимание, и Дибич рассказал ему об этих разнолетках, дружвших крепче ровесников.

Ипат Ипатьев и Никон Карнаухов во время войны служили в одной роте и в одном бою были ранены. Из госпиталя Ипат вышел раньше и опять попал на фронт, а Никон, встретив Октябрь в Москве, решил перед возвращением в деревню скопить деньжонок и занялся торговлей вразнос. Но сколько ни торговал, денег у него не прибавлялось — они дешевели скорее, чем он накидывал цены. Он все же околачивался в городе, и однажды, во время облавы на Сухаревке, его прихватил патруль, в котором был Ипат — красногвардеец. По-приятельски он выручил Никона. Угодив вскоре на фронт против чехов, Ипат был ранен в глаз, явился на лечение в Москву, демобилизовался, и Никон поселил его в своем углу. После этого они не разлучались.

Оба были саратовские, но разных уездов. Деревня Ипата находилась под белыми, в деревне Никона была Советская власть. По приезде в Саратов Ипат узнал, что попасть домой нельзя, и уговорил Никона пойти добровольцем в Красную Армию. Никон уступил неохотно — бродячая жизнь осточертела ему, он тянулся домой. Но Ипат обладал беспокойным духом убеждения, и Никон, всегда возражая, поддавался его предприимчивости.

На марше, возвращаясь не раз к рассказу об Ипате и Никоне и наблюдая их, Кирилл напомнил Дибичу когда-то изумившее толстовское разделение солдат на типы. Они отнесли Никона к типу покорных, а Ипата к типу начальствующих. Но к старым чертам русских солдат и в Никоне и в Ипате с очевидностью прибавились новые. Никон был расчетливым мечтателем и покорялся обстоятельствам, чтобы вернее уберечь

свою мечту и выйти к ней, при случае, наверняка. Ипат был типом начальствующего с явными особенностями времени — типом начальствующего революционного солдата, именно красногвардейцем, взявшим за воинский образец бойцов-рабочих. Пройдя Карпаты, отступив до Орши, приняв участие в изгнании немцев из Украины и в преследовании мятежных чехословаков, он относился к войне с притязанием понимать ее до самого корня и немного сердито, как к препятствию, которое, хочешь не хочешь, надо взять.

Глядя сквозь листву на картежную дуэль, Кирилл припомнил рассказ Дибича о первой встрече с Ипатом во Ртищеве и попутный разговор о Пастухове.

— Он тоже хвалынский,— сказал о Пастухове Дибич.

— Но в Хвалынск он не захотел,— заметил Кирилл.— Ипат-то его раскусил. Вы знаете, что Пастухов удрал из Саратова к белым?

— Я знаю, что он уехал...

Дибич не договорил, потом с какой-то виноватой тоской вздохнул:

— Жена у него красавица! Вот вернусь домой — найду себе Асю...

Он застенчиво покосился на Извекова, своротил коня с дороги и ускакал назад — подогнать отстающий от колонны обоз.

Между тем, с лихим вывертом рук хлопая картами по лопате, игроки продолжали переговариваться:

— Был он, брат, такой богатей,— докладывал Ипат, раздвигая зажатый в щепоть карточный веер,— такой богатей, что вымочит в пиве веник, да в бане и парится. Да-а...

— А кралей короля не крой.

— Это я хлопа покрыл... А под светлое воскресенье один раз... так велел мочить веник в роме. Пил когда ром? Нет? Это, брат, тройной шпирт. Сто семьдесят градусов... Так вот. Послал купить рома в ренсковой погреб. Доставь, говорит, прямо на полòк... И зажги, чтобы горел. Ром-то. И мочи. Веник-то... Вот ты опять же и выходишь дурак! Со вчерашним седьмой раз.

— Вчерашнее считать, так ты тоже не шибко умный,— сказал Никон, бросая карты и отваливаясь на локоть.

— Я беру чистый баланц. Семь раз. Соображения у тебя не прыткая. Недаром в Москве проторговался.

— А у тебя какая особенная соображения?

Ипат выпрямил ноги, лег на спину и сказал, взбросив глаза к небу:

— У меня есть всего два соображения. Как бы поохотиться, это первая. А вторая — как бы устроить правильную жизнь.

— Ты устроишь!

— Мы устроим.

— Это как же?

— Это вот как. Что́ не делится — то чтобы было общее. Скажем — лошадь не делится, тогда чтобы она и твоя и моя, и еще чья. Чтобы кажный запахал, забороновал. Это есть соображение.

— У тебя лошадь есть?

— Нет.

— Вот и видно,— оскорбленно сказал Никон и тоже повалился на спину. Подумав, он спросил: — А что делится?

— Что делится, то поровну.

Никон опять примолк.

— Я в городе повидал,— обратился он словно бы к новой мысли,— понимаю, откуда она идет. Перекроить да перерезать. Перекройщики.

— А почему тебя жить оставили? — совсем неожиданно и свирепо спросил Ипат.

— Остерегался. Кабы не остерегся, ту же минуту бы — хлоп, и готово! Город мужикам салазки загинает.

— А что́ ты без города?

— А он без меня?

— Железо на лемеха надо? Сейчас кузнец — в город. Зубья на борону. В город. Обводья на колеса. Опять же в город.

— Это причина торговая. А ручкой вертеть кто будет? Вот она, главная вещь! — хитро сказал Никон.

— Согласие с мужиками имеется — сейчас совместно за ручку. И сразу тебе — полный поворот!

— Совместно! — насмешливо переговорил Никон.— Либо баба в доме голова, либо мужик. Совместно!

Кирилл выступил из кустов, поздоровался. Оба собеседника приподнялись на корточки. Ипат сказал довольно:

— Товарищ комиссар.

— Может, присесть желаете? — конфузливо предложил Никон, растягивая за полу валявшуюся на траве шинель и прикрывая ею карты.

— У нас вышел спор,— живо начал Ипат.

— Брось,— отмахнулся Никон,— нужна наша болтовня!

— Нет, погоди! Как в настоящее время имеется союз пролетариев с деревенской народной беднотой,— без заминки

сказал Ипат, переходя на язык, который, по его мнению, был более естественным в обращении с комиссаром,— то Никон сомневается, за кем теперь главная правления будет? Потому как, говорит, либо баба, либо мужик голова, а совместно в одном хозяйстве не получается.

— Есть старая пословица,— ответил Кирилл.— Водой мельница стоит, да от воды ж и рушится.

— Это как понимать? — осторожно спросил Никон.

— Вот и понимай! — тотчас с восхищением вскричал Ипат.— Народ... он все в действие приводит. Но ты его направь на колесо. Направишь неверно, он тебе всю плотину сковырнет.

— Да ты что вперед лезешь? Пусть товарищ комиссар объяснят.

— Он верно говорит,— сказал Кирилл.— Направлять должна разумная передовая сила. Такая сила в руках рабочих.

— Видал? — опять торжествующе вмешался Ипат.— Возьми теперь белых. Идут к мужикам, а желают помещиков. Направляют куда не надо. Вот на их голову все и оборотилось.

Он с гордостью уставил почти совершенно белый свой взор на Извекова, ожидая дальнейшего одобрения. Кирилл кивнул ему. Тогда, поощренный, он задал личный вопрос, как человек, вошедший в доверие:

— Вы будете, видать, из образованных. И мы тут любопытствуем: был у вас какой умысел, что пришли к трудящей революции? Или, может, так почему?

Кирилл не успел ответить.

Винтовочный выстрел раздался в низине, быстро сдвоенный и строенный эхом в лесу, и затем с окраины Репьёвки был открыт недолгий беглый огонь по большаку и по холмам. Чуть в стороне жикнула пуля, дробно пробив себе дорогу через листву.

Никон вскочил, шагнул назад, но остановился сказал:

— Товарищ комиссар, отойдите за деревце. Так стоять очень на видимости.

Ипат легонько откинул полу шинели, подобрал с травы карты, аккуратно, насколько поддавались обтрепанные края, сложил колоду и спрятал в нагрудный карман, застегнув его на пуговицу.

— Интересуются определить наши линии,— проговорил он вдруг медлительно, на стариковский лад.— И обманывают опять же, будто ихнее нахождение в селе. А сами вона где!

Он показал отогнутым большим пальцем на лесную опушку.

— Вашим флантом командует сам комроты,— сказал Кирилл,— а мое место за большаком. Мы сегодня должны покончить с бандой.

— Как прикажете, тогда и покончим,— снова ретивым и певучим голосом откликнулся Ипат.

Он проводил Кирилла до лошади и готовно придержал стремя, помогая сесть в седло.

По пути Кирилл встретил Дибича, который вел группу бойцов, снятую с большака. Дибич был весел и крикнул издали:

— Нервничает неприятель-то! Не терпит больше молчания. Мы заговорим!

Остановившись на минуту, Кирилл и Дибич сверили свои часы, потом командир подал руку открытой ладонью вверх, комиссар громко ударил по ней, и, улыбаясь друг другу, они разъехались.

Еще ночью натянуло серых туч, они слились в завесу и осели, стало накрапывать. Безветренный, обкладной дождь — из конца в конец горизонта — топкий, как туман, внес в окрестность новые особенности, она начала на глазах меняться. Сразу посвежело, бойцы, лежа под насыпью шоссе, принялись раскатывать шинели, чтобы укрыться от дождя.

Кирилл обошел цепь, выбрал себе место посредине и лег. Все чаще он поглядывал на часы, и все медленнее, казалось, двигались стрелки.

Наступление должно было начаться правым флангом с северного холма. Хвалынскому отряду дана была задача перерезать дорогу из Репьёвки в лес и, развернувшись на запад, продвигаться садами к лесной опушке. К этому моменту приурочивалась атака Репьёвки в лоб цепью из-за большака, в расчете уничтожить заслон мятежников, отрезанный хвалынцами в селе. Решающая третья часть операции возлагалась на левый фланг, которому предстояло выйти с юга лесом в тыл главной позиции противника.

Весь план представлялся Кириллу абсолютно ясным, и он настолько уже вгляделся в местность и примерил к ней все действия, что, по его убеждению, они не могли произойти иначе, нежели по плану.

Но чем ближе подходила минута, когда правофланговому отряду назначено было открыть огонь, тем беспокойнее становилось Кириллу. Дождь затушевывал холмы, а лес

уже отделяло от Репьёвки сплошное пасмурное полотнище. И, напряженно глядя через бинокль на погост с потемневшими березами, Кирилл чувствовал, что требуется все больше и больше усилий, чтобы лежать неподвижно и не показывать красноармейцам своего беспокойства.

Знакомый голос прозвучал поблизости Извекова.

— А где комиссар?

Он, не приподнимаясь, повернулся на бок.

Ипат, держа одну винтовку за плечом, а другую — наперевес, вел впереди себя безоружного Никона.

— К вам, товарищ комиссар,— сказал он громко, остановившись под дорожной насыпью и удерживая Никона за рукав.

— Ты как ушел с позиции? — быстро спросил Извеков, не сразу поняв неожиданную сцену и удивляясь виду обоих бойцов.

В глазах Ипата, выпяченных и точно остекленных, светилась безумная решимость. Он был бледен, голова его высоко вылезла из воротника гимнастерки на обнаженной худой шее.

— Товарищ командир приказал доставить к вам дезертира Карнаухова на полное ваше решение.

— Как — дезертира?

— Да брось ты,— промямлил Никон, глядя в землю.

— Разрешите доложить?

— Скорей.

— Мне его беседы который раз сомнительны, товарищ комиссар. Тут в соседнем уезде его деревня недалеко, откуда он родом, Никон Карнаухов, товарищ комиссар.

— Короче.

— Я коротко. Он говорит, что всю, мол, войну провоевал, цел остался, а тут, мол, к порогу родному дошел — голову складать приходится. От кажного человека, говорит, какой ни на есть след останётся. Один скамеечку, заметь, сделает, другой ступеньки к речке откопает. А какое, говорит, от тебя наследство, кроме тухлого мяса?

— Да что он сделал-то? — нетерпеливо глянув на часы, поторопил Извеков.

— У меня один глаз, а я, думаю, тебя скрозь вижу! Ты, спрашиваю, в атаку пойдешь либо нет? Сам, говорит, ступай. И облаял меня. А я, вишь, к себе в деревню пойду. Ах, ты так, думаю! Сейчас его винтовку — хвать! И говорю: нет, ты, дезертирская душа, не в деревню к себе пойдешь, а к стенке! Вот куда! И прямо его к командиру. Командир мне при-

казание: доставь комиссару, как комиссар решит, так и будет. Расстрелять его, товарищ комиссар, к чертовой матери! — ожесточенно кончил Ипат.

— Ну, ясно, а что же еще? — сказал Кирилл, отворачиваясь и глядя через дорогу и потом — снова на часы.

— Ага! Слыхал? — устрашающе шагнул Ипат к Никону.

— Ты что? Перед боем вздумал товарищей предавать, а? — спросил Кирилл.

— Это все он выдумал, товарищ комиссар, — умоляюще сказал Никон. — Он горячий.

— Выдумал? — закричал обозленно Ипат. — Ступеньки к речке выдумал?

— Он давно пужал нажаловаться. Не одобрял меня. Известно, спорили. Для одного разговора только, товарищ комиссар. Вроде в карты от скуки...

Никон держался на ногах неустойчиво, как человек в новых валенках, переминаясь, и лишь изредка с укором поднимал бегающие низко глаза на Ипата.

— Так, значит, в атаку, Карнаухов, не пойдешь? — спросил Извеков.

— Как не пойти, товарищ комиссар! Служба! Не хуже Ипата солдатом был.

Кирилл хотел что-то сказать, но пулеметная очередь вопросительно разрезала насыщенное влагой пространство, оборвалась, и следом врассыпную защелкала винтовочная стрельба. Били справа — это Кирилл тотчас уловил. Он только не понял направление огня. Он глубоко набрал в грудь воздуха и не сразу мог выдохнуть. Словно острая боль приостановила его сердце, и все, что он видел, в этот миг приобрело удивительную зримость и чем-то особо ознаменованное выражение.

— А за кого ты бьешься, я тебе говорил? — спросил Ипат снисходительнее, но с оттенком презрения. — За себя бьешься. От нас пойдет новый народ. Говорил я тебе, нет?

Кирилл обернулся. Будто из другого мира взглянув на этих бойцов, он повторил в уме последние расслышанные и непонятные слова и вдруг понял их: от нас пойдет новый народ. Он спустился с насыпи.

— Если покажешь себя молодцом в бою — прощу, Карнаухов. Если нет — вини самого себя.

Он положил на плечо Ипату руку.

— Отдай ему винтовку. И смотри за ним. Передаю его тебе на поруки. А сейчас — бегом, на свои места!

 — Я по-смотрю-у! — пропел Ипат с ликованием.

Кирилл уже не видел, как они оба, прижимая локтями закинутые за плечи винтовки, побежали солдатской рысцой вдоль линии стрелков.

В бинокль погост стоял по-прежнему, как застывший, но словно расчлененный на мельчайшие подробности, в которые упорно всматривался Кирилл. Он все хотел распознать направление стрельбы — куда били, по селу или по лесу?— и распознать никак не удавалось, особенно после того, как вразброд взялась отвечать на обстрел Репьёвка, а за ней — дружнее, но глуше — скрытая дождем лесная позиция банды.

Кирилл перевел бинокль на село. Почти сейчас же, в нечаянную паузу стрельбы, до него долетели странные взвизгивания, и он увидел над полем, отделяющим шоссе от Репьёвки, мечущиеся черные стаи галок и грачей. Птицы врассыпную кружились над селом, отлетая от васильковых куполов церкви и возвращаясь к ним, и странный визг, соединенный с граем, все сильнее вплетался в ружейный треск и в короткие строчки пулеметного стука.

Все, что затем произошло, показалось Кириллу последовательным нарушением того плана, который он заранее так отчетливо себе представлял, хотя все время он старался выполнять его с неотступной точностью.

Хвалынский отряд поднялся с исходной позиции прежде положенного срока после начала обстрела. Кирилл различил на фоне берез бегущие с холма по погосту маленькие фигуры, которые, спускаясь, исчезали в зелени садов. Этот момент должен был по плану определить начало атаки с большака. Но этот момент пришел раньше, чем ждал Кирилл, и с мыслью, что все теперь не так, как нужно, он поднял над головой револьвер и, помахивая им и оглядывая вправо и влево свою цепь, прокричал: «Вперед!» Голос показался ему совершенно непохожим на тот, который хотелось услышать. Выскочив на дорогу, Кирилл пересек ее, сбежал вниз, оглянулся, увидел высыпавших на шоссе, почудившихся ему страшно высокими и растерзанными в своих шинелях нараспашку, красноармейцев и закричал еще раз: «Вперед, за мной!»

Он побежал полем, держа револьвер над головой и прислушиваясь. Сзади и по сторонам от него раздался топот грузных ног, вверху взвизгивали продолжавшие кружить птицы. Он не ощущал своего тела, хотя ноги непрерывно натыкались на борозды и кочки распаханного поля. Он что-то закричал опять и опять.

Уже добежали до половины поля, когда из-за репьёвских сараев ахнул по атакующим ружейный залп. Кирилл на бегу осмотрелся. Второй слева от него красноармеец мгновенно стал, точно налетев с разбега на незримое препятствие, сдела́л поворот всем корпусом назад и упал навзничь.

— Ложись! — крикнул Кирилл, махнув рукой книзу и падая.— Огонь по сараям!

Он еще не успел докричать команды, и не вся цепь еще легла на землю, как в ответ на залп защелкали, чаще и чаще, винтовки. Он выпустил всю обойму револьвера по какому-то амбарчику и заложил новую.

Ближний к нему стрелок — усатый, тяжелый малый в фуражке, передвинутой козырьком на затылок,— сказал:

— По коноплям цельте. Ишь расступаются конопли!

Он отвернулся от Кирилла и крикнул спокойно, как кричат за общей работой:

— За коноплями гляди! На огородах!

Зоркость его озадачила Кирилла: он не сразу отыскал взглядом темные полосы конопляников, кое-где подымавшихся до крыш сараев. Но стрелки уже нащупали цель и вели по ней частый огонь.

Кирилл вдруг заметил человека, который прытко выскочил из-за угла строения и побежал через проулок. С никогда не бывалым физическим желанием охотника по зверю — не промахнуться! — Кирилл выцелил этого бегущего человека, но он мигом исчез. Вслед за ним так же быстро перебежали проулком двое других, потом еще и еще, и усатый малый, как будто разочарованно, сказал, щелкая затвором:

— Тика́ют.

Кирилл вскочил на ноги и поднял цепь. Обгоняя его, красноармейцы добежали до огородов и, перекидывая ружья и сами перескакивая, либо переваливаясь через заскрипевшие плетни, бросились по грядам, топча лопоухие кочаны капусты. Цепь все больше сгруживалась в кучки, устремляясь в проходы между сараев, с непрерывной стрельбой и возникшими без всякой команды грозно-отчаянными криками «ура».

Кирилл бежал вместе со всеми и так же, как все, кричал и стрелял. Он видел несколько человек с винтовками, пролетевших стремглав по сельской улице, в которых он инстинктивно признал врагов и в которых не мог стрелять, потому что менял обойму. Ему попались по дороге к этой улице два других человека, которые лежали рядом, уткнувшись лицами в землю. Он перепрыгнул через них.

Он помнил только, что должен вывести бойцов на базарную площадь и там, в центре села, перебить или захватить живьем всех, кто сопротивлялся.

Но когда он выбежал на площадь, раздалась встречная беспорядочная стрельба. Он наскоро огляделся, отыскивая укрытие для своих бойцов. В это время на другой стороне площади, высыпая из поперечных улиц, из-за церкви, разбитой волостной избы, появились бойцы хвалынского отряда с такими же криками «ура», с какими выбегали за Кириллом его стрелки.

Это было решительно непонятное нарушение плана. Отряд должен был отрезать Репьёвку от лесной дороги и, не входя в село, наступать на главную позицию противника.

Кирилл побежал к хвалынцам, узнать — что происходит. Но они, не обращая на него никакого внимания, продолжали бежать площадью, на ходу заряжая ружья и по-прежнему крича. Он думал перехватить последнего из них и стал махать ему револьвером. Он почти настиг его у волостной избы. И тут остановился.

На самой дороге, поперек грязных колей, лежало распластанное тело. Это была девушка с широко раскинутыми руками, в изорванном, насквозь мокром от дождя и облепившем тело лиловом платье. Череп ее от лба и почти до затылка был рассечен, откинутая светлая коса — втоптана в колею. Верхняя половина лица — уцелевшая часть лба, закрытые глаза, переносица — все было черно от запекшейся и загрязненной крови. Но, начиная от ноздрей — очень тонких линий, приподнятой над ровными зубами молодой губки до подбородка и красивой шеи,— все это было чисто и как-то особенно мягко, как у спящей, которая, кажется, вот-вот глубоко вздохнет.

Кирилл глядел на убитую выросшими недвижимыми глазами. Необъяснимо отчетливо в ее подбородке и шее, запорошенных светящимися каплями дождя, ему виделись подбородок и шея Аночки, когда она, слушая, откидывала голову чутким поворотом.

Он расслышал всполошенный грай и визг вылетевшей из-за церковных куполов стаи галок и встрепенулся всем существом.

Площадь опустела. Красноармейцы, смешавшись в общую массу, бежали по большой улице между редко расставленных изб.

До сих пор Кирилл сверял происходящее с теми заданными в уме действиями, к которым себя готовил. Теперь

поднялось в нем до полного господства единственное стремление уничтожать и уничтожать всех, кто отвечал за кровь распластанной на грязной дороге девушки. Он сорвался с места и полетел вдогонку за своими бойцами.

Стало очевидно, что засевший в Репьёвке заслон мятежников бежал к южному холму, в надежде рассеяться по кустам. В одиночку люди стали показываться на склоне, отстреливаясь и торопясь скрыться. Но преследование велось беспощадно.

Кирилл, пробежав село и очутившись на проселке, увидел, как один из бандитов — в неподпоясанной рубахе и простоволосый — кинул ружье, поднял руки, но в тот же момент свалился наземь. Вслед за этим и другие начали поднимать руки, а стрельба наступавших не прекращалась, и Кирилл тоже стрелял, не разбирая — бросали оружие те, в кого он бил, или отстреливались.

К этому времени со стороны леса уже катился то слитный, то прерывистый шум боя, и по отдаленности огня можно было заключить, что фланг Дибича начал действовать.

Отдышавшись после почти непрерывного бега и придя в себя, Кирилл приказал брать сдающихся в плен. К нему подвели первую захваченную пару парней. Он встретился с их наполненными ужасом и жалкими глазами и тотчас отвернулся.

— Мироновцы? — выговорил он, не в силах разжать зубы.

— Не-е! Зеленые,— вместе ответили они со страшной поспешностью, чтобы скорее утвердить победителя в том, что ранг их банды самый захудалый.

— Сколько вас всего штыков?

— Меньше сотни не намного.

— Пулеметы?

— Один «максим».

Выделив охрану для пленных, которых продолжали приводить, Кирилл дал приказание собраться и построиться, хвалынцам — отдельно. Не спрашивая, он по наличному составу хвалынцев понял, что эту маленькую группу отделили от отряда для поддержки захвата Репьёвки. Среди них не было потерь. В строю у Извекова недосчитывались семерых. Санитар доложил, что четырем легко раненным сделал перевязку, и перечислил их на память. Стали называть по фамилиям убитых, и Кирилл удивился одной из них: Португалов.

— Который это, Португалов?

— Белоусый. Он один с такими усами.

— Здоровый малый? — спросил Извеков, сразу припомнив своего соседа по цепи, с таким спокойствием крикнувшего, чтобы целили по коноплям.

Кирилл неистово выругался и погрозил туда, откуда доносилась стрельба.

— Дело не кончено,— крикнул он, обращаясь к строю.— Месть за наших товарищей!

Он скомандовал идти за собой.

Молчаливо, не в ногу, прошли селом с затворенными у всех дворов воротами и с мертвыми окошками изб. Несмотря на то что быстро приближались к лесной позиции, затихавшая стрельба как будто отдалялась и становилась все менее сосредоточенной. На выходе из садов встретился связной, которого Дибич выслал узнать о положении в селе. Кирилл едва начал говорить с ним, как на лесной дороге раздался конский топот, и сам Дибич вылетел из-за поворота.

Это было первое весело оживленное, даже радостное лицо, какое увидел Кирилл за время боя.

— Вы что, на подмогу? Ну как у вас? Готово? Поздравляю! — разгоряченно и без пауз крикнул он, осаживая лошадь.— Есть потери? Ах, черт! Пленные? Сколько взяли? А мои ловят негодяев по лесу. Здорово мы их зажали! Вожака прикончили. Пулемет захватили. Все как по-писаному!

Глядя на Дибича и не успевая отвечать, Кирилл неожиданно для себя тоже увидел, что все выполнено как по-писаному. Ему только тут стало ясно, что происходившее вовсе не было нарушением плана, а было предельным беспокойством и желанием, чтобы план не был нарушен.

— А почему вы не верхом? Где лошадь?— продолжал расспросы Дибич.

— Хорош бы я был, если верхом повел в атаку по полю,— сказал Кирилл.

— Ах, верно! Я совсем окосел! — засмеялся Дибич. Вы вон как себя разделали! Ползли, да?

Кирилл первый раз осмотрел себя. Грудь и живот, колени и голенища сапог были вымазаны землей, руки исцарапаны в кровь. Он не помнил, когда поцарапался, и не ощущал никакой боли.

Надо было уступить дорогу: из леса вели пленных. Снова Кирилл столкнулся с глазами, в которых искательное выражение соединялось со смертельным ужасом. В сборных отрепьях, потерявшие, кроме чуть уловимых остатков, все, что в них некогда было солдатского, люди эти тащились мрачным шествием отверженных. И вот где-то рядом с ними Из-

веков нечаянно схватил взгляд острый и гордый — одержимый веселым вызовом, белый взгляд. Он узнал его.

Ипат Ипатьев с другими красноармейцами конвоировал захваченных в плен зеленых.

— Могу доложить, товарищ комиссар,— выкрикнул он, не сбавляя шага.— Никон Карнаухов бился плечом к плечу, как красный воин!

— Он жив?

— Живой, товарищ комиссар.

— А! Ну, хорошо. Скажи ему, что хорошо.

Кирилл усмехнулся Дибичу, и оба поняли друг друга.

— Обращенный! — сказал Дибич, тоже улыбаясь.

Они договорились о дальнейших действиях, и Дибич ускакал...

Через день в Репьёвке состоялись похороны жертв мятежа. Банда вкупе с сельскими кулаками перед отходом в лес учинила расправу над заложниками — председателем волостного Совета, продовольственным комиссаром, прибывшим из города, и учительницей — той девушкой, труп которой остановил Кирилла на дороге, во время атаки. Вместе с ними хоронили павших в бою красноармейцев.

Восемь прямых, как ящики, гробов, сколоченных из неструганных досок, стояли на церковной паперти — самом высоком месте, хорошо видном для всех. Собралось много народу из окрестных деревень, да и Репьёвка опомнилась после грозы — со всех дворов вышли на площадь люди, и кучки детей перешептываясь, с любопытством сновали в толпе.

Было очень ветрено, дождь переставал и снова принимался. Красное знамя, склоненное над открытыми гробами, тяжело покачивалось. Чем-то осенним веяло от березок и пахучих сосновых веток, которыми украсили паперть. К украшениям этим крестьянские девочки прибавили бумажные кружева, вырезанные из старых газет, желтой оберточной бумаги и набитые вокруг гробов.

Кирилл одно время долго смотрел на приподнятый тонкий подбородок убитой девушки. Лицо ее тянуло к себе, он должен был повернуться, чтобы не видеть его, и поднял глаза. Бурые тучи мчались низко, словно приземляя небосвод на окрестные холмы. Село казалось опущенным на дно громадного котла, исторгнувшего кверху клубы дыма.

Кирилл должен был открыть митинг и опять пробежал взглядом по гробам. Ветер шевелил белыми усами Португалова, и спокойное лицо солдата будто хотело улыбнуться.

 Стало очень тихо, когда Кирилл проговорил первое слово:

«Товарищи». Но, несмотря на тишину, он почувствовал, что его не слышат. Впервые он не мог совладать с голосом. И вдруг ему сжали горло слезы.

Потом гробы были подняты на плечи, толпа двинулась с пением на другой конец площади, к приготовленной братской могиле. Три ружейных залпа ударили в небо, опять вспугнув позабывших недавнюю тревогу птиц. Лес не спеша ответил на салют рокотом эха. Народ покрыл головы.

Часом позже хвалынцы провели селом пленных, построенных в колонну. Их пропустили мимо себя сидевшие на конях Извеков с Дибичем.

Пленные успели подтянуться. В осанке больше сквозило то общесолдатское, что делало их чем-то похожими на своих конвоиров. Шаг их говорил, что наступило покорное изнеможение духа, но ужас смерти миновал.

Появившееся в них сходство с красноармейцами словно обидело Кирилла, и лица пленных по-прежнему отталкивали его и наполняли тоскливой злобой. Сжав брови, он следил, как колонна вышла из Репьёвки и потянулась проселком к большой дороге, в город. Потом он повернул лошадь и, не сказав ни слова Дибичу, отъехал прочь: предстоял еще суд над репьёвскими кулаками.

27

Выкупанная дождями окрестность казалась невиданно яркой в тот солнечный день, когда Извеков с Дибичем выступили по большаку на север.

Осенние краски уже заметно вкрапились повсюду, но еще не пересилили общего землисто-зеленого фона. Трава оживилась после мокрых дней, вдруг по-майски налившись изумрудом. На ее сверкающих лужках особенно выпукло виднелись желтые лапы кленов. На черемухе одиноко вспыхивали от солнца прозрачно-малиновые, повисшие, как капли, листья. Перерытая земля огородов была лилова, а рядом с ее устало-спокойным цветом буйно отливали перламутром кудлатые гряды капусты.

Все эти отдельные пятна потерялись в неудержимом размахе пространства, едва Кирилл взял подъем изволока и, сидя в седле, оглянулся назад.

Слева уплывали вдаль береговые кряжи, вперемежку голые и курчавые, которыми начинались меловые Девичьи горы, уходившие на юг, к Вольску. За ними кое-где горела Волга.

Справа дубравились угольники и овалы чернолесья, чем дальше по материковой возвышенности — тем более темные, загадочные, как бор. Внизу, чуть в сторону от большака, расстелилась Репьёвка, обернутая в слитную зелень садов.

При виде этого сельца, угнездившегося среди живописного сожительства холмов и перелесков, в сияющей чистоте утра и в такой тиши, что за версту слышно было кукареканье петухов, Кирилл нечаянно для себя застыл. Не поддавалось никакому уразумению, что в этом селе, будто нарочно созданном для вечного мира, только что пронесся кровавый ливень, ужаснувший тех, кого он застиг, и что сам Кирилл должен был окунуться в этот ливень.

Он сидел в седле неподвижно, опустив удила, и казался себе очень маленьким перед лицом пространства, которое невозможно было сразу окинуть взором, и перед тем громадным по значению событием, в котором участвовал трое истекших суток. В эту минуту он отдавал себе ясный отчет, что в охватившей Россию гражданской войне событие где-то под Хвалынском обречено на безвестность и затеряется в общей памяти, как затерялась Репьёвка на карте земного шара. Но он так же отчетливо понимал, что это событие, обреченное на безвестность, составляет неотъемлемую тысячную часть из той тысячи частей, из которой слагается история. И, рассуждая так, он одновременно чувствовал, что ничтожное для подавляющего большинства людей событие в Репьёвке для него выражает сейчас неизмеримо много, как бы заменяя собою ход истории, и он не в силах во всей глубине уразуметь это событие, как не может сразу охватить взором все пространство, перед ним раскрывшееся с холма. Неожиданно вспомнил он поговорку: войну хорошо слышать, да тяжело видеть.

Он медленно отвел глаза от Репьёвки. К нему шагом подъезжал Дибич.

— Какое спокойствие вокруг, а? — сказал Кирилл, чтобы отвлечь себя от того, что видел в Репьёвке, и все продолжая думать о ней.

— Чудо! И ведь с каждым шагом я ближе к дому,— обрадованно ответил Дибич, придержал лошадь и тоже оглянулся назад.

По большаку, наклонившись и тяжело сгибая колени, поднимались изломанным строем красноармейцы. Это был небольшой отряд, человек в пятнадцать. Уже стало твердо известно, что нигде в уезде не возникло какого-нибудь непре-

рывного фронта, но что малочисленные шайки из числа разбитых на Суре мироновцев пробираются к Волге и производят налеты на деревни, угрозами и обманами увлекая крестьян к бунтам. Поэтому рота Дибича была поделена на отряды, которым, ставилась задача очистить ближайшую окрестность от шаек. Рота должна была затем соединиться в Хвалынске, куда направлялся и отряд во главе с Извековым и Дибичем, сохранявший значение центра для всех разбросанных групп.

Отойдя верст на пять от Репьёвки, отряд свернул с большой дороги на проселок. Путь пересекали овраги, заросшие кустарником и буерачным лесом. Там, где тянулись участки чистого леса, дорожные колеи были бугорчаты от выпиравших на поверхность корней борового дуба, и бугры мешали идти.

К ночному привалу красноармейцы притомились, кое-кто заснул, не дожидаясь ужина. Ипат с Никоном раздували костер. Мальчуганы из деревни, возле которой остановился лагерь, сначала издали, потом все решительнее подступая, следили за тем, что делалось. Винтовки, составленные в козлы, не давали их любопытству покоя.

Кирилл лежал на траве, закинув руки под голову. Серые вершинные сучья водяного дуба чередовались с сосной, стрельчатым тыном иззубрившей закатное небо. Пахло грибной сыростью низины.

Вдруг насторожившись, Ипат бросил возню с костром.

— Слыхали?

Кирилл вслушался, но ничему не мог внять, кроме плавного мычанья пригнанного на деревню стада. Ипат с задором подмигнул:

— Сейчас он у нас заговорит!

Он встал, прижал ко рту ладонь, и на нутряной, необыкновенно высокой ноте завыл. Скатываясь исподволь книзу, вой становился все сильнее, в то же время как-то противоестественно уходя в самого себя, точно заглатываемый животом, пока не перешел в басистый страшный рык. Ипат побагровел от усилия, глаза его вылезли из орбит и, налитые кровью, заискрились в зрачках. Он оборвал рык отвратительным звуком, похожим на рвоту.

Одни красноармейцы спросонья вскочили и забранились, другие начали смеяться. Какой-то мальчик выкрикнул с восторгом:

— Эх! Вот матерущий!

Ипат погрозил ему и потом, как регент, махнул растопы-

ренными пальцами на своих товарищей, чтобы притихли.

Минуту спустя далеко в лесу повис ответный вой почти с точностью на той ноте, с которой начал подвывать Ипат. И так же, но словно еще отвратительнее, наполняя весь лес перекатами рыка, вой оборвался на судорожном извержении звериного нутра.

— Сама старуха,— важно и снисходительно проговорил один из мальчуганов.

— Ага, это она, — подтвердили другие.

— Видать, много у вас их развелось?— спросил Кирилл.

— Поди-ка сосчитай! Целый выводок на натёке держится.

— Далеко? — нетерпеливо спросил Ипат.

Взгляд его перебегал с Кирилла на детей, потом на тот клин леса, где будто еще раскатывался волчий голос, и опять на детей, и снова на Кирилла. Он совсем забыл думать о костре, и в лице его появились несовместимые выражения рассеянности и сосредоточенности. Важный мальчик толково ответил:

— Рядом. Сейчас за опушкой буровичник,— буровика растет, а за ней — натёк: лесные ручьи растеклись. Там и волчишня, на натёке на самом.

— А что, товарищ комиссар, с утра облаву не разрешите поставить?— беспокойно спросил Ипат.— Весь выводок возьмем. Прибылые щенки теперь подросли, крупные будут. А может, и переярки за матерью ходят. Я с ребячьих лет волчатник.

Мысль эта тотчас вызвала страстное оживление. Все разом заговорили, что, конечно, дело плевое — взять выводок, что надо только хорошенько обмозговать, как расставить стрелков да побольше собрать загонщиков. Нашлись и кроме Ипата охотники, которым доводилось бывать на облавах, или такие, которые явно подвирали и хвастали, так что мигом вспыхнул спор, перебиваемый рассказами о разных случаях на волчьих охотах.

— Что ж, ваша деревня многих овечек недосчитывается?— опять спросил мальчиков Кирилл.

— И-и-и! Овцы да гуси — что! Как начали выгонять скотину — корову зарезали! Потом нашли рога да два копыта. Все косточки растащили.

— Почему же вы их не перебьете?

— Палками, что ли?

— А ружьишек в деревне нет? — невинно спросил Дибич и взглянул на усмехнувшегося Кирилла.

— Были. Да весной отобрали, и дробовики, и винтовки. После чапанного бунта.

— Разве у вас чапаны были?

— Нет, у нас нет, мы советские,— отозвались парнишки в несколько голосов.

— У нас не чапаны, у нас азямы,— сказал важный мальчик, и все его приятели заулыбались шутке.

— Правда,— сказал опять с нетерпением Ипат,— разрешите, товарищ комиссар, наутро обложить. Я бы сходил, повабил, определил бы ихнюю точку нахождения.

Кирилл, посмотрев на Дибича, увидел, что и командиру тоже хотелось бы попытать счастья на охоте — он так же, как красноармейцы, глядел вопрошающе, в ожидании согласия.

— Нет, придется отложить,— сказал Кирилл так, чтобы все услышали.— У нас, товарищи, есть дело, которое не терпит. Облава нас задержит. Отвоюем, тогда уж поохотимся вволю.

— Эх! — даже крякнул Ипат и, быстро отходя в сторону, запел на весь лагерь: — Да мы их в один бы мах взяли! Тут и фокуса нет никакого! Не флачки развешивать! Не медведя на овсы ждать!

И долго еще звенело его пенье вперемежку с возгласами красноармейцев, возбужденных соблазном редкого удовольствия, каким для всех казалась возможная и напрасно упускаемая облава.

Ночь прошла тихо. Только дважды противно распорол округу тоскливый, еще более страшный, чем вечером, вой, и Кирилл, просыпаясь, различал в темноте приподнявшегося человека, который, видно, маялся и не мог спать.

Перед утренней перекличкой Кирилл сразу заметил отсутствие Ипата. Но тут, один за другим, прискакали двое связных с донесениями отрядов. Нигде в ближайших окрестностях противник не был замечен, в деревнях царило спокойствие, и продвижение шло нормально.

Приняв рапорты, Извеков с Дибичем вернулись к отряду, и к нему подбежал Ипат. Все на нем кривилось: фуражка — козырьком на ухо, пояс — пряжкой набок, на вороте не хватало пуговиц, и видно было, что он черпнул голенищами воды. Он выпалил, не переводя духа:

— Рукой подать, товарищи командиры! Вот за этими березками сейчас брусничная полянка, за ней дубняк, а там мочажина, сосонкой прикрытая сперва реденько, потом гуще. Вот в самой гущине они, как есть, и находятся...

— Постой. На поверке ты был? — остановил его Кирилл.

— Точно так. Угодил как раз, как меня выкликали,— ответил Ипат, улыбаясь виновато и хитро.

— Прыткий. Кто тебе разрешил отлучаться?

— Так я же не отлучался, товарищ комиссар. Тут рукой подать. Все равно что оправиться сбегать.

— Смотри. В другой раз...

— Так ведь тут случай! Весь выводок у нас в руках, жалко не взять, товарищ комиссар, а?

Ипат глядел на Кирилла белесыми своими глазами, умоляющими, полными страстной жажды действовать.

Кирилл никогда не охотился на волков. Но в Олонецких лесах, в такую красную пору осени, ему не раз, бывало, случалось побродить с крестьянами, промышлявшими ружьишком. Нельзя было с любовью не вспомнить этих блужданий по золотым просекам, с пищиком в зубах, которому доверчиво отзывались трепетнокрылые порхающие рябцы. Кирилл глянул на лес. Утро было серое, но безветренное, и словно еще краше светились на березах первые зажелтевшие концы недвижно опущенных веток.

— Там что, болото?— спросил он.

— Какое!— воскликнул Ипат, почуяв, что дело приняло другой оборот.— Какое болото! Так себе, потное место!

— Как же ты на потном месте увяз по колено?

— По-русски сухо — увяз по брюхо,— улыбнулся Дибич.

— Да не увяз! Оступился в оконце. Ручеек растекся, полоем таким, вода собралась в ямке, я не приметил, оступился.

— Отстанем мы с твоими волками,— по виду недовольно сказал Кирилл и перевел взгляд на Дибича.

— Нагоним да еще перегоним,— уверенно сказал тот.— Наш маршрут самый прямой, раньше всех отрядов в Хвалынске будем.

— Ну, налаживай!— отмахнулся Кирилл и слегка приструнил:— Но чтобы на все дело не больше двух часов.

— Да мы, будьте покойны,— раз-два!— с упоением вскричал Ипат и, то срывая с головы фуражку, то опять кое-как нахлобучивая ее, кинулся к обступившим его красноармейцам.

Однако наладить облаву было не так легко. Все стрелки наотрез отказались идти изгонщиками, каждый требовал, чтобы его поставили в цепь.

В деревне мужики тоже упрямились. Когда одному сказали, что, мол, чудак-человек, тебе же будет хуже, если твою

корову зарежут волки, он не торопясь сплюнул и ответил:

— А мою уж зарезали.

Началась торговля — кому идти.

— У кого больше скотины, тот пускай и идет,— говорили бедняки.

— Эка бестолочь,— кричал Ипат.— У кулака убудет — ему не страшно, а ежели у кого одна скотина, с чем он останется?

— На трудповинность положено брать сперва зажиточных, пускай они идут первые и в облавщики.

Вспомнили, что в прежнее время охотники всегда выставляли загонщикам вина. Но тут красноармейцы обозлились: они сами бы не прочь выпить, и — по справедливости — им надо бы поднести за то, что они перебьют зверя, а у мужиков, поди, полны жбаны самогона!

Только ребятишки рвались наперебой в дело, но и здесь не обошлось без раздоров и даже без плача: одних охотники взять соглашались, другим, по малолетству, идти запретили.

Наконец обе партии были готовы — человек до тридцати загонщиков, с палками в руках, и четырнадцать стрелков. Ипат обратился к ним со степенным наставлением:

— Операция будет, стало быть, такая..

Его выслушали, не прекословя. Он брал на себя расстановку номеров, а Никону поручал руководить загоном.

Партии, выступив и миновав березняк, разбились, и охотники пошли влево, загонщики вправо, гуськом, соблюдая полную тишину.

Кирилл шел по стопам Ипата. На брусничнике кое-кто попробовал присесть, пощипать ягоды, но Ипат, обернувшись, свирепо затряс кулаком. Началось дубовое мелколесье, за ним короткая, по пояс, сосонка, которую приходилось осторожно раздвигать. Потом ступили на сырую почву, сапоги зачавкали. Ипат все оборачивался, тараща глаза, и по безмолвно прыгавшим губам его было понятно, какие избранные поучения читал он нарушителям тишины.

Вдруг на затянутой осокой плешине он остановился, пальцем подозвал Кирилла и указал на маленькие зеркальца ржавой стоячей воды в траве.

— Молодые нарыли себе колодцы, для водопоя,— прошептал он на ухо Кириллу.— Вон по краям когтями нацарапано.

Он долго прислушивался к безмолвию, накренив голову на вытянутой шее.

— Сейчас мы повабим, убедимся, где они,— шепнул он.

Опять, как вечером, он прижал ко рту ладонь и завыл. Медленно наполнял ни с чем не сравнимый звук бездонные мешки и карманы лесной чащи, пока не захватил всего леса, не растекся и не исчез высоко над макушками деревьев. Долго этот мрачный зов оставался безответным. Затем, как отдаленное эхо, зародился в глубине леса и стал взбираться к небу тягучий отзыв зверя. Это взвыла волчица.

Но странно,— голос шел совсем не оттуда, откуда ждали его охотники: волчица обнаружила себя у них за спиной, вне круга, который собирались оцепить облавщики. Ипат вытянулся стрункой, напрягая слух, стараясь в то же время сообразить — можно ли поправить дело, и уже понимая, что оно непоправимо, если волчица увела за собой весь выводок.

Тут неожиданно заголосил впереди по-собачьему высокий лай молодых волков, рьяно и вперебой ответивших матери.

— Здесь!— почти вслух выговорил Ипат.

Он не в силах был удержать своего торжества, кровь хлынула к его лицу потоком, и он с усердием закивал товарищам, что все, мол, будет ладно.

Волки лаяли фальцетами с лихим подвыванием, все более забиячливо, и быстро приближались к охотникам, так что многие невольно вскинули винтовки, готовясь их встретить.

— Это они на добычу: мать с добычей,— шепотом объяснил Ипат.

В этот момент Кирилл щелкнул затвором. Сухой, не очень громкий металлический треск настолько был чужд естественности природных лесных звучаний, что волки сразу примолкли.

Ипат в необычайном страхе, исказившем его белый взгляд, смотрел на виновника. Кирилл, подавленный, стоял с открытым ртом, и над бровями его заблестел пот. Казалось, минуту Ипат не знал, что делать. Потом он овладел собой и торопливо, но с крайней настороженностью начал разводить и ставить стрелков на номера.

Цепь заняла линию двух заросших просек, и на самом скрещении этих просек Ипат поставил Кирилла, а рядом — Дибича. Это было верное место: сюда вели (как он выразился) «ихние преспекты»— нахоженные выводком тропы.

Кирилла прикрывала низкорослая сосна. Он нашел в ее мохнатых ветках просвет, дававший необходимую видимость участка. Через этот подзор он стал изучать отдельные коренастые стволы редкого дуба, путаную заросль бузины и столбами подымавшиеся над подлеском золоченые сосны. Елок почти не было, но одна, не больше человеческого роста, ле-

жала сваленной около гнилого пня и почему-то надолго остановила внимание Кирилла.

Смущение его прошло, хотя нет-нет да возникал в памяти исступленный взгляд Ипата, и неприятно мешала мысль, что если облава сорвется, то овиноватят в этом непременно Кирилла, потому что он щелкнул затвором.

Он устал держать на весу винтовку и опустил ее к ноге. Тишина была нетронутой. Желтоплёкий ремез обследовал ближнюю сосну, вьюном забираясь вверх по стволу. Пискнув, он перелетел на сваленную елку, потом умчался в чащу, и за ним погналась стайка таких же юрких птиц, вынырнув неизвестно откуда. У Кирилла похолодели промокшие ноги, он осмотрелся — нельзя ли присесть.

Тогда беззвучие пересек далекий выстрел, который будто раздвоился на вздох и присвист, и вздох глухо побежал от дерева к дереву, а присвист удальски махнул в поднебесье.

Не спеша и неровно, точно закапываясь в глубину бора, а потом всплывая к его вершинам, занялись вопли, непохожие на людские. В первую затем минуту можно еще было уловить визги мальчишек, звонкое «улюлю» мужиков. Но все быстрее, быстрее гиканье, свист, крики, стук палок по деревьям срастались в сплошной вал неподобного гула.

— Улю-у-у-у-у-ууу!..

Загонщики всей лавой двинулись на стрелков.

Тотчас, как сигналом разнесся выстрел, Кирилл поднял винтовку и, принагнувшись к своему подзору, начал остро разглядывать вдруг точно подмененные новыми кусты подлеска. Всякий сучок, всякий лист сделался изумительно отчетлив, и словно озадаченная неподвижность деревьев была несвязуема со страшным зыком, ломавшим воздух. Чудилось, будто корчуют сразу весь лес, и выдираемые из земли корни и сама земля стóнут и вопят от боли.

Упал одинокий выстрел в цепи.

Стон на секунду чуть ослабел, но сейчас же набрал еще больше отчаянной силы. Кирилл слышал, как в теле его сжалась каждая мышца. И вдруг его словно окатило изнутри студеной водой: справа по цепи, там, где прозвучал одинокий выстрел, открылась беспорядочная пальба.

Было похоже, будто дети захлопали по лопухам свистящими прутьями. И каждый удар по лопуху ожогом отзывался на Кирилле. Он все больнее давил прикладом в плечо и смотрел, смотрел перед собой, боясь моргнуть глазом, так что веки защипало солью выступивших слез.

Тогда под сваленной елкой, которая уже привлекала его внимание, под самой звездочкой ее верхушки, мелькнуло светлое пятно. И тут Кирилл как будто оглох: не стало мигом ни шума загонщиков, ни стрельбы винтовок — весь мир вместился и замер в этом пятне.

Лобастая, с широко расставленными куцыми ушами морда волка выглядывала на просеку отливавшими черным лаком глазами. Вобрав голову в приподнятые лопатки, зверь чуть заметно крался.

Внезапно он дал легкий прыжок, растянув плавное тело над елкой, будто перелив себя через нее.

Прицел был взят Кириллом до этого мгновенья, но палец нажал на спуск в самый момент прыжка. Волк взвизгнул вместе с выстрелом. Еще находясь в полете скачка, он рванул головой к задней ляжке, словно огрызаясь на преследователя. Потом он упал. Дважды он схватил себя за ляжку, и вырванные клочья шерсти разлетелись от его хрипучего дыханья. Он пополз влево от Кирилла, часто перебирая передними лапами и волоча раненый зад. Иногда он по-щенячьи южал.

Кирилл видел, что подранок может уйти, и готов был ко второму выстрелу. Но пока волк переползал просеку, было рискованно стрелять, потому что где-то совсем близко стоял на своем номере Дибич. Этой короткой нерешительности было достаточно, чтобы волк выполз из круга за линию стрелков. Он скрылся в кустах.

Все чувства Кирилла сразу после выстрела ожили и горячо заработали опять. Пальбы уже не было, крики загонщиков утихали. Он сошел с номера и кинулся догонять волка. Он увидел сквозь листву его шубу и расслышал рычанье. Волк сидел, упершись выпяченными вперед лапами. На спине его топорщилась черная ость вставшей шерсти. Отвисший лиловый язык и пасть были облеплены светлым пухом.

В секунду, когда Кирилл разглядел эту облепленную пухом пасть, треснул выстрел, и Кирилл, почти не целясь, со вскидки, тоже выстрелил. Голова волка сделала поклон, и он как бы с осторожностью лег на бок.

Все было кончено. И однако, Кирилл не двигался с места.

Сойдя с номера, он нарушил правило. Дибич мог видеть подранка и стрелять по нем, не замечая подходящего Кирилла. Это была опасность. Предупредить ее можно было только немедленным выстрелом, хотя торопиться было излишне, потому что волк уже сел, явно не в силах уйти далеко. К тому

же выстрел отпугнул бы других волков, которые еще могли

выйти на прочие номера. Но к опасению, что Дибич выстрелит, не видя Кирилла, прибавилась боязнь, что кто-то другой добьет подранка и возьмет трофей. Надо было стрелять!

Только теперь, после того как волк был убит, Кирилл стал вникать во все эти молниеносные соображения, толкнувшие его к выстрелу. И только тут он вдруг понял, что мимо всех соображений его толкал подсознательный страх перед раненым, смертельно ожесточенным зверем. И едва он признался себе в этом страхе, его охватил стыд, и он почувствовал, что все его тело залито жарким потом.

— Ну как? Готов?— услышал он оклик Дибича.

В голосе этом было столько счастливой гордости, что Кирилл напугался: а что, если подранок прикончен вовсе не им, а Дибичем? Ведь первым-то стрелял Дибич?

— А у вас есть?— вместо ответа спросил он, все еще не двигаясь.

— Е-е-есть!— так же гордо отозвался Дибич, и Кирилл услыхал неподалеку шелест раздвигаемых кустов.

Тогда он сорвался с места и подбежал к своей добыче. Слыша, как колотится сердце, он с дикой радостью ухватил волка за ухо, приподнял его толстолобую полупудовую голову и бросил оземь.

— У-у-ух, не-чи-стый!— гудел он упоенно, то расталкивая волка ногой в мягкое, пустое брюхо, то будто одобрительно теребя колючий мех его загривка.

Дибич вышел из зарослей, сияющий, быстрый, взял зверя за заднюю лапу и повернул с боку на бок.

— В окорок угодили? А я — слыхали?— с одного выстрела под лопатку!

— Так ведь у меня как вышло,— воскликнул Кирилл и неудержимо-пылко начал в подробностях объяснять, как выстрел совпал с прыжком волка, как волк стал уползать и как пришлось его добить. Он только не сказал, что стрелял по сидячему зверю.

Несколько загонщиков приблизились на голоса и с любопытством обступили добычу. Один из них — с кровоточащей царапиной поперек щеки и с разорванным рукавом — мазнул пальцем по щеке и, показывая кровь, проговорил:

— Оборвались все об сучья. Одними спрысками не обойтиться вам, товарищи.

— Радоваться надо, что покончили с чертягами,— весело сказал Кирилл, награждая волка добрым пинком сапога.

— Оно, кому радованье, кому что иное,— ответил загон-

щик, пробуя приладить рванье на рукаве и потом сощуриваясь на Кирилла:— Чуть не упустили, выходит, волчонка-то? Далеконько за линией стреляли...

— Почему упустил?— сердито остановил его Кирилл и опять принялся повторять сначала все, как было. Жар его не спадал, а все больше распалялся.

Сломав молодую сосну и оборвав ветки, загонщики продели жердину между связанных лап волка и понесли его на плечах. Кирилл шел позади, с чувством триумфа поглядывая на волчью морду, черным носом бившую об землю, и говоря, говоря краше и краше все подходившим из леса загонщикам об удивительном первом своем выстреле и помалкивая о втором.

Было взято четыре волка-переярка. Их свалили в кучу. Похожие друг на друга, как могут быть похожи только близнецы, они лежали в своих наполовину уже зимних шубах, изжелта-серые, в черноватых подпалинах по хребтам и лапам, со светлым подшерстком снизу и с боков. Глаза у них были крепко зажмурены, будто, издыхая, все четверо противились взглянуть на белый свет.

Когда окружившие их кольцом стрелки и загонщики разобрались, кто и как убил своего волка, раздался чей-то насмешливый вопрос:

— А что ж Ипат? Пустой?

Огляделись — туда, сюда: Ипата не было. Стали звать — никто не откликался. Начали спорить — где Ипат стоял. Никто толком не знал, потому что он разводил по номерам, а где сам стал — никому невдомек было полюбопытствовать. Даже тот, кого он поставил на номер последним, не помнил, куда затем Ипат пошел: как будто направо, а может, и налево. Заспорили и о том, кто первый выстрелил в цепи, когда двинулись загонщики. Каждый уверял, что первым стрелял кто-то другой.

— Да зачем вы пальбу-то подняли? — спросил Дибич.— Припаса извели — хватило бы на оборону целого взвода. Охотнички!

— Мы, товарищ командир, беглым огнем, чтобы наверняка!

Тогда выступил перепуганный Никон и сказал, что по его мнению, стрельбу открыл Ипат.

— Как мы, после моего сигнала, погнали, так вскорости я слышу — раз! — жигануло и вроде сразу хлипнуло. Ишь, думаю,— Ипат: у него ружье с хлипом. Он еще мне говорил намедни, что, мол, у ружья ствол простуженный, с трещин-

кой. Он стрельнул, а погодя ребята по-шли палить по всей цепи! Ипат с краю бил, с самого фланга.

Пререканья так встревожили Кирилла, что почти не осталось следа ни от чувства триумфа, ни от неловкости за какую-то конфузную промашку, ни от стыда за мимолетный страх. Он будто впервые понял, что один отвечает за всю эхоту и за все, что бы ни случилось с Ипатом. Да и не с одним Ипатом. Он был тем сознанием, которое взяло на себя ответственность за каждого человека — от Дибича до последнего деревенского мальчугана, ради забавы увязавшегося с облавщиками в лес.

Нарядив красноармейцев пройти всей линией, которую занимали стрелки, Кирилл взял с собой Никона и направился туда, где — по догадке — мог стоять Ипат. Они осмотрели множество укрытий в кустах, какие могли привлечь охотника, они кричали, они прислушивались к далеким голосам товарищей, наконец вернулись назад и встретились с теми, кто ходил искать вдоль просек. Ипата не нашли.

Загонщики подняли на плечи трофеи, и за ними двинулась вся вереница людей.

По пути Кирилл сказал Дибичу:

— Неужели его могли невзначай пристрелить? Ведь бывалый парень. Немыслимо!

— Я думаю другое,— ответил Дибич.— Не встретит ли он нас сейчас в деревне?

Кирилл остановился от недоуменья.

— Не удрал ли Ипат от позора: выставил себя первейшим волчатником, все сам затеял, а как раз у него добыча ушла между пальцев!

— Ну, это слишком тонко,— убежденно возразил Кирилл и все-таки задумался, и чем ближе подходили к лагерю, тем больше обнадеживала его высказанная Дибичем мысль.

Однако в деревне ожидало разочарование: Ипат не возвращался. Так же скоро, как разлетелась весть, что красноармейцы перебили выводок волков, крестьяне узнали об исчезновении на охоте одного стрелка. Невозможно было выступить в поход, не разыскав пропавшего, и Кирилл, после совещания с Дибичем, снова отправил в лес поисковую партию.

Время подходило к полдню. Кирилл сидел в избе у растворенного окна, дожидаясь обеденной похлебки. Слышно было, как озорничали ребятишки вокруг сваленных под сараем волков да люто брехали на звериный дух попрятавшие-

ся собачонки. Что часто случается бабьим летом, с утра затянутое небо днем стало веселеть, и мягкое солнце без теней осветило землю.

В эту минуту Кирилл рассмотрел троих путников, вышедших из леса по дороге в деревню. Они шли в ряд нескорой походкой. У одного был в руке узел, двое других несли на плечах мешки. Когда они немного приблизились, сделалось видно, что позади выступает еще один человек, которого передние собою все время заслоняли. Потом можно стало различить, что человек с узлом что-то прижимает свободной рукой к груди и, видимо, ему это неудобно, потому что он кособочит.

Уже неподалеку от деревенской улицы трое передних расступились, обходя рытвину, и Кирилл увидел, что четвертый человек, отставая шагов на пять, держит наперевес винтовку. Почти тотчас Кирилл высунулся за окно, узнав в человеке с винтовкой Ипата.

Не отрывая своих издалека белеющих глаз от конвоируемых людей, Ипат ступал жестким шагом, чуть вразвалку. Ружье вздрагивало у него в руках, отвечая шагу.

Кирилл вышел на крыльцо избы. Крестьяне и красноармейцы собирались у открытых ворот, молчаливо ожидая пришельцев. Мальчишки вбегали с улицы во двор, оборачиваясь и наступая друг другу на пятки.

Когда Ипат ввел подконвойных в ворота, он по-солдатски выступил вперед и взял винтовку к ноге. Через его распахнутую гимнастерку виднелась блестевшая от влаги грудь, удивительно светлая рядом с медно-алым загаром лица. Рапорт его звонко прозвучал на весь двор.

— Принимайте, товарищ комиссар. В лесу — мной задержанные неизвестные численностью три человека. Один названый неизвестный, раненный в оконечность при попытке от меня к бегству.

Двое арестованных были преклонных лет. Бородатые, довольно испитые, они казались очень усталыми, и оба, как только остановились, бросили наземь запачканную поклажу — холщовый мешок и перехваченный веревкой тюк. Третий тоже опустил свой небольшой узел, с трудом нагнувшись и сразу подхватив замотанную окровавленной тряпкой руку. Приподняв эту раненую руку повыше, он затем снял кепку, вытер ладонью мокрую, совершенно лысую голову и поправил съехавшие с переносья очки.

И как только он обнажил лысину и сквозь очки глянул вверх, чтобы рассмотреть на крыльце возвышавшегося ко-

миссара, Кирилл поднял брови, откачнулся и крепко прислонился к косяку плечом.

Лысый же продолжал глядеть на него через очки в металлической тонкой оправе, нисколько не изменившись в лице, а только опять поддержав снизу раненую руку.

— Поставить к ним караул,— тихо приказал Кирилл.— И обыскать.

28

Происшествие, о котором Ипат доложил Извекову, рисовалось так.

Заняв крайний в цепи охотников номер, Ипат начал приглядываться в ту сторону, откуда, в ответ на подвыванье, долетел голос волчицы. Он рассчитывал, что она должна выйти на лай молодых волков, и не ошибся. Наверно почуяв неладное в том, как оборвался лай, она пробиралась к логову с большой осторожностью, однако подошла близко к линии стрелков. Едва разнесся крик загонщиков, она метнулась назад, и тут Ипат заметил ее и выстрелил. Взять старого зверя ему было лестно. Он махнул рукой на облаву. Он обнаружил кровь на кустах там, куда стрелял, и побежал по следу уходившего подранка. По мере отдаления от места облавы следы крови попадались все реже, пока совсем не потерялись. Но Ипат упрямо продолжал искать. Давно уже притих лес после гая облавщиков, а он все рыскал, забираясь в самую чащобу. И вот в густой поросли лещины глаз его поймал пятно, которое он принял сперва за настигнутую цель, и чуть было не выстрелил. Но пятно оказалось мешком с кладью, рядом лежали узел и тюк, а за ними, скорчившись, прятались люди. Ипат заставил их вылезти, забрать пожитки и повел арестованных лесом, крепче сжав винтовку и отвечая на прекословья единственным оправдавшим себя в веках афоризмом: «Там разберут!» Пока он сообразил, в каком направлении следует идти, утекло порядочно времени. Один из задержанных, когда проходили мимо лесного буерака, кинулся под откос. Ипат разрядил в него ружье, ранил в руку выше кисти и угрозой нового выстрела принудил выбраться из оврага. Он дал беглецу перевязать рану рубахой, которую тот извлек из своего узла, и после этого весь марш до деревни продолжался без приключений,— выглянувшее солнце довело Ипата куда надо.

Перед тем как арестованных посадили в амбар, Кирилл

велел задать им вопрос: откуда они идут и далеко ли держат путь. Они ответили, что все трое идут из города Хвалынска в Заволжье. Выслушав Ипата, Кирилл принял решение доставить арестованных в Хвалынск, но сначала дознаться об их намерениях. Он велел привести в избу того из этой тройки, кто назовется хвалынским старожилом. Дибичу он ничего не сказал о своем замысле, но просил присутствовать на допросе.

Степенного вида бородач, в шерстяном платочке вокруг шеи, заправленном под глухой ворот сильно ношенного пиджака, сказал Кириллу о себе, что он — из хвалынских мещан, что у него за Волгой, на Малом Иргизе, родственники, и он направляется к ним. На вопрос — зачем он прятался со своими спутниками в лесу — он ответил, что все трое испугались шума и стрельбы и думали отсидеться, а лесом шли для сокращения дороги. Когда Кирилл начал допытываться, кто же эти спутники и давно ли старику они известны, тот сказал, что они в Хвалынске люди новые, но он с ними знаком, и один из них даже стоял у него на квартире.

— Это который ранен, да? — спросил Кирилл.

Нет, раненого старик знал мало. По фамилии он Водкин, в Хвалынске поселился года два назад, родом будто пензенский, владеет садочком, купленным по приезде.

— У вас, значит, после революции поселился?

— Словно бы после. А может, и в войну.

— Ну, вы собрались к своим родственникам. А у попутчиков ваших тоже на Иргизе родня?

По словам старика, попутничество было довольно случайно: он и его квартирный постоялец вознамерились податься на Иргиз потому, что там спокойнее, а Водкин присоединился к ним в расчете вывезти из Заволжья две-три семьи пчел,— тамошняя пчела славится. Знал же он Водкина потому, что тот приходил к нему менять на очках оправу (старик немного ювелирничал).

— Прежде он золотые носил очки-то? — спросил Кирилл.

— Помнится, будто золотые.

— Кто же ваш постоялец?

Постояльцем у старика был человек православного исповедания, приехавший в Серафимовский скит с желанием принять впоследствии монашество, но пока не нашедший там пристанища из-за тесноты. Братия очень стеснена — народу притекает все больше, а скиток маленький. Фамилия этого человека — Мешков.

 — Саратовец?

— Да, оттуда.

— Зовут не Меркурием Авдеевичем?

Дибич, чутко следивший за разворотом дела, не мог бы определить — кто в эту минуту был больше изумлен — старик ли, услышав вопрос, или Извеков, получив утвердительный ответ.

Кирилл сидел неподвижно, точно ему требовалось крайнее усилие воли, чтобы возвратить себя из бесконечной дали к тому, что находилось перед его взором. Потом он велел увести старика и заметил Дибичу:

— Я думал, в этой троице у меня найдется один старый знакомец. А выходит, кажется, двое. Странно.

— Что это за антик такой — Меркурий?

— Попросту русский Меркул... Посмотрим, посмотрим,— опять задумался Кирилл.

Ввели Водкина. Он раскачивал туловищем, прижимая руку к груди.

— Нельзя ли показать меня фельдшеру? Рана не даст покоя,— сказал он, опускаясь на скамью.

Кирилл долго глядел на него. Это был человек на шестом десятке, с примечательной головой — сдавленная с боков, она сильно выпиралась вперед лбом, а на затылке, очень похожем на отражение лба, имела математическую шишку. Желтоватые ресницы ободками вычерчивали пристальные, недовольные глаза.

— Санитар перевяжет вам руку,— ответил Кирилл после молчания.— Почему вздумали бежать, когда вас задержали?

— Решил, что попал к бандитам.

— Со страха, значит?

— Да. Рассказывают, сюда стали забредать из соседнего уезда какие-то мироновцы.

— Как же вы отважились на путешествие, когда кругом этакие страхи?

— Нужда. За Волгой обещали пару ульев. Я пчелками занимаюсь.

— Ах, пчелками? И давно?

— Не очень. На старости надо чем-нибудь промышлять.

— Чем же раньше изволили промышлять?

— Я был ходатаем по делам в Наровчате.

— По судебному ведомству, стало быть?

— По гражданским делам, частный ходатай.

— Только по гражданским? — немного выждав, поинтересовался Кирилл.

— Исключительно.

— Документа у вас никакого не найдется?

— Вам не передали? У меня сейчас при обыске отобрали.

— Паспорт?

— Да. Бессрочный паспорт.

— Что же в нем обозначено?

— Вы бы посмотрели. Ничего особенного. Уроженец города Пензы. Сын личного гражданина. Место жительства — Наровчат. Род занятий — писарь. Я начинал писарем, так и проставили.

— Значит, до Хвалынска в Наровчате проживали?

— Почти всю жизнь.

— А в Саратове не жили?

— В Саратове не бывал. В Симбирске, в Самаре — случалось. В Пензе, конечно. В Москву раз ездил. Третьяковскую галерею осматривал. Живопись уважаю очень.

— По фамилии вас?

— Водкин. Иван Иванович Водкин.

— Одна фамилия?

— То есть как? — удивился допрашиваемый.

— Я в том смысле, что бывают двойные фамилии. Одно лицо носит две фамилии.

— А-а! Бывают. Вот, родом как раз хвалынский, наполовину однофамилец мой, Петров-Водкин. Может, слышали? Известный живописец.

— Вот видите,— привстал Кирилл,— какой удачный пример! Не наполовину, а почти полное совпадение!

— Почему совпадение? — обиженно проговорил Водкин.

— Другая-то фамилия у вашего однофамильца на букву «п»!

Кирилл насилу удерживал в голосе рвущееся наружу торжество. Водкин обнял кистью правой руки жесткую от высохшей крови перевязку и опять закачал туловищем.

— Болит? — спросил, изучая его пальцы, Кирилл.

Дибич беспокойно отвернулся к окну.

— Болит,— терпеливо подтвердил Водкин, но сейчас же еще с большей обидой прибавил: — Не понимаю вас, товарищ комиссар, о чем вы хотите дознаться. Так с советскими гражданами не поступают. Арестовали неизвестно за что, да еще вдобавок раненому в помощи отказываете. Это все незаконно.

— Старый законник! — быстро воскликнул Кирилл.— Не сомневайтесь, санитара мы вам дадим. Закон будет соблюден. Только не тот, который блюли вы.

— Это мне не в укор. Я хоть и маленький человек, а всегда готов был постоять за правого.

— Постоять вы умели,— убежденно согласился Кирилл, все еще не отрывая взгляда от руки Водкина.— Хватка у вас была поострее, чем теперь. Вы ведь отращивали да полировали свои коготочки-то, а?

Водкин перестал раскачиваться и сокрушенно покачал головой.

— Вы хотите меня кем-то другим выставить. Или, правда, приняли за другого?

— Нет, почему же? Именно за того, кто вы есть.

С улыбкой и будто раздумьем Водкин посмотрел на свои загрязненные пальцы.

— Нынче приходится все делать, как садовому мужику. А прежде, конечно, руки чище были.

— Ну, особенно чисты они у вас никогда не были.

— Не знаю, о чем вы...

— Хотя раньше у вас, правда, было как-то все изящнее. Золотые очки, к примеру.

— Золотых я не носил.

— Ну как так? Когда вы задумали перебраться в укромный Хвалынск, вам ведь пришлось все менять — от гардероба до паспорта. А очки купить новые не успели. Торопились, наверно. И вот эта оправа на вас — это уже хвалынская. Но очки можно переменить, хотя и с опозданием. А голову-то не подменишь! Вот ведь какая неприятность.

Водкин развел обеими руками, забыв о ране, но тотчас, впрочем, опять прижал замотанную руку к груди.

— Вы, кажется, действительно жестоко на мой счет заблуждаетесь, товарищ комиссар.

Кирилл вскочил, оттолкнув ногой табуретку, и нацедил сквозь зубы воздуха, готовясь крикнуть. Но вместо крика произнес очень раздельно и гораздо спокойнее, чем все время говорил:

— Наши биографии переплелись довольно туго, хотя между ними... собственно, никакого сходства. Вы постарались начать мою биографию. Я вашу постараюсь закончить (он примолк на секунду и затем будто выстукал по буковке на машинке)... господин жандармский подполковник Полотенцев.

— Боже мой, что за убийственная ошибка,— прошептал Водкин и зажал здоровой рукой лицо.

Дибич, который все время с болезненным напряжением ожидал какой-то необычайной развязки, громко ахнул и потянулся руками к Кириллу.

— Ошибки никакой,— сказал ему Извеков, пожелтевший от бледности и странно тихий.— Этот человек вполне овладел притворством... Он артист. Я его лично знаю: он некогда препроводил меня в Олонецкую губернию.

— Если вы убеждены, что это он, то... я поражаюсь вам,— торопливо сказал Дибич.— Что вы с ним забавляетесь? Ведь не находите же вы в этом удовольствие?

— Нет, разумеется,— усмехнулся Кирилл.— Скорее, противно... И все же, честное слово, когда подумаешь, чего только не проделывали эти господа в недавние времена... да и сейчас еще кое-где проделывают, то... можно даже увлечься!

Полотенцев открыл лицо. Оно было совершенно прежним, только неяркие с желтизной бровки взбежали кверху над очками. Он сказал в каком-то слащавом разочаровании:

— Ваша слепая ошибка может мне стоить многого, я отдаю себе отчет и тем более должен сохранить мужество, как это ни трудно. Однако если уж вы искренне принимаете меня за... жандарма, то ведь жандармы были извергами, исчадием! Как же вы... Извините, я обращался к вам, как к товарищу, но теперь, когда вы столь недоказательно обвиняете меня... (Он беззвучно и как-то в нос посмеялся.) Вероятно, со временем будет какое-нибудь величание, соответствующее высокоблагородию или светлости. Может быть — ваша справедливость или ваша безусловность, ну, я не знаю, хе-хе! Так вашей справедливости едва ли пристало следовать худым примерам проклятого прошлого. Всем этим исчадиям, которые позволяли себе измываться над беззащитными при дознаниях...

— Прорвало! — вскричал Кирилл, не давая Полотенцеву досказать тираду и рассмеявшись.— Старая желчь взбурлила! Помню, слишком хорошо помню,— вы были джентльмен иронический! И не без остроумия, черт побери, нет, нет, не без этого! Оно вас выдало не меньше даже головы с шишкой.

— Все это может показаться увлекательно, как вымысел,— скромно возразил Полотенцев,— однако несколько подетски увлекательно. Чересчур косвенно, на неубедительном для закона единоличном, мнимом опознании. Прямого же ничего нет. И, позвольте вас разуверить, ничего не может найтись.

— Найдется, когда мы вас доставим к месту вашего проживания. Не в Наровчат, конечно, а в Саратов. Наровчат вас только отвергнет, как Водкина. Зато Саратов примет, как Полотенцева.

— Ничего это не может дать, кроме излишних испытаний для меня.

— О, только не излишних, совсем, совсем не излишних! — с глубокой убежденностью воскликнул Кирилл.

Четверо красноармейцев во главе с Ипатом внесли в избу разобранные узлы арестованных. Ипат выложил на стол документы, деньги, часы вороненой стали и серебряные, с ключиком на шнурке, потом взял у Никона жестяную банку, которую тот держал с благоговейным почтением, и так же благоговейно поставил ее на особом расстоянии от других вещей.

— Оружия при обыске не обнаружено, а вот здесь имеется капитальная сила,— доложил он, постукав ногтем по жестянке, и значительно оборотился к красноармейцам.

Кирилл хотел придвинуть банку к себе, но рука его остановилась на ней, и он вопросительно поднял глаза на Ипата. Ипат выпятил нижнюю губу, важно вскидывая голову: мол, смотри сам, я говорю — не шутка!

Это была обыкновенная круглая банка с осетром на крышке, опоясанным надписью: «Астраханская малосольная». Однако вес жестянки оказался непомерно большим. Кирилл с одного края приподнял крышку и сразу опять закрыл.

— У кого обнаружено? — спросил он.

— В самом этом нутре,— возбужденно сказал Никон, показывая распоротую подушку,— промежду самого пера.

— Это которого вы еще не опрашивали,— разъяснил Ипат.

Кирилл повел головой на Полотенцева.

— Ты, Ипат, его привел, я с тебя за него и спрошу. Лично тебе приказываю: стой начеку и береги как зеницу ока.

— Я свою зеницу берегу вдвойне: она у меня одна...

Как только Полотенцева увели и оставшийся в избе Никон, с помощью другого красноармейца, взялся раскладывать на полу пожитки арестованных, Дибич шутливо мигнул на жестянку.

— Адская машина?

Кирилл подозвал красноармейцев. Все обступили его. Он открыл крышку, зажал ладонью банку и опрокинул.

На ладонь, покрыв всю ее, увесисто высыпалась горка золотых, и верхние монеты маслено сползли на стол, как зачерпнутое сухое зерно с лопаты. Он тихо вытянул из-под золота руку. Чуть звонкий шелест металла мягко держался в воздухе, пока горка, оседая, будто растекалась по столу.

— Мамынька, родимая! Тыш-ша! — ошалело дохнул Никон.

— Приданое! — протянул другой красноармеец.

— Меркурий, вот он где, Меркурий,— бормотал Дибич.

Никто не отводил вдруг выросших очей от золота, только Кирилл рассеянно смотрел на всех по очереди. Он отошел затем к окну, постоял, вернулся к столу. Вскользь, улыбнувшись, он сказал Дибичу:

— Вы не угадаете, о чем я сейчас вспоминаю. Это многое мне объясняет, очень многое...

И он дотронулся пальцами до золотых, и они с тонким звуком еще шире распространились на столе.

— Мамынька! — безголосо, одними губами повторял Никон.

Третий арестованный, когда его привели, показался совсем убитым. Весь его стан как бы тонул в костюме, который его облачал, хотя было видно, что одежда не с чужого плеча, и владелец прежде хорошо знал, что шил. Давно не стриженные волосы и борода спутались, увеличивая смятенность убогого, словно просящего лица. Но в глазах, под растрепанными крылами бровей, светился до странности тихий восторг, будто человек этот заслуженно торжествовал достигнутую справедливость, в которой не сомневался.

Глядя особенным этим взором на Извекова и вовсе не замечая золота, он сел на краешек скамьи.

— Мешков, Меркурий Авдеевич?

— Да.

— Вы давно из Саратова?

— Третью неделю.

— Погостить в эти места или на постоянное жительство?

— Полагал навсегда.

— Почему же оставили родной город?

— По своему желанию удалиться в обитель. Но прибыл, и не мог быть устроен. Келья, которую мне обещали в скиту, оказалась занятой, и я пока стоял на городской квартире.

— И, видно, не понравилась квартира?

— То есть, зачем я опять в дорогу тронулся? От беспокойства. Беспокойные вести пришли, что к Хвалынску фронт приближается. Я искал уединения старческим дням своим и забоялся, что мечтание мое нарушится.

— Кто же ваши мечтания должен оградить в Заволжье? Казаки?

— Почему казаки? — спросил Меркурий Авдеевич странным голосом, как будто сделавшим реверанс.— И в помыслах не было.

— Да ведь за Волгой-то казаки?

— Так далеко я не собирался. Меня Малым Иргизом прельщали — будто бы туда война не дойдет, места спокойные. Хотя мне не очень по душе.

— Что ж так?

— Там люди больше старой веры. Квартирохозяин мой тоже кулугур. Вот и приходится раскаиваться, что дал себя смутить: это он меня уговорил идти.

Кирилл качнул головой, показывая на золото:

— Ваше собственное?

— Да,— сказал Меркурий Авдеевич, не только по-прежнему не глядя на деньги, а еще больше отвернувшись и, однако, нисколько не сомневаясь, что спрашивают именно о золоте.

— Укрытое вами от Советской власти, да?

— Укрытое может быть то, что ищут. У меня никто не искал. Так что не укрытое, а сбереженное.

— Для спасения души?

— Я думал в дар принести обители.

Красноармеец, все время хмуро следивший за Меркурием Авдеевичем, неожиданно сказал:

— Что же раздумал? Кабы принес, небось келья-то для тебя сразу бы нашлась.

Мешков смиренно оставил эти слова без внимания.

— Мы должны будем передать вас для следствия,— сказал Извеков.

— Воля ваша.

— А золото сейчас пересчитаем, составим акт, вы подпишете.

— И это в вашей воле,— бесстрастно сказал Мешков.

Он только прикрыл глаза и продолжал недвижимо сидеть на самом краю скамьи, будто присел на один миг и сейчас встанет и пойдет. Невозможно было уловить, о чем он думал, но — конечно — он должен был думать и о деньгах, особенно когда в избе заворковал их однозвучный льстивый звон: Кирилл и Дибич принялись неуклюже отсчитывать и столбиками расставлять золотые. Он не мог не думать о деньгах, потому что мысль о них всегда то забегала перед прочими его размышлениями, то отставала от них, но была неотлучна, как тень, бегущая впереди или сзади. Он все время сравнивал прошлое с настоящим. В прошлом чем больше у человека накоплялось денег, тем больше к нему притекало новых. Они несли рост в себе. Было труднее всего когда-то раздобыть первый золотой. Каждый последующий давался легче и легче, как заметил еще Руссо (которого Меш-

кову не надо было читать, чтобы с ним на этот счет вполне согласиться). Теперь чем больше было у человека денег, тем меньше их оставалось, ибо тем больше у него отбирали.

И вот у Мешкова отобрали последние золотые. Это были на самом деле последние. Он припрятывал их исподволь, когда уже почти рухнуло все богатство. Он припрятал их ото всех. Было бы противно его естественным понятиям не припрятать сколько-нибудь ото всех, даже от святого духа. Он не сказал об этих золотых ни покойнице Валерии Ивановне, ни Лизе, ни своему духовнику, ни викарию, благословившему его в монашество. Он умолчал о них в финансовом отделе, хотя у него оледенела спина, когда Рагозин спросил, не осталось ли у него золота. Если бы человек был устроен так, что способен был бы утаивать свои поступки от самого себя, он и себе не сказал бы о своей банке из-под икры, чтобы в минуту слабости не посвятить в тайну кого-нибудь еще. Он держал эту отяжелевшую от золотых банку под своим ложем и унес ее с собой в подушке. Он туго набил между монетами ваты, чтобы они, кой грех, не звякнули. Он клал во сне щеку на эту банку, и жесть была ему мягче пуха, и золотые словно бы шептали ему, когда он дремал: мы — твои, мы — твои, мы — твои. И вот тайны не стало! Счет был кончен.

Да, счет был кончен. Дибич начал составлять акт. Кирилл вывел цифры огрызком карандаша на липовой доске стола, сделал умножение, сказал:

— Всего пять тысяч шестьсот сорок рублей. Правильно, гражданин Мешков?

— Нет,— ответил тихо Меркурий Авдеевич,— неправильно. Обсчет.

— Как обсчет?

— Обсчитались. Не надо было и высыпать. По кругу в банке умещалось девятнадцать монет. В высоту по тридцать десятирублевых, то есть в столбике триста рублей. Триста на девятнадцать получается ровно пять тысяч семьсот рублей, а не пять шестьсот сорок. Коли, понятно, шесть золотых не... потерялись куда во время операции.

— А, к черту! Шесть золотых! Извольте пересчитать сами! — крикнул Кирилл, темнея от приступившей к лицу краски.

Меркурий Авдеевич подсел ближе. Окинув взглядом аккуратно выстроенные столбушки денег, он поперхнулся и долго не мог откашляться. Потом заговорил будто с самим собой:

— Ежели б стол гладкий, нет ничего легче проверить — во всяком ли столбике по сто рублей. А то на щелях неров-

ность. Возвышение одних досок против опущения других. Вот столбик выдается, замечаете? Это он угодил на опущенную доску. А в нем между тем лишняя монетка. Вот еще. Разрешите просчитать?

— Просчитайте.

Мешков подвинул к себе столбик золота, нажал пальцами, и монеты с послушной трелью развернулись перед ним в цепочку. Он подставил горсть левой руки под край стола. Захватывая средним и указательным пальцами правой руки враз по две монеты, он начал скидывать деньги в горсть с такой игривой быстротой, что все застыли от удивленья.

— Одиннадцать,— сказал он и со звоном откинул в сторону лишнюю десятирублевку.

Он безошибочно отыскивал неверно сосчитанные столбики, изымал их, пересчитывал, отбрасывал лишние золотые, пока не набралось шести штук, недостающих до круглой сотни. Пальцы его словно помолодели.

— Скажи на милость,— не утерпел Никон, завороженный его виртуозной работой,— стрекочет, ровно кузнечик.

Точно очнувшись, Меркурий Авдеевич вскинул на Никона брови. Взгляд его совсем потерял свечение тихого восторга, с каким он вошел в избу. Зрачки были мутны, трезвый смысл будто отлетел от них в одно мгновенье.

Все смотрели на него молча. Он стал медленно отворачиваться от стола и вдруг задергал плечами, согнувшись над скамьей.

— Развезло,— сказал красноармеец,— жалко прощаться с игрушками-то...

— Верен счет или нет? — спросил Извеков, одергивая Мешкова резким. почти озлобленным голосом.

Всхлипнув, Меркурий Авдеевич отозвался едва слышно:

— Верен не по-вашему. Верен по-моему. Пятьдесят семь по сто. Как было. Как было, о господи!

Он обхватил голову, вздрагивая от плача.

Дибич проставил в акте сумму — пять тысяч семьсот рублей. Стали укладывать деньги в жестянку. Не ладилось, потому что надо было спешить — слишком много времени отняли все эти неожиданности. Дали подписать акт Мешкову. Он овладел собой и приложил руку к бумаге, не колеблясь.

Его выводили из избы, когда Кирилл задал еще вопрос:

— Раненого компаньона вашего вы по Саратову не знали?

Мешков остановился.

— Я ни за кого не ответчик, кроме себя.

— Каждый ответит за себя, разумеется. Но, думаю, вам зачтется, если вы его назовете.

Мешков помедлил немного.

— Он о себе не докладывал.

— Наверно, у него есть основания — не докладывать. Но я ведь не его спрашиваю, а вас.

Мешков опять помолчал.

— Он мне ни кум, ни сват,— вымолвил он все еще нерешительно.— Только зачем наговаривать? Ошибешься — согрешишь.

— А вы не ошибайтесь.

— Что ж, я правды не боюсь. Не знаю, какого он чиназвания. Похоже, будто раньше видал я его жандармским подполковником.

— Полотенцев?

— Полотенцев,— без раздумья подтвердил Меркурий Авдеевич и, опустив глаза, порывисто вышел за дверь.

Кирилл переглянулся с Дибичем.

Наконец выступили в поход. Солнце уже опускалось. Впереди отряда шли арестованные. В хвосте тянулась подвода, груженная волками. Собаки, ощетинившись, провожали ее истошным лаем далеко за околицу деревни.

Ипат маршировал подле верхоконных командира и комиссара. Он видел, что они неразговорчивы, и тоже помалкивал.

Дибич оглядывал окрестности свежим взглядом человека, давно не бывавшего в родных местах и за переменами угадывавшего памятные черты. По привычке юности, он мурлыкал под нос нехитрую песенку. С коня ему хорошо видна была дорога, как только расступался лес, и на лице его подолгу держалась задумчивая улыбка, если он узнавал какую-нибудь излучину холмистого пути. Было очень кудряво на этих холмах от буйного неклена, который любит склоны. Все чаще стали попадаться деревушки, и колеи ширились пыльными разъездами, указывая на близость города.

Кирилл с закрытыми глазами покачивался в седле. Его не клонило в сон, но не хотелось, чтобы с ним заговорили. Репьёвские события потеряли свою разительную краску, оттесненные внезапной и почти фантастической встречей с прошлым, совпадением двух встреч, каждая из которых уводила к былому и могла бы надолго поглотить все мысли. Но вместе с тем была какая-то настойчивая связь, пожалуй, зависимость между разоблачением Полотенцева, мешковским золотом, распластанной на дороге девушкой, ветром, шевелящим бумажные кружева поднятых над головами гробов;

волком, кусающим себя в ляжку, расстрелянным Зубинским и убитым Шубниковым, прощенным дезертиром Никоном и философствующим об устройстве жизни Ипатом. Все это сплеталось туго, как лозняк в сырой корзине, и нельзя было остановиться на одной мысли, чтобы она не повлекла за собой другой и третьей, как нельзя вытянуть из корзины одного прута, чтобы он не задел других. Кирилл видел, что за короткие эти дни он преодолел все препоны, которые воздвигались на его пути, и верно разрешил все испытания. Больше того, как никогда прежде, он был уверен, что одолеет гораздо более трудные препятствия, и воля его не согнется, может быть, ни перед чем на свете. Он спросил себя — доволен ли собой, и ответил, что должен быть доволен. И когда он ответил себе так, сейчас же возник новый вопрос: почему же ему грустно? И этот новый вопрос оставался без ответа, и он все повторял его, и все не мог вникнуть в него умом, а только чувствовал грусть. Не переставая, роились перед ним люди, которых он незадолго видел, судьбы которых решал, и он вновь проверял себя — безошибочно ли решал, и убеждался, что безошибочно. А грусть не проходила.

Он услышал жалобный вздох шагающего обок Ипата и открыл глаза.

— Что, Ипат,— спросил он с улыбкой,— иль загрустил?

— Во сне будет являться, как я за ним бежал! Истинный бог!

— За кем бежал?

— Да за матерым! Теперь, поди, издох где в буераке. Жалко шкуру... А все из-за этих окаянных, чтоб их ро́зорвало!

Он со злостью погрозил кулаком на арестованных.

— Были б у нас награды, я бы тебя представил за этих окаянных,— сказал Кирилл.

— А мне матерый волк дороже наград. У меня в подсумке два «Егория» болтаются.

Он примолк на минуту, потом вскинул меткий взгляд, точно нацелившись разгадать мысли Кирилла.

— Вы мне грамоту выпишите, товарищ комиссар, что я имею заслугу перед рабочей крестьянской армией. Я в рамочку оправлю, на стенку вывешу в горнице. Пускай знают. (Он с хитринкой прищурился.) Да за волка еще с вас приходится. И с товарища командира тоже. На верные номера я вас поставил. Целое искусство!

— Возьми шкуру с моего волка, если уж дошло до рас-

чета,— опять улыбнулся Кирилл и дернул повод, догоняя Дибича.

— Как самочувствие, Василий Данилыч?

— Превосходно! — сказал Дибич с таким движением всего тела, вдруг поднятого на стременах, что конь под ним сбился с шага и затанцевал, готовясь перейти на рысь.

— Видите перевал? — продолжал Дибич, указывая протянутой рукой на взгорье, накрытое густым багрово-сизым от заката лесом,— во-он сосны золотятся. Дальше будет с полверсты ложбина, потом холмы, и между ними в ущельях скиты староверов, женский и мужской, по соседству. Еще немного податься к Волге, и начнется слобода. Так вот, в слободе...

— Что там?

— Моя хижина,— смутившись, негромко кончил Дибич.

Заговорив с ним, Извеков ожидал, что он непременно захочет подробно узнать — кто же такие Мешков и Полотенцев, и собирался рассказать о своем прошлом. Но Дибича, видно, совсем перестали занимать люди, которых вел конвой впереди отряда. Будь они ничем не связаны с судьбой Кирилла, безразличие Дибича не особенно задело бы его: бывший офицер согласился драться с врагами революции, нес свой долг добросовестно, и ждать от него чего-нибудь, кроме исполнительности, было бы нелепо. Но ведь в избе, показывая на высыпанные из банки деньги, Кирилл сам напросился сказать, как неожиданно много из прошлого объяснило ему мешковское золото. Пройдя мимо откровенности Кирилла, Дибич словно говорил, что личная жизнь — частное дело каждого, и это было черство и обидно.

— Значит, скоро Хвалынск?

— Рысью минут двадцать, не больше.

— Тут, наверно, тихо — к городу банды подойти не посмеют.

— Конечно, вряд ли кого встретим. Не знаю, как другие отряды. Наверно, тоже дойдут без стычек.

— Вы довольны?

— Чем особенно? Серьезного дела пока не видно.

— А вам хочется серьезного? Довольны, что пошли с нами?

— С красными? Мне хорошо с этими солдатами... вот с этими комиссарами.

Ямка на подбородке Дибича раздвинулась и почти совсем исчезла: он смотрел на Кирилла с любовной улыбкой.

 — Я испытываю это больше как ощущение,— сказал он.—

Ясно не могу объяснить, почему, собственно, хорошо. Например, философски мотивировать, что ли.

— Философия нынче — не абстракция, а деятельность. Вы разберитесь политически, как деятель. Тогда все станет на место.

— Да у меня, собственно, все на месте,— не переставая весело улыбаться, проговорил Дибич.— Я думаю, решил для себя все, как должно быть.

Кирилл не мог не ответить тоже весело: очень ему показался Дибич свободным и открытым в эту секунду.

— Рассказывайте! Просто счастливы, что добрались до дому.

— Пять лет! И каких лет! Подумать только! — воскликнул Дибич, и тут же, робким, прозвучавшим юношески голосом, спросил: — Выберем с вами часок, Кирилл Николаевич, заглянем к моей матушке, а?

— Нет, что ж, зачем я буду мешать...

— Честное слово, не помешаете! Она у меня такая славная — вот увидите!

— Нет, я уж за вас покомандую, справлюсь как-нибудь, а вы...

Кирилл вгляделся пристальнее в растерянное от волнения лицо Дибича и неожиданно предложил:

— Хотите, поезжайте сейчас вперед, домой, а завтра явитесь, поутру? К тому времени, надеюсь, рота будет в сборе.

— Правда? — чуть ли не испуганно вырвалось у Дибича.

Он придержал лошадь и, сбоченясь в седле, наклонился к Извекову. Глаза его сияли, но он колебался — поверить ли тому, что слышал.

— Роту мне боитесь передать? — засмеялся Кирилл.— Если б вы из боя выбыли, я принял бы командование по уставу. А ведь боя нет. Езжайте. Придет случай — поеду я, останетесь вы. Кстати, за вами мой внеочередной отпуск. Помните, за немца? Я еще не использовал... Ну?!

И Кирилл протянул руку Дибичу.

Дибич скомандовал отряду остановиться и отдал приказание, что свои обязанности командира возлагает на комиссара, а сам вернется к ним из отлучки завтра, в городе, к восьми часам.

Он пожал руку Извекову, дважды сильно ударил коня шенкелями и, подпрыгивая в седле, крупной рысью обогнал отряд.

Он скоро свернул в лес. По глухой дороге, не убавляя рыси, а только все чаще кланяясь встречным ветвям, он

перевалил гору, спустился в ложбину. Здесь было местами так просторно, что несколько раз Дибич пускал лошадь вскачь. Но когда он достиг холмов, дорога перешла в тропу. Неклен сплетался над ней сплошным низким сводом. Дибич спрыгнул с лошади и повел ее под уздцы.

С пологой высоты он различил в междухолмье раскинувшийся сад, затененный наступившим вечером. Два-три дымка виднелись среди яблонь. Это были самые уединенные кельи скитов. Сюда в давние-давние годы забредал Дибич с маленькими своими приятелями ловить певчих птиц.

Он шел быстрее и быстрее, разминая усталые от седла ноги. Ветви бурно зашумели в нескольких шагах впереди него и стихли. Лошадь вздрогнула, испуганно потянула повод назад. Дибич расстегнул кобуру револьвера. Ему послышался короткий болезненно-неприятный звук, и вслед за тем лес повернулся вокруг него каруселью, сонно качаясь. «Не может быть!» — хотел крикнуть Дибич, но голос уже не повиновался ему...

...В тот же момент сквозь листву он увидел над собой набирающего высоту ястреба. Бесшумно взмахивая черневшими снизу огромными треуголками крыльев и накренив маленькую головку, птица косила на тропу яркой пуговицей глаза. Пройдя немного, Дибич заметил под ногами разлетевшийся пух, потом ворох крупных перьев, по рябизне рисунка которых узнал тетерку. В другое время он, наверно, остановился бы и поискал в кустах растерзанную жертву, но сейчас он даже не убавил шага. Мелькнуло только в памяти, что когда-то он уже видел на этой тропе такого же ястреба, разорвавшего тетерку...

Он вышел из зарослей неклена, вскочил в седло и без оглядки миновал разбросанные кельи и притулившуюся в низине церковку скитов. На виду слободы он погнал лошадь под гору в карьер.

В конце длинного порядка одинаковых тесовых флигелей с палисадниками высился серебристый тополь. По-прежнему вытянутым нижним суком он прикрывал конек светло покрашенного дома.

Дибич осадил лошадь. Сердце его больно стучало, будто он пробежал всю дорогу, не передохнув. Он решил не подъезжать к дому и привязал лошадь у соседнего палисадника.

Калитка стояла настежь. Он ступил во двор. Виноград наглухо обвил террасу перед дверью, которая звалась парадной, и взобрался на крышу. Жидкий дым винтом подымался из трубы. Вишни разрослись на весь двор, их запущенные

безлиственные ветки отвисали до земли. Деревянный настил дорожки прогнил и уже не скрипел, как прежде. Колодец припал набок. В собачьей будке валялась фарфоровая барыня с отбитыми руками.

Дибич тихо вошел в дом. В кухне на полу стоял самовар. В жестяной трубе, воткнутой в печную отдушину, свистел огонь разожженной лучины, и сквозь прогоревшие дырки оранжевым кружевом высвечивало пламя. Все казалось уросшим, игрушечным под этой кровлей, и когда Дибич входил в комнату, которую — как помнил себя — именовал «залом», он пригнул голову. Вещи были знакомы и близки, но каждую приходилось узнавать вновь: налет престарелости покрывал весь дом, как пепел — отгоревший костер.

На комоде зажжен был ночник. Раньше эту крошечную лампочку мать ставила у своей постели. Дибич заглянул в спальню. Старое плетеное покрывало отчетливо белело на кровати. Он вернулся в зал, подвинул ночник к фотографиям.

Он увидел себя с необыкновенно гладким лицом, в студенческой форме, с папиросой между кончиков пальцев. В плену он отучился курить. Студенческая форма осталась у московской квартирохозяйки. Тысячелетия легли между нынешним Дибичем и мальчиком с папиросой. Напротив стояла неизвестная фотография сестры об руку с надутым человеком, чрезвычайно похожим на Пастухова.

В кухне раздалось шарканье. Дибич обернулся. Грудь его была сжата никогда не испытанной болью. Через дверь, раздвинув бордовую занавеску с помпонами по бортам, на него смотрела очень маленькая женщина. Она не испугалась, а только удивленно вытянула голову, и Дибич узнал в ней свою московскую домохозяйку, которой оставил студенческую форму, уходя в школу прапорщиков.

— Никак, сынок вернулся. Васенька? — спросила женщина, все еще держа раздвинутой занавеску, на которой дрожали помпоны.

— Где же мама? — мучительно выговорил Дибич.

— Ты разве не видался с ней, голубчик?

— Где? Где я мог с ней видаться?

— Она, как получила твое письмо, что ты в лазарете, в Саратове, так и припялась к тебе собираться. Да все никак не могла попасть на пароход. Вот только неделя, как уехала с подводами.

— Почему же она меня не дождалась?

— Она, милый мой, устала тебя дожидаться.

— А сестра?

— Сестрица давно замужем.

— За этим? — спросил Дибич, показывая на фотографию.

— За этим. Пастуховы-то ведь тоже хвалынские.

Дибич увидел недовольного Пастухова, который высился во весь рост об руку с неповторимо прекрасной своей женой, улыбавшейся светло и чуть виновато.

— Это не моя сестра. Это — Ася. Вы обманываете меня.

— Зачем обманывать, родной мой? Вот и тужурка твоя студенческая, на-ка, примерь.

— Вы лжете, лжете! — крикнул с невыносимой болью Дибич.— Мама! Где ты?!

— А ты не кричи. Ты лучше скажи мне, а я передам твоей матушке, давно ль ее Васенька пошел служить в Красную Армию?

Он хотел кинуться на женщину, чтобы столкнуть ее с дороги, но она вдруг спряталась, сомкнув перед своим носом борты занавески. Притаившись, она выглядывала в щелку одним глазом, и помпоны мелко тряслись от ее неслышного хихиканья.

Дибич выпрыгнул через окно на террасу, прорвал путаный переплет винограда и бросился прочь со двора.

Он отвязал коня и перекинул повод. Улица была темной, но прозрачной, точно отлитая из бутылочного стекла. Едва он вставил ногу в стремя, как лошадь рванулась и помчала. Он все не мог сесть и тщетно отталкивался правой ногой от земли и чувствовал, как немеют руки, и седло, в которое он вцепился, сползает на бок лошади, и огненный встречный ветер душит, душит нестерпимо.

— Нет, нет, война не кончилась, Извеков ждет. Я сейчас, сейчас! — шептал он сквозь зубы, в ужасе ожидая, что вот-вот расцепятся руки и он выпустит седло — тело его уже волочилось по земле.

Потом пальцы слабо разжались, он оторвался, упал, и конь ударил его задними копытами по груди с такой чудовищной силой, что он пришел в себя...

Он лежал один на тропе, под густым прикрытием неклена. Лошади не было. Он вгляделся в просвет неба и подумал, что ястреб улетел. В тот же миг режущая боль словно расплющила его грудь, и он застонал:

— О, бред... все бред... Бан-диты!..

Он ощупал себя клейкой ладонью. Кобура револьвера была пуста. Он пополз, задыхаясь, по тропе и достиг склона. От бессилия он перевернулся, и голова его очутилась ниже ног. Мелкая галька, шурша, посыпалась из-под него по скло-

ну. Он увидел опрокинутый, словно в зеркальном отражении, огромный яблоневый сад с крошечными разбросанными избами, и признал скит. В давние-давние годы ловил он где-то здесь с приятелями певчих птиц.

— Мама! — успел он прохрипеть.— Боже мой, мама!

Кровь хлынула у него горлом. Захлебнувшись, он опять потерял сознание.

29

— Весьма благодарен за доверие и честь,— сказал Пастухов со своей гипсовой улыбкой,— но я в городе человек случайный, и мое участие в таком представительном деле будет мало уместно.

— Помилуйте, Александр Владимирович,— на проникновенной ноте возразил человек, прической и бородой напоминавший те светлые личности, некрологи которых печатала «Нива».— Помилуйте!

Двое других лидеров общественности города Козлова, явившиеся к Пастухову с просьбой, чтобы он вошел в депутацию к генералу Мамонтову, протестующе пожали плечами.

— Вы, Александр Владимирович, не только для нашего города, вы для всей цивилизованной России человек не случайный.

— Поверьте! — задушевно поддержал человек из некрологов.— Имя ваше знает и офицерство. Прогрессивный слой нашего офицерства безусловно! И, может быть, ваше имя в самом генерале пробудит лучшую часть души, которая у него, под давлением военных обстоятельств, если позволено выразиться, находится в дремотном виде.

— Которую генерал в своем освободительном походе, во всяком случае, недостаточно обнаружил,— добавил другой лидер ядовито.

— И на которую нам единственно остается уповать,— сказал третий со вздохом.— Так что мы вас просим и прямотаки увещеваем не отказываться!

Пастухов выжидательно помигал на Асю.

Она сидела тут же, в этой комнате с балконом на пыльную площадь. Как всегда, когда она бывала сильно возбуждена, лицо ее сделалось покоряюще красиво с его нарядным взором: приподнятые ресницы словно круче изогнулись, и веки были тоненько смочены кристальной слезой.

Все четверо мужчин стояли, окружая ее, в почтительном ожидании.

— Я думаю, Саша, если можно принести пользу... хотя бы минимальную пользу! Ведь это же кошмар — что творят эти страшные люди! Пусть хоть генерал... хоть кто-нибудь остановит их!

— Они вламываются в спальни,— вырвалось у светлой личности,— тащат даже просто... белье!

— Но только, господа! Возглавлять депутацию я ни в коем случае не могу согласиться,— сказал Пастухов с отклоняющим мановением рук.

— Нет, нет! Александр Владимирович! Возглавлять будет известнейший у нас педагог. И тоже, обратите внимание, сперва не соглашался. Но — гражданские чувства! Вас же мы просим быть в числе депутации. Только в числе! Только поддержать!

— В общей куче, хорошо, я согласен,— снисходительно пошутил Пастухов.

Все улыбнулись ему благодарно, но он снова похолодел.

— И потом, господа, никаких адресов. Я против. Ничего письменного. Без слезниц и восклицательных знаков.

— Нет, нет! Исключительно на словах. Настойчивая... мы сказали бы — не правда ли, господа? — не просьба, а категорическое требование: оградить наш город и мирное население от разнузданных грабежей. Немедленно пресечь!

— И потом, эти насилия! — брезгливо сказала Ася, приложив к виску руку с оттопыренным мизинчиком.

— Я не возражаю,— повторил Пастухов.

— Вы, Александр Владимирович, пожалуйста, будьте готовы. Сейчас же, как генерал согласится принять, мы вас известим.

Визитеры стали раскланиваться, но самый молодой из них, тот, что ядовито заметил об освободительном походе генерала, задержался:

— Позвольте, на минутку?.. по личному вопросу...

— Я провожу,— сказала Ася, выходя в переднюю и оставляя мужа наедине с молодым человеком, который подождал, когда затворится дверь, и нервно помялся.

— У вас, может быть... стихи? Вы сочиняете? — сочувственно спросил Пастухов.

— Нисколько! Хотя вообще в газетной области — да. Меня тоже уговорили войти в состав депутации. Но, откровенно, хотелось бы знать ваше мнение насчет того, как вы думаете поступить в случае... если они вернутся?

 — Большевики?

— Имеппо.

Пастухов наблюдал предусмотрительного человека беззастенчиво, как особь, подлежащую исследованию. У особи были разные уши, одно — маленькое, другое — огромное, с оттянутой книзу и приросшей мочкой, будто созданное нарочно, чтобы внимать, и Пастухову пришло на ум новое слово: «Ишь слухарь!»

— Очень может произойти, что все это задержится у нас не дольше, чем в Тамбове. В виде набега. И кроме временного управления, не будет учреждено никакой власти. А потом придут *они*.

— Вы допускаете?

— Очень. Придут и узнают, что мы с вами ходили к генералу.

— Но ведь это в интересах всей массы населения,— попробовал найти оправдание Пастухов, отвлекаясь от рассматривания особи.

— Э, знаете, доказывай там! Масса!

Пастухов утер лицо ладонью, смывая печать озабоченности, и выпалил мгновенно осенившее его открытие.

— Знаете, что очень было бы оригинально? Спрятаться в сумасшедший дом. Да! Купить себе мешок муки и спрятаться. Мешка хватит надолго. Непременно, непременно спрятаться у сумасшедших! — стал повторять он, будто и правда проникаясь верой в неотразимость своей идеи.

— Вы это советуете мне или сделаете сами?

Пастухов основательно потряс гостю руку, выпроводил его и неслышно засмеялся.

— Какой подлец! — проговорил он тихо.

Он вышел на балкон.

По другой стороне площади вдоль кирпичного фасада былого коммерческого училища, поднимая пыль, цепью мчалась кавалькада казаков с тюками, перекинутыми позади седел. Верховые взмахивали плетьми, удальски свистели и гикали. Кое-кто из них бережно придерживал прыгающие на конских крупах узлы добычи. У одного раскатался кусок украденного ситца, и ярко-голубая длинная лента змеилась позади лошади.

— Саша, Саша! Ты не в своем уме! — воскликнула Ася, вбегая и бросаясь затворять балконную дверь.— Ведь они могут выстрелить! На самом виду!

— Черт знает на что это похоже! — с отвращением сказал Александр Владимирович, принимаясь ходить по комнате...

С того часа. когда в город ворвались мамонтовцы и начались грабежи, ему было жутко и в то же время до странности любопытно — какая перемена предстоит для него с семьей? Волнующее ожидание непредвосхитимого напоминало ему состояние детей в канун елки, но страх преобладал над любопытством, потому что Пастухов знал, что кровь льется ручьем и ручей все ближе подбирается к его новому пристанищу.

Дом, где Пастуховы проживали вторую неделю, принадлежал не слишком заметному торговому человеку, сын которого состоял директором городского театра. Мысль обратиться за помощью к театру принадлежала Анастасии Германовне и оправдала себя: директор знал драматурга по имени, его самолюбию было приятно сделать Пастуховым одолжение, и в результате они устроились в двух недурных комнатах неподалеку от главной улицы.

Они начали привыкать к довольно размеренной жизни, понимая, что благополучие так же недолговечно, как нечаянно, и все-таки с удовольствием пользуясь им и закрывая глаза на будущее. Пребывание здесь было столь же случайно, как в Саратове, но случайность тяготила теперь меньше в силу того, что одним этапом меньше оставалось до непременной окончательной развязки, в которую нельзя было не верить.

Алеше на новом месте нравилось не так, как у Дорогомилова, и он скучал. Не чувствуя в установленном житейском порядке что-нибудь непреложное, Алеша, как все дети, принимал случайность за такую же закономерность, как порядок. Ему казалось, что папа и мама поехали на Волгу, в Саратов, потому что надо было пожить у Дорогомилова, а затем не сразу попали к дедушке с бабушкой, потому что сначала надо пожить в Козлове, у директора театра. Алеше интереснее было играть в саду у Арсения Романовича, чем на дворе у директора театра, но он воспринимал свою игру в Саратове и в Козлове, как нечто одинаково естественное, однородное с прежними его играми в Петербурге. С ним рядом находились Ольга Адамовна и папа с мамой, его кормили, мыли в тазу или в корыте, ему стригли ногти и делали замечания,— значит, жизнь, раз начавшись, продолжалась неизменно, иногда веселее, иногда скучнее, но никаких случайностей в себе не содержала, а являлась именно жизнью, установленной в меру своих законов.

Для Александра Владимировича с Асей жизнь последних двух лет состояла исключительно из нарушений закономерности безостановочными отступлениями от порядка. Одну

случайность они считали терпимой, другую принимали за муку. Но даже то, что Алешу приходилось купать не в ванне, а в тазу или в корыте, являлось для них крушением непреложного порядка.

Оба они хорошо знали, что для облегчения жизни полезно отыскивать в ней смешные стороны. И они старались шутить.

Никто из них не живал прежде в этих краях. Тамбов знаком им был по лермонтовской «Казначейше», и они соединяли его с «Госпожой Курдюковой» Мятлева. Козлов, в их представлении, уже тем воспроизводил тамбовский колорит, что славился конскими ярмарками. Ася, обладая памятью на стихи, очень к месту прочитывала слабоумные излияния мадам Курдюковой, и Пастухов с хохотом повторял их:

Мне явились, как во сне,
Те боскеты, те приюты,
Роковые те минуты,
Где впервые Курдюков
Объявил мне про любовь.

Раз, сидя на балконе и наслаждаясь мертвым сном уездного города, они отдавались тому умиротворенному течению мыслей, какое приходит звездной ночью, когда воспоминания сливаются с надеждами и неясно, надо ли строить расчеты на новое будущее или принять настоящее, как полное счастье.

— Упала звезда,— сказала Ася.— Ты что-нибудь задумал?

— Нет, ничего. А ты?

— Я тоже ничего. Я всегда не успеваю.

Они долго молчали.

— Пыль наконец села,— сказал Пастухов.— Слышишь, что-то похожее на запах пионов? В народе их зовут — марьин корень. Неужели еще доцветают где-нибудь?

— Да, правда,— солгала Ася.— Хотя для пионов слишком поздно.

— Странный аромат. Одновременно — розы и взмыленной лошади.

— У тебя странное чутье. Ты всегда разлагаешь запах на прекрасное и гадкое.

— Беру в сочетании, а не разлагаю. Запах неразделен, как чувство. Кто хочет разделить чувство на составные части — либо теряет его, либо лишен его от природы. Чувство всегда — хорошее и плохое вместе. Отдели от пиона розу или взмыленную лошадь — и не будет пиона.

— У меня нет ничего плохого в чувстве к тебе.

Он погладил ее колено.

— Ты женщина физическая. Преимущественно. Тебе присущи раньше всего свойства. Как звездам. У них нет качеств. Они ни плохие, ни хорошие.

Он засмеялся.

— Господи, какую я несу чушь!

Потянувшись к ней, он сонливо поцеловал ее в оба глаза.

Они опять долго не шевелились, потом Ася сказала так, будто разговор не прекращался.

— Знаешь, ведь это тоже — Мятлева: «Как хороши, как свежи были розы».

— Подумать, что он соблазнил Тургенева! Как у него дальше?

Она прочитала:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду. Как взор прельщали мой.
Как я молил осенние морозы
Не трогать их холодною рукой.

— Что это была за жизнь? — изумилась она.— Как люди должны были жить и что были за люди, чтобы могло появиться такое стихотворение?

— С такими рифмами! — сказал Пастухов.— Если бы эти розы всерьез продекламировал конферансье Гибшман — «Бродячая собака» полегла бы костьми от хохота.

— Нераздельное чувство! — вздохнула Ася.— Ваша «Собака» все рвет на куски. И каждый озирается на нее из боязни быть высмеянным. Искусству не осталось ни одного цельного переживания. Для него смешно, что мы смотрим на звезды. Смешно, что вспоминаем стихи Мятлева. Смешно, что любим друг друга. Для него все смешно.

Он усмехнулся, ничего не ответив. Барабаня ногтями по чугунной решетке балкона, он будто предлагал оставить разговор неоконченным. Но заговорил снова.

— Мне ни разу не удалось додумать до конца — что же такое искусство? Всю жизнь им занимаюсь — и не знаю, что это такое. Ради удобства считаю, что мне все ясно. Иначе ничего не создашь. Поймешь до конца — захочешь делать безупречно. Но безупречного искусства не бывало. Оно больше, чем наука, чем всякий иной идеальный мир, делает петли, ошибается.

— Ошибайся, мой друг. Ты ошибаешься прекрасно...

Они расслышали топот бегущего человека. Звук приближался издалека, от собора, высокой тенью раздвоившего

небосклон, переместился на площадь, стал громче, и они одновременно различили в свете звезд темную фигуру, стремившуюся прямо к дому.

— Почему он бежит? Уйдем,— шепотом сказала Ася.

— Погоди. Может, его ограбили?

Но они все-таки ушли с балкона и продолжали слушать из комнаты. Взвизгнул блок калитки, застонала от стука дверь.

— Где спички? Это к нам,— сказал Пастухов, обшаривая стол.

Они не успели зажечь лампу.

Прижимая руки к сердцу, к ним наверх взбежал их молодой покровитель — директор театра.

— Идемте вниз! К папаше! Скажу всем сразу!

Он задыхался. На лестнице он не утерпел — новость распирала его и вырвалась одним паническим словом:

— Белые!

Александр Владимирович обжег пальцы догоревшей спичкой. Остановились в темноте.

— Идемте, идемте! — торопил директор.

Внизу он прикрыл щели на окнах шторами, заставил всех сесть. Его мать — медлительная, глуховатая женщина — непонимающе беспокойно ждала, что же должно последовать. Папаша, в жилетке и с засученными манжетами, переплетя пальцы, водрузил руки па толстый том иллюстрированного журнала. Он смотрел картинки и остановился на изображении библиотеки румынской королевы Елизаветы — Кармен Сильвы.

— В Тамбове донцы! Дорога перерезана! — возгласил мрачный вестник, найдя законченными несколько театральные приготовления.

Он рассказал затем, что один актер удрал из Тамбова на маневровом паровозе, которому удалось, рискуя столкновением, проскочить по левой колее, когда в городе уже хозяйничали кавалеристы корпуса Мамонтова. Перерезанный участок дороги беглец объехал на крестьянском возу, а потом сел на товарный поезд. Казаки с хода в карьер принялись за погромы. Большевиков ловят и вешают на телефонных столбах. По деревням крестьян истязают, как во времена Салтычихи. Всюду пожары, и мамонтовцы не дают тушить.

— Да они кто? — спросила мамаша.

— Белые.

— Да им словно бы и неоткуда взяться.

— Генерал привел. Белогвардейский генерал!

— Ах, генерал! — сказала мамаша и перекрестилась (Пастухов не понял — от испуга или с благодарностью). — И чего народ мечется, как флаг на бане? — посмотрела она па мужа.

— Наше дело тихое. Мы в стороне,— сказал папаша, не поднимая глаз.

— Они могут очутиться у нас завтра. Конница,— сказал сын.

— Очень вероятно, что — конец? — несмело выговорила разрумянившаяся Анастасия Германовна.

— Чему конец?.. Все через ученых! Вон сколько книг-то,— сказал папаша, мотнув головой на библиотеку Кармен Сильвы.

Пастухов косвенно мог отнести этот жест на свой счет. Осаниваясь и тоже опуская глаза, он ответил:

— Не книги повинны в варварстве. Не ученые порют мужиков. Разум не отвечает за бессмыслие. Но вы правы в том отношении, что мы в стороне. Нам остается спокойно ждать событий.

Он поднялся. Больше обычного проступившая в нем статность была даже величественной. Афоризмы поправились ему самому.

— Если можно ждать спокойно,— дополнила их Ася и поднялась вслед за мужем.

— Что ж не посидите? Я подогрею самоварчик,— сказала мамаша, утирая пальцами губы и медленно поворачиваясь на стуле (глухота облегчала ей вопросы жизни уже тем, что уменьшала их число).

Но Пастуховы пошли к себе. До зари они не ложились в постель, рассуждая о предстоящем, поочередно успокаивая и волнуя друг друга. Только один раз Ася пошутила, выглянув на балкон, когда рассветало:

— Запах, который ты принял за пионы, сложнее, чем тебе казалось, Саша. В нем есть что-то от пороха.

— Ну, насчет лошадей-то я, во всяком случае, прав: пахло казаками.

. . . .

Если вглядеться, каким представлялся набег Мамонтова рядовому козловскому обитателю, который сначала по слухам узнал о внезапном захвате Тамбова белыми, а потом воочию увидел захватчиков у себя на улицах, то раскроется необычная картина.

Эти города с момента установления советского строя не
 знали никакой иной власти. Юг, изобиловавший сменами все-

возможных мимолетных правителей, был отсюда далеко, фронт, казалось, обеспечивал прочность зачинавшейся новой жизни. Губерния коренная русская, притом не окраинная, а примыкающая к центральным, она — естественно — и в глазах своего населения составляла часть самой основы государства, его национально спаянного ядра, то есть именно России, установившей Советы и за них боровшейся.

Весть о падении Тамбова свалилась как снег на голову. Первый момент в Козлове вообще никто ничего не понимал — ни гражданские власти, ни рабочий люд, ни обыватели. Как мог вдруг очутиться целый корпус белых за двести пятьдесят верст от фронта, отрезав одним махом дороги на Саратов и на Балашов? Был ли дан бой, и где, и когда, и почему он проигран?

День спустя из Тамбова прорвался поток известий, но поток мутный: страшные новости по-прежнему ничего не объясняли, а только поражали.

Штаб Тамбовского укрепленного района оказался первым распространителем слухов о безнадежном положении города. Сам комендант открыто говорил, что на Тамбов наступают двадцать полков противника. Обороны на подступах к городу создано не было, подготовка к уличным боям не велась. Однако и приказа об отступлении не издали. Это внесло в части гарнизона расстройство и посеяло в умах чудовищную неразбериху.

За день до прихода мамонтовцев ранним утром автомобили и телеги столпились у железнодорожных пакгаузов и на товарных дворах. Грузили все, что нужно и что не нужно, вплоть до ломаных стульев и шкафов учреждений. Вскоре обозы потянулись в два ряда, и населению предстало зрелище бегства. В городе вспыхнула паника. Начальник броневого отряда, решив своим разумением, что паника должна быть подавлена, открыл пулеметную стрельбу по домам Советской улицы, а затем самовольно отошел с броневиком из Тамбова на Моршанск.

На станцию ворвались казаки. Курсанты пехотной школы начали с ними перестрелку. Она не могла принести ощутимого результата. Тамбов пал. Гибли отстреливавшиеся до последнего патрона не снятые с постов красноармейцы. Гибли в одиночку сопротивлявшиеся коммунисты.

Не прекращая марша, корпус Мамонтова взял западное направление и пошел на Козлов.

Это — главное, что узнали козловцы в первое время после падения своего центра — своей «губернии».

Городские власти Козлова пытались организовать сопротивление. Они заверяли, будто считают, что сил достаточно. Бригада большевиков с артиллерией была выслана на позиции верстах в тридцати от города. Около станции Никифоровка появились разъезды донцов. Бригада завязала перестрелку.

Но в то же время власти колебались, ожидая указаний — «как поступить?». Сообщения их были полны противоречий, действия растерянны. Они эвакуировали в Москву банк, но не решались эвакуировать до сотни вагонов ценных грузов. Они запрашивали — «следует ли эвакуировать отделы Совета, куда и какие?». И в том же запросе утверждали: «Что же касается отделов и их служащих, то, разумеется, они будут работать до последнего момента». Они доносили, что «все коммунисты и местные силы мобилизованы и находятся на позиции». Но тут же автор этого донесения признавался, что никто, собственно, не знал, на каких позициях следовало находиться. «Говорить об устойчивости сейчас не приходится лишь потому, что, к несчастью, наша разведка не может точно установить, где, в каком количестве оперирует противник, с какой приблизительно силой он наступает на Козлов, все это у нас неизвестно... Прошу сообщить о положении Моршанска, так как мы имеем сведения, что противник часть своих сил направил на Моршанск и Ряжск».

Устойчивости не было не только из-за негодной разведки. Тревогу вселял не только противник. Ее причины лежали еще и по эту сторону позиций.

Дело заключалось в том, что на все обращения к отделу штаба Революционного Военного совета Республики — как обстоит с обороной Козлова, есть ли надежда, что он не будет сдан — город не получал никакого ответа. Отдел штаба стоял уже на колесах, предварительно эвакуировав свое имущество, и готовый сняться, а штаб Южного фронта выбыл из Козлова сразу после возникновения угрозы городу и находился уже в Серпухове. Жители так же, как власти, все это знали, все видели своими глазами.

Трудно было городу в таких обстоятельствах рассчитывать на устойчивость. Он пал на пятый день после захвата Тамбова.

Немедленно покровительством Мамонтова была учреждена газета.

Играя в «демократа», генерал разрешил ей называться довольно гротескно и для демократа — «Черноземная мысль».

На вторые сутки она оповестила население особым бюллетенем о событии: «...после трехдневного сопротивления казакам красноармейцы и коммунисты оставили Козлов. В город вошли донские казачьи полки генерала Деникина, с генералом Мамонтовым во главе командного состава. Коммунисты большей частью перебиты, красноармейцы сдались, частью разбежались, а остальные преследуются казаками...»

Для козловцев к этому времени вступление Мамонтова в город представлялось уже давностью. Они могли только вспоминать, как накануне, около трех часов пополудни, из-за реки Воронеж и с Турмасовского поля донесся топот передовых эскадронов; как ровно в три на Ямской улице появился, окруженный свитой, сам белый генерал, не слишком твердо держась в седле после походного завтрака; как молча и недвижно стоял народ перед своими домами; как на перекрестке выскочили вперед мещаночки с цветами, и бородатый казак, приняв букет, вез его в вытянутой руке, точно боясь обжечься; как ввечеру особенно внушительно звонили церкви.

Все это отошло в воспоминание. Потому что когда «Черноземная мысль» расклеивала по заборам свой бюллетень, другие события совершались в Козлове, другие картины возникали на его улицах.

Громили еврейские квартиры, громили склады и магазины. Мелкий люд выставил на окнах иконы — в ограждение от казачьих банд. Над пойманными евреями измывались, потом зарубали их шашками. С убитых стаскивали окровавленную одежду. Трупы волочили во дворы, охраняемые конными,— чтобы народ не глазел, не вел счета замученным.

Выискивали, тащили всякое добро. Выкатывали из подвалов бочки с вином и медом, взламывали их, пили и ели, кормили медом с лопат лошадей. Разъезжая, торговали с седел мануфактурой. Очищали от денег кассы. Уводили с конюшен лошадей.

Станция дрожала от взрывов. Взлетела в воздух вокзальная вышка. Рухнули мосты. Покатились под откос пущенные друг на друга паровозы. Зачадили подожженные поезда. Двинулись по путям специальные команды — сокрушать стрелки.

В городском саду играл казачий оркестр. Барышни вышли гулять с мамонтовцами. Появились чиновники в жеваных сюртуках — только что из сундуков. За собором, под откосом, тюкали плотничьи топоры — тюк... тюк: тесались брусья под виселицы.

Мамонтов принимал своих командиров дивизий — генерала Постовского, генерала Толкушкина, генерала Кучерова. Утверждал членов временного городского управления. Подписывал приказы о мобилизации лошадей, об устроении милиции из горожан, о введении для нее белых нарукавных повязок. Рассматривал золотую церковную утварь, драгоценные оклады с икон, награбленные по церквам, и указывал — что в обоз, что к себе в личный багаж.

На главной улице состоялся смотр частям корпуса. Промчались на рысях эскадрон за эскадроном, протарахтели пушки, продымили бронеавтомобили, грузовики с пулеметами, прошел церемониальным маршем пеший отряд казаков.

Мамонтов принимал парад на коне. Он сидел, нахлобучив на глаза фуражку с красным околышем, в синей шинели и огромных черных рукавицах, расшитых золотом по тыльной стороне. Он держал поводья так, чтобы шитье рукавиц всем было видно. Он подчас взглядывал свысока на толпу, резко отворачивался, приподнимался в стременах и черным кулаком недовольно вталкивал кверху усы: толпа не проявляла восхищения.

Таким воочию увидел козловский обитатель набег мамонтовцев на родной город, и только из этого личного видения и знания мог тогда исходить в своем понимании события...

Если рассмотреть набег Мамонтова на основе знаний о событии, накопленных после того, как оно совершилось, то значение набега в ходе гражданской войны проглянет яснее.

Уходя из Козлова, Мамонтов отстоял на площади молебен с колокольным звоном и заявил обступившим его после богослужения облаченным в ризы попам, что сейчас он идет на Москву — «спасать столицу от красной заразы».

Движение, взятое корпусом после захвата Козлова, давало основание допустить, что если Мамонтов и не мог отважиться на бессмысленную попытку рейда на Москву, то намерение попугать таким рейдом у него, конечно, было. Корпус пошел в район Раненбурга, к дорогам, указывавшим направление на Павелец и Тулу.

Мамонтов пугнул рейдом на Москву вполне сознательно. Он не только хвастал, но и хитрил. Он хорошо знал свои преимущества. Они заключались в коннице, способной к самым внезапным изменениям направлений и — значит — в том, что корпус имел возможность произвольно избирать в жертву наименее защищенные города с малочисленными, слабо вооруженными гарнизонами, предназначенными для местной охраны. Безнаказанно углублять свое движение к центру Ма-

монтову мешали два фактора: время, с течением которого должна была улучшиться организация обороны против налетчиков, и массовость рабочих сил примосковных промышленных районов, с красным арсеналом пролетариата во главе — Тулой. Мамонтов заранее знал о ближайшей *неизбежности* поворота назад к югу, на соединение с белым фронтом. Тем более ему надо было демонстрировать движение на север, к центру, чтобы затруднить разгадку своей тактики и ослабить сопротивление там, куда он в действительност і метил проникнуть.

Свое демонстративное движение к северо-западу он быстро сменил поворотом на юго-запад. После Раненбурга был совершен набег на Лебедянь и на Елец. Затем направление рейда было резко изменено на юго-восточное, и мамонтовцы покатились через Задонск большим трактом на Воронеж.

Сопротивление советских городов на пути рейда донцов не ослаблялось, а возрастало. Самое беспомощное в начале рейда, при захвате Тамбова, оно оказалось настолько внушительным к концу, что мамонтовцы уже не могли полностью овладеть Воронежем, продержались в городе лишь одни сутки и, потерпев поражение, отступили. Боями у Воронежа закончился последний этап рейда. Мамонтов повел корпус назад, и этим исчерпались бы результаты его рейда, если бы Деникин не выдвинул, специально для содействия донцам, третий конный корпус чернознаменного генерал-лейтенанта Шкуро, который две недели спустя и ворвался в Воронеж доделывать то, что не удалось Мамонтову.

Почему одни города оказывали сопротивление мамонтовцам, другие были сданы без боя?

Первоначальный успех Мамонтова основан не на одной внезапности налета. Ему способствовала измена.

Командование Южного фронта почти игнорировало существовавшее указание — создать надежные укрепленные районы в стратегически важных пунктах своего тыла. Оборона Тамбова, Ельца была совсем не налажена. Действовала разведка белых. Ей было известно, что, например, в военных частях и учреждениях Тамбова деникинцы встретят необходимых им предателей.

Когда курсанты пехотной школы взялись поутру отстаивать тамбовский вокзал, казаки кричали им с уверенностью: «Все равно вам нечем стрелять! Сдавайтесь!» Они были правы: еще ночью бывшие офицеры сняли с орудий замки и во главе с командиром дивизиона ушли к мамонтовцам. Оперативная часть укрепленного района была вверена командиру

Отдельной стрелковой бригады, который немедленно перебежал на сторону белых. Начальник броневого отряда, вместо того чтобы искать встречи с противником, обстреливал город под видом наведения порядка. Сам комендант района пустил панический слух, что на Тамбов идут двадцать полков белых, тогда как в действительности к Тамбову подступали две с половиной тысячи сабель, то есть всего три полка. Однако город был сдан без боя.

Лебедянь узнала о захвате Тамбова лишь на третий день, и так же, как Козлов,— по смутным слухам. Город сделал попытку обороняться. Ему помог Раненбург пешими и конными отрядами. Однако все эти попытки обороны предпринимались местными силами без содействия штаба Южного фронта, покинувшего Козлов, едва возникла для города угроза. Тамбовские организации впоследствии откровенно заявили, что «многие разумные распоряжения укрепленного района наталкивались на невероятное сопротивление со стороны командования Южного фронта».

Измена была прощупана, подготовлена белыми и сослужила им пользу. Они опирались на нее, как на подсобную силу, действовавшую против Советов и в поддержку успеха Мамонтова.

Но с течением времени действие основных преимуществ мамонтовского маневра уменьшалось. Ослаблялся фактор внезапности: близлежащие города уже энергично готовились к возможной встрече с казаками. Увеличивалась бдительность местных властей против вероятных измен.

Кроме того, начинали действовать иные факторы, служившие на пользу советской обороне и во вред мамонтовцам.

Первым из этих факторов было разложение среди частей донского корпуса, наступившее быстро и возраставшее непрестанно. Погромы и грабежи разнуздали мамонтовцев настолько, что казаки перестали внимать приказам Мамонтова уже в Козлове, где за его подписью был издан бесплодный запрет грабить население. Считать этот запрет лишь выражением лицемерия Мамонтова нельзя: он сам грабил, но в то же время видел, что его войско предпочитает рвению в боях старательность в поживе. Дивизии гнали с собой обозы награбленного добра, занимавшие на дорогах больше места, чем воинский состав. Разложение круто понизило боеспособность всего корпуса.

Другой фактор, препятствовавший развитию успеха мамонтовцев, состоял во враждебности советского населения. Расчет на сочувствие крестьянства принес Мамонтову разоча-

рование. Крестьяне не поддержали казаков, а истязания и грабежи сильнее восстановили деревню против целей контрреволюции.

Результат изменившейся обстановки сказался при повороте мамонтовского рейда на юг.

Средняя колонна Мамонтова натолкнулась на первое серьезное сопротивление у Задонска. Городу удалось провести мобилизацию, набрать отряды и развернуть их в полк численностью больше полутора тысяч штыков. Штаб Воронежского укрепленного района, проявивший решимость в подготовке к обороне и находчивость в оперативном руководстве, помогал созданию Задонского полка. Отдельные роты этого полка показали героическое желание сражаться до последней капли крови. Но защитники города повели тактику полевой войны, требующей резервов и достаточных огневых средств. У задонцев было всего восемь пулеметов и не оставалось никаких запасных сил в своем тылу. Их разжиженные на большом пространстве цепи не могли не оставить поле боя за казаками. Тактики уличной борьбы, которая была бы уместнее, Задонск не применил.

Воронеж своей искусной подготовкой к самозащите достиг того, что встретил мамонтовцев морально и качественно превосходящими силами. Бой под Воронежем длился четверо суток и, несмотря на все усилия белых, принес им только кратковременный захват отдельных частей города, откуда они были выбиты уличными боями, и ускорил отступление корпуса к линии Южного фронта...

Чтобы затушевать свою ответственность за результаты мамонтовского прорыва в тыл Красной Армии, виновники создавшегося положения из числа руководителей штаба Южного фронта и Революционного Военного совета Республики старались представить дело, как «призрачную удачу» белых. Разумеется, ничего призрачного не было в огромном уроне, понесенном населением более десяти городов, подвергшихся набегу, в страданиях женщин, детей, в разрушениях дорог, станций, в разгроме складов, в уничтожении советских хозяйств. Не исчерпались потери народа и Красной Армии множеством погибших в боях с мамонтовцами. И желание уменьшить значение истребительного рейда Мамонтова могло диктоваться единственно нечистой совестью тех, кто сыграл роль пособников Деникина в его борьбе против Советов.

В то же время возвеличивать значение набега могли только сами мамонтовцы, при готовности белых и зарубежных газет создать им ореол.

Рейд Мамонтова белые считали одной из крупнейших стратегических операций. Какую, однако, жатву снял Деникин в результате этой своей стратегии? Мамонтовский набег восстановил против белых народные массы близлежащих к фронту губерний. Он ускорил дальнейшее формирование красной конницы, и ее буденновский корпус (к этому времени уже с успехом действовавший против белой кавалерии юго-западнее Саратова) вскоре вырос в Первую Конную армию. Он, наконец, способствовал обнаружению самых уязвимых звеньев в командовании Южного фронта, а это помогало выработке плана военных действий, решивших исход борьбы с Деникиным.

Таков был действительный политический и военный результат рейда Мамонтова. Набег был показателем самой слабой стороны деникинской стратегии: ее политической необоснованности. Он был проявлением существа деникинской тактики, определенного в июльском письме Ленина как *авантюра*. Он был именно «отчаянным предприятием, в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения».

. . . .

Согласившись принять участие в депутации к Мамонтову, Пастухов чувствовал себя неуверенно: шаг был политический, а он сторонился политики, считая ее виновницей человеческих несчастий. Но, во-первых, этот шаг поддерживала Ася, во-вторых, уже некогда было раздумывать. Он только что оделся в лучший костюм и приготовил любимое пальтецо с белой искоркой, как за ним пришли: генерал назначил депутации пожаловать немедленно.

Ася поцеловала Александра Владимировича и, целуя, меленько перекрестила его в пояс, чтобы он не заметил.

Мамонтов со штабом корпуса стоял в единственной большой гостинице города, на главной улице, — в Гранд-отеле, под охраной конных и пеших донцов. Двое хорунжих встретили депутацию при входе и высказали сомнение, что генерал пожелает видеть столь большое число просителей — группа состояла из восьми человек. Но никто из депутатов, дойдя до порога спервоначала пугавшей цели, не захотел воспользоваться отступлением, словно жалея, что затраченные на мобилизацию духа усилия пропадут впустую. Особенно переполошилась светлая личность, приходившая уговаривать Пастухова.

— Помилуйте! Извольте прочитать состав. Представители исключительно благонамеренных слоев горожан. Менее этого числа прямо-таки невозможно!

 Пастухов перезнакомился со всеми и стал рядом с главой

депутации, который понравился ему,— тяжеловесный мужчина с голубыми, словно извиняющимися глазами. Он очень волновался и все почесывал в седой бороде и, спохватившись, разглаживал ее, пока дожидались пропуска во внутренние комнаты штаба.

Наконец депутацию провели наверх к полковнику — личному адъютанту командующего. Он просмотрел список явившихся, спросил — кто возглавляет господ, и потом, поразмыслив,— кто господин Пастухов?

Александр Владимирович выставил одну ногу вперед, слегка наклонил голову. Полковник остановил на нем долгий взор, еще поразмыслил и, звеня длинными звонкими шпорами, подгарцовывая, вышел в соседнюю комнату. Возвратившись, он оставил дверь открытой, сказал — «командующий приглашает» — и пропустил мимо себя всех восьмерых поодиночке.

Мамонтов сидел за столом, наклонив голову над бумагами. Виден был ровный ежик его волос и растопыренные, огромные усы, похожие на лопнувшие еловые шишки.

За спиной его, поодаль стола, высился молодой казак, державший руку на серебряном эфесе шашки. Двое других казаков стали позади депутации, которая, разогнутой подковой, выстроилась в корректном отдалении от стола. С момента как она вошла в здание, ей никто не предложил сесть.

Уже давно все разместились и окаменели, а Мамонтов продолжал читать. Вдруг он поднял голову и жикнул отточенным взглядом из конца в конец подковы, точно проверяя правильность строя.

— С кем имею удовольствие?— спросил он, не вставая.

— Господин генерал!— начал глава депутации, набрав полную грудь воздуха и чуть выходя из фронта, но Мамонтов перебил:

— Вы кем были до революции?

— Статским советником.

— Так вы должны знать, что ко мне обращаются как к превосходительству.

Захватывая в щепоть сначала один, потом другой ус, он жестко прокрутил их вправо и влево (отчего они только больше растопырились) и обратился к полковнику:

— Поименный перечень, чтобы я знал.

— Список представлен,— сказал полковник, отделяясь от двери.

— Позвольте сюда.

Полковник подвинул на столе лист бумаги. Мамонтов на-

гнул голову и спросил таким тоном, будто в комнате никого, кроме него, не было:

— Кто же эти, однако?

— Самая разнообразная публика,— сказал полковник,— вплоть до красных.

Мамонтов отбросил бумагу.

— Более чем великолепно! Ко мне?! Большевицкая депутация?!

— Вот, в числе прочих, господин Пастухов. Он — красный,— не без удовольствия сказал полковник.

— Который? Который Пастухов?— крикнул Мамонтов, опять прошлифовав весь фронт острым взглядом.

— Пастухов — я. Но господин полковник принимает меня за кого-то еще,— не двигаясь и стараясь говорить убедительно, отозвался Александр Владимирович.

— Тут написано — литератор. Это про вас?— спросил полковник.

— Я — петербургский драматург. Театральный автор.

— Так чего же отказываться? Я своими глазами читал в большевицкой газете, что вы из саратовского подполья,— сказал полковник.

— Это недоразумение, если не клевета,— выговорил Пастухов, чувствуя, как коснеет язык.

— У меня нет времени разбирать недоразумения!— снова крикнул Мамонтов.— На замок! Смеет ко мне являться! Интеллигент... с-сукин сын!

Пастухова кто-то потянул за пальтецо, которое он держал через руку. Он оглянулся. Казак тяжело взял его под локоть. Пастухов отстранился и хотел что-то сказать. Но его уже выводили.

Он еще уловил и будто узнал проникновенный голос светлой личности: «...ваше превосходительство... купечество... чиновничество... духовенство...» — и потом ясно расслышал окрик Мамонтова: «обольшевичились!»

Затем все восприятия его странно изменились: как во сне, они приобрели вязкую слитность, но в этой слитности вспыхивали разрозненные куски слепящего озаренья.

Он увидел скуластого казака, вертевшего в бронзовых пальцах бумажку. Эта бумажка имела роковое отношение к Пастухову, но что было написано в ней, он отчетливо не знал. Казак кого-то спросил: «Эсер, что ль, шляпа-то?» Потом хорунжий с чернявым чубиком, щелкая хлыстом по голенищу, обратился к офицеру в уланской форме: «А через улицу дом, там что было?» — «Женская гимназия».— «Эх,

черт,— сказал чернявый,— было время! Гимназисточки!» Почти тотчас Александр Владимирович возник сам перед собой в виде второго лица, бывшего тоже Пастуховым, но совершенно отдельного от него. Лицо шло по мостовой между двух верховых казаков, несло через руку пальтецо в белую искорку и осматривало улицу. По этой длинной Московской улице Пастухов не раз прогуливался до поворота к вокзалу и теперь узнавал ее, но она была тоже какой-то второй Московской улицей, по которой вели второго Пастухова. Навстречу рысью близилась казачья сотня с песней, и, едва поравнялась с Пастуховым, один казак, по-джигитски перегнувшись в седле, свистнул. Нечеловеческой силы свист резанул Пастухова до боли, и ему показалось, что его ударили по голове нагайкой, и ощущение было настолько резким, что он схватился за затылок. И вдруг он увидел плоский фасад с безнадежными оконцами по линейке и вспомнил, что на повороте к вокзалу стоял острог с проржавленной вывеской под крышей — «Тюремный за́мок». Воспоминание возникло потому, что Пастухов изумился вывеске, прочитав впервые неживое слово «за́мок», однако тот отдельный от него Пастухов, что сейчас подходил к воротам «замка», вспомнил слово не только без удивления, но с уверенным сознанием, что происшедшее должно было закончиться непременно «замком».

Цельное чувство действительности вернулось к Александру Владимировичу, когда его втиснули в камеру. Его именно втиснули, а не ввели, не ввергли, не втолкнули, не бросили. Он ощутил себя в массе тел и тотчас закашлялся от удушающего запаха. Нет, это был не запах (сразу решил он), это были наружные условия, в которых человеческое обоняние должно быть совершенно исключено. Действие наружных условий было таково, что у Пастухова переменился цвет кожи — он заметил это по рукам, поднося их ко рту. Наружные условия действовали на пигментацию — человек земленел от удушья.

В этот миг он отчетливо подумал об Асе, об Алеше, и только тут в полноте понял, что с ним случилось. Он понял, что ни Ася, ни Алеша никогда больше его не увидят, потому что он погиб. Он понял это и, наверное, застонал, так как кто-то рядом с ним издевательски вопросил: «Не любишь?» — и нагло засмеялся. Он ничего не сказал в ответ, предвидя более жестокую пробу терпения, его ожидавшую.

Как всюду, где бы ни обретались люди, образуется зависимость отношений, вытекающая из силы одних и слабости других, так в этой тлетворной свалке тел, невозможной для че-

ловеческого существования, установился порядок, подмеченный Пастуховым, как только кровь его начала приноравливаться к новым условиям дыхания. Людей оказалось не так много, как думал сначала Пастухов, или — вернее — камера могла вместить их меньше, чем то множество, каким представилась ему масса, когда он был в нее втиснут. Позже он сосчитал, что был сорок восьмым человеком в камере с двенадцатью нарами в два этажа. Здесь находились тюремные завсегдатаи, выпущенные в первый день набега мамонтовцами и затем снова посаженные; почтенные старцы и робкие юноши с невинными глазами; рабочие и служилые люди. Одна часть толпой стояла возле двери, другая сидела на полу, третья занимала нары. По истечении некоторого срока лежавшие освобождали нары и становились в толпу, сидевшие на полу лезли на их место, а на пол садилась часть людей из тех, которые стояли. В этом круговращении заключался основной порядок, дополнявшийся тем, что три-четыре человека надзирали за его соблюдением, не подчиняясь ему, и, лежа на нарах, командовали всем населением камеры. Они и были самыми сильными людьми общежития.

Пастухов не скоро получил место для сидения. Знакомый издевательский голос, во время спора — чья очередь сидеть, просипел: «Он с воздуха! Постоит!»

Но сперва Пастухов даже предпочитал стоять. Его потребность наблюдать все, что находилось в поле внешних чувств, не могла ни на минуту остановить горячечной работы мысли. Он непроизвольно запечатлевал мелкие особенности своего вынужденного окружения и одновременно ставил себе один за другим вопросы, как будто не связанные с тем, что видели его глаза, слышали уши, испытывало тело.

Настойчивее других вопросов возвращалось к нему недоумение — зачем же все-таки он погибает? Ведь он же ровно ничего *не сделал!* Если бы он дал хотя бы повод причислить себя к красным! Мерцалову хотелось заработать себе расположение большевиков, и он сделал из Пастухова красного. Но ведь он сделал его красным в глазах белых! В глазах красных он как был, так и остался белым. А белые посадили его в «замок» как красного. Этого ли хотел Мерцалов? Но черт с ним, с Мерцаловым! Чего хотела судьба Пастухова, запутав его в эти клейкие тенета? Где тут правда? В чем правда? Ведь Пастухов действительно ничего *не сделал* против правды, как он ее понимал. Почему же правда отвратила от него свой лик?

Неужели он неверно понимал правду? Неужели его ошибки были преступлением против правды, и она наказывает его

за ошибки? Неужели он не смел ошибаться? Не имел права допускать роскошь ошибок? Боже мой милостивый, неужели здесь, в этой пакости, в этом зловонии, Пастухов должен наново решать еще на школьной скамье решенные вопросы? «Не любишь?» — слышится ему сипучий голос.

«Попробую, попробую наново»,— говорит себе Пастухов, покачиваясь на отекших ногах.

...Я прихожу в этот мир помимо моей воли, прихожу внезапно для зарождающегося моего самосознания. Меня встречают два закона, независимых от моей воли: закон биологии с его требованием, заложенным в мои клетки,— «Хочу жить!» — и закон социально-исторический с его ультиматумом: «Будешь жить только тогда, если подчинишь свою волю мне, иначе ты уничтожишься как человек». Если бы я вздумал жить отдельно от человечества, я стал бы только животным. Я обречен быть среди себе подобных. Я принял это, потому что это неизбежно. Принял то, что существовало в мире, когда я невольно появился в нем. Принял мир, как произвол над собой.

Внутренний, неприятно чуждый голос, чем-то похожий на тот, который нагло оскорбил Пастухова, вмешался в ход рассуждений: «Принял мир вместе с ретирадником, куда тебя сейчас ткнули?»

...Я не был ни в чем повинен ни тогда, когда сидел в кабинете карельской березы, ни теперь, когда сижу в ретираднике (ответил себе Пастухов). Но в котором случае со мной поступили справедливее? Когда держали меня в кабинете карельской березы или когда ткнули в ретирадник?

«Если ты принял мир, как произвол, то зачем же вожделеешь справедливости?— спросил неприятный голос.— Когда тебе было хорошо, ты не искал справедливости. Ты вспомнил о ней, когда тебе стало худо. Но тогда признай, что требования справедливости со стороны тех, кому худо, имеют тверже почву, чем безучастие к справедливости тех, кому хорошо».

...Я не оспаривал ничьих требований справедливости. Природу таких требований я считал благородной. Я только полагал, что эти требования преувеличивают значение общественного устройства для целей справедливости. Каково бы ни было общество, человеку надо биться за существование. Так биться и эдак биться. Не знаю, как и когда больше.

«Тебе не приходилось биться, сидя в кабинете карельской березы. Твое существование было обеспечено тем устройством мира, которое ты принял, как произвол над собой. Этот произвол был приемлем для тебя. Но он не был приемлем для других.

Прислушайся: все время ты говоришь об одном себе: я, я, только я!»

...Но я не виноват, что обречен на бытие! Мои претензии к миру несравненно меньше его претензий ко мне!

«А чем обоснованы твои претензии к миру? Мир так же не волен в твоем бытии, как ты. Ты хочешь получать, ничего не давая».

...Как — не давая? А мое искусство?

«Ты сам назвал его прекрасной ошибкой».

...Это не я назвал. Это сказала Ася. Бедная моя! Как она будет терзаться, когда я погибну! Ах, Ася! Сколько ошибок, сколько ошибок! Прекрасные ошибки? Ах, черт, это ведь просто поза! Разве всю жизнь я не был уверен, что нигде, как в искусстве, существуют законы, осмысленные по своему прообразу — природе? Вон — дом. Он безобразен, потому что у него нет затылка, нет плеча, нет бока. Это всякий видит, всякий говорит: дом безобразен. О, если бы человеку удалось построить жизнь без ошибок, по законам искусства как природы,— может быть, мы увидели бы счастливое общество.

«Ага,— опять послышался неприятный внутренний голос,— теперь ты взыскал счастливого общества! Не принимаешь мир, как произвол, а намерен строить его по своей воле. Ступай, ступай этой тропинкой дальше. Может, она выведет тебя на дорогу...»

— Ступай садись, что ль! Эй, с воли! Новичок! Уперлся стоямши!

Пастухов не сразу понял, что крики относятся к нему. Его выжали из толпы. Он насилу согнул ноги, опускаясь на пол. Исподволь блаженная сладость потекла по его жилам, и он задремал, уткнув подбородок в грудь.

Так влился он в медленное круговращение тел по камере, начал существование, общее с другими заключенными.

Когда-то он слышал о занятиях в тюремных камерах: чтобы убить время и не разучиться мыслить, заключенные преподавали друг другу языки, проходили целые курсы наук. Проверяя себя — чем мог бы он поделиться, Пастухов обнаружил, что, несмотря на разнообразие своих знаний, он ничего не знал до конца. Одно было забыто, другое — не изучено полностью, из третьего он помнил только выводы, в четвертом по-настоящему не разбирался. Языки ему знакомы были лишь настолько, чтобы поговорить с французом о завтраке и вине, с немцем о погоде и дороговизне. Но ему не пришлось горевать о негодности своей к просветительству: никто не собирался слушать лекций, да у него не хватило бы сил читать. Без

прогулок, без умыванья, он постепенно стал примиряться с грязью, потому что разбитость тела была страшнее грязи, голод — страшнее разбитости, неизвестность — страшнее голода. Как с самого начала притупилось обоняние, так со временем затухали другие чувства, и только слух неизменно остро разгадывал каждое движение за дверью, в коридорах «замка».

Как-то рано утром, очнувшись на полу после дурманного забытья, Пастухов увидел маленькое серое существо, неуклюже — то вприпрыжку, то ползком — приближавшееся к нему по вытянутым ногам соседей. Пастухов содрогнулся. Страшно и отвратительно сделалось ему, что он беспомощно валяется на полу и по его телу, как по трупу, ползают гады. Он распознал сверчка, и хотя в тот же миг в воображении его воскресло все сказочно-доброе, связанное с этим запечным домоседом, он не мог одолеть к нему отвращения. Сверчок подскакивал и полз все ближе. Он был не саранчой и не тараканом, а саранчой и тараканом вместе и поэтому вызывал невероятную гадливость. Он прыгнул на Пастухова. Пастухов вскочил, стряхнул его и растоптал на полу с мучительным чувством детского испуга и омерзения. Он долго растирал мокрое пятно подошвой и все не мог побороть в себе брезгливость.

Сутки делились на полосы рассветов и сумерек, полдней и полуночей, но все часы стали казаться одинаковыми, наполненные небывалым у Пастухова томлением, которое он назвал спором души с телом. Он ждал конца и уже не мог бы точно ответить, сколько прошло времени в ожидании, когда однажды за дверью вдруг поднялся шум.

Он был сначала непонятен — гулкий, перекатывающийся по коридорам, перебиваемый стуками и лязгом нарастающий шум. Но еще до того момента, как распахнулась дверь, в камере кто-то ликующе и безумно закричал:

— Красные!..

Повскакали все с нар и с пола, и даже для этих привыкших к тесноте людей давка сделалась невыносимой, когда, не щадя друг друга, они стали рваться к выходу. Кулаки били в дверь, в откинутые к стенам нары, крики в камере заглушали всеобщий шум тюрьмы, и нетерпение обновило лица узников проснувшейся волей к действию.

— Открывай-ай! Свои-и,— вопила камера, и все больше, больше голосов вступало в этот вопль, все исступленнее громыхали кулаки, пока на месте двери не появился свет, в нем не сверкнули иглы штыков, под ними не колыхнулись фуражки с красными звездами.

Шум сразу упал. Потому что все замерли, не веря своим глазам, стало на мгновенье будто просторнее, и в это мгновенье Пастухов услышал молодой голос:

— Которые сидят через мамонтовцев — выходи!

Снова зашумели и опять начали давить друг друга, и Пастухов протискивался вперед, бессознательно работая всеми мышцами, давя собою тех, кто давил его.

Где-то внизу, в коридоре, его поставили в очередь, и он не помнил, как добрался до стола, за которым сидели, разбирая бумаги, красноармейцы. Его спросили:

— Вы кем, гражданин, будете?

(Как ни был выпачкан и смят на Пастухове костюм — вид его бросался в глаза.) Он ответил:

— Театральный работник.

— А! Театр!— весело посмотрели на него из-за стола, и дали ему какой-то квиток, и сказали:— Ну, выходите.

Он шел по двору с квитком в руке, оглядываясь на тех, кого вместе с ним выпускали на волю, и лица спутников казались ему глупыми от счастья, и он чувствовал, что его лицо тоже глупо и счастливо, и его бесконечно волновало, что это так.

У ворот его задержали.

Красноармейский конвой вводил во двор арестованных. В первом ряду тяжеловесно выступал старик, нервно почесывая в седой растрепанной бороде. Он глянул на Пастухова голубыми, словно извиняющимися глазами, и Пастухов узнал в нем главу депутации к генералу Мамонтову.

На одну секунду сознание как будто сделало курбет. Пастухов подумал, что сейчас сойдет с ума. Но вслед за этой секундой у него потребовали квиток, он отдал его, вышел за ворота на улицу, поднял взгляд, увидел безбрежную легкость неба и не совсем прочными ногами, но с удивительным вкусом к ходьбе зашагал по мостовой.

На перекрестке дорог он увидел женщину и мужчину, сосредоточенно мастеривших что-то молотком у оконной рамы ларька. Он остановился, чтобы справиться со слабостью в коленях, и заглянул через разбитое окно в ларек. Там было пусто, но на подоконнике стояли в ряд стеклянные баночки с залитыми сургучом горлышками. У Пастухова приятно кружилась голова, и он испытывал потребность радушного общения и шутки.

— Чем торгуете?— спросил он.

Женщина посмотрела на него, ничего не говоря, мужчина продолжал орудовать молотком.

 Пастухов взял с подоконника баночку, прочитал: «Подлив-

ка из хрена на уксусе». Он ухмыльнулся и стал разбирать на этикетке незнакомое слово, напечатанное русскими буквами. Ему очень хотелось сострить, но мозг его будто упивался бездеятельной счастливой своей пустотой. Наконец он что-то разобрал на этикетке, сказал:

— Правда ведь! Как было прежде длинно — говоришь, говоришь: тамбовский... губернский... потребительский... А теперь — одним духом (он прочитал по складам) Тамгубпотребкоопартинсоюз. И все!

Мужчина опустил молоток, спросил:

— Оттуда, что ли?— и мотнул головой на тюрьму.

— Оттуда.

— Оно видно.

— Вы возьмите, если хотите,— сказала женщина.

Пастухов развел руками: пальтецо его вместе с мелочью в карманах так и осталось в тюремном замке.

— Берите, все равно этим товаром не расторгуешься.

Что-то проказливое мелькнуло в его лице, он сунул баночку в карман, сказал «спасет Христос» и пошел почти прежней независимой походкой, ощущая все ту же приятную пустоту в голове и воскресающее самодовольство артистизма.

К дому он подходил быстрее, быстрее и взбежал по лестнице, как мальчишка.

Ася вскрикнула, необыкновенно сильно обхватила его шею. Алеша выбежал из другой комнаты, оцепенел, потом бросился к отцу и прильнул к его ноге. Он раньше всех, глядя снизу спящими, как у матери, глазами, прервал молчание:

— Пап, ты бородатый.

Александр Владимирович не в силах был одолеть немоту. Он задыхался от объятий и волнения.

Алеша нащупал у него в пиджаке баночку.

— Что это, пап? Вот это — что?

Пастухов вытянул ее из кармана и дал Асе. Она ничего не могла понять и, держа в одной руке склянку, а другой попрежнему обвивая его шею, заглядывала ему в самые зрачки, ища там ответа на единственное свое чувство к нему, которое ее потрясало. Ему хотелось, чтобы она прочла, что написано на баночке, и чтобы они вместе посмеялись. Жажда шутки не проходила у него, но первые его слова прозвучали так, что даже Ася, изучившая его манеру говорить чепуху с серьезной миной, приняла их за чистую монету.

— Арестантику подали ради Христа,— сказал он.

Она приложила к своей груди эту нелепую склянку с благодарным и растроганным порывом. И тогда Пастухов, со сво-

им внезапным простодушием, захохотал, отнял у Аси баночку и швырнул на стол, бормоча сквозь смех:

— Потом... потом... посмотришь, что это за соус!

Она старалась улыбаться его смеху, все еще ничего не понимая и не желая ничего понимать, кроме своего счастья.

Ольга Адамовна, вытирая платочком глаза, стесняясь, выглядывала из-за двери: она вполне отдавала себе отчет, что это нескромно, но не могла не участвовать в необычайном свидании супругов.

Пастухов важно приблизился к ней, нагнулся к ее руке. Лицо ее покрылось пятнами, кудерьки задрожали. Она притворила за собой дверь.

Он крикнул ей:

— Ольга Адамовна, милая! Умоляю — поскорей помыться! Нельзя ли там, у хозяев, баньку, а?

Когда улеглось смятение поднявшихся с самой глубины души переживаний, и разум восстановил свое господство над мыслями, и Пастухов смог наскоро рассказать о себе, и Ася смогла выслушать рассказ — к этому времени Алеша был уже занят своими играми, а Ольга Адамовна воевала с коптившими фитилями керосинки.

Прохаживаясь по комнате со стаканом чаю, Пастухов увидел на постели разрозненные листы какого-то томика.

— Ты читала?

— Да. Я плакала над ним, и все читала,— ответила Ася, будто прося, своей неуловимой улыбкой, извинить за такое признание.

— Что это?

— Тут перепутано. Из разных книг «Войны и мира». Но, знаешь, мне нравилось, что перепутано. Это как-то грустнее.

Она присела на постель, начала быстро листать страницы.

— Здесь есть одно место...

Она бросила искать.

— Все равно не найдешь в этой лапше.

— О чем?

— Это, знаешь, из тех мест, которые мне раньше казались скучными. Я всегда пропускала. А тут я задумалась... То место, где об истории.

— Знаю. Я *там* тоже думал об этом.

— Правда? Может быть, как раз в то время, когда я читала... Знаешь, где говорится, что это отживший взгляд на историю, как на произведение свободной воли человека.

— Да, да. О том, что нельзя, изучая историю, пользоваться этим воззрением наравне с признанием истинными законов

статистики, политической экономии, прямо противоречащих этому устарелому взгляду на историю.

— Как ты помнишь!

Как всегда, когда муж думал вслух, Ася с восхищением следила за ним увеличенными глазами.

— Ну и что же?

Она притихла в нерешительности.

— Сперва я думала вместе с ним, а потом не так, как он.

— Не так, как Толстой?

— Да. Я думала, что ведь теперь уже победило новое воззрение на историю. Правда? Ведь теперь утверждают, что изучение истории согласовано со всеми этими науками, о которых Толстой говорит... ну, со статистикой, естествознанием. Ведь так?

Она опять замолчала, и во взгляде ее появилось что-то двойственное, как будто она чувствовала себя виноватой, что затеяла отвлеченный разговор, и в то же время считала его очень нужным и гордилась им.

— Ну?— снова поторопил он.

— Я подумала, что как прежде человек подчинялся истории, толкуя ее ложно, так и теперь подчиняется ей, толкуя ее правильно. Она управляет им, как инструментом. Я не права?— спросила Ася с нарастающим выражением двойственности на лице.

Пастухов отхлебнул чаю, взял стул, сел против жены. Он делал все крайне медленно.

— Не права?— еще раз спросила она.— Я не переставая думала о тебе, Саша, думала о нас. Я не спала, читала больше от бессонницы. Но к этому месту возвращалась несколько раз. И у меня создалось свое убеждение... Может, оно и не противоречит Толстому, я не знаю. Но для меня оно идет дальше его. Я решила, раз нами управляет история и мы — ее жертва, то какой же исход?

Он смотрел ей прямо в глаза, и ему сдавалось, что странным выражением вины прикрывается на ее лице хитрость. Видимая слабость и скрытая сила — эти противоречия, жившие в ее чертах, составляли так хорошо ему известное, чуть улыбающееся и мгновеньями будто нерешительное лицо Аси, казавшееся ему в эту минуту еще красивее, чем прежде.

— Какой исход,— увлеченно и вкрадчиво продолжала она,— если независимо от того, ложно мы понимаем историю или правильно, мы остаемся ее жертвами? Покориться — вот в чем исход. Правда?

— Чертовски умная баба,— сказал он серьезно, однако

так, что она могла принять похвалу в полушутку и предпочла это сделать, возбужденно засмеявшись.

Но он не ответил на ее смех и заговорил, придавая каждому слову особое, как бы решающее значение.

— Оставим в стороне, что нельзя смешивать изучение истории с движением событий, в котором мы живем и которое только со временем станет предметом изучения. Я не хочу сейчас разбираться в ложных или истинных научных толкованиях предмета истории. Я живу своим ощущением. Понимаешь? Оно обогащено у меня жизнью как никогда. Это — история, в которой я — действующее лицо. Понимаешь меня? И я тебе должен сказать: у меня нет ни малейшего желания быть жертвой истории. Я не хочу быть жертвой! К черту! Ко всем чертям!

Пастухов поднялся, отодвинул ногой стул, опять заходил.

— Уразуметь, что происходящее в Петербурге, в Саратове, в Козлове и не знаю — где, с нами и с нашим Алешкой, есть движение истории — это не фокус. Фокус в том, чтобы внутри этого движения найти поступательную силу. Надо быть там, где заложено развитие истории вперед. Мамонтовцы — тоже история. Но благодарю покорно! Если я при всяких условиях подчиняюсь движению событий (в чем, я полагаю, ты совершенно права), то в моей воле выбрать, каким из составных сил движения я хочу себя подчинить. Жертва? Смерть со славой и с честью — не жертва, а подвиг. Протянуть ноги во вшивой каталажке неизвестно за что и почему — тоже не жертва, а идиотство!

Он недовольно оборвал себя:

— Вот видишь, оказывается, я умею произносить речи.

Он увидел Алешу, который прижался к косяку и глядел на отца с гордым и перепуганным выражением.

— Ты что?

— Я думал — ты меня звал...

— Звал?

— Ты крикнул: Алешка!

— Не подходи ко мне, я должен помыться, ступай играй,— сказал Пастухов немного растроганно.

Взгляд Аси заволокла та вдохновенная слеза, которая всегда размягчала Пастухова, и он старался поменьше глядеть на жену, чтобы сохранить разбег своей решимости.

— Ты помнишь разговор с Дибичем у саратовского вокзала? Так вот я теперь вижу, что Дибич прав. Такие, как он, если и погибнут, будут принадлежать Истории с большой буквы (это его слово, помнишь?), а не так называемым обломкам

истории. Я тоже не намерен валяться в обломках. С какой стати, черт возьми?

Он с наслаждением от оживающей в нем силы распрямился, выставил подбородок.

— Ничего себе обломочек!— задорно сказал он.

Ася с одобрением, но слегка задумчиво покачала головой.

— Он очень милый... этот Дибич,— проговорила она.

Пастухов остановился и помигал на нее, упустив свою мысль. Подойдя к столу, залпом допил чай.

— Ты любишь, когда тают от твоих акварелей. Дибич созерцал тебя умиленно... На тебя и старик Дорогомилов вздыхал...

Она поправила мизинчиком волосы на виске.

— Так приятно-приятно, когда тебя немножко приревнуют!

Он опять подвинул стул, уселся против нее.

— Мой выбор окончателен. Понимаешь? Я сделал его *там*, в местном филиале Дантова ада. Решил, что если останусь в живых,— первое, что сделаю, напишу Извекову, что я был олух. И Дорогомилову тоже. Чтобы знали, что я не белогвардеец...

Он сказал это твердо и, пожалуй, торжественно. Вдруг, близко наклонившись к Асе, он снизил голос.

— У меня был *там* один момент... ужасный и отвратительный. Вот послушай...

Он рассказал и даже наглядно изобразил, жестикулируя, как на него полз сверчок и как он его растоптал. На лице Аси повторялись оттенки брезгливости, с которыми он восстанавливал остро запомнившееся впечатление.

— Самым отталкивающим в этом насекомом мне показалось то, что оно — не таракан и не саранча, а какой-то межеумок. Вдобавок, в нем было что-то самодовольно важное, точно гнус считал себя неотразимым красавцем. Это невозможно видеть без содрогания! Я потом все вспоминал, и у меня по спине мурашки бегали. Бр-р-р!

Он потер руки и, вскочив, стал отряхиваться. Несколько листов книги слетели на пол. Он поднял их.

— На свете нет ничего омерзительнее межеумков. И я тогда подумал, что мое положение, ко всему прочему, мерзко.

— Саша!— неподдельно пугаясь, воскликнула Ася.

Он попробовал сложить ровнее листы книги. Они рассыпались у него в руках.

— Я представил себя со стороны. Каков я в глазах разумного человека. И сделал выбор... И когда остановился на своем

выборе — можешь мне поверить?— в этой клоаке, обреченный и ждущий конца, я почувствовал себя гораздо свободнее. Понимаешь? Гибнуть из-за недоразумения, из-за анекдота — даже не смешно. Это унизительно! Я решил и совсем ясно представил себе: если уж все равно должен пропасть — так я им крикну: да, да, я красный! Красный — черт вас побери!— и ненавижу вас утробной ненавистью!

Он опять заметил в дверях возбужденное лицо сына.

— Пап,— сказал Алеша тихо,— а разве другие сверчки кусаются?

— Нет,— ответила Анастасия Германовна, чуть улыбнувшись,— другие сверчки не кусаются. Не мешай нам с папой.

Она приподнялась с желанием успокоить мужа или, может быть, удержать от опасного шага. Он отвел это движение, словно боясь, что она посягнет на шаткое здание, которое он едва начал возводить, и оно разрушится.

— И никуда я больше не побегу!— нетерпимо обрезал он.— Конец! Я понимаю Дибича, что он бежал из плена. Ему надо было домой. А мне не надо. Я дома. Мы с тобой дома, понимаешь меня? И нам надо разделять судьбу нашего дома.

Она все-таки с кроткой настойчивостью обхватила его пальцы своими мягкими ладонями, развела его руки, прижала себя к его груди.

— Милый, но я ведь с тобой совсем, совсем согласна!

Он высвободился. Ему хотелось все привести к окончательному строю, положить предел угнетавшему спору души с телом, а главное — увериться, что его выбор не зависит от подсказок или давления, что он свободен. Он опасался возражений и в то же время не хотел, чтобы Ася поспешно соглашалась с ним. Он не мог уступить ей первенство в решении, которое должно было изменить всю жизнь.

Он сложил наконец листы книги и, с уважением поглаживая ее рваные края, проговорил:

— Ты именно придерживаешься Толстого, если считаешь, что все дело только в том, чтобы покориться движению. А я не согласен с ним. Раз выбор зависит от меня, значит, я участвую в развитии событий своей свободной волей. Сумма таких свободных воль прилагается к равнодействующей всех сил истории. И, значит, история, в какой-то части, становится произведением свободной воли человека. Моей свободной воли.

— Я только и хотела тебе это сказать,— шепнула Ася, обнимая его голову.— Конечно, конечно, ты волен во всем... Как блудный сын, когда он вернулся в отчий дом, мы с тобой

тоже вольны вернуться. С повинной головой. Повинную голову не рубят.

Она теребила его волосы, он хотел отвернуться, но вдруг рассмеялся своим обычным взрывом, и они остановили глаза друг на друге, довольные собой и будто омоложенные.

— Выходит, получилось по-твоему?— спросил Пастухов, едва заметно подмигивая Асе.

Ольга Адамовна заглянула к ним и с потерянным видом, с каким докладывают о нежданных праздничных визитерах, сообщила, что явились хозяева — директор театра с мамашей.

— Мы только поздравить, только поздравить!— возвестил директор, тряся Пастухову руки.— Какое счастье! Как вы себя чувствуете? Ей-богу, мы за вас перетрухнули! Вот мамаша скажет, ей-богу! Ведь это же все бесконечно грустно, честное слово!

— Как вам сказать,— с тонкой улыбкой ответил Александр Владимирович.— Не помню, в каком романе Стендаль написал о своем горе: «Грусть сделала его душу доступной восприятию искусства». Так что это на пользу...

— Не били вас там, а?— спросила мамаша, выпростав изпод волос ухо.

— Бог миловал!— крикнул он ей весело.

Она перекрестилась.

— Бегу в театр, извините!— сказал директор.— Мы готовим апофеоз. Такой подъем, знаете ли, ей-богу!

— Что готовите?

— Апофеоз.

— Чей же это? Что такое?

— Ничей. Силами самой труппы. Как-нибудь, знаете, с музыкой, с пением, все такое.

— Погодите,— строго сказал Пастухов, прихватывая директора за рукав.— Погодите... я для вас напишу апофеоз. Он будет называться «Освобождением».

Он медленно обвел всех великодушным взором.

— Александр Владимирович! Да мы... мы на руках вас... ей-богу, всей труппой на руках вас носить будем!

Директор бросился к выходу, что-то еще восклицая на бегу.

— Чего это он, а?— не поняла мамаша.

— На руках меня хочет носить,— нагнулся к ней Пастухов.

— А-а! И верно. Мы ведь совсем вас похоронили... А я вам баньку затопила.

Александр Владимирович обнял ее за плечи.

— Веник-то есть ли, веник-то, а? — крикнул он.
— Есть, да больно облезлый. Как помело.
— Спасибо и на том! Спасибо на помеле, мамаша!
— Парьтесь, батюшка, на здоровье...
— Смыть все с себя к черту!— громко вздохнул Пастухов, оставшись опять наедине с женой.

Они вышли на балкон. Он посмотрел из конца в конец безлюдной площади.

— Что за день! И как чудесно, кисленько пахнет уличной пыльцой, правда? Ах, Ася, Ася!

Он еще раз полно вздохнул большой своей емкой трудью.

30

Внешняя неизменность Рагозина, выделяя его среди экипажа «Октября», всем казалась совершенно обыкновенной, и сам он не придавал значения своему отличию от моряков. По-старому он носил косоворотку, пиджак, слегка нахлобученную кепку блинком, которою иногда прихватывал с виска завиток волос. Зато ступал Рагозин даже больше моряков поморски — прежняя развалка его стала опять заметнее, может потому, что он будто помолодел, кончив свою безнадежную битву с финансовой цифирью и выйдя на певучий волжский ветер.

К высокому сутуловатому его сложенью скоро привыкли в дивизионе. Он появлялся на виду команды часто, хотя первое время подолгу приходилось сидеть в штабных каютах: надо было вникать в военно-морское хозяйство и продолжать перестройку политической работы сообразно меняющимся на ходу условиям.

Рагозин попал во флотилию за несколько дней до начала августовского наступления советских армий к юго-западу от Саратова. Он не был ни военным, ни моряком, он владел лишь одним оружием, довольно хорошо знакомым рабочему люду России: браунингом. Убежденный, что всегда находится на месте, если поставлен на это место своей партией, он приступил к обязанностям дивизионного комиссара, не сомневаясь, что они ему под силу и он овладеет ими — дали бы срок.

В составе судовых команд были моряки-балтийцы, встречался судовой народ с Каспия и Приазовья, волжане, коренные поморы с Севера. Все это водное племя обладало навыками долголетних плаваний, в большинстве прошло войну и са-

мой природой было словно выделано для пребывания на судах.

Пестрота народа сглаживалась военно-морским порядком и тем, что примером для команд служили балтийцы, принесшие на Волгу двойную славу своей беззаветности — в борьбе на Балтике с германским флотом и на революционных фронтах Петрограда, откуда послала по России первый раскат Октября легендарная «Аврора». Каждый считал за правило подражать балтийцам — их самозабвенной ярости в бою, их прибауткам на роздыхе, даже их манере носить бескозырку — не набекрень, а прямо, в линию к надбровью, что придавало моряку облик не столько лихой, сколько непреклонный.

Кроме дивизионов канонерок, в Северный отряд Волжско-Камской флотилии вошли плавучие форты с батареями морской артиллерии, вспомогательные суда — ремонтных мастерских и госпиталей, дивизионы катеров, воздушный, воздухоплавательный, отряды десантные и минные. Когда эта вооруженная разномастная армада судов и суденышек, пятная берега и небо черными, рыжими, свинцовыми дымами труб, пыхтя и стуча машинами, лязгая в клюзах якорными цепями, мигая на мостиках быстрыми флажками сигнальщиков,— когда эта многочисленная плавучая крепость заняла протянувшуюся на версты исходную позицию и Рагозин, на моторном боте, по дороге в штаб флотилии, прошел только мимо передовых дивизионов, у него захватило дух. Впервые с такой властью очевидности развернулось перед ним могущество красного фронта, и он как бы предметно, на грозных вещах, обнаружил величие двинувшегося за своим правом народа.

Рагозин зачерпнул через борт горсть прогретой солнцем воды, хлебнул глоток, вытер лоб ничуть не остуженной ладонью и, не зная — как бы излить волнение, крикнул мотористу:

— Закурим, что ли?— хотя давным-давно отвык от табака...

С того момента, как в штабе дивизиона вскрыт был пакет с приказом о переходе в наступление и сигнальщик передал узорчатой игрой флажков приказание командира дивизиона — «следовать за мной кильватерной колонной», Рагозин больше не заглядывал к себе в каюту. Пребывание на палубе, или на командном мостике с биноклем перед глазами, или у орудий, среди молчаливых, серьезных матросов, делало его чувство торжественным и напряженным. Он был уверен, что первый же предстоящий бой будет решительным, и странным казались ему невозмутимое спокойствие берегов, нежная, как оперенье снегиря, краска восхода, одиноко возносящийся над де-

ревщей дымок затопленной печки. Полным кругом выкатилось над луговой стороной солнце, и другой высокий берег ожвил-ся. Взбивая пыль, тянулись по нагорью бесконечными цепочками гурты овец и волов: команды армейского снабжения погнали скот. Это был знак, что наступление на суше началось в один час с флотилией. Клубы береговой пыли будто переговаривались с редкими дымами канонерок: локоть к локтю, отважнее вперед!

Но эти клубы пыли навлекли на себя противника. Две тройки самолетов быстро близились навстречу дивизиону, вырастая на безоблачном небе из едва приметных воробьиного размера пятнышек в парящих воронов и накатывая на окрестность свирепый гул. Передняя тройка пронеслась вдоль берега, задняя шла над руслом. Взорвались одна за другой первые бомбы, вскинув веера земли в воздух. Над гуртами выше поднялась непроницаемая туча пыли — скот бросился врассыпную.

Застукали зенитные трехдюймовки дивизиона. Суда начали маневрировать. Многосаженными стеклянными бокалами взвились над Волгой и ливнем пали водяные столбы от разорвавшихся бомб. Канонерки закачались на неровных волнах.

Кое-кто из нижней команды «Октября» поднялся на палубу. Все смотрели, как разворачиваются и заходят с тыла самолеты. На этот раз вся шестерка взяла курс вдоль русла. Бомбы легли на воду кучнее, но суда успели к этому моменту отойти друг от друга на большое расстояние. Зенитный огонь усилился, легкие, будто пуховые звезды разрывов в небе стали чаще, самолеты должны были подняться выше. Но они вновь описали полукруг и вновь вернулись.

Одна бомба, со свистом раздирая воздух, низринулась поблизости от «Октября». Белый шквал пены окатил палубу канонерки, борта ее ответили взрыву утробным воем, со звоном вылетели в крохи размолотые стекла штурвальной будки.

Молодой матрос был сброшен с носовой части в воду. Ему кинули с кормы конец. Он кошкой вскарабкался на борт. С него струилась вода, фланелевка и штаны облепили его резиновое тело. Он поглядел вслед ушедшим самолетам, поднял кулак, крикнул:

— Я вам попомню! — и ругнулся так звонко, что услышала вся верхняя палуба.

Страшнов, вылезший из машинного отделения, стоял во время взрыва позади Рагозина. Он утер от воды выпачканное

маслом желтое лицо и прогудел недобрым басом, с особым упором на свое «о».

— Горячий привет дорогой Антанты...

Рагозин, тоже вытирая платком загривок (его обдало со спины), проговорил спокойно:

— Союзнички.

— Французского изготовления птички-то?

— Черчи-илль старается,— протяжно ответил Рагозин и вдруг, повернувшись к Страшнову, быстро спросил: — А твое место боевого расписания здесь?

— У нас на месте обе смены,— отозвался Страшнов куда-то вбок.

Рагозин промолчал.

Все время налета он пробыл около зениток, присматриваясь к незнакомой работе артиллеристов. Он боялся упустить какой-то важный миг, который мог потребовать его вмешательства, и внимание его, отточенное до небывалой остроты, подавило в нем все другие способности. Он только потом, когда самолеты скрылись, словно бы с головы до пят ощутил, что момент был жестокий: если бы хоть одна бомба угодила в судно, урон был бы велик. Его поразило, что зенитки не причинили никакого вреда самолетам — они удалились пренебрежительно-спокойно,— и он не знал, как ответить себе — хорошо ли велся огонь и можно ли назвать происшедшее боем? Но команда молча приводила в порядок корабль, и Рагозин тоже многозначительно помалкивал, делая вид, что грохот таких схваток с противником ему вполне привычен.

Высланная вперед канонерка «Рискованный» подошла близко к неприятельскому берегу и высадила на лодке разведчиков. Матросы забрались на крышу разрушенной дачи.

Степь простиралась в однотонном покое сожженного солнцем былья. Пологая возвышенность тянулась под углом к берегу. Справа от нее видна была цепь залегшей лицом к югу пехоты, слева далекой грядою вздулись холмы, похожие на курганы. Сильно маревело, и нельзя было тотчас увериться — где призрак, где настоящее окаймление курганов. Потом стало угадываться через бинокль суетливое движение людей вокруг раскинутых по гряде точек.

И вот, будто проступая из земли, выплыли открытые артиллерийские позиции белых.

Разведчики попрыгали с крыши, бросились назад, на канонерку. Под прикрытием береговых обрывов она пошла полным ходом, но не успела передать штабу добытых сведений, как белые открыли по кораблям огонь.

Канонерки начали спускаться по течению, в расчете зайти белым в тыл. Ответный огонь их нарастал. Подтягивались к месту дуэли корабли других дивизионов. Открыла стрельбу плавучая батарея. Гулкие вздохи морских орудий Канэ ворвались в рокот канонады. Как пузыри в воде, всплыли в воздух змейковые аэростаты. Светящимися облачками они повисли в прозрачной высоте, сигналами корректируя стрельбу.

Когда «Октябрь» обогнул протяженную береговую излучину, перед ним, словно ущелье в горах, раздвинулся глубокий буерак, жерловина которого выходила к реке, а другой конец, далеко в степи, упирался в подошву курганов. Сквозь это ущелье с борта стали видны непрерывно бившие батареи деникинцев.

Перед глазами Рагозина выросла та живая, замкнутая в своей жгучей ясности цель, которую до́лжно было уничтожить. В желтом, позолоченном солнцем чаду над степью он остро различал вспышки орудий, пыль, завихряемую выстрелами, взлеты земли от разрывавшихся корабельных снарядов — будто кто-то вскапывал почву огромными заступами и кидал в воздух.

«Октябрь» навел четырехдюймовку вдоль буерака, коридором открывавшего путь для удара с тыла. Раздалась команда — и последовал выстрел. Корабль дрогнул.

Рагозин, установив локти на палубном поручне, глядел в бинокль. Если бы он мог в эту минуту наблюдать самого себя, он изумился бы скованности своего тела. Широко расставив ноги, пригнувшись, он прогибал тяжестью корпуса металлический прут, на который упирались локти. Иначе, нежели этой натугой всех мышц, нельзя было удержать в повиновении прежде никогда не ведомое чувство. Это была окрыленная злоба, звавшая его туда, где рвалась на комки и развевалась в золотую пудру земля. Он смотрел и смотрел в далекий светящийся чад, напутствуя этой злобой снаряд за снарядом, летевшие с корабля на вражеские батареи.

Вдруг огонь флотилии начал утихать. «Октябрь» прекратил стрельбу. Рагозин оторвался от бинокля, подскочил ближе к мостику.

— Что такое? Почему замолчали?

Голос его после гула орудий прозвенел по-птичьи.

— Пехота с десантом пошли в атаку! — крикнул сверху командир.

Рагозин глянул на берег.

По полосе между водой и подножьем берегового обрыва бежали узкой тесьмою матросы десантного отряда. Один за

другим исчезали они в крутобокой жерловине буерака. Несколько тесных кучек людей катили пулеметы, впрягшись в них спереди и подталкивая сзади.

Рагозин опять прижал к переносью бинокль. Пыль медленно оседала на курганы. Реже и реже вспыхивали огни выстрелов. Возник на бугре дымный шар, стремительно разбухая, и спустя секунду волной разлился по степи тягучий удар взрыва. Кто-то закричал на палубе:

— Орудия рвут!

Рагозин увидел, как совсем близко от позиций белых десантники, цепляясь друг за друга и скатываясь по оползающим откосам, выбирались из буерака наверх. Вот передовые выпрямились в рост на равнине. Вот со дна оврага потянули кверху пулеметы. Все больше появлялось на кромке буерака матросов, длиннее растягивались по степи их ряды. Протрекотала первая строка пулемета. Воздух словно задрожал от далекой ружейной пальбы.

— Пошли, пошли! — с нетерпеньем раздался новый выкрик.

Сразу в дюжину голосов со всех концов корабля начали кричать столпившиеся на палубе моряки:

— Бей их! Бей, в душу так...

Рагозин перевел бинокль на курганы. По степной целине полные упряжки коней галопом уводили орудия. Почти в тот же момент па оксемку холмов россыпью вымахнула красная пехота. Цепь ее просвечивала, как частокол против солнца. Десантный отряд матросов прянул наперерез бросавшим позицию белым.

Рагозин поднял голову на мостик.

— Сбили! Сбили! — кричал ему командир, непонятно взмахивая обеими руками.

Рагозин быстро оглядел моряков. Со смехом крича и бранясь, они смотрели на берег и тоже махали руками. Лица их сияли тем высокомерным и наивным счастьем, какое приносит успех.

Вдруг прямо против себя Рагозин опять увидел Страшнова. Залитый солнцем и потому еще больше лоснившийся от масла, помор довольно улыбался.

— Лиха беда начало,— сказал он.

Рагозин нахмурился.

— Ты что за мной ходишь?

— Я тут... в случае чего исправить на палубе...

— Ты что мне — нянька, за мной смотришь? Я за тобой буду смотреть, а не ты за мной!

— Я что ж? Я как все...

— Нет, не как все,— с неожиданной угрозой оборвал Рагозин.— Мне опахала не требуется. Я не генерал — ходить за мной...

Он круто повернул плечо и ушел. У него явилась раздражающая мысль — будто он что-то задолжал. Вот сбили артиллерию деникинцев, матросы с пехотой бросились преследовать ее, а он только поглядывал в бинокль. Это был уже настоящий бой, и кончился он удачей. А что Рагозин сделал для удачи? И что ему надо делать в боях? Глядеть в бинокль?

— Опахало! — негодующе буркнул он, взбираясь на мостик и резко откидывая вбок болтавшийся на ремешке тяжелый бинокль.

Командир дивизиона — уже немолодой и рыхлый морской офицер — проговорил навстречу Рагозину, когда комиссарская кепка только показалась над последней ступенькой к мостику:

— Пошло, Петр Петрович, теперь пошло!

Он не приподнял, а лишь дотронулся левой рукой до козырька, делая вид, что приподнимает фуражку, и не перекрестился, а лишь наметил правой рукой перед лицом своим мановение, похожее на крестик.

— Господи благослови.

Он как-то официально и в то же время пытливо смотрел в лицо Рагозину. Петр Петрович подвил растрепанные колечки усов. Он не возражал против обычая: отчего не перекреститься, если дело пошло на лад?

— Приняли с флагмана радио,— как бы докладывал и вместе с тем просто делился новостью командир.— Наступление развивается по всему фронту. Дивизиону идти полным вперед, очищая берега от противника.

— Не оторваться бы от пехоты,— с видом стреляного воробья заметил Рагозин.

— А зачем у нас глаза, Петр Петрович? Глаза прежде всего.

Офицер уважительно постучал ногтем по биноклю Рагозина. Ему нравилось, что комиссар не говорит лишнего и не мешает ему держаться так, как он привык, то есть слегка отечески.

— Значит, полный вперед?

— Вперед, Петр Петрович. Отдаю приказание.

...Этот день открыл собою обширные наступательные операции особой ударной группы советских армий Южного фронта по плану главкома, начавшиеся с успехов, но приведшие затем к отступлению.

 Провал удара Южного фронта по казачьим армиям белых

обнаружил себя через две недели для вспомогательной группировки, действовавшей на Купянск, и через три недели — для армий, наступавших в основном направлении на Царицын. Вспомогательная группа, вклинившись центром глубоко в расположение белых и заняв Валуйки и Купянск, оставила свои ослабевшие в боях фланги далеко позади и оказалась под опасностью полного окружения. Попытки ликвидировать угрозу флангам, созданную кубанской конницей Шкуро и донцами, не дали положительных результатов, и вся группировка вынуждена была с тяжелыми потерями отойти в исходное положение, а потом и за его пределы. В направлении на Царицын упорные бои сначала принесли красным войскам немало успехов, но группа в целом быстро разбросала свои силы на широком фронте и не могла выполнить своих задач. Армия, продвинувшаяся до подступов к Царицыну, попала под удар маневренной кавалерийской группы Врангеля, не выдержала ее сосредоточенных атак и отступила к северу от города.

Однако пока наступление развивалось, оно дало примеры из ряда выходящей боеспособности солдат, сплоченных знаменами революции.

Особенный порыв проявился на главном направлении, где советская пехота действовала совместно с кавалерией и при поддержке Волжско-Камской флотилии.

Тут объединенные в конный корпус под командованием Буденного дивизии, не прекращая формирования частей и черпая конский состав в окрестных селениях и станицах, вышли победителями в больших боях с казачьими массами белых. Корпус разгромил под Каменночерновской донскую конницу генерала Сутулова, а спустя три дня нанес сильнейший удар противнику под Серебряковом. Быстро перебрасывая свои лавины с участка на участок, корпус как будто предвосхищал в краткодневных боях разительные походы Первой Конной армии недалекого будущего.

Левый фланг наступавшей на Царицын армии опирался на Волгу, где действовала, продвигаясь к югу, речная военная флотилия, созданная Советами. В этом походе она прогремела бесстрашием и самоотверженностью русских матросов...

У Рагозина очень скоро исчезло ощущение неполноты своего участия в боях. Наоборот, ему стало очевидно, что он нужен дивизиону, требовавшему от него все больше усилий, чтобы соединить волю людей и бросить ее на определенное дело. Сложнее и длительнее становились операции: то обходный маневр десанта на берегу, то заградительный огонь с кораблей в поддержку атакующей пехоте, то отчаянная разведка в не-

приятельском тылу. А в то же время на ходу велись ремонты повреждений, множилось число раненых в госпитале, истощались запасы снарядов, безвозвратно выходили из строя люди.

Рагозин в какой-то час уловил сознанием самое существо своей задачи на судах, которую он выполнял сначала безотчетно, в силу течения вещей. Существо этой задачи состояло в том, чтобы любая необходимая работа исполнялась командами в полную силу воодушевления.

У него был странный случай при взятии Николаевской слободы. На «Октябре», который бил по отступавшим белым, когда десант моряков уже влетел на улицу слободы, от некалиброванного шрапнельного снаряда взорвалось носовое орудие.

Был убит наповал комендор — молодой моряк, державший орудие всегда на «товсь!», так и прозванный товарищами — «Товсь» и любимый ими за веселый нрав. Взрывом опалило лица двум патронным и сбросило с мостика командира дивизиона — он оказался легко контуженным.

Скомандовали развернуться кормой и стрелять из кормовой пушки. Но комендоры, напуганные смертью товарища и опасаясь, что негодна вся партия снарядов, не решались продолжать огонь.

За истекшую неделю боев Рагозин успел приглядеться к работе судовых артиллеристов. Он пошел на корму, приказал команде отойти на бак, сам зарядил орудие и выстрелил. Он выпустил три снаряда и обернулся. Орудийная прислуга виновато стояла позади него. Он сказал:

— Ну, теперь валяйте, ребята, не страшно. Снаряды вполне приличные.

Матросы кинулись к пушке, мигом взяли прицел и открыли стрельбу с таким неистовым старанием, что раскалился орудийный ствол.

Рагозин, только отойдя в сторону, почувствовал, что прилипла к телу рубашка, и ему показалось, это не сам он орудовал у пушки, а какой-то особый в нем человек, и этому человеку он должен без колебаний повиноваться.

Все пережитое за эти недели Рагозиным он позже отнес к тому роду напряжения человеческих возможностей, которое для своей разрядки словно уже не нуждается в отдыхе, а может быть выдержано только с помощью нового напряжения, еще большей силы.

Но случилось в то же время два обстоятельства, как будто
 незначительных, тем не менее запомнившихся Рагозину и вы-

ведших его из напряжения действительности в какой-то особый мир прихотливого или даже не совсем реального беспокойства. Было похоже, будто Рагозин долго обретается в доме с занавешенными окнами, и — от привычки — дом мнился большим. И вдруг раскрылась одна занавеска, и в окне он увидел неожиданную синюю даль с деревьями над водой. Свет там за окном был совсем иным, чем в доме. Потом занавеска закрылась, глаз снова привык к дому, и дом стал мниться большим, как прежде. Но память удержала представление о другом расстоянии, о той дали с деревьями, о том свете, который был иным.

Еще в ночь после первого боя комиссар «Рискованного», докладывая о положении на канонерке, сказал, между прочим, что матросы взяли с собой на судно одного парнишку и что теперь надо бы этого парнишку списать на берег, потому что жалко, если его покалечит: суется куда не надо.

— Откуда взяли? — будто тоже между прочим спросил Рагозин.

— Еще из Саратова.

— Большой?

— Да нет, так, малец. Лет, самое большее, двенадцати.

— Как зовут?

— Так все и зовут — малец и малец!

Рагозин взялся руками за край скамьи, точно собравшись сесть, но не сел, а быстро выпрямился и, глядя прочь от комиссара, сказал черство:

— Не знаешь поименно личного состава своего экипажа?

Комиссар засмеялся:

— Это приблудный мальчишка-то — состав?

— А что у тебя на борту? Постоялый двор?

— Так я спишу,— как о нестóящем деле, кончил разговор комиссар.

Рагозин сурово помолчал.

— Парню на берегу с голоду умирать? Азиатчина, брат. Развели вот так... беспризорников... Спиши его на госпиталь. Там хоть сыт будет. И безопаснее.

Мысль о мальчике отвлекла Рагозина ненадолго, но резко, будто его кто-то взял за плечи и повернул назад. Бродячий парнишка объявился на «Рискованном», с которым были связаны в памяти розыски Вани, и это ожгло возобновленной тревогой за судьбу найденного и потерянного сына. Рагозин вовсе не хотел внушать себе, что опять напал на след Вани. Но в самом уязвимом углу сердца затаилось чувство иной жизни, отдельной ото всего, чем был поглощен Рагозин, и существо-

ванне этой вымышленной жизни было больно, как неутоленная обида.

События заглушили отвлекающий зов сердца. Они потребовали от Рагозина той брони, которая вырабатывается нервами для самозащиты в условиях, когда все время стоишь лицом к лицу с опасностью и должен ее не замечать. Он ощущал в себе такую броню, и она была нетяжела ему. И, однако, в очень сильный момент этой гордой и уже нравившейся ему неуязвимости, как раз после случая с пушкой — когда он стрелял и ждал, что попадется некалиброванный снаряд и пушку взорвет,— как раз после этого случая Рагозина новым ожогом резнуло воспоминание о сыне.

Дивизион спускался к Быковым Хуторам, прославленным по всему низовью «арбузной столицей». Стояло удивительно тихое утро, либо оно чудилось удивительным после грома боев за Николаевскую слободу и Камышин. Здесь было очень высоко для левого берега, и заросшие травой обрывы с недвижными ивами зелено повторялись в воде. Ожидая сведений от высланной к Быкову разведки, суда задержались против разбросанных на берегу бахчей.

Дощаники, груженные арбузами, с деревенскими мальчиками на веслах, подошли вплотную к канонеркам. По воде далеко на стороны разносились тонкие голоса бахчевиков в перекличку с матросским смехом на судах. Шла бойкая торговля. Арбузы, подбрасываемые с лодок, взлетали вверх, а с бортов канонерок падали в лодки бумажные свертки с солью и спичками, ломти хлеба, папиросы. Поплыли по воде, приплясывая, обглоданные арбузные корки, которыми с веселым озорством кидались матросы.

Рагозин долго смотрел на воду, испытывая то счастливое недоумение, какое бывает у горожанина, если он, подняв голову, нечаянно увидит легко наслоенные друг на дружку перистые облака в приволье неба. Да, существовала извечная счастливая тишина воды и неба, и дерзость мальчишеских дискантов населяла эту тишину молодостью, и берега звали к себе ласково, как может звать человека только земля. И вот все вместе — Волга с арбузными корками, перезвон голосов в тишине, погожее утро — опять связало Рагозина, как путами, мыслью о сыне, о жизни с сыном, непохожей на все прежнее и безраздельно отвлеченной от настоящего. Броня, защищавшая Рагозина от грома, до непонятности легко пробивалась тишиной, и боль опять проникла в сердце.

Далекий орудийный выстрел разбудил пространства, за ним — другой. Перепуганные мальчики на дощаниках, пры-

гая и переваливаясь через горы арбузов, бросились на весла. Баграми матросы помогали отвалить грузные лодки от бортов кораблей. Запели скрипучие уключины, забулькала вода под веслами, окунаемыми по-волжски часто и глубоко. И тут над самой речной гладью разорвался шрапнельный снаряд.

Рагозин видел, как притаились на секунду маленькие гребцы и как потом, сбившись с удара, беспомощно забрызгали водой тяжелые весла.

Он побежал к мостику, чертыхаясь. Нет, нельзя было даже долькой души отдаваться раздумью! Все было призраком — тишина, сонное утро, заманчивая ласка берегов. Ни смех, ни детские голоса не могли звенеть на земле, находившейся во власти порохового грома. Артиллеристы заняли места у орудий, плицы колес шумно вспенили воду, сигнальщик начал свое тревожное письмо в воздухе...

Поход на Царицын одни моряки называли церемониальным маршем, другим он казался непрерывной цепью горячих боев. Как во всяком сражении, одни части армии наносят и принимают на себя решающие удары, а другим выпадают либо схватки, либо готовые результаты успеха,— так и в походе Волжской флотилии тысячи матросов, выйдя из тяжелого боя, вступали в еще более тяжелый, а тысячи других шли от легкого боя к легкому либо совсем не вступали в дело и радовались, что противник бежит, уклоняясь от встречи.

Так десантный отряд и партизаны, нанесшие деникинцам удар под посадом Дубовкой, знали настоящую цену своему стремительному успеху. Их путь был прегражден кинжальным огнем батарей белых. Десантники с хода выбросились на берег в тылу у артиллерии, опрокинули защищавшую ее пехоту, разгромили батареи и, обернувшись на Дубовку, ворвались в посад. В представлении участников этой десантной операции бой за Дубовку был лихим обходным маневром, потребовавшим исключительной отваги и жертв. В представлении же тех экипажей, которые не участвовали в бою, взятие Дубовки было только одним из других таких же успехов десантных отрядов.

Но никто из команд флотилии не мог разойтись во взгляде на Царицынский бой, в котором приняла участие вся матросская масса и которым несчастливо оборвалось наступление.

Этот трехсуточный бой за Царицын начался штурмом города при поддержке ураганного огня кораблей. Ряд поражений и глубокий отход, казалось, расшатали силы деникинских войск. Еще на дальних подступах к Царицыну с судов видны были пожарища: белые сжигали все, что не могли взять с со-

бой, подготовляя эвакуацию города. Опыт сопряженных действий военной флотилии с пехотой, оправдавший себя за время похода, должен был быть применен под Царицыном в невиданном на Волге масштабе. Все как будто сулило смелому предприятию удачу. И, однако, события приняли иной оборот.

Прибрежный участок белых был сбит огнем судовой артиллерии и сухопутным отрядом моряков. Матросы атаковали и захватили Французский завод.

Справа, на внешнем поясе окопов, действовала одна из отличившихся пехотных дивизий Красной Армии. Врангель, готовясь к обороне, стянул около трех кавалерийских корпусов в маневренную группу. Дивизия попала под фланговый контрудар превосходящих конных сил. Тем временем моряки, увлекаемые своим успехом, обособленно продвигались с Французского завода к городу и ворвались в Царицын. Дивизия принуждена была отойти. Тогда белые перебросили силы против моряков и отрезали им отступление из города. В отчаянном сопротивлении большая часть матросов погибла.

Преобладание белых становилось очевидным. Они располагали крупным узлом железных дорог, быстро маневрирующей конницей, хорошей разведкой. Но борьба не утихала.

Флотилия применила заградительный огонь и остановила белых. Еще и еще раз красные части переходили в атаки. Деникинцы обратили против наступающих все свои силы. Они ввели в бой танки и авиацию. Английское и французское оружие, присланное на помощь Деникину, нашло здесь поле для широкого употребления: самолеты делали по двенадцати групповых атак в день, сбрасывая сотни бомб, особенно — на воду.

Стоял общий гул. Только залпы плавучих фортов да отдельные выстрелы орудий более крупного калибра выделялись из канонады. Корабли подошли вплотную к поясу окопов белых, навлекая на себя ожесточенный огонь.

С борта «Октября» Рагозин видел, как вышел из строя «Рискованный»: два снаряда друг за другом попали в камбуз и в палубу. Катера помчались снимать раненых. Задымилась исковерканная снарядом палуба. С «Октября» запросили — нужна ли помощь. «Рискованный» ответил: «Благодарю, справляюсь, бейте белых».

Вскоре замолкло носовое орудие на «Октябре». Чтобы не терять времени, решено было не разворачиваться, а перетащить на место поврежденного орудия пушку с юта. Но винты креплений проржавели, гайки не поддавались ключам. Пришли механики — распиливать и сбивать гайки.

Рагозин смотрел, как Страшнов — в одной полосатой тельняшке — бил клепальным молотком, и правая лопатка у него арбузом каталась под огромным плечом.

«Эка чертушка!» — вдруг залюбовавшись, подумал Рагозин. Он вместе со всеми был поглощен работой, не обращая внимания на обстрел с берега, не слыша пушечного зыка, к которому успело привыкнуть ухо: «Октябрь» подводил к концу третью тысячу снарядов, и многие канонерки от него не отставали.

Когда вручную перетащили пушку на бак и, закрепив, возобновили стрельбу, Рагозин хлопнул Страшнова по лопатке. Тот мазнул засученным рукавом мокрый лоб, обвел взглядом дымную окрестность, сказал, что-то одобряя:

— Да, голка!

— Что говоришь?

— Голчи́сто, говорю.

Рагозин не понял слова, но понял, что все равно нет на языке такого слова, которым можно было бы назвать почти трехсуточное беснованье взрывов и стрельбы, и тоже с одобреньем мотнул головой Страшнову.

Под вечер третьего дня дивизион получил приказание послать на берег с каждого корабля ударные группы добровольцев в подкрепление отрядам моряков. На «Октябре» вызвалось идти больше людей, чем требовалось, и Рагозин отставлял тех, кого считал незаменимым на корабле. Страшнов хотел идти, Рагозин приказал ему остаться. Но когда катера высадили на берег добровольцев и матросы начали строиться, Рагозин увидел в шеренге, на полголовы выше правофланговых, громоздкого человека в бушлате и кожаной фуражке: Страшнов глядел вбок, и лицо его было неприступно. Рагозин сделал вид, что не приметил его.

Подкрепленье, разделенное на два взвода, каждый до полусотни человек, было немедленно направлено на переднюю линию. Рагозин со своим взводом попал на участок, занятый остатками отряда, который брал Французский завод. Это был пустырь, захламленный и наскоро изрытый шанцами, немного поднятый над степью, где виднелась искривленная линия залегших цепей.

Велся орудийный обстрел противника с кораблей, пыль закрывала собой позиции белых. Было гораздо тише, чем на борту «Октября», но Рагозин чувствовал, будто его вместе с тихой этой землей так же покачивало, как на корабле.

Он лежал в неудобной яме, защищенной спереди бугром глины и открытой по сторонам. Глядя вправо на такой же

бугор, который ему указали, он ждал, когда с этого бугра командир отряда даст сигнал поднимать цепь.

Солнце село за тучи, пронизав их багровым светом, как это бывает перед ветреной погодой. Все на земле вторило закату, и глина шанцев отливала красным. Рагозин насчитал на земле десяток английских матерчатых подсумков, брошенных белыми при отходе.

Едва артиллерия стихла, он увидел, как закарабкался па бугор и потом скачком распрямился на нем и поднял над головой руки высокий человек. Рагозин тоже вылез из ямы, так же вскочил на свой бугор и так же, подняв руки, спрыгнул с бугра и пошел вперед.

Цепь начала подниматься, и Рагозин заметил, что она гуще, чем он думал, когда она лежала. Он следил, катят ли пулеметы (перед высадкой были сняты с треног и поставлены на колеса пулеметы «максима»), и успокоился: их катили, не отставая от побежавшей цепи. Он следил, не отставал ли его взвод от соседей справа, и опять успокаивал себя, потому что матросы бежали в линию. Он проверил, спущен ли на маузере предохранитель, и уверился, что спущен. Он вглядедся, не забыл ли кто насадить на винтовку штык, и ему показалось, что щетина выставленных вперед, прыгающих на бегу штыков нерушимо стройна.

Задавая эти вопросы и отвечая на них, он все глядел перед собой на пустырь, который покойно стлался впереди, облитый чуть-чуть потемневшим закатом.

Он скоро заметил красно-желтое пыльное облако наискосок от наступавшей линии матросов Затем он услышал голоса, передававшие справа по цепи команду. Он сначала не разобрал слов, потом до него долетели крики: «Ложи-ись!» — «Огонь по кавалери-и-и!» Он тоже крикнул влево от себя:

— Ложи-ись! Ого-онь по кавале...

Немного спереди пыли он рассмотрел длинный строй низеньких коней, часто перебиравших ногами. Над строем светящимися нитями загорались и потухали клинки сабель. Казаки лавой лились по степи, накатываясь ближе и ближе с каждой секундой.

Грянул винтовочный залп, и его подхватили, соревнуя друг другу в завывающем стуке, пулеметы.

В казачьей лаве появились бреши, плотный строй расчленился на столпившихся кучками коней в одних местах и на реденькие цепочки в других. Но лава еще накатывалась, вырастая, и топот копыт уже передавался землей телу Рагозина, точно сердце его стучало не в грудь, а прямо в почву.

Новые залпы кое-где еще больше сжали кавалерию в отдельные кучки, кое-где рассыпали. Одни кони стали выбрасываться вперед, другие отставать.

Рагозин уже различал передних коней по мастям и видел закинутые кверху ощеренные морды, за которыми пригибались седоки, когда пулеметы подняли свой металлический вой до визга, и стало видно, как с седел срывались то тут, то там казаки, и лошади, обезумев, мчались без седоков либо тоже рушились на землю.

Тогда Рагозин расслышал чугунный конский топот совсем рядом и вовсе не оттуда, откуда ждал. В небывалом страхе глянул он и перекинул налево свой маузер.

На виду у его взвода вынеслись на пустырь из-за разрушенных хибар яростные всадники. Их было до сотни — на крупных, тяжелоногих конях — и впереди летел, клинком вычерчивая в воздухе спирали, моряк в распахнутом бушлате и бескозырке. Конь серой масти под ним недовольно крутил головой. Ленточки винтились у моряка над затылком, и полы бушлата били по коленям. Он привстал в стременах. Рот его был открыт. Сотня позади него кричала «ура!».

Рагозин прежде только слышал о матросах-всадниках, воевавших об руку с сухопутными отрядами моряков, но никогда не видел их в строю. Теперь он смотрел на них в деле. Они скакали на грузных своих лошадях, как истые конники, но вид у них был такой, будто они рванулись в рукопашную схватку: все на них развевалось и плясало под порывами тела и встречного вихря.

Крайний из этой сотни всадник промчался совсем близко от Рагозина. Он разглядел лицо матроса, перекошенное застывшим смехом, и разобрал необычайную команду-крик.

— Лево руля, братишки! За мно-ой! — кричал со своим выражением недвижимого хохота матрос.— Та-ак держать!.. Туды-т-твою...

— А-а-а! — неслось следом за умчавшейся сотней.— А-а-а!..

Стрельба остановилась. Рассеянная огнем кавалерия в беспорядке поворачивала назад, прибавляя ходу. Матросы-всадники уже сидели у казаков на плечах, и в воздухе засверкали шашки.

В этот момент цепи опять поднялись в атаку.

У Рагозина было такое состояние, что разгром белых только задерживается, но что он неминуем, и вот теперь осталось последнее усилие, чтобы сломить сопротивление и захватить город.

Вид конных матросов только укрепил это чувство, и, огля-

нувшись на свою цепь, Рагозин увидел, что взвод его — не хуже всадников, а так же яростен, так же стремителен на бегу, так же слит в нераздельный сгусток.

Матросы бежали за Рагозиным, овеваемые своими вьющимися винтом ленточками, либо гололобые, потерявшие бескозырки, кто с трепыхающимися за спиной воротами рубах, кто в одних тельняшках, мокрые, как пловцы, кто в кожанках нараспашку, кто с патронными лентами крест-накрест по груди.

«Такие люди если идут, то идут только за победой,— подумал Рагозин,— и победа — вот она! — впереди!»

Стала ясно видна наконец позиция белых — изломанный окоп в конце пустыря, и Рагозин услышал нарастающее по цепи гудение голосов: матросы начали «ура!».

В то же время справа он опять близко увидел конных моряков, вразброд скакавших по пустырю, и за ними — новую лаву казаков, наползавшую оттуда, где только что спасалась бегством расстроенная кавалерия.

И тогда из-за окопов хлынул по наступающим беглый огонь.

Рагозин споткнулся, упал лицом вперед, хотел встать. Но будто кто-то придавил сапогом к земле его плечо и не отпускал.

— Пусти,— крикнул он, но рот ему залепило глиной, и он сам расслышал только мычанье.

Он повернул голову и стал со злобой выплевывать глину.

В двадцати шагах от него мчался на коне тот моряк в распахнутом бушлате, который повел на казаков сотню.

Едва Рагозин признал моряка, как тот изо всей мочи натянул повода, отвалился спиной на круп коня, но тут же выпустил повод, и конь стряхнул его наземь. Одна нога всадника мгновение еще торчала в стремени, потом выскользнула.

Конь же, как в цирке, встав на дыбы, пошел на задних ногах, колотя копытами передних воздух. Серый, в яблоках, освещенный закатом, он переливался пунцовыми пятнами и словно взлезал по вертикали на небо. Он вдруг показался Рагозину таким маленьким, что его можно было бы уместить на листе бумаги. Потом он опять вырос и поскакал в степь.

Среди криков, долетавших до него, Рагозин услышал сильнее всего:

— Комиссар!.. Комиссар!..

Он еще больше повернул голову, чтобы посмотреть — кто же его так прижал сапогом к земле.

Он увидел прямо перед своим лицом будто знакомое, но неузнаваемое лицо скуластого человека с раздутыми ноздрями

и тяжелым, подавляющим все черты подбородком. Человек этот, оскаливаясь, кричал ему на ухо:

— Куда тебя? Куда?

Рагозин не понял, что нужно этому человеку, но тут же вспомнил, что это — Страшнов, и почему-то обрадовался, и хотел ему крикнуть в ответ, но не мог, а только прокряхтел кое-как:

— Я сам,— и стал подыматься.

Никогда не испытанной силы боль в ключице и плече принудила его не двигаться.

— Что сам? Несогласный! Сам...— сердито гудел Страшнов, поворачивая его и подсовывая свои руки ему под спину и под колени.

Потом Страшнов поднял его и побежал с ним, как с ребенком. Рагозин ничего не слышал, кроме толчков боли, от которых мутилось сознание. Страшнов же набавлял шаг, пригибаясь под тяжестью ноши и от ужаса, что не успеет вынести раненого с поля, как настигнут казаки. Топот кавалеристов слышался громче, чем в первый раз, и опять раздались залпы...

Уже почти на берегу Страшнов перехватил санитаров с носилками и затем доставил Рагозина моторным ботом на «Октябрь».

Но корабль был поврежден: снаряд разорвался в кубрике, наспех шла починка рулевого управления мастерами плавучей ремонтной мастерской, пришвартованной к борту. На этой самоходной барже-мастерской нашлась каюта, в которую перенесли Рагозина. Командир дивизиона пришел к нему, когда судовой врач, осмотрев раненого, доложил, что раздроблена левая ключевая кость, задет нервный узел, и нужна операция.

— Вот, видите ли,— снисходительно строго, как положено с больным, сказал командир,— мы вас, голубчик, эвакуируем в госпиталь.

В спокойном положении боль не так люто мучила Рагозина. Он ответил тихо:

— Я вам не подчинен, товарищ командир.

— Мы, голубчик, пять лет кряду воюем. А вы — подчинение!

— Словом... остался.

— Нет, родной. При наличии возможности, обязан эвакуировать. Вас там маленько прозондируют — что к чему.

— Как там... на берегу?

— Зачем — на берегу? На судне госпитальном медики прощупают.

— Дела, говорю... на берегу... а?

— Дела своим чередом. Делами мы займемся. Вот пока огонь не открыли, мы вас и транспортируем полегоньку.

— Какой огонь?

— Прикрывать будем. Отход прикрывать, голубчик.

Рагозин не сводил взгляда с командира. Глаза его светились лихорадкой. Было явно — у него начался жар. Он потянул голову кверху, но не удержался. Сморщившись, он спросил:

— Отход?.. Страшнов!.. Как — отход?

Страшнов, заглядывавший через приоткрытую дверь, шагнул в каюту.

— Лежи, ладно,— сказал он шепотом,— все хорошо.

Рагозин стопущим криком оборвал его:

— Что баюкаешь?! Нянька!..

Потом притих и выговорил глуховато:

— Небось выдержу... Чего хорошего, когда отступаем?

— Как чего? — обиженно сказал Страшнов.— От Саратова мы их отжали? За Волгу не пустили? Они у Эльтон-озера ручку было потрясли уральцам. А мы им пальцы-то укоротили...

— Баюкай! — вздохнул Рагозин и прикрыл глаза.

Командир, выходя, шепнул Страшнову:

— Зови санитаров. На бот с правого борта...

Доктор следил, как несли раненого и потом вставляли носилки в люльку, подвешенную на трос лебедки. Моряки скучились на борту. Зашипел пар, трос медленно натянулся. Страшнов наблюдал, чтобы носилки не сплющило концами люльки.

Рагозин рассмотрел его над собой, чуть приподнял правую руку. Страшнов пожал ее бережливо.

— Да,— сказал он.

— Вот так,— ответил Рагозин.

— Да уж ладно,— согласился Страшнов.

Трос натянулся туже, люлька поднялась, и Страшнов стал отводить ее за борт.

— Ви́ра, ви́ра, помалу,— негромко сказал он, и моряки передали на ют: «Ви́ра, помалу!»

Уже совсем как оттолкнуть люльку, Страшнов увидел в полутьме, что Рагозин хочет еще говорить. Он придержал на мгновенье трос.

— Помогай тут,— сказал Рагозин быстро,— чинить корабль...

— Учи волгаря рыбу пластать,— усмехнулся Страшнов.

— Жалко, ты не волгарь!..

— Ви́ра! — громко скомандовал Страшнов.

Он оттолкнул грос и напутственно крикнул опускавшемуся, дочерпа затененному бортом Рагозину:

— У нас в Поморье не хуже волгарей окают! До свиданья, Петр Петрович! Поправляйся лучше!

— Поправляйся, товарищ комиссар,— разноголосо повторили за ним моряки, перевешиваясь через поручень и глядя книзу, в темноту.

Минуты две спустя бот отвалил и, шумно развернувшись вокруг «Октября», пошел на середину реки. Огонек его еще светился желтым пятнышком на воде, когда флотилия открыла стрельбу своей артиллерии, преграждая огневой завесой путь нажимавшим к северу белым.

31

Лиза венчалась с Анатолием Михайловичем в середине сентября.

В ненастные сумерки два извозчика подъехали к Казанской церкви, и Лиза, подбирая белое платье, перешитое из первого ее подвенечного наряда, вошла в ограду. На миг проглянула через решетку стальная полоса Волги — все та же, какой Лиза видела ее каждую осень, и она удивленно подумала, что вот так же все еще течет непрерывная жизнь прежней Лизы. Она ступала на паперть с этим чувством удивления, что она — все та же Лиза.

Горело несколько тоненьких свечей за аналоем в середине церкви, а по углам было темно. Казалось, что как раз в темноте будет совершаться та тайна, ради которой сюда приехала Лиза, а там, где было светлее, произойдет что-то очень обыкновенное.

Витя смотрел венчание впервые. Оттого, что мама стояла лучистая и строгая, а Анатолий Михайлович был важен (наверно, чтобы показать, что он теперь Вите отец, а не просто Анатолий Михайлович), Витя не сомневался в праздничном значении церемонии. Но когда, с поднятым венцом над головой, Анатолия Михайловича стали водить вокруг аналоя об руку с мамой, шедшей под таким же венцом, Вите сделалось ужасно весело. Анатолий Михайлович под этой золоченой короной в самоцветных камнях стал разительно похож на царя Николая, и Витя тихонько хихикнул. Его одернули. Он обернулся и увидел поодаль двух таких же, как он, мальчишек, забежавших с улицы, которые глазели на Анатолия Михайло-

вича и щерились. Витя попятился, пролез через ряды взрослых, заткнул рот ладонью и дал волю смеху.

Насмеявшись, он заметил, что прислонился к холодноватой каменной колонне. Он немножко отодвинулся.

В полумраке с колонны глядел высокий обнаженный старец, прикрытый до ступней белой бородой. Взор его был голоден и жгуч. Витя отошел еще дальше. Он чувствовал, что поступил предосудительно. И вдруг его стало беспокоить непонятное и пугающее разноречие между Анатолием Михайловичем в короне и нагим старцем с голодным взором. Весь обряд до конца он простоял в этом беспокойстве и все озирался на святого.

Но в общем свадьба Вите понравилась. Он проехал оба конца на извозчике — в церковь и домой. И там и тут было оживленно. Среди гостей находились незнакомые Вите люди, приглашенные Анатолием Михайловичем. За столом они скоро развеселились, стали говорить в безглагольной форме:

— А мы ее сейчас... вот под это самое...

— Ух!.. Хо-ро-ша-а...

— На чем вы ее?

— Ах, на зверобое! Ну, тогда, коне-ечно!

— Калган вот тоже — ух!..

— Куда! Против зверобоя не-е!..

Вдруг — словно шквал налетел на листву — зашумели все сразу:

— Позвольте! — Нет, я сейчас кончу! — Тише! — Одна минутка! — Да ты погоди, так же мы никогда...— А я о чем? Я о чем? — Э, не-е-е, не-е-е!.. Дайте же договорить, так нельзя-а-а!.. Вот то-то и оно!..

Затем шквал пронесся, листва успокоилась. Гости начали тяжело мигать, разряжать длинные паузы неопределенными н-н-да-м-м... и низко клонить головы. В эти минуты те, кто умел поораторствовать, проявили глубокомыслие.

— Обратите внимание,— отвечал на спор Ознобишин, чуть дирижируя своей женственной кистью.— Запрет одного деяния всегда поощряет деяние, ему противоположное. Запрещено враждовать — значит заповедано любить. Осуждая жестокость, мы тем самым одобряем милосердие. Теперь представьте наоборот: мы стали преследовать милосердие. Что же получится?

— Беспощадность! — воскликнул один гость, мрачно подняв и снова роняя голову.

— Кто же преследует милосердие? — спросил студент (его пригласили, потому что он лечил Лизу впрыскиваниями каль-

ция).— Возьмите народное здравоохранение, которому предстоит...

— Ну что же это за милосердие,— шутливо вмешалась Лиза,— когда вы вот такой иголкой— прямо в мясо!

Она была хороша в своем убранстве, знала это, и ее немного задевало, что гости захмелели, понесли вздор, отвлекая от нее Ознобишина и забывая, что ведь это свадьба и все должно быть полно счастья. Ей показалось, что только сын любуется ею чаще и больше других. Она налила ему бокал свекольного морса.

— Это ты должен за меня, за себя и за Анатолия Михайловича с нами.

Она с радостью смотрела, как жадно Витя глотал, краснея и восторженно глядя ей в лицо.

Нет, все-таки это была настоящая свадьба, хотя и с извозчиками вместо карет, с морсом вместо шампанского, без музыки и новых туалетов. Не торжественная, но приподнятая значительность лежала на каждом предмете комнат, по крайней мере — взгляд Лизы придавал им эту особенность.

Гости скоро разошлись — до того часа, после которого запрещено было ходить по улицам,— и дом наполнился торопливым звеньканьем и стуком уборки.

Когда навели порядок, Анатолий Михайлович сел рядом с Лизой на диванчик. Он обнял обеими руками ее руку и своим преданным взором с хитринкой безмолвно сказал, что теперь достигнуто то, к чему оба стремились, что у них теперь семья, нора, скорлупа, в которой можно, прижавшись друг к другу, укрыться от непогод человечества.

— Я такой богач! Все, что есть твоего,— проговорил он после молчанья,— сейчас мое. Спасибо тебе.

— Уже давно твое,— ответила Лиза.

— Теперь по-настоящему, без остатка. Как в старинных купчих крепостях говорилось, знаешь? С хлебом стоячим, и молоченым, и в земле посеянным...

Они услышали покашливанье за дверью. Анатолий Михайлович встал.

Матвей, старик сосед, топтался в коридоре, стесняясь постучать. Оказалось, пришел с улицы какой-то мужчина и, хотя Матвей сказал ему, что время неудобное—после свадьбы!—настаивает, чтобы его допустили к Лизавете Меркурьевне. Может, вернулся кто из гостей? Нет, это чужой, который себя не называет.

Лиза вышла на шептанье в коридор, сразу встревожилась, велела пустить.

Минутой позже Анатолий Михайлович привел незнакомца в комнаты.

Это был низенький человек неопределенного возраста, несмелых манер, с лентой седины на темени, давно не бритый. Перебирая пальцами поля соломенной шляпы, он внимательно осмотрелся и быстро проверил, застегнут ли на все пуговицы пиджак. Видимо, он был озабочен, чтобы внешность не помешала расположить к нему хозяев дома.

— Я — могу? — спросил он тихо и опять скользнул глазами по стенам комнаты.

— Что вам угодно? — невольно тихо, как он, спросила Лиза.

— Лизавета Меркурьевна?

— Да, да, пожалуйста, говорите.

— Считая долгом выполнить обещание, которое дал вашему родителю, я поспешил вас разыскать... извините, не в урочный час.

— Вы от отца?

— Если вы будете Меркурию Авдеевичу дочерью, то я имел бы...

— Я дочь Меркурия Авдеевича Мешкова. Вы от него? Из Хвалынска?

— Нет, я здешний.

— Но вы были... вы приехали из Хвалынска?

— Имела место случайность, которая привела увидеть вашего родителя неожиданно, как для меня, так равно...

— Вы виделись?.. Что с моим отцом? — громко вырвалось у Лизы, и она не шагнула вперед, к чему толкал ее вдруг поразивший страх, но отшатнулась и туго сдавила руку мужа. Она уже ясно видела в низеньком приличном господине недоброе, знала, что он конторским своим языком объявит сейчас беду, и все в ней готовилось встретить удар, и словно только рука мужа, которую она сильнее и сильнее сжимала, могла помочь ей собрать силы.

— Вы видели Меркурия Авдеевича не в Хвалынске? А где же? — спросил Ознобишин, поглаживая руку Лизы.

— Я здешний, как вам доложил, и никогда выезжать из города не имел намерения. Но, волей независимой случайности, выехал не так давно... гораздо точнее, очутился вывезенным неотдаленно, и к моему счастью, не на продолжительный срок.

— Вы хотели о Меркурии Авдеевиче,— сказал Ознобишин.

 — Совершенно верно. О том, на каком случайном основа-

нии с ним встретился. Я имел неприятность быть вывезенным на Коренную. Изволите знать?

— На Коренную? — переспросил Ознобишин, хотя, очевидно, переспрашивать ему было не нужно, потому что он тотчас осунулся и в испуге глянул на Лизу.

— Что это? — спросила она, тоже понимая, о чем шла речь, но еще не желая признаться себе, что все понимает.

— На баржу,— объяснил деликатный человек.— Был вывезен на баржу. И сегодня отпущен, в силу полной выясненности досадного недоразумения. Отпущен в Покровск, и оттуда на пароме прибыл сюда, и поспешил к вам, не теряя времени. В исполнение долга обещания.

— Он... там? — спросила Лиза, вытягиваясь, будто вырастая на виду у всех.

— К печальному сожалению, извините, в настоящий момент Меркурий Авдеевич на барже....

Лиза всем телом прижалась к мужу. Он обнял ее, подвел к диванчику, и она села.

— Вы, безусловно, меня извините, но я — как человек слова, а также в интересах вашего родителя, с которым последнее время содержался вместе. Он меня очень просил, и я дал обещание передать, как для него дорога в его прискорбном положении каждая минута.

— Какая минута? Для чего? — уже действительно не понимая, сказала Лиза.

— Ваш родитель попал в нехорошее общество. И был доставлен по этапу водой, как я сейчас по вашим словам могу судить, из Хвалынска. Меркурий Авдеевич сам мне про это не говорил. И, по прибытии с этапом, оставлен на воде. То есть путем переведения на баржу, поскольку плавучая тюрьма была ближе прочих таких мест. Общество, в котором он задержан, состояло, собственно, из одной личности. Но личность, как мне Меркурий Авдеевич высказал, нехорошая. Извините, бывший жандарм. Будто бы с известной фамилией Полотенцев.

— Бог ты мой! — всплеснул руками Ознобишин.

— Как на барже стало известно, Полотенцев вскоре же по прибытии (тут этот человек сделал кривую мину, отчасти похожую на улыбку) отошел в селение праведных, хэ... идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Или, как говорится, жития его было столько и столько лет.

— Но говорите же пожалуйста, об отце! — неожиданно сурово остановила его Лиза.

Он чуть осекся, но продолжал опять с завитками.

— В связи с прямолинейным развитием дела Полотенцева Меркурий Авдеевич имеет крайнее опасение за собственную участь.

— Отец не мог иметь ничего общего с каким-то жандармом! — с негодованием сказала Лиза.

— То есть не подлежит сомнению, нашему с вами сомнению. Наблюдая, я пришел к заключению, что в силу личных склонностей ваш родитель ни к чему не причастен, кроме святой молитвы. Меркурий Авдеевич усердно молится. Но в настоящий момент, в чем на себе убеждаюсь, действуют фатумы.

— Что? — спросил Ознобишин.

— Фатумы. И Меркурий Авдеевич просит вам приложить все усилия к помощи, потому что может ожидать каждую минуту что угодно, вплоть...

Здесь незнакомец боязливо обернулся назад.

Из другой комнаты тихо вышел Витя и остановился, разглядывая его вызывающе гневными глазами.

— А дедушка жив? — спросил он как-то очень грубо.

— Да, — ответил приличный господин, будто заробев под взглядом мальчика. — Могу твердо сказать за сегодняшнее утро, когда был отпущен, что Меркурий Авдеевич еще оставался на барже.

— Я знаю баржу на коренпике, — решительно сказал Витя. — Мы когда с Арсением Романычем ездили на пески, мы видали, где она. Она на мертвом якоре. Арсений Романыч говорил — там сидят контрреволюционеры. А дедушка наш совсем другой! Возьмем, мама, лодку и поедем!

— Перестань, Витя, ступай отсюда, — сказал Анатолий Михайлович, но Лиза быстро подняла руки к сыну:

— Иди ко мне.

Она притянула Витю к себе.

— Я, таким образом, обещание сдержал, — сказал пришелец, накладывая шляпу на сердце и вежливо шаркая ногой. — Со своей стороны, советую как можно поспешить.

— Не знаем, чем вас отблагодарить, — сказал Ознобишин. — Хотя благодарить как-то даже... вы понимаете? Такая весть...

— Вполне! Поскольку сам находился в замешательстве, чтобы вас безболезненнее подготовить.

— Подготовить? К чему? — вдруг вспыхивая, привстала Лиза.

— Извините! Не подготовить, а произвести вас к действиям для спасения родителя. Я без корысти, а только из одного

расположения к Меркурию Авдеевичу. Он меня покорил смирением. Достойный человек! Я его давно уважаю.

Он приподнял руку ко рту.

— Между нами, конечно: до ликвидации Меркурием Авдеевичем торговли я состоял доверенным в соседней лавке. Так что вас, Лизавета Меркурьевна, по прежним годам сейчас вспоминаю. И желаю вам успеха в смысле помощи родителю.

Он еще раз прижал к груди шляпу, стал откланиваться. Вите он поклонился отдельно.

Анатолий Михайлович проводил его и вернулся, стараясь не шуметь.

Лизу он застал в том положении, в каком оставил, когда выходил. Она сидела, обняв сына, сосредоточенно что-то рассматривая перед собой. Она была строга, обтянутая своим торжественным белым платьем. Анатолий Михайлович присел напротив и скрестил руки. Некоторое время все были неподвижны. Потом Ознобишин наклонил туловище вперед, стараясь перехватить взгляд Лизы.

— Затруднительно может быть, если Меркурий Авдеевич замешан... с этим самым Полотенцевым,— сказал он тревожно.

Лиза тотчас взглянула на него теми большими глазами, которыми что-то рассматривала в пространстве.

— Не все ли равно, замешан или нет?

— Юридически отягощающее вину обстоятельство — факт такого общения.

— Разве наше дело в его вине? — с изумлением спросила она.

— Нет, Лиза,— сказал Ознобишин, мягкостью голоса торопясь сгладить впечатление от своих слов,— я говорю не о вине, я вместе с тобой уверен, что Меркурий Авдеевич ни в чем не виновен. Я говорю о препятствиях, которые могут помешать нашим хлопотам.

— Зачем думать о том, что может помешать? Надо думать, как скорее помочь.

— Именно, именно! Но изыскать верный путь как раз и означает предусмотреть препятствия, которые могут возникнуть. Чтобы их обойти. Ведь так?

— Ну, я же вам говорю, что знаю самый верный путь на баржу! — горячо и с недоумением, как это его не понимают, воскликнул Витя, подпрыгивая на диванчике.— У Арсения Романовича есть знакомый лодочник. Дядя Матвей его тоже знает. Возьмем лодку, и я вас...

Мать не дала Вите договорить, пригнув к себе его голову.

— Ты не думаешь о Рагозине? — спросила она мужа, ища ответа на его лице.

Витя вырвался из ее рук, вскочил и, раньше чем она вновь притянула его к себе, закричал обрадованно:

— Я, мама, думал о Рагозине, ей-богу! Я ведь у него был с Павликом! И все, как мы проспали, так он все как есть сделал! Для Арсения Романыча. Петр Петрович сразу все сделает: он ведь дедушку знает!

— Нет, горячая голова, ты еще не годишься в советчики,— сказал Анатолий Михайлович с улыбкой, которая на мгновение отводила внимание от вопроса Лизы на мальчика.

Ознобишин сам не переставая думал о Рагозине с того момента, как понял, с чем явился нежданный вестник. Он понял в тот момент, что немедленно должны начаться хлопоты за Мешкова, что эти хлопоты целиком падут на него, что они опасны и, наверно. безнадежны, что, однако, он не может уклониться от них, как бы они ни были опасны и бессмысленны, и обязан их взять на себя. Он был испуган, что событие отзовется на здоровье Лизы, еще совсем не окрепшем, и что тем более он должен будет действовать, чтобы поддерживать в ней надежду на хороший исход дела. Но он был испуган не меньше тем, что хлопоты за Мешкова могут получить в глазах властей вид хлопот за Полотенцева, если Мешков обвинен в сообществе с Полотенцевым. Он чувствовал в то же время, что наступил час, когда он должен отплатить добром за добро, отблагодарить делом за ту заботу о нем, которую проявила Лиза и проявил Мешков, когда он попал в тюрьму. Он чувствовал, что благородство его призвано на проверку. Но он отдавал себе ясный отчет в своей беспомощности. Он был уверен, что в положении бывшего чиновника, заподозренного однажды в сокрытии своего прошлого, немыслимо рассчитывать на снисходительность или внимание властей к его просьбам. И он заранее убеждал себя, что ничего хорошего из его хлопот получиться не может. Ему был знаком единственный человек из тех, кто мог бы повлиять в таком трудном деле, как хлопоты за арестованного. Этим человеком был Рагозин. Но, сразу вспомнив о Рагозине, он тут же увидел его, каким тот остался в памяти после встречи на улице, когда Ознобишин упал, поскользнувшись на арбузной корочке. Рагозин остался в памяти жестко-прямым и насмешливым, со своим отпугивающим словом: «Услужить мне не просто, я услуг не принимаю». Вместе с тем Ознобишин не мог не вспомнить своего страха и колебаний, с какими шел тогда к Рагозину, опасаясь, что вдруг откроется проделка с бумагой, украденной из архива.

С тех пор как он утащил эту бумагу и закинул ее в Волгу, его преследовала болезненная тоска — а что, если обнаружится где-нибудь еще подобная вредная бумажонка? Ведь не могло же быть уничтожено все прошлое, оно где-то живет и вдруг высунется из какой-нибудь глупой щели па свет божий? Что тогда? Как у юриста, у него было повышенное правосознание, и та придирчивость, с какой он прежде относился к чужой ответственности за проступки, оборачивалась теперь на него самого и лишала спокойствия. Ему было боязно думать, что придется опять глядеть в глаза Рагозину.

Эти мысли и опасения, и страх за себя, за жену, за ту жизнь, к которой он только что понадеялся прийти и которой с первой же минуты угрожало испытание, все это много раз с непонятной скоростью успело обернуться в его голове и в сердце, пока он слушал извитую речь непрошеного гостя соломенной шляпой, и все это продолжало еще стремительнее оборачиваться в воображении и в чувствах теперь, когда Лиза ожидала ответа на свой вопрос.

Вдруг Витя снова высвободился из рук матери, но не бурно, а тихо и сказал расстроенно:

— Я, мам, забыл: Рагозина-то больше нет! Павлик сказал, Петр Петрович — теперь морской комиссар и уехал. Может, Павлик наврал, а? — перебил он себя почти отчаянно и опять притих.— Только он сказал, что Петр Петрович уехал со всем флотом...

— Какое несчастье, если это действительно так! — поспешно выговорил Ознобишин.

Но уже до этого восклицания Лиза прочитала по лицу мужа ответ на свой вопрос. Она прочитала не весь ход его мыслей и чувств, но самое главное из того, что ей нужно было знать: она прочитала, что он боится хлопотать за отца и что ему стыдно в этом признаться.

Она улыбнулась горько и медленно.

— Вот он, мой хлеб стоячий, и молоченый, и в земле посеянный,— сказала она, покачивая головой и прямо глядя в глаза мужу.

Он не выдержал упрека, бросился к ней и, отрывая ее руки от сына, к которому она все тянулась, начал их целовать, бормоча:

— Не отчаивайся... Мы будем добиваться, мы добьемся!.. Мы найдем другой ход... другого человека, который нас поддержит...

Она сказала:

— Я уже нашла такого человека.

Он немного откинулся от нее. Во взгляде ее — ровном и тихом — он увидел как будто прощающее снисхождение. Он тотчас спросил:

— Кто?

— Извеков.

Это имя Лиза выговорила вслух впервые за много, много лет, и выговорила в странном спокойствии.

Ознобишин поднялся. Что-то отдаленное проступило в его памяти, связанное в прошлом с этим именем и с Лизой — какая-то детская ее растерянность или даже испуг, и особая ее прелесть, которая однажды привлекла его к себе, где-то на улице, или в камере прокурора, или на гимназическом балу,— он не помнил того, где это было. Но зато он мгновенно припомнил, что имя Извекова было связано с Петром Рагозиным, с несчастным делом, грозившим опять выплыть с другого бока, если бы пришлось столкнуться с Извековым.

— Это счастливая мысль, Лиза, право! — воскликнул Анатолий Михайлович, принимаясь ходить по комнате, чтобы как-нибудь затруднить Лизе почти холодное чтение мыслей по его лицу и не видеть ее неестественного спокойствия, которое начинало его преследовать.

— Прекрасная мысль! Мы непременно должны с этого начать — пойти к Извекову!

— Я пойду одна,— сказала Лиза.

— Я тоже, мам, с тобой! — опять вмешался Витя.— Я Извекова знаю. Когда мы ездили на пески с Арсень Романычем...

— Ах, ты с твоим Арсением Романычем! — отмахнулся Ознобишин.— Перестань, пожалуйста. Какая польза от этого блаженного!

— Ничуть не блаженный! — оскорбился Витя.— Он и в церковь не ходит, если хотите знать! Вот!

— Идем, я тебе постелю, давно пора ложиться,— сказала Лиза и увела с собой Витю.

Анатолий Михайлович продолжал узенькими своими шажками мерить комнату. Чуть медленнее, но все в одном направлении вращалась его мысль о беспомощности перед лицом несчастья, вдруг свалившегося на его плечи, не успел он заложить первый прутик своего гнезда. Да, эти часы после свадьбы прошли совсем не так, как заранее представлял их себе Анатолий Михайлович. И на рассвете, глядя воспаленными глазами за окно, он так же, как в ночной темноте, ничего не мог рассмотреть: ночь была холодной, и стекла запотели.

 Поутру он собрался проводить Лизу, но она захотела идти

одна. Он поцеловал ее, и его обидело, что она отозвалась на поцелуй немыми губами.

Ее план был очень прост: она шла туда, где находился Извеков,— к месту его службы, чтобы говорить с ним, как с человеком, занимающим ответственную должность, говорить как просительница. Она шла не к тому Кириллу, с которым когда-то была близка. Она шла к секретарю городского Совета, к тому товарищу Извекову, фамилию которого прочитала в газете, когда он появился в городе после девятц лет отсутствия.

Она тогда сказала себе, что не должна с ним встречаться. По буквам разнимая и складывая в уме его фамилию, перечитывая ее до ряби в глазах и слушая, как — по буквам — она выстукивается сердцем, Лиза застыла над строчкой с этой фамилией и уговаривала себя, что того Извекова, который был ей близок, больше нет, и поэтому она не в состоянии его увидеть, а тот Извеков, о котором напечатано в газете, ей вовсе не близок, и поэтому ей незачем с ним видеться.

Теперь, идя к нему, она так же уговаривала себя, что идет к секретарю Совета, а не к Кириллу. Но совершенно так же, как было, когда она перечитывала фамилию Извекова в газете, и сердце ее не соглашалось с тем, будто это не прежний, а какой-то другой Извеков, который ей совсем не нужен, так теперь сердце не соглашалось, что она идет не к прежнему Кириллу, а к какому-то неизвестному ей секретарю Извекову, в котором у нее нужда.

Если бы она не рассчитывала найти в секретаре Извекове именно Кирилла, способного увидеть в ней Лизу и выполнить ее просьбу ради прежних отношений, то почему ей было бы не пойти к другому секретарю, или к председателю Совета, или к любому власть имущему человеку со своей просьбой? Однако она шла именно к Кириллу и все-таки уговаривала себя, что идет не к Кириллу, а к секретарю Совета, как простая просительница.

Но когда она пришла в Совет, ей сказали, что Извеков только утром возвратился из командировки, поехал домой, и на службе будет неизвестно в какое время.

Очутившись вновь на улице, Лиза остановилась у палисадника. Акация еще не пожелтела, но листва была блеклой и сухой. Ветер что-то шарил в ней, она не шумела, а жестко шуршала. Лиза оторвала одно солнстье, стала откусывать ногтями и бросать на землю листочек за листочком. Вдруг, как в детстве, она загадала — дожидаться Извекова или пойти

к нему домой? Она быстро оборвала листочки до конца. Вышло — идти к Извекову домой!

Она все равно пошла бы к нему домой — получилось бы по загаданному или нет. Но оттого, что получилось, она тут же сказала себе: это к счастью. Ведь секретарь Совета остается секретарем и у себя дома. И если Лиза пойдет к нему на дом, это не будет означать, что она пошла к Кириллу.

Она вернулась в Совет и спросила домашний адрес товарища Извекова. Ей не дали адреса.

Она опять вышла на улицу. Она находилась в том состоянии человека, как сомнамбула стремящегося к цели, когда препятствия только усиливают стремление. Она рассудила, что Извеков должен жить вместе с матерью, в противном случае — Вера Никандровна скажет ей, где сын живет. Значит, она должна была немедленно идти к Вере Никандровне. Это очень воодушевило ее — что она идет не к Кириллу, а к Вере Никандровне. Удивительно, как она раньше не подумала, что лучше всего начать именно с Веры Никандровны, которая все сразу поймет и, конечно, повлияет на сына, чтобы он помог Лизе. Ведь не могла же Вера Никандровна позабыть, как Лиза вместе с ней хлопотала о Кирилле, когда, девять лет назад, его арестовали.

Мысль ее опять натолкнулась на препятствие: она не знала, где живет Вера Никандровна. Можно было поехать по старому адресу. Очень, очень давно, когда Лиза еще ждала ребенка, она однажды почти собралась к Вере Никандровне и узнала адрес от Аночки Парабукиной. Она не поехала тогда к Извековой — чего-то устрашившись,— но запомнила, что Вера Никандровна учительствует в Солдатской слободке. Ах да, Аночка! Вот кто, конечно, знал адрес Веры Никандровны — ее любимица Аночка.

К Парабукиным Лизе доводилось заглядывать не раз в поисках заигравшегося сына. Они жили недалеко от Совета. Еще не приняв решения — узнать адрес у Аночки, Лиза направилась к Парабукиным: действия предупреждали ее решения.

По дороге ей встретился Павлик. Он шел, размахивая пустым кошелем, на базар — разживиться к обеду, как он тут же доложил Лизе.

— Аночка на репетиции,— ответил он,— наверно, до самой ночи!

— Что ж, она совсем стала актрисой?

— Да-а, как бы не так! Она все репетирует, разве это актриса?

 Адрес Веры Никандровны Павлик помнил твердо, но где

живет Извеков, не знал, а только добавил, что Извекова искать нечего — он все равно на фронте. Это испугало Лизу, хотя не могли же ее обмануть в Совете, что он вернулся.

Она почти побежала к трамваю — время текло и текло, а ведь каждая минута была драгоценна, как, может быть, никогда в жизни...

Извеков был дома и, продолжая наскоро кое-что рассказывать матери из пережитого в походе и умалчивая о том, к чему особенно часто возвращалась память и что могло особенно взволновать Веру Никандровну, кончал переодеванье.

— И ты понимаешь,— говорил он громко через закрытую дверь, в то время как мать расставляла на столе посуду,— ты понимаешь, как все это вышло? В восемь утра Дибич должен был явиться. И не явился. В девять я посылаю связного разыскать его дом, а в десять связной прискакал назад и доложил, что дом-то он нашел, но Дибич ни с вечера, ни поутру домой не показывался.

— От кого же он узнал? — спросила Вера Никандровна, захваченная тем переживанием, какое выпало сыну и передавалось теперь ей.

— Связной? Как — от кого? От матери! Понимаешь, от матери, к которой Дибич все время рвался.

— Какое несчастье, а?! Ведь — мать, подумай только!

Кирилл вышел, затягивая ремень на новой гимнастерке, очень юный после бритья и умывания и в этой свежей военной одежде, похожей на школьную.

— Я чуть не смалодушничал потом,— сказал он тише.

— Когда потом?

— Думал, у меня не хватит сил зайти к его матери.

— Как же было не зайти!..

— В том-то и дело! Но тут одно обстоятельство...

Он не договорил, отошел к открытому окну и замолчал.

— Ты садись, все готово.

— Да,— повернулся он,— я не досказал, что дальше. Я взял несколько красноармейцев, и мы двинулись по той дороге, по которой Дибич должен был приехать в город. Когда мы дошли до скитов, там уже была милиция. Его обнаружил на рассвете монах — садовый сторож. Оказалось — монахи слышали вечером выстрел, но побоялись пойти в лес. Нас повели к нему. Он лежал у самого выхода тропы в сад, на склоне, головой вниз. Он задохнулся от крови. Рана была в грудь.

— Что же это за злодей! — сказала Вера Никандровна, вдруг простым женским движением подпирая голову рукой.

— Он, наверно, недолго жил. Его ранили в каких-нибудь трех шагах от того места, где он умер, под большим кустом неклена. Следы крови виднелись на тропе. Красноармейцы и милиция оцепили холм, и к обеду бандиты сдались. Этих сволочей было всего четверо. У них взяли револьвер Дибича, его лошадь. Они показали, что собрались ночью пограбить скит, залегли на опушке. Но тут подвернулся Дибич. Они выстрелили в него из кустов.

— Значит, простая случайность! — изумилась Вера Никандровна, как будто именно случайность больше всего поражала в смерти Дибича.

— Случайность,— хмуро согласился Кирилл,— но случайность, которую можно было предвидеть.

Он опять смолкнул и, необычайно для себя сгорбившись, опустил голову.

— Я тебе налила. Чай остынет.

— Я обязан был предвидеть,— сказал Кирилл.

— Что?

— Надо было предвидеть вероятность такого случая.

— Как же можно, когда, ты сам говоришь — такая обстановка.

— Вот, вот. Обстановка. Когда кругом шайки! Когда мы вышли их ловить! Какое я имел право отпустить Дибича одного?

— Но... он ведь сам... И потом, разве ты ему начальник? Ведь ты не мог запретить, правда?

— Но, значит, не имел права и отпускать. А я еще сам ему предложил. Надоумил. Толкнул на этот шаг.

— Но ты же хотел ему добра, Кирилл! — сказала Вера Никандровна, сочувственно заглядывая сыну в глаза.

— Вот именно, добра,— воскликнул он, срываясь, со стула и опять отходя к окну.— Почему же у меня не хватило мужества сказать потом его матери, что я ему хотел добра?! Я хотел доставить ее сыну удовольствие. Почему же мне было стыдно, и ужасно, и страшно к ней идти? Я хотел сделать ее сыну приятное, разнежился, растрогался. И его убили. В конце концов разве не я виноват, что его убили, нет? Как ты думаешь?

— Я думаю... ты зря себя казнишь. Ты не можешь отвечать за стечение... такое трагическое стечение случайностей. Не можешь укорять себя, что хотел сделать хорошее, доброе дело.

— Доброе дело, в результате которого погиб добрый человек, так? Знаю я такое добро! Добро из импульса. Без ума,

без разума, без смысла. Просто так — потому, что приятно. Тебе самому приятно. Чтобы про тебя подумали, что ты добренький. Ну вот, я добренький. Мне было приятно доставить человеку удовольствие. А человека нет. И какого человека, мама, если бы ты знала!..

Он навалился на подоконник, высовываясь наружу, чтобы глотнуть еще не развеянной утренней прохлады.

Вера Никандровна, подождав, сказала:

— Если бы человек всегда рассчитывал, к каким последствиям может привести благородный поступок, хорошие побуждения были бы мертвы. Я помню твой рассказ о Дибиче. Если бы он стал рассуждать, он, может быть, пришел бы к выводу, что лучше отдать тебя под суд за пораженческую агитацию на фронте. А он не отдал.

Кирилл не ответил. Она еще помолчала, затем спросила:

— Как же встретила тебя мать Дибича? Ты ей помог чем-нибудь?

Кирилл вернулся к столу. Огорченная и нежная улыбка медленно появилась в его глазах.

— Что же ты спрашиваешь? Как встретила мать! Да ты сама-то кто, мама, а?

— Правда,— слегка потупилась Вера Никандровна,— все так понятно, к сожалению...

Они переговаривались редкими словами, когда к ним постучали. Дверь приоткрывалась неуверенно, точно младенческой рукой, и Вера Никандровна встала из-за стола, думая встретить в передней кого-нибудь из своих учеников. Но дверь вдруг решительно отворили.

— Вера Никандровна, вы? — громко спросила Лиза, останавливая глаза на Кирилле, не в силах оторвать их от него, но движением всего тела показывая, что хочет подойти к Извековой.

Она была очень бледна, насильственно вежливая улыбка не оживляла, а мертвила ее еще больше и делала неловкой. Первые слова, к которым она, наверно, приготовлялась, прозвучали у нее почти звонко, как крик, но голос упал, едва она опять заговорила:

— Простите, что я так...

— Лиза?.. Елизавета Меркурьевна? — прервала ее Вера Никандровна, тоже оборачивая взгляд на Кирилла.

Он поднялся, услышав это имя и только теперь поняв, кто эта женщина.

— ...что я так непрошено,— досказала Лиза, все продолжая глядеть на него.

Она глядела на него, как смотрят на человека, в котором увидели то, что ожидали, и который поражает именно тем, что — несмотря на долгую разлуку — остался совсем прежним и перемены не властны над ним. Не только в существе своем, заложенном во взгляде и незабываемых прямых чертах лица, Кирилл казался Лизе прежним, но также его наружная стать, с этим ремнем, в этой гимнастерке, повторялась в настоящем, как точное отражение былого.

Он тоже смотрел на Лизу. Вся она была для него нова, но будто новизной подновленного здания, за которой только значительнее видится протекшее время.

Он первый подошел к ней и быстро протянул руку.

— А я к Вере Никандровне,— сказала она, в тепле его жестких пальцев ощутив холод своей руки.

— Так что же? Я должен уйти? — улыбнулся он молодо.

— Нет. Я... тоже и к вам,— призналась она, смущаясь чуть не до слез.

— Выходит, уйти надо мне? — засмеялась Вера Никандровна.

Поздоровавшись и не отпуская руки, она подвела Лизу к столу.

Начался разговор, который должен был помочь справиться с замешательством,— о том, что Лиза похудела и что она не совсем здорова; что Вера Никандровна видела ее два раза в театре, но это было давно, и тогда Лиза была полнее; что вот уже она вырастила большого сына и что Кирилл познакомился с ним на рыбной ловле — славный мальчик, весь в нее; что — верно ли, будто она вышла снова замуж — и за кого (это, конечно, Вера Никандровна).

— За одного сослуживца. Нотариуса,— ответила Лиза,— собственно, за помощника нотариуса,— сразу поправилась она.

— Какую же вы носите фамилию?

— Старую... как сын.

— А фамилия мужа?

— Ознобишин.

— Ознобишин? — переспросила Вера Никандровна и повторила, задумываясь: — Ознобишин,— и поднялась и пошла в другую комнату.

— Нет, вы, пожалуйста, не уходите,— остановила ее Лиза,— я хочу, чтоб вы...

— Я сейчас вернусь...

Так Лиза осталась вдвоем с Кириллом.

Только на одно мгновение наступило молчание, и это мгновение напугало Лизу. Оба они думали о своем прошлом, оба

видели его с подавляющей ясностью, и Лиза чувствовала, что никогда не найдет в себе сил словами коснуться этого чудом ожившего прошлого. Кирилл помог Лизе быстрым вопросом, мягкость которого и прямота отрезвили ее:

— У вас что-то неотложное ко мне, правда?

— Простите, что я решилась. Это важно... не для одной меня. И вы не откажете, нет?

— Вы только не извиняйтесь.

— Вы один можете помочь. Я прошу за отца.

Она остановилась, ожидая, что он начнет спрашивать. Но он молчал, и ей показалось — его глаза тускнели.

— Я узнала, что отец арестован. Что он в тюрьме. На барже. Вы знаете, есть тюрьма на Коренной?

Он молчал.

— Ну, что я спрашиваю! Конечно, вы знаете! — сказала она, поправляя свою наивность и не понимая его молчания.— С каких пор отец там, на этой барже, я не знаю.

Она снова подождала. Было что-то неуловимое в том, как Кирилл менялся у нее на глазах. Но перемена была слишком явной — уже почти ничего не оставалось от того прежнего Кирилла, каким он представлялся ей минуту назад. Она увидела морщины на его лице, особенно крутую между прямых бровей. Она тотчас сказала себе, что так и должно быть: ведь она шла к неизвестному ей должностному лицу, к секретарю, а вовсе не к Кириллу.

— Я не знаю, когда отца арестовали,— сказала она решительнее.— Мне вчера поздно вечером сообщил об этом человек, который отпущен на свободу.

— Значит,— сказал наконец Кирилл, немного отворачивая голову и глядя в окно,— вам неизвестно, за какую вину он арестован.

— Я не знаю за ним никакой вины! Я даже не знаю, где он мог быть арестован. В начале августа я проводила его в Хвалынск. С тех пор о нем ничего не слышала, он не писал. Доехал ли он? Не могу... просто не в состоянии вообразить, что с ним случилось! Но это, конечно, ужасная случайность!

— Случайно на баржу не попадают,— сказал Кирилл, попрежнему глядя за окно.

— О, в такое время! Не это ведь важно. Пусть вы правы, пусть не случайно! Но сейчас там, где он находится, там ему угрожает слишком много случайностей. С этим вы согласитесь. И я должна... Мы... Вы можете ему помочь! Я прошу вас!

Скованно и несмело она показала, что хочет приблизиться к нему, чтобы жестом этим усилить настойчивость просьбы.

Он становился все больше чужим, и это подрывало ее надежды, ей казалось, что от ее чувства остаются одни слова.

— Надо знать вину человека, чтобы думать о помощи. А вина — дело суда. Что же тут можно?

— Можно узнать, есть ли вина. Может, ее вовсе не существует? Мне не скажут, а вам должны сказать. Если вы только спросите, это уже будет помощь.

Он опять промолчал. Тогда она договорила с раздражением:

— Вам обязаны все разъяснить. Вы — власть. Поэтому я пришла к вам.

Он резко бросил ей в глаза желтый свет своего прямого взгляда и спросил:

— Только на этом основании пришли ко мне?

Она опять увидела в нем Кирилла — в этой пронизывающей желтизне глаз и в голосе, полном юношески уверенного вызова. Она не могла ответить, всю свою волю сосредоточив на том, чтобы выдержать его взгляд.

— Зачем ваш отец поехал в Хвалынск?

— Это его давнишнее желание. Он хотел дожить там...

— У него там друзья?

— Наоборот, он искал одиночества. Хотел поселиться в одном скиту. Хотел принять... монашество.

Она вспыхнула, выговаривая это слово и почему-то испытывая стыд, но вдруг ее осенила догадка, и она сказала неожиданно дерзко:

— Я уверена, он за это и пострадал! Совершенно уверена! За то, что пошел в монастырь. Но это жестоко — преследовать человека за убеждения! Он старик, его поздно переделывать. И он... он не из тех, кого можно переделать. Я его слишком хорошо знаю. У него есть слабости, причуды. Но он честный человек. Нельзя его совесть лишать свободы.

— Может, все-таки вы не очень его знаете,— будто нечаянно сказал Кирилл.

Лиза неровно и сильно дышала, проговорив так долго и убеждая не только Извекова, но и себя в том, что ей самой внезапно пришло на ум.

— Но вы-то его совсем не знаете! — с упреком сказала она.

— Все-таки отчасти знаю... хотя бы по тому, как он относился к вам. По его роли в вашей судьбе.

— Моя судьба! — протестующе воскликнула Лиза.— Я отвечаю за нее больше, чем кто-нибудь еще! Но ведь так естественно, что меня растил *мой* отец, а не кто другой, и что он

вырастил меня по-своему! Он в ответе за мою участь? Согласна. Был когда-то в ответе. Но перед кем? Я не буду его судить. Неужели... вы хотите быть ему судьей?

— Я сказал, что — не судья. Поэтому и не могу помочь. А если и вы не хотите судить, то как же оправдываете его, не зная, в чем он виновен? Нельзя же серьезно думать, будто его арестовали за то, что он молится богу.

— Я не сужу его за свою участь. Не ношу в сердце злобы на него. Он в беде. Он — мой отец.

Она вскрикнула:

— Вы же понимаете — отец! Неужели вы не защитите свою мать, если ей нужна будет защита? Какое же у вас сердце?!

— Сердце? — тихо повторил Извеков, поднявшись и точно с изумлением прислушиваясь ко внезапному чувству, ему подсказанному.— Отец, мать, брат... эти слова звучат, как завороженные, и мы поддаемся им, как в старину поддавались ворожбе. Но... вот у вас был муж — Шубников. Вы что — тоже встали бы на его защиту, только потому, что он вам муж?

Она не ждала ни того, что это имя будет произнесено, ни укора, вдруг зазвучавшего в тихом голосе Кирилла. Ей показалось, что начат разговор, который она не раз представляла себе много лет назад, когда еще жива была мысль о встрече с Кириллом и о том, как объяснить ему замужество, необъяснимое для самой Лизы.

Она ответила, стараясь говорить спокойно (она все время напоминала себе о своем зароке — не волноваться и говорить с Извековым как просительница, спокойно).

— Да, когда Шубников был мне мужем, я встала бы на его защиту. Встала бы, наверно, и теперь, потому что он — отец моего сына.

— Почему такое ослепленье?! Разве вы не слышите, что это только заклинания — муж, отец! Ведь за этими словами — люди, а за людьми — их дела. Ведь Каин тоже носил имя брата!

— В чем вы меня обвиняете? — возмущенно сказала Лиза.— В том, что мои родные — это мои родные? Что они мне близки и дороги?

— Обвиняю? — спросил он с недоуменной улыбкой, будто это слово ущемило его.

— Я же не виновата, что в нашей жизни все так случилось,— быстро заговорила Лиза, тоже поднимаясь.— Что судьбы наши не зависят от нашей воли! И ведь не я же толкнула

тебя (у нее страстно прорвалось это нечаянное «ты», и она на один миг остановилась)... толкнула на путь, который отнял меня у тебя!

Он стоял неподвижно. Она опомнилась, провела рукой по лбу, точно снимая наплывшее головокружение.

— Никогда за всю жизнь и ни в чем я не думал вас обвинять,— сказал Кирилл.— Вы поступали, как свободный человек, потому что были свободны. Наши отношения тогда, в юности, не приневоливали ни вас, ни меня. Я думаю, тем меньше они могут к чему-нибудь обязать сейчас.

— Простите, у меня вылетело это, потому что вы начали о моем замужестве. Я считала себя тогда жестоко наказанной за то, что не нашла сил ожидать вас или пойти за вами... (Она глядела на него почти с гневом, подняв голову.) Теперь вы хотите уверить меня, что я еще больше была бы наказана вашей жестокостью, если бы пошла за вами!

Снова, точно возвращенная к действительности его растущим изумлением, Лиза приложила ладони ко лбу. Отведя взгляд, она увидела Извекову, стоявшую в дверях соседней комнаты.

— Я, не желая того, слышала разговор,— сказала Вера Никандровна,— не обижайтесь. Вы пришли и к сыну, и ко мне, ведь так?

— Я очень надеялась на вас! — с покорной усталостью ответила Лиза. Воля ее иссякла, и — казалось — уже не загорится больше ни возмущение, ни отчаяние мольбы.

— Я все понимаю,— сказала Вера Никандровна, осторожно приближаясь к Лизе.— Просьба ваша не нуждается в объяснении. И Кирилл извинит упреки в бессердечии... даже в жестокости.

Она взглянула на сына, точно подсказывая, что он должен с ней согласиться. Он не отозвался.

— Я только подумала,— продолжала она,— может быть, вы напрасно воскресили прошлое. Оно — плохой помощник. Его все равно немыслимо забыть. И мне вы разве что сильнее напомнили, как Меркурий Авдеевич отказался помочь, когда Кирилл нуждался в помощи. Или как мы вместе с вами напрасно стучались в ледяные стены, за которыми подвизался тогда и господин Ознобишин... если это тот самый Ознобишин...

— Боже мой! — прошептала Лиза.

— Я ведь не вас укоряю этим прошлым, поверьте! — волнуясь и боясь, что Лиза не даст договорить, торопилась Вера

 Никандровна.— Но разве заслужили упрека в бессердечии

люди, которые испили до дна самую бесстыдную жестокость прошлого и в борьбе с ней готовы теперь отдать жизнь?

— Нет, нет,— вдруг твердо остановил ее Кирилл,— это неверно. Я не хочу действовать кому-нибудь в отместку.

— Конечно, конечно, Кирилл! Я же знаю, ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений,— обрадованно и с гордостью подхватила мать.

— Подумайте! — в изнеможении воскликнула Лиза...— Неужели я здесь для того, чтобы слушать это разбирательство?! Неужели мне легко было прийти сюда к вам, к вам! — повторила она, порываясь шагнуть к Извекову.— Скажите же прямо, что вы отказываете мне... и я уйду!

У нее недостало сил сделать этот последний шаг к Кириллу. Она ухватилась за спинку стула и хотела опуститься. Но, словно продолжая расслабленное свое движение, она нагнулась и упала. Однако это не было падением — Лиза удержалась на коленях и стояла именно так, как будто нарочно хотела упасть на колени и стоять перед Кириллом, поднимая к нему отяжелевшие руки.

Он стремительно взял ее за эти протянутые руки, и Вера Никандровна кинулась к Лизе, чтобы поднять ее. Но в этот момент новый голос, которого никто не мог ждать, испуганно раздался в комнате:

— Что это? Что?

Все посмотрели на дверь, оставленную полуоткрытой с тех пор, как пришла Лиза.

Аночка, стоя в передней и распахнутыми руками упираясь в косяки, клонилась вперед, в комнату, будто через силу остановившись на полном бегу.

Кирилл тотчас выпустил руки уже поднявшейся Лизы и пошел навстречу Аночке.

Но она, минуя его, подбежала к Вере Никандровне, наскоро много раз поцеловала ее, огромными глазами взглянула на Лизу, поздоровалась с ней и только потом обернулась к Кириллу.

— Вы приехали? — спросила она как-то мельком и опять перевела все еще широко раскрытые глаза на Лизу.— Витя рассказал Павлику про Меркурия Авдеевича. Я все знаю,— выговорила она в порыве участия и почти с детским страхом.— Вы еще не узнали подробностей, нет? Вы не волнуйтесь, это, я уверена, все не так опасно. Нужно только как следует похлопотать.— Она опять повернулась к Кириллу: — Вы ведь, наверно, обещали все сделать, Кирилл Николаевич, правда?

Он ответил умышленно отобранными и отчетливыми словами:

— Я обещаю Елизавете Меркурьевне узнать, в чем ее отца обвиняют.

— И помочь ему, чем только можно? — спросила Аночка необычайно утвердительно.

— И помочь — если это будет можно,— так же отчетливо сказал Кирилл.

Лиза непонимающе смотрела на них обоих. В первый раз за эти короткие отчаянные минуты она увидела в Кирилле не человека двух раздельных существ (как ей все казалось), а слитного в одно целое, такого памятного, юного Кирилла и нового, чем-то ей недоступного Извекова. Она увидела в то же время глаза Аночки, в которых светилось не только великодушное сострадание к ней, не только детски наивный страх, но и счастливое, чуть дикое торжество.

Лиза вдруг распрямилась.

— Я пойду. Извините меня.

Она поклонилась, ни на кого не глядя.

— Одна? Я провожу вас! — воскликнула Аночка.

— Не надо, я спешу.

— Я не пущу вас одну,— вмешалась Вера Никандровна.— Вы совсем не успокоились. Я доведу вас до трамвая.

Лиза пошла к двери настойчивым шагом, но Вера Никандровна догнала ее, взяла под руку, и они вышли вместе.

Кирилл улыбался Аночке неуверенно и будто с удивлением. Она сказала:

— Лиза ужасно изменилась...

— Очень изменилась.

— Правда, ее жалко?

— Очень жалко.

Он ждал каких-то иных вопросов и стоял против нее, не двигаясь. Она взглянула из-под опущенных низко бровей.

— Я, как приехал, решил сейчас же пойти к вам,— сказал он, словно ощупью отыскивая ее сочувствие.

Она все испытывала его взглядом. Он подошел к ней близко.

— Вы, правда, не знали, что я приехал?

Она неожиданно схватила его пальцы, прижала их с женской жадностью к своей груди и, слыша, как они, поддаваясь ласке, теряли свою жесткую силу, сказала тихо:

— Отлично знала, что приехал! Потому и прибежала...

Кирилл нагнул к ее груди голову, впервые за эти недели непрерывных страшных испытаний чувствуя, что наступает покоряющее все существо облегченье.

32

Когда Кирилл вошел в госпитальную палату, он невольно остановился. Ему сказали, что ранение Рагозина не тяжелое, а он увидел Петра Петровича в странной и поражающей позе: койка была отодвинута от стены, между ними помещалась подставка, на которой лежала левая, толсто забинтованная рука Рагозина, и бинт окручивал не только всю руку, вытянутую под прямым углом к телу, но и плечо, и шею, и часть груди.

Но Рагозин, не двигая забинтованной частью тела, легко поставил на локоть другую руку, помахал ею и подмигнул гостю.

— На мертвом якоре, а? — сказал он.— Ничего, скоро пойдем в новый рейд. Правый борт в исправности.

Он улыбался ласковыми, усмешливыми глазами.

— Бери стул. С приездом.

Кирилл, осторожно пожав его пальцы, присел поодаль, чтобы раненому удобно было его видеть.

— Давно? — спросил он, головой показывая на перевязку.

— Завтра неделя. Под Царицыном.

— Мне рассказывали. Вот когда принести бы кошелку-то,— с улыбкой неловкости сказал Кирилл.— Не успел, извини. Я только утром приехал.

— Спасибо. Кошелку мне доставляют, об этом не думай.

— В гипсе? — опять показал на раненую руку Кирилл.— Кость, да?

— Я молодой, срастется,— все улыбался Рагозин.

Его стесняло принужденное и, как ему представлялось, стыдное положение бессилия. Кроме того, едва вошел Кирилл, запросилось наружу то беспокойство, которое нарастало во время эвакуации с фронта изо дня в день и которое Рагозин скрывал. И так как они оба занимали друг друга расспросами о личных переживаниях, обходя то общее, что внутренне объединяло их, то Рагозину все труднее становилось скрывать свое беспокойство.

Оно возникло, когда Рагозину сделалось известно о поражении под Царицыном и об остановке наступательных действий по фронту особой ударной группы. Нарастало же беспокойство вследствие накоплявшегося знания военных событий

на других фронтах и в результате того, что это знание было неполно и не могло объяснить причину всех событий.

Рагозин, и Кирилл Извеков, и сотни и тысячи других советских военных работников, стоявших примерно на одной с ними ступени, складывали свои знания о происходящем прежде всего из наблюдений, которые были доступны этой ступени. Действительность, попадавшая непосредственно в поле зрения; газеты, приносившие, по неизбежности, только часть нужных известий; собрания, обсуждавшие те же газеты или распоряжения, присылаемые из центра и не являющиеся тайной; слухи о планах, приготовляемых высокими штабами и сохраняемых в секрете,— вот из чего составлялось Рагозиным и Кириллом знание событий. Им обоим, как — по-своему — всякому человеку, независимо от того, на какой ступени он стоит, был понятен общий смысл совершающегося в России и были понятны видимые причины маленьких событий, доступных глазу. Но действие движущих пружин огромного события гражданской войны было для них доступно только по результатам, и важнейшие причины изменений в ходе этого события оставались для них скрытыми, пока не проявлялись для всех.

Рагозин и Кирилл как бы бились на одной улице обороняемого города, и за баррикадами, домами этой улицы им не было видно бесчисленных других улиц и домов — они только знали, что там тоже бьются на баррикадах, и если доходил слух, что часть города пала, они не понимали, почему же она пала, когда их улица продолжает сопротивляться и когда командование города считает, что он не может быть сдан и должен победить.

Понимая, что их знания недостаточны, Рагозин и Кирилл судили о ходе событий на основе только этих знаний, поневоле создавая свою воображаемую действительность, то отстававшую от действительности живой, то забегавшую вперед.

Так Кирилла в день встречи с Рагозиным в госпитале еще волновал вопрос — удастся ли подавить Миронова,— тогда как за день до этого остатки мироновцев уже были окружены в Балашовском уезде и сам Миронов захвачен в плен кавалерийской дивизией Оки Городовикова из состава буденновского корпуса. Так и Кирилл и Рагозин в этот день, тревожась больше всего за надвигавшиеся новые события на Южном фронте, все еще исходили в своих представлениях из обстановки, позволившей Красной Армии начать на этом фронте августовское контрнаступление.

Между тем к этому дню середины сентября положение на Южном фронте коренным образом изменилось.

Контрнаступление, начатое в августе по плану командования Южного фронта и главного командования, кончилось провалом. Особая ударная группа войск, дойдя до северных границ Донской области и потерпев поражение на левом фланге под Царицыном, сплотила против себя массы белого казачества, готовые любой ценой положить предел проникновению Красной Армии в глубинные казачьи земли. Вспомогательная группа войск, действовавшая справа от ударной, еще ранее потерпела поражение и была отброшена белыми за пределы тех позиций, с каких она предприняла в середине августа свое наступление. Добровольческая армия Деникина тем временем стянула свои главные силы для удара на север, в центральном Курско-Орловском и Воронежском направлениях.

Рагозину и Кириллу была известна «московская» директива Деникина — его июльский план наступления на Москву,— и они строили домыслы о возможных операциях белых, считаясь с этим своим знанием деникинской директивы.

Но план сентябрьского наступления Деникина на Москву уже не имел почти ничего общего с его июльским планом. По «московской» директиве на столицу должны были наступать все деникинские армии одновременно в четырех направлениях, из которых три принадлежали казачьим армиям и одно — Добровольческой. По плану, примененному Деникиным в сентябре, наступление вела в основном Добровольческая армия, в центральном направлении при поддержке добровольческой кавалерии Шкуро и донской конницы Мамонтова. На казачьи армии Деникин возлагал обеспечение границ Донской области без глубокого продвижения за пределы казачьих земель.

Деникин основывал свой новый план, исходя из того, что казачьи армии неохотно сражались за чертой исконных своих территорий, зато с яростью обороняли их, в надежде закрепить за собой, как основу будущей, вожделенной для белого казачества, контрреволюционной «автономии». Он возлагал на казаков оборонительную задачу, которую они успешно выполняли, а задачу наступательную перелагал на плечи Добровольческой армии с ее офицерством, стремившимся к столице для реставрации русской монархии.

Ни этого плана Деникина, ни ошибок командования Южного фронта Красной Армии Рагозин и Кирилл не знали.

Они не могли знать, что за четыре дня до наступления Деникина на Курск Революционный Военный совет Республики принял и утвердил доклад главного командования, в котором устанавливалось, будто «Курско-Воронежское направление как

не было ранее главным, так и ныне не стало таковым» и будто «перенос центра тяжести с нашего левого фланга (то есть с придонских степей) на Курско-Воронежское направление привел бы к отказу от только что вырванной из рук противника инициативы и к подчинению наших действий желаниям противника». Им не было известно, что в результате утверждения этого доклада, в тот момент, когда силы Добровольческой армии были стянуты для удара на Курском направлении, главком послал командованию Южного фронта директиву, гласившую, что «основной план наступления Южфронта остается без изменений: именно главнейший удар наносится особой группой... имеющей задачей уничтожение врага на Дону и Кубани».

Не зная ни этой директивы главного командования, ни плана Деникина, они не могли подозревать, что главком, настаивая на повторении удара через Дон на Кубань, именно «подчинял наши действия желаниям противника», вполне основательно полагавшегося здесь на оборону казаков. Они только желали, чтобы прерванные успехи Красной Армии как можно скорее возобновились и чтобы белые были разбиты.

Но Рагозину и Кириллу было известно, что ко дню их свидания в госпитале, то есть в середине сентября, после поражения под Царицыном, действия там приостановились, и они не понимали, почему это произошло, когда все так удачно началось в августе. Им было известно также, что в далекой Сибири разбитый и отступавший адмирал Колчак вдруг, в конце августа, предпринял под Петропавловском контрудар, принудив одну из советских армий Восточного фронта отойти на двести верст за реку Тобол, и причина этого была для них тоже необъяснима. Наконец, самым угрожающим событием, им тоже известным, было то, что Добровольческая армия Деникина сосредоточенным ударом прорвала советскую линию на стыке двух армий центрального участка Южного фронта, наступая на Курск, и начала быстро развивать прорыв.

Все эти знания, накопленные Рагозиным, накопляясь, питали беспокойство, которое он таил в глубине души. Сейчас он видел, что Извеков улавливает его состояние и отвечает таким же затаенным беспокойством. Для них обоих неизбежно было заговорить об ощущении неблагополучия, но оба они не решались начать такой разговор. Кризис еще не был назван своим именем. Штабы армий и за ними штабы дивизий старались отражать настроение командования Южного фронта, выдававшего кризис (вполне солидарно с главкомом) за небольшие неприятности. Поэтому для Рагозина с Кириллом

кризис не мог быть очевидностью, но только подозревался ими, и они ожидали, что он непременно вскроется в каком-то надвигающемся событии или каким-то вмешательством проницательной, властной силы.

Но даже позже, когда события осени, нагромождаясь, создали сначала всем очевидную угрозу полной военной катастрофы для Южного фронта Красной Армии, а затем обратились в решительный разгром Деникина, даже тогда Рагозин и Кирилл, переосмысливая события, по-прежнему не обладали полнотою знаний о причинах, которые поставили Южный фронт на грань катастрофы, а потом вывели его из катастрофы на путь победы.

Эти причины были раскрыты с полнотою лишь историей, и среди фактов, вскрытых историей, был один, давший первый толчок к повороту событий гражданской войны на юге.

В день, когда Рагозин и Кирилл еще не могли решиться высказать друг другу подозрения о неблагополучии на Южном фронте, когда Деникин бурно развивал свой прорыв в направлении на Курск, когда главное командование Красной Армии считало вынужденную остановку контрнаступления ударной группы «выполнением первого этапа плана», провал маневра вспомогательной группы — «заминкой в операции», а истребительный рейд Мамонтова — «призрачной удачей» противника,— в этот день Ленин написал письмо, явившееся приговором виновникам военных поражений Красной Армии.

Письмо было адресовано одному из членов Революционного Военного совета Республики, бывшему одновременно и членом Революционного Военного совета Южного фронта.

Ленин писал:

«...Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выходит «игра в спокойствие».

А на деле у нас застой — почти развал.

...С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21 дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали с связью. Один ли Главком ездил в Орел или с Вами,— дела не сделали. Связи с Селивачевым[1] не установили, надзора за ним не установили, вопреки *давнему* и *прямому* требованию Цека.

---

[1] Селивачев — командующий группой армий, на которой лежала задача вспомогательного удара в августовском контрнаступлении на Южном фронте; бывший царский полковник.— *Ред.*

В итоге и с Мамонтовым застой и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня в день — помните, эти рисуночки Вы мне показывали? и я сказал: о противнике забыли!!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делал. Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь.

С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо *сонный* темп работы переделать в *живой*.

...Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь или не умея следить за *исполнением*. Если это общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель».

Но даже после этого письма Ленина (три дня спустя после его написания) главком продолжал ждать военной развязки на Донском направлении, потребовав от ударной группы армии «резкого маневра» с выходом правого ее фланга на рубеж Дона.

Лишь еще через три дня, уже после падения Курска, новое вмешательство Ленина побудило начать переброску резервов в угрожаемый район Орла, что, впрочем, и на этот раз еще не означало отказа главкома от упорства, с каким он искал спасения все в тех же донских степях...

Рагозин, подергивая ус, щурился на Извекова, ожидая, что он заговорит о самом главном. Кирилл ждал, что о самом главном заговорит Рагозин.

В окне беззвучно раскачивалась занавеска, кое-как сшитая из перевязочных бинтов. Залетевший в палату шмель сердито щелкался об оконное стекло. За дверью шаркали туфлями санитарки.

Около трех месяцев назад, когда здесь размещался лазарет и Кирилл навестил Дибича, этот большой дом производил совсем небольничное впечатление. В нем было что-то обнадеживающее, будто он давал обещание все скоро переменить к лучшему. Теперь, превратившись в госпиталь, он насторожился и тишиной своей точно предупреждал, что людям тяжко и надо быть осмотрительным.

— Ты на меня не сердись,— сказал Кирилл,— я не успел разузнать о твоем сыне. Пока ты лежишь, я этим займусь.

— А-а, да-да,— вновь улыбаясь и как-то хитровато поднимая сощуренный глаз к потолку, ответил Рагозин.— Погоди... погоди малость... Не до сердечных дел. Другому о своих

ребятишках некогда вспомнить, где там до чужих! Поспеется!

— Я займусь, не отказываюсь,— неожиданно пылко подтвердил Извеков.

— Ладно, не обижайся. Я ведь слышал, у тебя тоже была горячка. Рассказал бы о своем походе.

— Ты знал такого Зубинского?

— Кто это?

Кирилл рассказал историю с саботажем Зубинского.

— Хорошо еще, он тебе в спину пулю не пустил,— сказал Рагозин.

— Я к нему спиной не оборачивался.

— И правильно. Не мало у нас бед оттого, что к военным спецам затылком становимся... Может, наш городской военком тоже из специалистов?

— Не знаю.

— Надо проверить. Зачем он тебе Зубинского подсунул? Не без дальней мысли, а?.. Ты как думаешь о юге? — вдруг спросил Рагозин.

— О каком юге? — словно не понял Кирилл.

— Под Курском. Похоже, мамонтовский урок не впрок, а? Попробовали — получилось. Отчего еще не попробовать, а?.. О белых, я говорю, о белых, а?

— Хуже бы не было, чем с Мамонтовым.

— А я про что? Отворят настежь ворота господа военные специалисты — и пожалуйте! — расхлебывай.

— Не все же дело в специалистах. И не все они одинаковы. Вот Дибич... я тебе прежде не говорил о нем? Командиром моей роты был...

— Убили?

— Да. Не могу забыть человека!

Кирилл задумался на мгновенье, потом — будто настала пора оценить путь, пройденный с этим человеком,— стал вспоминать о всех встречах с ним, вплоть до последней на тропе, под кустом неклена, когда Дибич уже не мог отозваться на отчаянный взгляд своего товарища.

Рагозин ни разу не прервал печальной повести и только в конце, туго растирая ладонью свою лысину, сказал:

— Это так, дружище. Хорошую душу нельзя не пожалеть, это так.

— Что ж пожалеть! — встрепенулся Кирилл.— А отвечать за нее надо или нет?

— Отвечать? — переспросил Рагозин и помолчал.— Отвечать будто тоже надо бы... Вот какого рода вещь, понимаешь ли, да. Отвечать, да. Приходится, если этакий случай.

Кирилл грустно усмехнулся.

— Что ж, раскаянием, что ли? Раскаянием отвечать или как?

— Раскаяние перед собой — весьма похвально, пожалуй. Отчего же? Для самосовершенствования. Весьма. Но в смысле ответственности... Маловато, если перед одним собой.

— Так вот я и спрашиваю — что значит отвечать? — немного раздраженно сказал Кирилл.

— А это значит, чтобы кто-то с тебя спросил. Спросил, понимаешь ли, с тебя ответ — как и что, но чьей вине верный нам человек потерян... Ты отчитываться будешь в исполнении своего задания, вот тогда и скажи.

— Выходит, ты считаешь, вина на мне есть? — спросил Извеков, горячо всматриваясь в лицо Рагозина.

— А сам как считаешь?

Кирилл молча кивнул.

— По букве по военной, может, покойник больше виноват, — продолжал Рагозин. — Разве он смел оставить роту во время операции? Ведь командир, а? Дисциплинарно отвечает он. Да с мертвых не взыщешь. Поплатился. А ты, слава богу, живой. Отлучился Дибич с твоего согласия, да? А в партийном смысле ты ведь тоже командир. И получается, понимаешь ли... Хотя по-головному это можно было бы обойти, а по-душевному — надо сказать...

— Спасибо, я тоже так думал, — быстро проговорил Кирилл, торопясь освободиться от мешающей мысли. — У меня еще к тебе вопрос. Или уж — просьба...

Но, быстро начав, он тут же остановился, потому что едва представил себе яснее, о чем хочет просить, как понял всю трудность задуманного. Он принудил себя улыбнуться.

— Но тогда тебе придется выслушать еще одну историю. Не измучил еще я тебя, нет? Я коротко.

Как только он заговорил о Мешкове, Рагозин стал ворочать головой на подушке, и вся свободная от бинтов часть тела — рука, и плечо, и ноги — тоже нетерпеливо задвигалась под простыней, которой она была накрыта, и сделалось будто виднее, какой он громоздкий и как, наверное, ему неудобно на койке. Он не мог дослушать до конца рассказа о мешковском золоте:

— Ах, купецкая душонка! Обманул! Ведь как притворился! Хоть, говорит, матрас мой вспорите — ни одного золотого! Надо было его подушку вспороть, выходит дело, а?! Обвел меня, хитрец! И все ведь со смирением! Что будешь делать, а?

Он не мог остановить своих возгласов и то поднимал, то ронял на подушку голову.

— Деньги, которые мы конфисковали, доставлены в Саратов,— сказал Кирилл,— а сам Мешков — на барже!

— Там ему и место.

— Да, наверно, если суд найдет это место для него подходящим. А до суда... Я хотел с тобой посоветоваться, Петр Петрович. Меня просила дочь Мешкова, если возможно для старика что сделать...

Кирилл смолкнул. Рагозин перестал двигаться, затих и скошенным взглядом словно просматривал Извекова насквозь.

— Благодетелем заделаться вздумал? — сказал он после молчания.

— Похоже! — насмешливо тряхнул головой Кирилл.

— А что? Разве нет? Я этой святоше доверился, а он меня надул. И вышел я дураком. Ты его из ямы собираешься тянуть, а он, поди, думает, как бы тебя туда столкнуть.

— Да в яму-то он угодил не без моего содействия, верно?

— Сам посадил, сам пожалел...

— Я не по жалости. Он свою меру получит. Я хочу, чтобы не меньше и не больше меры.

— Боишься лишнего передать? Чтобы Соломон рассудил, да? А ты сам суди. За Дибича готов ответить — бери на себя ответ и за Мешкова.

— Я свое дело сделал.

— Чье же теперь собираешься делать?

Кирилл дернул плечами. Он не находил возражений, но и с возражениями Рагозина не чувствовал согласия.

— Ты не понял. Я не собираюсь вызволять Мешкова. Я обещал его дочери узнать, в каком положении дело и что с самим стариком.

— За дочь страдаешь?

— Она за отца страдает.

— А тебе она кто?

— Ну! И ты туда же! — досадливо отвернулся Кирилл и таким тоном, будто решил бросить бесплодный разговор, прибавил, скорее из упрямства: — Ты посоветуй, у кого можно справиться о деле, ты ведь лучше меня знаешь.

— Делай как хочешь. Тебе я не учитель, а обманщикам не пособник.

— Нет, видно, учитель, если поучаешь меня, как маленького. В чем я пособник Мешкову? Что я, не понимаю, что он коли не по злобе, так по природе своей — наш естественный враг?

— Умные речи отрадно слышать.

Кирилл посмотрел на Рагозина. Странная усмешка скользила под его спутанными усами. Но нет, это была не усмешка, а непонятная застенчиво-нежная и хитрая улыбка, какой никогда Кирилл не видал на его лице. Как будто Рагозину было совестно и вместе непреодолимо приятно так хитро улыбаться.

— Вот и кошелка для меня прибыла,— выговорил он таким же странным, как улыбка, голосом, силясь приподняться с подушки и глядя прямо перед собой.

Кирилл повел взглядом за его глазами.

В палату входил мальчик — длинноногий, поджарый, с большим лбом и вскинутыми к вискам углами бровей. Любопытство и внимание, которыми светились его выпяченные глаза, противоречили беспечности всего его выражения. Он был еще ребенком, но в нем уже чуть проступала та нескладность, какая отличает подростков. И вдруг эта нескладность длинных ног и рук напомнила Кириллу что-то очень знакомое.

— Поставь пока корзиночку в уголок,— сказал Рагозин,— и познакомься с Кириллом Николаевичем Извековым.

— Рагозин,— сказал мальчик, не кланяясь, а вызывающе вздергивая голову, и далеко вперед вытянул руку.

— Ваня,— мягко договорил за него отец.

— А-а, вижу,— сказал Извеков и опять обернулся к Петру Петровичу.— Нашелся?

Улыбка Рагозина показалась Кириллу еще более неожиданной. К ее хитроватой нежности присоединилось нечто заискивающее, как у бабушки, которая не может досыта налюбоваться внучком. Это удивительно шло к лицу лысого, вдруг словно постаревшего человека и одновременно так не вязалось с установившимся обликом слегка сурового, пронячного Рагозина, что Кирилл захохотал. Петр Петрович, смутившись, тоже рассмеялся. Добродушный их смех наполнил палату гулом, и только Ваня сохранял серьезность, неодобрительно следя за отцом и новым своим знакомым.

— Садись,— сказал Рагозин, отодвинув под простыней ноги и показывая сыну на край койки.— Теперь, видно, моя очередь рассказывать истории, а?

— Да, как же это случилось? — воскликнул Извеков.

— У нас с Ваней вроде бы одно подшефное судно оказалось: канонерка «Рискованный». Я ее — помнишь? — перевооружал, а он на ней плавал...

Рагозин начал рассказ, стараясь говорить без затяжек, а в это время память его десятый раз повторяла подробности,

которые казались очень значительными и без конца к себе привлекали.

Петр Петрович встретил сына на госпитальном пароходе, через день после того, как был доставлен ботом с «Октября» в госпиталь, заполненный ранеными, направился в Саратов.

Боли немного отпустили Рагозина, хотя еще мучило чувство, будто он окружен хмарью, и мозг работал урывками, с усилиями пробивая мысль сквозь эту хмарь. Думать было не только физически тяжело, но и неприятно, потому что все сводилось к сознанию огромной неудачи и безрезультатным поискам ее причин.

К тому дню, когда Рагозин был ранен, его уже обогащал опыт боевого похода, и он жил с ощущением, что идет все время куда-то вверх. Он инстинктивно слышал в себе неизвестное прежде качество, не думая его определить или как-нибудь назвать,— качество нового умственного глазомера. Как никогда, он далеко видел и знал, как надо действовать. Он словно бы взобрался на высоту, с какой можно было легко помогать успеху оружия, которое носил народ.

И как раз в это время все достигнутое будто и не достигалось Рагозиным; поход кончается отступлением, и сам он угрожающе полно испытывает личное свое бессилие.

В одну из таких минут урывочной работы мысли в каюту к Рагозину зашла медицинская сестра и сказала, что его хочет видеть один мальчик из команды парохода.

Позже Рагозин понял, что его поразила не столько сама встреча с сыном, сколько то, что он предчувствовал эту встречу с момента, когда комиссар «Рискованного» доложил ему о мальце, которого надо списать на берег. Услышав от сестры о мальчике из команды, Рагозин тотчас решил, что это тот самый малец, которого он приказал списать не на берег, а в госпиталь. Он вспомнил малолетков-бахчевиков на лодках под Быковыми Хуторами, и разрыв снарядов в воде, и перепуганный плеск весел, и свой страх за гребцов, и свою злобу, и то, что страх, злоба слились тогда с болью за сына. Теперь он уже не сомневался, что увидит его, потому что мальчик из команды — не кто иной, как сын. Уверенность эта несла с собой живительный приток крови к мозгу, и хмарь, мешавшая думать, развеялась, а боль отошла и угнездилась где-то поодаль.

Разговоры с сыном на пароходе были короткими (врачи не разрешали мальчику подолгу оставаться у раненого), но Рагозин на все лады перебирал в уме каждое слово этих разговоров, и они жили в нем незатухающим светом.

— Ты что же от меня с квартиры удрал?— спросил Петр Петрович, когда Ваня, войдя в каюту, прислонился к косяку и смотрел, как провинившийся упрямец — боязливо и дерзко.

— Получилось хорошо, что удрал.

— Почему это хорошо?

— Буду теперь ухаживать... братом милосердным.

— А-а, ну спасибо... Какой же ты мне брат, если ты... Знаешь, кто мне ты, а?

— Знаю.

— То-то и есть... знаешь!

— Я еще и тогда знал, на квартире.

— Знал, а сбежал!

— Ага.

— То-то... ага!

— А что?

— Зачем, говорю, сбежал, если знал, кто я тебе?

— Ну так что ж, что знал?

— Как — что?

— А так.

— Разве от отца бегают?

— Еще как!

— Может, от дурного отца. А я тебе хорошего желаю. Радуюсь, что тебя нашел. Ты-то рад?

Ваня заложил руки за спину.

— Кабы мне сказали, что вы — комиссар... А то я спросил, а мне говорят — он на счетах считает. Все равно, как в детском доме... булгалтер.

— Булгалтер! Эх, грамотей!.. А разве бухгалтер — это плохо? Я тебе покажу одного бухгалтера — Арсения Романыча. Посмотри, как его ребята уважают.

— Как бы не так — булгалтер! Я знаю, кто он.

— А кто же он?

— Он как художник.

— Вон куда ты!— улыбнулся Рагозин.— Пожалуй, верно — как художник... Ну вот, я тебя отдам учиться, будешь художником.

Ваня замолчал. Рагозин с нетерпением ждал ответа.

— Не умеешь — так учись не учись!— сказал Ваня убежденно.

— Уменье придет с наукой.

— Видел я таких! Учатся, учатся! А я подошел — раз! И сделал.

— Ишь...— только и сказал Рагозин, удивленно рассматривая маленького гордеца.

Уже тогда он предугадывал, что судьба этих едва возникавших отношений будет зависеть от желания сына учиться, и в новую встречу опять заговорил с ним о том же. Ему казалось — то, что он считал главным и необходимым в жизни, составляет главное и необходимое также в жизни мальчика. И он терялся, сталкиваясь с совершенно непохожими воззрениями Вани.

— Выучишься как следует работать, будешь приносить пользу,— сказал Петр Петрович внушительно.

— Откуда приносить?— наверно, не понял Ваня.

— Ну, как тебе объяснить... Был когда в музее?

— Был.

— Понравились тебе картины?

— Ага.

— Значит, художники принесли тебе своим трудом пользу. Картинами своими, понимаешь?

Ваня мечтательно смотрел в отворенное окошко каюты. Там мчалась Волга — слышно было бурленье воды под колесами огромного парохода, виднелись клином отбегавшие назад зеленые валы, и песчаная отмель окатывалась ими, белея на окоемке от разбитых в пену гребней.

— Это — не польза,— ответил Ваня, и так загадочно сделалось его серьезное лицо, словно только он один знал — что же такое польза.

— Как не польза? А что же?

— Это... когда завидно, что не ты нарисовал. Что у тебя ни за что так не получится.

— Ну вот, вот!— обрадовался Рагозин.— Когда тебе хочется сделать так же хорошо, как другие. Чтобы твоей работой другие тоже любовались, как ты. Это и будет польза для них, а как же?

— Чудно́ как архиреите,— с насмешкой сказал Ваня.

— Это что еще за «архиреить»?

— Ну, как духовник.

— Что — духовник? Откуда ты знаешь — как духовник?

— А мы в скиту бегали к архирею за сахаром. Он даст всем по кусочку да начнет архиреить: играйте, детки, без ссор и без брани, внимайте слову наставников ваших, бог господь с вами.

Ваня ловко передразнил елейную речь.

— Ну, а вы что?— с усмешкой, хотя немного потерянно спросил Рагозин.

— А мы ничего. Съедим сахар, опять прибежим. Он даст

еще, и опять нас архиреить... А вы, чай, комиссар!— вдруг с укором взрослого объявил Ваня.

На следующий раз Рагозин попробовал зайти с другого бока.

— Не будешь ходить учиться — кто тебе даст бумагу, карандаши? Ведь рисовать-то ты не перестанешь?

— А когда мне было надо чего, я тырил,— не раздумывая, ответил Ваня.

— Ну, милок...

— Жди, когда тебе дадут! Разве дождешься? Стырю где придется — и рисую.

— Это, братец, воровством называется. Вот какая вещь, видишь ли!

— Карандаши-то?!— вытаращил глаза Ваня.

— Карандаши и все такое. Ты эти приютские замашки брось. Я буду давать все, что потребуется.

Ваня пригорюнился, потом сказал упавшим голосом:

— Если товара много — лафа, конечно.

Но тут же и утешил отца, настолько позабывшись, что впервые обратился к нему по-приятельски:

— А если у тебя не будет, ты не думай: я расстараюсь — чего не хватит!

Нечаянный этот порыв был отцу и страшен и восхитителен, обнажив перед ним все уродство представлений и всю непочатость простодушия ребенка...

Рагозин вспомнил это, пока рассказывал Кириллу о встрече с сыном на Волге.

Ваня сидел у отца в ногах, независимо поглядывая на гладко выбеленный потолок. Уже вторично доставил он в госпиталь заготовленные хозяйкой Рагозина кушанья и знал, что половину унесет назад: отец был настойчив в своих заботах о нем. Мальчик видел, какое место занял собой в существовании отца. Находя это чувствительностью взрослых, он, с некоторой гордостью за себя, поощрял ее и допускал даже ласку большого человека, раненного в сражении и нуждавшегося в помощи.

— Теперь мы с ним договорились жить вместе,— сказал Рагозин, одобряя Ваню взглядом.— И знаешь, Кирилл, к чему я прихожу после всей этой истории? Время-то у меня есть — размыслить. Вот мы радуемся что идем к цели, которую хотим достичь. Думаю, радость станет еще больше, ежели мы нашу цель, которую предстоит достичь, хоть бы отчасти, что ли, отыскали в том, что уже нами достигнуто. Понял меня?

— Более или менее,— улыбнулся Кирилл.

— Ну да насчет отвлеченного я, знаешь, не очень... Я практически. Думаешь ты о человеческих отношениях в будущем? Думаешь. Так вот ты ищи такое в нынешней жизни, чтобы уже сейчас в тебе хоть немножко зажило из будущего, понял? Как бы тебе сказать? Ну... воплоти, что ли, свой план в живом человеке. В отношении своем к человеку, понятно? Чтобы практика была. А то ты будешь поклоняться своему желанию, скажем, коммунистического общества, когда еще общества такого нет. И привыкнешь поклоняться — желанию. А от человека отвыкнешь. Верно? А ты его сейчас найди. Хоть немножко в человеке найди от будущего. И установи с человеком такую связь, как будто он уже наш идеал. Так? И чтобы таким путем действовал каждый. Тогда будет кое-что закрепляться из наших желаний будущего в нынешней жизни. Посев будет, понял?

— Понял. Но рецепт-то не ко всякому человеку приложим. Особенно теперь. Помнишь, ты мне сказал: какое время — такая политика.

— А как же! Ты умей найти такого человека, в котором немножко будущего есть. В труде его, в службе народу, еще в чем. И на нем учись. Практикуй свой идеал-то на человеке. Умей найти,— повторил Рагозин и опять остановил довольный взгляд на сыне.

— А ведь ты прав!— воскликнул Кирилл.— Я припоминаю в этом духе у Чернышевского: приближайте будущее, говорил он, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести.

— Видишь! Оно крепче, когда своей голове подпорку-то найдешь,— весело мигнул Рагозин, не отрывая глаз от сына.

Кирилл тоже посмотрел на Ваню.

Мальчик беспечно и сладко позевнул.

Кирилл спросил его, сдерживая невольную улыбку:

— Как же получилось, что сам ты ушел на флот, а товарища бросил? Мне ведь Павлик Парабукин рассказал, как ты его подвел.

— А я виноват? Меня военморы надули. Пашка знает. Мы помирились. Еще хотели с ним к вам идти.

— Ко мне? Зачем?

— А жаловаться.

— На кого?

— На отца на его.

— Чем это его отец провинился?

— А он из книжек Арсения Романыча пакеты клеит.

— Арсения Романыча?— вскрикнул Рагозин, оторвав от

подушки голову и тотчас, с гримасой боли, медленно опуская ее назад.

— Арсений Романыч отдал свои книжки в одну библиотеку. А библиотека половину свезла в утиль. А Пашкин отец пустил книжки на пакеты. Пашка сам видел!

— Что такое, Кирилл, а? Ты сходи посмотри,— весь как-то затихнув, сказал Рагозин.— Не шутка — библиотека Арсения Романыча! Его нам грех обижать.

— Пойду сейчас же,— поднялся Извеков,— я давно хотел забраться к этим просветителям. Ты не тревожься.

Он взял с постели руку Рагозина. Петр Петрович придержал Кирилла, будто подыскивая на расставанье слово.

— У тебя жар? Ты со мной заговорился.

— Ничего. Баня здоровит, разговор молодит.

Он все не выпускал Извекова.

— Будут новости — сообщай. Понял?

Он ближе притянул Кирилла к себе.

— Тут должен меня навестить один товарищ. Я ему поручу разузнать насчет твоего дела. Он может.

— Моего дела?

— Ну да. О чем тебя Мешкова дочь просила.

Он вдруг хитро сощурился и шутливо оттолкнул Извекова.

— Чудак ты!— захохотал Кирилл.

— Да я не о Мешкове забочусь! Его песня спета. Я о его дочери. В ней-то, чай, малость какая есть от будущего? От твоего, скажем, будущего, а?

— Чудак!— смеялся Кирилл, неожиданно краснея и отступая к двери.— В Мешкове, это ты верно, от будущего ничего. Ну, а в настоящем он даже может пригодиться. Ты не поверишь: Мешков показал мне на Полотенцева!

— На жандарма? Да неужели? И ты не говоришь! Это, как хочешь, брат, за-слу-га!

— Расскажу после. Выздоравливай.

— Так ты прямо в утильотдел?— крикнул Рагозин вдогонку Кириллу, когда он уже вышел в коридор.

— Прямо туда.

— Выбери мне там что почитать,— кричал Петр Петрович.— Да не забудь для своей полочки тоже. Постарайся!

Отдел утилизации был частью того организма, который носил именование Губернского совета народного хозяйства и гигантский мозг которого насилу умещался в гостинице «Астория», построенной на главной улице в совершенном духе законодательства «модерн». Трудно сказать, что по своему значению аппарат утильотдела составлял полушарие этого мозга.

Но по объему он был едва ли не полушарием, и потому не мог найти достаточно места в ряду с другими отделами в «Астории», а получил особую оболочку по соседству с главной улицей, как бы на правах сепаратного мозга.

Здесь разнообразнейшие люди роились, как птицы на перелете. И, однако, они не в состоянии были своими усилиями исчерпать заботы о деятельности всего утильотдела. Во главе каждого его предприятия стояли собственные аппараты со своими густо роившимися людьми. Наконец, в фундаменте этого мироздания заложены были производительные силы: салотопня, фуражечный и столярный цехи, сапожная и пакетная мастерские. Чем ниже спускалось строение от вершины к основанию, тем реже были людские рои, и где-нибудь в салотопне, у мыловаренного котла, или в сапожной, где стегались суконные голенища из армейского сырья, было совсем малолюдно и тихо.

На всем этом изветвленном учреждении сказывалось противоречие эпохи.

Предприятия, объединенные громадным управлением, сами по себе заслуживали только скромных похорон. Они кустарничали без тени надежды чем-нибудь заменить свои ремесленные орудия праотцев. Фуражечник довольствовался иглой, ножницами и утюгом. Плотник — топором и пилой. Да и правда: много ли было нужно, чтобы из выброшенной в ветошь шинели смастерить кепку, а из сырой сосны сколотить табуретку или гроб? Никто из людей, роившихся по комнатам гостиницы в стиле модерн, не собирался ломать голову над механизацией цехов утильотдела.

Но хотя эти цехи заслуживали лишь бесславных похорон, хоронить их было слишком рано. Как ни слабосильны казались их труды, обойтись без них было немыслимо. Разруха хозяйственной жизни достигла к этому времени неслыханных размеров и была открыто признана одним из опаснейших врагов революции. Кусок мыла, клок бумаги, подошва, годная хотя бы на неделю, пуговица, способная удержать на человеке незамысловатое одеянье,— все стало драгоценностью.

И, может быть, именно в силу противоречия, до крайности нужные производства утильотдела, несмотря на их вековую отсталость, так ценились и побуждали к такому деятельному роению вокруг себя людей, старавшихся подогреть в них теплившуюся жизнь и отдалить неминучую кончину.

Извекову не сразу удалось разыскать пакетную мастерскую. Склады и цехи были раскиданы от Волги до Монастырской слободки и занимали пакгаузы, лабазы, ветхие соляные

мельницы в старом городе, подвалы и лавки базаров. Надо было узнать, где подвизается Парабукин, а он не настолько славился, чтобы любой делопроизводитель утильотдела догадался, о ком идет речь.

Тихон Платонович сидел в своей фанерной каморе, выгороженной на стыке двух обширных залов, один из которых предназначался для журнальной и газетной свалки, другой заключал неразобранные библиотеки. Через пробитую стену первый зал соединялся с пакетной мастерской.

Человеческие тени скользили по бумажным нагромождениям, появляясь и пропадая. В тишине слышалось изредка шуршание тронутого сквозняком листа бумаги. Запахи свежего клейстера, заплесневелой кожи, отсырелого коленкора, напоминая цветущий пруд, легко проносились от дверей к окнам.

Тихон Платонович, выпив неизвестного напитка, доставленного Мефодием Силычем, убрал в письменный стол кружечку и слушал своего друга.

— Что ты толкуешь о Цветухине! Он мне как близнец, я его чувствую лучше себя,— говорил Мефодий.— Страдалец, как я. Но тайный. Гордыня не пускает склонить выю. Гений в нем не вылупился. Все стучит клювиком в скорлупку. А пробить скорлупку не может. Он и страдает. Я рядом с ним — инфузория. Хотя — актер. Тоже актер!

— Тоже в скорлупке,— вставил Парабукин.

— Признаю. Смиренномудро признаю. Ибо не горд, а только суетен. Мне не так больно. Он — гений, ему больнее. А что ему мешает? Рисовка. Принципами рисуется. Какие у актера могут быть принципы? Сыграл хорошо — вот и принцип. Не сыграл — в чем же принципы? У нас был трагик — беспардонный черт, ни одного принципа, а весь театр рыдает. В нашем деле надо животом брать. А Егор много понимать хочет.

— Сгубит он мою Аночку,— горестно вздохнул Тихон Платонович.

— О ком говоришь?— оскорбился Мефодий.— О Гамлете говоришь, ты, затычка! Он от актеров чистоты требует, не клубнички. Учеников поучает, чтобы у них душа, как хрусталь, пела. Я у него две недели в ногах валялся, пока он меня к себе в студию принял. Талант, говорит мне, любит две вещи — чистоплотность и трезвость. Тот, говорит, кто пропивает талант, тот — вор. Он, говорит, крадет у людей то, что им дано природой, ибо дарования отпускаются на пользу всех людей в лице одной персоны. Люди, говорит, были бы в сто раз
 счастливее, если бы талант не перепадал бы пропойцам. Бро-

сишь пить — приходи, играй. А так, говорит, черт с тобой. У меня молодежь, я отвечаю.

— А сам он что — на водопровод молится?

— Вот. Я у него в ногах валяюсь, а между тем отвечаю: мало ты со мной, Егор, выхлестал, что меня лишней рюмкой укоряешь? А он мне: Цветухин, мол, не пропойца. Если, говорит, я пью — я пью для радости. Пирую. Веселюсь. И понимаю, что это не всерьез, а для удовольствия и смеха. А горькую запивать — разнузданность. Да как рассердится! Это, говорит, все из гениальничанья. Все пропойцы гениальничают. Заметил, говорит, они и разговаривать не умеют без претензий. Все удивить норовят, остроумничают. Это, говорит, антихудожественно. Понимаешь — куда?

— Отбрил тебя.

— Почему — меня?— снова обиделся Мефодий.— Я — простой человек, вместилище жидкости. Претензий не имею никаких. Пью, как обыкновенный пролетарий.

— Это ты-то пролетарий? Отец Мефодий!

— А кто же? Я — неимущая Россия! Вот кто я. На таких, как я, отечество держится! Кариатида!

— Кари-ати-да!— иронически перепел Парабукин.

И тут его лицо обвисло, он наскоро провел рукой по гриве и нерешительно начал приподниматься.

— Где здесь хозяин всех этих богатств?— громко спросил Извеков, отворив фанерную дверцу и заглядывая в чулан.

— Товарищ секретарь,— проговорил Парабукин, и одернул куцую свою толстовку, и погладил усы с бородой, и откашлялся, не находясь, что бы еще сделать в таких нечаянных обстоятельствах.

— Ожидаем давно,— сказал он.— Позвольте представить. Мефодий Силыч, сотрудник студии Цветухина. Так сказать, коллега моей дочери по театральному поприщу. Кариатида.

— То есть... по фамилии?— сурово удивился Извеков.

— Более в метафорическом смысле,— сказал Мефодий, раскланиваясь с важностью.

— Вы что же, закусывали?— на шаг отступая перед непонятным запахом, спросил Извеков (он внимательно глянул на перебитый сократовский нос Мефодия и подумал: этот, пожалуй, еще отменнее Парабукина).

— В виде перерыва между занятиями,— торопился объяснить Тихон Платонович.— Так кое-чем. Нынче не до разносолов.

— Скажите, что у вас делается с библиотекой Дорогомилова?

Парабукин, радуясь, что одна щекотливая тема миновала, и опасаясь — не возникла бы другая, вполне, однако, успел овладеть собой и подставил гостю просиженный венский стул.

— Спасибо, не побрезговали, зашли в наш антиквариат.

— Покажите, что сюда попало из дорогомиловских книг.

— Это вам, поди, мой Павел донес? Все как есть придумал мальчишка, от своего рвения не по разуму, не по возрасту.

— Проведите меня, я хочу видеть.

Они вдвоем двинулись между бугров и куч бумажного хлама, навалом ссыпанного и образовавшего целые улицы и переулки, за которыми нельзя было окинуть глазом всего помещения. Парабукин, путеводительствуя, не переставал говорить:

— От Дорогомилова к нам ничего не поступало. А поступило от библиóтеки, которой он свое добро пожертвовал. Добрато оказалось меньше, чем мусора. Библиóтека весь мусор сюда и сбагрила. Журналишки, газеты, счетоводство разное. Ничего себе сырье. Кое-что на фунтики пойдет, другое на конверт. Есть которые поплотнее листы, можно канцелярский пакет клеить. Вот, как раз, поинтересуйтесь, этот ворошок дорогомиловский. Павел разворочал, копался чего-то, негодник.

Кирилл взял сверху переплетенную тетрадь в писчий лист. Это были печатные доклады городского управления двадцатилетней давности.

— Бумажку-то ставили, а? Говард!— сказал Парабукин, потирая в пальцах глянцевитый лист и зажмурившись.

Кирилл поднял другую тетрадь. В ней заключался отчет городского театрального комитета управе и отчет о приходе и расходе городских сумм по театру. Сезон, которому посвящались документы, был памятен: в тот год Кирилл последний раз побывал в этом театре — с Лизой, и наутро после спектакля, с неизгладимым ощущением ее соседства по креслу, был введен жандармами во двор тюрьмы.

Непроизвольно пальцы его перелистывали тетрадь. Потом они остановились. Он не сразу понял, что заставило его сосредоточиться. Он читал примечание в конце страницы о том, что господин антрепренер оспаривает удержание городом такой-то суммы с бенефисного сбора артиста Цветухина. Фамилия Цветухина была выделена жирным шрифтом.

Кирилл швырнул тетрадь прочь.

— А книги у вас где, книги?— настойчиво повторил он.

— Книги совершенно особо. Можно сказать, в хранилище. Пожалуйте.

 Они прошли в смежный зал. Чуть не до потолка высились

тут кучи книг, причудливые, как горные цепи со своими вершинами, ущельями, обрывами склонов.

Кирилл медленно обвел взором эту стихию. Вот она, жизнь, честь, слава, вспоминал он, богатство, высочайшие взлеты, неизмеримое счастье! Могучая любовь человечества!

— Тут у нас происходит ученая обработка,— бормотал Парабукин, отодвигая пяткой мешавший ему стоять толстый том.— Изыскания, всякая сортировка.

— Гм,— промычал Извеков.

— А как же! Решается экспертами — что есть научность, а что, согласно инструкции,— утиль. Пожалуйте сюда. У этой стенки разные духовные писания, православные, римско-католические, немецко-лютеранские. Очень плотного переплета.

— Это не эксперт с вами закусывал?

— Нет, мой личный друг. Мужчина образованный, антицерковный, знает по-древнелатински. В искусстве старый воробей, поскольку актер. Но на сортировку искусства нам присылают больших знатоков. Один даже собственное сочинение в книгах обнаружил, называется «Что такое светотень». Не читали? По театральной части, к примеру, отбирал науку Егор Павлович Цветухин.

Извеков быстро перебил:

— Я хочу знать, где книги Дорогомилова?

— У самой двери. С полвоза, не больше. Жидкая литература. Без корочек.

— Оставьте меня одного.

— Пожалуйста!— обрадовался Парабукин.— Посмотрите, что вам подойдет. Многие были довольны выбором.

Кирилл остался один. Через окно обрывисто влетали шумы улиц, легкое дуновение иногда шевелило раскрытыми страницами. Выдернутая из вороха книга задевала другие, они скатывались, падали. Из несвязных и будто раздумчивых звуков складывалась та тишина, в которой так бесконечно хорошо находиться наедине с собой.

Кирилл нагнулся, поднимая с пола книгу, сел на корточки и притих, изредка перелистывая страницы или меняя одну книгу на другую.

Если судить об Арсении Романовиче по сборищу изданий, какие угодили на этот склад, то это был необъяснимый человек. Книги накапливались у него десятилетиями, и за этот срок он, видно, отдал дань множеству увлечений, от ремесла часового мастера и фотографии до истории философии и пароходостроения. Здесь были и буддизм, и комнатная гимнастика, консервирование фруктов, русское сектантство, рыборазведе-

ние. Среди дешевых брошюр, как баржа между лодчонок, плавала фундаментальная теория чисел, и вдруг — немецкий перевод похождений Казановы, и немец Гофман по-французски, с гравюрами Гаварни, и первый русский «Дон-Кишот Ламанхский».

И вот владетелю этой окрошки, чернилами проставлявшему на книжных титулах свою звонкую фамилию и дату приобретения книги (наверно, на базарном развале), суждено было остаться в памяти Кирилла загадочным, неприязненным существом — Лохматым, при встрече с которым на улице он перебегал на другую сторону. Чем же могло существо это расположить к дружбе отца Кирилла? Может быть, странная ярмарка интересов Арсения Романовича — простые случайности, которыми обрастает жизнь, как днище корабля — ракушками? Ведь если взглянуть на такое днище из-под воды, корабль покажется тоже странным. В самом деле, что особенного в человеке, находящем удовольствие расписываться на каждой брошюре? Книголюб, когда-то прививавший Извекову почитание к печатному слову, сказал: ставить свое имя допустимо лишь на той книге, которую сам написал.

Кирилл развернул оказавшийся в куче тяжелый том русской истории Соловьева и, полусогнув листы, пропустил их из-под большого пальца жестом книжника, проверяющего цельность страниц. В глазах мелькнули карандашные надписи на полях. Кирилл вернулся к этим страницам и нашел резко подчеркнутые строки. Это были слова пугачевской грамоты, жаловавшей рать рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью. На полях стояла надпись: «Так будет».

Кто-то думал над великолепием щедрых и свободных этих слов, кто-то хотел, чтобы читающие эти слова тоже задумались над ними, кто-то ждал, что они станут из слов делом. Неужели Дорогомилов?

Кирилл отложил том в сторону. Минутой позже он прибавил к нему томик запрещенных в России сочинений Льва Толстого. Еще немного спустя, он бросил ворошить дорогомиловские книги и перешел к другим.

Ему подвернулись «Губернские очерки» Щедрина. Отличная книга валялась вместе с какими-то руководствами по плетению ковров и ткачеству. Он отложил Щедрина. Потом он нашел драмы Ибсена (всего два тома — собрание было разрознено). Он присоединил их туда же. Пробираясь глубже в горные теснины, он поднял с пола Ломброзо (неважная книжка, с надорванным углом) — о сумасшествии и гениаль-

ности. Книга была давно разругана, он знал это, но не читал ее. Не мешает, конечно, прочитывать и то, что бранят. Ему бросилась в глаза старенькая корочка с фамилией — Бельтов. Он прошел мимо, но вернулся, прочитал название «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Плеханов! Четвертьвековая давность! Вероятно, эта книга была кем-то отобрана до него. Она лежала слишком на виду. Но Плеханов-то Извекову, во всяком случае, нужен. Это — не Ломброзо!

Вдруг он увидел Шекспира. Четыре роскошных тома, один как другой, с золотом по черной коже. Он раскрыл переплет. Он никогда не видел подобных переплетов. Бумага форзацев была нежна и гладка, как шелк. По ней вились птицы и цвели цветы. Они были не синие и не коричневые. Они были синими и коричневыми сразу. Серебряный волосок неумолимо вился между птиц и цветов. «Это хорошо для Аночки»,— тотчас подумал он, прикоснувшись рукой к форзацу. «Аночка может брать у меня»,— добавила за него другая мысль.

Эти книги были, во всяком случае, из числа отобранных до Кирилла. Они аккуратно стояли в ряд с другими прекрасными книгами. Но в конце концов кто мог здесь отбирать книги? Кто назначал сюда сортировщиков, специалистов, экспертов и как их еще? У Кирилла вряд ли меньше оснований отбирать книги наравне с ними. Может быть, даже у него больше оснований, чем у них. Так или иначе, но пока он поставит Шекспира к своим отложенным книгам.

Он стал торопиться. Книг было слишком много, задерживаться подолгу над каждой означало бы ничего не отобрать. Он хорошо представлял себе вид своих полок, когда на них станут книги. Очень важно положить в основание будущей библиотеки известную систему. Обеспечить прежде всего главные разделы. Но ведь он выбирает книги не по своему произволу, а только бродит по лабиринту и берет лучшее из того, что попадается. Надо пока мириться, взять все, что жалко не взять. «Я — как Дорогомилов, черт возьми»,— подумал он. Но сейчас же другая мысль успокоила его: «Можно будет потом выбросить из отложенного, что лишнее».

На него напала алчность. Он нес и нес к своей стопе новые сокровища. Ум его сам, помимо желания, называл эту стопу «моими книгами». Воображение говорило ему: «Это интересно для мамы — педагогика». Или: «Эту я дам почитать Рагозину».

Надвигались сумерки. Он подносил книги ближе и ближе к глазам. Он был один. Никто не заглянул к нему ни разу. Это было самозабвение. Он копал и копал эти горы, прорывая в них

туннели: в глубине могли таиться дорогие сердцу имена! Подхватив снизу пачку отобранных книг и прижимая ее сверху подбородком, качаясь от усталости, он пробирался к своей стопе, которая росла и росла. Потом он шел туда, где еще не был, смотрел то, что еще не видел, и опять рылся, разгребал уступ за уступом, переходил с места на место, взбирался на оползающие книжные холмы и съезжал вниз по их склонам. Руки его стали скользкими от пыли. Он наглотался этой топкой, сладкой, щекочущей горло пыли и кашлял.

Наконец холмы и горы слились в общую массу, читать стало невозможно, светлели только окна.

Кирилл отряхнулся и подошел к своим богатствам. «Бог ты мой!— изумился он.— Как же унести эту поленницу? Нужна лошадь». Он постоял, словно недоумевая — почему все это случилось? И что за книги он набрал? Ему показалось, будто кружится голова и его клонит куда-то вбок.

Вдруг через окно ворвалась маршевая песня. Грубые голоса, дружно нарубая такт топотом ног по булыжнику, сильнее и сильнее сотрясали улицу:

Сме-ло
мы в бой пойдем
За власть
Сове-та-ав...

Кирилл вытер рукавом лоб. Его действительно качнуло, и он вздрогнул.

Ударив обеими ладонями по двери, он распахнул ее и едва не сшиб отступившего от неожиданности Парабукина.

Тихон Платонович стоял с маленьким светильником, подняв его вровень с головой. Грива и борода его золотились в мерцании огонька.

— А я хотел вам лампочку предложить. Стемнело. Отобрали чего подходящее?

— Нет,— коротко сказал Кирилл.— Потом. Прощайте.

— Ежели вам неудобно или еще что, так мы пришлем. Только прикажите — куда.

— Никуда. Прощайте,— еще раз сказал Кирилл и чуть не побежал по бумажному хламу к выходу.

33

В искусстве существуют вопросы, кажущиеся решенными только потому, что зрелые художники сжились с ними и привыкли считать, что они решены. Если молодой художник ставит такие вопросы перед зрелым, то получает в ответ не ре-

шение, а ссылку на опыт, которым обладает зрелость. Опыт заменяет собой решение, не существующее в виде вечного закона, но отыскиваемое каждым художником для себя и своего времени.

Едва только Аночка Парабукина занесла ногу на сцену, десятки недоумений обступили ее, как деревья обступают зашедшего в бор человека. Среди туманностей, тупиков один вопрос казался ей необыкновенно важным, и с решением его было невозможно медлить.

Вопрос состоял в том, из какого источника черпать средства для воспроизведения незнакомого образа?

Если бы Аночке Парабукиной предстояло сыграть на сцене Аночку Парабукину, то задача решалась бы просто: Аночка должна была бы шагнуть из жизни на подмостки, оставаясь собой.

Но Аночке предстояло сыграть Луизу из «Коварства и любви». Аночка никогда не видела Луизу. То есть, совсем еще девочкой, она видела Луизу на сцене Народного театра, в саду, известном под именем сада Сервье, на окраине города. Но это была Луиза, сыгранная актрисой. Луизы Миллер, жившей в восемнадцатом веке в каком-то немецком герцогстве, Аночка не могла знать.

Почему же говорят, что театр — это жизнь? Какая жизнь? Жизнь, которой никто не видел? Кого должна играть Аночка? Актрису из сада Сервье?

Когда Аночка спросила об этом Егора Павловича, он не задумался ни на секунду:

— Луиза — это ты. Играй себя.

— Как,— серьезно сказала Аночка,— как это может быть? У меня короткая юбка, я шагаю, как барабанщик. А ведь у Луизы — фижмы?

— Когда наденешь фижмы, все станет на место. Только помни, ты — Луиза.

— А ноги, руки? Разве у Луизы они такие длинные?

— Да, такие же длинные. Не думай о них. Думай, что ты любишь Фердинанда, что ты могла быть счастлива со мной... с Фердинандом, а я... А Фердинанд тебя сделал несчастной. Думай о своем чувстве ко мне.

— Я только и знаю, что думаю! Но подумайте и вы!

— О,— с улыбкой пропел Цветухин, давая понять, что даже обаятельная девушка тоже обязана не забывать своего положения ученицы.

Это смутило ее, но она не могла подавить искренность и умоляюще сложила руки:

— Чем же я виновата, что не понимаю! Луизе кажется ее положение безысходно, а я легко нашла бы выход. Значит, она не такая, как я.

— Очень хорошо! Ты именно такая, как Луиза. Она точь-в-точь как ты сжимает руки, когда бросается с мольбой к Фердинанду. Запомни.

— Но я не бросилась бы к нему с мольбой! Ни за что! Я его отпустила бы. Пусть уходит!.. Все равно ко мне вернется!— вдруг кончила она строптиво.

Он рассматривал ее лицо с чувством растроганного и любующегося поклонника.

— Послушай, друг мой. Найди в Луизе хотя бы частицу того, что ты сама когда-нибудь переживала.

— А если в ней нет ничего от моих переживаний?

Он поправился:

— Хорошо. Не думай — что в ней от тебя. Ищи что-нибудь в себе от нее. Какое-нибудь сходство.

Он тут же задал в уме вопрос: что ей делать с отчаянием Луизы, если она еще не любила и не испытала отчаяния?

— Вдобавок,— сказал он,— самое перевоплощение — это отчасти техника.

Разговор шел наедине, после репетиции в клубе, где работала студия. Они стояли у окна запыленного зала, со стульями, перевернутыми вверх ножками вдоль стен.

— Ну, чтобы тебе было понятнее, если хочешь, я могу сейчас заплакать,— сказал Цветухин, улыбаясь.

Он поглядел за окно. Шел меленький дождик. Булыжник мостовой поблескивал разъезженной грязью. Ломовик с подоткнутыми за кушак полами кафтана стегал концом вожжей свою клячу. Воз был ей не по силам. Подковы соскальзывали с круглых лысин булыжника. Лошадь, спотыкаясь, вздергивала кверху морду на вытянутой, словно вылезавшей из хомута шее.

Аночка увидела, как медленно выросшие черные глаза Егора Павловича засветились, будто кто-то мазнул по зрачкам слоем лака. Потом верхние веки дрогнули, на нижних появилась нитка влаги, утолщаясь в уголках глаз у переносицы. Это было прозрачное зерно, которое крупнело все быстрее, и вдруг, на левом глазу, оно оторвалось от века и тонкой струйкой прозмеилось по щеке.

Глядя на улицу, Егор Павлович плакал.

— Не надо!— порывисто сказала Аночка: у ней самой глаза вспыхнули от влажного налета.

 Он вытер лицо платком.

— Хочешь, теперь я побледнею?

Он взял Аночку за руку и, сжимая свои пальцы, всем корпусом отшатнулся от нее. Она увидела его отвисшую нижнюю губу и неподвижный полуоткрытый рот. Краска исчезла с его щек, все черты его заострялись, утрачивая жизнь.

Она насилу вырвала из его пальцев руку.

Он засмеялся, довольный успехом урока.

— Знаешь, что это? Это воскрешение в себе пережитой однажды скорби, воскрешение когда-то испытанного страха.

Он глядел на нее с превосходством и выжидающе.

— Надо переживать. И потом возобновлять в себе переживания повторением. Остальное сделает твое тело. Оно должно быть послушно чувствам, как инструмент послушен музыканту.

Ей не понравились его ждущие глаза.

Она понимала, что все это не отвечает на вопрос: какой была Луиза. Но то, что можно упражнять чувства так же, как пальцы, и этой «техникой» пробуждать ответные чувства в других людях, изумило ее.

Она попробовала вызвать слезы по произволу. Оставаясь наедине с собой, она заставляла себя припоминать свои старые слезы. Но так, как она плакала прежде, ей не хотелось плакать теперь. У нее ничего не получалось.

Только однажды, проснувшись ночью и думая о матери, Аночка с такими подробностями разглядела ее мертвую руку, пригретую солнцем, с шершавыми, исколотыми кончиками пальцев, и так страшно ощутила прикосновение своих щек к этим пальцам, что ей стало себя жалко. Она заметила похолодевшую мокрую подушку, догадалась, что плакала во сне, и тогда стала вновь разглядывать в памяти руку матери, и у нее навернулись слезы. Она вытерла глаза наволочкой, полежала и заснула с тяжелым чувством чего-то нехорошего.

Утром она опять думала о матери — о ее руке — и опять заплакала. Ей было мучительно стыдно, что она *это* делает с матерью, с памятью о матери, и было даже боязно *это* так кощунственно нарочно повторять. Но она повторяла, и хотя ей было стыдно и боязно, она радовалась, что всегда получалось по ее желанию: вспомнит, как целовала руку матери,— и сейчас же выступят слезы. Она стала при этом просить у матери прощения за свое кощунство и словно объяснять ей, что ведь слезы эти глубоко правдивы.

Что же в самом деле оставалось Аночке, если у нее не было в жизни иного потрясения, кроме прощанья с матерью, и если только оно в любую минуту вызывало слезы? Она де-

лала из памяти о матери свою «технику», но ведь это предназначалось для искусства — священного искусства, каким она его считала.

Если она хотела стать актрисой, ей предстояло сотни раз повторять на сцене одни и те же переживания, и она понимала, что ведь нельзя произвольно сотни раз полюбить или возненавидеть какого-нибудь героя, не превратить любовь или ненависть в «технический прием». Ей надо было приобретать «технику», и пока ей был указан один источник такого приобретения: действительность или познание жизни. У нее еще не было времени узнать любовь актера к роли (она сыграла всего одну роль и всего один раз), и она не знала, что любимая роль способна тысячи раз породить в актере одно и то же непроизвольное переживание, которого в действительности он мог не испытать ни разу.

А стать актрисой Аночка хотела всеми силами своего существа. Она уже прошла в фантазиях долгий путь к этой цели, может быть нисколько не оригинальный, обыкновенный путь девочек, мечтающих о сцене. Но она считала его небывалым и предначертанным. И об этом пути у нее накопились неповторимые воспоминания.

Вера Никандровна, определив Аночку в училище, запретила ей бегать за кулисы театра. Это было не легко, потому что Ольга Ивановна работала для костюмерной и посылала дочь в театр с поручениями.

— Если хотите, чтобы я помогала вашей девочке учиться,— внушала Вера Никандровна,— вы должны это прекратить.

Ольга Ивановна легче послушалась, чем Аночка. Мать мечтала дать дочери образование, а для дочери за кулисами все казалось любопытнее, чем в школе. Но влияние Веры Никандровны взяло верх.

Когда Аночка подросла, ее тяга к театру обрела новый смысл: то, что делалось позади кулис, было таинственно, но еще таинственнее стало в зрительном зале, откуда открывалась чудом рожденная на сцене жизнь.

Но и тут Вера Никандровна уступила не сразу.

— Вот поэтому-то,— говорила она,— каждое посещение театра и должно быть праздником, что на сцене показывается жизнь человеческой души. А в человеческую душу нельзя ведь забегать, как в чайную, мимоходом, верно? Туда надо ходить, как в храм.

Эти наставления она с учительской последовательностью распространяла на книгу.

— Просматривать, перелистывать книгу — это не чтение. Читать надо так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда она раскроет себя, и ты постигнешь ее прелесть. Как лес нельзя узнать, не углубляясь в него, а только поглядев на него издали или пройдясь по опушке, так и книга не принесет тебе радости познания, если ты не научишься углубляться в чтение.

При этом Вера Никандровна делала настолько ласковое лицо и так убедительно качала головой, что Аночке становилось неловко за себя, потому что и в книги она не успевала особенно углубляться, и в театр готова была забегать каждый день, утром и вечером, хотя бы на минутку. Храмом от такой непочтительности он не переставал для нее быть. Наоборот, он поглотил собою все храмы мира и звал к себе, как мир.

Потом пришла пора сменить внушения на советы, а затем и советы должны были уступить место благосклонной улыбке.

Аночка кончила школу в то время, когда еще не умерли все гимназические обычаи. Довольно сказать, что бывшая классная дама, сохранившая место преподавателя словесности, переименованной в «литературу», одобрив Аночкино сочинение, спросила негромко после урока:

— Парабукина, дома вам уже разрешили писать без твердого знака?

Ей хотелось, чтобы ученица унесла с собой в пошатнувшийся мир хотя бы кое-что от разрушенных добрых устоев.

Но уже появились в стенах былой женской гимназии мальчики, уже начальницу сменил заведующий школой, уже забыл дорогу в классы расчесанный законоучитель с наперсным крестом, и, наконец, девушки самочинно пригласили профессионального актера руководить постановкой «Недоросля». Это был взрыв исконной традиции, по которой гимназические спектакли выпускной класс репетировал с преподавателем словесности,— взрыв, подготовленный Аночкой Парабукиной.

Во главе таких же, как она, смущенных своей смелостью подружек, Аночка явилась к Егору Павловичу Цветухину.

Он довольно долго приводил себя в порядок. Приход девочек был неожиданным, Цветухин воспринял его, как визит преданных театралок, что стало редкостью в эти годы.

Сидел он дома, в ночной рубашке, за стаканом холодного чаю. Его мучила беспредметная грусть, он чистил гусариком трубку, засоренную махоркой. Только что он прогнал Мефодия, который, придя к нему с похмелья, просил денег и

жаловался, что в башке дым, как в чистый понедельник.

За стенкой, откашливаясь, пробовала голос Агния Львовна, около года назад седьмой раз вернувшаяся к Егору Павловичу в надежде на окончательное учреждение верности и счастья. Он с неприязнью слушал севшее от табака контральто и думал о далеком прошлом, когда называл глаза Агнии Львовны очами, ее щеки ланитами. Тогда ее красочность была натуральной, хотя немного олеографичной. Агния Львовна нравилась, ее охотно приглашали антрепренеры, пока неспособность ее к сцене не сделалась общеизвестной. Репутация скучной актрисы волочилась за ней из театра в театр.

В жизни Цветухина Агния Львовна была началом несущественным и, однако, сопутствовала ему, как нечто существенное, всю его молодость. После первого ее ухода он не хотел с ней считаться, и, однако, она делала так, что он всегда с ней считался. От этого он не только меньше и меньше ее любил, но больше и больше не любил, и, однако, не мог так сделать, чтобы она навсегда оставила его, потому что ее желание не оставлять его было настойчивее его нежелания с ней оставаться.

По натуре Агния Львовна принадлежала к тому застарелому роду жен, которые сравнительно спокойны, когда водят мужа, как мопса, на поводочке,— сравнительно, потому что крайне раздражаются, если мопс больше, чем надо, потянет, и немедленно начинают плакать, убиваться, пить валерьянку, если поводок лопнет.

Егор Павлович не отвечал таким требованиям питомничества. Искания, любовь к изобретательству делали из него человека мечтательного и не совсем удобного для покорного счастья. Может быть, его удержала бы цепь, а не поводок, который он то тянул, то дергал, то теребил, то рвал. Но, чтобы выковать цепь, чары Агнии Львовны были недостаточны. Она только штопала, надвязывала непрочно поводок, снова и снова накидывая его на непослушную шею.

Со временем метания Цветухина обратились отчасти в старые чудачества, отчасти в беспокойство характера. Скрипка забывалась, так как эластичность пальцев утрачивалась скорее, чем приобреталась беглость. Размышления о новых летательных конструкциях притуплялись, потому что настойчивость прогресса, с какой во время войны строились самолеты, перегнала цветухинскую дерзость. Чтобы не засыпать над своими безрезультатными вычислениями, он начал раскладывать по вечерам пасьянс.

Оставался театр.

Егор Павлович был привержен своему искусству искренне и пылко. На сцене ему больше всего хотелось придумывать, изобретать. Но и здесь время осаживало его порывы, полет превращался в бег, бег переходил на ровный шаг, да и шаг иногда приостанавливался в нерешительности.

Цветухин спорил с актерами часто уже по привычке, а не по страсти. Театральные кулисы наделили его навыками, с помощью которых препятствия одолевались гораздо легче, чем это могли сделать новшества. Исподволь он приживался к неподвижному складу рутины и все безразличнее грешил против своих настоящих склонностей. Немногих старших его друзей давно укатали горки, как поговорочную сивку. Они даже за грех не считали безучастие актеров к большим целям искусства.

— Ты нас не инструктируй,— говорили Цветухину старики,— а покажи, как у тебя получается. Мы за тобой пойдем, ежели нам по душе придется. Шли же, бывалоче, за Сарматовым али за Орленевым.

С первым раскатом революции Цветухин прянул к небу. Казалось, сама эпоха будет теперь творить за человека все то, что прежде было не по его робким силам. Он думал сразу увлечь за собой весь театр. Но его слушали нехотя. Слишком привыкли в этих стенах к его вызывающим речам. Он был просто старым оригиналом, его выдумки не хотели признавать за порождение революции. И в ответ он слышал знакомые погудки:

— Ты все про то, что должно быть. А искусство, братец, то, что есть. Разродись! Что там должно вытанцеваться из твоих помышлений — сие никому не ведомо. Актер, милый,— Фома неверующий. Не пощупал — не признал.

Надо было выходить на немощеную дорогу, а может, даже сворачивать на степную целину.

И вот Егор Павлович сидел с обидой на превратную актерскую судьбину, слушая ненавистное контральто и думая о его обладательнице, что все в ней неестественно, наигранно, натянуто! Она любила играть кошечку и все забиралась с ногами на кушетку, а у нее были сухопарые ноги, и коленки торчали пирамидами. Она подражала актрисам, которые умели на народный лад и по плечу хлопнуть приятеля, и подбочениться, и объятия распахнуть любому знакомцу, словно родному брату, и похристосоваться всласть. Но все это у нее выходило, как у трактирщицы, и поднимало в Егоре Павловиче протест.

Он собрался постучать в стенку, чтобы Агния Львовна прекратила упражнения голоса, когда явились девушки.

Облачившись и наспех прибрав комнату, он впустил их, и они скучились в дверях, не смея переступить порог в алтарь своего божества.

Удивительно, какое чисто физиологическое действие оказывает на человека поклонение. Увидев пылающие лица девушек, их разнокрасочные глаза, которыми они не решались мигнуть, Егор Павлович ощутил пение в каждом суставе. Будто хмель прокатился у него по жилам, играючи и подбивая развеселиться. Гибкий, выросший, моложавый, перед девушками стоял совсем не тот Цветухин, что, болтая ложкой в стакане морковного чая, воевал с желчью, поднятой Агнией Львовной.

Аночка, как зачинщица всего предприятия, заговорила совершенно в духе предводителей депутаций:

— Уважаемый Егор Павлович! Мы, ученицы выпускного класса школы номер...

Он улыбался подбадривающе и увлеченно, поняв намерения школьниц гораздо раньше, чем Аночка дошла до приглашения посмотреть и, если можно, поддержать ученический спектакль.

— «Недоросль»!— воскликнул он, броском поднимая голову, точно собираясь кивнуть давнишнему другу.— Ну, и кто же из вас Софья?

— Я,— ответила Аночка бесстрашно и покраснела.

— Ах, ты...— начал и не досказал Егор Павлович.

После революции он ни разу не видал Аночку, и она предстала перед ним сейчас еще более неожиданной, чем было во время войны, когда — за долголетним перерывом — он встретил ее уже девушкой, в гимназической форме, и все никак не мог поверить, что это та маленькая девчонка с белобрысыми косицами, которая давно-давно вертелась при артистических уборных и бегала за папиросами актерам.

Он тотчас согласился прийти в школу. У него родилось предчувствие перспективы, какую могли открыть занятия вот с этими восхищенными и непугаными девушками, вряд ли знавшими, куда они стремятся. Но, кроме того, его подстегнуло тут же возникшее острое любопытство к Аночке: в ней ярче, чем в подружках, горело это восхищение, и она смелее боролась со своим испугом.

Начав ходить в школу, он быстро уверился в безошибочности предчувствия. Для молодежи любое его мнение было непреложно. Он мог свободно толковать все роли «Недоросля»,

и артисты с доверчивой готовностью шли за ним, стараясь точнее поставить свои подошвы в намеченный учителем след.

Конечно, это было далеко от революции! Ее вольный ветер дышал только в новизне общения, в отсутствии сбруи, какая удерживала бывалых актеров в театральных упряжках. Здесь искренность не считалась наивностью. Девушки еще восклицали: «Как я плакала!» — не стесняясь простоты сердца и не зная, что в этом случае требования жаргона обязывают актрису сказать с усмешкой: «Я, милая моя, совершенно изревелась!»

Из «Недоросля» получился, конечно, вполне школьный спектакль, вплоть до традиционного анекдотического происшествия, когда госпожа Простакова, усердно бегая в конце четвертого акта по сцене, затушила юбкой лампу в суфлерской будке, и хлебнувший сажи суфлер во всеуслышанье зачихал.

Но Цветухин черпнул в этом спектакле свежий вкус к работе, увидел, откуда надо ждать удовлетворения.

Он решил собрать такую труппу, где главное место займут люди, еще далекие от сцены, и, прежде всего, молодежь, не боясь высокомерного осуждения в любительстве, помня, что открытия в искусстве первоначально были непременно любительством.

Самым сильным побудителем к новому делу стала Аночка. Цветухин не сомневался, что она должна прийти в театр. Со своими острыми локотками, худой шеей и будто излишней длиной рук, она казалась не вполне сложившейся девушкой. Но молодая эта несложенность странно одушевила образ Софьи, едва Аночка надела ее костюм. Она была чересчур жива, лицо ее чересчур резко меняло выражение — растерянное на хмурое, насмешливое на строгое. Но ее живость превратилась на сцене в волнение, насмешка стала участием к партнеру, растерянность — чистотой, хмурость — задумчивостью.

Егор Павлович не заметил, как из увлечения артистизмом Аночки его чувство перешло в обожание к самой носительнице дарованья. Пока готовился «Недоросль» и потом с великими хлопотами собиралась студия, Цветухин испытал перерождение, какое бывало ему и раньше знакомо, но на этот раз почудилось неслыханно новым, как весна чудится неслыханной, если вдруг двинется в расцвет. На виду у всех Цветухин сделался тенью Аночки, и только она сама, захваченная работой, понимала это меньше других.

Труппа Цветухина получалась пестрой. К невинной в делах искусства молодежи присоединились старые актеры. Сту-

дии посчастливилось заручиться поддержкой военного клуба, а это значило — заручиться хлебом. Актеры надели на плечи мешки, и Егор Павлович тоже носил неразлучную суму с красноармейскими пайками. Он утешал пшеном и воблой Агнию Львовну, подавленную тем, что, как она выражалась, даже в собственной труппе ей не хотят дать достойной роли.

Сам Егор Павлович готов был питаться воздухом, репетициями и ежедневными провожаниями Аночки. Когда он однажды надел холщовую русскую рубашку, вышитую красными цветочками, и Аночка воскликнула: «Ах, как к вам идет!» — ему представилось, что он так всю жизнь и проносит эту холстину, не снимая. Он помолодел и будто первый раз за все актерство репетировал свою роль Фердинанда, в прошлом доставившую ему много счастья.

Он выбрал для начальной работы «Коварство», как одно из самых в революцию популярных романтических представлений, где был заложен огонь, которому прежде побаивались давать выход. Но актеры не видели в пьесе ничего, кроме давным-давно игранных ролей, опять предназначенных для переигрывания, и не собирались особенно утруждать себя, а больше любопытствовали — что же получится из цветухинской любительщины с подростками?

Как только Аночка показала, что способна играть, так к ней приступили — кто с чем. Одни толковали о французской школе, другие о реализме, третьи о Станиславском, а то и просто о значении благозвучного псевдонима для актерского успеха.

— Нехорошо, детка, звучит — Пара-букина!— увещевал актер на амплуа стариков.— Вообрази, будут кричать с галерки: бу-у-кину!

— Имя человека украшается делом,— возражала Аночка, скрывая доктринерским тоном одной ей внятную обиду.

— Оно, конечно, украшается. Да, поди-ка укрась свое имя, ежели ты — Титькин. Надо поблагороднее: Пара... белла, пара... целла... Что-нибудь этакое. У нас такой был случай. Играет один любовник — дух захватывает! А в публике — гроб. Почему бы? Фамилия не понравилась. Веретёнкин! Едет в другой город. Играет — вроде тачку везет, самому тошно. А публика ревет. Почему бы? Фамилию переменил. Фамилия понравилась: Расковалов!

Мефодий, подслушавший разговор, счел долгом успокоить огорченную Аночку.

 — Что ты обращаешь внимание! Разве это актер? Заве-

дующий столовой, а не актер! Вечно что-нибудь делит с другими, как черт — яблоки.

— Не понимаю, Аночка!— что это Егор Павлович помешался на зубрежке ролей?— говорила Агния Львовна.— А что же делать суфлеру? Не помню сейчас, но я читала в каком-то французском романе — даже, кажется, у Бальзака. Такая молодая звезда, артистка Флорина, и к ней набились в уборную поклонники, и она их гонит вон, перед самым выходом, когда уж в коридорах звонок. И говорит: «Уходите отсюда все, дайте мне прочитать свою роль и постараться ее понять». Это после-то звонка, милочка! Постараться понять! Перед выходом! Вот — артистка! А ты зубришь, зубришь, который уж месяц! Играть-то ведь надо не точки и не запятые, а еще коечто. Вот есть ли у тебя это кое-что — посмотрим, душечка.

Все они, эти верные солдаты кулис, простоявшие целую жизнь в очередях ко вратам славы, щедро предлагали свой опыт бедной познаниями девушке, и если Аночка не потеряла голову от советов, то единственно потому, что выше всех ставила Егора Павловича и ему одному пробовала себя подчинить, если могла.

Он, может быть, и не в силах был словами ответить ей на ее вопросы — что же такое в искусстве перевоплощение и как играть Луизу Миллер, если ты — Аночка Парабукина, но он был художником, и опыт заменял ему слова. Он предлагал Аночке найденные им решения, и время должно было показать — способна ли она эти решения понять и хочет ли их сделать своими.

Наконец, уже к исходу октября, спектакль был готов.

34

Спектакль был готов.

Его играли в полковых казармах, рядом с университетом. Большой зал, еще ни разу не протопленный, из конца в конец заняли нового призыва мобилизованные, в шинелях, полушубках, иные — караульной роты — даже с винтовками в руках. Но собралось много и невоенной публики, не испугавшейся полгорода пройти пешком во тьме и холоде ради события, которому имя Цветухина придало заманчивость. И — само собой — лучшие ряды стульев попали во власть к родным и знакомым актеров-новичков.

Парабукин, никогда в прошлом не сидевший так близко к занавесу, держался с мучительной солидностью. Выпил он

до прихода только чуть-чуть, для смелости, старательно это скрывал, но раньше всех в переполненном зале почувствовал скопление тепла и начал прессовать лоб сложенным в тетрадочку платком.

Дорогомилов всю осень прихварывал, однако не мог отказать мальчикам в своем присутствии. Они тянулись на стульях, то примериваясь — все ли будет видно через рампу, то вертя своими стрижеными головами. Глаза их заранее горели энтузиазмом и ярко отвечали лампочкам: клубу на этот вечер было дано электричество.

Лиза и Анатолий Михайлович устроились в боковом ряду так, чтобы наблюдать за Витей и не быть на виду у Веры Никандровны. Лизе хотелось быть незаметной, обстановка волновала ее — непохожая на театр, но сразу всколыхнувшая о нем множество воспоминаний.

Вера Никандровна приберегла место для Кирилла, и он пришел в самый последний момент, когда погас свет и разговоры зрителей быстро притихли.

В эту минуту Аночка еще глядела со сцены в зал, капельку раздвинув занавес. Егор Павлович сказал ей, чтобы она выбрала в публике какое-нибудь лицо, которое ей понравится, и потом играла бы для этого лица:

— Я всегда для кого-нибудь играл и думал, что мой избранник будет меня судить, вынесет моей игре приговор.

Она перебрала десятки лиц, не решаясь, на ком остановиться. Это была щелка в мир. Щелка в будущее Аночки, которому сейчас она должна была выйти навстречу. У нее замирало сердце.

И вдруг она увидела пробирающегося между рядов Кирилла. В тот же миг зал исчез во мраке. Ей сделалось страшно до головокружения, у ней подогнулись коленки, и тут она услышала, как подошел Фердинанд и выговорил над ее ухом:

— Довольно, Луиза, начинаем.

Действие «Коварства и любви» с первого акта увлекает за собой весь зал, тем более властно, чем непосредственнее зритель. На сцене сразу раскрывается всем понятное положение и возникает завязка, которая будит любопытство уже назревшим противоречием страстей.

Тем, что актеры облачатся в камзолы, наденут парики и туфли с золочеными пряжками, они не будут отчуждены от зрителя. Необычный облик героев лишь увеличивает занимательность происходящего на сцене. Смысл зрелища лежит за пределами масок.

 Какому сердцу не доступны первый пыл юноши или боязнь

девушки за свое неискушенное чувство, и невозможность это чувство сдержать, и желание дать ему волю? Кому не знаком рассерженный отец, обвиняющий мать в потворстве опасному влечению дочери? Кто в жизни не встречал маленьких или больших вельмож, ради корысти разрушающих чужое счастье?

За стенами полковых казарм, в городе и за его чертой, в бесконечной стране велась борьба с произволом за тех, кто веками страдал от него и теперь призывал к своему освобождению. Красноармейцы, заполнившие клуб, в крошечных происшествиях мещанской трагедии явственно слышали отзвук живых своих чувств. Там, на подмостках, господствовал произвол. Здесь, в зале, произвол вызывал возмущенье. В зале горела жажда справедливости. На подмостках справедливость преследовалась, и к ней рвалось через рампу неудержимое участие и сострадание зрителя.

Нет, Луиза не напрасно терзалась своими муками. Она была не одинока в своем презрении к насилию, в своей гордости перед лицом властелинов, не одинока даже в бессилии и слезах. Солдат революции, искавший правду жизни повсюду, становясь зрителем, требовал правды и от театра. Он находил частицу этой правды в беззащитной девушке, и чем возвышеннее казались ему страдания Луизы, тем искреннее готов он был протянуть ей руку защиты.

В зале все притаилось, точно в поле ночным безлунным часом. Удивление было самым сильным чувством из всех, которые владели зрителем, удивление — что подкрашенные фигурки в цветных камзолах, в треуголках и чепцах жили, как настоящие люди.

Потоки, реки, океаны слов, изливавшиеся со сцены, не похожие ни на одно из тех обыкновенных слов, которыми объясняется простой человек, в журчании своем магически несли доступную всем мысль.

Ни ходульность, ни кудрявость восклицаний Фердинанда не могли помешать доверию, возникшему в публике к Цветухину, когда он — порывистый, горячий и легкий — юношески щедро нагромождал перед Луизой свои клятвы в любви.

Каждый солдат, закутанный в суконную шинель, кашляя в рукав, чтобы не помешать соседу, сам боялся упустить хотя бы звук приподнятого маслянистого голоса Цветухина. Каждый переводил на свой язык колдовскую декламацию Фердинанда и, может быть, думал однажды сказать кому-нибудь, как Фердинанд: «Пусть даже встанут горами между нами препятствия — они послужат мне лестницей, и я устремлюсь

но ним в объятия Луизы! Бури враждебной судьбы раздуют мои чувства: опасности лишь придадут больше прелести моей Луизе!» И каждый, может быть, думал однажды услышать от кого-нибудь в ответ, как от Луизы, страшно громкий шепот ужаса и страсти: «Довольно! Умоляю тебя, молчи! Если бы ты знал!..»

Эта Луиза, с такой трудно запоминаемой фамилией, проставленной чернильной мазилкой на афише,— Парабукина,— влекла к себе девичьей искренностью, простотой, смятением неопытной души, которое должна была передать своей ролью. Наверное, так только казалось. Наверное, она трепетала, что не справится с задачей, столь дерзко на себя взятой. Но страх ее перед зрителями необъяснимым образом поглощался другим страхом — страхом девушки-мещанки перед своей нечаянной и обреченной любовью.

Лиза следила за игрой Аночки с недоумением, завистью, почти не веря, что на сцене та самая девочка, которая неприметной травинкой росла где-то поодаль, когда Лиза уже наслаждалась театром, наедине с собой грезя о нем, как о высшем мыслимом на земле уделе. Да, да, травинка вытянулась и окрепла. Это — не девочка, это — женщина накануне предназначенного ей цветения. Откуда у Аночки эти скользящие жесты? Кто научил ее так свободно носить старомодное длинное платье? Не мог же это сделать Цветухин! Она играет с Цветухиным. С самим Цветухиным! Аночка, которая в детстве с боязнью звала его «черным»! Как сыграла бы с Цветухиным Лиза? Актрисой она, наверно, была бы очень хороша — с достоинством ее поступи, с очарованием лица. Но актрисой сделалась не совсем складная и — право же!— не очень красивая Аночка. А Лиза так, наверно, и умрет обыкновенной женщиной провинции, в грустной незаметности. Не к лучшему ли это? Может быть, судьба спасла Лизу от унижения? В жизни она оставалась привлекательной, на сцене могла бы стать жалкой — как знать? Не лучше ли решила судьба, милостиво предоставив Лизе любить сцену тайно, как любят ее множество женщин?

Лиза оторвалась на секунду от сцены и разыскала глазами Кирилла.

Он сидел прямой, немного подавшись вперед. В отраженном кирпичном свете рампы лицо его было как будто бледнее обычного и остро вычерчивалось на какой-то тени. Нельзя было издали в точности распознать выражение этого лица, но было видно, что Кирилл глядит на Луизу.

 Удивление, вызванное зрелищем у публики, казалось, за-

хватило и его. Но он удивлялся не зрелищу, а только одной Аночке. Впрочем, он удивлялся одинаково и себе: как мог он прежде не оценить, не видеть самой сильной, самой поражающей стороны ее существа — ее таланта! Она была несравненно богаче, несравненно шире, чем он ее себе представлял. Она была выше всего, что приходило ему на ум, едва он начинал о ней думать.

Улыбка нежности медленно, непривычно легла на его губы и застыла. Слишком чистосердечны, слишком невинны были все эти театральные страдания, чтобы не размягчить и непреклонную душу.

Когда Луиза, вскочив с колен и вырываясь из рук отца, бросилась за уходящим Фердинандом и простонала: «Останься! Останься! Куда ты? Батюшка! Матушка! В эту страшную минуту он нас покидает»,— Кирилл еще больше подался вперед и закашлял, чтобы приглушить какой-то странный звук, вылетевший с перехваченным дыханием. Он вспомнил свой смех около окна, где поздно вечером расслышал этот мучительный стон, который сперва перепугал, а потом развеселил его: «Останься! Останься!» Но сейчас ему не было смешно. Волнение соединяло его с Аночкой больше, чем в тот вечер, когда он обнял ее в первый раз. Ему хотелось скрыть это волнение, и он все больше подавался вперед — на самый край стула. Но тем удобнее было смотреть за его лицом Вере Никандровне, отклонившейся назад и не устававшей переводить взор с Аночки на сына: все, что еще могло быть для нее вопросом, само собой разъяснялось до конца в эту минуту.

Второй акт закончился отлично, и артистов стали вызывать. Взявшись за руки, они цепочкой потянулись перед рампой, и счастливое их возбуждение словно колыхало занавес, который переливался у них за плечами, как волны.

Аночка, раскланиваясь, опустила глаза, чтобы взглянуть на Кирилла. И вдруг сияющая ее улыбка исчезла. Она увидела красноармейца, наклонившегося к Извекову и что-то шепчущего ему на ухо. В ту же секунду Кирилл поднялся и быстро пошел через зал за красноармейцем.

Зрители продолжали шуметь и все разгоряченнее выкрикивать имена актеров. К Аночке прорвался высокий молодеческий голос: Пара-бу-у-кину-у! Право же, это звучало внушительно и даже музыкально, несмотря на «бу-укину-у!», на эти долгие, пожалуй, озорные «у-у». Но внезапная печаль мешала ей насладиться шумным прологом успеха: Кирилл не поднял на нее глаз и, наверно, совсем исчез теперь из клуба — есть ведь более важные дела, чем любительские спектакли!

Актеры в четвертый раз взялись за руки, и герой, во главе всего хоровода, уже потянул за собой героиню, когда за кулисами появился красноармеец, который только что увел Кирилла из зала.

— Товарищ Цветухин, погодите!

Несколько сказанных им слов заставили Цветухина бросить хоровод, и через мгновенье на сцене все переменилось.

Плотники бросили оттаскивать в стороны декорации, выжидательно перекладывая в руках молотки и гвоздодеры. Вылез, отряхиваясь, взъерошенный суфлер, сошел с поста пожарный, показались статисты в форме полицейских какого-то лютого государства. Актеры обиженно переглядывались: в зале еще не улеглись аплодисменты.

— Не расходитесь, товарищи, не расходитесь!— кричал помощник режиссера, тряся над головой истрепанным Шиллером.

— Весь состав!— приказывал Цветухин.

— Зал потушить?— через всю сцену спрашивал электротехник.

— Подковой, товарищи, подковой,— суетился помощник.

— Да что случилось-то? Фотограф, что ли?

— Позовите гримера! Марь Иванну позовите!

— Исполнители, вперед! Ближе, ближе! Луиза, в середину! Президент! Гофмаршал! Плотнее!

— Что же, петь будем?

— Товарищи плотники! Становитесь в ряд! Куда же вы?

— Правый софит! Софит потух!

— Митинг? По какому поводу?

— Длинный звонок в зал! Есть кто на звонках?

— Готово, Егор Павлыч. Все в сборе.

Цветухин осмотрел труппу, стал в самый центр подковы и кивнул помощнику.

— Давай!— закричал тот, вскинув над головой и опустив затрепыхавшего листочками Шиллера.

Занавес торжественно пошел.

Публика начала усаживаться, переговариваясь и опять зааплодировав. Никто не знал, что, собственно, должно последовать, и многие приняли неожиданный парад за благодарность коллектива на вызовы — все ведь было по-новому: и публика не знала традиций, и театр не собирался традициям следовать.

Но вдруг, пересекая частым шагом сцену, на середину ее — к суфлерской будке — вышел Извеков и быстро поднял руку. Все затихло.

— Товарищи,— произнес он голосом совершенно несхожим с актерскими — громко нерасчетливым, вскрикивающим, а не плавным голосом. И это было так ново, что все театральное сразу будто отзвучало, отодвинулось вдаль, и на смену пришло что-то совсем иное.

— Только что получено по телеграфу известие о нашей огромной победе на Южном фронте.

Зал словно зароптал, потом сам себя остановил и замер.

— Под Воронежем красной конницей товарища Буденного наголову разбиты два кавалерийских корпуса белых — Мамонтова и Шкуро! Воронеж...

Ему не дали говорить дальше. Не исподволь, а сразу гулким обвалом под откос рухнул на сцену шум. Крики будто хотели заглушить хлопанье ладош, топот подавлял стуки ружейных прикладов об пол. Сначала дальние ряды, потом все ближе и ближе красноармейцы начали вскакивать с мест, кучно высыпать в проходы между стульев и надвигаться к сцене.

Кирилл опять поднял руку и шагнул навстречу к толпе. Она неохотно стихала.

— Воронеж освобожден! В руки наших войск попала масса трофеев! Белые бегут!

Снова его перебили молодыми криками «ура» и треском аплодисментов. Глянув вниз, он с одного взора схватил и запечатлел в себе множество бесконечно разнородных лиц, соединенных как бы в одно пылающее лицо.

— Подробностей мы ждем с часу на час. В телеграмме сказано, что преследование продолжается. Мы бьем казаков Мамонтова, бьем добровольцев Шкуро. Это, товарищи, начало их конца. Деникин будет разбит. Деникинщина будет погребена навеки. Красная Армия выкопает ей бездонную могилу. Да здравствует славная советская конница рабочих и крестьян!

Это было уже призывом к ликованию, и ликование всколыхнуло старые стены казарм — дом начал вторить шуму, умножая его перекаты.

Поднялись со своих мест и передние ряды — вся невоенная публика. Забрались на стулья мальчики — Павлик, за ним Ваня и Витя. Арсений Романович бил в ладоши, высоко подняв над головой руки, и сивые его космы тряслись в такт ударам. Парабукин почему-то махал своим аккуратно сложенным платочком. Лиза аплодировала, глядя на сына, и все ждала, когда он обернется, чтобы показать ему, что надо слезть со стула. Даже Ознобишин чинно похлопывал пальцами в свою маленькую ладонь.

На сцене актеры близко подступили к Извекову, сломав

весь строй подковы. Они дружно поддерживали овацию и не давали Кириллу уйти за кулисы. Его гимнастерка хаки казалась вызывающей среди цветных нарядов под восемнадцатый век — атласных лент гофмаршала, кружев и газа леди Мильфорд из рода герцога Норфолька, бархата и шелка президента. Извеков один был темноволос в окружении напудренных париков. И ему было так неловко своей естественности, будто это он один нацепил на себя мишуру, а маски рядом с ним были натуральны, как обыкновенные люди. От этой неловкости он спрятал руки в карманы, но тотчас выдернул назад и, сам не зная — зачем, быстро протянул руку Цветухину, пожал его крепкую кисть, и потом, еще быстрее, схватил и тряхнул руку счастливо смеющейся Аночки.

Ему показалось, что в этот момент аплодисменты накатились на сцену шумнее, и он подумал, что своим нежданным рукопожатием переключил внимание зала с известия о победе на актеров и что это недопустимая ошибка. Он решительно двинулся со сцены.

Аночка догнала его за кулисами. Такая же смеющаяся, она громко спросила, торопясь за ним поспеть:

— Вы теперь, наверно, не останетесь на спектакле, после такого известия!

Он остановился и первый раз вблизи увидел ее сверкающую пудрой шею и приоткрытую грудь, и словно лаковый рот, и темно-синюю краску глаз, которая будто растеклась и подсинила широкие веки. Но за всем этим на него с поразительной ясностью смотрела Аночка, какою она была всегда в его неустанном представлении о ней, Аночка, которую никакой грим не мог ни ухудшить, ни улучшить и которая с трепетом ждала — что он скажет.

— Нет, я останусь до конца. Я только буду ходить к телефону. Тут, через две комнаты.

Он подождал. Ему было жалко оторваться от того, что он разглядел за ее гримом, как за стеклом, которое припорошено пылью.

— Вы очень хороши,— сказал он.

Она немного отодвинулась от него.

— Посадите кого-нибудь на телефон,— сказала она.

— Я должен сам.

— Тогда посадите кого-нибудь вместо себя в зале, чтобы вам доложили, как я провалюсь.

— Я буду уходить только в антракты,— улыбнулся он.

В лице ее не было ни тени каприза или кокетства — она просто не верила в серьезность его обещания. На них глядели

издали актеры, и плотник прогудел сердито: па-ста-ранись! Кирилл ободряюще качнул головой и ушел.

Цветухин сейчас же, на ходу, спросил у Аночки:

— Что он сказал, а?

— Ему нравится,— ответила она также мимоходом и безразлично.

Во время действия она не могла видеть Кирилла (она вообще боялась глядеть в зал), а в антракты его место пустовало. Она так и не знала, сдержал ли он слово.

Спектакль, раз выбравшись на гладкую дорогу, катился к концу без всяких злоключений. Наоборот, успех все время рос и рос. Может быть, повышенное настроение, созданное вестью о победе, сказалось на зрителях — они стали еще добродушнее, чем вначале, и не щадили ладоней, но актеры относили расположение зала целиком на счет своих талантов и делали свое дело уверенно и стройно.

Вызовы с окончанием последнего акта были бурны и щедры. Все толпились у сцены. Труппа аплодировала Цветухину, он аплодировал труппе, брал Аночку за руку и выводил вперед. Нельзя было счесть поклонов, отвешенных публике.

Парабукин стоял гордый, ждал поздравлений. Арсений Романович первый с горячностью пожал ему руку.

— Видите ли, какого типа, а? Надежда! Надежда, открытая на своей родине. Так сказать, самобытность, а? И ведь все Цветухин! Великий пример!

Тихон Платонович, вытираясь давно развернутым и насквозь мокрым платком, кивал и покашливал многозначительно. Поймав за руку сына и подтягивая его к себе из толпы, он нагнулся к нему:

— Теперь, Павел, мы с тобой Ротшильды! Егор Павлыч сестру-то твою озолотит!

Лиза медленным взглядом встречала и провожала выходившую к рампе Аночку. И в эти минуты Лиза как будто не помнила ни об Ознобишине, который терпеливо ее дожидался, ни даже о Вите. По-прежнему спрашивала она себя — откуда же эта девочка взяла силы отважиться на такой бой и выиграть его?— и по-прежнему не находила ответа. И тут она заметила почти рядом с собой Кирилла.

Он, приподнявшись, глядел через плечо Веры Никандровны на сцену. Губы его вздрагивали, ему, видно, хотелось остаться строгим судьей, а переживание увлекало его, и радость сквозила в этой явной борьбе. Он будто почувствовал, что на него смотрят, беспокойно обернулся, увидел Лизу и смутился. Протиснувшись к ней, он поздоровался.

— Я вижу, вы тоже восхищены Аночкой? — спросила она.

— По-моему, у нас новый готовый театр. Я не думал, что Цветухину так все удастся. Смотрите, как приняли красноармейцы.

— Но Аночка-то! Правда?— настаивала Лиза.

— Да, Аночка,— опять уклончиво сказал он.— Для такой благодарной аудитории легко играть.

— А мне кажется, не легко. Надо, чтобы все было понятно.

— Никакой особой понятности не нужно. Народ достаточно развитой,— сказал он и приостановился, словно задержавшись на какой-то мысли, и вдруг добавил:— Но вы правы в том смысле, что непонятное делать гораздо легче.

Было все еще шумно, и они говорили громко, стоя так близко, что плечи их касались.

— Я рада, что вас встретила.

— Я тоже.

— Я не решалась прийти к вам, сказать — спасибо.

— Это за что же?

— За отца. Уже две недели, как он дома.

— Он... Ах, да! Понимаю. Только я здесь ни при чем.

— Неправда.

Он засмеялся.

— Зачем мне приписывать чужие благодеяния? Это — хлопоты Рагозина. Он ведь знал вашего отца.

— Но это же неправда! До меня дошел этот слух, будто помог Рагозин. Мой муж ходил к нему — поблагодарить. Но Рагозин сказал, что знать не хочет об этом деле, и прогнал мужа.

— Он дядя серьезный,— опять засмеялся Кирилл,— и тоже не из благодетелей. Да и вообще отец ваш вряд ли кому особенно обязан. Чем должен был — он, видно, поплатился.

Лиза, насколько могла, отстранила свое плечо от Кирилла и молча глядела ему в глаза.

— Вы, как всегда, исполнили дочерний долг и должны быть довольны. Чего же больше?

— Это — что? Злопамятство?— с горечью сказала Лиза.

— Это — истина,— ответил он сухо и огляделся по сторонам.— Артисты больше не выходят. Надо расходиться.

Он торопливо попрощался.

Стало действительно тише в зале, но еще многие хлопали, и Цветухин последний раз вывел за руку Аночку.

У нее был такой вид, будто она не могла отрезветь от неожиданного успеха — улыбка ее совсем затвердела и поклоны

потеряли гибкость. Она все тревожнее искала взглядом Кирилла и все разочарованнее уходила за кулисы.

Наконец она прибежала в свою крошечную уборную — уголок, отгороженный картоном, почти упала на стул и закрыла глаза. Все вышло так, как ей мечталось в сокровенные минуты наедине с собой: она сыграла главную роль, она одержала победу! И вот она не ощущала ничего, кроме полной потери сил и тупой печали. Ей хотелось заплакать от изнеможения.

Она только успела глубоко вздохнуть, как дверь задребезжала от ударов и тотчас наотмашь раскрылась.

Влетел Цветухин. Он сорвал с себя парик и, схватив его за косицу, вертел над головой, точно трофей. В одном шаге от Аночки распахнул руки:

— Роднуша моя! Дай я тебя поцелую!

С нее точно свалилась усталость. Она вскочила, откинув стул, и бросилась ему на шею. Он обнял ее и поцеловал в губы. Оторвавшись, он сказал:

— И еще раз, чудесная моя актриса! Еще!

Она сама поцеловала его. Он опять нащупал губами ее рот. Она хотела откинуться. Он зажал ее голову в крепко согнутой руке. Она все-таки вырвалась. Он проговорил поспешно и очень тихо:

— Еще. Ну, скорее... Ты!

Аночка разглядела его новые, чем-то страшные, темные глаза.

Она нагнулась, подняла стул, села за свой столик спиной к Цветухину. Через зеркало она видела, как он потирал лоб, резко разделенный на две полосы — верхнюю смуглую, с седовато-черной шевелюрой над ней, и нижнюю, оранжевую от грима, под которой грубее проступали морщины.

— Егор Павлович, уйдите, пожалуйста. Я должна переодеваться.

Цветухин постоял еще мгновенье. Вдруг он махнул париком, точно собрался его бросить, повернулся и ушел, затворив за собой осторожно дверь.

Аночка сидела неподвижно. Опять вернулось к ней изнеможение, и руки не поднимались, чтобы отколоть шпильки и снять чепец. Начало небывалой, опасной жизни чудилось ей на этой грани между шумом зрительного зала и странным одиночеством среди притихших закоулков уборных.

Внезапно донесся низкий женский голос. Аночка узнала его и принялась раздеваться.

— Ну, где же ты, милочка, прячешься?— распевало конт-

ральто Агнии Львовны.— К тебе пришли с поздравлениями, а ты убежала!

Она ворвалась в уборную, обхватила сидящую Аночку со спины и звонко облобызала в ухо, в шею, в щеку.

— Ну, я должна признать, должна признать!— восклицала она между поцелуями.— Просто очень, очень мило, и с природным темпераментом! Я не думала, честное слово! Конечно, у тебя, душечка, нет еще внутренней страсти. Но нельзя же и требовать с такого цыпленка! Право, душечка, не сердись. И потом — конечно — еще никакой школы! Я сыграла Луизу только на четвертый год. И какой фурор! Незабвенно! А ты хочешь сразу! Разумеется, будет поверхностно! Но ничего, ничего, не убивайся и не вздумай, пожалуйста, реветь. Главное — очень мило и дошло до публики. Школа — дело наживное. А что касается страсти...

Агния Львовна горячо прижалась щекой к Аночкиному уху:

— Не вздумай, дружок мой, в этом отношении поддаться Егору Павловичу.

— Откуда вы взяли?!— отшатнулась Аночка.

— Ах, деточка, что же я, не знаю, что ли, его? Он сейчас же полезет целоваться! И потом начнет тебе плакаться на свою судьбу. На то, что я его терроризую и что только ты можешь положить конец моему своевластию над его погибшей жизнью! Ничему не верь! Все это притворство и чушь! Просто он старый ловелас! И больше ничего! И если бы не мои вожжи, он никогда не стал бы Цветухиным. Так бы и путался с девчонками. А я из него сделала гения!

Аночка старалась возразить и даже поднялась, высвобождаясь из этого бушевания закруживших ее фраз, но Агния Львовна туго зажала ей рот ладонью и, вплотную надвинувшись, прошептала с расстановкой, как заклинательница змей:

— Запомни! Я тебя сживу со света, если ты раскиснешь от посулов моего Егора.

В тот же миг Агния Львовна рассмеялась и снова звучно пропела:

— Рано, рано, милочка зазнаваться! К тебе пришла толпа! Как волхвы на поклонение под предводительством, кажется, твоего папаши. А ты не хочешь показаться! Вон, смотри-ка. Принимай. А я — к Егору Павловичу.

Толпы никакой не было, но Тихон Платонович с Павликом действительно заглядывали к Аночке из коридора. Таинственным образом Парабукин успел немного подкрепиться. Вероят-

но, он захватил в кармане посудинку, на случай сильного волнения, за которым и правда дело не стало.

— Аночка! Дочь моя родная!— одышливо дунул он, войдя.— Смотрел и не верил глазам! Ты ли это? Пустил слезу! Каюсь! Прошибла! Кого прошибла? Батю Парабукина! Голпафа! Возвращаешь отца к благородной жизни. Поклон тебе родительский и спасибо!

Он поклонился и обнял Аночку.

— Готов за тобой остаток дней своих ездить из одного театра в другой театр. Куда ты, туда я. Занавес тебе буду открывать! Платьица твои, коли пожелаешь, буду разглаживать. А уж Павлик теперь на твоем попечении. Как хочешь! Расти его заместо матери. Маленько не дождалась, покойница, нашего счастья! Вот бы поплакала!

— Хорошо, папа, иди, иди. Подожди меня, пока не выйду.

Тихон Платонович загадочно погрозил пальцем.

— Подождать не могу. Подождать желает другой человек. У двери, через которую сюда ход...

Он тихонько качнулся к Аночке:

— Товарищ Извеков! Сам.

— Где?— чуть не вскрикнула она.

— Пойдем, я покажу!— с восторгом отозвался Павлик.

Но она выбежала, не глядя на них, и, пролетев коридорами, остановилась перед выходом в зал. Тут никого не было. Она тихо отворила дверь.

По самому краю ступеней, отделенных от зала куском кумача, отмеривал, как в клетке,— по три шага взад и вперед — Кирилл.

— Вы еще не готовы?— обрадованно спросил он.

— Где вы были?— сказала она, с трудом переводя дыхание.

— Я никуда не уходил.

— Я не видала вас.

— Но я видел вас. По-моему, так и должно быть. Скорее снимайте грим, я хочу вас проводить домой.

— Если вы торопитесь, я не буду задерживать.

— Я хочу, чтобы у нас было больше времени.

Она как будто не слышала его, и вдруг с детским отчаянием у нее начали вырываться, сквозь слезы, укоризненные и жалкие слова:

— Ступайте, ступайте! Если вам так некогда... Я и не думала, чтобы вы дождались, чтобы бросили дела! Идите по своим делам! Ну, что же вы?

Он сжал ее руки.

— Дорогая, дорогая,— повторил он с беспомощной улыбкой.— Такой большой день. Правда же!

К ней словно вернулось сознание. Никогда еще так не дрожал переволнованный его голос.

— Ведь это только от счастья, да? Правда? Не надо! Не надо же, Аночка!

Слезы еще стояли у ней в глазах, но всю ее пронизало новое ликующее чувство. Она перехватила и тоже сжала руки Кирилла.

— Сейчас! Погоди!— быстрым шепотом сказала она и бросилась назад, с силой толкнув дверь.

Она вбежала к себе в уборную, на ходу сдергивая парик вместе с чепцом.

— Идите домой одни, меня проводят!— говорила она, выпроваживая отца с Павликом и в то же время задерживая их короткими приказаньями брату:

— Передник! Развяжи передник. Расстегивай крючки. Да сначала верхний! Ну, скорей! Да ты не бойся. Просто нажимай с обеих сторон, они сами расстегнутся. Господи, что за растяпа! Ну довольно, я сама! Уходи, ступай...

Она стащила через голову платье Луизы и, намазав лицо вазелином, привычно нырнула в платье Аночки. Стирая полотенцем грим, она по-ребячьи трясла ногами, чтобы сбросить туфли. Больше всего времени отняла шнуровка ботинок — впервые эта глупая мода (матерчатый ботинок до колен, снизу доверху на шнурках, которые продеваются в кольчики!) возмутила ее прямо-таки до глубины души. Но в конце концов было покончено и с этой пыткой. Она накинула пальтишко, подхватила, как мячик в воздухе, с гвоздя берет и выскочила вон. На счастье, ей никто не попался по дороге.

Публика уже разошлась, и улицы пустовали, когда Кирилл вывел Аночку во тьму осенней ночи. Они обошли огромный корпус казарм и за углом различили отсвечивавший кузов автомобиля.

— Машина? — воскликнула она с неудержимым разочарованием.— Минута — и опять прости-прощай?

Он потянул ее за руку.

— Не торопясь, к старому собору,— сказал он шоферу.

Это означало — через весь город.

Дул ветер, но в автомобиле было не холодно. Стекло, отделявшее передние места, зеркально повторило все их движения, пока они усаживались, и потом Аночка увидела голову Кирилла совсем близко от своей. Оба они чуть покачивались

 в стекле, и Аночка не могла оторваться от этого смутного,

баюкающего отражения. Сквозь щели в дверцах тянуло ровной ниткой колючего воздуха, что-то тоненько на одной нотке звенело под сиденьем, и сонно урчал мотор.

И вот, после тоски, страха, мученья, надежды, которыми был переполнен весь день; после триумфа, пустоты, оскорбления, обиды, слез и вспышки радости, которыми кончился вечер, Аночка почувствовала странное спокойствие. Будто вслед за глубоким обмороком кто-то уложил ее с необычайной заботой и накрыл и сказал тихое слово. Она даже не изумилась этой странности, настолько ей стало спокойно. Ей все казалось само собой разумеющимся, точно она уже в сотый раз ехала так вот рядом с Кириллом, и всем телом, от плеча до колена, в сотый раз касалась его тела, и это было естественно, и ей не хотелось больше никакого другого состояния, а только бы так ехать, ехать без конца.

Никто не встречался по пути, ничего не видно было за окнами, шофер не подал ни одного сигнала. В самое лицо лилась нескончаемая свежая нитка ветра, и было похоже, что это она звенит на тоненькой ноте.

В центре города, когда выехали на асфальт и машина покатилась как утюг по гладильной доске, Аночка тихо заговорила:

— Сегодня я вспоминала, как мы, гимназистками, бегали в театр, на балкон. У нас была одна любимая актриса. Вас тогда не было здесь.

— «Вас»? — словно в шутку обронил он.

Она подумала немного. Взяв руку Кирилла и слегка надавив ею на его колено, она просто пересказала:

— Тебя тогда не было... Ты ее не знаешь... Мы, когда она нас захватывала своей Катериной или Прибытковой, мы все, все хотели стать такой, как она. А теперь я хочу, чтобы все, все были такой, как я. Чтобы всем было, как мне сейчас.

Он ничего не ответил, а только обернулся к ней и стал на нее смотреть. Машина катилась и катилась, почти без толчков. Потом асфальт кончился, и отраженья в стекле опять закачались.

— Тебе понравился Цветухин? — спросила она.

— Да. Он гораздо лучше, чем я ожидал. Я его невзлюбил после одного спектакля... еще перед моей ссылкой.

Она долго молчала.

— Я, может быть, скоро уйду из его труппы.

Теперь молчал Кирилл, не понимая, что она думает сказать, и все рассматривая ее лицо. Она не глядела на него.

— Он хочет обучать меня не только искусству,— сказала Аночка и совсем отвернулась от Кирилла.

— Я предполагал это,— быстро отозвался он и, помедлив, утверждающе спросил: — Но ведь это ему не удастся?

Она вздернула плечами.

— Куда дальше? Направо, налево? — крикнул из-за стекла шофер.

— Стойте!

Кирилл отворил дверцу. Островерхая колокольня собора черцела в буром небе. Ветер с Волги шел широкой стеной.

— Выйдем.

Они очутились на площади. Влажный и щекочущий запах обдал их потоком, в котором слилось все: береговая тина, прелые канаты, смола, машинное масло, сладкая гниль плавуна.

— Ах, хорошо! — воскликнул Кирилл и сильно взял Аночку под руку.

Они стали медленно спускаться по взвозу. Выплыли издали два-три глазка бакенов. Какое-то суденышко одиноко трудилось, что-то вытягивая против воды, и огни его то вспыхивали, то словно застилались слезой.

Они не дошли до самого берега и остановились на откосе, едва перед ними размахнулся темный, кое-где отдающий свинцом простор воды. Слышался сбивчивый плеск прибоя, и удары ветра заставляли скрипеть рассохшиеся на суше барки.

И все же Аночке было спокойно, и она только прильнула к Кириллу, когда он ее обнял.

— Я смотрю в эту темень,— сказал он, и вижу неисчислимые огни и множество людей, и слышу говор, говор, который не смолкает. А ты?

— Почему, если мы говорим о хорошем, то всегда думаем о том, что когда-нибудь будет?

— Чтобы идти к лучшему.

— Но бывает же лучшее вот сейчас? Я гляжу в эту темень, и она мне — лучше. И сейчас я не хочу никакого другого лучшего.

— Я тоже,— сказал он, крепче сжимая ее.

— И, по-моему, такой ночи я никогда не видела.

— И я.

— И такого ветра еще не было.

— Да.

— И смотри — все-таки тихо.

— Правда. Жалко уходить.

 — Уже?

— Жалко, немыслимо жалко! И — надо.

— И когда же конец?

— Конец?

— Конец этому бесконечному «надо».

— Конец? Послушай меня. И ответь мне. Мне сейчас нужен твой ответ. Согласна?

— Хорошо.

— Вот. Никакой полет в небо невозможен без земли. Чтобы взлететь, нужно твердое основание. Мы сейчас отвоевываем себе это основание. Именно сейчас. Строим аэродром будущего. Это работа долгая и тяжелая. Скорее всего — самая тяжелая, какая только может быть. О перчатках приходится забыть. Мы, если надо, землю руками разгребаем, ногтями ее рыхлим, босыми подошвами утаптываем. И не отступимся, пока не будет готов наш аэродром. Отдыхать у нас нет ни минуты. Иной раз и улыбнуться некогда. Надо спешить. Может, от этой работы мы и стали такими суровыми. Иногда ведь сам себе покажешься бирюком, каким детишек пугают. Настолько вдруг неуживчивым станешь. Я вполне серьезно! Но перемениться мне невозможно. Я буду укатывать землю, пока она не станет годна для разбега. Чтобы оторваться потом в такую высь, какой люди никогда не знали. Я ее вижу, все время вижу, эту высь, веришь мне? Скапываю бугры, засыпаю ямы, а сам смотрю вверх! И людей, и себя с ними вижу совсем другими, новыми, легкими. И ничего во мне нет от бирюка, веришь?

Пока он говорил, Аночка все отстранялась от него, чтобы лучше различить его в темноте, и когда он кончил — улыбнулась, потому что уж очень он серьезно сказал о бирюке.

— На что же я должна ответить? На бирюка?

— Ты спросила, когда конец. Не знаю. Не скоро. Но он может быть и очень скоро.

— Не понимаю.

— Ты не видишь конца моему «надо», потому что это «надо» — не твое. Если оно станет и твоим и моим, тебе не так важно будет — скоро ли наступит ему конец.

— Но скорее от этого он не наступит? — опять улыбнулась она.

Он тоже улыбнулся:

— Немножко скорее — да. Ведь одним землекопом будет больше... Ну, и это мой вопрос. Хочешь со мной вместе аэродром строить?

— Я думала... мы уже начали? — ответила она очень тихо, искоса на него поглядев и потом отводя глаза.

Он рассмеялся, повернул ее и повел быстро вверх по взвозу.

Он отвез ее домой, проводил двором, и они простились — до скорой встречи.

Парабукин с сыном явились почти сразу, как она вошла в комнаты. Ей хотелось остаться одной, но отец опять приступил с поздравлениями. На холоде хмель забродил в нем живее.

— Уж ты меня прости, дочка! Я ведь о-очень сомневался, чтобы так все путно вышло. Где, думал, там до этаких вершин! Артистка! У Тихона Парабукина дочь — артистка! Так себе, думал, что-нибудь такое, вроде Володи... А нынче смотрю — в публике разговор! Меня и то изучают — артисткин, мол, родитель! Поздравляю, доченька, порадовала.

Он похлопал в ладоши.

— Опять же и в Егоре Павловиче, грешный человек, не был в уверенности. Куда, думал, загибает? Что еще произведет с порядочной девицей, а? А нынче посмотрел, вижу — выводит в люди, поднимает. Поздравляю!

— Побереги, папа, поздравления, они еще понадобятся.

— Понимаю. В отношении артистического будущего! Понимаю.

— И артистического, и всякого другого.

Тихон Платонович не сразу уразумел, о чем речь, и долго топтался на своих поклонах и поздравлениях. Но неожиданно что-то сообразил, словно громом пораженный опустился на стул, крикнул:

— Пашка! Иди сюда! Что я тебе говорил? Говорил я тебе — Цветухин твою сестру озолотит? Говорил? Иди, скажи Аночке, говорил? Аночку Егор Павлович замуж берет! Так? А? Верно?

Потом он вдруг оторопел:

— Как же это он позволяет себе, а? При собственной своей жене? Что же это? Развод? Развод, я тебя спрашиваю, а?

— Да ведь это ты сам выдумал! — сказала Аночка.— Укладывайся-ка спать.

— Как, то есть, выдумал? А что же ты требуешь, чтобы я поздравлял? Выдумал! Нет, шали-ишь! Я давно вижу! Что, у меня глаз нету? Слепой у тебя отец или зрячий? Слепой?.. Стой! Быть не может! — еще громче крикнул он и вскочил.— Извеков, а?!

Он вытаращил глаза на дочь и, опираясь кулаками в стол, перегнулся к ней всем исхудалым, плоским своим телом.

 Она весело захохотала и ушла к себе — раздеваться.

— Пожалуйте, Тихон Платоныч, с дочкой-невестой вас! — гудел он через дверь.— Пока отец тебя тянул, он был нужен. А теперь его, старика, можно за борт! Поставил тебя на ноги, вывел в люди, а ты — ха-ха-ха — и прочь со двора? А брата кто кормить? Может, товарищ Извеков? Они тебя всю жизнь от семьи отбивали, твои Извековы! Им только все по-ихнему. Всех бы поучать. То меня учительница поучала, то теперь, выходит, сынок ее будет учить, а? Нет, ты сначала поработай, а потом — ха-ха-ха!..

Аночка долго слышала отцовскую ворчню, но все меньше вникала в ее неустойчивый смысл.

Еще не заснув, она словно плыла в длинном укачивающем сне, который вынимал и раскладывал, как карты в гаданье, отрывки пережитого за истекший удивительный вечер. Аночка пыталась усталым умом отделить приобретения этого вечера от утрат. Но все больше кружилась у ней перед глазами какая-то путаница, и в путанице виделось, будто Извеков уходит вместе с ней в ее сон, а маленький-маленький Цветухин машет напудренным париком откуда-то из-за далекой, темной и огромной воды.

Последнее, что до нее донеслось из яви, был тяжелый вздох ворочавшегося на кровати отца:

— Господи, прости меня, сукина сына!

К старости, особенно после смерти жены, Парабукин начал побаиваться небесных сил — это Аночка за ним давно замечала.

35

Эпилог к военным картинам

В равноденственные бури сентября белые, развивая свое генеральное наступление на юге, захватили район Курска. Именные пехотные офицерские дивизии Добровольческой армии, составлявшие корпус Кутепова, веером двинулись на север, северо-запад, северо-восток. Корниловцы шли к Орлу, дроздовцы — на Брянск, алексеевцы и марковцы — на Елец. Конный корпус Шкуро, соединившись с Мамонтовым, направился к Воронежу для совместных действий с левым крылом Донской армии.

В середине октября пал Орел, и войска Деникина вышли на дорогу к Туле, создав прямую угрозу главному источнику

снабжения Красной Армии патронами, винтовками, пулеметами.

Все более страшная нависала опасность над Москвой.

Это была кульминация успехов деникинских «вооруженных сил Юга России» и вместе с тем высшая точка напряжения в борьбе Советов с контрреволюцией на фронтах гражданской войны.

Тысяча девятьсот девятнадцатый год был для России таким предельным испытанием, что если бы силы народа надломились и не выдержали бедствий, обрушенных на страну историей, то народ лишил бы себя надолго того будущего, ради которого совершил Великую социалистическую революцию.

Знаменитые «пространства», о которых столь много и столь часто говорилось, что это они спасали Россию в годины нашествий на нее врагов, в подавляющей своей площади обретались под властью контрреволюционных правительств и чужеземных интервентов. В разгар гражданской войны в руках Советов оставалась лишь часть внутренней Европейской России, вокруг ее центра — Москвы.

У России не было не только Дальнего Востока и необъятной Сибири, но — одно время — всего Урала и почти всего Заволжья. У нее не было всего юго-востока с Туркестаном, всего юга с Кавказом, Кубанью, Доном и бассейном Донца. От нее были отрезаны Украина с Молдавией и — на западе — Белоруссия с прибалтийскими землями. Она лишена была Озерного и всего Северного края. Нигде с четырех сторон света ей недоступен был морской берег.

Все эти окраинные просторы составляли самые ценные богатства громадного государства. К девятнадцатому году Россия лишена была, в результате военных захватов контрреволюции, основной массы хлеба, руды Урала, хлопка Средней Азии, нефти и угля, степных и горных пастбищ, промышленного леса.

России, с ее внутренними областями и двумя столицами, были оставлены, в ходе событий, только холод и голод, взамен богатств, ей принадлежавших и у нее отнятых.

И вот теперь, осенью, враг проникал с юга к Москве, с запада и северо-востока к воротам Петрограда.

После неудачи первого весеннего похода Антанты, кончившегося разгромом на востоке Колчака, капиталистические правительства — противники Советской России — подготовили второй поход, намереваясь новым сокрушительным ударом покончить с революцией. По максимальному плану главного инициатора этого похода, английского военного министра Чер-

чилля, предприятие должно было быть проведено объединенными усилиями четырнадцати государств — Англии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Италии, Финляндии, Польши и других. Этот блок четырнадцати быстро обнаружил свое мифическое существо, чему способствовали четыре основных причины. Во-первых, поражение Колчака показало быстро растущую мощь Красной Армии. Во-вторых, большинство малых государств (на которых рассчитывала Антанта, как на исполнителей похода) надеялось и предпочло извлечь выгоду из национальной политики Советской власти, провозгласившей право народов на государственное самоопределение. В-третьих, попытки западноевропейских интервентов применить собственные войска для захвата советских территорий кончались возмущением среди этих войск, наряду с протестами рабочих и ростом стачек внутри государств-интервентов. В-четвертых, сами эти государства не могли примирить своих противоречий в отношении к России, что особенно сказывалось во внешней политике Франции и Англии: французы хотели восстановить «неделимую» и сильную Россию, как постоянную угрозу побежденной Германии; англичане добивались расчленения России, чтобы устранить всякую опасность для своих колоний в Азии.

Согласованный удар всех четырнадцати враждебных Советам государств, о котором мечтал вдохновитель интервенции Черчилль, не мог быть организован, и Антанте пришлось удовольствоваться созданием как можно более основательной опоры для внутренней контрреволюции в России. Ставка была поставлена на Деникина — его сделали центральной фигурой второго похода Антанты против Советов.

«Вооруженные силы Юга России» на протяжении полугода бесперебойно снабжались через черноморские порты всеми видами военного оружия. По признанию самого Деникина, к сентябрю его армии получили от Англии больше пятисот пятидесяти орудий и около миллиона семисот тысяч снарядов. Англичане прислали сто тысяч винтовок, сто шестьдесят восемь миллионов ружейных патронов, двести пятьдесят тысяч комплектов солдатского обмундирования. Соединенные Штаты Америки, идя об руку с Англией, предоставили Деникину тоже сто тысяч винтовок и огромное количество обмундирования. Были присланы танки, аэропланы. Фунты и доллары обильно струились в казну Деникина.

В то же время Красная Армия, имевшая источником снабжения исключительно отечественную военную промышленность, не могла полностью удовлетворить свои боевые потреб-

ности. Производство винтовок и ружейных патронов к весне упало до одной трети по сравнению с концом семнадцатого года. Выпуск артиллерийских снарядов на протяжении первых четырех месяцев девятнадцатого года сократился в пять раз. Здесь сказалось все: общая разруха хозяйственной жизни, недостаток сырья, мобилизация рабочих на фронты войны, небывалая смертность от эпидемии сыпного тифа, голод. Хлебный паек городского населения доходил к этому времени до четверти фунта в день.

Как же случилось, что белая армия Деникина была разгромлена и уничтожена? Почему, когда у Советской России отняты были все окраинные пространства, все сокровища недр и почти весь хлеб, когда противник ее, перенасыщенный военным снабжением, привел на край катастрофы важнейший фронт Красной Армии и угрожал Москве,— почему Советская Россия вышла победителем?

В критические дни конца сентября укрепление дрогнувшего Южного фронта становится основной задачей в защите всего дела революции. По предложению Ленина Центральный Комитет Российской Коммунистической партии решает направить на военную работу максимальное количество партийцев, перебросить на юг сильные войсковые резервы, создает новое командование Южного фронта, назначает членом Реввоенсовета Сталина. Был разработан и утвержден Центральным Комитетом новый стратегический план нанесения главного удара деникинским армиям по линии Харьков — Донбасс — Ростов-на-Дону взамен изжившего себя летнего плана наступления со стороны Царицына на Новороссийск.

Десятки тысяч коммунистов и комсомольцев потянулись на фронт. «Партийная неделя» дала сотни тысяч новых членов партии из рабочих, крестьян, красноармейцев. Порыв и стремление покончить с Деникиным были настолько повсеместны, что балтийские моряки, несмотря на острое положение под Петроградом, где снова наступал генерал Юденич, послали в помощь Южному фронту тысячный отряд матросов, а многие комсомольские организации в полном составе отправлялись на юг, оставляя на дверях своих комитетов объявления: «Комитет закрыт. Все ушли на фронт».

Так открылась новая — роковая для всего белого движения, для всей контрреволюции — страница борьбы с деникинщиной.

Проведение военного плана в жизнь требовало исключительной решимости. Исходную группировку сил Южный фронт

 вынужден был создавать, опираясь почти целиком на части,

уже находившиеся в линии боя. Требовалось остановить продолжавшееся отступление и перегруппировать войска для перехода в немедленное контрнаступление.

Задача решалась одновременно с очисткой фронта от негодных работников. Замена таких людей новыми работоспособными руководителями коснулась многих, начиная с прежнего командующего фронтом.

Восстановление боеспособности армий, благодаря наплыву народных резервов, преображавших усталые войска, проводилось с необычайной быстротой. На важнейшем направлении Воронеж — Донбасс Восьмая армия (являвшаяся здесь основной силой, так же как конный корпус Буденного, на соседство с которым она опиралась) выводила из линии фронта одну дивизию за другой, в течение нескольких дней пополняла их и возвращала на линию обновленными. Через неделю она увеличила свой численный состав в три раза. Вся грандиозная работа по перегруппировке и пополнению сил Южного фронта для перевода его в контрнаступление была закончена в небывало короткий срок.

Планирование борьбы с Деникиным в стратегическом масштабе предусматривало два этапа: рассечение деникинского фронта на две части — добровольческую и казачью — и последующий разгром обеих частей порознь. Для выполнения первого этапа плана Южному фронту ставились две оперативные задачи. Одна состояла в том, чтобы, пробив брешь в деникинском фронте на Воронежском направлении, выйти в Донецкий бассейн. Другая заключалась в задержке наступления белых на Москву, для чего должно было быть предпринято контрнаступление на Орловском участке.

РВС Южного фронта была создана ударная группа войск для действий против деникинской армии под Орлом. Эта ударная группа сыграла выдающуюся роль в тех первоисходных сражениях, которые обозначили поворот событий на Южном фронте.

Когда белые открыли себе дорогу на Тулу, когда Москва, казалось, вот-вот могла сделаться мишенью деникинских пушек,— успехам Добровольческой армии был положен предел.

Еще до занятия корниловцами Орла РВС Южного фронта дал приказ о переходе ударной группы войск, образованной из переброшенных с Западного фронта частей, в контрнаступление против главной группировки противника, действовавшей на Орловском направлении. Удар должен был быть нанесен с запада на юго-восток, во фланг корниловцам, и имел целью перерезать железную дорогу Орел — Курск у них в тылу.

Белые располагали крупными силами. Прорвав советский фронт на стыке двух армий, они заняли город Кромы, к юго-западу от Орла. Бои велись ожесточенно, белогвардейцы чувствовали их решающее значение и не жалели своих лучших офицерских полков. Дроздовцы стремились продвинуться западнее Кром на север, корниловцы нанесли поражение советским дивизиям, прикрывавшим Орел с юга, и принудили части Красной Армии оставить город.

Это был момент необычайно тяжелого положения для ударной группы, оказавшейся без обеспечения с флангов и тыла. Зажатая между корниловцами и дроздовцами, она истощала силы в длительных боях. На четвертый день своего участия в сражении, медленно продвигаясь, она вышла в район Кром.

Так как дроздовцы, стремясь прорваться на Брянск, расстроили левый фланг западного соседа ударной группы и угрожали Кромам справа; так как в то же время корниловцы, демонстрируя наступление по дороге на Тулу, направили свой основной удар на Кромы слева, то командование Южного фронта приняло решение действовать сразу против обеих группировок противника. Ударной группе была дана задача наступать в расходящихся направлениях основными силами против корниловцев, на Орел, а другими частями своей группы — против дроздовцев, на Дмитровск.

Операция привела к затяжным кровопролитным боям под Дмитровском, где части ударной группы сражались с переменным успехом. Но под Орлом на протяжении трех дней основные силы ударной группы в ряде жестоких боев нанесли крупное поражение корниловской дивизии. Благодаря этим боям удалось окружить Орел с трех сторон — с севера, запада и юго-запада. Белые, исчерпав свои резервы, вынуждены были вывести корниловцев из Орла по единственной свободной дороге на юг.

Освобождение Орла упрочило уверенность Красной Армии в своем превосходстве над деникинскими войсками, всего неделю назад захватившими город. Наметилось истощение белых, стало очевидно, что советское командование закрепляет инициативу за собой.

Однако со взятием Орла не был еще достигнут перелом во всей обстановке на центральном участке Южного фронта. Деникин продолжал активно действовать, его добровольцы напрягали отчаянные усилия, чтобы не упускать результатов недавних своих успехов.

Битва под Кромами не переставала бушевать.

 На отрезке фронта в тридцать километров дроздовцы по-

вели наступление на Кромы с юго-запада и, ценой непомерных потерь, сломили сопротивление советских стрелков, вновь захватив город. На другой день защитники Кром совместно с подкреплениями отважной атакой выбили белых из города. Но на следующие сутки дроздовцы опять двинулись вперед, прорывом на одном из участков создали угрозу окружения, и советские части отступили к северу. Кромы в третий раз перешли в руки белых.

В результате неутихавших двухнедельных боев ударная группа израсходовала резервы и разбросала свои части на огромном фронте. Между тем после своего поражения под Орлом белые стянули против центрального участка Южного фронта все свои силы в расчете разбить ударную группу по частям и снова взять Орел.

Но намерение противника было разгадано. Командование построило такой план действий, чтобы обе армии, оперировавшие на центральном участке, сосредоточили свои удары на отчетливо определенных направлениях против орловской и против кромской группировок белых и наступали не разрозненно, а массивными группами.

Двадцать четвертого октября на главном направлении удара был достигнут блестящий оперативный успех: частями конницы Буденного и Восьмой армии был взят Воронеж. Это открывало перспективу нанесения удара в тыл Добровольческой армии и обеспечивало решающую поддержку затянувшейся борьбе на центральном участке фронта.

Борьба под Воронежем носила совершенно особый характер. Это была великая битва конниц, после которой белым стало ясно, что преимуществу их в этом роде войск наступает конец.

В начале октября, после захвата Воронежа, конный корпус Шкуро двинулся на север. Мамонтов поддерживал его, рейдируя по районам расположения Восьмой советской армии. Правый северный фланг этой армии был обнажен, кавалерия белых могла легко выйти в глубокие тылы Южного фронта.

Единственной силой, способной противодействовать Шкуро и Мамонтову, был конный корпус Буденного.

Но существовала старая директива о движении корпуса в Донскую область.

Буденный, предвидя опасность проникновения Шкуро на север, решительно повернул свою конницу и еще до падения Воронежа устремился к северу, ища встречи с неприятельской кавалерией. Этот ответственный смелый шаг был оправдан всем последующим ходом событий.

Вскоре РВС Южного фронта дал Буденному директиву разбить конницу противника в районе Воронежа и способствовать выходу Восьмой армии в кратчайший срок на линию Дона. Буденный быстро сосредоточил свой корпус северо-восточнее Воронежа.

Подготавливая части к операции и выясняя группировку белых, Буденный прибегнул к военной хитрости. Он включился в телеграфные провода связи корпуса Шкуро и передал ложный приказ Первому конному корпусу Буденного. В приказе говорилось о подготовке наступления на Воронеж с основным ударом с юго-востока, тогда как в действительности удар готовился с северо-востока. Штаб корпуса Шкуро счел якобы перехваченный «приказ красных» за правду.

Шкуро, опасаясь упустить инициативу, перешел в наступление с двенадцатью полками кавалерии. На первых порах ему удалось потеснить одну из двух дивизий Буденного, но затем другая дивизия вышла ему во фланг и тыл. Маневр решил схватку. Буденновцы разбили казачью дивизию кубанцев, уничтожили полк белой пехоты и преследовали бегущего неприятеля до восточных окраин Воронежа.

После этого Буденный произвел новую перегруппировку. Главные силы были сосредоточены в расчете атаки Воронежа с севера. Остальным частям корпуса ставилась задача охватить город с юго-запада. Вся артиллерия и огромное число пулеметов были сконцентрированы в районе расположения этих частей.

В день решающего боя за город, рано поутру, шквал артиллерийского огня был обрушен на противника, и одна дивизия Буденного в пешем строю переправилась через реку Воронеж. Вспыхнул бой на востоке города, постепенно втянувший главные силы белых. Тем временем главные силы Первого корпуса появились с севера и северо-запада, стремительно приближаясь к Воронежу. Удар застиг белых врасплох. Шкуро ничего не оставалось, как отдать приказ к отступлению. Его кавалерия побросала орудия, пулеметы и ринулась к переправам через Дон.

День спустя после воронежского разгрома донской и добровольческой кавалерии ударная группа, перебросившая свои части из-под Орла в район Кром, снова перешла в наступление. За двое суток боев частям кутеповского корпуса были нанесены поражения на всех трех участках того рубежа, на котором Красная Армия поставила крест деникинскому «походу на Москву»: Орел — Кромы — Дмитровск. Ударная группа ночной атакой выбила белых из Кром; соседняя с запада дивизия

опрокинула дроздовцев и ворвалась в Дмитровск; дивизии, действовавшие слева от ударной группы, разбили корниловцев под Орлом, наступая к югу вдоль железной дороги.

Начался общий отход белых на всем центральном участке Южного фронта.

Вместе с тем начались с каждым новым боем возраставшие успехи советской конницы. Форсировав Дон и нанеся еще крупное поражение кавалерии Шкуро, Буденный отбросил ее в район станции Касторной по направлению к Курску. Здесь, в середине ноября, в разгар бушевавшей метели необычно ранней зимы, он вновь разгромил белых сокрушительным ударом соединенных конных и пеших сил.

Отступление добровольцев Деникина стало приобретать характер повального бегства. В этих условиях преследование врага кавалерией, преобразованной в Первую Конную армию во главе с Ворошиловым и Буденным, имело решающее значение. Невидапно поднялся среди полков боевой дух уверенности в победе. С каждым шагом вперед сильнее сказывались в действии советских войск те выгоды, которые были заложены в стратегическом плане наступления.

Главный удар из района Воронежа выводил основную группу армий — во взаимодействии конницы и пехоты — с северовостока на юго-запад, в Донецкий бассейн. В то же время удар из района Орла открывал выход правофланговой армии фронта на юг, через Курск к Харькову.

В Донецком бассейне победы советских войск были облегчены дружной поддержкой рабочих. Эти победы имели следствием то, что действовавшая на стыке Донской и Добровольческой армий Конная армия кратчайшим путем выходила к Азовскому морю. А этим предрешалось осуществление конечной цели первого этапа плана — рассечение деникинских сил на две части: добровольцев, которые отбрасывались в Правобережную Украину и к Крыму, и казаков, которые оттеснялись в низовья Дона и на Северный Кавказ.

В ноябре и декабре Деникин терпел поражения уже на огромных пространствах от Днепра до Волги. Красная Армия победоносно освобождала Украину. Двинулся вперед Юго-Восточный фронт. Пошла в наступление руководимая Кировым армия со стороны Астрахани против группы белых войск Северного Кавказа. Полная победа над «вооруженными силами Юга России» неудержимо приближалась.

«Главное — не останавливаться на Волге,— писал Деникин Колчаку,— а бить дальше на сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове...»

Ни в Саратове, ни еще где-либо Деникину встретиться с Колчаком не довелось. Колчак был разбит в Заволжье, войска его бежали за Урал.

На высшей точке успехов второго — южного — похода Антанты деникинцы были абсолютно уверены в своем триумфе. Они собирались пожаловать в Москву «не позже конца декабря, к рождеству 19-го года», как заявил генерал Май-Маевский после захвата белыми Орла. Однако к рождеству, потеряв не меньше половины состава Добровольческой армии, белые были отброшены за Полтаву и обращены в бегство из Донецкого бассейна, капиталисты которого в октябре объявили приз в миллион царских рублей тому из полков добровольцев, который первым вступит в столицу.

Орел и Воронеж — первые из рычагов, которые повернули события девятнадцатого года в пользу Советской России и опрокинули расчеты Антанты на «московский поход» Деникина.

Мамонтов, с его набегом донцов, Кутепов, с его нашествием отборных офицерских дивизий, были белыми генералами, достигшими пределов внутренней России и даже переступившими в глубину ее пределов. Они не дошли до Тулы всего каких-нибудь полтораста — двести километров — первый с юго-востока, второй — с юго-запада.

Кончился деникинский поход Антанты в глубь России тем, что крестьянские массы решительно поддержали Советы, в самый острый момент встав на сторону революции против опаснейшего ее врага — Деникина. Кончился этот поход тем, что рабочие не только выставили хоровод новых полков в помощь своей армии, но и в стане белых подняли партизанские красные знамена. Не только на территориях, занятых властью Советов, но и там, где находилась власть белых, народ был уверен в правде революции и доверял лучшей, здоровой, сильнейшей своей части — рабочей части населения, считая, что именно эта часть населения — пролетариат — направит всю жизнь на справедливый для него, для народа, путь.

В самом начале января Конная армия, прорвав фронт Деникина и нанеся ему тяжелое поражение у Таганрога, сломила отчаянное сопротивление белых под Ростовом и заняла город.

Добровольческая армия была разгромлена и утратила значение главной силы деникинщины. Роль главной силы возлагалась теперь Деникиным на казачьи войска, от них ждал он спасения, к ним обращал разбитые свои последние надежды.

 Но это был уже новый, тысяча девятьсот двадцатый год —

новое лето господне, как говорили старики, новый рубеж молодой Советской России, после того, как вершинный рубеж гражданской войны необыкновенного тысяча девятьсот девятнадцатого года был перейден с победой.

36

Раз поутру, в последних числах ноября, Павлик попросил у сестры денег. Когда Аночка стала допытываться, зачем нужны деньги, он признался, что мальчики уже не впервые делают складчину, чтобы покупать на базаре молоко Арсению Романовичу.

Так стало известно о болезни Дорогомилова — Аночка сказала о ней Извекову, он передал матери.

— Ты не думаешь, ему надо бы помочь?

— Мне кажется — да,— ответила Вера Никандровна.

Все-таки в ее тоне он уловил неуверенность. Он сам не мог решить, как следовало относиться к этому человеку.

— Рагозин его уважает.

Она промолчала. Он понял, что уважение, конечно, не обязывает к симпатии. Говорить, что Аночка ценит Дорогомилова, как человека доброй души, ему показалось лишним. Вера Никандровна знала это от самой Аночки. Можно было бы ждать только один ответ — что расположение к людям мало зависит от чужого мнения о них. Слишком лично развивалась история отношений семьи Извековых к Арсению Романовичу, чтобы кто-то со стороны мог вызвать здесь перемены. Да и нужны ли были перемены?

— История настолько давняя и в конце концов настолько неясная,— сказал Кирилл.— Вряд ли можно сейчас что-нибудь иметь против старика.

— Я давно ничего не имею. Да и в прошлом он только будил во мне тяжкие воспоминания. Больше ничего.

— Может быть, не мешало бы ему увериться в этом?

— Я поговорю с Аночкой. Если она согласна, мы вместе сходим к больному.

— Она, конечно, согласна,— вырвалось у Кирилла, и он, поймав себя на этой категоричности, которая могла бы принадлежать только самой Аночке, смолкнул.

Дорогомилов начал прихварывать ранней осенью. Определенной болезни он не замечал, ему было просто не по себе. Как раз когда он вознамерился вылезть из сюртука и надеть гимнастерку, когда стал поспрашивать в военных учрежде-

ниях о новой службе и вдруг расстался со своей библиотекой, — он занемог.

Первый приступ слабости он почувствовал в день вывоза книг. Приехали сразу две телеги, и не успела закончиться погрузка, как уже больше чем наполовину опустошились полки. Бронзовая пыль заметалась в комнате, словно протестуя, что посмели нарушать ее покой. Случилась непонятная вещь: едва принялись за самую большую полку и освободили одну ее сторону, вся полка обрушилась. Столб пыли взвился к потолку, и мыши с писком промчались по книжной куче.

Дорогомилов не вынес зрелища крушения и лег на диван. Лежа, он отчетливее ощутил слабость — у него дрожали ноги и руки. Он не встал, когда приехали за остатками книг.

Он пожертвовал свою драгоценность библиотеке, открывавшей детскую читальню. Лучшей участи он не мог ждать для книг, собранных в интересах детей. К тому же он решил по возможности облегчить себя для не совсем ясного, но мужественного похода, о котором мечтал. И, однако, после вывоза книг его стало мучить давно забытое одиночество. Он безразличнее начал отзываться на события, прежде вселявшие в него смятение, может быть потому, что теперь грозность их как будто миновала.

Мальчики не переставали наведываться к нему, но он подозревал, что они остывали к его дому из-за отсутствия книг. Ему пришлось мирить Павлика с Витей, потому что Павлик отстаивал читальню, а Витя был против.

Недомоганье Арсения Романовича повторялось чаще и чаще. Наверно, сказывалось понемногу все: жалкое питание, сырость и холод осени, а главное — старость. И вдруг его свалило воспаление легких.

Новый его почитатель — Ваня Рагозин — сказал отцу об этой тяжелой беде. Был прислан доктор, доставлен воз дров, мальчики поделили между собой дежурства.

Как никогда длинны стали ночи, как никогда велика квартира. Болезнь текла вяло, кроме слабости да колотья при кашле, Арсений Романович ничего не испытывал. Его томила бессонница.

Мысли его привязывались к мелочам. Он останавливал глаза на одном из сотен предметов, которыми завален был кабинет, и начиналось бесконечное припоминание былого. Как спутники кометы, окружали его жизнь когда-то нужные вещи. Все они имели свои биографии, и он высчитывал, сколько десятилетий служили ему какие-нибудь ножницы, которые от

 дряхлости уже не подчинялись никому, а в его руках годились

одинаково для гигиенических операций, вытаскивания гвоздей и даже как музыкальный инструмент — когда Арсений Романович позвякивал ими, задумавшись и напевая «Дунайские волны».

Внезапно он вспоминал редкую книгу — не столько по содержанию ее, сколько по связи с определенным обстоятельством жизни, по приметам, выделявшим эту книгу из сотен других особенностей ее биографии — где куплена, в какой день, кем переплетена, куда поставлена, почему не дочитана.

Дочитывал книги Арсений Романович вообще редко, так же как редко доводил до конца начатое дело. Попробует что-нибудь мастерить, убедится, что получается,— и возьмется за другое. Сядет за книгу, придет в восторг, размечтается — и бросит. Он будто сам дописывал книги в своей фантазии и запоминал их больше по началу, с лица, как запоминают человека. Поэтому весь мир его вещей, мир его книг был миром неоконченным, словно вечным. И нельзя было понять — зачем же теперь вечность кончалась? — ушли книги, наверно уйдут вещи, за ними уйдет он сам.

Ко дню прихода Аночки с Верой Никандровной он стал очень слаб. Но появление их лихорадочно возбудило его, он сделался говорлив, суетливость вернулась к нему, поневоле выражаясь только в лице и руках. Он смотрел все время на Аночку, лишь украдчиво покашиваясь на другую гостью, но Вера Никандровна физически ощущала, как он ждал, чтобы она заговорила. У нее не находилось слов — ее поразил вид старика с горящим розовым лицом в ореоле сивых волос.

Аночка простодушно спросила — что, наверно, ему скучно в одиночестве? Он возразил торопливо, насколько позволяло короткое дыхание:

— Я никогда не бываю один. Меня тянут в разные стороны мои мальчуганы.

Отдышавшись, он сказал помедленнее:

— Одиночество ужасно, когда ты никому не нужен, и стоишь на улице, и тебя все обходят... Оно прекрасно, если у тебя есть угол, и ты иногда закроешься дверью — отдохнуть от тех, кому ты нужен.

— Поправитесь,— сказала Аночка,— тогда можете запираться на все замки и отдыхать от нас, а сейчас надо сделать, чтобы за вами был уход.

— О, я доволен! Ваш Павлик топит печь. Ваня Рагозин моет посуду. Они стараются.

— Мальчишки ничего не понимают. Нужна сиделка. Мы устроим, Вера Никандровна, правда?

Дорогомилов перепуганно взглянул на Извекову.

— Что вы! Я уже очень бодро чувствую себя. У меня служба!

— Служба не уйдет,— немного повелительно заметила Аночка.

Он улыбнулся воспаленными глазами, по-стариковски игриво и будто извиняясь:

— Я еще пойду на войну.

— Как Павлик! — засмеялась Аночка.

— И потом займусь чем-нибудь поэтичным.

— Вот это чудесно! Чем, например?

— Стану рыболовом.

— Так это же времяпрепровождение, а не занятие,— засмеялась Аночка.

— Нет, почему же? Можно и зарабатывать... рыбной ловлей.

— Тогда вы будете рыбаком, а не рыболовом.

— Рыбак хорошо. Рыболов поэтичнее.

Он начинал уставать, щеки его бледнели, глаза делались печальнее.

— Вы как думаете, букинисты не будут упразднены... со временем? — неожиданно спросил он.

— Это — которые продают на базаре книги?

— Старые книги.

— Вы хотите продавать книги? Лучше быть библиотекарем.

— Букинист лучше. Он, если любит какую книгу, отдаст только тому, кто любит еще больше, чем он... Библиотекарь... хорошо. Но должен угодить на всякий вкус.

— Сделайтесь, сделайтесь букинистом, пожалуйста! — вся загораясь, воскликнула Аночка.— Я буду ходить к вам рыться в книгах!

— Приходите с Павликом. Беречь... мальчикам, которые любят...

Ему становилось все труднее говорить, он как будто начинал бредить.

Явился Витя, сел в стороне, требовательно поглядывая на женщин. Они поднялись.

Вера Никандровна, быстро пожимая руку Арсения Романовича и наклоняясь над ним, проговорила единственную фразу, какая могла выразить ее убежденность, что он не встанет.

— Как встанете, прошу вас к нам с Кириллом, очень прошу!

— Пришли!.. Хорошо,— слабым голосом отозвался Дорогомилов и, сморщившись, туго сжал дрожащие веки.

Он умер спустя недолго после этого визита, ночью, один в своей нелепой квартире. Ваня Рагозин утром застал его холодным. Ваня не боялся мертвых — на своем маленьком пути он видел их нередко. К тому же Дорогомилов казался по-старому добродушным. Он только держал правую руку сложенной в кулак, будто кому-то грозил или, может быть, с кем-то здоровался. Ваня побыл около него минуту, потом сорвался с места и побежал сказать отцу о происшедшем.

Странно, но похороны этого одинокого человека собрали довольно большую толпу провожающих. Тут была молодежь разных возрастов, от мальчиков до юношей в солдатских шинелях или в полинялых студенческих фуражках. Большинство помнили друг друга по детским похождениям. Но за гробом шло много взрослых, не знавших друг друга, соединившихся на этот час в кольцо что-то одинаково понимающих людей. Конечно, были здесь и родные дорогомиловских любимцев, среди них — Лиза, Парабукин, Аночка. Был Рагозин, шедший одним из первых за дрогами. Он и помог устройству похорон, столь хлопотному в эти дни.

Обычные в былой провинции расспросы встречных — кого хоронят?— стали в суровое это время редки. Смертей было много, похороны — одинаковы, по одному «разряду» и разнились только тем, что одни гробы были некрашены, другие красились в красный цвет.

Но все-таки обилие провожающих останавливало любопытных, и вопрошавшие не могли взять в толк, почему совсем непрославленный покойник собрал за собой столько народа.

— Учитель, что ли?

— Да нет, не учитель. По счетной части.

— Чего же за ним ребятишки идут?

Иная городская тетушка, однако, сразу догадывалась, кто умер:

— Дорогомилов? Да это не Лохматый ли?

— Он самый.

— Сумасшедшего хоронят.

— А-а! Тоже отжил, голубчик, свое...

Находилось, таким образом, основательное объяснение—почему идет столько людей, ибо сумасшедший всегда представлял как-никак больше интереса, чем человек обыкновенный.

На кладбище провожавшие тесно сгрудились вокруг могилы. Хотя дул сильный ветер и начинало крутить недавней порошей, все стояли с открытыми головами — даже мальчики, которые не слушали старших, заставлявших надеть шап-

ки. Почему-то все ждали, что минута прощанья должна быть отмечена особенно, и насторожились, когда Рагозин ступил на бугор земли у могилы.

Он помолчал секунду. Выше толпы чуть не на голову, взойдя на бугор, он стал еще больше виден, и лысина его с трепыхавшими на висках и затылке кудрями привлекла к себе взоры отовсюду.

— Умер человек, которого многие знали в нашем городе,— сказал он негромко.— Знали сослуживцы по работе, которой он отдал три с половиной десятка лет. Знали дети, с которыми он любил проводить свой досуг. Знали, как труженика, как скромного человека, как друга детей. Но одной своей стороной известен он был, пожалуй, меньше всего. А сторона эта была в нем самой главной, и о ней сейчас надо сказать.

Петр Петрович поглядел на красный гроб, вдоль крышки которого ветер гнал снежинки, и поднял выше голову.

— Арсений Романович Дорогомилов,— сказал он громче,— был мечтателем. Всю свою жизнь мечтал он о будущем, о великом будущем человечества, и помогал растить это будущее, делая свое дело незаметно, только потому, что верил в него, и не мог его не делать.

Теперь уже многие знают, что в годы царской реакции у нас в Саратове основано было общество «Маяк». Оно имело просветительные цели и действовало легально. Но в то же время, лет за пять до революции, у нас образовалась довольно крепкая подпольная организация большевиков. В ней работали тогда, вместе с другими товарищами, сестры Владимира Ильича Ленина. Сочувствие рабочих и ремесленников к своей партии росло быстро, и в войну у нас уже издавалась легальная газета большевиков. Она расходилась почти по всей России. Ее читали и в Белоруссии, и под Москвой, и в Питере. Но жандармы закрыли газету. Тогда большевики нашли другой путь общения с массами. Было использовано с этой целью общество «Маяк», в котором создалось партийное ядро. «Маяк» стал легальным прикрытием революционной работы, проходившей на заводах, в кружках, в гарнизоне. Результат этой работы сказался с яркой силой к началу революции. Гарнизон наш в шестьдесят тысяч солдат, подготовленный пропагандой, сыграл выдающуюся роль в февральские и октябрьские дни. А в помещении «Маяка», вскоре после февраля, на собрании большевиков был избран наш партийный комитет...

Вите, слушавшему сначала очень внимательно, стало по-

немногу казаться, что речь Петра Петровича ушла чересчур далеко от Арсения Романовича. Он стоял прижатый людьми к намогильному кресту и, неудобно повернув шею, читал жестяную дощечку:

«Здесь покоится прах Алексинского уезда Тульской губернии деревни Корочки Агриппины Родионовны Калинниковой. Господи прими ее дух с миром. И упокой ее в селении праведных», и затем, под херувимом лазоревой краски: «Незабвенной дочки Вери от мами и пани».

Над прахом Алексинского уезда Витя размышлял недолго — это не было серьезным вопросом: очевидно, прах географической местности известным образом соединялся с умершим. Это был момент формальный. Но селение праведных заставило Витю призадуматься. Он не мог решить, о каком селении надо просить для Арсения Романовича, какие вообще существуют селения, где собственно и к кому следует обратиться с просьбой о селении, если не к господу. Тут могло быть решение только по существу, так как от этого зависела будущая надпись на могиле Арсения Романовича. Селение праведных для него, вероятно, было бы тоже достаточно, как для праха Алексинского уезда, но, может быть, все-таки есть какие-нибудь селения лучше? На такой важный вопрос должен был ответить Петр Петрович, если он взялся говорить. И Витя опять начал слушать.

— Арсений Романович помогал революционерам еще до возникновения «Маяка»,— говорил Рагозин.— Но после того, как в этом обществе создалось партийное ядро, с Арсением Романовичем была установлена постоянная связь. Квартира его сделалась местом явок. Он скрывал у себя подпольщиков. В своих книгах, часть которых он собрал нарочно без всякого толка, для маскировки, в книжном хламе он иногда хранил агитационную литературу. Делал он все так искусно, что долгие годы водил за нос царскую охранку, и ни один революционер, который ему доверялся, не был разоблачен. Ради конспирации он даже не вошел в члены «Маяка», который ему светил, как многим из нас. Вот тут, среди провожающих, находятся несколько старых партийцев, хорошо помнящих предреволюционную работу покойного.

Товарищи! Об Арсении Романовиче я не сказал бы, что он был высоким маяком в ночи, на котором выверяют свой курс дальние корабли. Но он был бакеном, маленьким фонарем бакена, который обозначал своим петухнущим глазком поворот широкой реки. Всякий, кто плыл этой рекой к морю будущего, в ветер и в непогоду, видел светлый глазок бакена и плыл

дальше, уверенный, что о нем подумали и что он не один.

Теперь все мы вступили в это море, и оно, оставаясь будущим, стало также нашим настоящим. Простор его необъятен, и не мало еще пронесется над ним бурь и шквалов. Но маяки теперь сияют на нем для всех с одинаковой силой, и путь наш открыт всем.

Я начал с того, что Арсений Романович был мечтателем. Это верно, и это больше всех чувствовали в нем дети — мечтатели по природе. Мечта Арсения Романовича была, конечно, расплывчата. Дети, каждый на свой лад, вкладывали в нее свои желания, свой, скажем так, сон будущего. Мы, коммунисты, не можем мечтать бесформенно, потому что хотим не только мечтать, но и строить прекрасное будущее. А строить без ясной цели, без программы нельзя. Но в нашей программе заключен все тот же простор моря, который нужен для мечты. Тот простор, который влечет к себе чистое воображение ребенка, требующее от мира справедливости, красоты, счастья. Мы должны мечтать с той страстью, какая привлекала детей в Арсении Романовиче. Мы должны у него поучиться его страсти. Но мы должны указать нашим детям верный путь к мечте. На пути этом они безбоязненно будут разрушать все, что противоречит нашей цели, нашему плану будущего. Вместе с молодежью, которая сражается сейчас за Советскую республику, дети наши пойдут навстречу коммунизму.

Я кончу прощальное слово об Арсении Романовиче обещанием. Недавно я слышал от наших моряков, что кочегарам судов, курсирующих в Красном море, кажется, будто у котлов прохладнее, чем на палубе. Так вот нам, большевикам, кажется, что трудности борьбы за новый мир легче мещанского бездействия мира старого. Мы не отойдем от наших котлов, не выйдем отдыхать на палубу — нам там душнее. И мы можем пообещать нашему другу Арсению Романовичу, что, стоя у котельных топок, никогда не перестанем мечтать и научим мечтать наших детей, которых он так любил, научим их не упускать из вида маяков будущего.

Рагозин одним большим шагом спустился с бугра.

Его сменили еще два оратора. Но они говорили кратко — все было сказано до них, да и ветер разгуливался сильнее, мело метелицей, люди жались теснее друг к другу.

Могилу еще не сровняли с поверхностью земли, когда начали разбредаться. Трамваи не доходили до кладбища, надо было идти пешком к университету. По широкому полю перед кладбищем вожжами тянулась поземка, закручиваясь

вокруг трамвайных столбов. Местами проступила голая земля, расчищенная ветром. Снег сдуло к тесовым кварталам, и они насупленно темнели на ярко-белых тротуарах.

Мальчики — руки в рукава или в карманы — намерзнув, пока стояли у могилы, почти бежали впереди не поспевавших за ними взрослых.

— Как летит время,— сказала Вера Никандровна Аночке,— ведь это с Павликом рядом — сын Лизы будто?

— Да, Витя.

— А Павлик совсем молодец.

— Да. Иногда не верится, что я его нянчила.

Аночка засмеялась.

— Ты что?

— Помните историю с шоколадом?

— С шоколадом?

— Это еще перед войной. Помните, вы подарили Павлику на именины плитку шоколада? Мама ему велела поделиться со мной. Он долго мучился, все не хотел давать. Потом говорит: «Ну хорошо, мама, я только дам Аночке ма-аленький кусочек».— «Почему же маленький, когда у тебя много?» — «Я боюсь, большим кусочком как бы она не подавилась».

Теперь они вместе засмеялись, но смех как-то сразу оборвался, точно они вспомнили, что идут с похорон. Прикрывая от порыва метели рукавом лицо, Аночка мельком спросила:

— Почему не пришел Кирилл Николаевич?

— Да, жалко. Он понял бы своего отца, после этой речи — почему дружил отец с Дорогомиловым... Кирилл хотел пойти. Но что-то неотложное в военном комиссариате.

Аночка резко вскинула брови, но промолчала и сосредоточенно прибавила шаг: мальчики слишком далеко убежали вперед.

Они кучкой семенили посередине мостовой, нагнувшись против ветра, мешавшего как следует говорить. Они перекидывались короткими словами, подолгу не отвечая друг другу.

— Здорово мой отец говорит, а, Пашка?— спросил Ваня.

— Ага,— согласился Павлик, но подумал и прибавил:— Зря это он про книжный хлам. Мой отец обрадовался.

— Чего обрадовался?

— Толкнул меня и говорит: товарищ Рагозин со мной согласен — Арсений Романович держал один хлам.

— Ну и пускай. Тоже! Твой отец!

Вите думалось, что Петр Петрович не сказал об Арсении Романовиче самого важного. Самое важное состояло в том,

что Арсения Романовича больше нет и что таких, как он, никогда больше не может быть.

— А как мы об Арсении Романовиче напишем?— спросил он.

— Что напишем?— захотел узнать Ваня.

— На кресте.

— Правда, а?— встрепенулся Павлик.

— На кресте!— насмешливо переговорил Ваня.

— А что?— сказал Витя, принимая вызов.

— У Арсения Романыча будет памятник, а никакой не крест.

— Ну да, памятник. Большо-ой!— протянул Павлик.

Все трое по очереди потерли уши.

— Ребята! Мужик на санях!— воскликнул Витя.

— Дурак какой! Снегу-то с гулькин нос, а он вылез,— сказал Ваня.

— Надо так написать,— проговорил Павлик сосредоточенно:— Здесь лежит наш Арсений Романович, и потом подписи.

— Какие подписи?— спросил Ваня.

— Ну, подписи — ты, я, Витя, еще кто, еще.

— Тоже выдумал! Кто это на могилах расписывается? Я на кладбище целое лето жил, знаю.

— Ну и что же, что жил? Разве есть закон? Захотим, так распишемся.

— А чего такое — селение праведных?— спросил Витя.

— На кресте, да? Знаю,— сказал Ваня.

— На кресте, да?— повторил за ним Павлик.

— Это всё попы!— сказал Ваня.— Воскресение, селение. Начнут архипреть! А ничего и нет. Закопают, так не воскреснешь.

— Ну да,— согласился Павлик.— Отзвонил, и больше каюк.

— А на Марсе?— скептически спросил Витя.

— На Марсе! Подумаешь!— дернул плечами Павлик.

— Ты не читал, вот и говоришь.

— Ты читал, да плохо,— сказал Ваня.— На Марсе не мертвецы, а живые люди.

— Ага,— подтвердил Павлик.— Только там марсисты.

— Надо так,— предложил Витя.— Здесь покоится (он сделал паузу, сомневаясь — нужно ли что-нибудь о прахе и о местности)... покоится Арсений Романович, самый хороший человек!

 Он неуверенно взглянул на товарищей. Павлик подумал

и признал, что проект удачен. Ваня был не очень доволен.

— Надо еще нарисовать и выбить на камне,— дополнил он.

— Рисунок?

— Ага.

— А про что рисунок?

Тут мальчиков догнал Рагозин и положил им на плечи тяжелые руки в варежках.

— Замерзли?

— Не-ет! — дружно откликнулись они, опять потирая ладонями уши.

— Петр Петрович, мы спорили про памятник, какую сделать надпись.

— Ну, какую же решили сделать?

Они опять заспорили наперебой, выдумывая новые предложения и в конце концов заставив Рагозина сказать, какую надпись сделал бы он сам.

— По-моему, надо просто: Арсений Романович Дорогомилов, революционер.

— И всё? — спросил Павлик, от неожиданности разинув рот.

— И всё.

— И всё! — вскрикнул Ваня.— Вот это да-а!

— Это да-а! — закричал тогда и Павлик.— Арсений Романыч тоже был бы рад, правда, а?

И только Витя задумался и ничего не сказал. Ему было грустно, что о таком человеке, как Арсений Романович, будет написано всего одно слово.

Мальчики шли в ряд с Петром Петровичем, стараясь так же широко шагать, как он, и скоро добрались до площади, где толпа людей дожидалась трамвая.

Становилось очень морозно, быстро темнело, вьюга крутила и крутила все злее. Но мальчики, прохваченные холодом и засыпаемые снегом, присоединились к толпе и стали терпеливо, вместе со взрослыми, ждать, чаще растирая уши, щурясь сквозь метель на далекие неясные фасады университета.

37

После первого спектакля «Коварства» Аночка и Кирилл видались каждую неделю, и в день похорон Дорогомилова тоже должна была состояться встреча.

Кириллу казалось, что они видятся очень часто, то есть что чаще видеться невозможно — так трудно и хитро было выкроить два-три часа, свободных одновременно и у него и у ней. Сложнее, конечно, было для него. Аночка как-то спросила, договариваясь о свидании:

— Но ведь есть у тебя расписание?

— Расписание — чего?

— Ну, когда ты занят, когда нет.

— Когда нет?— усмехнулся он.— Тогда находится что-нибудь непредвиденное.

Усмешка его сразу улетучилась.

— Непредвиденное — довольно существенная часть работы. Иногда самая существенная. Это — школа, в которой учишься предвидеть.

— Есть, значит, надежда, что ты выучишься предвидеть, в какой день можешь по-настоящему со мной встретиться?

— По-настоящему?

— Да. Чтобы не на минутку.

Он с такой основательностью задумался, что ей стало весело.

До сих пор Кирилл ни разу не обманул Аночку, если обещал прийти, вернее — успевал заранее предупреждать, если встречу приходилось отложить. Но в этот день его неожиданно назначили выступить за городом на митинге.

Он рассчитывал вернуться к условленному часу. Но все сложилось не по расчету.

Митинг был созван для записи добровольцев в кавалерию. На горах, в одном из унылых зданий разросшегося Военного городка, народ теснился плечом к плечу. Все стояли. Тут собрались служащие городка, новобранцы Красной Армии, пестрый люд Монастырской слободки, обитатели разбросанных по округе выселок — рабочие окрестных кирпичных сараев.

Извеков говорил с помоста, который дышал у него под ногами. Он любил прохаживаться во время речи, это напрягало его и в то же время удерживало в сосредоточенности — мысль текла мерно с шагом. Он не замечал, как вздрагивает на помосте накрытый кумачом стол.

Говорил он легко. События, которых он касался, сами по себе приковывали слушателей — дело шло о победах на юге, о бегстве в белую Эстонию разбитого Юденича, о новом наступлении в Сибири против Колчака — все фронты гражданской войны находились в невиданном движении, но уже движение это было дано фронтам не по почину контрреволюции, как случилось два-три месяца назад, а сосредоточенной

волею Красной Армии. Она несла свои знамена вперед, возвращая России ее далекие окраинные земли.

С какой-то взыскательной пристальностью, хмуро и настороженно, собрание сотнями взглядов следило за Кириллом, будто испытывая его выдержку, проверяя знания. Но он упрямо шагал под этими взглядами, приостанавливая себя на поворотах и — видно, для прочности речи — изредка перерубая кулаком воздух. Знания же его были столь основательны, что, когда он начал перечислять победы красной конницы, народ словно решил, что он выстоял проверку: люди расправили брови, зашевелились, гул голосов прошел в разных углах, и потом вдруг, как стрельба ракет, рассыпалась трескотня захлопавших ладош.

Кирилл кончил тем, что враг опозорен, разбит, отступает, но еще не уничтожен, и чтобы добить его, нужен приток свежих сил в ряды бойцов. И он призвал вступать в Конную армию — старых и молодых кавалеристов, пулеметчиков бывалых и малоопытных, с конями и без коней — всех, кто слышит в плече своем силу, а в душе ненависть к белогвардейцам и преданность делу освобождения рабочих и крестьян.

Он ждал, что сразу после этого призыва начнут записываться добровольцы. Но из собрания раздались вопросы и вызвались ораторы — поговорить.

Вышел на помост усатый астраханец с желтыми лампасами на шароварах. Речь повел он сначала не столько красно, сколько громко, и дивовались больше не его словам, а богатырскому его голосу. Говорил же он, что бывают всякие казаки — есть и генеральские приспешники, и кулаки лютые, и лавочники, но есть и такие казаки, как он. А он казак настоящий — из пригоршни напьется, на ладони пообедает. Слушали его недоверчиво, но под конец он сказал такое, от чего все притихли и проводили его сочувственным глазом.

— Настоящий казак красную кавалерию уважает. Нонче только одни красные стросвой верности держатся. Они перед противником своему строю верны все по-одинаковому, а не по-разному. От переднего до последнего. В прятки не играют. Ну, только медаль эта с обратной стороной. Какая у нее сторона? А вот я скажу. От кого у нас, от первого, уральцы деру задавали? От Василья Иваныча Чапаева. Даром что не казак, а самого скорого казака обходил на полный корпус. А где нонче товарищ Чапаев обретается? На дне быстрины уральской, что пониже буде Лбищенского. Как же, спрашиваю, его не уберегли? Как его грудьми не закрыли? Как его из Лбищенского на конях не упасли? Мало чего ему самому рубать

уральцев захотелось! Его надо было на крыло посадить да крылом понакрыть. Он бы и остался нам целёхоЯек. Красных атаманов у нас немного, они только стали объявляться. И надо нам такой устав иметь, чтобы верность перед строем у всех была одинакова, а чтобы обереженье каждый получал по своей заслуге перед всей красной кавалерией. Атаманов своих надо беречь. Такое будет мое предложенье товарищам.

За этим оратором потянулись другие, потом стали говорить из толпы, не поднимая даже рук и не прося слова. Кирилл понял, что это далеко уводит от дела.

Он опять потребовал слова, ответил на вопросы и сказал о Чапаеве, что, мол, верно — ни товарищи его не уберегли, ни сам он не уберегся, и что надо быть день и ночь начеку, потому что ни в какой прежней войне не знавали такого врага, как белые,— ни по беспощадности, ни по коварству.

— Геройскую гибель Чапаева оплакивает вся Советская Россия, и особенно тяжела эта гибель для Волги, которой он был кровным сыном. Но в самой гибели Чапаева заложено нечто роднившее его судьбу со жребием былинных и народных героев. Он, как Василий Буслаев, не знал перед смертью ни раздумий, ни робости. Он, как Ермак Тимофеевич, нашел кончину, переплывая реку, прославленную его великими делами. На смену ему придут другие богатыри. И тем скорее придут, чем больше вольется трудового люда в нашу армию, в нашу конницу. Придут богатыри из рядов народа, из ваших закаленных рядов, товарищи!

Кирилл подошел к столу, схватил и поднял над головой лист бумаги.

— Кто хочет поддержать победоносную нашу кавалерию новым боевым эскадроном? Объявляю запись открытой, и сам иду добровольцем в Первую Конную армию. Кто следующий товарищи? Подходите!

Он обмакнул перо в чернильницу. Стол шатался под его локтями, перо просекало бумагу на мягком кумаче. Собрание изо всех сил хлопало в ладоши, пока он писал, а когда на помост начали взбираться и становиться в очередь к столу добровольцы из участников митинга, рукоплесканья разгорелись еще горячее.

Кирилл громко выкликал имена и фамилии записавшихся, и все, кто сидел за столом, пожимали добровольцам руки, и они отходили с празднично строгой солидностью и, сойдя с помоста, рьяно уговаривали других — последовать своему примеру.

 Открывая собой список, Кирилл знал, что — сделает это

или нет — он все равно идет на фронт, и что это будет не позже чем завтра утром — направление военного комиссариата уже лежало у него в кармане. Но он чувствовал, что не сделать это было невозможно перед лицом тех, кого он звал поступить так же. Необходимый во всяком деле почин застрельщика здесь был очевиднее необходим, чем в любом ином случае. Кирилл вызвался записаться первым, не обдумывая своего шага, по внутренней подсказке, что шаг этот сдвинет дело с места.

Когда он сделал этот шаг и увидел, что не ошибся и все пошло на лад, ему стало очень хорошо, будто он на миру получил открытое одобрение тому решению, которое для него лично уже само собой сложилось и было бесповоротно. Ему передалось общее, увлекшее всех настроение, которого сперва вовсе не было и которое трудно было ожидать от неоднородной толпы жителей слободки и пригородных крестьян. Конечно, главную роль в общем подъеме сыграли новобранцы, чуть не сплошь требовавшие, чтобы их перечислили из пехоты в кавалерию. Но они захватили своим молодым волнением многих.

Кирилл покинул митинг в возбужденно-довольном настроении человека, выполнившего важное предприятие. Он думал, что опоздает к Аночке не намного, и с удовольствием забрался в автомобиль. Но машина не успела въехать в город, как передний баллон спустил воздух.

Метель, разгулявшаяся с сумерек, к вечеру крутила без передышки. Зимы, если слишком рано выпадут, почти всегда начинаются с нещадных вьюг, рвущих и треплющих все на поверхности земли, наметающих сугробы по низинам и слизывающих последнюю былинку с бугров. Пыль, жесткая, как толченое стекло, носится вперемешку со снегом. Сами дома клонятся и стонут под напором ветра. Все гнется, приникает, дрожит и высвистывает многоголосую недобрую песню.

Кирилла, едва он вылез на дорогу, чуть не столкнула дверца машины, откинутая вихрем. Воронка снега злобно впилась вокруг него, точно собравшись натуго запеленать и покатить его — спеленатого по рукам и ногам — по сугробам вместе с поземкой. Шофер начал с самого драгоценного словца из своего аварийного запаса ругательств и полез за домкратом.

Кирилл хотел было опять спрятаться в автомобиле, но вдруг раздумал и заявил, что пойдет пешком, чтобы не мерзнуть в поле.

Он поднял воротник шинели, сунул в рукава кисти рук и,

нагнувшись, зашагал посередине дороги. Он не узнавал окрестность, не представлял себе с точностью, по какой улице войдет в город — впереди было так же темно, как по сторонам. Холод забирался все глубже под шинель, полы ее то распахивало, то вдруг кидало в ноги и запутывало между колен. Все непослушнее, сбивчивее становился шаг.

Незаметно приподнятое настроение Кирилла исчезло. Ему было досадно, что он не предупредил Аночку о вероятном опоздании. К досаде прибавилась тревога, бередившая его уже несколько дней с того момента, как ему стало известно о предстоящем отъезде на фронт. Он все откладывал свое сообщение об этом Аночке и матери, надеясь, что чем короче будут проводы, тем легче они пройдут. Теперь ему вдруг стало очевидно, что он поступил жестоко, что Аночка непременно будет укорять его в бесчувственности, в пренебрежении к ней и что он действительно не может перед ней оправдаться.

Сквозь жгучее метание вьюги Кирилл видел теплый свет маленькой комнаты, в которую ему хотелось скорее войти и до которой было все еще далеко. С каждой минутой выплывала в уме какая-нибудь подробность этой комнаты, и досада его на себя росла.

Ветер грубо подогнал его в спину. На один миг у него явилось ощущение, будто он идет под гору, и он вспомнил покатый пол в комнате Аночки: флигель, где ютились Парабукины, одной стеной осел в грунт. Плетеная, похожая на сотовые ячейки, скатерть; на стене — вырезанная из журнала «Березовая роща» Куинджи; коричневые и лимонные бессмертники, пучком воткнутые за фотографию Аночкиной матери; конус картонного абажура с шоколадно-рыжим прожженным боком и фестонами по нижнему краю; колпак швейной машинки, уважительно накрытой полотенцем с вышитым изречением: «Коли вся семья вместе, то и душа на месте»,— все эти мелочи легко изученного и уже милого обиталища проходили перед взором Кирилла, и — окруженную ими — он видел Аночку сидящей на кровати, уставившей неподвижные синие глаза в холодное окно: «Не пришел, не пришел». Он нахлобучивал фуражку, ниже пригибался против ветра, подтягивал на уши воротник, набавлял ход.

Конечно, не нужно было много фантазии, чтобы издалека рассмотреть каждый уголок незамысловатой комнаты и каждое движение в ней Аночки. Она успела посидеть не только у себя на постели (именно так, как вообразил Извеков), она двадцать раз перешла с места на место, присаживаясь и опять

поднимаясь, подбегая то к двери, то к окну, вслушиваясь в стоны и присвисты вьюги и боясь не отличить от них стук Кирилла.

Придя с похорон Дорогомилова, она поставила самовар, чтобы как следует отогреться. Павлика она отпустила в гости к Вите (и сделала это с необыкновенной охотой), Тихон Платонович заявил, будто его ждут государственной спешности дела на службе (и как же она могла возражать против государственных дел, хотя ни на волосинку не поверила, что отец сказал правду). Она была счастлива, что оставалась одна.

Через час на ней было самое хорошее платье, и весь дом был прибран, и она еще раз раздула самовар, чтобы Кирилл тоже согрелся, когда придет. На дворе завывало свирепо, ветер выискивал в окнах микроскопические щели, и они пищали, точно в стекла бились налетевшие комары.

Время тянулось убийственно, Аночка начала отчаиваться. Она переворошила в памяти все мимолетные фразы, которые Кирилл когда-нибудь сказал в оправдание или объяснение своей занятости, или долга, или вообще чего-нибудь связанного с тем различием, какое было между ним и ею, с его ответственностью перед людьми, перед революцией, перед эпохой,— ах, мало ли что обязывало Кирилла жить особой жизнью, совсем несхожей с обыкновенной маленькой жизнью Аночки!

Почему она до сих пор не задумывалась над значением всех его отговорок, мнимых нечаянностей, мешавших встречам на протяжении целого лета и осени? Как она не замечала, что ему в тягость, в обременение, в обузу эти ее ожидания встреч, эти обещания, которые она берет с него — чтобы он пришел, чтобы пренебрег непредвиденными делами, как рогатка стоящими поперек дороги? О, разумеется, у него чрезвычайно значительные дела. Они могут быть даже действительно государственной спешности. Извеков — не Парабукин. Привирать он не станет. Ему незачем даже преувеличивать.

Но если так, то ведь разница между большими делами Кирилла и маленькими — Аночки никогда не исчезнет. Разница может только вырасти, углубиться. Значит ли это, что Кирилл еще больше будет тяготиться Аночкой и что она будет еще больше обречена на бесплодные ожидания — когда он снизойдет выделить ей минутку своего времени и, как милость, пожертвовать свое занятое внимание?

Почему, собственно, он считает себя в таком привилегиро-

ванном положении? Разве для нее время не так же дорого, как для него? Разве ей легко далось вот сегодня, ради этой несчастной встречи с Кириллом, отказаться от читки новой пьесы, в которой Цветухин обещает ей новую роль? Не явиться в театр, когда ее там ждут, когда она только что начала работу, с детства ее манившую во сне и наяву! Это ли не жертва? А как поступает Кирилл? Он обманывает ее. Он ее обманул! Он не пришел!

Все-таки, может быть, он еще придет? Может быть, его задержало что-нибудь из ряда выходящее? Ведь сейчас так много больших событий! А он такой большой человек! У него такие обязанности! Как можно сравнивать его обязанности с какой-то читкой пьесы, в которой Аночка, поди, и роли-то никакой никогда не получит! Она слишком обидела Цветухина, чтобы он дал роль. Она должна за счастье считать, что любит такого выдающегося человека, как Кирилл, и что он любит ее.

Он, конечно, конечно, ее любит! Он просто задержался. Не обманщик же он, в самом деле! Он сейчас придет. Что она должна для него сделать? Ах, господи, она готова все, все для него сделать, только бы он пришел! Но он не придет! Он опоздал на целых два часа. Нет, уже на два часа четыре минуты. Четыре минуты! Мама милая, боже мой, что же все-таки сделать, чтобы он пришел?! Подогреть еще раз самовар? Он остыл. Труба гудит, как домовой. А он уже остыл. Кирилл Извеков уже остыл. Господи, что за нелепица лезет в бедную голову!

Она нащепала лучины, бросила ее в самовар и села на кровать. Положив локти на колени, она обхватила руками голову. Не лучше ли лечь в постель? Так жарко горит лоб.

И вдруг Аночка стремительно сорвалась с места и тотчас затихла. Стук в дверь. Да, она не ошиблась! Настойчивый, быстрый стук!

Пришел!

Она бросилась в сени, с разбегу отодвинула щеколду. Облепленный с головы до ног снегом, согнувшись под порывами вьюги, на нее обрушился из темноты захолодавший человек.

— Скорее, скорее!— пробормотала она, распахивая дверь в комнаты и стараясь удержать другой рукой и коленкой входную дверь, на которую нажимал ветер. Она насилу справилась с запором, кинулась назад в дом, остановилась у косяка и чуть не вскрикнула.

Отворотив с плеч шубу и одним рывком стряхнув на пол снег, перед ней распрямился Цветухин.

— У-ф-ф, черт! Валит с ног! Здравствуй, дружок. Одна? Вот это отлично.

Прижавшись спиной к холодному косяку, Аночка смотрела на Егора Павловича огромными глазами. Смятение, охватившее мгновенно, свело черты ее в гримасу беспомощности и испуга.

— У тебя самовар! — говорил Егор Павлович, платком разминая сосульки на висках и протирая мокрые брови. — Стаканчик горячего сейчас волшебно! И как хорошо натоплено! Ты что, ждешь своих?

Он похлопал ей руку с неуверенной лаской.

— Нездорова? Почему не пришла? Я прямо с читки. Решил — ты заболела.

Наконец к ней пришло самообладание, и она ответила на все сразу, — да, она плохо себя чувствует после кладбища, и поэтому не явилась на читку, и сейчас должны вернуться домой отец и Павлик.

— Да, Дорогомилов! — воскликнул он. — Жалко чудака. Я тоже хотел проводить его, но весь день ушел черт знает на что. Большой был оригинал. Местный саратовский раритет. Племя, которое вырождается... А ты не в духе?

Она занялась чайным столом — обычным укрытием, за которым гостеприимные хозяйки прячут свои чувства к незваным гостям.

Цветухин придержал ее за руку и усадил против себя.

— Послушай, Аночка. Я ведь у тебя неспроста.

Он глядел ей в лицо решительно, но что-то, словно обиженное, было в его вздрагивавшей нижней губе.

— Мы должны поговорить. Положение, которое создалось... которое создала ты своим поведением....

— Поведением? Я нехорошо себя веду?

— Ты, думаю, в состоянии решить — хорошо это или нет, если ты вызываешь нездоровый интерес... нездоровое любопытство всей труппы.

— К себе? Вызываю любопытство к себе? И притом всей труппы? И еще — нездоровое?

Аночка слегка отодвинула от него свой стул.

— Пожалуйста, не говори таким языком, — попросил Егор Павлович. — Это не твой язык. Да. К сожалению, также и к себе.

— Но к кому же еще?

— Ты делаешь вид, что я не существую.

— Егор Павлович, я вас обидела? — вдруг искренне, упавшим голосом спросила Аночка.

— Что значит — обидела? — воскликнул Цветухин, и уже открытая обида, делающая мужчину немного смешным и заставляющая его сердиться, прорвалась в его тоне. — Это скорее оскорбительно, а не обидно, если у тебя за спиной шепчутся на твой счет и над тобой хихикают.

— Егор Павлович!

— Я говорю не о тебе. Не ты шепчешься. Но все другие! Я верю тебе, что ты это не вполне понимаешь. Поэтому и не обижаюсь. Но, ты извини, нельзя же, наконец, не разъяснить тебе, что происходит. Если ты этого не замечаешь сама, или если... если ты все-таки делаешь это немного нарочно.

— Я, правда, не совсем понимаю, — будто веселее сказала Аночка.

— Но как же? Целый месяц, как ты ввела в обращение со мной чуть ли не официальную манеру. И, прости, в этом есть что-то мещанское. Здравствуйте, до свиданья, благодарю вас — и все! Что это такое? Ведь это же все видят! Если бы еще многоопытная, прожженная какая-нибудь ветеранша интрижек — никто бы не обратил внимания. А ведь ты — ученица. Сейчас же у всех любопытство — что происходит? Наверно, у Цветухина что-то с ней вышло! Что-то получилось! Или не получилось! И... понимаешь теперь мое положение?

— Ну, и если понимаю, — медленно проговорила Аночка и как-то очень пристально вгляделась в Егора Павловича, — если это я все-таки немного нарочно?

Он встал, потеребил волосы, прошелся инстинктивно рассчитанным на размер комнаты шагом.

— Не верю. Слишком тебя знаю. Ты могла бы это умышленно сделать только в одном случае: если бы в тебя вложили чужое сердце.

Она задумалась. Ей хотелось прислушаться, что же происходит в перетревоженном ее сердце, и нет ли в нем действительно чего-нибудь навеянного чужим чувством. Но нет, нет.

— Нет! — сказала она с неудержимым волнением. — Я хотела остаться самой собой. Мне страшно, страшно горько было за вас, тогда, после того спектакля. Горько и — знаете? — очень стыдно.

— Но ведь я и хотел быть только самим собой! — вскрикнул Егор Павлович вдруг почти умоляюще. — Неужели ты до сих пор не хочешь видеть...

Она тоже поднялась:

— О да, я увидела! Я вдруг увидела и напугалась, что, может быть, Пастухов был прав. Тогда летом.

Он опять вскрикнул, но голосом непохожим на свой:

— Пастухов! Барин, за всю жизнь не сказал искреннего слова! Все только поза и ходули! Ты помнишь, он рисовался и хвастал, что сочиняет только по вдохновению? А нынче приехали актеры, рассказывают — он в Козлове, в этом лошадином сеновале, стряпает какие-то живые картины! Напакостил, напаскудил при Мамонтове и теперь расшаркивается, готов на что угодно! Пришлось слезать с ходуль! Болтун!

Егор Павлович оборвал себя, точно застыдившись, что вышел из всякой мерки. Одернув пиджак и опять пройдясь, он сказал все еще раздраженно, но тихо:

— Странно, как ты могла подумать обо мне одинаково с Пастуховым. Ты сама назвала его гадкие слова грязью.

— Помню. Я только напугалась — неужели он прав?

— Но неужели он может быть прав?

— Егор Павлович, кто же виноват, что я вспомнила его слова!

Он шагнул к Аночке и, сжимая ее руки, стараясь притянуть их к себе, заговорил с жаром, так, что она не могла ни остановить его, ни возразить хотя бы жестом.

— Послушай, послушай меня! Кто тебя успел заразить, кто успел внушить тебе пошлый взгляд на актера? Я ведь вижу, как твое мнение обо мне несвободно! Холодность, недоверие, пусть даже неприязнь — я понял бы это и простил бы, если бы ты меня только что встретила. Но ты не можешь меня не знать! Я столько делаю для тебя, столько готов и буду делать единственно из своего чувства к тебе, Аночка! Как можешь ты мне не верить? Разве в чем-нибудь я тебя обманул? Я никогда еще не испытывал влечения более чистого, более цельного, чем к тебе! Ты — мое новое рождение. Понимаешь ты это? Новое будущее! Зачем мне таить от тебя свою надежду?

— Но как я должна поступить, когда...— стараясь прервать его, воскликнула Аночка.

Но он не дал ей договорить:

— Постой! Ответь на один только вопрос, глядя на меня — ну, смотри, смотри на меня! — веришь ли, что я никогда не знал такого нераздельного обожания, как к тебе?

— Но это же мучительно — заставлять говорить, о чем я не могу!

— Не можешь? Постой, постой отвечать! Хорошо. Я по-

дожду. Я буду ждать. Я терпелив, о, я терпелив,— с горечью сказал Цветухин.

— Я не буду испытывать ваше терпенье,— сказала она в приступе подмывавшего ее упрямства.

— Погоди! Никакого решения! Ничего окончательного. Ты убедишься сама. Ты увидишь, ты оценишь потом это переживание.

У нее дрогнул подбородок, и нельзя было понять — подавила ли она улыбку или сейчас заплачет.

— Переживать... и потом повторять переживания,— проговорила она будто самой себе.

— Нет, в невинном сердце немыслима такая жестокость! — с отчаянием вздохнул Егор Павлович и сильнее сдавил ее руки.

— Пустите. Слышите? Слышите — стучат! — крикнула она, вырываясь и отбегая.

Она прислушалась и вышла в сени. К воплям вьюги ясно прибавился нетерпеливый гулкий стук. Как только она отодвинула запор, дверь сама растворилась, кто-то ступил в сени, и в тот же миг Аночка догадалась, что это Кирилл.

— Я запру. Ступай, простудишься,— сказал он охрипшим от ветра голосом.

Она бросилась в комнату. Цветухин стоял, заслонив собою окно, как-то по-военному подтянувшись. Она подняла руку, словно подготавливая его к неожиданности, но рука тотчас опустилась. Извеко́в уже входил в комнату.

Он с трудом расстегнул шинель закоченевшими пальцами. Снег пластами вывалился из складок его рукавов. Он стукнул сапогами об пол, бросил шинель, взглянул на Аночку, на Цветухина и попробовал улыбнуться. Лицо его, залубеневшее от мороза, багрово-красное, осталось неподвижно.

— Нет, товарищи, я не согласен! Это самый настоящий февраль!

Он наскоро подал обоим ледяную руку, отошел к железной круглой печке и обнял ее, прижавшись всем телом. Он пробыл в этом положении несколько секунд и повернулся к печке спиной.

— Ты заждалась, Аночка? Сердишься? Я был в Военном городке. По дороге спустила шина. От самого кладбища пешком.

— От самого кладбища?! — повторила она за ним и оглянулась на Цветухина, точно призывая разделить с ней изумление и испуг.

 Егор Павлович вдруг продекламировал:

— «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит...»

Он незаметно отвел руку за спину, постучал в окно и сделал вид, что прислушивается к чему-то таинственному.

— Это вы? — тихо спросила Аночка.

— Это я,— испуганным шепотом ответил он.— А ты разве ждешь еще какого-нибудь путника?

Кирилл засмеялся. Быстро нагнувшись к самовару, он сдунул золу с крышки, поднял его и перенес на стол:

— Хозяйничай, Аночка!

— Продрог, да? — спросила она, оживляясь, и опять поглядела на Цветухина с таким выражением, что, мол, судите сами, как все у нас с ним запросто!

Кирилл предложил Цветухину присаживаться к столу, но Егор Павлович отказался: ему пора идти, он ведь заглянул к Аночке на минутку — узнать, не заболела ли она.

— Заболела?

— Она должна была явиться на читку и не пришла. Прежде с ней этого не случалось.

— Что же ты молчала? — сказал Кирилл.— Назначили бы нашу встречу на другое время.

Все трое переглянулись, и — для всех троих неожиданно — Аночка выскочила в другую комнату и захохотала, как пойманная на проказе озорница.

На лице Егора Павловича опять появилась очевидная обида,— он в такие минуты слишком выпячивал нижнюю губу и брезгливо припечатывал ее к верхней.

Подавляя улыбку, Кирилл сказал:

— Вы не очень давайте Аночке своевольничать. У нее к этому наклонность есть.

— Да, в ней еще что-то детское,— осуждающе проговорил Цветухин.— Конечно, непосредственность — драгоценное качество. Но одной непосредственностью искусство не создается. Искусство — это больше всего труд, труд, труд (он рассерженно выдавил из себя в третий раз — труд!). Оно требует человека нераздельно. Личная жизнь должна быть отодвинута на задний план, подчинена (он чуть не со злобой рассек это слово на кусочки — под-чи-не-на!) делу художника, если он хочет служить искусству. Это надо принять, как закон.

— Я разделяю ваш взгляд,— серьезно, а вместе с тем как бы насмешливо сказал Кирилл.— И очень вас прошу не поступаться этой требовательностью в отношении к Аночке.

Он сделал паузу. Брови его тяжело оседали, он не сводил глаз с Цветухина.

— То есть, чтобы в личной жизни Аночки не случилось ничего в ущерб труду. Особенно в мое отсутствие. Если я уеду.

Аночка вышла из другой комнаты. Она держала лист бумаги, и рука с этим листом медленно опускалась, вторя каждому маленькому неслышному шагу.

— Если уедешь? — тихо спросила она.

Он не нашел решимости сразу ответить правдиво и пошутил:

— Ну да, если мне придется уехать, то какому же еще наставнику тебя поручить?

Она почувствовала его уклончивость и — по-прежнему настороженная — улыбнулась.

— Вот вы меня оба браните. А я работаю гораздо лучше не когда меня бранят, а когда хвалят. Можно, Егор Павлович, я похвастаюсь, а?

Она дала Кириллу бумагу.

Это была старательно расписанная кармином, гуммигутом, лазурью благодарственная грамота, поднесенная Луизе Миллер бойцами кавалерийского отряда (Аночка уже целых семь раз сыграла в клубе свою единственную роль). Составители грамоты обошлись с полюбившейся артисткой по обычаю, применяемому к покойникам,—они восхваляли ее достоинства так щедро, как будто она уже никогда больше не могла подвести своих песнопевцев. Они писали, что ее игра объяснила им, как терпели бедные люди от издевательства монархической власти. Они уверяли, что такие замечательные представления, как «Коварство и любовь», еще крепче закалили их волю к победе над буржуями. Они называли товарища А. Т. Парабукину несравненной, глубокой, яркой и заявляли, что хотя некоторые из них уже дважды смотрели спектакль, но готовы смотреть еще много, много раз. И они звали А. Т. Парабукину и других товарищей артистов поехать с ними на фронт. «Вы будете нам показывать свое пролетарское искусство, а мы будем дорубать до смерти гадину Деникина!» И почти у каждой подписи почитателей Аночкина таланта были сделаны приписки: «До скорого свидания», «Приезжайте к нам на фронт» и даже — «Даешь Ростов!».

Кирилл с удивлением всматривался в причудливые росчерки вдоль и поперек бумаги, изучая особый смысл, которым дышала сердечная и простодушная грамота. Потом он достал из кармана карандаш.

— Что ты делаешь? — ужаснулась Аночка и бросилась к нему, чтобы вырвать бумагу.

— Я хочу тоже расписаться.

— Нельзя! Это нельзя! Я не позволю смеяться над этим... над этой памятью! Я хочу ее сберечь.

Защищаясь от Аночки, он встал, повернулся к ней спиной и, приложив грамоту к стене, резко и крупно подписался — со своим хвостатым «з» — наискось по верхнему углу листа.

— Зачем ты это сделал! — почти плача воскликнула она.

— Во-первых, я тоже хочу, чтобы ваш театр поехал на фронт,— ответил он как можно спокойнее,— во-вторых, я имею право подписаться вместе с этими бойцами.

— Никакого права. Ты и смотрел меня всего только один раз! И теперь насмехаешься.

— Это мой отряд конницы. Я назначен, за старшего, сопровождать его на фронт. Завтра утром мы уходим эшелоном.

Аночка неподвижно глядела на него. За миг до того еще красное от мороза лицо Кирилла быстро желтело. Он словно растерялся перед тем впечатлением, какое произвели на Аночку его слова. Он придвинул ей стул.

Цветухин откашлялся, громко вздохнул.

— Ах да! Как это было бы идеально! Мы мечтаем о такой поездке. Фронт! Что может быть соблазнительнее? Но — репертуар! Ведь пока только одна пьеса. И довольно громоздкая. Правда, можно сыграть в сукнах. Облегчить, упростить...

Он тревожно подождал — что ему ответят. Голос его переливался своим обаятельным тембром чересчур сильно для этих маленьких стен.

— Но мы будем стараться! Правда, Аночка?

— Будем стараться,— сказала она за ним безразлично.

— А вы, значит, завтра? — все так же ненужно громко продолжал Цветухин.— На Деникина, да? Ну что ж, остается пожелать вам всего самого счастливого. От себя могу обещать одно: будем работать, будем беззаветно работать.

Он выразительно потряс руку Кириллу и начал одеваться.

— За Аночку можете быть спокойны. Я знаю ей цену, знаю ее недостатки и буду к ней всегда требователен. Очень требователен. До свиданья. Если нам понадобится поддержка — не откажите. Я говорю о нашем театре. Мы с вами союзники!

— Я закрою за вами,— сказал Кирилл.

То, что он двинулся и пошел к двери, словно привело Аночку в себя. Она решительно оторвалась от места, удер-

жала Кирилла и вышла за Цветухиным в сени. Он успел в темноте пробормотать несколько отчаянных фраз:

— Все ясно, дружок. Ну, что ж! Ты для меня осталась прежней! Будь счастлива. Будь только...

Бушующим потоком ветер вырвал у него — едва он перешагнул порог — его последние слова и унес с метелью.

Аночка захлопнула дверь, вбежала в комнату, остановилась перед Кириллом. Видно было, что ей страстно хотелось и невозможно было примирить свои чувства с происшедшим.

— Я ведь ничего не требую, кроме того, чтобы — не было так внезапно,— горько сказала она.

Он протянул ей руки, она будто не заметила его немного виноватого движения.

— Почему, почему всякий раз — в последнюю минуту?

— Я думаю — так лучше.

— Чтобы избежать лишнего часа, который можно бы пробыть вместе?

— Чтобы не говорить о том, что понятно без слов.

— Чтобы было больнее?

— Чтобы боль была короче.

— И тебе не кажется, что это жестоко?

— Слишком часто жестокостью называют мужество. Зачем ты это повторяешь? Единственно, что сейчас нужно для твоего и моего счастья — это мужество.

Она ответила ему взглядом, раскрывшим ему еще никогда не бывалую в ней женскую мягкость, и — странно — он не усомнился, что это было ее готовностью к мужеству, которого он ждал. Они сели рядом на край кровати. Он держал ее руки и смотрел на нее.

В буйстве ветра, гулко раздававшемся за стенами, тишина комнаты была удивительно полной, и они слышали дыхание друг друга, несмелое потрескивание огонька в лампе, комариные песни в оконных скважинах. Под потолком с хрустом отщелкивали свое тик-так веселые ходики. Кириллу мелькнуло, что в Аночке наступало то примирение, которое еще минуту назад ей казалось невозможным.

— Я очень, очень прошу, когда ты судишь мои поступки, будь немного старше себя.

— Я, кажется, всегда была старше себя. Но зачем это?

— Я не имею права поступать только так, как мне приятно или как приятно кому-нибудь из близких. Я должен отвечать за свои поступки, понимаешь?— отвечать.

— Понимаю. Это не трудно понять. Отвечать перед всеми. А передо мной?

— Насколько могу,— ответил он и добродушно улыбнулся.— Знаешь, я, когда шел сюда, вдруг пожалел, что не сказал тебе об отъезде раньше.

Она стиснула ему пальцы.

— Значит, раскаялся в своем поступке?

— Я, наверно, недостаточно подумал о нем.

— Но неужели вечно, вечно надо думать о всяком поступке?!

Он ничего не ответил, а только нагнулся и приложил щеку к ее ладони. Она другой рукой попробовала его жестковатые, давно не стриженные волосы. Он поднял голову и стал опять смотреть на нее.

— Ах, ты, ты,— сказала она шепотом.

Он поцеловал ее. Она долго молчала, потом у нее появилась рассеянная и совсем новая улыбка.

— Ты подумал, как поступаешь?— спросила она чуть погромче, скосив на него большой потемневший глаз.

Он еще сильнее поцеловал ее. Отодвигаясь, она вытянула свой легкий, чуткий подбородок, глядя на окна.

Он вскочил, шагнул к столу и, наклонившись, одним шумным дуновением загасил лампу.

38

За ночь вьюга улеглась.

Едва начался декабрьский рассвет, Аночка вышла на улицу. Было странно тихо. Вдоль тротуаров лежали снежные волны, на которых застыла рябая зыбь, как на песках дюн. Мостовые посредине были голы, только кое-где по краям кособочились сугробы с острыми ребрами сверкающих верхушек. Вороны молча сидели на черных деревьях.

Спокойствие отдыхавшего после метели города не только не усмиряло волнения Аночки, но все больше бередило его. Она очень торопилась.

На вокзале недоспавшие, нетерпеливые люди неизвестно откуда появлялись, неизвестно куда исчезали, вдруг снова кучились и снова рассасывались. Двери маячили качелями, дребезжа и хлопая. То вдалеке, то где-то рядом, словно грозя ворваться в здание, шипели паровозы.

Аночка остановилась в главном зале, у дальнего окна на платформу,— как накануне условилась с Кириллом. Его долго не было, так что она устала глядеть в толпу, роями качавшуюся от выхода к выходу.

Когда он показался, она не сразу узнала его. На нем был овчинный полушубок по колено, белые валенки, короткошерстая рыжая папаха. Он стал неуклюжим и не подходил к Аночке, а будто подкатывался.

— Ты не замерзнешь,— сказала она с улыбкой.

Он снял меховые варежки, на солдатский манер заложил их под мышку.

— Если бы ты заранее сказал, когда уезжаешь, я не пришла бы с пустыми руками.

Он взял ее руки, погладил каждый палец в отдельности, сказал:

— Они для меня никогда не пустые.

Минуту они глядели друг другу в глаза.

— Эшелон погрузился. Поезд у платформы. Нас сейчас отправляют.

— Уже?— проговорила она тихо, и взгляд ее сурово опустился.

— Пойдем,— сказал он.

Он вывел ее, держа за локоть, на перрон, и они пошли вдоль поезда. Из дверей катился пар, ледяные сосульки свисали с крыш, от товарных вагонов пахло лошадьми.

— Далеко?— спросила Аночка.

— Последний вагон.

— Идем тише.

Они не слышали ни криков, ни песен, упрямо споривших между собой на протяжении всего поезда, ни лихих переборов гармошки-саратовки. Они шли, шли, и шаг все замедлялся, помимо их воли.

Наконец они увидели Рагозина и возле него Веру Никандровну. Они постояли вчетвером, говоря о самых обычных вещах. Паровоз начал гудеть. Сильнее, гулче, перекатистее несся его бесстрашный голос, насыщая и содрагая пространство.

— Ну вот,— неслышно сказал Кирилл, глядя на мать, и обнял ее.

Потом он всмотрелся в Аночку, обхватил ее обеими руками и вдруг несколько раз кряду, до боли сильно поцеловал в губы.

Оторвавшись от нее, он опять поглядел на мать. Вера Никандровна улыбалась и кивала ему. Он шагнул к ней. Она прижала к себе его голову и — в то время как оборвался гудок,— сказала шепотом заговорщицы:

— Я ее поберегу. Поберегу!

Она продолжала кивать. Ее пожилые годы резче проступили на лице после этой ночи сборов. Вдруг сделалось видно, как она старится.

Кирилл круто повернулся к Рагозину. Поезд уже шел. Они оба побежали за площадкой вагона, обвешанной бойцами. Кирилл вскочил на приступку.

— Я скоро за тобой следом!— крикнул Рагозин и снял шапку.

— Лечись сначала, Петр Петрович! Выздоравливай! И — до свиданья,— успел ответить Кирилл и глянул поверх рагозинской лысины назад.

Аночка стояла с высоко поднятой неподвижной рукой. Кирилл стал махать своими варежками. Только тут и он и она заметили, какая толпа провожала поезд: почти мгновенно они потеряли друг друга из вида за мельканьем рук, шапок, платков.

Людские голоса, сначала заглушив собой шум поезда, быстро упали, и уже издалека долетел до Аночки рокот колес, учащаясь и затихая.

Проводы близкого человека в неизвестность тяжелы особенно в эту секунду ухода поезда, в секунду исчезновения последнего вагона, когда вдруг пронизывает чувство физической утраты принадлежащего тебе существа, которого миг назад можно было коснуться и которое сразу стало недосягаемо.

Рагозин и Вера Никандровна заметили остроту этой секунды друг на друге, заметили на Аночке. Но, кроме того, им бросилась в глаза особая сполошная мысль на лице Аночки, как будто она не только была подавлена разлукой, но боролась еще с другим труднейшим испытанием. Она была бледна, и казалось, вот-вот упадет.

— А ну-ка, пожалуйте сюда,— сказал Рагозин, подставляя Аночке руку подчеркнуто бодро и с нарочитым шиком.

— Может, мы посидим,— предложила озабоченная Вера Никандровна,— а потом поедем все ко мне.

— Я не могу, спасибо,— сказала Аночка,— мне надо еще съездить... вот если бы вы могли со мной съездить, Вера Никандровна!

— Конечно, голубушка, если надо. Но куда же ты вдруг?

— В больницу.

— В больницу? Да ты не расхворалась ли?

— Нет, нет! К отцу. Отец попал в больницу. Еще вчера.

— Как так попал? Что с ним?

Они остановились посреди перрона, уже наполовину опустевшего, и Аночка наспех рассказала, что стало ей известно с вечера о Тихоне Платоновиче.

Вскоре после ухода от нее Кирилла возвратился домой Павлик. Пришел он не один, а со знакомым сослуживцем Па-

рабукина. Этот сослуживец по дороге из утильотдела, где оставался работать весь вечер, нарочно, несмотря на вьюгу, разыскивал квартиру Тихона Платоновича и встретился с Павликом на дворе. Шел же он затем, чтобы сообщить, что с Тихоном Платоновичем случилось недоброе.

Выяснилось, что Парабукин, вернувшись с похорон Дорогомилова, заперся в своей каморе и вместе с другом Мефодием устроил поминки. Вышли они из каморы навеселе, еще не поздно, и Мефодий заявил, что поминки не пропорциональны прискорбию, которое оба друга испытывают с утратой такого праведника, как Арсений Романович Дорогомилов. После чего оба ушли, очевидно — в поисках этой недостигнутой пропорции. А часа три спустя, когда свидетель окончил свою работу и собрался тоже уходить, в утильотдел позвонили по телефону из больницы. Оказалось, Тихон Платонович и Мефодий подобраны на улице и доставлены в приемный покой с признаками отравления.

Было уже слишком поздно, чтобы в метель добираться до больницы. Поэтому Аночка решила ожидать утра.

Она остановила свой рассказ на том, что не могла заснуть всю ночь. Никому, разумеется, не надо было знать, что к мучительному страху за отца прибавлялось все пережитое в этот короткий, полный противоречивых событий вечер — от терзаний одиночества до объяснения с Егором Павловичем, от поразившего известия об отъезде Кирилла до тех минут наедине с ним, которые сделали Аночку и Кирилла счастливым достоянием друг друга навсегда.

Рагозин решил:

— У меня лошадь. Садитесь и езжайте. Если нужно будет в чем помочь, сообщите мне.

Обе женщины тотчас отправились в больницу. По дороге Вера Никандровна задала всего один вопрос — сказала ли Аночка о несчастье с отцом Кириллу?

— Зачем? Он ничего не успел бы сделать, и это отяготило бы его еще одной заботой.

Вера Никандровна, держа Аночку по-мужски, за талию, плотнее приблизила ее к себе, и так они проехали весь долгий неудобный путь — пролетка то увязала в сугробы, то ныряла на выбоинах голого булыжника.

Аночка владела собой, черпая силы в упорстве молчания. Все хождения по больнице она выдержала с напряженной собранностью всего тела и с бледным недвижным лицом.

Везде надо было подолгу ждать, потому что каждый, к кому Извекова и Аночка обращались, был занят сразу мно-

гими делами. Всюду бродили туда и сюда сестры, сиделки, врачи. Их останавливали по дороге, либо они останавливались сами и толковали о своих неотложных житейских вопросах. Для этих постоянно работавших в больнице людей пребывание здесь было профессией, службой, производством, которыми они занимались всю свою жизнь, день и ночь. Для тех же, кто сюда приходил из-за болезни, или смерти близких, пребывание здесь было из ряда вон выделяющимся событием, испытанием судьбы и часто неизгладимым горем. Те, кто работал в больнице, считали, что для больных всегда сделано все возможное, и волнение посетителей им казалось чрезмерным и обременительным. Посетители же были твердо убеждены, что для больных непременно что-нибудь не сделано, и спокойствие людей больничной службы их тревожило и раздражало. Как в камере судьи, здесь слишком наглядна была разница в отношении человека к участи своей и чужой.

В приемном покое барышня в белой косынке, исследовав запись соответствующего дежурства, подтвердила, что Тихон Платонович и Мефодий Силыч действительно поступили и направлены из сортировочной в палату номер такой-то. О состоянии больных следовало узнать в справочном бюро посетительской приемной. Справочная, после розысков по журналу ночного дежурства, установила, что оба больных приняты указанной палатой и что состояние их тяжелое, а температура такая-то. Утренних сведений еще не было, и следовало вызвать из палаты няню и попросить ее, чтобы она узнала у ординатора, в каком положении находятся больные. Няни добрых полчаса не могли разыскать. Придя, она сообщила, что, когда поутру сменяла дежурство, ей никаких новых больных палатная не передавала. Она взялась справиться у сестры или в ординаторской — может, кто знает, но по пути очень долго простояла в дверях справочного бюро, на виду у Аночки и Веры Никандровны, разговаривая с другой няней и показывая ей у себя на ноге прохудившуюся войлочную туфлю. Спустя еще добрых полчаса явилась сестра с игрушечным красным крестиком на переднике и сказала, что оба больных еще ночью переведены из общей палаты номер такой-то в отдельную палату номер такой-то и что допуска к ним нет. До того, как утренние сведения будет давать справочная, о состоянии больных можно узнать с разрешения заведующего отделением, но сейчас этого сделать нельзя, потому что у него начался обход. Мог еще дать разрешение главный врач, но он сейчас в операционной.

Сестра пошла назад к той двери, откуда все время выхо-

дили и куда входили белые халаты, но, не дойдя, вернулась и указала на тощего человека с запавшими бритыми щеками:

— Вот Игнатий Иванович, попросите его. Заведующий отделением.

Она сама подошла к нему и что-то сказала. Он поглядел на Веру Никандровну и Аночку, качнул головой и продолжал свой разговор с женщиной, которая перебивала его вопросами и крутила себе пальцы. Потом к нему подошла девушка из справочного и стала громко уверять, что ни от кого не получала какой-то книги. Они вместе удалились в бюро. Из окошечка, через которое давались справки, вылетали вперегонки их голоса, и было слышно, что спор идет о той же книге, которой девушка ни от кого не получала.

— Игнатий Иванович! — неслось через окошко,— неужели я позволю себе трепаться?

Наконец Игнатий Иванович вновь появился в приемной и пошел прямо к двери, но заметил Аночку с Извековой и повернул к ним.

— Вы насчет Парабукина? — спросил он доверительным голосом.— Вы кем ему будете?.. Ах, ваш отец...

Он медленно отвел взгляд на дверь, в которую собирался пойти, и один миг подождал.

— Да, да,— проговорил он таким тоном, будто Аночке и Вере Никандровне было уже известно, чему он поддакнул.— Да, в семь часов. Скончался.

— Так... сразу? — словно ища смысл в этих своих словах, выговорила Вера Никандровна и взяла Аночку под руку нескладным движением, так что нельзя было понять, хочет ли поддержать ее или сама ищет поддержки.

— Ну, как сразу? Часов десять жил. Еще здоровое сердце. Хотя он, видимо, давно употреблял? Сильного сложенья, да.

— Он ведь не один? — все еще отыскивала нужные слова Вера Никандровна.

— Да, тот тоже. Послабее. Несколько астенический субъект. Часа на полтора раньше. Тоже ваш родственник? Нет?

Он всмотрелся пристальнее в Аночку и сказал утешительно:

— Вы не горюйте слишком. Это ведь много лучше. Если бы выжили, то ведь оба ослепли бы. Метиловый спирт, да.

Он еще раз покосился на дверь.

— Где он? — беззвучно спросила Аночка.

— После вскрытия вас допустят,— сказал доктор.

Он стал завязывать тесемки на обшлаге халата, прижимая запястье к животу.

— Извините, у меня обход. Вы присели бы. Я скажу, чтобы с вами побыли.

Он откланялся им порознь и двинулся немного приподнятой поступью поджарого легковеса к двери, все время его манившей.

Аночка и Вера Никандровна сели на скамью. Они не смотрели друг на друга, но в том, как обе держались, тесно, плечом к плечу, было видно, что обоюдное ощущение близости для них спасительно и ничто не могло бы ее сейчас заменить.

К ним подошла та сестра с игрушечным крестиком, которая заявила им, что допуска в палату нет. Она протянула Аночке маленький тонкостенный стакан с отогнутыми краями и желтоватым пахучим снадобьем, налитым до половины.

— Выпейте это. Вам надо выпить,— убедительно сказала она, и у ней был такой спокойный вид, будто между тем, что она говорила прежде и говорит сейчас, не существовало ни малейшего расхождения.

Вера Никандровна взяла стакан и поднесла Аночке. Послушно и старательно Аночка проглотила лекарство.

Лицо ее как было, так и оставалось недвижным и бескровным. Не то чтобы она не воспринимала происходившего вокруг, но ей было безразлично, что воспринимать, точно для нее не стало никакой разницы между нужным и никчемным, важным и пустячным. Она сосредоточенно поглядела на девушку из справочной, опять возбужденно кому-то крикнувшую через окошко:

— Я говорю, что в глаза не видала! Что — треплюсь, что ли?

И одинаково сосредоточенно Аночка слушала, как Вера Никандровна подбирала утешения, стараясь вызвать в ней живое желание сопротивляться горю и действовать:

— Ты не бойся, я буду с тобой. И у нас есть друзья. Мы не одни.

Но при всем очерствении к окружающему, при том безразличии, которое выражалось в эти минуты внешним существом Аночки, была одна черта, одна точечка, затаенная в глубине ее взгляда, в зрачках, соединявшая в себе уже почти отсутствие рассудка с жадными поисками мысли, как бывает только у человека больной души. Аночка в эти минуты равно могла поддаться бессилию и заболеть, и могла найти

такую опору в самосознании, что уверилась бы в своих силах на всю жизнь.

Этой точечкой взгляда видела она острейшие миги промчавшихся суток, и ей казалось, что до нее доносится рокот колес по рельсам, и она глядит на последний вагон поезда, ускользающего вдаль, и слышит голос — «будь немного старше себя», и другой голос — «еще здоровое сердце». В бессвязности этой заключалось что-то цельное, и в то же время одно исключало другое. Как будто душа Аночки раздваивалась, и одна часть, уходя с последним вагоном поезда, оставалась надолго жить, а другая, оставаясь здесь, в больнице, уходила из жизни навсегда.

В необычайной грусти Аночка улыбнулась. Как будто изумившись неожиданно сделанному открытию, она сказала:

— А знаете, Вера Никандровна, Кирилл ведь очень любил моего папу!

Вера Никандровна с материнской страстью прижала ее руку к своей груди.

— О, как ты права! Ты даже не знаешь, как ты права, моя умница!

— Папа ведь был удивительно сердечный человек,— сказала Аночка все с той же грустью.— Он только был несчастный.

— Ты, ты возьмешь за него счастье, которое ему не далось!

— Что же мы сидим?— сказала Аночка, всхлипывая, как после облегчающих слез,— надо ведь что-нибудь делать. Поедем к Рагозину. И потом к Егору Павловичу. Мефодий Силыч отнял у него сегодня полжизни.

— Да, да. Поедем. Мы не одни, мы не одни,— повторяла Вера Никандровна.

Они вышли на мороз, и это было словно телесным возвращением к действительности. Опять попеременно колеса пролетки то дребезжали по булыжнику, то скрипели в снегу. Город все еще отдыхал, все не мог отдохнуть от вьюги. И с каждым новым домом, с каждым кварталом, отдалявшим пролетку от больницы, Аночке яснее виделся вагон, который плыл где-то среди безграничных белых полей и в котором она сама будто присутствовала, сидела против Кирилла, вычитывая его мысли в ровном взгляде табачных глаз.

Мысли были, конечно, о ней, об Аночке. Он не мог оставить ее одну, он взял ее, он увозил ее с собой в этом вагоне, в этом огромном поезде, пересекавшем равнину России.

 На каком-то далеком разъезде выйдя из вагона и щурясь

на солнечное лучение заснеженной степи, Кирилл нечаянно вспомнил толстовское наблюдение о путешественниках: первую половину пути, заметил Толстой, человек думает о том, что им оставлено позади, откуда он едет, вторую половину пути — о том, что его ожидает впереди, куда он направляется.

Чем дальше продвигался поезд, тем разнообразнее становились связи Кирилла со множеством его спутников. Это был не рядовой поезд, пассажиры которого случайно соединились и тотчас разрознятся, как только доедут до места.

Эшелон был подобен маленькому шумному городу на колесах. И как жителей города связывают в целое одни дороги, одни источники, одна плодоносящая земля, так спутников эшелона роднила одна общая цель, лежавшая за пределами движения поезда. Интересы их объединялись не только ежечасной заботой о фураже, провианте, не только закрытым семафором на разъезде, или игрой в шашки и карты, или табачком и гармошкой, но теснее всего — предстоявшей им борьбой за свое будущее.

И Кирилл все больше чувствовал свою принадлежность этому городу на колесах, все чаще задумывался, как сложится ожидавшая его на фронте работа, все реже возвращался мыслью к оставленному Саратову. Поэтому и пришло ему на ум толстовское наблюдение, и он проверил его на себе и удивился, что — правда — за последний день даже Аночка вспоминалась гораздо меньше, чем в начале пути. Но это не беспокоило его. Аночка только отступила в сокрытую глубину его сердца, и он знал, что она будет там жить, пока живо само сердце.

Эшелон следовал через Балашов — Поворино с задержками, простоями, неизбежными в прифронтовой полосе. Лишь на третьи сутки прошли места недавних великих сражений — Воронеж, Касторную. Зима везде установилась, все время было вьюжно, снегом прикрыло следы истребительных полевых боев, и только в селах, при дорогах, на станциях траурно чернели пожарища да громоздились обломки взорванных сооружений.

Отряд был наконец влит в кавалерийскую бригаду, которая формировалась из пополнений, и на этом кончилась основная часть задания Извекова — сопроводить и передать эшелон по месту назначения. Он распрощался с земляками и двинулся дальше на юг, в район действий Первой Конной армии.

В тот день, когда он приехал в Новый Оскол, все вокруг

было бурно оживленно: над обывательскими домиками трепыхали флаги, по дороге мчались всадники, через распахнутые ворота дворов виднелись оседланные кони и кучки спешившихся бойцов. Укутанные в теплые одежки дети выводками бежали по улицам, и взрослые тянулись следом за ними — все в одном направлении — за город.

После неудачных расспросов — куда идти — Кирилл натолкнулся на молодого командира, распоряжавшегося красноармейцами, которые втаскивали в дом большой неуклюжий стол. Двери были узки, стол то клали и заносили ножками вперед, то протискивали стоймя.

— Давай выворачивай ножки,— крикнул один из красноармейцев.— В горнице сколотим.

— Вали,— безнадежно махнул рукой командир и отвернулся.

Он недовольно поглядел на Кирилла, как будто тот виноват был, что стол не пролезает в дверь.

— Вы что здесь, товарищ?

Кирилл ответил, что ему надо, и это вызвало еще большее неудовольствие командира.

— А ну, документы!

По самому тону Кирилл понял, что если и не напал на верный адрес, то находится от него неподалеку. Он достал свои бумаги. Не снимая толстых перчаток, командир зажал документы в горсти и — пока стол хрустел, точно раскалываемый гигантский орех,— читал углубленно и строго. Потом он обернулся, увидел, что ни стола, ни красноармейцев уже не было на улице, и сразу радушно возвратил бумаги.

— Значит, из Саратова? В Саратове не бывал. А вот в Царицыне доводилось. С товарищем Ворошиловым тоже... Зайдем в горницу.

Он оказался из ординарцев Ворошилова и послан был в Новый Оскол с квартирьерским поручением. От него Кирилл узнал, что в соседнем селе состоялось объединенное заседание Революционных Военных советов Южного фронта и Первой Конной армии. Прибывший из Серпухова (где стоял штаб фронта) Сталин выступил на заседании с речью о задачах Первой Конной в дальнейшем осуществлении плана разгрома Деникина. В район были стянуты соединения Конной армии, и под Новым Осколом предстоял большой смотр (на фронте продолжали биться по одной бригаде от каждой дивизии).

— Хотите поехать? Через час у меня будут санки,— предложил ординарец.

 Он чем дальше разговаривал, тем словно гостеприимнее

становился. Вероятно, его на самом деле рассердила незадача со столом; теперь, когда все налаживалось и он распоряжался расстановкой мебели в мещанской гостиной и куда-то уносил цветочные горшки, и перевешивал картинки,— хозяйственная стихия делала его, видно, сообщительнее.

— Поедем! Все равно ваше назначение мимо товарища Ворошилова не пройдет. И рапорт ваш об отряде тоже. Значит, время есть. Увидите, что у нас нынче за дивизии. Дух замирает!

Он призадумался.

— Как по-вашему — оставить? Или лучше убрать?

Он с сомнением мотнул головой на законченную олеографию, изображавшую боярышню в кокошнике.

— А что вас смущает?

— Да тут командиров с комиссарами будут Реввоенсовету представлять.

— Ну и что же? Ведь это — Маковский.

— Черт его — с этим искусством! Никогда наперед не знаешь.

Они оба засмеялись, каждый своим мыслям. Уже входила в права та короткость отношений, которая особенно быстро завязывается на фронте, нередко столь же быстро позабывается, а то вдруг переходит в солдатскую дружбу до скончания дней.

На смотр Кирилл и ординарец ехали приятелями. Подрезные полозья санок выпевали неустанную скрипучую нотку, легко ныряя в ямы и медленно вылезая из них, причем седоки дергались к передку, а потом откидывались на спинку, и в это время разговор их сначала убыстрялся, затем растягивался.

Сразу за городом открылась нескончаемая степь, кое-где в холмистых грядах, и стало видно, как ее сахарную гладь лизала длинными языками поземка. Был самый светлый зимний час, но свинцовая нависъ снежных туч низко спускалась с неба.

Еще издалека Кирилл увидел темные расчлененные линии построенных конных войск. Они занимали огромное пространство своими, похожими на шпалы, разделеньями. Ближе чернела сплошная полоса народа, вытянутая по нитке, и, подъезжая к ней, санки все больше обгоняли запоздавших и торопящихся людей.

Когда приблизились к толпе и вылезли из санок, было уже невозможно пробраться вперед в той центральной части зрителей, где виднелись красные знамена и отведено было место для тех, кто должен был принять парад. Кирилл с ординарцем

опять забрались в санки и поехали позади толпы, выискивая удобный, не очень плотно занятый народом участок.

Слышны были перекаты «ура», ветер то доносил музыку, то заглатывал ее. Смотр уже начался — члены революционных военных советов, объезжая построенные дивизии, здоровались с частями.

Отыскав наконец подходящее место и протиснувшись в передний ряд, Кирилл окинул взором степь. Прямо перед ним и справа она уходила к небу, и не было видно на ней почти ни пятнышка, только далеко-далеко телеграфные столбушки, в карандаш высотой, неясно проглядывали сквозь рябизну поземки. Слева виднелась кавалерия, и можно было, всмотревшись, отделить глазом на передней линии строя полосу коней и узенькую полосу всадников над ними и кое-где — знамена, вдруг вырастающие на ветру.

Музыка и крики кончились, стали перебегать линейные, появились санитары с повязками на рукавах и сумками на бедрах. Когда это мгновенное нервное оживление улеглось, Кирилл увидел, как слева приближается вдоль толпы к центру горстка верховых, и с ними санная упряжка.

— Едут, едут,— сказал одрипарец, подталкивая Кирилла в бок.

Но почти сейчас же вся эта группа скачущих людей настолько приблизилась к переднему ряду толпы, что почти слилась с ним, и Кирилл ничего не мог различить впереди, хотя и выступил за край толпы на полный шаг.

Вслед за тем пронесся позывной медью сигнал фанфар и отдаленно запели чуть слышные голоса команды. Но все это неслось влево, почти поглощалось степью, и тут Кирилл понял, как далеко он стоит от того места, где сосредоточилось самое ядро происходящего события. Ему было досадно, что он затерялся где-то в стороне, и хотелось быть в центре, но, несмотря на досаду, в нем все росло настроение праздничности, создаваемое зрелищем далекой неподвижной стены войск, которая напряженно ждала призыва к движению, и особенно — зрелищем снежного пространства, словно подчиненного общему строю людских масс.

Голоса команды совсем замерли, и в степной тишине стало слышно, как припадал на землю ветер и шуршала снегом жесткая поземка.

И вот загремела где-то близко музыка. Это был возбуждающий кавалерийский марш, в котором сплетаются голоса отваги и игривости и ритм которого рожден гарцеваньем вышколенного коня. И медленно, после того как заиграл оркестр,

в музыку вступил глухой гул, накатом близившийся под землей: конница двинулась, торжественный марш начался.

Но это было особое, вряд ли когда бывалое движение, так же мало похожее на марш, как полет голубиной стаи мало похож на шаг человека.

Дивизии шли по номерам, и парад открывала Четвертая. Головной эскадрон, снявшись и пойдя с места рысью, почти сразу затем поскакал. Бойцы вскинули над головами шашки. Знаменщик, пригнувшись к седлу, охваченный, как языком огня, красным полотнищем знамени, и — как пику — устремивший вперед древко, взрезывал собой, точно клином, ледяной воздух, и следом, в распахнутые ворота простора, летел неудержимый эскадрон.

К тяжелому гулу прибавилось звонкое пение мёрзлой земли — подковы пробивали снежный покров, и почва звенела, словно тысяча бубен. Конники грянули «ура». Эскадрон перешел на полный карьер. Снег крутым паром заклубился под копытами и каскадами ударил по сторонам.

С подавляющей быстротой передний этот вал нахлынул к тому месту, откуда еще минуту назад слышался марш музыкантов. В гудении земли, в крике бойцов, в барабанном топоте сотен копыт музыка бесследно исчезла. Народ, в первый миг оглушенный низвергавшимся обвалом лавины, вдруг ответил встречной волной криков, и все слилось в нераздельный громкокипящей стон.

Кирилл едва успел выхватить взглядом из промчавшегося эскадрона какой-то восторженный бронзово-красный лик со сверкающим оскалом длинных зубов; какую-то пламенно-желтую папаху; какую-то закинутую морду вороной лошади, перекошенным ртом ожесточенно жевавшей удила; и потом — сверкание размахиваемых клинков; и вдруг — огромный черный сапог, бьющий шпорой по животу коня; и так же вдруг — припавшее к рыжей гриве бледное лицо юноши, — едва все это взгляд Кирилла выхватил из белокипенной клубящейся тучи, как уже эскадрон умелькнул далеко вправо, а слева налетел другой, с гиком и неистовым «ура», в топоте и храпе обезумевших коней.

Так рушился на Кирилла эскадрон за эскадроном, в перемешанных одеждах — в полушубках, в шинелях, в казацких поддевках и бурках, в рабочих стеганых куртках, в отвоеванной у белых английской форме, за плечами — винтовки, на головах — папахи да шапки, фуражки да треухи, под седлами — разномастные, разнопородные кони. И только клинки отточенных шашек зияли в воздухе одинаково горячим блес-

ком да нет-нет одинаково дзинькали певучей русской сталью.

— Шестая! Пошла дивизия Шестая! — закричал над ухом Извекова его новый товарищ.

И Кирилл уже перевел глаза на знаменщика, пронзавшего острием древка встречный ветер, когда внезапно оторвался от последнего эскадрона Четвертой темный комок и закрутился в снежной пыли.

— Упал, упал! — раздались рядом с Кириллом возгласы.— Сомнут! Затопчут!

Свалившийся конник лежал на спине, шагах в десяти от края толпы, и чуть подальше била копытами воздух, стараясь повернуться с бока и вскочить на ноги, упавшая лошадь.

Кирилл вырвался из линии, в три прыжка очутился над бойцом и, схватив его за руку, начал тянуть по снегу. Но другая рука бойца была продета в темляк шашки, которая воткнулась в землю и точно не желала пускать от себя своего обладателя. Кирилл вырвал шашку из земли и снова потащил бойца. Он слышал, как пронесся мимо знаменщик и уже навалился топот головного эскадрона Шестой. В этот миг подоспевший санитар перехватил вместе с ним тяжелую ношу, и вдвоем они вынесли ее за линию. Испуганная лошадь уже поднялась, к ней бросился линейный, рванул под уздцы и отбежал с ней в последнее мгновенье, когда эскадрон был тут как тут. Конь правофлангового ударил перебегавшую дорогу лошадь грудью в круп с такой силой, что она опять чуть не повалилась и не смяла собой людей.

Все это отняло несколько секунд, и так как очень торопились, то бойца, как только вытащили из предела опасности, бросили на снег.

От толчка он пришел в себя. Это был плотный мужичок в казачьей форме, какую носили в Конной «иногородние» с Дона и казаки червонных частей. На голове его торчмя вилась природная шапка русых кудрей, а то, что их покрывало, осталось на попрание эскадронам. Приподнявшись и мутным взором глянув на народ, он быстро нащупал эфес шашки (Кирилл успел вложить ее в ножны), как пружина вспрыгнул на ноги, запустил руки в кудри и провопил изо всей мочи:

— Машка! Где Машка, стерва?!

Тотчас разглядев за плечами людей свою кобылу, взволнованно мотавшую мордой с пегим пятном на храпе, он кинулся к ней, размашисто свистнул ее ребром ладони между глаз и, вцепившись в поводья, дергая их из стороны в сторону, закричал:

— Подвела! Язви тя в сердце! Позарился я на твою белогвардейскую стать, пострели тя зараза!

На него скоро перестали смотреть, потому что сотни и эскадроны продолжали и продолжали нестись со своими штандартами на пиках.

— Одиннадцатая! — с упоением крикнул ординарец, когда появились буйные всадники, как на подбор, до одного, в шишаках-буденовках. Азарт их карьера казался еще разительнее из-за однородности невиданной этой формы, еще отчаяннее был их напор, еще беспощаднее крик — они словно шли в смертельную атаку.

С момента, когда Кирилл бросился на помощь упавшему с лошадью кавалеристу, его праздничное возбуждение превратилось в острое чувство участника этого марша в карьер. Он как будто не смотрел на мельканье эскадронов, а сам летел на незримом взмыленном коне в гуще армии. Разница была разве в том, что любой из бойцов проносился перед народом только один раз в строю своего эскадрона, а Кирилл несся своим сердцем в каждом эскадроне и чуть не в каждом бойце. Ему было жарко, он горел и задыхался.

Весь марш прошел молниеносно быстро. Едва ли не две трети всего состава сабель Первой Конной пролетели перед своими вождями, принимавшими парад, в какую-нибудь четверть часа.

Народ немедленно сломал порядок и бросился к центру линии. Опять стала слышна музыка. Заколыхались знамена. В толпе задвигались в разные стороны отдельные всадники.

— Смотрите прямо,— сказал не отступавший от Кирилла спутник.— Конь белой масти. Вот группа верховых едет на нас. Видите?

Кириллу мешали толпившиеся перед глазами люди. Потом пронесли мимо стяг, за ним — другой.

— Направо, глядите направо! Скорей!

Кирилл увидел верховых, рысью отъезжавших в ту сторону, куда умчались дивизии. Он старался разглядеть всадников, но они ехали кучно и закрывали друг друга. Он услышал голоса в народе:

— Буденный, Буденный!

Ординарец потянул Кирилла в сторону.

— Санки видите? Сталин! В санках — Сталин.

На секунду Кирилл отчетливо увидел седока в шинели солдатского сукна, в меховой шапке, похожей на шлем. Опущенные наушники скрывали лицо.

Упряжка быстро исчезала на повороте, и только мелькнул ковровый задок легких русских санок, вроде тех, на которых приехал сюда Кирилл.

Он еще глядел вслед этой санной упряжке, в то время как ему опять что-то сказал ординарец. Когда Кирилл оглянулся, не было уже ни ординарца, ни его саней с лошадью — он вдруг еще легче бросил Кирилла в поле, чем взял его с собой на смотр.

Кирилл засмеялся и с удовольствием зашагал вместе с народом в город.

Как всегда в минуты душевного подъема, работа мысли была одновременно ощущением. Телесное чувство жизни сливалось с тем неустанным ходом картин и рассуждений, который занимал собою мозг. Степное однообразие и беспрепятственная мерность шага только упрочивали это единство дум и чувств. Идти становилось наслажденьем.

Кирилл не отбирал в мыслях отдельных черт поразившего переживания. Он нес в себе это переживание неизменным, во всей полноте.

Но за этот легкий путь в степи память несколько раз повторила последнее сохранившееся впечатление. Оно было как будто очень скромно: мелькнувшие на повороте ковровые санки, седок в них, его плечо в солдатской шинели, его наглухо закрытая сзади шапка.

Кирилл вошел в город, когда смеркалось. Он не знал, где придется заночевать. Но забота о ночлеге не смущала его. В нем появилось чувство военного, подсказывающее, что если он в армии, то все непременно устроится.

На перекрестке его окликнул громкий голос. Разбежавшуюся лошадь осадили посередине дороги. На маленьких санях сидели четверо командиров, друг у друга на коленях. Один из них соскочил. Кирилл узнал ординарца.

— Вы ступайте прямо к дому, где мы с вами были! — кричал он, подбегая.— Только вас не пустят в этот дом. А там подальше, еще через дом, есть флигелек... Да я вас сейчас догоню!

Он не добежал до Кирилла, повернулся назад и прыгнул на колени товарищу, когда уже дернула и пошла лошадь.

Вскоре Кирилл добрался до знакомого дома. Потемнело. Светились желтыми огнями узкие оконца. У палисада стояли на привязях оседланные кони. У дверей Кирилл заметил пику со штандартом — матерчатым, наверно алым, но в темноте почерневшим флажком. Бывалый кавалерист понял бы, что здесь — специальная сотня штаба. Двое караульных охраняли

вход. Кругом, скрипя по снегу, двигались одинаковые в темноте фигуры.

Пройдя шагов полсотню, Кирилл увидел такие же огни в маленьком флигеле. Из дверей выходили, шумно разговаривая, красноармейцы. Он только что хотел к ним обратиться, как сзади подлетели сани.

— Вы уже здесь? Пошли закусывать!— воскликнул ординарец, выпрыгивая из саней и подхватывая Кирилла под руку.

В горнице толпились командиры. На круглом столе резали ситный, украинское сало в четыре пальца толщиной, говядину. В россыпь лежали соленые огурцы, развороненный вилок розоватой квашеной капусты. По рукам ходил стакан. Широкоплечий усач в распахнутой овчинной бекеше разливал из четверти густую, как варенье, чернильно-лиловую наливку.

— А ну, тесней, товарищи! Дайте-ка перехватить волжанину,— сказал ординарец.

Кириллу налили вина. Дохнув пахучей снеди, он почувствовал голод. Ему дали увесистый охотничий ножик. Он отрезал горбушку хлеба. Его спросили, из каких он мест. Кирилл выпил залпом полный стакан и, отдышавшись, ответил. Начался разговор.

После еды Кирилл обошел комнатки флигеля. Ординарец, перед тем как снова скрыться, сказал ему, что здесь можно переночевать, а поутру все разберется и станет на место. Но несколько кроватей и сплоченные кухонные лавки были уже заняты спящими людьми.

Кирилл вернулся в горницу, где у стола, точно на вокзале, все появлялись и исчезали новые едоки. В переднем углу он обнаружил кривоногое кресло с промятыми пружинами. Он расстегнул полушубок и уселся. Тепло и усталость быстро нагнали дремоту.

Закрыв глаза, Крилл думал, что непременно, как только отдохнет, напишет письмо. Он выбирал то самое существенное из своих мыслей, что надо было лучше запомнить и для этого записать, чтобы новые переживания не оттеснили первых впечатлений. Сначала он писал в уме одной Аночке. Потом прибавилось письмо к матери. Он несколько раз начинал с того, что ему сейчас очень хорошо и что он даже не может объяснить какими-нибудь словами — почему так хорошо. Он просто хотел, чтобы ему поверили без всяких слов, как ему хорошо. Но он все-таки искал объяснения — почему же ему хорошо? И он думал написать, как оглушил его и унес с собою гул земли, раздавшийся из-под копыт эскадрона в степи. Что

этот гул слышен на весь мир. Что это — шаг истории. И что ему, Кириллу Извекову, так хорошо сейчас, потому что он к удару громового этого шага присоединил свой маленький, но верный шаг. Сказав себе это слово — шаг истории,— Кирилл понял, что пишет не Аночке и не матери, а пишет Рагозину. Все три письма тут же слились в его мыслях в одно. Но он с усилием, которым человек борет сон, отделил от письма всем троим письмо Аночке. И тогда он решил, что напомнит Аночке давнишний разговор с ней, когда они впервые встретились у матери. И он ясно-ясно увидел эту встречу, когда мать пригладила на голове Аночки торчащий вихор и улыбнулась ей. Кирилл напомнит в письме Аночке свой разговор с ней об искусстве, о том, что он любит искусство. И он напишет, что ему хорошо, потому что только здесь, где он сейчас находится, с полной силой звучит для него поэтическое содержание земли, только здесь и в эту минуту — нигде больше. Что-то туманное начало затем являться его представлениям, и ему все казалось, что он глубоко и плодотворно думает, и все пишет письмо, и только одного не мог он подумать: что это уже наступил крепкий миротворный сон.

Кирилл очнулся, наверно, от тишины. В горнице за столом сидел в папахе боец и мерно жевал сало. Другой боец спал на полу, положив голову на предплечье далеко протянутой вперед руки. Лампа потрескивала, догорая.

Застегнувшись, Кирилл вышел на улицу. Ветер улегся, мороз сильно набавил, очищенное небо было светло — луна, на второй четверти, забралась высоко. Снег трепетал в ночном блеске, и улица, словно убегая кверху, звала идти по белой своей целине.

Два-три человека, выйдя на волю, так же как Кирилл, неподвижно залюбовались зимней ночью. Безмолвие было почти совершенным, лишь изредка раздавался где-нибудь спросонок бурный храп коня.

Красноармеец выскочил из дома, который охранялся караулом, и побежал. Снег пел под его валенками хрустящую плясовую. Скрывшись во флигеле, красноармеец через минуту опять показался на улице.

— Эй, товарищи! — голосисто позвал он.— Нет издесь с вами такого Извекова?

Кирилл откликнулся.

— Идите со мной, вас требовают!

Он провел Кирилла мимо караульных.

В той большой комнате, где Кирилл пробыл дневной час с ординарцем, было людно. Командиры, комиссары стояли

у стен, сидели на подоконниках и вокруг стола. Кирилл остановился в дверях. Несколько разнообразных ламп многотонно освещали всю картину. Бросалась в глаза большая карта юга России на стене, позади стола. Флажки на карте и зримо нанесенные красные, синие скобки, овалы, стрелы показывали, чему она была посвящена. Стол украшался самоваром и такой же простой народной снедью, какую Кирилл застал по соседству, во флигеле. Вино уже не просвечивало в разноцветных бутылках. Сборная посуда была перепутана по краям стола. Ужин, как видно, кончился.

У окон и стен вполголоса разговаривали, а те, кто обступил стол, вслушивались в общую, тоже негромкую беседу маленькой группы, рассмотреть которую Кириллу мешала лампа. Было накурено, ламповые стекла окружались голубыми мячами дыма.

Кирилл продвинулся от двери, чтобы разглядеть беседующих за столом. В это время ординарец вдруг оказался рядом с ним и достаточно слышно, по почему-то над самым ухом сказал:

— Пошли представляться.

Едва подойдя к углу стола, он одернул Кирилла за рукав и проговорил, обращаясь к спине военного, накрест перетянутой портупеями:

— Товарищ Ворошилов, по вашему приказанию — тот саратовец, о котором я вам докладывал.

Ворошилов повернулся, быстро оглядел Извекова, сказал:

— Здравствуйте, товарищ комиссар.

— Я, товарищ Ворошилов, не комиссар,— ответил Кирилл.

— Как не комиссар? А мне про вас такого насказали, что хоть сейчас вам бригаду давай!

Кирилл промолчал. Отвечая на приветствие, он энергично сдвинул вместе подошвы и забыл при этом, что на ногах — валенки: получилось что-то развалистое, и он немножко смешался.

— Ну, а в седле-то вы когда-нибудь сидели? — спросил Ворошилов.

— Сидел.

— И ничего? Держались?

— Держался.

Ворошилов улыбнулся, слегка кивнул.

— Ну, пойдемте.

Они подошли к той группе за столом, где велась беседа. Тут плотно друг к другу жались командиры, и кто-то нето-

ропливо говорил. Ворошилов развел рукой кольцо стоявших. Кирилл продвинулся за ним.

В центре кружка сидели Сталин и Буденный. Рассказчик чуть нагнулся к ним, опираясь локтями в колени, и держал речь без всякой жестикуляции, с расстановкой, видимо привыкнув, чтобы его слушали.

Сталин коротко и пристально взглядывал на него, пропуская папиросный дымок под темными усами.

— Сейчас же после Воронежа,— говорил рассказчик,— посылаю я по пятам белых Мироненку. Он, знаете, из бывших унтер-офицеров. Донбасский шахтер. Даю ему приказание разведать со своей бригадой наступлением — в каких деревнях белые стали, когда, в каком составе, ну и все прочее. По исполнении спешно доложить. Да. Жду час, другой, третий. Полночь. Ничего нет. Наконец, глухой ночью, влетает с пакетом вестовой. Вскрываю пакет, смотрю — всего две строчки: «Противник бежит в панике в направлении города Ростова». А до Ростова пятьсот верст!

Сталин рассмеялся. Закуривая от одной папиросы другую, он сказал весело:

— Когда спишь и видишь Ростов, тут уж не до тактической разведки!

Несколько голосов живо подхватили этот разговор. Один сказал:

— Устав-то все труднее соблюдать. Недавно назначаю положенную дневку. Вдруг мне докладывают: бойцы обижаются — на дневку уходит время, а надо наступать!

Другой заметил:

— На родину торопятся.

— На родину? — словно мимоходом спросил Сталин.

— В моей части больше донцы да кубанцы. Скорее бы на Дон, на Кубань.

Сталин медленно, с лукавой усмешкой осмотрел собеседников.

— Я в общем за соблюдение устава. Но, откровенно говоря, я против того, чтобы дневки чересчур затягивались. Мы, товарищи, кажется, немного засиделись?

Он поднялся. Все, кто сидел, принялись быстро вставать, вынимая из карманов часы. Сталин еще раз, уже серьезно, обвел взглядом окружавшие его лица и проговорил по-прежнему тихим голосом:

— Повторяю: нам надо поспешить. Еще раз, товарищи комиссары и командиры, желаю вам успеха. Успеха, который будет полным уничтожением деникинских армий. Нынешний

смотр буденновской конницы показал, что мы можем в этом не сомневаться.

Сталин пожал руку Буденному и повернулся, чтобы идти. Ворошилов шагнул к нему.

— Я вам хочу, товарищ Сталин, представить саратовского товарища. Он прибыл с отрядом конников для наших новых формирований.

Сталин поздоровался с Кириллом и вдруг начал задавать ему вопрос за вопросом: велик ли отряд, каков в нем народ, хорошо ли обучен, сколько дней был в дороге, где выгрузился, и затем — как Кирилла по фамилии, служил ли в царской армии, где работал, каково настроение в Саратове.

— Продолжается набор добровольцев в кавалерию, люди идут с охотой,— ответил Кирилл, припоминая митинг в Военном городке.

— Это хорошо. Волжане народ горячий, а в коннице горячих ценят,— сказал Сталин.— Я полагаю, если саратовцы помогут разгромить Деникина в Донбассе, они тем самым наверняка устранят угрозу своей Волге.

Он взглянул на Ворошилова.

— Ну, что же, дело за назначением товарища в Первую Конную.

— Да я уж думаю для него о бригаде,— сказал Ворошилов.

— Не маловато? По виду человек молодой, но, как мне кажется, бывалый. К тому же волжане себе цену знают.

Сталин улыбнулся Кириллу и протянул руку.

Все направились к выходу. Громче, полнозвучнее перемешались голоса. Старые половицы сеней заскрипели под тяжелой поступью плотной массы людей.

Ворошилов, оглянувшись и рассмотрев под мерклой настенной лампой лицо Кирилла, сказал:

— Так ты, значит, поутру являйся ко мне! Да пораньше!

Неожиданное, простое это «ты», вдруг изумив, напомнило Кириллу необычайное чувство, когда в юности, на саратовских горах, впервые в жизни старик рабочий сказал ему ласково — «товарищ» и когда он побежал по горам, чтобы усмирить свое волненье.

С клубом тепла, который катился через отворенные двери и таял на морозе, Кирилл вышел из дома. По прямой снежной улице, как будто поднимавшейся кверху, он двинулся в путь со своими новыми товарищами, на солдатский ночлег, чтобы, отдохнувши, встретить будущее утро.

1945—1948

СЕРИЯ «ПОДВИГ»

В 1978 году выйдут в свет книги:

Б. Горбатов.	Непокоренные
Д. Фурманов.	Чапаев
Вас. Федоров.	Седьмое небо
А. Недогонов.	Троянов вал